

АЛЕКСАНДР ДЮМА



УЧИТЕЛЬ
ФЕХТОВАНИЯ

•
ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН

АЛЕКСАНДР
ДЮМА

УЧИТЕЛЬ
ФЕХТОВАНИЯ
•
ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН
•
НОВЕЛЛЫ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1981

Перевод с французского

Составление и вступительная статья
М. С. Трескунова

Иллюстрации художника
А. З. Иткина

Дюма Александр
Д 96 Учитель фехтования. Черный тюльпан. Но-
веллы.— М.: Правда, 1981.—608 с., илл.
ИСБН

В сборник известного французского романиста Алексан-
дра Дюма (1802—1870) вошли романы «Учитель фехтова-
ния», посвященный событиям в России 1824—1826 гг.,
и «Черный тюльпан», а также новеллы «Кучер кабриолета»,
«Маскарад», «Правая рука кавалера де Жнака», «Паскаль
Бруно».

Д 70304—396 81—4703000000
080(02)—81

И(Франц)

© Издательство «Правда», 1981. Составление.
Вступительная статья. Примечания. Иллюстраци.

АЛЕКСАНДР ДЮМА

(1802—1870)

В нашей стране имя Александра Дюма популярно и любимо. Его романы были переведены на украинский, грузинский, армянский, латышский, молдавский, узбекский и многие другие языки народов СССР.

В настоящее время опубликовано двенадцатитомное собрание сочинений А. Дюма, массовыми тиражами выходят в свет его лучшие произведения.

Убежденный гуманист, Дюма верил в светлое будущее человечества, мечтал о гармонично устроенном, справедливом мире. Он замечательно сказал: «Пройдут года, и наступит день, когда человек, овладев всеми разрушительными силами природы, заставит их служить на благо человечеству!»

I

Прославленный романист родился в 1802 г. в семье генерала Тома Дюма и дочери трактирщика — Марии-Луизы Лабурэ. Юные годы Александр провел в родном городе Виллер-Котре; окончив в 1823 г.

местный коллеж, он направился в Париж, где некоторое время служил в канцелярии герцога Орлеанского.

В молодые годы Дюма увлекся поэзией и театром, стал ярым поборником романтического искусства. В духе этого передового направления в литературе он создает свои первые драмы — «Христина» (1827), «Георги III и его двор» (1829).

«Георги III» — историческая драма, где автор смело развенчал культ монархической власти, была поставлена в 1829 г. на сцене театра Французской Комедии. О значении этой драмы Андре Моруа писал: «Была ли его пьеса исторической? Не больше и не меньше, чем романы Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Георги III расстранивал планы герцога де Гиза. Впрочем, Дюма и сам отлично понимал, что в действительности все эти приключения были куда более сложными. Но какое это имело для него значение? Он хотел лишь одного — бурного действия. Эпоха Георги III с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы: веселой, красочной, построенной на контрастах, где Добро было по одну сторону, Зло — по другую. Публика 1829 г., наполнявшая партер, состояла из тех самых людей, которые совершили великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в картинах героических, полных драматизма и поэтому хорошо им знакомых. Этим старым служакам была по сердцу грубоватая отвага героев Дюма: ведь и им пришлось обнимать немало красавиц и угрожать шпагой не одному сопернику. Театральный натурализм? Убийства на сцене? Этого не боялись ни Гете, ни Шекспир. Не гишались ими Гюго и Виньи. Во Франции Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену серьезного театра»¹.

Громадный успех «Георги III» открывает путь романтической драме. В дальнейшем репертуар французских театров на многие годы обогащается за счет выдающихся пьес Дюма: «Антони», «Нельская башня», «Кин», «Эрнани», «Король забавляется», «Рюи Блаз» — Виктора Гюго.

В июле 1830 г. во Франции произошла революция, свергнувшая Карла X. На престол вступил герцог Орлеанский под именем Луи-Филиппа.

Александр Дюма был среди инсургентов, штурмовавших королевский дворец Тюильри. Впоследствии в своих «Мемуарах» он писал: «Я видел тех, которые совершали революцию 1830 г., и они видели меня в своих рядах... Люди, совершившие революцию 1830 г., олицетворяли собой пылкую юность героического пролетариата; они не только разжигали пожар, но и тушили пламя своей кровью. Когда произошла революция, этих представителей народа отстранили от власти, и они, умирая с голода, после того, как установили охрану казначейства, поднялись, чтобы взглянуть на паразитов власти, рвущихся к разделу добычи, к распределению мест, к раздаче наград. Революционеры 1830 г. — это те же самые герои, которых два года спустя убивали у монастыря Сен-Мери за те же дела, только их теперь не считали героями, а называли мятежниками». С первых же дней революции Александр Дюма принял деятельное участие в обще-

¹ Моруа А. Три Дюма. М. 1962, с. 72—73.

ственной жизни и выполнил несколько важных поручений генерала Таффийета, стоявшего тогда во главе национальной гвардии.

С установлением Июльской монархии ухудшилось положение рабочих, крестьян, ремесленников; в 30-х годах в столице и провинции часто происходили восстания, массовые манифестации. В 1831 г. произошло восстание ткачей в Лионе. Это событие запечатлено Дюма на страницах его «Мемуаров». «Тяжелые условия жизни принудили ткачей взяться за оружие. Рабочий... умирал от голода. Лионские ткачи были вынуждены начать восстание, так как не могли просуществовать на 18 су двадцать четыре часа. Иное дело король, который мог расхоронить 150 тысяч франков в день», — не без иронии замечает Дюма.

Пятого июня 1832 г. Париж хоронил генерала Ламарка.

Дюма был лично знаком с Ламарком, вот почему по просьбе родственников покойного генерала он возглавил колонну артиллеристов, следовавшую за траурным катафалком. Вскоре полиция стала разгонять толпу, но произошло то, что и следовало ожидать: траурное шествие превратилось в революционное восстание. Через несколько дней оно было жестоко подавлено. Одна из роялистских газет напечатала ложное сообщение о том, что Александр Дюма с оружием в руках был схвачен полицейскими и в ту же ночь расстрелян. Дюма угрожал арест; по совету друзей он покинул Францию и направился в Швейцарию, где прожил несколько месяцев, готовя к изданию свой первый историко-публицистический очерк «Галлия и Франция».

Книга «Галлия и Франция» свидетельствовала об осведомленности автора в вопросах национальной истории. Рассказывая о ранней эпохе становления галльского племени, Дюма цитирует труды известного историка Огюстэна Тьерри, Шатобрлана и многих других авторов. В заключительной главе автор критически отнесся к монархии Лун-Филиппа. Он предсказывал, что во Франции в будущем возникнет Республика как форма широкого народного представительства.

Положительный отзыв об этом произведении самого Тьерри окрылил автора, и он с еще большим усердием принялся за изучение многих классических трудов французских историков.

В тридцатых годах у Дюма возник замысел воспроизвести историю Франции XV—XIX вв. в обширном цикле романов, начало которому было положено романом «Изабелла Баварская» (1835). Исторической основой послужила «Хроника Фруассара», «Хроника времен Карла VI» Ювенала Юрсина, «История герцогов Бургундских» Проспера де Баранта.

Рассказывая о феодальной междоусобице герцогов Бургундских, автор акцентировал внимание читателя на историческом факте — стремлении Англии захватить французские земли и распространить на них свое господство. Таков смысл романтического эпизода из истории Франции XV века, когда в 1420 г. жена безумного короля Карла VI Изабелла Баварская и герцог Бургундский заключили договор с англичанами в Труа, предоставлявший английскому королю право занять французский престол после смерти Карла VI.

В тридцатых годах Дюма стал разрабатывать особый литературный жанр, названный им «исторические сцены». То был вид романа, повести, новеллы, в которых построенное на историческом материале повествование перемежалось живым, динамичным диалогом; описа-

тельный элемент в таких произведениях был сведен до минимума, с тем, чтобы с первых же страниц книги ввести главных героев в стремительно развивающееся действие. Такова композиция повести «Правая рука кавалера де Жиака» (отнесенная автором к виду «исторических сцен»), имеющая хронологическую общность с романом «Изабелла Баварская».

Повесть эта продолжает действие, развернувшееся на страницах «Изабеллы Баварской». Здесь отражена та же эпоха XV столетия средневековой Франции. В 1425 г. Генеральные Штаты Франции предоставили армии большую сумму для ведения войны с англичанами. Одним из советников королевства в то время был полководец Пьер де Жиак (1380—1427), находившийся ранее на службе у королевы Изабеллы Баварской. Ведя разгульный образ жизни, он израсходовал огромные средства на личные нужды, вследствие чего воюющая армия осталась без довольствия и денежных средств. По приказу главнокомандующего Ришмона де Жиак был арестован и казнен. На основе короткой хронки, рассказывающей об этом событии, Дюма правдиво очертил ряд образов, воскресил дух средневековой эпохи с ее войнами, жестокими нравами. Но уже со второй половины 30-х годов основное внимание писатель уделит разработке жанра историко-приключенческого романа, к которому следует отнести такие его вещи, как «Капитан Поль» (1838), «Шевалье д'Арманталь» (1840). Характерная черта творческого метода писателя состояла в том, что он брал за основу фабулы важное историческое событие, создавал напряженное действие, эпицентром которого была феодальная междоусобица, либо сражение враждующих стран, либо восстания и революции, происходившие в различных странах мира.

Так в романе «Анж Питу» с эпическим размахом очерчены победоносный штурм Бастилии, охватившее всю Францию в 1789 г. общественное возмущение.

II

Годы 1840—1848 — период наиболее интенсивного труда писателя, когда им были созданы произведения, ставшие известными во многих странах мира. Поражает разнообразие жанров: роман исторический и нравоописательный, новеллы фантастические и реалистические, драмы и комедии, путевые очерки и газетные статьи.

«Граф Монте-Кристо» — классический образец жанра романа-фельетона. Каждая глава включает напряженный момент из жизни того или иного персонажа, перекидывает мост к следующей ступени увлекательного сюжета, раскрывает новые грани характера героев.

Работая над «Графом Монте-Кристо», Дюма одновременно начал публиковать роман «Три мушкетера» (1844), первую часть знаменитой трилогии, в которую вошли романы «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя».

Для того, чтобы воссоздать масштабную картину политических интриг, народных движений, семейных нравов, для того, чтобы показать фигуры исторических персонажей, кардинала Ришелье, Людовика XIII, герцога Бекингема, Анны Австрийской, Александру Дюма потребовалось затратить немало усилий, пока на протяжении пяти лет создавалась грандиозная трилогия. Один лишь перечень книг, прочитанных автором для этой цели, «составил целую главу». Но

тиния сами по себе еще ничего не доказывают. Нужно было обладать редчайшим мастерством, изумительной фантазией, чтобы воскресить весь драматизм жизни XVII столетия, наделить героев реальными человеческими страстями.

Накануне революции 1848 г. Дюма обращается к эпохе, которой он уделит исключительное внимание в своем творчестве, — к XVI веку, и пишет вторую трилогию, посвященную борьбе Генриха Наваррского за французский престол: «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «Сорок пять» (1845—1848).

Происшедшая во Франции буржуазно-демократическая революция повлекла в свои ряды многих писателей, историков, философов.

Дюма отрицательно относился к монархии Луи-Филиппа и весте о крушении королевского трона встретил с искренним ликованием. Он устраивает на площади Парижа народное гуляние и уже в марте 1848 г. начинает выпускать журнал, публикуя в нем статьи в защиту Республики. Но Республика просуществовала всего лишь несколько лет.

Следует напомнить, что во французской беллетристике тема Великой революции 1789—1794 гг. разработана Дюма достаточно широко и художественно впечатляюще. Сошлемся хотя бы на знаменитую тетралогия — «Жозеф Бальзамо», «Ожерелье королевы», «Анж Питу», «Графиня Шарии».

В декабре 1851 г. президент французской республики Луи-Наполеон произвел государственный переворот. Законодательное собрание было распущено, республиканская конституция отменена, и через год во Франции была провозглашена империя во главе с императором Наполеоном III.

В декабре А. Дюма уехал в Брюссель, где начал писать «Мемуары», которые по своим художественным достоинствам не уступают его лучшим беллетристическим сочинениям.

Возвратившись в Париж в 1853 г., Александр Дюма основал здесь собственный журнал «Мушкетер», пытавшийся быть независимым в отношении нового режима. Но по-прежнему главным делом его жизни являлся усердный труд над большими романами.

Эпоха Реставрации отражена в «Могиканах Парижа» (1854—1858). «Могикане» — это французские карбонарии, боровшиеся с монархическим режимом Реставрации, предшественники тайных обществ республиканцев 30-х годов. По убеждению автора, карбонарии многое сделали для популяризации республиканских принципов, поэтому он отдает должное их мужеству.

Продолжая заполнять «белые пятна» многовековой эпопеи, Дюма в 1857 г. обращается к роману под несколькими завуалированными названиями «Сообщники Иегу». Этот роман представляет тот эпизод из истории Франции, когда она вела революционные войны против коалиции Англии и Австрии. Под именем Иегу скрывался Жорж Кадудаль, известный монархист, заговорщик. Действие романа начинается в 1799 г., когда Наполеон был первым консулом Республики. В стране создалась напряженная обстановка. Восстание в Вандее, спровоцированное монархистами, поддерживалось бандами Кадудала, грабившими государственную казну и терроризировавшими мирных жителей.

Александр Дюма в реальном свете изображает энтузиазм республиканских солдат, противопоставленный силам монархической Вандеи. Симпатии автора на стороне революционной Франции, и он

с демократических позиций очерчивает неодолимость народного движения, бесплодность усилий европейских монархов подавить его.

Александр Дюма был знаком с Гарибальди. Он написал о его легендарной «тысяче» художественный очерк — «Гарибальдийцы» (1862), своим личным участием поддержал борьбу итальянцев за возрождение единого государства и перевел на французский язык мемуары итальянского полководца.

Весной 1860 г. Гарибальди со своим отрядом высадился на острове Сицилия, чтобы помочь восставшим патриотам. Гарибальдийская «тысяча» разбила войска неаполитанского короля и, поддерживаемая широкими массами крестьян и ремесленников, освободила остров Сицилию. Вслед за освобождением Сицилии, несмотря на запрет Сардинского правительства, боявшегося ухудшить отношения с Наполеоном III, Гарибальди перенес борьбу на полуостров, к сентябрю 1860 г. занял Неаполь и изгнал неаполитанских Бурбонов.

Правое дело Гарибальди, борющегося за единую Италию, поддержали в своих обращениях Виктор Гюго и Жорж Санд. Дюма пожертвовал Гарибальди для покупки оружия пятьдесят тысяч франков. В сентябре 1860 г. он направился в Неаполь, где Гарибальди назначил его директором национальных музеев.

Проведя в Неаполе четыре года, он написал там один из лучших своих романов, «Сан-Феличе».

Герой романа Сан-Феличе посвящает свою жизнь тому, чтобы Италия стала единым национальным государством, чтобы итальянцы могли жить свободно, изгнав ненавистных иноземцев. В романе раскрыта патриотическая деятельность Сан-Феличе и его верной подруги Луизы Молина. Они увлечены благородной мечтой — стремлением изгнать короля и установить в Неаполе республику. Командуя английской эскадрой, прибывшей на помощь неаполитанскому королю, Нельсон стремится подавить патриотическое движение итальянцев, но, видя, что королевская власть беспомощна перед победоносным движением народных масс, предпочитает отплыть в «тихую гавань Англии», о чем он в самых категорических тонах объявляет королю-марионетке. В романе изображены интриги двора, где королева пользовалась большим влиянием, нежели сам Фердинанд I, колоритно воссозданы массовые сцены, где ощутимо чувство симпатии автора к карбонариям, к народу и глубокая неприязнь к придворной камарилье.

В 1866 г. А. Дюма направился в Пруссию и Австрию; тогда между этими странами возникла война. С фронта он направляет в парижские газеты обзоры военных действий и одновременно работает над новым романом — «Прусский террор», в котором обличил под именем графа Безеверка прусского канцлера Бисмарка.

Весной 1870 года Александр Дюма уехал на юг Франции, где должен был подготовить к изданию ряд книг, но франко-прусская война произвела тяжелое впечатление на писателя, его здоровье резко ухудшилось. 6 декабря 1870 г. он умер и был похоронен в Виллер-Котре.

III

Свою литературную деятельность Александр Дюма начал с публикации сборника «Современных новелл» (1826); вслед за тем, обращаясь к виду малых форм прозы, Дюма написал множество

новелл, повестей, очерков, проникнутых искренним демократизмом воззрений автора, его верой в высокие нравственные побуждения, свойственные людям трудовой среды.

Каждый из больших мастеров французской литературы, а среди них Стендаль и Бальзак, Гюго и Ж. Санд, следуя сложившимся принципам жанра новеллы, вносил в него свою индивидуальную творческую манеру, свое мировоззрение.

В 1834 г., совершая путешествие по Испании и Италии, Александр Дюма побывал в Сицилии, где по совету известного композитора Беллини он осмотрел достопримечательности небольшого селения Баузо и на основе бытовавшего там народного предания написал новеллу «Паскаль Бруно». Стремясь правдиво воспроизвести быт и нравы эпохи, в которую происходили достопамятные события, автор воспользовался историческим сочинением Николо Пальмерини, посвященным королевству Обеих Сицилий. Сюжет «Паскаля Бруно» развивается в двух направлениях: одно из них сосредоточено вокруг событий, происходящих в высшем свете, где пируют и ведут праздный образ жизни знатные аристократы Сицилии во главе с вице-королем де Карини и его любовницей графиней Джеммой. Надменным и жестоким дворянам автор противопоставил молодого крестьянина, поклявшегося отомстить сильным мира сего за поруганную честь матери и за безвинно казенного отца. Такова основа сюжета новеллы Дюма, где главное действующее лицо — типично романтический герой, вступивший в смертельную схватку с враждебным для него обществом.

Многие действия грозного мстителя, многие подвиги он совершает во имя социальной справедливости, появляясь, когда какой-нибудь сензор требовал непомерной аренды со своего бедняка фермера, когда корыстолюбие родителей мешало браку двух влюбленных, когда несправедливый приговор угрожал невиновному. «Естественно, — замечает автор, — что люди, облагодетельствованные Паскалем Бруно, платили ему неограниченной преданностью, а все предпринятые против него меры ни к чему не приводили благодаря бдительности крестьян, которые тут же предупреждали его о грозящей опасности».

Рисуя трагическую судьбу мужественного бунтаря, Дюма предвзвешивает повествование достаточно определенным рассуждением о деспотизме дворянских монархий, несправедливости существующих законов, оберегающих устои господствующего класса. «Недужинный ум, — замечает Дюма, — оборачивается бедой для человека низкого происхождения, человек этот пытается вырваться из общественных и моральных рамок, которыми судьба ограничила его жизнь... Он восстает против общества, которое бог разделил на две столь несхожие части — одну для счастья, другую для страдания; он возмущен несправедливостью неба и сам возводит себя в ранг защитника слабых и врага сильных».

Отсюда героизация личности Паскаля, оправдание его образа жизни. Естественно, творческая фантазия романиста дополнила сицилийскую легенду о народном герое некоторыми необычайными подвигами, но яркий образ Паскаля Бруно не стал от этого менее убедительным. Он дополнил собою ряд художественных образов, созданных известными французскими романтиками Нодье, Гюго, Ж. Санд.

В основе новеллы «Маскарад» (1834) — тема супружеской неверности, нашедшей широкое отражение во французской литерату-

ре 30-х годов. Сложившиеся между героями отношения не представляют собой ничего исключительного, неестественного в условиях жизни французского аристократического общества, но тем не менее в исполненной драматизма новелле Дюма воплощена мысль о том, что истинная любовь, великое, всепобеждающее чувство, не терпит лжи, обмана, цинической опустошенности. Хотя автор и скупо очерчивает биографии действующих в повествовании лиц, он не опускает существенных черт, показывающих пагубное влияние общественной среды на трагические судьбы людей.

В критическом отзыве на книгу «Современные повести модных писателей. Собраны и переведены Ф. Коин» Беллинский писал: «Выбор пьес в этой первой книжке не слишком строг; ибо только первая повесть — «Маскарад», которая в кратком, молниеносном очерке заключает глубокую поэтическую мысль и живую картину человеческого сердца и носит на себе яркую печать мощного и энергического таланта знаменитого Александра Дюма, достойна особенного внимания»¹.

Попутно заметим, что В. Г. Беллинский одним из первых стал знакомить русского читателя с прозаическими произведениями французского писателя. В 1834 году он опубликовал в своем переводе очерк А. Дюма «Гора Гемми» и новеллу «Мечь», представляющую собой вставной рассказ очерка «Воды Экса»².

С проникновенным вниманием к ранним рассказам А. Дюма отнесся и А. И. Герцен. В письме к Н. А. Захарьной он рекомендовал ей прочесть историческую повесть «Красная роза» — «Там ты найдешь в Бнанке знакомое, родное твоей душе»³.

IV

Написав вначале несколько романов на сюжеты из национальной истории, Дюма уже в ранний период своего творчества проявляет исключительный интерес к России и в 1840 году публикует свой роман, посвященный декабристам.

Враждебно принятый Николаем I, этот роман был запрещен цензурой к переводу, но тем не менее многие его читали и сообщали содержание тем, кто не мог ознакомиться с «Учителем фехтования» в оригинале. Русский перевод романа был опубликован лишь в 1925 году, в памятную дату столетия со дня восстания декабристов.

Откуда возникло название книги, как будто не имеющее отношения к декабристам?

В первых главах книги рассказано о приезде в Петербург в 20-х годах известного мастера фехтовального искусства Огюстена Гризье, ставшего по рекомендации великого князя Константина преподавателем фехтования в Главном инженерном училище. Гризье был знаком со многими декабристами, находился в дружеских отношениях с И. А. Анненковым, Н. А. Муравьевым, С. П. Трубецким, проявлял интерес к их деятельности и их судьбе.

¹ Беллинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 13. М., 1959, с. 285.

² Там же, т. I, с. 170.

³ Герцен А. И. Собр. соч. в 30 тт. Т. 21. М., 1961, с. 123.

Будучи человеком гуманным, Гризье не одобрял произвола судебных властей. Он открыто высказался в присутствии одного из членов царской семьи против ссылки безвинных людей в Сибирь.

Возвратившись во Францию, Гризье основал в Париже школу фехтования, преподавал в ряде учебных заведений и в 1847 году опубликовал большой труд «Фехтование и дуэль». В этой книге среди учеников французского преподавателя названо имя А. С. Пушкина.

Гризье любил общество литераторов и художников. Его дом в Париже стал литературным салоном, где бывали Александр Дюма¹, Эжен Сю, Жюль Жанен, Орас Верне, Эмиль Дешан.

По свидетельству самого Дюма, он получил от Гризье рукопись под названием «Записки учителя фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге».

Несомненно, что «Записки» Гризье были одним из важных, но не единственным источником этой книги. Дюма использовал и другие исторические материалы, необходимые ему для воссоздания колорита эпохи. При оценке этого произведения, и в частности степени его исторической правдивости, следует учитывать ряд обстоятельств. Прежде всего мы не вправе забывать, что Александр Дюма являлся одним из первых создателей романа о русских революционерах, что книга эта была написана автором в эпоху, когда возмутительная ложь придворных историков выдавалась за научно-достоверное истолкование событий русской истории.

20 декабря 1825 г. Николай I во время приема дипломатического корпуса, желая, чтобы Европа узнала «истину о событиях 14 декабря», заверял аудиторию, что «восстание это нельзя сравнить с тем, что происходило в Испании и Пьемонте. Слава богу, до этого мы еще не дошли и не дойдем никогда... еще раз повторяю вам: то было не восстание... Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями, пустил несколько ложных ростков и внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря богу, в России нет данных».

Политическую концепцию императора Дюма опроверг средствами художественного обобщения: в центре романа изображено военное восстание, преследовавшее цель уничтожения крепостного права и установления в России республиканской формы правления. Революционеры заранее выработали план восстания и программу мер, которые должны были быть приняты после свержения самодержавия; как только восстанет один из полков, предполагалось отправиться с ним по казармам поднимать и другие полки, и затем идти на Сенатскую площадь с барабанным боем, под знаменами с тем, чтобы привлечь на свою сторону горожан.

«Заговорщики надеялись,— замечает Дюма,— что Николай не пожелает применить силы против этой демонстрации и войдет с восставшими в переговоры, последствием которых явится его отказ от престола.

¹ К третьему изданию книги «Фехтование и дуэль» (1862) А. Дюма написал вступительную статью.

В батальной сцене, развернувшейся на Сенатской площади, Дюма довольно точно восстановил расположение войск революционного стана, солдаты которого призывали солдат, присягнувших Николаю, действовать сообща, не убивать своих братьев. Первым на площадь, как отмечает Дюма, прибыли роты Московского полка во главе с командирами Щепиным-Ростовским, Александром и Николаем Бестужевыми. К ним присоединились гренадеры, матросы гвардейского экипажа. Первое военное сражение революционно настроенных солдат против правительственных войск потерпело поражение.

Дюма рассказал об этом скупно, однако в нескольких главах он сумел выразить свое чувство восхищения перед «богатырями, кованными из чистой стали» (А. И. Герцен).

Раскрывая смысл революционного акта 14 декабря, Герцен заметил: «До сих пор никто не верил в возможность политического восстания, устремляющегося, с оружием в руках, в атаку на великана императорского царизма, в самом центре Петербурга. Было хорошо известно, что время от времени во дворце убивали то Петра, то Павла, чтобы заменить их другими. Но между этими тайными бойни и торжественным протестом против деспотизма — протестом, провозглашенным на городской площади и скрепленным кровью и муками этих героев, не было ничего общего. Впрочем, они не слишком рассчитывали на успех, однако понимали огромное значение своего выступления. 25-го числа один совсем еще молодой человек, тоже поэт, князь Одоевский, говорил с восторгом, обвиняя своих друзей: «Мы идем на смерть... но на какую славную смерть!»¹.

В «Учителе фехтования» был продемонстрирован «торжественный протест против деспотизма». Автор детально описал дворцовый заговор 1801 года, завершившийся смертью Павла и восшествием на престол Александра. Тогда же в правительственном сообщении было официально объявлено, что Павел I скончался от «внезапного апоплексического удара». Вплоть до 1905 года эта фальсификация выдавалась за непреложную истину в прессе и в исторических сочинениях.

Но уже за 60 лет до этого, в эпоху царствования Николая I, Дюма, обличив во лжи правительство, разоблачил всех тех, кто хладнокровно душил Павла I в Михайловском замке.

В тех главах, где была воскрешена история царствования Романовых, Дюма придал своему роману характер остроносничного памфлета. Простой народ терпел всевозможные унижения, нравственные страдания и во времена Анны Иоанновны, морившей людей в ледяном доме, и во времена Екатерины, отрубившей голову Емельяну Пугачеву, терпел безумные выходки Павла I, при котором муштра солдат, парады стали не только его любимым занятием, но также центром всех его государственных забот.

Фигуры Александра I и Николая I очерчены в «Учителе фехтования» крайне статично и обедненно. Александр-отцеубийца, покорный соучастник заговорщиков, милостиво принимающий по их повелению императорский престол; Николай — разъяренный деспот, с вождельным взирающий на тех, кто в скором времени станет

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30 тт. Т. 13. М., 1958, с. 140.

жертвой его императорского гнева: Пройдет двадцать лет, и Дюма вновь, в другом своем произведении, обогатит образы царственных особ, раскроет новые грани их характера. Об этом будет сказано несколько позже.

V

Главные герои романа «Учитель фехтования» — Иван Александрович Анненков и француженка Полина Гебль, ставшая после замужества Прасковьей Егоровной Анненковой, запечатлевшей пребывание на каторге в своей книге воспоминаний¹.

Композицию этого романа Дюма формирует, сообразуясь с теми моментами из жизни героев, которые были зафиксированы Гризье. Богатая фантазия писателя придала хроникальному материалу форму художественного произведения, в котором историзм соседствовал с изрядной долей вымысла.

Узловыми эпизодами сюжета были:

Приезд Гризье в Петербург. Его знакомство с Луизой Дюпю (Полиной Гебль). Любовь Луизы и кавалергардского офицера Алексея (Анненкова). Встречи республиканца Алексея с заговорщиками. Военное восстание декабристов. Арест Алексея. Суд и ссылка. Следование Луизы в Сибирь. Бракосочетание Луизы и Анненкова на Петровском заводе.

Итак, сюжет романа в основных своих разветвлениях построен сообразно тем обстоятельствам, которые могли сложиться в жизни Анненкова и его близкого друга. М. Н. Волконская в своих «Записках» образно рисует момент приезда будущей супруги декабриста:

«Анненкова приехала к нам, нося еще имя м-ль Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30; она кипела жизнью и весельем и умела удивительно выскрывать смешные стороны в других. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление его величества относительно ее свадьбы. С Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но, по возвращении, их опять на него надели. Дамы проводили м-ль Поль в церковь; она не понимала по-русски и все время пересмевалась с шаферами — Свистуновым и Александром Муравьевым. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее отказаться от своей родины и от независимой жизни»².

Анненков, как представил его Дюма, особо значительной роли в движении декабристов не принимал, но он возвеличен как человек и участник восстания, увлеченный мечтой — основать в России республику, он отдает во имя торжества этого дела все свои средства. Увидев, как в неравной борьбе пали его сподвижники, он не бежит с поля боя, а добровольно вручает свою шпагу офицера царскому сановнику Орлову.

Романист явно обеднил духовную сторону жизни члена Северного общества И. А. Анненкова, получившего прекрасное образование

¹ Воспоминания Полины Анненковой. М., 1929.

² Записки княгини М. Н. Волконской. Чита, 1956, с. 86.

в Московском университете. На следствии Анненков указал на исключительное значение лекций швейцарского просветителя Дюбуа, которые он слушал в университете: «Первые свободные мысли внушил мне мой наставник, ибо он всегда выставлял свое правительство как единственное, не унижающее человечества, а про прочие говорил с презрением, наше же особенно было предметом его шуток».

Академик М. В. Нечкина, выявляя рост политического сознания русских революционеров, пишет: «Поручик кавалергардского полка декабрист Анненков, объясняя Николаю I, почему не донес на Общество, также (как А. Раевский.— М. Т.) мотивировал это честью: «Тяжело, не честно доносить на своих товарищей». В ответ на это Николай, всплыв, крикнул: «Вы не имеете понятия о чести!»

Столкнулись два понятия о чести — реакционное и революционное¹.

По показаниям Матвея Муравьева-Апостола, Анненков наряду с Рылевым, Н. Тургеневым, Оболенским выражал согласие с умыслом царевубийства и установления республики. Арестованный 19 декабря Анненков был приговорен Верховным уголовным судом к 20 годам каторжных работ с последующей ссылкой на поселение. Поскольку события романа «Учитель фехтования» завершались в 1826 г., естественно, Дюма не мог рассказать о жизни своего героя в последовавшие затем годы.

В Сибири Прасковья Егоровна и Иван Александрович прожили тридцать лет. В 1854 г. их навещал находившийся в ссылке Ф. М. Достоевский, знавший, сколько вытерпели они горя. Несколько позже он писал П. Е. Анненковой: «Я всегда буду помнить, что с самого пребывания моего в Сибири, вы и все превосходное семейство ваше брали и во мне и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного, утешительного чувства, и, кажется, никогда не забуду». (Письмо Ф. М. Достоевского П. Е. Анненковой, 18 октября 1855 г.).

В 1856 году И. А. Анненков с супругой переехали на постоянное местожительство в Нижний Новгород. Здесь И. А. Анненков служил в губернском управлении, состоял членом комитета по улучшению быта крестьян, был избран почетным мировым судьей, принимал деятельное участие в проведении крестьянской реформы.

В Нижнем Новгороде Анненков завел знакомство с литераторами. Великий украинский поэт Т. Г. Шевченко сделал краткую запись в своем дневнике от 16 октября 1857 г.: «На квартире у Якобы встретился я и благоговейно познакомился с Иваном Александровичем Анненковым».

Здесь мы не будем говорить о серьезных ошибках автора «Учителя фехтования», допущенных им при реализации столь сложной темы, как деятельность русских революционеров 20-х годов. Причин тому множество. Укажем лишь те, которые ясны каждому. Прежде всего «Учитель фехтования», один из ранних романов Дюма, и за плечами французского писателя не было еще его известных творений — ни «Трех мушкетеров», ни «Графа Монте-Кристо», опыт создания которых помог бы ему, положив в основу эпохальное событие русской действительности, создать масштабное художественное произведение.

¹ Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977, с. 332.

Не забудем и другого немаловажного обстоятельства — отсутствие объективных сведений о характере движения декабристов. Писатель мог познакомиться лишь с «Докладом следственной комиссии» да с легендой «о нескольких злодеях и безумцах, мечтавших о возможности революции», для которой в России не существовало благоприятных условий.

Известный литературовед С. Дурьлин весьма объективно и содержательно охарактеризовал значение книги французского писателя: «Роман Дюма был повествованием о декабристе, основанном не на вымысле, а на исторической правде, и повествованию этому, вышедшему из-под пера популярнейшего писателя современности, был обеспечен успех и внимание широкого европейского читателя. Для Николая I это не могло не быть весьма неприятным сюрпризом. Роман Дюма привлекал внимание — и сочувственное внимание — широкой европейской аудитории к людям, самое имя которых для Николая I было ненавистно. Присуждая декабристов к каторжному молчанию сибирских пустынь, Николай хотел казнить их жестокой казнью полного забвения. Дюма своим романом отменял этот приговор для одного из декабристов и тем самым привлекал внимание к судьбе всех остальных. Эти остальные героические тени проходят в романе»¹. И действительно, стоит прочесть описание событий, происходивших 14 декабря на Сенатской площади, и можно убедиться, что Дюма всецело на стороне храбрых солдат и офицеров, принявших участие в памятном восстании.

VI

В 1858 г. осуществилась давнишняя мечта французского писателя — посетить Россию. Прибыв в Петербург 23 июня, он остановился в особняке Г. А. Кушелева-Безбородко. В доме мецената и беллетриста постоянно собирались многие литераторы. У Кушелевых Дюма свел знакомство с Д. В. Григоровичем, А. К. Толстым и Л. А. Меем. Григорович познакомил Дюма с Н. А. Некрасовым и супругами Панаевыми.

Петербург встретил французского писателя с искренним радушием, так как Дюма, по свидетельству И. И. Панаева, пользовался в России почти такой же популярностью, как и во Франции.

В Петербурге Дюма провел полтора месяца, затем направился в Москву. Далее он предпринял путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, а затем через Кизляр и Баку добрался до Кавказа и только лишь в марте 1859 г. возвратился во Францию.

В результате поездки по России Александр Дюма смог создать обширный цикл очерков, еженедельно выходивших в свет в его журнале «Монте-Кристо». По завершенности, образности и драматическому напряжению они напоминали собою главы-фельетоны, из которых составлялись его знаменитые романы. Написанные во время путешествия, очерки-фельетоны Дюма впоследствии вошли в объемистые тома «От Парижа до Астрахани» и «Кавказ». Французский читатель проявил исключительный интерес к этим книгам; в течение трех лет они выдержали три издания. В 1861 г. «От Парижа до

¹ Дурьлин С. Александр Дюма-отец и Россия. В кн.: Лит. наследство, №№ 31—32, М., 1937, с. 513.

Астрахани» были дополнены несколькими главами и опубликованы под новым названием «Путевые впечатления. В России».

В жизни А. Дюма были такие моменты, которые могли бы послужить ярким эпизодом для историко-приключенческого романа. В связи с затронутой темой декабристов, преломленной в творчестве Дюма в «Путевых впечатлениях», приведен один замечательный эпизод, о котором здесь следует упомянуть.

Французский писатель посвятил свое раннее произведение реальным лицам, заслужившим всенародное уважение, которых он лично не знал. Каково же было его изумление, когда через двадцать лет после опубликования «Учителя фехтования» он встретился с ними. Вот как это произошло. В октябре 1858 г. А. Дюма прибыл в Нижний Новгород. Там его ждал декабрист Александр Муравьев, ставший после манифеста 1856 г. нижегородским губернатором.

Муравьев устроил в честь французского писателя прием, заранее предупредив Дюма, что ему готовится сюрприз. Прибыв в 10 часов вечера в губернаторский дом, Дюма повстречался там с княгиней Шаховской и сыном писателя Н. М. Карамзина.

«Не успел я занять место, думая о сюрпризе, который, судя по приему, оказанному мне Муравьевым, не мог быть неприятным, как дверь отворилась и лакей доложил: «Граф и графиня Анненковы». Эти два имени заставили меня вздрогнуть, вызвав во мне какое-то смутное воспоминание.

«Александр Дюма», — обратился генерал к ним. Затем, обращаясь ко мне, сказал: «Граф и графиня Анненковы — герой и героиня вашего романа «Учитель фехтования». У меня вырвался крик удивления, и я очутился в объятиях супругов.

Это на самом деле были Алексей и Полниа, о жизни которых мне рассказал Гризье, что послужило сюжетом моего романа «...Само собой разумеется, что мой герой и героиня завладели мною на весь вечер, или, вернее, я ими завладел. Анненков начал рассказывать о себе. Пробыв год в крепости, он вышел оттуда в оковах на руках и ногах и был отвезен в Иркутск. Отправились они вчетвером, но прибыл Анненков один, — другие остались по дороге: одни умерли, другие тяжело заболели.

Прибыв в Нерчинск, он там нашел своих товарищей — одни работали в серебряных рудниках, другие были заключены в Читинской тюрьме. Это лишение свободы имело целью помешать общению ссыльных с населением».

Анненковы весьма почтительно отнеслись к автору романа «Учитель фехтования», в котором они представляли в роли основных героев.

Одновременно с публикацией в «Монте-Кристо» глав-фельетонов о путешествии по России Дюма издал в Бельгии исторический очерк — «Письма из Петербурга» (1859), запрещенные к печати во Франции. В этой книге, проводя аналогию между Россией и Францией, Дюма сожалеет, что в России на протяжении последних трех веков не произошло радикального изменения форм государственного устройства, после которого «были бы разорваны последние цепи рабства и отменены последние привилегии дворянства».

Автор приводит бесчисленное множество фактов, характеризующих состояние русских деревень в первой половине XIX в. Существовал ряд причин, побуждавших французского писателя включить

и свою книгу путешественника сцены из крестьянской жизни России. Для того, чтобы понять и по возможности верно объяснить восстание 1825 г. нужно было заострить внимание на одном из главных принципов программы декабристов — отмене крепостного права. И хотя Дюма широко оповестил своих читателей, что он едет в Россию накануне освобождения нескольких миллионов рабов, по приезде в Петербург он узнал, что в России существует реакционная партия, имеющая сильную поддержку в правительственных кругах и решительно выступающая против какой бы ни было реформы, улучшающей условия жизни крестьян.

Несмотря на то, что Дюма находился в России накануне освобождения крестьян, узнать истину о том, чем живет русская деревня, было не так-то легко, поэтому многие его описания крестьянского быта основаны на печатных источниках, указах, повелениях, отчетах о судебных процессах, стихах и повестях русских поэтов и прозаиков, устных рассказах весьма авторитетных лиц.

Исключительно богатый материал по крестьянскому вопросу предоставил путешественнику Д. В. Григорович, изобразивший в своих повестях вереницу крестьян-«горемык», и Дюма, описывая состояние русской деревни, смог многое позаимствовать у автора «Антон-горемыки», «Деревни».

VII

Во многих главах книги «Путевые впечатления» Александр Дюма развивал идеи русского освободительного движения.

Так, побывав в Петропавловской крепости, у путешественника зародилась мысль сравнить ее с Бастилией — символом мрачных времен французских королей: «Бастилия Санкт-Петербурга, подобно Бастилии Сент-Антуанского предместья, стала прежде всего тюрьмой мысли. История Петропавловской крепости, если бы удалось ее написать, была бы ужасна. Эта крепость все видела, все слышала, но до сих пор она все держит в тайне. Однако настанет день, когда распахнутся ее ворота. Тогда люди придут в ужас перед кромешным мраком сырых казематов. Настанет день, и крепость заговорит подобно замку Иф. В тот день Россия обретет подлинную историю; до сих пор ее история была соткана из легенд».

Одной из таких ложных легенд была книга барона Корфа — «Восшествие на престол императора Николая I» (1856), которую Герцен назвал «подлым произведением придворного евнуха».

Оклеветав благородные имена молодых революционеров, Корф создал хвалебную оду в честь императора, с ликованием воспринятую в придворных кругах:

«...В то время, когда большая часть войск присягала в совершенном порядке и огромное большинство народонаселения столицы с умлением произносило или готовилось произнести обет вечной верности монарху, с таким самоотвержением и с такими чистыми помыслами решившемуся возложить на себя венец предков, скопище людей злонамеренных или обольщенных, обманывающих или обманутых стремилось осквернить эти священные минуты пролитием родной крови и дерзким, чуждым нашей святой Руси преступлением».

Иначе выглядела история у Дюма: в его правдивых портретах монархи изображены фанатично безжалостными угнетателями своих подданных, душителями свобод в чужеземных государствах.

В очерке «Император Николай» Дюма рисует образ монарха и человека, каким он был в жизни. Николай представляется ему посредственным дипломатом, не понимавшим, что Франция стремилась быть верным союзником России. «В течение тридцати лет он был неусыпным стражем. Часовой легитимных монархий, словно пожарный на каланче, который во всех городах его империи подает сигнал бедствия, он не только подавал сигнал о пожаре революции, но всегда был готов задушить ее у себя или у других».

Подобного рода суждений, характеризующих политическую деятельность императора, в книге французского писателя немало. Все они проникнуты гражданским пафосом романтика-демократа, который противопоставил разнузданному деспотизму царя фалангу героев-декабристов, живые портреты которых предстали здесь в ореоле величия и бессмертной славы.

В этом можно убедиться, прочитав публикуемый в настоящем издании очерк Александра Дюма «Мученики».

После рассказа о пяти повешенных, стоически принявших мученическую смерть, Дюма, продолжая свое повествование в книге «Путевых впечатлений», обращается к тем, кто в кандалах направился по этапу в Сибирь.

Дюма не мог перечислить всех солдат и офицеров, принимавших участие в восстании 14 декабря, в различной форме подвергнутого суровому наказанию. Он просто не знал их имен, как не знали многие его современники, но об основных героях декабрьского восстания Дюма отозвался в тоне самого глубокого уважения. Мечты и идеалы декабристов были близки и дороги его республиканской натуре.

Очерк, посвященный революционерам, сосланным в Сибирь, проникнут убежденностью автора, что в России возникнет Республика, восторжествует гражданская свобода.

Александр Дюма был глубоко восхищен подвигом русских женщин, которые не придали никакого значения пышности и ложному блеску света, их окружавшего, сохранили верность своим мужьям и последовали за ними в Сибирь. Об этом он поведал в других очерках, включенных в книгу «Путевые впечатления».

VIII

В романе «Сорок пять» (1848) Александр Дюма воспроизвел некоторые эпизоды из времен Нидерландской буржуазной революции XVI столетия. Автор представил впечатляющую картину сражений на полях Фландрии, когда лесные и морские гезы проявляли чудеса храбрости в битвах против чужеземных полчищ.

«События редко предают правое дело» — заявляет Дюма! Придерживаясь этой истины, он художественно значимо рассказывает о патриотическом воодушевлении народа, боровшегося против деспотизма испанского короля Филиппа II.

Началом Нидерландской революции явилось народное восстание в августе 1566 г., обратившееся против католической церкви —

главной опоры Испании в Нидерландах». В результате революции XVI века на освобожденных от испанского владычества землях образовалась буржуазная республика, которая в XVII веке получила название Голландии.

В «Черном тюльпане» (1850) историческим фоном служат события, развернувшиеся в Голландии в 1672 г., когда в стране возникли сложные внутренние и международные конфликты.

Во второй половине XVII века Голландии пришлось вести три войны против владычицы морей и колоний Англии. В результате англо-голландских войн Нидерланды постепенно были оттеснены в морской торговле англичанами и вытеснены ими из ряда колоний.

В 70-х годах XVII века против Голландии выступила мощная коалиция европейских государств во главе с Францией.

Александр Дюма отразил этот момент в «Виконте де Бражелоне».

Читатель помнит, что легендарный д'Артаньян сражался в звании маршала Франции под стенами Маастрихта и погиб там в 1673 г., штурмуя городскую крепость.

Начало действия «Черного тюльпана» отнесено к 1672 г., когда аристократическая партия так называемых оранжистов — сторонников Вильгельма III Оранского — добилась ликвидации республиканского образа правления, обвинив главу правительства в предательском сговоре с французами и в неспособности организовать оборону страны.

В результате государственного переворота 1672 г. правителем Голландии стал штатгальтер Вильгельм III Оранский. Действительно, Вильгельм III оказался умным государственным деятелем и ему удалось успешно завершить военную кампанию, изгнать из Голландии французов, парализовать действия антиголландской коалиции и заключить мир с Англией. И тем не менее Голландия, будучи капиталистической страной, таила в себе все классовые конфликты, всецело поддерживала интересы буржуазного общества.

В «Черном тюльпане» минимальная доля историзма. Дюма здесь не ставил перед собой задачи преломить в книге основной общественный конфликт бурного 1672 г. Но все же во вступлении он воссоздал колоритную сцену народного негодования. Однако массовые сцены на улицах и площадях города Гааги служат автору лишь прелюдией, источником для завязки действия, поводом для неожиданных поворотов интриги.

Такую же подсобную роль в развитии сюжета выполняет и общественно значимое явление голландской действительности — культ цветоводства, разведение различных видов знаменитых голландских тюльпанов. Все это составляет для автора некую необходимую деталь для отражения колорита эпохи.

Важная роль в историко-приключенческом романе отводилась, как правило, тайне, для раскрытия которой герои подвергались величайшей опасности. А. Дюма успешно применял этот литературный прием во множестве поразительно захватывающих произведений. И в развитии сюжета романа «Черный тюльпан» существенная роль отведена тайне. Тайной выращивания уникального тюльпана владеет лишь один человек, молодой врач, страстный цветовод Корнелиус ван Берле. Ему противопоставлен Бокстель. Так с первых же глав книги развивающееся действие подчинено столкновению полярно противоположных персонажей, олицетворяющих собою добродетель и порок общественных отношений.

Корнелиус наделен пытливым умом, великодушнем, величайшим благородством. Бокстель ограничен в умственном отношении, способен совершить любую подлость, вплоть до воровства и предательского навета. В этом противопоставлении нет никакой нарочности, никакого шаблона: определить антагонизм основных героев, изобразить столкновение персонажей различных взглядов и характеров — такова была задача Александра Дюма, которую он перед собою ставил в большинстве своих произведений для того, чтобы правдиво очертить историзм нравов эпохи.

Любовная коллизия — дочь надзирателя тюрьмы Роза Грифус, полюбившая узника Корнелиуса, — напоминает любовь и верную дружбу Клеин и Фабрицио из известного романа Стендаля «Пармский монастырь». Впрочем, Дюма мог воспользоваться и другими литературными источниками, в частности книгой Сильвио Пеллико, «Мои тюрьмы», а также своим классическим опытом — романом «Граф Монте-Кристо».

Исследователи творчества Александра Дюма относят «Черный тюльпан» к числу лучших произведений французского писателя, в котором он, разрабатывая оригинальную тему — культ цветов, создал правдивые образы и пробудил в сердцах читателей любовь к божественной природе и ее поразительным тайнам.

IX

Оценивая идейно-художественное значение романов Александра Дюма, необходимо учитывать особенности жанра историко-приключенческого романа и те основные тенденции, которые утверждались во французской литературе и историографии периода Реставрации и Июльской монархии.

Французские писатели — Гюго, Ж. Санд, Э. Сю были воодушевлены мыслью о том, что человеческое общество развивается, что на смену феодализму пришел новый буржуазный строй. Идея закономерности исторического развития, выдвинутая историками 20-х годов, всецело соответствовала интересам буржуазного класса в тот момент, когда его позиции не были еще окончательно упрочены. Это и создавало благоприятную почву для воплощения в художественной беллетристике идеи прогресса. После 1830 г., как только возникла буржуазная монархия, либеральные историки и философы стали развивать теорию, призванную доказать, что человеческое общество достигло предела в своем поступательном движении, что буржуазный строй совершенен и незыблем. Отныне идея прогресса отвергается и заменяется реакционной философией «извечности» порядков, установленных пришедшим к власти новым классом. Не только в социологии тридцатых годов, но и в литературе модной становится «теория случайности», «силы обстоятельств», объясняющая исторические события, войны, революции, переживаемые человечеством, возникшем «господина великого случая». Притом иногда этот случай именовался роком, божественным провидением. «В зависимости от того, в какую эпоху бросит нас провидение, мы получаем в удел счастье или несчастье, свойственное данной эпохе» — так объяснял сущность общественных явлений Проспер де Барант, один из вдохновителей Александра Дюма.

Жанр историко-приключенческого романа, при всем разнообразии эпох и тем, в нем отраженных, отличался одним общим направлением — философским идеализмом, отрицательным образом сказавшимся на идейно-художественной системе романов Эжена Сю, Поля Лакруа, Ф. Сулье.

О. Тьерри рассматривал третье сословие как целостную народную массу, противостоящую духовенству и дворянству, в котором не могло существовать никаких раздоров. Маркс в письме Энгельсу объяснил ошибочность представлений О. Тьерри о третьем сословии: «Если бы г-н Тьерри прочел наши вещи, то он бы знал, что резкий антагонизм между буржуазией и народом возникает, естественно, лишь с того момента, как только буржуазия перестает противостоять дворянству и духовенству в качестве третьего сословия»¹.

В своих рассуждениях о народе Александр Дюма совершал подобного же рода ошибку, что и О. Тьерри, и в результате сложные явления политического и социального характера ускользали от взора романиста, и бурная жизнь Францин, полная смут, восстаний, военных походов, была им произвольно истолкована. Но тем не менее на страницах многих романов народ у Дюма — главная сила, определявшая успех военных кампаний, городских смут, освободительных движений, свойственных каждой эпохе. В этом можно убедиться по ряду романов, «Мемуарам», публицистике французского писателя.

В романах Дюма не только увлекательная фабула, героические характеры, правдивый колорит воскрешенных эпох, но, что не менее существенно, демократическая тенденциозность, стремление представить в положительном свете непременных участников главных событий истории — народную массу, крестьян, ремесленников, карбонариев, все те подспудные силы, которые должны были в один прекрасный день сокрушить деспотизм монархов. В этом отношении примечательны такие романы, как «Сан-Феличе» и «Анж Питу».

В 1857 г. Александр Дюма объяснял читателям, что он в своей жизни преследовал двойную цель: «поучать и занимать». Притом популяризируя историю Франции, он придерживался народного мнения о самодержцах и заведенных ими порядках. «Египетские цари, переходя в вечность, были судимы, находясь в гробу, но то был уже приговор не одного человека, а целого народа. Потому и существует изречение «глас народа — глас божий». Историк же, романист, поэт, драматург, есть не кто иной, как председатель того суда, который излагает вынесенный народом приговор».

Романы Дюма характеризуются стремительно и бурно развивающейся интригой, напряженной драматической композицией, легким, простым и энергичным языком.

Опытность Дюма-драматурга сказалась в том живом и действенном диалоге, который составляет существенный элемент композиции его романов. Речь действующих лиц лаконична, нередко раскрывает характер персонажей и соответствует тем условиям, в которых живут и действуют герои.

Со времен «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» историко-приключенческий роман становится полноправным литературным жанром, порождает большое число последователей, среди которых должен быть назван автор серии романов «Проклятые короли» —

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 28, с. 321.

Морис Дрюон. Не следует преуменьшать значение этого жанра: Введенная в прошлом веке практика ежедневно печатать в газетах романы отдельными главами сохраняется и поныне. Можно сослаться на пример «Юмаите»; среди множества опубликованных этой газетой романов были «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо».

Биографы Дюма пришли к единодушному мнению, что ряд фактических сведений, касавшихся хронологии событий, деятельности исторических лиц, деталей быта грешат неточностью. Так, например, нумерации домов на парижских улицах в XVII веке не существовало. Автора «Королевы Марго» обвиняли в том, что он изобразил Екатерину Медичи публичной женщиной, а она всего-навсего была лишь коронованной преступницей, отравившей мать Генриха Наваррского. Допрос Анны Австрийской, произведенный канцлером Сегье по повелению короля, был учинен не в 1628-м, а в 1636 г. Дюма, объясняя свой метод творчества, отвергал доводы критики: он не историк, а романист, задача которого состоит в том, чтобы верно воспроизвести нравы и характеры эпохи, увлечь читателя, паразит его воображение неожиданными поворотами интриги. «Дюма не предавал истории» — таково мнение одного из первых исследователей творчества Дюма Ипполита Паризо.

А. Дюма порою сознательно допускал отклонения от хронологии, но всегда стремился дать верное описание эпохи, представить персонажей романа в реальной обстановке, продемонстрировать в живом диалоге особенности их речи и образ мышления.



Критически относясь к некоторым посредственным сочинениям А. Дюма, русские писатели и критики признавали замечательный талант французского романиста.

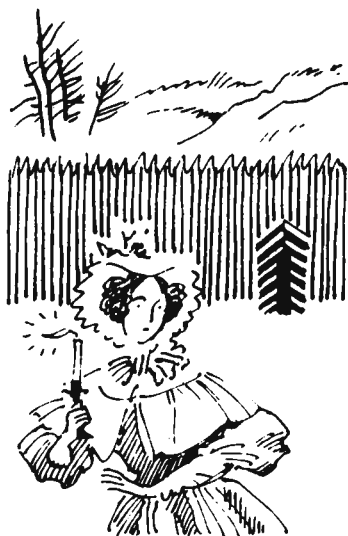
В 1829 г. драма «Генрих III и его двор» была поставлена на сцене Александринского театра (ныне театр им. А. С. Пушкина). В последующие годы драмы и комедии Дюма прочно вошли в репертуар театров России; его романы, не говоря уже о русских изданиях, были широко распространены на языке оригинала.

Во многих странах мира читатели с большим интересом воспринимали произведения французского романиста. Среди читателей его произведений были Карл Маркс и Генрих Гейне, Толстой и Достоевский, Чехов и Горький. Во Франции поклонниками его таланта были Бальзак, Флобер, Жорж Санд. Виктор Гюго признавал мировое значение романов и драм Александра Дюма, художника, обладавшего «тончайшей интуицией истории», писателя, который «оздоровлял и облагораживал умы каким-то радостным и бодрящим светом». Английские писатели Р. Стивенсон и Д. Голсуорси также искренне восхищались французским романистом. Голсуорси выразил мнение, что «по увлекательности повествования Дюма равен Диккенсу».

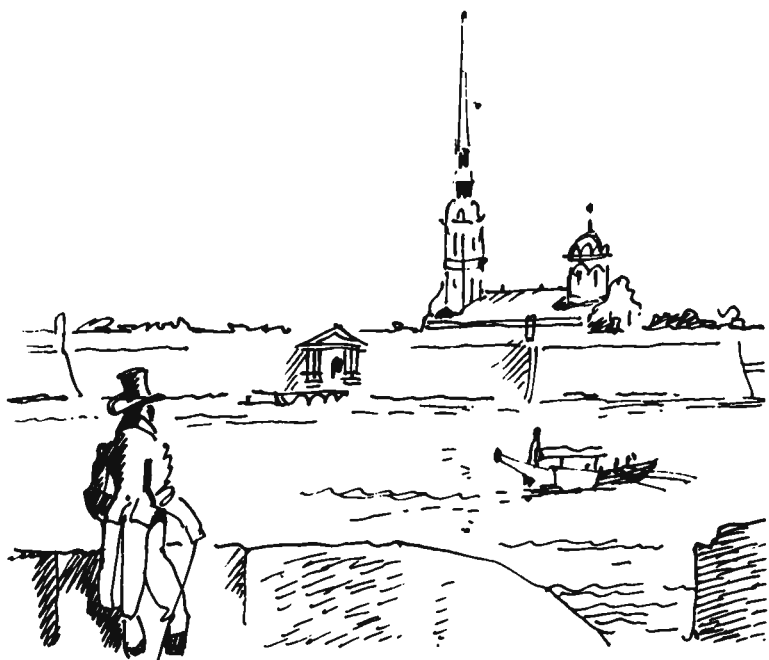
А. И. Куприн был убежден в том, что «образы, вызванные и возвеличенные Дюма, живут сотни лет и передаются миллионам читателей. Их можно назвать вечными спутниками человечества».

М. ТРЕСКУНОВ.

УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ



*Перевод с французского
под редакцией О. В. Моисеенко*



— Бог ты мой! Что за чудо! — воскликнул Гризье, увидев меня на пороге фехтовальной залы, где он задержался после ухода наших друзей.

В самом деле, с того самого вечера, когда Альфред де Нерваль рассказал нам историю Полины, я ни разу не заходил в дом № 4 на Монмартре.

— Надеюсь, — продолжал наш достойный учитель с той отеческой заботливостью, которую он всегда проявлял к своим ученикам, — что вас привело сюда не какое-нибудь скверное дело?

— Нет, дорогой мэтр! Я пришел просить вас об одолжении, — ответил я, — однако оно не из тех, какие вы оказывали мне прежде.

— Я к вашим услугам. В чем дело?

— Дорогой друг, вы должны помочь мне: я в затруднении.

— Если в моих силах вам помочь, считайте, что это уже сделано.

- Спасибо. Я никогда не сомневался в вас.
- Говорите, я жду.
- Представьте себе, я только что заключил договор со своим издателем, а мне нечего дать ему.
- Черт возьми!
- Вот я пришел к вам. Не поделитесь ли вы со мной своими воспоминаниями?
- Я?
- Именно вы. Я не раз слышал, как вы рассказывали о своей поездке в Россию.
- Не спорю.
- В какие годы вы там были?
- В 1824, 1825 и 1826-м.
- Как раз в наиболее интересное время: конец царствования императора Александра I и восшествие на престол императора Николая I.
- Я был свидетелем похорон первого и коронавания второго.
- Я же говорил!
- Поразительная история!
- Как раз то, что мне нужно.
- Представьте себе... У меня в самом деле есть кое-что. Вы терпеливы?
- Вы спрашиваете об этом у человека, который только и делает, что дает уроки.
- В таком случае, подождите.
- Он подошел к шкафу и вынул оттуда какую-то толстенную папку.
- Вот то, что вам требуется.
- Рукопись, прости господи!
- Это путевые записки одного моего коллеги, который был в Петербурге одновременно со мной. Он видел то же, что видел я, и вы можете положиться на него, как на меня самого.
- И вы даете эту рукопись мне?
- В полную собственность.
- Но ведь это же сокровище!
- Сокровище, в котором больше меди, нежели серебра, и больше серебра, нежели золота. Словом, вот вам рукопись и постарайтесь употребить ее с наибольшей для себя пользой.
- Дорогой мой, сегодня же вечером засяду за работу и через два месяца...

- Через два месяца?
- Ваш друг проснется утром и увидит свое детище напечатанным.
- Правда?
- Можете быть спокойны.
- Честное слово, это доставит ему удовольствие.
- Кстати, рукописи недостает одной мелочи.
- Чего же именно?
- Заглавия.
- Как, я должен дать вам еще и заглавие?
- Дорогой мой, не делайте добрых дел наполовину.
- Вы плохо смотрели, заглавие имеется.
- Где же?
- Вот здесь, на этой странице. Взгляните: «Учитель фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге».
- Ну что ж, раз оно есть, мы его оставим.
- Так как же?
- Заглавие принято.

Благодаря этому предисловию читатель примет в соображение, что ни одна строчка книги не принадлежит мне, даже ее заглавие.

Впрочем, речь ведет друг мэтра Грizzle.

Глава первая

Я переживал еще пору иллюзий и владел капиталом в четыре тысячи франков, который казался мне неисчерпаемым богатством, когда услышал о России, как о настоящем Эльдорадо для всякого мастера своего дела. Я верил в свой талант и потому решил отправиться в Санкт-Петербург.

Сказано — сделано. Я был одинок, семьи у меня не было, долгов — также. Стало быть, мне требовалось только запастись несколькими рекомендательными письмами и паспортом, что не отняло много времени, и спустя неделю я уже ехал в Брюссель.

В столице Бельгии я пробыл два дня. В Льеже — один день. Здесь в городском архиве служил мой старый школьный товарищ, и я не хотел проехать мимо, не повидавшись с ним. Я рассказал ему о своем желании посетить крупнейшие города Пруссии и места известных сражений. Но он рассмеялся, говоря, что в Пруссии

останавливаются не там, где хотят, но там, где это угодно вознице, в полном распоряжении которого находятся все пассажиры. Действительно, по пути из Кельна в Дрезден, где я имел намерение остаться на три дня, нам позволяли выходить из нашей клетки лишь для того, чтобы поесть, на что уделялось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы насытиться. После трех дней такого вынужденного заключения, против которого никто из пассажиров не протестовал — настолько это было обычно в королевстве его величества Фридриха-Вильгельма, — мы прибыли в Дрезден.

Не стану подробно описывать, как я добрался до России. Начиная от Вильны я уже ехал по тому самому пути, по которому двенадцать лет тому назад Наполеон шел на Москву.

Я хотел было осмотреть Смоленск и Москву, но для этого нужно было бы сделать крюк верст в двести, что было для меня невозможным. Проведя один день в Витебске и побывав в доме, в котором две недели прожил Наполеон, я сел в повозку, в какой разъезжают курьеры в России. Она называется здесь «перекладной», потому что лошадей перекладывают на каждой почтовой станции.

В эту повозку была впряжена тройка. Одна из лошадей, коренник, бежала молча, высоко подняв голову, а обе пристяжные ржали на бегу, так низко опустив головы, словно собирались вцепиться зубами в землю. Отметим, что по этой же дороге совершала некогда свое путешествие в Тавриду Екатерина.

На другой день вечером я уже прибыл в Великие Луки. Дороги были настолько плохи, а мой экипаж — такой тряский, что я намеревался остановиться здесь, чтобы хоть немного отдохнуть, но решил ехать дальше: мне оставалось до Петербурга не более ста семидесяти верст. Бесполезно говорить о том, что во всю эту ночь я не сомкнул глаз: я катался по повозке, как орех в скорлупе. Много раз я пытался уцепиться за деревянную скамейку, на которой лежало нечто вроде кожаной подушки толщиной в тетрадь, но поминутно скатывался с нее и должен был снова взбираться на свое место, жалея в душе несчастных русских курьеров, которым приходится делать тысячи верст в этих ужасных повозках.

Во всяком другом экипаже я мог бы читать. И надо сказать, что измученный бессонницей я не раз пробовал взяться за книгу, но уже на четвертой строчке она вылетала у меня из рук, а когда я наклонялся, чтобы поднять ее, больно стучался головой или спиной, что быстро излечило меня от желания читать.

В начале следующего дня я был в небольшой деревеньке, Бежанице, а в четвертом часу дня — в Порхове, старом городе, расположенном на реке Шелони. Это составляло половину моего пути. Меня искушало желание переночевать здесь, но комната для приезжих оказалась так грязна, что я предпочел продолжать путь. Кроме того, ямщик уверил меня, что дальше дорога пойдет лучше: это и заставило меня принять столь героическое решение.

Дальше мы поскакали галопом, и меня еще больше бросало и швыряло во все стороны. Ямщик на облучке тянул какую-то заунывную песню, слов которой я не понимал, но грустный мотив ее как нельзя лучше соответствовал моему печальному положению. Скажи я, что мне удалось заснуть в эту ночь, никто бы мне не поверил, да и я сам не поверил бы себе, если бы не проснулся, больно ударившись лбом обо что-то твердое. Повозку так трянуло, что ямщик чуть не вылетел со своего сиденья. Тут мне пришло в голову обменяться с ним местами, но как я ему ни толковал об этом, он не мог понять меня. Впрочем, он, может быть, боялся согласиться, так как думал, что в таком случае не исполнит своего долга. Мы поехали дальше: ямщик продолжал свою песню, а я — свою невольную пляску в повозке. Около пяти утра мы прибыли в село Городец, где остановились позавтракать. Слава богу, отсюда до цели моего путешествия оставалось не более пятидесяти верст.

И вот я снова в своей повозке. Я спросил ямщика, нельзя ли поднять ее верх, на что он охотно согласился.

В Луге мне пришла в голову другая, не менее блестящая мысль: снять сиденье, настлать в повозку побольше соломы, а под голову вместо подушки положить свой плащ. Благодаря этому я получил возможность ехать сравнительно сносно. В Гатчине ямщик указал мне на дворец, в котором жил Павел I во время всего царствования Екатерины. Затем в Царском

Селе я увидел дворец, где и поныне живет император Александр, но я так устал с дороги, что удовольствовался созерцанием этих дворцов издали, дав себе слово осмотреть их более основательно, вернувшись сюда в экипаже лучше.

За Царским Селом в дрожках, которые ехали впереди меня, сломалась ось. Хотя экипаж и не перевернулся, но сильно накренился. Из него выскочил какой-то высокнй, худощавый господин, держа в одной руке цилиндр, а в другой — небольшую карманную скрипку. Он был в черном фраке, какой носили парижане в 1812 году, в коротких панталонах, в шелковых черных чулках и туфлях с пряжками. Очутившись на дороге, он начал топтать сперва правой, затем — левой ногой, потом прыгать, очевидно, желая удостовериться, что ничего не сломал себе. Я счел невозможным проехать мимо, не остановившись и не спросив его, не случилось ли с ним какой-нибудь беды.

— Никакой, сударь,— отвечал он,— если не считать, что я пропущу урок. А за каждый урок я получаю по луидору. Ученица моя — красивейшая женщина Петербурга, мадемуазель де Влодек. Послезавтра она должна изображать Филадельфию, одну из дочерей лорда Вартона с картины Ван-Дейка на празднестве, которое дается при дворе в честь герцогини Веймарской.

— Простите, сударь,— отвечал я,— мне не совсем понятны вашн слова, но это ничего не значит, раз я могу вам быть полезен..

— Не только полезны, но вы можете прямо-таки спасти меня. Представьте себе, что я только что давал урок танцев княгине Любомирской, на ее даче, в двух шагах отсюда. За этот урок я получаю два луидора — меньше я там не беру. Я пользуюсь известностью и извлекаю из этого выгоду. Все это понятно, так как других французов, учителей танцев, кроме меня, в Петербурге нет. А экипаж княгини, в котором меня отвозят в город, как видите, сломался. К счастью, я дешево отделался.

— Если не ошибаюсь, сударь,— сказал я,— то я могу оказать вам услугу, предложив место в своей повозке.

— О, милостивый государь, это было бы огромным одолжением для меня, но я не осмеливаюсь...



— Как! Между соотечественниками?

— Стало быть, вы француз?

— И также артист.

— Вы артист? Ах, сударь, Петербург скверный город для артистов! Особенно для учителей танцев. Надеюсь, вы не учитель танцев?

— Но ведь вы мне только что сказали, что вам платят по луидору за урок. Это, мне кажется, весьма изрядная плата.

— Совершенно верно, но теперь, знаете ли, не то, что было прежде. Французы все здесь испортили. Так вы не учитель танцев? Нет?

— А мне между тем рассказывали о Петербурге как о замечательном городе для любого мастера своего дела.

— Совершенно верно, так оно и было прежде. Какой-нибудь жалкий парикмахер зарабатывал здесь еще недавно по 600 рублей в день, а я с трудом выколачиваю 80. Скажите, сударь, вы действительно не учитель танцев?

— О нет, дорогой соотечественник,— отвечал я, тронутый его беспокойством,— вы можете смело сесть в мою повозку, не боясь, что я окажусь вашим конкурентом.

— С удовольствием принимаю ваше приглашение, сударь,— сказал мой собеседник, усаживаясь в повозку рядом со мною,— теперь благодаря вам я поспею вовремя к уроку.

Ямщик погнал лошадей, и три часа спустя, то есть уже вечером, мы въехали в Петербург через Московские ворота. Мой спутник оказался весьма милым и любезным собеседником; убедившись, что я не учитель танцев, он посоветовал мне остановиться в Лондонской гостинице, на углу Невского и Адмиралтейской площади.

Мы расстались. Он сел на извозчика, а я направился в указанную им гостиницу.

Нечего говорить о том, что, несмотря на все желание поскорее ознакомиться с городом Петра I, я отложил это дело до следующего дня. Я был буквально разбит и едва держался на ногах. С трудом добрался я до своего номера, где, к счастью, оказалась хорошая постель, чего я был лишен в пути начиная от Вильны.

Проснувшись на другой день около двенадцати часов дня, я первым делом подбежал к окну: передо мной высилось Адмиралтейство со своей длинной золотой иглой, на которой красовался маленький кораблик. Адмиралтейство было окружено деревьями. Слева находился сенат, а справа — Зимний дворец и Эрмитаж. Между ними виднелись изгибы Невы, показавшейся мне широкой, как море.

Одевшись, я наскоро позавтракал, тотчас же выбежал на Дворцовую набережную и добрался до Троицкого моста, длиною в 1800 шагов, откуда мне советовали посмотреть на город. Должен сказать, что это был один из лучших советов, данных мне в жизни.

Не знаю, есть ли в мире вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой.

Справа, неподалеку от меня, стояла крепость, колыбель Петербурга, как корабль пришвартованная к Аптекарскому острову двумя легкими мостами. Над ее стенами возвышались золотой шпиль Петропавловского собора, места вечного упокоения русских царей, и зеленая крыша Монетного двора. На другом берегу реки, против крепости, я увидел Мраморный дворец, главный недостаток которого заключается в том, что архитектор как бы случайно забыл сделать ему фасад. Далее шли Эрмитаж, великолепное здание, построенное Екатериной II, Зимний дворец, привлекающий внимание скорее своей массой, чем формой, своей величиной, чем архитектурой, и Адмиралтейство с двумя павильонами и гранитными лестницами. К нему ведут два главных проспекта Петербурга: Невский, Вознесенский и Гороховая улица. Наконец за Адмиралтейством виднелась Английская набережная с ее великолепными зданиями, которая упирается в Новое Адмиралтейство.

Прямо передо мной находились Васильевский остров, биржа, модное здание, построенное — не знаю почему — между двумя роstralными колоннами. Две ее полукруглые лестницы спускаются к самой Неве. Тут же неподалеку расположены всякие научные учреждения — Университет, Академия наук, Академия художеств и там, где река делает крутой изгиб, — Горный институт.

С другой стороны Васильевский остров, обязанный своим названием одному из приближенных Петра I по имени Василий, омывается Малой Невкой, отделяющей его от Вольного острова. Здесь, в прекрасных садах, за позолоченными решетками цветут в течение трех месяцев, что длится петербургское лето, всевозможные редчайшие растения, вывезенные из Африки и Италии; здесь же расположены роскошные дачи петербургских вельмож.

Если встать спиной к крепости, а лицом против течения реки, панорама меняется, по-прежнему оставаясь грандиозной. В самом деле, неподалеку от моста, где я стоял, находятся на одном берегу Невы Троицкий собор, а на другом — Летний сад. Кроме того, я заметил слева от себя деревянный домик, в котором жил Петр I во время постройки крепости. Около этого домика до сих пор сохранилось дерево, к которому на высоте десяти футов прикреплен образ богородицы.

Когда основатель Петербурга спросил у кого-то, до какой высоты поднимается вода в Неве во время наводнения, ему показали этот образ божьей матери, и он был готов отказаться от своего грандиозного плана основать здесь столицу. Дерево и прославленный домик окружены каменным строением с аркадами для защиты их от влияния времени и от разрушительного действия климата. Сам домик поражает своей удивительной простотой. В нем всего три комнаты: гостиная, столовая и спальня. Петр I строил город и не имел времени построить для себя дворец.

Дальше и по-прежнему слева от меня лежал старый Петербург с Военным госпиталем и Медицинской академией, а за ним деревня Охта и ее окрестности. На противоположном берегу, правее кавалергардских казарм, были расположены Таврический дворец под изумрудной крышей, артиллерийские казармы и старый Смольный монастырь.

Трудно сказать, сколько времени я оставался на мосту, восхищаясь этой дивной панорамой. Правда, при более внимательном рассмотрении всех этих дворцов и садов они кажутся оперной декорацией: колонны, производившие издали впечатление мраморных, были на самом деле кирпичными, но на первый взгляд вид их

был так восхитителем, что он превосходил все, что можно себе представить.

Прошло четыре часа, а меня предупреждали, что таблоот в гостинице начинается в половине пятого. Поэтому, к крайнему своему сожалению, я должен был вернуться домой. Назад я шел мимо Адмиралтейства, чтобы лучше рассмотреть колоссальный памятник Петру Первому, который раньше видел только издали, из моего окна.

При беглом знакомстве население Петербурга отличается одной характерной особенностью: здесь живут либо рабы, либо вельможи — середины нет.

Надо сказать, что сначала мужик не вызывает интереса: зимой он носит овчинный тулуп, летом — рубашку поверх штанов. На ногах у него род сапалей, которые держатся при помощи длинных ремешков, обвивающих ногу до самых колен. Волосы его коротко острижены, а борода — такая, какая ему дана природой. Женщины носят длинные полушубки, юбки и огромные сапоги, в которых нога совершенно теряет форму.

Зато ни в какой другой стране не встретишь среди народа таких спокойных лиц, как здесь. В Париже из десяти человек, принадлежащих к простому люду, лица пяти или шести говорят о страдании, нищете или страхе. В Петербурге я ничего подобного не видел.

Другая особенность, поразившая меня в Петербурге, — это свободное передвижение по улицам. Этим преимуществом город обязан трем большим каналам, по которым вывозят отбросы и доставляют продукты и дрова. Быстро несутся дрожки, кибитки, брички, рыдваны; только и слышишь на каждом шагу: «Погоняй». Кучера чрезвычайно ловки и правят лошадьми отлично. На тротуарах никакой толчен.

Среди жемчужин Петербурга первое место занимает памятник Петру Первому, воздвигнутый благодаря щедрости Екатерины II. Царь изображен верхом на коне, взвившемся на дыбы, — намек на московское дворянство, укротить которое ему было нелегко. Для завершения аллегории памятника скажу, что стоит он на дикой гранитной скале, которая должна указывать на те затруднения, какие пришлось преодолеть основателю Петербурга.

Часы пробили половину пятого, когда я в третий раз обходил решетку, окружающую памятник; мне пришлось оторваться от созерцания этого шедевра нашего соотечественника Фальконета, иначе я рисковал бы оказаться без места за табльдотом.

...Весть о моем прибытии распространилась чуть ли не по всему городу благодаря моему попутчику, который, однако, не мог ничего сказать обо мне, кроме того, что я путешествовал на почтовых и не был учителем танцев. Эта новость должна была причинить беспокойство всей здешней французской колонии, члены которой боялись встретить во мне конкурента или же соперника.

Мое появление в столовой отеля вызвало шушуканье среди почтенных сотрапезников, почти сплошь французов, и каждый из них старался по моей фигуре и манерам определить, к какому кругу общества я принадлежу. Но разрешить эту задачу было нелегко. Я сделал общий поклон и занял свое место.

За супом к моему инкогнито, благодаря скромности первого произведенного мной впечатления, относились еще с некоторым уважением, но уже за жарким, долго сдерживаемое любопытство прорвалось у моего соседа.

— Вы, вероятно, приезжий, сударь? — спросил он, протягивая мне свой стакан.

— Да, я приехал вечером, — ответил я, наливая ему вина.

— Вы наш соотечественник? — спросил мой сосед слева с наигранной сердечностью.

— Вполне возможно, я прибыл из Парижа.

— А я из Тура, из этого сада Франции, где, как вы знаете, говорят на самом чистом французском языке. Я приехал в Петербург, чтобы стать здесь учителем. Вы, вероятно, приехали не для этого? В противном случае я дал бы вам благой совет немедленно вернуться во Францию.

— Почему?

— Потому что последняя ярмарка учителей в Москве оказалась весьма плохой.

— Ярмарка учителей? — переспросил я в изумлении.

— Да, сударь, разве вы не знаете, что несчастный Ле Дюк потерял в этом году половину своих клиентов?

— Сударь,— обратился я к своему соседу справа,— не откажите в любезности, объясните мне, кто этот Ле Дюк?

— Чрезвычайно почтенный ресторатор, который содержит одновременно контору учителей. Они живут у него на полном содержании, и он оценивает их согласно достоинствам. На пасху и на рождество, когда все знатные русские обыкновенно съезжаются в столицу, он открывает контору, подбирает места для своих учителей и таким образом возвращает все расходы по их содержанию да еще получает комиссионные. Так вот, сударь, в этом году треть его учителей осталась без места, и, кроме того, ему вернули шестую часть тех, которых он отправил в провинцию. Бедный человек совсем разорился.

— Вот как?!

— Вы сами видите, сударь,— продолжал учитель,— что если вы явились сюда в качестве гувернера, то выбрали плохой момент, так как даже туренцам, которые говорят на лучшем французском языке, и тем с трудом удалось устроиться.

— Можете быть вполне спокойны на этот счет,— ответил я,— у меня другая профессия.

Затем сидевший против меня господин, акцент которого изобличал в нем уроженца Бордо, обратился ко мне с такими словами:

— Со своей стороны, должен вас предупредить, сударь, что если вы торгуете вином, то здесь — это жалкое занятие, которое может вам обеспечить разве только достаточное количество воды для питья.

— Вот как? — удивился я.— Неужели русские всецело перешли на пиво, или, может быть, они завели где-нибудь собственные виноградники, например, на Камчатке?

— Пустяки! Если бы так, с ними еще можно было бы конкурировать, но дело в том, что настоящие русские бере покупать-то покупают, но платить — не платят.

— Я вам очень благодарен, сударь, за ваше сообщение. Что же касается моего товара, я уверен, что не обанкрочусь. Вином я не торгую.

Какой-то господин с сильным лионским акцентом, одетый, несмотря на жаркое лето, в немецкий сюртук с меховым воротником, вмешался в нашу беседу.

— Во всяком случае,— обратился он ко мне,— я вам посоветую, если вы торгуете сукном и мехами, приобрести лучший наш товар для себя: вид у вас не очень здоровый, а климат здешний для слабогрудых чрезвычайно опасен. За прошлую зиму здесь умерло пятнадцать французов. Именно на это я хотел обратить ваше внимание.

— Я буду осторожен, сударь. Я и в самом деле рассчитываю стать вашим покупателем и надеюсь, что вы отнесетесь ко мне, как к соотечественнику...

— Разумеется, и с превеликим удовольствием! Я сам родом из Лиона, второй столицы Франции, и вы знаете, конечно, что мы, лионцы, пользуемся репутацией крайне добросовестных людей. Но раз вы не торгуете ни сукном, ни мехами...

— Да разве вы не видите, что наш дорогой соотечественник не желает говорить, кто он,— произнес сквозь зубы господин с завитой шевелюрой, от которого так и несло жасмином,— разве вы не видите,— повторил он, отчеканивая каждое слово,— что он не желает открыть нам свою профессию?

— Если бы я имел счастье обладать такой прической, как ваша, сударь,— ответил я,— и если бы она испускала такой же тонкий аромат, почтенное общество, вероятно, нисколько не затруднилось бы отгадать, кто я.

— Что вы хотите этим сказать, сударь? — вскричал завитой молодой человек.

— Я хочу сказать, что вы парикмахер.

— Милостивый государь, вы, кажется, желаете меня оскорбить?

— Разве это оскорбление, когда вам говорят, кто вы?

— Милостивый государь,— продолжал молодой человек, повышая голос и доставая из кармана свою визитную карточку,— вот мой адрес.

— Прекрасно,— сказал я,— но ваш цыпленок остынет.

— Вы отказываетесь дать мне удовлетворение?

— Вы желали знать мою профессию? Так вот, моя профессия не дает мне права драться на дуэли.

— Вы трус, милостивый государь!

— Нисколько, милостивый государь! Я учитель фехтования.

— О! — произнес завитой молодой человек и опустился на свое место.

Наступила тишина; мой собеседник пытался, но безуспешно, отрезать крылышко от своего цыпленка.

— Быть учителем фехтования, — сказал мне бордосец, — превосходная профессия. Я занимался немного фехтованием, когда был помоложе и поглупее.

— Эта отрасль искусства мало культивируется здесь, — сказал один из сотрапезников.

— Совершенно верно, — заметил, в свою очередь, лионец. — Но я посоветовал бы господину профессору надевать во время уроков фланелевый жилет и меховое пальто.

— Уверяю вас, дорогой соотечественник, — сказал молодой завитой господин, который не мог сам разрезать цыпленка и поручил сделать это своему соседу, — уверяю вас, дорогой соотечественник, ведь вы, кажется, изволили сказать, что вы парижанин...

— Да.

— Я тоже... Так вот, вы избрали великолепную профессию, ибо здесь, видимо, нет ни одного настоящего учителя фехтования, если не считать некоего престарелого актера. Вы увидите его, вероятно, на Невском проспекте. Он учит своих учеников всего четырем приемам. Я тоже начал было брать у него уроки, но с первых же шагов заметил, что он скорей годится мне в ученики, чем в учителя. Я тут же прервал эти уроки, заплатив ему половину того, что беру за одну прическу, и бедняк был этим очень доволен.

— Я знаю, сударь, кого вы имеете в виду. Как иностранец и француз, вы не должны были бы так говорить: негоже унижать соотечественника. Позвольте вам дать этот небольшой урок, за который никакой платы мне не следует, даже и половины того, что вы получаете за прическу. Как видите, я довольно щедр.

С этими словами я встал из-за стола, ибо мне успела наскучить здешняя французская колония и захотелось поскорее от нее избавиться. В одно время со мной поднялся какой-то молодой человек, ни слова не проронивший за обедом, и мы вышли вместе с ним.

— Мне кажется, сударь, — обратился он ко мне, улыбаясь, — вам не потребовалось долгого знакомства, чтобы составить себе мнение о наших дорогих соотечественниках?

— Совершенно верно, и могу вам сказать, что это мне не в их пользу.

— Увы,— сказал он, пожимая плечами,— вот по каким образцам о нас, французах, судят в Петербурге. Другие нации посылают сюда лучших своих представителей, а мы же, к сожалению, шлем худших. Конечно, это выгодно для Франции, но весьма печально для французов.

— А вы живете здесь, в Петербурге? — спросил я его.

— Да, уже целый год. Но сегодня вечером я уезжаю.

— Неужели?

— Извините, но меня ждет экипаж. Честь имею кланяться.

— Ваш покорнейший слуга.

«Черт возьми,— подумал я,— мне определенно не везет: встретил одного порядочного соотечественника, да и тот уезжает в день моего приезда».

В своем номере я застал мальчика, приготовлявшего мне постель. В Петербурге, как и в Мадриде, принято отдыхать после обеда. Два летних месяца здесь более жаркие, чем в Испании.

Мне и в самом деле нужно было отдохнуть, так как я все еще чувствовал усталость после своего чудесного путешествия; кроме того, мне хотелось поскорее насладиться великолепными петербургскими ночами, о которых я так много был наслышан. Я спросил поэтому мальчика, не знает ли он, как достать лодку, чтобы покататься вечером по Неве. Тот ответил, что лодку достать легко, и если я дам ему на чай десять реблей, он это устроит. Я уже умел разбираться в русских бумажных деньгах, дал ему красную бумажку и велел разбудить себя в девять часов вечера.

Красная бумажка оказала свое действие: ровно в девять мальчик постучался в дверь моего номера и сказал, что лодка готова.

Ночь была мягкая и светлая. Можно было легко читать и прекрасно все видеть даже на большом расстоянии. Дневная жара сменилась вечерней прохладой, воздух был насыщен ароматом цветов.

Весь город, казалось, высыпал на набережную. На Неве, против крепости, стоял огромный баркас, на котором было более шестидесяти музыкантов. Вдруг

раздались звуки чудесной музыки. Я приказал своим двум гребцам подъехать как можно ближе к этому прекрасному громадному оркестру. Оказалось, что все музыканты играли на рожках. Впоследствии, когда я ближе познакомился с русским народом, меня перестала удивлять как роговая музыка, так и целые громадные деревянные дома, построенные плотниками с помощью одних только пил и топоров. Но в тот момент я слышал эту музыку впервые и был ею очарован.

Концерт на воде длился далеко за полночь. Уже было около двух часов утра, а я все еще не отъезжал от баркаса, готовый и дальше слушать эту чарующую музыку. Казалось, что концерт давался исключительно для меня и что он больше не повторится. Мне удалось поближе рассмотреть эти музыкальные инструменты. Они оказались обыкновенными рожками, из которых извлекают разнообразные звуки.

Я вернулся в гостиницу, когда уже было светло, в восторге от белой ночи, от превосходной музыки и широкой, как море, реки, отражавшей, подобно зеркалу, все звезды и все фонари.

Петербург в действительности превзошел мои ожидания, и если он не был раем, то, во всяком случае, чем-то сродни ему.

Я долго не мог заснуть. Музыка все еще раздавалась у меня в ушах. Я лег в три часа, а в шесть уже был на ногах.

Я достал на родине несколько рекомендательных писем, но намеревался вручить их не раньше, чем устрою публичный сеанс фехтования: мне не хотелось давать о себе объявление. Из писем я взял только одно, которое некий мой друг просил лично передать адресату. Письмо было от его любовницы, обыкновенной гризетки Латинского квартала, на конверте стоял адрес ее сестры, продавщицы в каком-то модном магазине: «Мадмуазель Луизе Дююи, у мадам Ксавье. Магазин мод. Невский проспект, близ Армянской церкви, против базара».

Я предвкушал удовольствие, которое мне доставит передача этого письма. Вдали от Франции приятно встретить молодую, красивую соотечественницу, — а я знал, что Луиза молода и хороша собою. Кроме того, она успела узнать Петербург, так как жила здесь уже четыре года, и могла быть мне полезна своими советами.

Было еще очень рано, поэтому я решил прогуляться по городу и вернуться на Невский только часов в пять пополудни.

Я позвал мальчика, но вместо него явился лакей. Лакеи здесь служат одновременно и слугами и проводниками: они чистят сапоги и показывают дворцы. Я позвал его для первой услуги, что же касается второй, то еще во Франции я настолько изучил Санкт-Петербург, что знал о здешних дворцах, во всяком случае, не меньше его.

Глава вторая

Мне не приходилось беспокоиться об извозчике, как вчера — о лодке. Как ни мало я знал Петербург, но успел заметить, что на каждом перекрестке здесь имеются стоянки кибиток и дрожек. Таким образом, едва я дошел через Адмиралтейскую площадь до Александровской колонны, как по первому моему знаку был окружен извозчиками. Они наперебой предлагали мне свои услуги. Таксы в Петербурге не существовало, мы сторговались: за пять рублей извозчик будет в моем распоряжении весь день. Я велел ему ехать прежде всего к Таврическому дворцу.

Извозчики в Петербурге — это обыкновенные крепостные, которые за известную сумму денег, называемую оброком, покупают у своих помещиков разрешение попытаться счастья в Петербурге. Экипаж их — обыкновенные дроги на четырех колесах, в которых сиденье устроено не поперек, а вдоль, так что сидят на нем верхом, как дети на своих велосипедах у нас на Елисейских Полях.

В этот экипаж впряжена лошадь не менее дикая, чем ее хозяин, и привезенная из родных степей нередко за тысячи верст. Извозчик относится к своей лошади с чувством жалости и, вместо того чтобы ее бить, как это делают наши французские извозчики, беседует с нею еще более ласково, чем испанский погонщик мулов — со своими мулами. Лошадь для него — мать, тетка, ребенок. Он сочиняет для нее песни, в которых называет ее самыми ласкательными именами. И животное, чувствительное, по-видимому, к такому обращению,

безостановочно бегают по городу, останавливаясь только для того, чтобы поест из деревянных колод, устроенных на всех улицах.

Что касается самого извозчика, он очень напоминает неаполитанского лаццарони: нет нужды знать русский язык, чтобы объясняться с ним — с такой проницательностью он угадывает желания седока. Он помещается на облучке между седоком и лошадью, а порядковый номер прикреплен к его спине, дабы недовольный седок мог в любое время его снять. В таких случаях достаточно отнести или отослать номер в полицию, и вы можете быть уверены, что за свою вину извозчик понесет должное наказание. Такая предосторожность, как это видно из дальнейшего, вовсе не лишняя, и молва о происшествии, имевшем место в Москве зимою 1823 года, все еще передается в Петербурге из уст в уста.

Некая француженка, г-жа Л., возвращалась к себе домой поздно ночью. Она не хотела идти пешком и не желала, чтобы ее сопровождал слуга, которого ей предлагали знакомые, где она была в гостях. Послали за извозчиком, она дала ему свой адрес и уехала.

Кроме золотой цепи и бриллиантовых серег, извозчик успел заметить, что на г-же Л. была прелестная дорогая шубка. Пользуясь темнотою ночи, окружающим безлюдьем и рассеянностью г-жи Л., которая, закутавшись в шубу, не видела, по каким улицам едет извозчик, последний привез ее на край города. Г-жа Л. увидела, что извозчик завез ее бог знает куда. Она стала звать, кричать, но извозчик, вместо того, чтобы остановиться, погнался еще быстрее. Тогда она сорвала с него номер и бросилась бежать.

Извозчик соскочил с козел и погнался за нею. Г-жа Л. добежала до находившейся неподалеку открытой калитки какого-то кладбища. Ей приходилось думать уже не о драгоценностях и шубе, а о спасении собственной жизни. К счастью, ночь была так темна, что в двух шагах ничего не было видно. Вдруг г-жа Л. почувствовала, что куда-то проваливается. Она действительно упала в свежеврытую могилу, приготовленную для завтрашних похорон. Она мигом сообразила, что эта могила — ее спасение и молча притаилась в ней. Извозчик продолжал бегать, искать ее, но безуспешно.

После долгих поисков он наконец уехал. Г-жа Л. оставалась в этой могиле, пока совсем не рассвело, а выбравшись из нее, тотчас же доставила номер извозчика в полицию. В течение трех дней извозчик укрывался в лесу под Москвой, однако голод и холод заставили его искать убежище в одной из подмосковных деревень. Но его номер и приметы уже были известны. Его схватили, наказали кнутом и сослали на каторгу.

Однако такие случаи редки: русский народ по природе своей добр, и нет, пожалуй, другой столицы, где грабежи были бы так редки, как в Петербурге. Более того, хотя русский мужик и склонен к воровству, он боится совершить кражу со взломом. Вы можете смело доверить ему запечатанный конверт с деньгами. Даже зная о них, он в целости доставит это письмо по назначению.

Не знаю, был ли вором или нет мой извозчик, но он явно страшился быть обворованным мною: недаром, подъезжая к Таврическому дворцу, он заявил мне, что здесь есть два выхода, а потому должен я дать ему в счет договоренных пяти рублей столько, сколько ему следует за проезд. В Париже я бы с возмущением ответил на такое оскорбление. В Петербурге же мне оставалось только рассмеяться, ибо такие вещи случаются здесь с более высокопоставленными лицами, чем я, и даже они не обижаются на извозчиков.

В самом деле, месяца два тому назад император Александр, по своему обыкновению гуляя пешком по городу, был застигнут дождем. Он взял извозчика и велел ему ехать в Зимний дворец. Приехав, царь стал искать деньги в карманах и не нашел там ни копейки.

Тогда он сказал извозчику:

— Подожди, я вышлю тебе деньги.

— Ну, нет, — отвечал извозчик, — шалишь!

— Как это шалишь? — спросил государь удивленно.

— Да так.

— В чем дело?

— Вот что, барин, тут несколько выходов. Сколько раз я ни привозил сюда господ, а они уходили через другие двери и мне ничего не платили.

— Вот как, да ведь это Зимний дворец.

— Да, да, только большие господа, видно, очень беспамятны.

— Почему же ты не жаловался на этих обманщиков? — спросил Александр, которого очень забавляла эта сцена.

— Эх, барин, что же мы можем поделаться с господами! С нашим братом, — он указал на свою бороду, — это точно, справиться можно, а с господами, которые бриты, — ничего не поделаешь. Ваше сиятельство, поищите-ка получше у себя в карманах. Авось найдется, чем заплатить.

— Вот что, — сказал Александр, снимая с себя пальто, — возьми мое пальто в залог. Человек вынесет тебе деньги, а ты отдашь ему пальто.

— Что правильно, то правильно, ваша честь!

Спустя несколько минут лакей вынес извозчику сто рублей: император заплатил ему разом и за себя и за тех, кто ранее обманывал его.

Я дал своему извозчику все пять рублей, довольный тем, что могу оказать ему больше доверия, чем он мне. Правда, я знал его номер, а он моего не знал.

Таврический дворец с его великолепной обстановкой, статуями, озерами с золотыми рыбками и прочим был подарен Потемкиным его могущественной повелительнице Екатерине II в память завоевания страны, имя которой он носил. Самой интересной была не пышность этого подарка, а строжайшая тайна, в которой он готовился.

В столице совершилось чудо: Екатерина ничего не знала о постройке этого дворца. Однажды Потемкин пригласил ее к себе на вечер, и императрица вместо знакомых ей лугов увидела волшебный дворец, окруженный садами, — дворец, как бы созданный феями.

Потемкин являл собой живой пример князя-выскочки, которых много было в царствование Екатерины II. Но и сама императрица также была выскочкой. Потемкин был унтер-офицером одного из гвардейских полков, Екатерина — мелкой немецкой принцессой, и оба они стали знамениты. Случай свел их.

Первое время Потемкин мечтал о Курляндском герцогстве и даже о польской короне, но потом оставил эти мысли. Впрочем, разве корона дала бы ему больше могущества, чем то, которым он обладал? Разве придворные не склонялись перед ним, как перед монархом? Разве на одной только левой руке у него не

было больше бриллиантов, чем на царской короне? Разве он не имел специальных курьеров, которых посылал за стерлядями на Волгу, за арбузами в Астрахань, за виноградом в Крым, за цветами — повсюду, где имелись красивые цветы, и разве в числе других драгоценных подарков он не подносил ежегодно императрице, в день Нового года, блюдо свежих вишен, стоившее десять тысяч рублей?

Он беспрестанно создавал и разрушал, когда же не делал ни того, ни другого, то всюду вносил смятение и вместе с тем биеение жизни. Ничтожество становилось чем-то лишь в его отсутствие, при нем же все отступало в тень.

Принц де Линь говорил, что в Потемкине есть что-то великое, романтическое и варварское. И он был прав.

Смерть его была также необыкновенна, как и жизнь, кончина так же неожиданна, как и возвышение. Он провел целый год в Петербурге среди бесконечных празднеств и оргий, полагая, что сделал достаточно для своей славы и для славы Екатерины, ибо ему удалось отодвинуть границы России за пределы Кавказа. Вдруг он узнает, что престарелый Репнин, воспользовавшись его отсутствием, разбил турок и принудил их к заключению невыгодного мира, иными словами, сделал за два месяца больше, чем он, Потемкин, за три года.

С этой минуты Потемкин не знает покоя: он, правда, болен, но все же должен спешить туда, на юг. Болезни своей он не боится, его крепкий организм победит ее. Он приезжает в Яссы, свою столицу, оттуда направляется в завоеванный им Очаков. Проехав несколько верст, он начинает испытывать удушье, выходит из экипажа, ложится на расстеленный на земле плащ и умирает у края дороги.

Екатерина чуть не скончалась от горя, получив известие о его смерти.

Таврический дворец, в котором в те дни жил великий князь Михаил, служил некогда временным местопребыванием королевы Луизы, которая надеялась когда-то победить своего победителя. Увидя ее в первый раз, Наполеон сказал ей:

— Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин.

Милостивое расположение корсиканского героя не было, однако, продолжительно. Однажды Луиза держала в руках розу.

— Подарите мне эту розу, — сказал Наполеон.

— Подарите мне Магдебург, — отвечала королева.

— О, нет, — воскликнул Наполеон, — это слишком дорого!

В негодовании королева бросила на пол розу и не получила Магдебурга.

Осмотрев Таврический дворец, я отправился через Троицкий мост к домику Петра I, который видел до сих пор лишь издали.

Национальное русское чувство сохранило этот памятник в его первоначальном виде: столовая, гостиная и спальня как бы ждут возвращения царя. Во дворе стоит построенный самим саардамским плотником ботик, в котором он разъезжал по Неве, появляясь в тех местах возникающего города, где его присутствие было необходимо.

Неподалеку от домика Петра I находится и место его вечного упокоения. Тело его, как и других царей, покоится в Петропавловском соборе, расположенном посреди крепости. Собор этот, золотой шпиль которого дает превратное представление о его величине, в действительности мал и неказист по архитектуре. Его значение заключается единственно в том, что он служит усыпальницей русских царей. Могила Петра I расположена у боковой двери справа. В соборе собрано более семисот знамен, отнятых Петром у турок, шведов и персов.

По Тучкову мосту я переправился на Васильевский остров. Самыми замечательными зданиями являются здесь Биржа и Академия. Я прошел мимо этих зданий и по Исаакиевскому мосту и Вознесенскому проспекту дошел до Фонтанки, а оттуда направился в католическую церковь, где нашел у алтаря, посреди клира, могилу Моро с ее простой надгробной плитой.

Я побывал затем в Казанском соборе, важнейшем петербургском храме, двойная колоннада которого построена по образцу колоннады собора св. Петра в Риме. Снаружи собор оштукатурен, а внутри его сплесь бронза, мрамор и гранит. Двери медные или из массивного серебра, стены облицованы мрамором, пол из яшмы.

Достопримечательностей на один день было более чем достаточно. Я нанял извозчика и дал ему адрес мадам Ксавье; пора было отвезти письмо моей прекрасной соотечественнице. Прибыв на место, я узнал, что особа эта уже не служит у г-жи Ксавье, а живет на Мойке, при магазине Оржело. Найти ее было не трудно.

Десять минут спустя я был возле указанного дома. Решив пообедать в ресторане напротив, который, судя по фамилии владельца, принадлежал французу, я отпустил извозчика и зашел в магазин, где осведомился о Лунзе Дюпюи.

Одна из барышень спросила, что мне надобно от мадемуазель Дюпюи: желаю ли я купить что-нибудь или у меня есть к ней личное дело. Я ответил, что явился по личному делу.

Она тут же встала и провела меня во внутренние покои.

Глава третья

Я очутился в маленьком будуаре, обитом азиатскими тканями, где моя соотечественница лежала на кушетке и читала роман. При виде меня она поднялась и спросила:

— Вы француз?

Я извинился, что являюсь к ней в час послеобеденного отдыха. Прибыв накануне, я еще не был знаком с местными обычаями. Затем я передал ей письмо.

— О, это от моей сестры! — вскричала она. — Милая Роза, как я рада известию от нее! Вы, стало быть, знакомы с ней? Здорова ли она и по-прежнему ли хороша?

— Что она хороша собою, я могу засвидетельствовать, — отвечал я, — что же касается здоровья, то, надеюсь, она здорова. Я видел ее всего один раз, письмо же передал мне ее друг.

— Господин Огюст?

— Да.

— Милая сестренка, она, вероятно, очень довольна мной, ведь я послала ей прекрасные ткани и еще кое-что. Я приглашала ее приехать сюда, но...

— Но?

— Но в таком случае ей пришлось бы расстаться с господином Огюстом, а этого она не захотела. Садитесь, пожалуйста.

Я собрался было опуститься в кресло, но Луиза пригласила меня сесть на кушетку около нее. Я повиновался. Она углубилась в чтение письма, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть ее.

Женщины обладают одной удивительной способностью, свойственной только им, способностью, так сказать, преображаться. Передо мною была обыкновенная парижская гризетка, которая по воскресеньям ходила, вероятно, танцевать в «Прадо». Но достаточно было пересадить ее, как растение на другую почву, чтобы она расцвела среди окружающей ее роскоши и богатства. Можно было подумать, что она родилась в этой обстановке. Я был хорошо знаком с представительницами того почтенного класса, к которому она принадлежала, но не находил в ней ничего, что напоминало бы о ее низком происхождении и об отсутствии у нее должного воспитания.

Перемена была настолько разительна, что при виде этой красивой женщины, причесанной на английский манер, ее простого белого пеньюара и крошечных турецких туфелек, при виде, наконец, ее грациозной позы, словно нарочно выбранной художником, чтобы писать ее портрет, я смело мог вообразить себя в будуаре какой-нибудь элегантной аристократки из Сен-Жерменского предместья, но никак не в задней комнате модного магазина.

— В чем дело? — спросила меня Луиза, окончившая чтение письма и удивленная тем, что я так пристально смотрю на нее.

— Я люблю вас и думаю.

— О чем?

— Я думаю, что если бы мадемуазель Роза, вместо того, чтобы героически хранить верность господину Огюсту, каким-то чудом оказалась в этом прелестном будуаре и увидела бы вас в эту счастливую минуту, она не бросилась бы в ваши объятия, а упала бы на колени, думая, что перед ней королева.

— Ваша похвала чрезмерна, — сказала, улыбаясь, Луиза. — В ваших словах верно лишь то, что я действи-

тельно переменялась. Да, очень переменялась,— добавила она со вздохом.

В комнату вошла молодая девушка из магазина.

— Сударыня,— сказала она,— «сударыня» желает иметь такую же шляпу, какую вы сделали княгине Долгоруковой.

— Сама «сударыня» здесь?

— Да.

— Попросите ее в салон. Я сейчас приду.

Девушка вышла.

— Вот что напомнило бы Розе,— сказала Луиза,— что я всего только бедная модистка. Но если вы желаете увидеть поразительную перемену, поднимите кончик ковра и понаблюдайте в эту стеклянную дверь.

С этими словами она ушла в салон, оставив меня одного. Я воспользовался ее разрешением и, осторожно подняв угол ковра, прильнул к стеклу.

Та, которую звали «сударыней», оказалась молодой красивой женщиной 22—23 лет, с восточным типом лица: шея, уши и руки ее были усыпаны бриллиантами. Она опиралась на одну из своих служанок и, остановившись около дивана, сделала Луизе знак подойти. На скверном французском языке она велела ей показать самые лучшие и дорогие шляпы. Луиза тут же велела подать ей самые нарядные шляпы. «Государыня» примеряла их одну за другой, все время смотрясь в зеркало, которое держала перед ней сопровождавшая ее девушка, но ни одна шляпа ей не понравилась, так как не было точно такой, как у княгини Долгоруковой. Луиза предложила сделать ей точно такую же.

«Государыня» потребовала, чтобы новая шляпа была ей доставлена на следующий день утром. Луиза обещала, хотя для этого нужно было проработать всю ночь. «Государыня» удалилась, опираясь на руку сопровождавшей ее служанки. Луиза проводила ее до дверей и вернулась ко мне.

— Ну как? — спросила она меня, смеясь.— Что вы скажете об этой женщине?

— Скажу, что она очень хороша собою.

— Я не об этом вас спрашиваю. Что вы думаете о ней, кто она?

— Если бы я видел ее в Париже, с ее странными манерами, с потугами изображать из себя великосвет-

скую даму, я подумал бы, что она отставная балерина, находящаяся на содержании у какого-нибудь лорда...

— Недурно для новичка,— сказала Луиза,— вы почти угадали. Эта красивая грузинка, что теперь с такой безразличной, скучающей миной ходит по персидским коврам, еще недавно была крепостной девкой, которую некий министр, фаворит императора, сделал своей любовницей. Эта метаморфоза произошла с ней всего четыре года тому назад, и, однако, девка уже забыла о своем происхождении. Или, лучше сказать, она вспоминает о нем в часы своего туалета, когда только и делает, что мучает прежних товаров, для которых стала теперь грозою. Слуги уже не смеют называть ее по имени, а величают «государыней». Вы слышали, как мне доложили о ее приходе? А вот пример жестокости этой выскочки,— продолжала Луиза: — недавно, когда она раздевалась, у нее под рукой не оказалось подушки для булавок. Что же вы думаете? Она воткнула булавку в грудь одной из своих горничных. Однако история эта наделала столько шума, что о ней узнал император. Но довольно о себе и о других: вернемся к вам. Позвольте мне, в качестве вашей соотечественницы, спросить, что, собственно, привело вас в Петербург. Быть может, я смогу вам быть полезной хотя бы советом, ведь я живу здесь уже четыре года.

— Сомневаюсь. И все же в благодарность за ваше участие скажу, что я приехал сюда в качестве учителя фехтования. А что, в Петербурге часто бывают дуэли?

— Нет, так как здесь дуэли почти всегда оканчиваются смертью; кроме того, и участники и свидетели дуэли знают, что их ожидает ссылка в Сибирь, а это охлаждает их пыл. Но неважно: недостатка в учениках у вас не будет. Позвольте мне только дать вам совет.

— Пожалуйста.

— Постарайтесь добиться высочайшего назначения в качестве учителя фехтования в какой-нибудь полк. Вы станете таким образом военным, а военная форма — здесь все.

— Ваш совет недурен. Но гораздо легче дать его, чем последовать ему.

— Отчего?

— Как мне добраться до императора? Ведь у меня нет никакой протекции!

— Я подумаю об этом.

— Вы?

— Это вас удивляет? — спросила Луиза, улыбаясь.

— Нет, меня ничто не удивит с вашей стороны: я считаю вас настолько очаровательной, что уверен, вы добьетесь всего, чего бы ни захотели. Только я ничего не сделал, чтобы заслужить такое внимание с вашей стороны.

— Вы ничего не сделали? А разве вы не мой соотечественник? Разве вы не привезли мне письмо от моей дорогой Розы? Разве не вы доставили мне величайшее удовольствие, напомнив наш милый Париж?.. Надеюсь, я вас еще увижу.

— Приказывайте, я приду.

— Ну, когда?

— Если позволите, завтра.

— Хорошо, в тот же час, так как это наиболее свободное для меня время.

— Прекрасно, так до завтра.

Я расстался с Луизой, плененный ею и чувствуя, что уже не одинок в Петербурге, где она стала для меня ценной опорой. В дружбе женщины есть столько неизъяснимого очарования, что она невольно пробуждает в нас надежду.

Я пообедал против магазина Луизы у ресторатора по фамилии Талон, но не обнаружил ни малейшего желания заговорить с кем-либо из соотечественников, которых узнаешь всюду по громкому разговору и необычайной легкости, с какой они болтают о своих делах. Я был настолько поглощен своими мыслями, что если бы в эту минуту кто-нибудь подошел ко мне, он показался бы мне наглцом, желающим лишить меня части моих мечтаний.

Как и накануне, я нанял лодку с двумя гребцами и провел ночь на воде, наслаждаясь прелестной роговой музыкой и созерцая звезды в высоком небе.

Я вернулся домой в два часа, а в семь был уже на ногах. Желая поскорей закончить свое знакомство с местными достопримечательностями, чтобы потом всецело отдаться своим делам, я попросил лакея нанять для меня дрожки, в которых и отправился обозревать Петербург. Я побывал в Александро-Невской лавре, где видел раку Александра Невского с ее молящимися

фигурами из массивного серебра почти в натуральную величину, заехал в Академию наук, где осмотрел замечательную коллекцию минералов, знаменитый Готторпский глобус, подаренный датским королем Фридрихом IV Петру I, кости мамонта, современника всемирного потопа, найденные на Белом море путешественником Михаилом Адамом.

Все это было очень интересно, и все же я поминутно смотрел на часы, думая о времени, когда опять увижусь с Луизой.

Наконец, в четыре часа, я уже не мог более ждать. Я поехал на Невский, рассчитывая погулять там часок, до пяти. Но у Екатерининского канала мне пришлось остановиться, потому что улица была запружена огромной толпой. Такое скопление народа в Петербурге было редчайшим явлением. Поэтому я отпустил извозчика и пошел узнать, в чем дело. Оказалось, что вели в тюрьму какого-то преступника, схваченного самим Горголи, петербургским полицеймейстером. Обстоятельства этого дела настолько интересны, что я хочу рассказать о них подробнее.

Горголи был одним из красивейших мужчин столицы и отважнейших генералов русской армии. По прихоти судьбы, некий крупный мошенник был похож на него, как две капли воды. Пройдоха решил использовать это сходство: он надел генеральскую форму, серую шинель с большим воротником, какую носил Горголи, достал экипаж и лошадей, в точности похожих на экипаж градоначальника, одел кучера точно так же, как одевался кучер Горголи, и в таком виде явился к богатому купцу на Большую Миллионную улицу.

— Узнаете меня? — спросил он, — я Горголи, петербургский полицеймейстер.

— Как же, узнаю, ваше превосходительство.

— Мне немедленно нужны двадцать пять тысяч рублей. Не хочу ехать домой, так как дорога каждая минута. Дайте мне, пожалуйста, эту сумму и пожалуйста завтра утром ко мне, чтобы получить ее.

— Ваше превосходительство, — сказал купец, весьма польщенный вниманием полицеймейстера, — быть может, вам угодно больше?

— Э... ну, хорошо, дайте тридцать тысяч.

— С удовольствием, ваше превосходительство.

— Мерси! Завтра в девять часов жду вас у себя. Мошенник тут же садится в свой экипаж и уезжает галопом по направлению к Летнему саду.

На другой день в назначенный час купец является к Горголи, который встречает его со своей обычной предупредительностью и спрашивает, по какому он делу.

Этот вопрос ошеломил купца, который только тут заметил разницу во внешности полицеймейстера и того, кто был у него накануне.

— Ваше превосходительство, — говорит он полицеймейстеру, — помогите, меня обворовали!

И рассказывает об обмане, жертвой которого он стал. Полицеймейстер внимательно выслушивает его, приказывает подать экипаж и надевает свою серую шинель. Затем он велит купцу еще раз во всех подробностях повторить всю историю и лично отправляется ловить мошенника.

Прежде всего Горголи едет на Большую Миллионную улицу и спрашивает будочника:

— Вчера я проезжал здесь в третьем часу дня. Ты видел меня?

— Так точно, ваше превосходительство.

— А видел ты, куда я отправился дальше?

— К Троицкому мосту, ваше превосходительство.

— Хорошо.

Генерал направляется к Троицкому мосту. При въезде на мост он спрашивает у другого будочника:

— Вчера я был здесь в начале четвертого часа. Ты видел меня?

— Видел, ваше превосходительство.

— Куда я держал путь?

— Вы изволили проехать по мосту, ваше превосходительство.

— Хорошо.

Горголи переехал на другую сторону реки и опять спросил у будочника, стоявшего у противоположного конца моста:

— Видел ты меня здесь вчера в половине четвертого?

— Так точно, ваше превосходительство, видел.

— Куда я направлялся?

— На Выборгскую сторону, ваше превосходительство.

— Хорошо.

Горголи едет дальше, решив преследовать преступника до конца. У военного госпиталя он опять спрашивает будочника. Последний направляет его к кабакам. Оттуда он едет по Воскресенскому мосту, Большому проспекту и в последний раз спрашивает будочника:

— Видел ты меня вчера около пяти часов?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Куда я поехал?

— На Екатерининский канал, ваше превосходительство, в дом № 19.

— Я зашел туда?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Видел ты, чтобы я вышел оттуда?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Хорошо. Позови на свое место другого будочника, а сам беги в ближайшую казарму и возвращайся сюда с несколькими вооруженными солдатами.

— Слушаю, ваше превосходительство.

Будочник убежал и минут через десять явился в сопровождении солдат.

Генерал подходит с ними к указанному дому, велит закрыть все выходы, расспрашивает дворника и узнает, что похожий на него человек, действительно, живет во втором этаже этого дома. Горголи идет туда, стучит, ему не открывают, он приказывает взломать дверь и сталкивается лицом к лицу со своим двойником, который приходит в ужас от этого посещения, причину которого он, конечно, знает, во всем сознается и тут же возвращает все тридцать тысяч рублей.

Мы видим, что в известном отношении Петербург не далеко ушел от Парижа.

Это происшествие, при финале которого я случайно присутствовал, задержало меня минут на двадцать. Еще через двадцать минут я уже мог отправиться к Луизе, что я и сделал. По мере того как я приближался к ее дому, сердце мое билось все сильнее. А когда я спросил в магазине, можно ли видеть Луизу, голос мой так дрожал, что я должен был дважды повторить свой вопрос.

Луиза ждала меня в будуаре.

Глава четвертая

Луиза встретила меня с той изящной непри-
нужденностью, которая свойственна только нам, фран-
цузам. Протянув мне руку, она усадила меня около себя.

— Ну вот,— сказала Луиза,— я уже позаботилась
о вас.

— О,— пробормотал я с таким выражением, которое
заставило ее улыбнуться,— не будем говорить обо мне,
а поговорим лучше о вас.

— Обо мне? Разве я для себя хлопочу о месте
учителя фехтования? Что же вы хотите сказать обо мне?

— Я хочу вам сказать, что со вчерашнего дня вы
меня сделали счастливейшим человеком, что теперь я ни
о ком и ни о чем не думаю, кроме вас, что я всю ночь не
сомкнул глаз, боясь, что час нашего свидания никогда
не настанет.

— Но, послушайте, это форменное объяснение
в любви.

— Рассматривайте мои слова, как вам будет угодно.
Говорю вам не только то, что думаю, но и то, что
чувствую.

— Вы шутите?

— Клянусь честью, нет.

— Вы говорите серьезно?

— Совершенно серьезно.

— В таком случае я должна с вами объясниться.

— Со мной?

— Дорогой соотечественник, я думаю, что между
нами могут быть только чисто дружеские отношения.

— Почему?

— Потому, что у меня есть друг сердца. А на
примере моей сестры вы могли убедиться, что вер-
ность — наш семейный порок.

— О, я несчастный!

— Нет, вы не несчастны! Если бы я дала воз-
можность укрепить вашему чувству, вместо того, чтобы
с корнем вырвать его из вашего сердца, вы были бы
действительно несчастны, но теперь, слава богу,—
улыбнулась она,— время еще не потеряно и я надеюсь,
что ваша «болезнь» не успела развиваться.

— Не будем больше говорить об этом!

— Напротив, поговорим об этом. Вы встретитесь, конечно, у меня с человеком, которого я люблю, и вы должны знать, как и почему я полюбила его.

— Благодарю вас за доверие...

— Вы уязвлены,— сказала она,— и совершенно напрасно. Дайте мне руку, как хорошему товарищу.

Я пожал руку Лунзы и, желая показать ей, что вполне примиряюсь со своей участью, проговорил:

— Вы поступаете вполне лояльно. Ваш друг, вероятно, какой-нибудь князь?

— О, нет,— улыбнулась она,— я не так требовательна: он только граф.

— Ах, мадемуазель Роза, —воскликнул я, —не приезжайте в Петербург: вы вскоре забудете здесь Огюста!

— Вы осуждаете меня, даже не выслушав,— сказала Луиза.— Это дурно с вашей стороны. Вот почему я хочу вам все рассказать. Впрочем, вы не были бы французом, если бы приняли мои слова иначе.

— Надеюсь, ваше благосклонное отношение к русским не помешает вам справедливо отнестись к вашим соотечественникам?

— Я не хочу быть несправедливой ни к тем, ни к другим. Я сравниваю, вот и все. Каждая нация имеет свои недостатки, которых сама не замечает, потому что они глубоко укоренились в ее натуре, но их хорошо замечают иностранцы. Наш главный недостаток — это легкомыслие. Русский, у которого побывал француз, никогда не говорит, что у него был француз, а выражается так: «У меня был сумасшедший». И не нужно говорить, какой это сумасшедший: все знают, что речь идет о французе.

— А русские — без недостатков?

— Конечно, нет, но их обыкновенно не замечают те, кто пользуется их гостеприимством.

— Спасибо за урок.

— Ах, боже мой, это не урок, а совет! Раз вы хотите остаться здесь надолго, вы должны стать другом, а не врагом русских.

— Вы правы как всегда.

— Разве я не была когда-то такою же, как вы? Разве я не давала себе слово, что никогда ни один из этих вельмож, столь подобострастных с царем и столь заносчивых с подчиненными, не добьется моего располо-

жения? И не сдержала слова. Не давайте же никаких клятв, чтобы не нарушить их, как нарушила я.

— Вероятно,— спросил я Луизу,— вы долго боролись с собой?

— Да, борьба была трудная и долгая и чуть не окончилась трагически.

— Вы надеетесь, что любопытство восторжествует над моей ревностью?

— Нет, мне попросту хочется, чтобы вы знали правду.

— В таком случае говорите, я вас слушаю.

— Я служила раньше,— начала Луиза,— как вы уже знаете из письма Розы, у мадам Ксавье, самой известной хозяйки модного магазина в Петербурге. Вся знать столицы покупала у нее. Благодаря моей молодости и тому, что я называют красотой, а больше всего тому, что я француженка, у меня, как вы, вероятно, догадываетесь, не было недостатка в поклонниках. Между тем, клянусь вам, даже самые блестящие предложения не производили на меня ни малейшего впечатления. Так прошло полтора года.

Два года тому назад перед магазином мадам Ксавье остановилась коляска, запряженная четверкой. Из нее вышли дама лет сорока пяти — пятидесяти, две молодые девушки и молодой офицер, корнет кавалергардского полка. Это была графиня Анненкова со своими детьми. Графиня с дочерьми жила в Москве и приехала на лето в Петербург к сыну. Их первый визит был к мадам Ксавье, которая считалась законодательницей мод. Женщины их круга просто не могли обойтись без помощи мадам Ксавье.

Обе барышни были очень изящны, что же касается молодого человека, я не обратила на него никакого внимания, хотя он не спускал с меня глаз. Сделав покупки, старая дама дала свой адрес: Фонтанка, дом графини Анненковой.

На следующий день молодой офицер один явился в наш магазин и обратился ко мне с просьбой переменить бант на шляпе одной из его сестер.

Вечером я получила письмо за подписью Алексея Анненкова. Как и все подобные письма, оно было с начала до конца объяснением в любви. Но в письме этом меня удивило одно обстоятельство — в нем не было

никаких соблазнительных предложений и обещаний: в нем говорилось о завоевании моего сердца, но не о покупке его. Есть положения, в которых будешь смешной, если придерживаешься слишком строгой морали. Будь я девушкой из общества, я отослала бы графу его письмо, не читая. Но ведь я была скромная модистка: я прочитала письмо и... сожгла его.

На следующий день граф опять пришел с поручением купить кое-что для своей матери. Увидев его, я под каким-то предлогом ушла из магазина в комнаты мадам Ксавье и оставалась там до тех пор, пока он не уехал.

Вечером я получила от него второе послание. Он писал в нем, что все еще надеется, так как думает, что я не получила его первого письма. Но и это письмо я оставила без ответа.

На другой день пришло третье письмо. Тон его поразил меня: от него веяло грустью, напоминающей печаль ребенка, у которого отняли любимую игрушку. Это не было отчаяние взрослого человека, теряющего то, на что он надеялся.

Он писал, что если я не отвечу и на это письмо, то он возьмет отпуск и уедет с семьей в Москву. Я снова ответила молчанием и полтора месяца спустя получила от него письмо из Москвы, в котором он сообщал мне, что готов принять безумное решение, которое может разбить всю его будущность. Он умолял ответить на это письмо, чтобы иметь хоть крупицу надежды, которая привяжет его к жизни.

Я подумала, что письмо написано, чтобы напугать меня, а потому оставила его без ответа, как и все предыдущие.

Спустя четыре месяца он прислал мне следующую записку: «Я только что приехал, и первая моя мысль — о вас. Я люблю вас столько же и, быть может, еще больше, чем прежде. Вы уже не можете спасти мне жизнь, но благодаря вам я еще могу полюбить ее».

Это упорство, эти таинственные намеки в его последних письмах, наконец, грустный тон их заставили меня написать графу, но ответ мой был, несомненно, не такой, какого он желал. Я закончила свое письмо уверенным, что не люблю его и никогда не полюблю.

— Вам кажется это странным,— прервала Луиза свой рассказ,— я вижу, вы улыбаетесь: по-видимому,

такая добродетель смешна у бедной девушки. Но, уверяю вас, дело тут не в добродетели, а в полученном мною воспитании. Моя мать, вдова офицера, оставшись без всяких средств после смерти мужа, воспитала таким образом Розу и меня.

Мне едва исполнилось шестнадцать лет, когда моя мать умерла, и мы лишились скромной пенсии, на которую жили. Сестра научилась делать цветы, а я поступила продавщицей в магазин мод. В скором времени Роза полюбила вашего друга и отдалась ему, но я не поставила ей этого в вину: я считаю вполне естественным отдать свое тело, когда отдаешь сердце. Я же еще не встретила того, кого мне суждено было полюбить.

Наступил Новый год. У русских, как вы скоро в этом убедитесь, начало года празднуется очень торжественно. В этот день вельможа и крестьянин, княгиня и барышня из магазина, генерал и рядовой — становятся как бы ближе друг другу.

В день Нового года царь принимает у себя свой народ — около двадцати тысяч приглашенных являются на бал в Зимний дворец. В девять часов вечера двери дворца открываются, и его залы тут же наполняются самой разнообразной публикой, тогда как в течение всего года он доступен только для высшей аристократии.

Мадам Ксавье достала нам билеты, и мы решили пойти все вместе на этот бал. Несмотря на огромное стечение народа, на этих балах — как это ни странно — не бывает ни беспорядка, ни приставаний, ни краж, и молодая девушка, даже если она очутится здесь одна, может чувствовать себя в такой же безопасности, как в спальне своей матери.

Уже около получаса находились мы в зале дворца (теснота была так велика, что, казалось, лишнему человеку не найти там места), когда раздались звуки полонеза и среди приглашенных пронесся шепот: «государь, государь!»

В дверях появляется его величество с супругой английского посла. За ним следует весь двор. Публика расступается, и в образовавшееся пространство устремляются танцующие. Перед моими глазами проносится поток бриллиантов, перьев, бархата, духов. Отделенная от своих подруг, я пытаюсь присоединиться к ним, но

безуспешно. Замечаю только, что они мчатся мимо меня, словно подхваченные вихрем, и я тут же теряю их из вида. Я не могу пробиться сквозь плотную людскую стену, которая отделила меня от них, и оказываюсь одна среди двадцати пяти тысяч незнакомых мне людей.

Совершенно растерявшись, я готова обратиться за помощью к первому встречному, но тут ко мне подходит человек в домино, в котором я узнаю графа Алексея.

— Как, вы здесь, одни? — удивился он.

— О, это вы, граф, — обрадовалась я, — помогите мне, ради бога, выбраться отсюда. Достаньте мне экипаж.

— Разрешите мне отвезти вас, и я буду признателен случаю, который дал мне больше, чем все мои старания.

— Нет, благодарю вас. Я бы хотела извозчика.

— Но в этот час найти здесь извозчика невозможно. Оставайтесь еще один час.

— Нет, я должна уехать.

— В таком случае разрешите моим людям отвезти вас. И так как вы не желаете меня видеть, то — что поделать? — вы меня не увидите.

— Боже мой, я бы хотела...

— Другого выбора нет. Или пробудьте здесь еще немного, или согласитесь отправиться в моих санях, не можете же вы уйти отсюда одна, пешком и в такой мороз!

— Хорошо, граф. Я согласна уехать в ваших санях.

Алексей предложил мне руку, и мы чуть ли не целый час пробирались сквозь толпу, пока, наконец, не очутились у дверей, выходящих на Адмиралтейскую площадь. Граф позвал своих слуг, и через минуту у подъезда появились прелестные сани в виде крытого возка. Я села в них и дала адрес мадам Ксавье. Граф поцеловал мне руку, закрыл дверцу и сказал по-русски несколько слов своим людям. Сани помчались с быстротою молнии.

Минуту спустя лошади, как мне показалось, побежали еще быстрее, а кучер делал, по-видимому, невероятные усилия, чтобы сдерживать их. Я стала кричать, но крики мои терялись в глубине возка. Хотела открыть дверцу, но не могла. После тщетных усилий я упала на сиденье, думая, что лошади понесли и что мы вот-вот налетим на что-нибудь и разобьемся.

Однако, спустя четверть часа, сани остановились и дверца открылась. Я была так расстроена всем происшедшим, что решительно не понимала, что со мною. Тут меня укутали с головой в какую-то шаль, понесли куда-то, и я почувствовала, что меня опустили на диван. С трудом сбросив с себя шаль, я увидела незнакомую комнату и графа Алексея у своих ног.

— О,— воскликнула я,— вы меня обманули! Это подло!

— Простите меня,— сказал он,— я не хотел упустить такой случай, в другой раз он уже не представится. Позвольте мне хоть раз в жизни сказать вам, что...

— Вы не скажете ни одного слова, граф! — закричала я, вскочив с дивана.— И сию же минуту велите отвезти меня домой, иначе вы поступите как бесчестный человек.

— Ради бога!..

— Ни в коем случае!..

— Я хочу только сказать... я вас так давно не видел, так давно не говорил с вами... Неужели моя любовь и мои просьбы...

— Я ничего не хочу слышать!

— Вижу,— продолжал он,— что вы меня не любите и никогда не полюбите. Ваше письмо мне подало было надежду, но и она меня обманула. Я выслушал ваш приговор и подчинюсь ему, я прошу только дать мне пять минут — и вы будете свободны.

— Вы даете слово, что через пять минут я буду свободна?

— Клянусь вам!

— В таком случае говорите.

— Выслушайте меня, Луиза. Я богат, знатного происхождения, у меня мать, которая обожает меня, две сестры, которые любят меня. С раннего детства я был окружен людьми, которые обязаны были повиноваться мне, и, несмотря на все это, я болен той болезнью, которою страдает большинство моих соотечественников в двадцать лет: я утомлен жизнью, я скучаю.

Болезнь эта — мой злой гений. Ни балы, ни празднества, ни удовольствия не сняли с моих глаз тот серый, тусклый налет, который заслоняет от меня жизнь. Я думал, что, быть может, война с ее приключениями

и опасностями излечит мой дух, но теперь в Европе установился мир, и нет больше Наполеона, потрясающего и низвергающего государства.

Устав от всего, я пробовал было путешествовать, когда встретил вас. То, что я почувствовал к вам, не было любовным капризом. Я написал вам, полагая, что достаточно этого письма, чтобы вы уступили моим просьбам. Но, против моего ожидания, вы мне не ответили. Я настаивал, так как ваше сопротивление меня задевало, но вскоре убедился, что питаю к вам настоящую, глубокую любовь. Я не пытался победить это чувство, потому что всякая борьба с собою утомляет меня, приводит в уныние. Я вам написал, что уеду, и действительно уехал.

В Москве я встретил старых друзей. Они нашли меня мрачным, скучным и попытались развлечь. Но это им не удалось. Тогда они принялись искать причину моего грустного настроения, решили, что меня сдает любовь к свободе и предложили мне вступить в тайное общество, направленное против царя.

— Боже мой, — вскричала я в ужасе, — вы, надеюсь, отказались?!

— Я вам писал, что мое решение будет зависеть от вашего ответа. Если бы вы любили меня, жизнь моя принадлежала бы не мне, а вам, и я не имел бы права распоряжаться ею. Когда же вы мне не ответили, доказав этим, что не любите меня, жизнь потеряла для меня всякий интерес. Заговор? Пусть так, это хоть послужит мне развлечением. А если он будет раскрыт? Ну что ж, мы погибнем на эшафоте. Я часто думал о самоубийстве, в этом случае все разрешится само собой: мне не придется накладывать на себя руки.

— О, боже мой! Неужели вы говорите правду?

— Я говорю вам, Луиза, истинную правду. Вот смотрите, — сказал он, беря с маленького стола какой-то конверт, — я не мог предвидеть, что встречу с вами сегодня. Я даже не знал, увижу ли я вас когда-нибудь. Прочтите, что здесь написано.

— Ваше духовное завещание!

— Да. Я сделал его в Москве, на следующий день после вступления в тайное общество.

— Боже мой! Вы оставляете мне тридцать тысяч рублей ежегодного дохода!

— Если вы не любите меня при жизни, мне хотелось, чтобы вы сохранили добрую память обо мне хотя бы после моей смерти.

— Но что же случилось с этим разговором, с мыслями о самоубийстве? Вы отказались от всего этого?

— Луиза, вы можете теперь идти. Пять минут истекли. Но вы — моя последняя надежда, последнее, что меня привязывает к жизни. Если вы уйдете отсюда с тем, чтобы никогда больше не вернуться, я даю вам честное слово, слово графа, что еще не закроется за вами дверь, как я пушу себе пулю в лоб.

— Вы сумасшедший!

— Нет. Я только скучающий человек.

— Вы не сделаете того, что говорите!

— Попробуйте!

— Ради бога, граф...

— Послушайте, Луиза, я боролся до конца. Вчера я принял решение покончить со всем этим. Сегодня я вас увидел и мне захотелось рискнуть еще раз, в надежде, что, может быть, выиграю. Я поставил на карту свою жизнь. Ну что ж? Я проиграл — нужно платить!

Если бы он говорил мне все это в иступлении страсти, я не поверила бы ему, но он был совершенно спокоен. Во всех его словах слышалось столько правды, что я не могла уйти: смотрела на этого красивого молодого человека, полного жизни, которому нужна только я, для того чтобы он был вполне счастлив. Я вспомнила его мать и двух сестер, которые безумно любят его, вспомнила их счастливые, улыбающиеся лица. Я представила его себе обезображенным, истекающим кровью, а их рыдающими и убитыми горем и спросила себя, какое право я имею разбивать счастье этих людей, разрушать их сладкие надежды? Кроме того, я должна вам признаться, что такая упорная привязанность дала свои плоды: в тиши ночей, в своем полном одиночестве, я не раз вспоминала об этом человеке, который постоянно думает обо мне. И прежде чем расстаться с ним навеки, я заглянула поглубже в свою душу и убедилась, что тоже... люблю его... Я осталась...

Алексей говорил правду: единственное, чего ему не хватало в жизни, была моя любовь. Вот уже два года,

как мы любим друг друга, и он счастлив или, по крайней мере, кажется счастливым. Он забыл о тайном обществе, куда вступил со скуки и из-за отвращения к жизни. Не желая, чтобы я оставалась долее у мадам Ксавье, он, не говоря ни слова, снял для меня этот магазин. И вот уже полтора года, как я живу другою жизнью и даже изучаю науки, которыми пренебрегала в юности, словом, пополняю свое образование. Этим и объясняется то отличие, которое вы нашли во мне по сравнению с другими девушками моей профессии. Вы видите, стало быть,— закончила она свой рассказ,— что я недаром задержала вас: кокетка поступила бы иначе. И понимаете, что я не могу вас любить, потому что люблю его.

— Да. Понимаю теперь, с помощью кого вы собираетесь оказать мне протекцию.

— Я уже говорила с ним о вас.

— Благодарю, но я отказываюсь.

— Вы с ума сошли!

— Может быть, но такой уж у меня характер.

— Вы хотите навеки поссориться со мною? Да?

— О, это было бы ужасно для меня, ведь, кроме вас, я никого здесь не знаю.

— Ну, так смотрите на меня как на сестру и предоставьте мне действовать.

— Вы этого непременно хотите?

— Я этого требую!

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел граф Алексей Анненков.

Это был красивый молодой человек лет двадцати пяти-шести, гибкий, стройный, с мягкими чертами лица, который, как мы уже говорили, служил корнетом в кавалергардском полку. Этим привилегированным полком долгое время командовал великий князь Константин, брат императора Александра, бывший в то время польским наместником. Граф был в мундире и при ордене. Луиза встретила его улыбкой.

— Добро пожаловать, ваше сиятельство. Позвольте представить вам моего соотечественника, о котором я уже говорила вам. Вот кому я прошу оказать ваше высокое покровительство.

Граф весьма любезно поздоровался со мной и, целуя руку Луизе, проговорил:

— Увы, милая Луиза, мое покровительство немногого стоит. Но для начала я хочу предложить вашему соотечественнику двух учеников: брата и себя.

— Это уже кое-что,— заметила Луиза,— а не упоминали ли вы о месте учителя фехтования в одном из здешних полков?

— Да, и со вчерашнего дня я навел кое-какие справки. Оказывается, в Петербурге уже имеются два учителя фехтования: один русский, другой француз, некто Вальвиль, ваш соотечественник, сударь,— обратился он ко мне.— Я не берусь судить о его достоинствах, но он сумел понравиться государю, который произвел его в майоры и наградил несколькими орденами. Теперь он состоит учителем фехтования в императорской гвардии. Что до моего соотечественника, то он милейший, прекраснейший человек, единственный недостаток которого в наших глазах состоит в том, что он русский. Он давал когда-то уроки фехтования самому государю, получил чин полковника и орден св. Владимира. Надеюсь, вы не собираетесь для начала восстановить их обоих против себя?

— Конечно, нет,— ответил я.

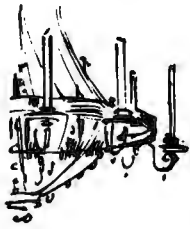
— В таком случае вам надобно поступить следующим образом: устроить публичный сеанс и проявить на нем свое искусство. Когда слух о вас распространится по городу, я дам вам прекрасную рекомендацию, с которой вы явитесь к великому князю Константину, который находится как раз в Стрельне и, надеюсь, соблаговолит представить ваше прошение его величеству.

— Отлично! — вскричала Луиза, очень довольная благосклонностью ко мне графа.— Видите, я вас не обманула.

— Я никогда в вас не сомневался. Граф — любезнейший из покровителей, а вы — превосходнейшая из женщин. Не далее как сегодня вечером я займусь составлением своей программы.

— Вот и хорошо,— заметил граф.

— Извините, граф,— сказал я,— но я хочу просить вас дать мне кое-какие сведения о здешних условиях. Я даю этот сеанс не для заработка, а для того, чтобы зарекомендовать себя. Скажите, пожалуйста, как мне



поступить: разослать ли приглашения, как на вечер, или же назначить входную плату, как на спектакль?

— Непременно назначьте плату,— сказал граф,— иначе никто не пойдет к вам. Назначьте за билет десять рублей и пошлите мне сто билетов: я их размещу по своим знакомым.

От редкой любезности графа моя ревность улетучилась. Я поблагодарил его и откланялся.

На следующий день мои афиши были расклеены по всему городу, и через неделю я дал публичный сеанс, в котором не приняли участия ни Вальвиль, ни Синебрюхов — французский и русский учителя фехтования,— а только любители из публики.

Я не намерен перечислять здесь свои подвиги, количество нанесенных и полученных мною ударов. Скажу только то, что уже во время сеанса наш посол, граф де ла Ферроне, пригласил меня давать уроки своему сыну, графу Шарлю, и что на следующий день я получил много хвалебных писем, между прочим, от герцога Вюртембергского, который тоже просил меня давать уроки его сыну, и графа Бобринского, который сам стал брать у меня уроки.

Когда мы опять встретились с графом Анненковым, он сказал мне:

— Ваш сеанс прошел весьма удачно, и вы приобрели репутацию отличного знатока своего дела. Теперь вам необходим официальный аттестат. Вот письмо к адъютанту великого князя. Сам князь уже наслышан о вас. Возьмите с собой прошение на высочайшее имя, польстите Константину и постарайтесь заручиться его протекцией.

— Но примет ли он меня, граф? — спросил я неуверенно.— Я хочу сказать, учтив ли он будет со мной?

— Послушайте,— рассмеялся граф Алексей,— вы оказываете нам слишком много чести. Вы считаете нас цивилизованными людьми, тогда как мы варвары. Вот письмо, но я ни за что не ручаюсь: все зависит от хорошего или дурного расположения духа великого князя. Выберите надлежащий момент. Вы француз,— стало быть, человек ловкий. Вам нужно выдержать борьбу и одержать победу.

— Да, но я не хочу толкаться в передних и боюсь дворцовых интриг. Уверяю вас, ваше сиятельство, я предпочел бы всему этому настоящую дуэль.

— Жан Бар не более вас был привычен к гладким паркетам и придворным обычаям. А как он вышел из положения, явившись в Версаль?

— При помощи кулаков, граф!

— Поступите так же и вы. Кстати, я должен вам сказать, что Нарышкин, граф Чернышев и полковник Муравьев просили меня передать вам, что они хотели бы брать у вас уроки фехтования.

— Вы чрезвычайно любезны, граф.

— Ничуть, сударь: я исполняю данное мне поручение, только и всего.

— Мне кажется, что все складывается недурно,— заметила Луиза.

— Благодаря вам, Луиза,— и обращаясь к графу, я добавил.— Завтра же воспользуюсь вашим советом и рискну.

— В добрый час!

Ободряющие слова графа были отнюдь не лишними. Я уже слышал кое-что о великом князе, к которому должен был пойти. Мне легче было бы пойти на медведя, чем обратиться с просьбой к нему, этому странному человеку, в характере которого было столько же хороших, сколько и дурных черт.

Глава пятая

Великий князь Константин, младший брат Александра, по-видимому, унаследовал характер своего отца со всеми его странностями.

Насколько Константин не любил заниматься науками, настолько ему нравились военные учения. Фехтовать, скакать верхом, командовать армией казалось ему делом куда более полезным для великого князя, чем занятия живописью, ботаникой или астрономией. В этом отношении он походил на своего отца, императора Павла. Со временем он так пристрастился к военному делу, что даже в ночь после своей свадьбы встал в пять часов утра, чтобы провести учение с солдатами, охранявшими его дворец.

Разрыв России с Францией послужил не на пользу Константину, ибо отец послал его в Италию, чтобы он завершил свое военное образование под началом фельдмаршала Суворова. Но такой наставник, как Суворов, знаменитый столько же своим мужеством, сколько и странностями характера, мало подходил для того, чтобы отучить Константина от собственных странностей. В результате они не только не сгладились, а настолько увеличились, что вполне могло показаться, будто он унаследовал безумие своего отца.

По возвращении из этого похода Константин был назначен наместником Польши. Во главе этого воинственного народа его воинственные наклонности еще более развились. Лучшим развлечением для него были парады, смотры и учения. Зимой и летом жил ли он в Брюлевском дворце около Саксонского сада или в Бельведерском дворце, он вставал в три часа утра и надевал свой генеральский мундир. Ни один слуга не помогал ему при этом. Сидя за круглым столом в комнате, увешанной рисунками мундиров всех полков армии, он просматривал приказы, принесенные накануне полковником Аксамилевским, одобрял их или, наоборот, отменял. За этим занятием он проводил время до девяти часов утра, затем, наскоро позавтракав, отправлялся на Саксонскую площадь, где его уже ждали два пехотных полка и один эскадрон кавалерии, чьи оркестры встречали его появление маршем, сочиненным Курпинским. Вслед за этим начинался смотр. Солдаты проходили безошибочно правильными рядами мимо великого князя, который обычно являлся на эти учения одетым в зеленый охотничий костюм, с мягкой шляпой на голове, украшенной петушиными перьями.

Под его узким лбом, изборожденным глубокими морщинами, светилась пара голубых глаз с длинными густыми ресницами. Быстрый взгляд, небольшой курносый нос и длинная нижняя губа придавали его лицу какое-то странное и вместе с тем свирепое выражение. При звуках военной музыки, при виде людей, им обученных, которые шли мимо церемониальным маршем, он забывал обо всем на свете: глаза его загорались, лицо заливала краска, руки сжимались в кулаки, а ноги

притоптывали в такт проходившим войскам. Он был крайне доволен, когда все шло хорошо, и приходил в неопиcуемый гнев, если во время учения или смотра случалось какое-нибудь нарушение дисциплины.

Тогда он жестоко расправлялся с виновными: малейшие ошибки солдат наказывались карцером, а офицеров — разжалованием. Эта жестокость распространялась не только на людей, но и на животных. Однажды он велел повесить обезьяну, которая производила слишком много шума. В другой раз, когда лошадь под ним оступилась, она была наказана тысячей ударов плетью. В третий раз он приказал застрелить собаку, разбудившую его ночью своим воем.

Его веселость выражалась в такой же дикой форме, что и гнев: он буквально катался по полу от смеха, радостно потирал себе руки и топал ногами. В такие минуты он хватал первого попавшегося ребенка, вертел его во все стороны, шипал, дергал за нос, заставлял целовать себя, а затем дарил ему золотую монету. А порой он не гневался и не радовался, а пребывал в состоянии полнейшего равнодушия и глубокой меланхолии. Он испытывал тогда необычайную слабость, стонал и катался по дивану или по полу. В такие минуты никто не смел приближаться к нему, кроме высокой бледной женщины, одетой в простое белое платье с голубым поясом. Эта женщина оказывала на него магическое влияние: она садилась около него, он клал ей голову на колени, плакал, потом засыпал и просыпался совершенно здоровым. Женщина эта была Анна Грудзинская, ангел-хранитель Польши.

Однажды этот полудикий человек со страстным, сумасбродным характером стал вдруг боязлив, как ребенок. Он, перед которым все дрожали, который распоряжался жизнью отцов и честью дочерей, робко попросил у старика отца Анны ее руку, умоляя не отказывать ему, ибо без нее он жить не может. Старик не отказал великому князю, и последний добился согласия дочери. Требовалось еще разрешение императора.

Он получил его, отказавшись от своих прав на престол.

Этот странный, неразгаданный человек, который, подобно Юпитеру Олимпийскому, заставлял всех трепетать перед собой, отдал корону за сердце молодой

девушки, иными словами, ради любимой женщины отказался от империи, занимающей седьмую часть земного шара и населенной пятьюдесятью тремя миллионами людей.

Анна Грудзинская получила от императора Александра титул княгини Лович.

Таков был человек, с которым мне предстояло увидеться. Он прибыл в Петербург, как поговаривали, тайно, узнав в Варшаве об обширном заговоре, охватившем всю Россию. Но нити этого заговора, находившиеся в его руках, оборвались благодаря упорству двух арестованных им заговорщиков. Как видно, обстоятельства мало благоприятствовали тому, чтобы обращаться к великому князю с такой пустяшной просьбой, как моя.

Я нанял извозчика и отправился на следующий день в Стрельню с письмом к адъютанту великого князя и с прошением на имя императора Александра. После двух часов езды по великолепной дороге, — слева шли загородные дома, а справа простиралась до самого Финского залива огромная равнина — мы приехали в Стрельню. Около почты на Большой улице мы свернули направо, и спустя несколько минут я оказался у дворца великого князя. Часовые преградили мне путь, но я показал им письмо, и меня пропустили.

Я поднялся на крыльцо и вошел в дом. Меня попросили подождать в гостиной, окна которой выходили в прелестный сад, пока дежурный офицер относил мое письмо. Минуту спустя он вернулся и предложил мне следовать за ним.

Великий князь стоял спиною к топившейся печке: было уже довольно свежо, хотя только что наступил сентябрь. Он диктовал какую-то депешу адъютанту, сидевшему рядом с ним. Я не ожидал, что буду принят так скоро, и остановился на пороге. Едва закрылась за мной дверь, как великий князь, не меняя позы, посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом и спросил:

- Откуда ты родом?
- Я француз, ваше императорское высочество.
- Сколько тебе лет?
- Двадцать шесть.
- Твое имя?

- Г...
- Это ты хочешь получить место учителя фехтования в одном из полков его величества, моего брата?
- Это является предметом моего самого горячего желания.
- И ты говоришь, что являешься первоклассным фехтовальщиком?
- Прошу извинения у вашего императорского высочества: я этого не говорил, не мне говорить это.
- Но ты так думаешь?
- Вам известно, ваше императорское высочество, что тщеславие — величайший порок человечества. Впрочем, я дал публичный сеанс, и вы, ваше высочество, можете осведомиться о нем.
- Знаю, но ты имел дело только с любителями, с посредственными фехтовальщиками.
- Я их щадил, ваше высочество.
- Ну, а если бы ты их не щадил бы, что тогда?
- Я уколол бы их десять раз, а они меня — только один раз.
- Вот как!.. Таким образом, ты и меня мог бы уколоть десять раз против одного?
- Это смотря по тому, ваше высочество...
- То есть, как это так — смотря по тому?
- Ну да, смотря по тому, что вы пожелаете. Если я буду фехтовать с великим князем, то вы уколете меня десять раз, а я от силы два раза. Но если вы, ваше высочество, разрешите мне фехтовать с вами, как с любым смертным, то, вероятнее всего, я уколую вас десять раз, а вы меня только два.
- Любенский, — закричал великий князь, потирая руки, — мои рапиры, живо! Посмотрим, господин фанфарон.
- Как прикажете, ваше высочество.
- Я желаю, чтобы ты меня уколол десять раз. Ты что? уже идешь на попятный?
- Я пришел с тем к вам, ваше высочество, чтобы отдать себя в ваше распоряжение. Извольте приказывать.
- Прекрасно. Возьми рапиру, маску и начнем.
- Вы настаиваете, ваше высочество?

— Да,— сто раз, тысяча раз, да!
— В таком случае, я к вашим услугам.
— Вот что, ты должен меня уколоть десять раз,— сказал великий князь, атакуя меня,— слышишь, десять раз — я не уступлю тебе ни одного!

Несмотря на приказание великого князя, я только парировал его удары, но сам не нападал.

— Послушай,— вскричал он, начиная горячиться,— мне кажется, что ты щадишь меня!.. погоди... погоди...

Я видел, как под маской краска бросилась ему в лицо и глаза налились кровью.

— Где же твои десять ударов?

— Ваше высочество, уважение...

— Убирайся к черту со своим уважением! Коли меня!

Я воспользовался его разрешением и уколол его три раза подряд.

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнул он.— Теперь мой черед... Вот тебе, вот!..

И это была правда.

— Я полагаю, ваше высочество, что вы меня не щадите, и теперь отвечу вам тем же.

— Превосходно... Ха, ха, ха!

Я уколол его еще четыре раза подряд, а он меня ударил один раз.

— Прекрасно! — весело воскликнул великий князь.— Ты видел,— обратился он к своему адъютанту,— я уколол его два раза против семи.

— Простите, ваше высочество, два раза против десяти,— сказал я, снова нападая на него.— Вот вам восьмой, девятый... десятый... Мы квиты!

— Прекрасно! — вскричал великий князь.— Владешь ли ты так же хорошо шпагой, как и рапирой?

— Думаю, что да, ваше высочество.

— Отлично. А можешь ли ты защищаться пеший против всадника, вооруженного пикой?

— Полагаю, ваше высочество.

— Ты полагаешь, но не уверен... Ха, ха! Ты не уверен!

— Нет, ваше высочество, я вполне уверен.

— И сможешь защищаться?

— Смогу, ваше высочество.

— И парировать удары пики?

- Да.
- Против всадника?
- Против всадника.
- Любенский! — опять позвал адъютанта великий князь.

Офицер явился.

- Прикажи подать лошадь. Дай мне пикую! Идем!
- Но, ваше высочество...
- А, ты на попятный!

— Я не иду на попятный, ваше высочество. Со всяким другим все это было бы для меня детской забавой.

— Ну, а со мной?

— Я одинаково боюсь и победить и потерпеть поражение. Ведь в случае моей победы вы можете забыть, что сами приказали...

В эту минуту под окном появился офицер с лошадьо и пикой.

— Великолепно,— сказал Константин, выбегая в сад и делая мне знак следовать за ним.— Любенский, дай ему шпагу. Хорошую, кавалергардскую шпагу. Увидим, господин учитель фехтования, что будет с вами. Боюсь, что проткну вас, как лягушку.

При этих словах Константин вскочил на коня и принялся играть пикой, проделывая с нею самые трудные упражнения. В это время мне подали на выбор три или четыре шпаги. Я взял наугад одну из них.

— Ну, что, ты готов? — спросил великий князь.

— Готов, ваше высочество.

Он пришпорил коня и ускакал в другой конец аллеи.

— Его высочество изволит, вероятно, шутить? — спросил я адъютанта.

— Нисколько,— ответил он,— дело идет для вас о жизни и смерти. Защищайтесь как в настоящем поединке — вот все, что я могу вам сказать.

Дело принимало более серьезный оборот, нежели я думал. Мне предстояло не только парировать удары — это было для меня пустяком, но, имея противником великого князя, я подвергался серьезной опасности. Делать было нечего — отступить было нельзя, и я призывал на помощь все свое спокойствие, все свое мастерство.



Великий князь уже доехал до конца аллеи сада. Затем, повернув коня, он крикнул:

— Ну как, готов?

И пустил лошадь галопом, направив пику прямо против меня. Я успел отскочить в сторону, и пика меня не задела. Великий князь закричал:

— Хорошо, хорошо! Еще разок!

И, едва дав мне времени опомниться, он проделал тот же маневр, но еще азартнее, чем в первый раз. Я по-прежнему был настороже и следил за каждым его движением: он опять проскочил мимо, не успев задеть меня пикой, так как в надлежащий момент я отскочил в сторону.

Великий князь покраснел от досады: он окончательно вошел в азарт и хотел во что бы то ни стало остаться победителем. Он повернул коня и готовился снова напасть на меня, чтобы пронзить пикой. Но на этот раз я решил положить конец слишком затянувшейся шутке.

В тот момент, когда он снова приблизился ко мне и готовился нанести удар, я, вместо того, чтобы увернуться, со всей силой ударил шпагой по древку пики и рассек ее пополам. В то же мгновение я подскочил к опешившему великому князю и приставил острие шашки к его груди. Адъютант вскрикнул, думая, что я собрался пронзить его высочество. То же подумал, по-видимому, и Константин, потому что он сильно побледнел. Но я тотчас же отступил в сторону и, поклонившись, сказал:

— Вот что я могу показать солдатам вашего высочества, если вы удостоите сделать меня учителем фехтования.

— Тысяча чертей! Да, ты достоин этого,— воскликнул великий князь,— или же я не буду я!.. Любенский,— обратился он к офицеру, соскакивая с коня,— прикажи отвести Пулка в конюшню, а ты изволь следовать за мной: я подпишу твое прошение.

Я последовал за великим князем, и он написал на моем прошении:

«Всепокорнейше рекомендую вашему величеству подателя сего прошения в качестве превосходного знатока фехтования. По-моему, он вполне заслуживает должности, которой домогается».

— А теперь,— сказал мне великий князь,— тебе надлежит передать свое прошение его величеству, но если ты сделаешь это лично, то вполне можешь угодить в тюрьму. И все же я посоветовал бы тебе собственноручно вручить его государю. Кто не рискует, тот не выигрывает. До свиданья! Если будешь в Варшаве, можешь явиться ко мне.

Я поклонился и ушел счастливый, что все так благополучно окончилось. Вечером я отправился поблагодарить графа Алексея за добрый совет, хотя этот совет мог мне дорого обойтись. Я рассказал ему подробно, к ужасу Луизы, все, что произошло в Стрельне. На следующий день около десяти часов утра, я поехал в Царское Село, где жил государь. Я решил пробыть во дворцовом парке до тех пор, пока не встречу его, хотя и рисковал тюрьмой, ибо лиц, осмелившихся, несмотря на запрет, лично подать прошение государю, ожидало тюремное заключение.

Глава шестая

Царское Село расположено в каких-нибудь четырех-пяти лье от Санкт-Петербурга, а между тем дорога туда совсем иная, чем та, по которой я ехал накануне в Стрельню. Здесь нет роскошных дач и прелестных видов: кругом луга и хлебные поля, лишь недавно отвоеванные у огромных папоротников, которые росли здесь чуть ли не с сотворения мира.

Менее чем через час пути я миновал немецкую колонию и поднялся на гряде холмов, откуда передо мной открылся вид на парк, обелиски и пять позолоченных куполов дворцовой церкви Царского Села.

Царскосельский дворец расположен на том самом месте, где некогда находилась хижина старой голландки по имени Сара, к которой Петр Первый любил заезжать, чтобы попить у нее молока. Когда голландка умерла, Петр, которому эта хижина приглянулась из-за открывавшегося оттуда чудного вида, подарил ее вместе с окружающими землями Екатерине, чтобы она велела построить там ферму. Екатерина призвала архитектора и точно объяснила ему свое желание. Архитектор сделал так, как делают все архитекторы: создал нечто

противоположное тому, что от него требовалось: он построил не ферму, а дворец.

Однако эта резиденция, которой было весьма далеко до сельской простоты, показалась впоследствии Елизавете слишком скромной и не соответствующей могуществу русской императрицы. Она приказала разрушить дворец и поручила Растрелли выстроить на том же месте другой, более роскошный. Знаменитый архитектор вознамерился затмить даже Версальский дворец. Зная, что внутри тот отделан золотом, он позолотил в новом дворце все, что возможно: карнизы, выступы, кариаид — чуть ли не крыши.

Когда роскошный дворец был окончен, Елизавета пригласила свой двор и всех иностранных послов отпраздновать его освящение. При виде всего этого великолепия все, кроме французского посла Шетарди, в один голос стали превозносить красоту дворца, говоря, что, по справедливости, он должен быть назван восьмым чудом света. Задетая тем, что Шетарди не вторит этому хвалебному хору, а смотрит по сторонам с задумчивым видом, точно потерял что-то, императрица спросила его, что он ищет.

— Ваше величество, — отвечал посол, — я ищу футляр этой драгоценной игрушки.

В те времена можно было стать знаменитым, чуть не обессмертить себя каким-нибудь четверостишием или удачной шуткой. Этот остроумный ответ прославил Шетарди в Петербурге.

К сожалению, архитектор построил новый дворец для летнего времени, позабыв про зиму. И уже весной его пришлось переделывать, причем сильно пострадала позолота. Затем уже при Екатерине II дворец подвергся еще нескольким переделкам, и позолота была заменена краской. Что же касается крыши, то ее, по обычаю петербуржцев, выкрасили в нежный зеленый цвет.

Когда распространился слух о том, что во дворце снимают позолоту, кто-то из придворных предложил Екатерине скупить у нее все это золото.

— К сожалению, я не торгую старьем, — отвечала императрица.

Среди своих побед, любовных походов и путешествий Екатерина не переставала заботиться о своей любимой резиденции. Когда подрос ее старший внук

Александр, она построила для него вблизи императорского дворца малый Александровский дворец и поручила архитектору Бушу разбить там сады. Буш не только разбил сады, но вырыл водоемы, каналы, устроил фонтаны. Однако не подумал о воде, убежденный, что той, которую зовут Екатерина Великая, стоит лишь пожелать и вода появится, словно по волшебству.

Преемник Буша, Бауэр, вознамерился исправить этот недостаток. Узнав, что богач Демидов, который владел неподалеку от дворца великолепным поместьем, имеет в изобилии то, чего недостает его августейшей повелительнице, архитектор обратился к нему за помощью, и тут же вода наполнила водоемы, брызнула из фонтанов, образовала водопады. Вот почему Екатерина сказала как-то:

— Мы можем поссориться со всей Европой, но только не с Демидовым.

Действительно, в любой момент Демидов мог бы, если бы пожелал, оставить дворец без воды.

Император Александр вырос в Царском и от своей бабушки унаследовал любовь к нему. Все воспоминания детства, этого золотого времени в жизни каждого человека, были связаны у него с царскосельским дворцом: по его газонам он учился ходить, в его аллеях брал первые уроки верховой езды, на его прудах учился управлять лодкой. Недаром он проводил здесь время с первых весенних дней до начала зимы.

Именно сюда, в Царское Село, я и приехал с намерением во что бы то ни стало повидать царя.

Наскоро позавтракав в плохоньком французском ресторане, я направился в парк, где разрешалось гулять решительно всем. Близились осень, и парк был совершенно пуст, а может быть, публика попросту боялась обеспокоить своим присутствием царя. Я знал, что он любит гулять по самым глухим аллеям, и принялся бродить наудачу по парку в надежде, что в конце концов встречу его. А если бы судьба не поспешила проявить ко мне свою благосклонность, я предполагал, что в парке найдутся для меня всякие редкости и достопримечательности.

В самом деле, я вскоре набрел на китайскую деревушку, состоящую из пятнадцати домиков, каждый из которых имел собственный садик и ледник; в них

жили адъютанты императора. Посреди этой деревушки, расположенной в форме звезды, находился павильон для балов и концертов. По углам его стояли с трубками во рту четыре статуи китайских мандаринов в человеческий рост.

Однажды, когда императрица Екатерина праздновала пятидесятый день своего рождения, она прогуливалась с несколькими приближенными по этой деревушке. Зайдя в павильон, она увидела, к своему величайшему удивлению, что из трубок стоящих по углам китайцев валит дым. Мало того, при приближении императрицы китайцы приветливо закивали головами, влюбленно глядя на нее. Екатерина подошла ближе, чтобы рассмотреть это чудо: тут китайцы сошли со своих пьедесталов, согласно китайскому церемониалу, пали перед ней ниц и принялись декламировать стихи. Этими мандаринами были: принц де Линь, граф де Сегюр, граф Кобенцель и князь Потемкин.

Оттуда я отправился взглянуть на лам, животных из семейства верблюдов, обитающих в Кордильерах и присланных мексиканским вице-королем в подарок императору Александру. Из девяти экземпляров пять не вынесли климата и околели, но четыре, оставшиеся в живых, дали многочисленное потомство, которое, вероятно, хорошо приживется здесь.

Неподалеку от зверинца, во французском саду, устроен небольшой дворец-столовая, в котором находится знаменитый олимпийский стол. Стол этот устроен таким образом, что при помощи машин он опускается и подает из кухни, расположенной внизу, все, что душе угодно. Гостю достаточно написать на бумажке те блюда, которые он желает получить, и через несколько минут, точно по волшебству, они появляются перед ним. Однажды некая молодая дама, желая привести в порядок свою прическу, растрепавшуюся во время тет-а-тета, попросила головных шпилек, хотя и была уверена, что не получит их: к ее удивлению, снизу поднялась тарелка с дюжиной головных шпилек.

Продолжая свою прогулку, я набрел на пирамиду, под которой покоятся вечным сном три левретки императрицы Екатерины. Одну из эпитафий, высеченных на этом могильном камне, сочинил г-н де Сегю, другу — сама Екатерина. Вот ее двестише:

Здесь покоится герцогиня Андерсон,
укушенная господином Роджертсон.

Что до третьей левретки, то она пользовалась гораздо большей известностью, хотя никто для нее эпитафий не сочинял.

Левретку эту нарекли «Зюдерланд», по имени банкира-англичанина, который подарил ее Екатерине, и смерть этой собачки причинила банкиру больше неприятностей, чем любая неудачная финансовая операция.

Однажды Зюдерланда, пользовавшегося благосклонностью императрицы благодаря этому подарку, разбудил рано утром слуга:

— Сударь, дом окружен стражей, и сам полицеймейстер желает говорить с вами.

— Что ему надобно? — спросил банкир и вскочил с постели, испуганный одним появлением полиции.

— Не знаю, сударь, дело, как будто, у него весьма важное, так как, по его словам, он должен говорить лично с вами.

— Проси, — сказал Зюдерланд, поспешно надевая халат.

Слуга ушел и через несколько минут впустил в кабинет петербургского полицеймейстера Рылеева, по одному виду которого банкир понял, что тот явился к нему с потрясающей вестью. Банкир весьма вежливо принял полицеймейстера и предложил ему кресло, однако Рылеев отрицательно покачал головой и сказал:

— Господин Зюдерланд, верьте мне, я в полном отчаянии, хотя для меня и большая честь, что ее величество поручила лично мне выполнить такое приказание, однако жестокость его меня крайне удручает... Вы, вероятно, совершили какое-нибудь ужасное преступление?

— Преступление! — вскричал банкир. — Кто совершил преступление?

— По всей вероятности, именно вы, поскольку вы должны подвергнуться этому наказанию.

— Клянусь честью, никакого преступления я не совершал, я принял русское подданство и ни в чем не виновен перед ее величеством...

— Вот потому, что вы теперь русский подданный, с вами и расправляются так жестоко. Будь вы

британским подданным, вы могли бы обратиться за защитой к британскому послу...

— Но позвольте, ваше превосходительство, какой же приказ дан вам относительно меня?

— У меня не хватает духу сказать вам...

— Я лишился, стало быть, милости ее величества?

— О, если бы только это!

— Неужто меня высылают в Англию?

— Нет, Англия — ваша родина, и для вас это вовсе не было бы наказанием.

— Боже мой, вы меня пугаете! Так, значит, меня ссылают в Сибирь!

— Сибирь — превосходная страна, которую зря оклеветали. Впрочем, оттуда еще можно вернуться.

— Скажите же мне, наконец, в чем дело? Уж не сажают ли меня в тюрьму?

— Нет, из тюрьмы тоже выходят.

— Ради бога, — вскричал банкир, все более и более пугаясь, — неужели меня приговорили к наказанию кнутом?

— Кнут — ужасное наказание, но оно не убивает...

— Боже правый, — проговорил Зюдерланд, совершенно ошеломленный. — Понимаю, я приговорен к смерти.

— Увы, да еще к какой смерти! — воскликнул полицеймейстер, поднимая глаза к небу с выражением сочувствия.

— Что значит «к какой смерти»? — простонал Зюдерланд, хватаясь за голову. — Мало того, что меня хотят убить без суда и следствия, Екатерина еще приказала...

— Увы, дорогой господин Зюдерланд, она приказала... если бы она не отдала этого приказания мне лично, я никогда не поверил бы...

— Вы истерзали меня своими недомолвками! Что же приказала императрица?

— Она приказала сделать из вас чучело!

— Чуч...

Несчастный банкир испустил отчаянный вопль.

— Ваше превосходительство, вы говорите чудовищные вещи, уж не сошли ли вы с ума?

— Нет, я не сошел с ума, но, вероятно, сойду во время этой операции.

— Как же это вы, кого я считал своим другом, кому оказал столько услуг, как вы могли выслушать такое приказание, не попытавшись объяснить ее величеству всю его жестокость...

— Я сделал все, что мог, никто на моем месте не осмелился бы говорить так с императрицей, как говорил я. Я просил ее отказаться от этой мысли или, по крайней мере, выбрать кого-нибудь другого для исполнения ее воли. Я умолял со слезами на глазах, но ее величество сказала знакомым вам тоном, тоном, не допускающим возражений: «Отправляйтесь немедленно и исполняйте то, что вам приказано».

— Ну и что же?

— Я отправился к натуралисту, который готовит чучела птиц для Академии наук: раз уж нельзя избежать этого, пусть ваше чучело сделает хоть мастер своего дела.

— И что же, этот подлец согласился?

— Нет, он отослал меня к тому натуралисту, который набивает обезьян, ибо человек больше похож на обезьяну, чем на птицу.

— И что же?

— Он ждет вас.

— Ждет, чтобы я...

— Чтобы вы сию минуту явились к нему. По приказанию ее величества это нужно сделать немедленно.

— Даже не дав мне времени привести в порядок свои дела? Но ведь это невозможно!

— Однако так приказано!

— Но разрешите мне, по крайней мере, написать записку ее величеству.

— Не знаю, имею ли я право...

— Послушайте, ведь это последняя просьба, в которой не отказывают даже закоренелым преступникам. Я умоляю вас.

— Но ведь я рискую своим местом!

— А я — своею жизнью!

— Хорошо, пишите. Но предупреждаю, я не могу оставить вас одного ни на одну минуту.

— Прекрасно. Попросите только, чтобы кто-нибудь из ваших офицеров передал мое письмо ее величеству.

Полицеймейстер позвал гвардейского офицера, приказал ему отвезти письмо во дворец и возвратиться как

только будет дан ответ. Не прошло и часа, как офицер вернулся с приказанием императрицы немедленно доставить во дворец Зюдерланда. Последний ничего лучшего не желал.

У подъезда его дома уже ждал экипаж. Несчастный банкир сел в него и был тут же доставлен в Эрмитаж, где его ожидала Екатерина. При виде Зюдерланда императрица разразилась громким смехом.

Он решает, что Екатерина сошла с ума. И все же бросается перед нею на колени и, целуя протянутую руку, говорит;

— Ваше величество, пощадите меня или, по крайней мере, объясните, чем я заслужил такое ужасное наказание?

— Милый Зюдерланд,— молвит Екатерина, продолжая смеяться.— Вы тут ни при чем, речь шла не о вас.

— О ком же, ваше величество?

— О левретке, которую вы мне подарили. Она околела вчера от несварения желудка. Я очень любила песика и решила сохранить хотя бы его шкуру, набив ее соломой. Я позвала этого дурака Рылеева и приказала ему сделать чучело из Зюдерланда. Он стал отказываться, что-то говорить, просить. Я подумала, что он стыдится такого поручения, рассердилась и велела ему немедленно выполнить мою волю.

— Ваше величество,— отвечает банкир,— вы можете гордиться исполнительностью своего полицеймейстера, но умоляю вас, пусть в другой раз он попросит разъяснить ему приказание, полученное из ваших уст.

Банкир Зюдерланд отделался испугом, но не все так благополучно оканчивалось в Петербурге благодаря необыкновенной старательности, с которой здесь выполняются все приказания. Доказательством тому служит следующий случай.

Однажды к графу де Сегю, французскому послу при дворе Екатерины, пришел какой-то француз; глаза его лихорадочно блестели, лицо горело огнем, одежда была в беспорядке.

— Ваше сиятельство,— возопил несчастный.— Я требую справедливости!

— Кто вас оскорбил?

— Градоначальник. По его приказу мне дали сто ударов кнутом.

— Сто ударов кнутом! — вскричал удивленный посол. — За что? Что вы сделали?

— Решительно ничего!

— Быть этого не может!

— Клянусь честью, ваше сиятельство!

— В своем ли вы уме, мой друг?

— Верьте мне, ваше сиятельство, я не тронулся в уме.

— В чем же дело? Ведь градоначальника все хвалят за мягкость, за справедливость.

— Простите, ваше сиятельство, — воскликнул жалобщик, — разрешите мне сперва показать вам следы порки.

При этих словах несчастный француз снял верхнее платье и показал Сегю свою окровавленную рубаху и явные следы кнута.

— Расскажите же, что произошло, — попросил посол.

— Ваше сиятельство, все очень просто. Я узнал, что граф де Брюс ищет французского повара. Я как раз оказался без места и отправился к нему предложить свои услуги. Слуга открыл дверь в кабинет князя и сказал:

— Ваше сиятельство, повар явился.

— Ах так, — ответил де Брюс, — отвести его на конюшню и дать ему сто ударов кнутом.

— И вот, ваше сиятельство, меня схватили, поволокли на конюшню и, несмотря на мои крики, угрозы и сопротивление, мне всыпали ровно сто ударов, ни больше, ни меньше.

— Если верно то, что вы рассказали, то это сущее безобразие.

— Если я сказал неправду, ваше сиятельство, то готов получить двойную порку.

— Послушайте, мой друг, — молвил де Сегю, — я думаю, что вы говорите правду. Я расследую это дело, и если вы мне не солгали, то обещаю, что вы получите полное удовлетворение. Но если хоть в одном слове вы покривили душой, я велю тотчас же отправить вас на границу, а оттуда добирайтесь как знаете до Франции.

— Согласен, ваше сиятельство.

— А теперь, — сказал де Сегю, садясь за письменный стол, — отнесите это письмо градоначальнику.

— Покорно благодарю, ваше сиятельство, но я и носа больше не покажу в этот дом, где так странно обращаются с людьми, явившимися по делу.

— Хорошо. Вы отправитесь туда в сопровождении одного из моих секретарей.

— А, это другое дело: в сопровождении вашего секретаря я готов хоть в преисподнюю.

— Хорошо. Ступайте,— сказал де Сегю, передавая письмо потерпевшему и приказывая одному из своих чиновников сопровождать его.

Спустя сорок пять минут, француз вернулся к послу сияющий от радости.

— Ну, как? — спросил де Сегю.

— Все объяснилось, ваше сиятельство.

— Вы удовлетворены, я вижу?

— Вполне, ваше сиятельство.

— Расскажите же, как было дело.

— Видите ли, ваше сиятельство: у его превосходительства графа де Брюса был поваром некий крепостной, которому он вполне доверял. И вот четыре дня тому назад этот человек сбежал, похитив пятьсот рублей.

— Ну, и что же?

— Узнав, что место повара у градоначальника освободилось, я, как имел честь доложить вам, отправился к нему. К моему несчастью, в это самое утро графу сообщили, что повар его арестован в двадцати верстах от Петербурга. Когда лакей сказал ему: «Ваше сиятельство, повар явился», граф подумал, что привели пойманного крепостного повара, и так как он был в эту минуту чем-то занят, не оборачиваясь, распорядился отвести беглеца на конюшню и выпороть его.

— И городской голова извинился перед вами?

— Не только извинился, господин посол,— сказал повар, показывая кошелек, полный золота,— он велел заплатить мне по червонцу за каждый удар кнута, и теперь я очень жалею, что получил сто ударов, а не двести. Затем он меня принял на службу и обещал, что полученное наказание будет мне зачитываться при каждой моей провинности.

В эту минуту послу подали письмо де Брюса, в котором тот приглашал его на следующий день к обеду, чтобы отведать стряпню нового повара.

Повар этот служил у Брюса десять лет и, вернувшись во Францию богатым человеком, всю жизнь благословлял несчастный случай, которому был обязан своим счастьем.

Все эти анекдоты, всплывшие в моей памяти, уже не казались мне невозможными после того, что произошло со мною накануне у великого князя. Но я так много хорошего слышал об императоре Александре, что решил во что бы то ни стало подойти к нему, чем бы ни кончилась для меня эта встреча.

Я осмотрел высокую колонию, воздвигнутую в честь победы при Чесме, затем побродил часа четыре по парку и начал уже отчаиваться, когда в одной из аллей столкнулся с каким-то офицером в форменной тужурке, который поклонился мне и продолжал свой путь. Позади меня дворник как раз подметал дорожку. Я спросил у него, кто этот офицер.

— Это император, — ответил он.

Я поспешил в боковую аллею, пересекавшую ту, по которой гулял царь. И, действительно, не успел я сделать и двадцати шагов, как снова увидел его. Я остановился и снял шляпу.

Император замедлил шаг, затем, увидев, что я продолжаю стоять с непокрытой головой, направился ко мне, слегка прихрамывая из-за какой-то старой раны. Я хорошо рассмотрел царя и заметил ту перемену, которая произошла в нем с тех пор, как девять лет назад я увидел его в Париже.

Лицо его, такое открытое и веселое прежде, носило теперь явные следы болезненной грусти. Видно было, что он, как поговаривали, страдает меланхолией. Но вместе с тем его черты дышали такой добротой, что я решился сделать шаг вперед.

— Ваше величество... — сказал я.

— Что вы хотите?

— Ваше величество, разрешите подать вам прошение.

Я достал из кармана бумагу. Лицо государя омрачилось.

— Известно ли вам, сударь, — сказал он, — что я нарочно уезжаю из Петербурга, чтобы избавиться от этих прошений?

— Знаю, ваше величество, — отвечал я, — и не отрицаю смелости своего поступка. Но, быть может, для

этого прошения вы сделаете исключение, потому что оно содержит ходатайство очень важного лица.

— Кого же именно? — спросил император.

— Августейшего брата вашего величества, его императорского высочества великого князя Константина.

— А, — произнес государь и протянул было руку, но тут же отдернул ее.

— Нет, сударь, — решительно произнес государь, — я не возьму его у вас, потому что завтра мне подадут тысячу прошений, и я вынужден буду бежать отсюда. Но, — продолжал он, — я посоветую вам бросить прошение в городской почтовый ящик. Я сегодня же получу его, а послезавтра вы будете иметь мой ответ.

Я последовал его совету и послал свое прошение по почте. И, как он говорил, два дня спустя получил ответ.

Это было свидетельство на звание учителя фехтования в императорском корпусе инженерных войск с присвоением мне чина капитана.

Глава седьмая

Как только мое положение определилось, я решил переехать из гостиницы «Лондон» на частную квартиру. В поисках ее я принялся бегать по городу, что помогло мне лучше ознакомиться с Петербургом и его обитателями.

Граф Алексей Анненков сдержал свое обещание. Благодаря ему я нашел ряд учеников, которых без его рекомендации я не получил бы в течение целого года. Ученики эти были: Нарышкин, граф Бобринский, незаконный сын Екатерины и Потемкина; командир Преображенского полка князь Трубецкой; петербургский градоначальник генерал Горголи, несколько представителей лучших фамилий Петербурга и, наконец, два-три польских офицера, служивших в русской армии.

Первое, что меня особенно поразило у русских вельмож, — это их гостеприимство, добродетель, которая, как известно, редко уживается с цивилизацией. По примеру Людовика XIV, возведшего в потомственное дворянское достоинство шесть наиболее заслуженных

парижских учителей фехтования, император Александр считал фехтование искусством, а не ремеслом. Недаром он пожаловал моим товарищам и мне довольно высокие офицерские чины. Ни в одной стране я не встречал такого аристократически-доброжелательного отношения к себе, как в Петербурге, отношения, которое не унижает того, кто оказывает его, но возвышает того, кому оно оказывается.

Гостеприимство русских тем приятнее для иностранцев, что в русских домах бывает весело благодаря именинам, рожденьям и различным праздникам, которых в России множество. Таким образом, имея более или менее обширный круг знакомых, человек может обедать по два-три раза в день и столько же раз бывать вечером на балах.

У учителей в России есть еще другое весьма приятное преимущество: на них смотрят здесь почти как на членов семьи. Любог учитель быстро становится не то другом, не то родным своих хозяев, и такое положение сохраняется за ним до тех пор, пока он сам того пожелает.

Именно такое отношение к себе я встретил в семьях некоторых моих учеников, особенно у петербургского градоначальника, генерала Горголи, одного из лучших, благороднейших людей, каких я когда-либо знал. Грек по происхождению, красавец собою, высокого роста, ловкий, прекрасно сложенный, он, как и граф Алексей Орлов и граф Бобринский, являл собою тип настоящего русского барина.

Весьма способный к спорту, начиная с верховой езды и кончая игрою в мяч, прекрасный фехтовальщик, человек великодушный, как древний боярин, Горголи был настоящим провидением как иностранцев, так и своих сограждан, для которых был доступен в любое время дня и ночи.

В таком городе, как Санкт-Петербург, то есть в этой монархической Венеции, где слухи, едва возникнув, тут же замирают, где Мойка и Екатерининский канал, как Гвидеччи и д'Орфано в настоящей Венеции, безмолвно поглощают свои жертвы, где будочники, дежурящие на перекрестках, внушают обывателям скорее опасения, чем надежду на защиту,— генерал Горголи был всеобщим любимцем.

Видя его разъезжающим в дрожках, запряженных парой быстрых, как газели, лошадей, сменяемых по четыре раза в день, жители Петербурга чувствуют, что провидение послало им недремлющее око, охраняющее их от всяких бед. В течение тех двадцати лет, что Горголи был полицеймейстером Петербурга, он не покинул города ни на один день.

Мне кажется поэтому, что нет другого такого города, где бы люди чувствовали себя так спокойно ночью, как в Санкт-Петербурге. Полиция следит одновременно за заключенными в тюрьмах и за преступниками, которые еще гуляют на свободе. На улицах возвышаются там и сям деревянные башни значительно выше обыкновенных домов, большею частью двух-трехэтажные. День и ночь на этих башнях дежурят по два пожарных. Заметив далекое зарево, дым или огонь, они тотчас же звонят в колокол, находящийся во дворе пожарной части. Пока в бочки с водой впрягают лошадей, они указывают квартал города, где произошел пожар, куда тотчас же выезжают пожарные. Расстояние до разных пунктов города заранее вычислено, и они покрывают его в незначительное время. Это совсем не похоже на то, что бывает во Франции: у нас люди из загоревшегося дома сами бегут будить пожарных, а здесь, наоборот, пожарные будят тех, кто горит: вставайте, мол, ваш дом в огне. Что касается краж со взломом, в Петербурге их почти нечего бояться. Если грабитель или вор (это слово точнее характеризует подобного рода вид посягательства на чужую собственность) — человек русский, то он ни за что не взломает ни дверей, ни замка. Вы можете смело доверить любому мужику охрану целой квартиры, лишь бы она была заперта, или письмо, в которое вы при нем положите, скажем, десять тысяч рублей банковыми билетами, — и у вас ничего не пропадет, но не доверяйте ему нескольких копеек: он непременно их стянет.

Это относится к тем горожанам, которые сидят у себя дома.

А тем, кто находится на улице, нужно прежде всего опасаться будочников, поставленных для их защиты. Но эти будочники так трусливы, что один человек с пистолетом или даже с палкой в руке может прогнать их целый десяток. Поэтому они нападают обыкновенно на каких-нибудь запоздалых уличных девок, которые немного

теряют, если их ограбят, и для которых изнасилование не составляет особой неприятности. Но есть и нечто хорошее в будочниках. Несмотря на фонари, ночью в Петербурге бывает так темно, что лошади рискуют на каждом шагу налететь друг на дружку, вот тут-то будочник незаменим. Глаза у него так зорки, что даже в полной темноте он различает неслышно приближающийся экипаж или сани и предупреждает седоков об опасности.

С сентября по март служба этих несчастных будочников, которым платят, как мне говорили, не больше двадцати рублей в год, становится еще тяжелее. Несмотря на теплую одежду они сильно страдают от петербургских морозов. Ходить взад и вперед им надоедает: порой на них нападает такая сонливость, что они засыпают стоя. Когда проходящий мимо дежурный офицер заметит такого заснувшего будочника, он безжалостно отдубасит его для усиления кровообращения. Прошлой зимой, как мне рассказывали, стояли очень сильные морозы, и несколько будочников замерзли в своих будках.

Спустя несколько дней я нашел, наконец, подходящую квартиру в центре города, на Екатерининском канале. Квартира была меблирована, и мне оставалось только приобрести кушетку и кровать с матрацем, так как эта мебель в ходу лишь у знатных и богатых людей. Крестьяне спят на печках, а купцы на звериных шкурах или в креслах.

В восторге от того, что я, наконец, имею частную квартиру, я вернулся к Адмиралтейству, но по дороге мне захотелось помыться в русской бане. Я много слышал еще во Франции об этих банях, и теперь, проходя мимо, мне вздумалось воспользоваться случаем и помыться. Заплатив два с половиной рубля, или 50 су на французские деньги, я получил билетик и с ним вошел в первую комнату, где раздеваются. Температура в ней была обыкновенная.

Пока я раздевался, ко мне подошел мальчик и спросил, есть ли со мной слуга, и, получив отрицательный ответ, снова спросил, кого я хочу взять в банщики: мальчика, мужчину или женщину. Само собой разумеется, подобный вопрос меня крайне озадачил. Мальчик объяснил мне, что при бане имеются

баншники мальчики и мужчины. Что же касается женщин, то они живут в соседнем доме, откуда их всегда можно вызвать.

Когда банщик или банщица взяты, они тоже раздеваются догола и вместе с клиентом входят в соседнюю комнату, в которой поддерживается температура равная температуре человеческого тела. Открыв дверь этой комнаты, я остолбенел: мне показалось, что какой-то новоявленный Мефистофель без моего ведома доставил меня на шабаш ведьм. Представьте себе человек триста мужчин, женщин и детей, совершенно голых, которые бьют друг друга вениками. Шум, гам, крики. Стыда у них ни малейшего: мужчины моют женщин, женщины — мужчин. В России на простой народ смотрят почти как на животных, и на такое совместное мытье полиция не обращает никакого внимания.

Минут через десять я пожаловался на жару и убежал, возмущенный этой безнравственностью, которая здесь, в Петербурге, считается настолько естественной, что о ней даже не говорят.

Я шел по Вознесенскому проспекту, думая о том, что увидел, когда путь мне преградило огромное скопление людей, пытавшихся проникнуть во двор какого-то роскошного особняка. Движимый любопытством, я смешался с толпой и понял, что весь этот народ ждет наказания кнутом одного из крепостных. Будучи не в силах присутствовать при подобном зрелище, я собрался было уйти, когда открылась дверь и две девушки вышли на балкон: одна из них поставила там кресло, другая — положила на него бархатную подушку. Вслед за ними появилась та особа, которая боялась ступить по голому полу, но не боялась смотреть на проливаемую кровь. В толпе пробежал шепот: «государыня, государыня»...

В самом деле, я узнал в этой женщине, закутанной в меха, уже виденную мною красавицу Машеньку. Оказывается, один из дворовых, ее бывший товарищ, чем-то оскорбил ее, и она потребовала, чтобы для острастки он был публично наказан кнутом. Мечь ее не ограничилась этим, ибо она пожелала лично присутствовать при порке. Хотя Луиза и говорила мне о жестокости Машеньки, я подумал было, что красавица вышла на

балкон, чтобы простить виновного или по крайней мере смягчить наложенное на него наказание, и остался среди зрителей.

«Государыня» услышала шепот, вызванный ее появлением, и посмотрела на толпу так надменно, с таким презрением, что это было под стать разве какой-нибудь царице. Затем она опустилась в кресло и, облокотясь на подушку одной рукой, стала гладить другой белую левретку, лежавшую у нее на коленях.

Ждали только ее, ибо тотчас же открылась низенькая дверь, и два мужика вывели несчастного со связанными руками, позади него шли двое других мужиков с кнутами в руках. Наказуемый был молодой человек, блондин с твердыми, энергичными чертами лица. В толпе стали перешептываться, и я услышал следующий рассказ.

Человек этот служил садовником у того самого министра, у которого «государыня» была когда-то дворовой девкой. Он полюбил ее, а она — его, и они уже хотели пожениться, когда министр обратил внимание на красавицу и решил возвести ее или уронить — как пожелаете — до звания своей любовницы. С тех пор по какому-то странному капризу она возненавидела своего бывшего жениха, который уже не раз испытал на себе последствия этой перемены. Можно было подумать, что она боится, как бы министр не заподозрил ее в нежных чувствах к садовнику. Накануне она встретила последнего в саду и, обменявшись с ним несколькими словами, закричала, что он ее оскорбил, а когда министр вернулся домой, потребовала, чтобы виновный был наказан.

Приспособления для экзекуции приготовили заранее. Они состояли из наклонной доски с железным ошейником и из двух столбов, поставленных по ее бокам, к ним привязывали руки истязуемого. Рукоять кнута около двух футов длиною с широким ремнем оканчивалась железным кольцом, к которому был прикреплен постепенно сужающийся ремешок, вдвое короче первого. Кончик этого ремешка замачивают в молоке, высушивают на солнце, и он становится твердым и острым, как нож.

Обыкновенно кнут меняют после каждых шести ударов, так как кровь размягчает его кожу, но здесь

незачем было менять его, ибо наказуемый должен был получить двенадцать ударов, а тех, кто наказывал, было двое. Эти двое — кучера министра, люди привычные в обращении с кнутом. То, что они были исполнителями наказания, нисколько не испортило их добрых отношений с истязуемыми, которые при случае платили им той же монетою, но не по злобе, конечно, а просто повинуюсь приказу своего барина.

Случается, что наказующие тут же превращаются в наказуемых. Во время своего пребывания в России я не раз видел важных господ, которые, не имея под рукой кнута, в гневе приказывали своим провинившимся слугам бить друг друга кулаками. Повинуясь приказанию, несчастные начинали сперва неохотно и нерешительно наносить друг другу удары, но мало-помалу входили в раж и потом что есть мочи тузили друг друга, в то время как господа их кричали:

— Крепче бей его, мерзавца, крепче!

Наконец, полагая, что те достаточно отдубасили друг друга, господа кричали: «Довольно!» Драка тотчас же прекращалась, противники шли вместе мыть свои окровавленные лица и потом возвращались назад как ни в чем не бывало.

В этот раз осужденный не мог, очевидно, отделаться так дешево. Приготовления к наказанию произвели на меня отвратительное впечатление, но я тем не менее не уходил: я был пригвожден к месту, как бы загипнотизирован тем чувством, которое влечет одного человека туда, где страдает другой. Итак, я остался. Кроме того, мне хотелось видеть, до чего может дойти жестокость этой женщины.

Оба исполнителя подошли к молодому человеку, обнажили его до пояса, положили на доску, вдели голову в ошейник и привязали руки к боковым столбам. Затем один из них крикнул зрителям, чтобы они отошли и не мешали им, а другой взял в руки кнут и, поднявшись на цыпочки, со всего размаха ударил по обнаженной спине молодого садовника; кнут обвился вокруг его тела дважды, оставив на нем ярко-красную полосу. Несмотря на жесточайшую боль, молодой человек не издал ни единого звука. При втором ударе из раны закапала кровь, а при третьем — она побежала ручьем. Дальше кнут впивался уже в живое мясо, и ремешок его так

• намоккал в крови, что после каждого удара кучеру приходилось выжимать его.

После шести ударов одного кучера сменил другой, который тоже нанес истязуемому шесть ударов. Молодой садовник лежал без движения, точно мертвый, лишь судорожные движения рук при каждом ударе указывали на то, что он жив.

По окончании наказания садовника отвязали. Почти в беспамятстве он уже не мог стоять на ногах, и все же во время наказания не издал ни единого крика, ни единого стопа. Признаюсь, такой выносливости, такой твердости я еще не видал.

Два мужика взяли садовника под руки и повели в ту дверь, через которую он пришел. На пороге молодой садовник обернулся и, взглянув на «государыню», крикнул ей несколько слов «по-русски», которых я не понял. Видимо, это были опять какие-нибудь ругательства или угрозы, потому что мужики быстро втолкнули его в дверь. «Государыня» ответила на это новое оскорбление презрительной улыбкой, достала из коробки несколько конфеток и, опираясь на руку одной из своих девушек, ушла с балкона.

Дверь за ней затворилась, и толпа, видя, что все кончено, стала молча расходиться. Иные качали головами, точно желая сказать, что за такую бесчеловечность красавица Машенька будет рано или поздно наказана.

Глава восьмая

Екатерина Великая говорила, что в Петербурге лета не бывает, а есть две зимы: одна — белая, а другая — зеленая.

Мы быстрыми шагами приближались к белой зиме, и что касается меня, то я должен сознаться, что ждал ее наступления не без любопытства. Я люблю видеть страну в ее наиболее характерном обличье, ибо лишь тогда сказывается ее подлинный характер. Вот почему, если вы хотите видеть в Петербурге лето, а в Неаполе зиму, оставайтесь лучше во Франции, так как ни того, ни другого вы в этих городах не найдете.

Великий князь Константин возвратился в Варшаву, не открыв того заговора, ради которого приезжал

в Петербург, а император Александр, озабоченный этим разговором, еще более печальный, чем прежде, покинул свой царскосельский парк, деревья которого уже усеяли землю желтыми листьями.

Жаркие дни и белые ночи миновали. Не было больше ясного лазоревого неба; Нева не катила больше своих синих вод, на ней не было больше лодок с женщинами и цветами, не слышно было и нежной музыки. Мне еще раз захотелось увидеть очаровательные острова, которые были покрыты при моем приезде роскошной растительностью и разнообразными цветами, но теперь — увы! — цветов уже не было. Я бродил по островам, иска дворцы, но видел только одни окутанные туманом барки, возле которых березы печально покачивали своими обнаженными ветвями. Здешние обитатели — нарядные летние бабочки — уже сбежали в Санкт-Петербург.

Я последовал совету, данному мне за табльдотом на следующий день после моего приезда соотечественником моим — лионцем, и, одевшись в купленные у него меха, бегал по урокам из конца в конец города. Впрочем, уроки эти проходили больше в разговорах, чем в упражнениях. Генерал Горголи, пробыв 13 лет полнеймейстером Петербурга и выйдя в отставку после размовки с военным губернатором генералом Милорадовичем, ощущал необходимость в хорошем отдыхе по окончании своей тяжелой и продолжительной службы.

Он часто задерживал меня часами, дружески расспрашивая о Франции и о моих делах. Граф Бобринский, относившийся ко мне превосходно, не переставал делать мне подарки; он подарил мне даже великолепную турецкую саблю. Что же касается графа Алексея Анненкова, то он оставался моим самым благожелательным покровителем, но виделись мы очень редко, так как он был постоянно чем-то занят со своими друзьями то в Петербурге, то в Москве. Несмотря на двести лье, разделяющих обе столицы, он постоянно был в разъезде: русский человек являет собой странную смесь противоречий и, вялый по темпераменту, нередко предается со скуки лихорадочной деятельности.

Время от времени я встречал его у Луизы. Бедная моя соотечественница становилась с каждым днем печальнее. Когда она бывала одна, я спрашивал ее

о причине этой грусти, которую приписывал ревности. Но однажды в ответ на мои слова Луиза отрицательно покачала головой и отозвалась о графе Алексее с таким доверием, что я отказался от своих подозрений. Я вспомнил, что она рассказывала мне о тоске, заставившей его примкнуть к заговору, о котором теперь поговаривали в Петербурге, еще не зная, кто в нем участвует и против кого он, собственно, направлен. Надо отдать справедливость графу Анненкову, что в нем не было заметно никакой перемены: он оставался таким же, каким был раньше. Макиавелли, который считал Константинополь лучшей школой для заговорщиков, был, очевидно, не прав по отношению к златоглавой Москве.

Наступило 9 ноября 1824 года. Густой туман окутал столицу. Три дня подряд с Финского залива дул сильный, холодный юго-западный ветер, Нева вздулась и стала бурной, как море. На набережных толпились люди и, несмотря на холодный ветер, с беспокойством следили за быстрым подъемом воды в Неве. Уровень воды поднялся также в Фонтанке, Мойке и других речках. Что-то мрачное, предвещавшее приближение беды, чувствовалось в самой атмосфере Петербурга.

Наступил вечер. Повсюду были усилены посты для охраны города.

Ночью разразилась сильная буря. Было приказано развести мосты, чтобы суда и лодки, бывшие на Неве, могли найти безопасную стоянку.

Я оставался до полуночи у Луизы. Она была очень напугана тем, что граф Алексей получил приказ не отлучаться из кавалергардских казарм. В городе были приняты такие же меры, как во время военного положения. Я вышел на набережную. Нева бурлила, вздымая высокие волны, и со стороны моря от времени до времени доносились странные звуки, напоминавшие протяжные вздохи.

Придя домой, я увидел, что еще никто не ложился спать. Во дворе у нас появилась вода и стала заливать нижний этаж дома. Говорили, что гранитная набережная местами разрушена, и вода хлещет в пробоины. Действительно, повсюду на мостовой стала появляться вода, но, не веря в возможность наводнения, я преспокойно лег спать, тем более что квартира моя находилась на третьем этаже, где я мог считать себя в безопасности.

Однако всеобщее возбуждение так подействовало на меня, что я долго не мог заснуть, наконец усталость и шум бури усыпили меня.

Я проснулся около восьми часов утра, разбуженный пушечным выстрелом. Подбежав к окну, я увидел, что улица кишит народом и, наскоро одевшись, поспешил вниз.

— Что случилось? Почему стреляют? — спросил я у какого-то человека, который нес матрасы на второй этаж.

— Вода поднимается! Наводнение! — отвечал он.

Я спустился на первый этаж, где вода доходила уже до шиколоток, хотя пол там был выше уровня мостовой. Выглянув на улицу, я увидел, что вся ее середина покрыта водой, которая местами заливает тротуары.

Заметив извозчика, я подозвал его. Он отказался ехать, но двадцатирублевая бумажка положила конец его колебаниям. Я вскочил в пролетку и велел ехать на Невский проспект. Вода доходила лошади до подколенок. Каждые пять минут раздавался пушечный выстрел. Встречные кричали нам: «Вода! Потоп!».

Я кое-как добрался до Луизы. У дверей ее дома я увидел какого-то верхового. Оказывается, он прискакал от графа Анненкова, который просил Луизу подняться на самый верх дома, чтобы наводнение не застало ее врасплох. Между тем ветер перекинулся на запад и гнал воду из Финского залива в Неву, так что море, казалось, боролось с рекою. Исполнив поручение, солдат мигом поскакал обратно, поднимая вокруг себя целые фонтаны воды. Пушка продолжала стрелять.

Я приехал вовремя. Луиза была до смерти перепугана, и боялась она, вероятно, не столько за себя, сколько за графа Алексея: кавалергардским казармам наводнение угрожало прежде всего. Однако приезд посыльного немного ее успокоил. Мы вместе вышли на террасу, откуда в хорошую погоду далеко было видно. Но теперь туман стал так густ, что вдали ничего нельзя было различить. Пушечные выстрелы участились. На Адмиралтейской площади мы увидели нескольких извозчиков, спасавшихся от наводнения. Они съехались сюда в надежде хорошо заработать, но им самим пришлось спасаться бегством — так быстро прибывала вода. Они гнали своих лошадей вскачь, крича: «Потоп! Потоп!».



Действительно, за ними как бы гнались морские волны, которые, перехлестнув через парапет набережной, достигли подножия памятника Петру Первому. Нева вышла из берегов.

На балконе Зимнего дворца появились люди в мундирах. Это был император со своим штабом, он отдавал приказания, так как опасность нарастала с каждой минутой. Видя, что вода поднялась до половины крепостной стены, он вспомнил о несчастных узниках, находившихся в казематах, зарешеченные окна которых выходили на Неву. Он велел одному из приближенных плыть туда в лодке и приказать от его имени коменданту крепости немедленно перевести заключенных в безопасное место. Но приказ пришел слишком поздно: среди общей растерянности об узниках позабыли, и они все погибли.

Вода несла теперь по улицам обломки домов: то были жалкие деревянные лачуги Нарвского района, которые не выстояли против урагана и были смыты вместе с их несчастными обитателями.

На наших глазах какой-то лодочник выловил труп мужчины. Трудно передать, какое впечатление произвел на нас этот первый увиденный нами утопленник.

Вода продолжала прибывать с устрашающей быстротой. Все три городских канала, выйдя из берегов, вынесли на затопленные улицы баржи с камнями, хлебом или фуражом. Иной раз какой-нибудь человек, уцепившись за такой плавучий остров, подавал сигналы лодкам, моля о помощи. Но подплыть к нему было нелегко, так на улицах бушевали волны, зажатые с обеих сторон домами. Одни из этих несчастных были смыты водой до прибытия желанной помощи, другие с ужасом наблюдали за гибелью своих спасителей.

Наш дом дрожал под напором волн, заливших весь первый этаж, и казалось, что он вот-вот рухнет. Среди разбушевавшейся стихии Луиза не переставала повторять:

— Боже мой, а как же Алексей?! Что будет с Алексеем?

Всюду царил неопиcуемый хаос. Суда сталкивались и разбивались. Обломки их плыли среди остатков домов, мебели и трупов людей и животных. По воде неслись гробы, вымытые из могил. Деревянный могильный крест,

снесенный с какого-то кладбища, был найден в спальне императора — зловещее предзнаменование!

Вода прибывала в течение двенадцати часов. Первые этажи домов были залиты ею, а в некоторых кварталах она достигла уже третьего этажа. К вечеру вода стала спадать, так как ветер переменялся и задул с севера: Нева снова катила свои воды в море, которое до этого стояло перед ней стеной. Если бы западный ветер продолжался еще двенадцать часов, весь Петербург и его обитатели погибли бы, как некогда погибли во время потопа целые города.

Вечером лодка пристала к третьему этажу. Еще издали Луиза стала обмениваться радостными знаками с человеком, находившимся в ней, которого она узнала по мундиру. То был солдат кавалергардского полка, который снова принес известие о графе Анненкове. В ответ Луиза написала карандашом несколько успокоительных строк. Я со своей стороны сделал приписку, в которой обещал графу не оставлять Луизу.

Вода продолжала спадать, ветер по-прежнему дул с севера, и мы спустились с террасы на третий этаж. Здесь нам и пришлось провести ночь, потому что во второй этаж нельзя было войти: правда, вода схлынула оттуда, но все было намочено, разрушено, окна и двери поломаны, а полы покрыты остатками мебели.

Третий раз в этом столетии Петербург подвергся наводнению. Станный контраст с Неаполем, которому на другом конце Европы постоянно угрожает подземный огонь!

На следующий день в городе было уже мало воды. На мостовых валялись обломки мебели и трупы утопленников. По этим обломкам и по числу погибших можно было судить о размерах беды, постигшей столицу.

Во время этой божьей кары в Петербурге разыгралась драма — акт человеческой мести.

В одиннадцать часов ночи министр, любовник «государыни», был призван к государю и, уезжая в Зимний дворец, наказал ей укрыться в апартаментах, недоступных наводнению. Дом этот был пятиэтажный, самый высокий на Вознесенском проспекте.

«Государыня» осталась одна со своими слугами. Министр пробыл во дворце два дня, иначе говоря, все

время, пока длилось наводнение. Освободившись, он поспешил к себе. Вода поднималась здесь на семнадцать футов, и дом, естественно, оказался покинутым.

Беспокоясь о своей красавице-любовнице, он бросился в спальню. Дверь ее, единственная уцелевшая во всем доме, была заперта, а все прочие сорваны с петель и унесены водою. Он стал стучать, звать, кричать, но ему никто не ответил. Тогда он высадил дверь.

«Государыня» лежала посреди комнаты, но не вода была причиной ее смерти: труп был обезглавлен.

В ужасе министр стал звать на помощь с того самого балкона, с которого его любовница наблюдала наказание своего прежнего жениха. Несколько слуг поспешили на его зов и нашли министра на коленях перед обезглавленным трупом «государыни».

Осмотрели комнату и обнаружили голову убитой под кроватью. Около головы лежали большие ножницы, которыми постригают деревья и выравнивают изгороди в садах: они и послужили, очевидно, орудием убийства.

При виде этого жуткого зрелища слуги министра разбежались, но вечером и на следующий день все вернулись обратно. Единственный, кто не вернулся, был наказанный кнутом садовник.

Глава девятая

Приближалась зима. Едва мы избавились от бедствий наводнения, как нам стал угрожать новый враг, к борьбе с которым предстояло спешно подготовиться: наступило уже десятое ноября. Суда, не получившие аварий, поторопились выйти в открытое море с тем, чтобы вернуться, наподобие ласточек, не ранее будущей весны. Мосты были наведены, и население, успокоившись, ожидало первых морозов. Они начались третьего декабря, а четвертого выпал первый снег, и при пяти-шестиградусном морозе установился санный путь. Это было большим счастьем, ибо во время наводнения погибли все заготовленные на зиму припасы и, не будь этого пути, городу грозил бы голод.

Благодаря саням, которые по быстроте своей могут поспорить с паровой тягой, со всех концов государства

в столицу стали подвозить в огромных бочках со снегом всяческую дичь — куропаток, глухарей, диких уток, рябчиков. На базарах появилось множество рыбы, доставляемой с Черного моря и с Волги, а также разного домашнего скота и домашней птицы, битой и живой.

Одевшись в свою белую зимнюю одежду, Петербург предстал передо мной в любопытном, новом для меня обличье. А главное, я без усталости катался в саях: испытываешь особое удовольствие, когда сани скользят по гладкому, как лед, снегу, и лошади, подбадриваемые холодом, не бегут, а летят, словно и не везут никакой тяжести. Эти первые зимние дни были для меня тем более приятны, что зима этого года против обыкновения установилась исподволь. Морозы постепенно дошли до 20 градусов, но я их почти не замечал благодаря моей шубе и прочей теплой одежде. При двенадцати градусах Нева стала.

Погода стояла ясная, но очень морозная, — такой до сих пор еще не было, но я тем не менее решил отправиться по своим урокам пешком. Я надел меховые сапоги, большую каракулевую шубу, надвинул на голову шапку с наушниками, нацепил на шею кашемировую шаль и вышел на улицу весь закутанный — виднелся лишь кончик моего носа.

Сначала все шло превосходно. Я даже удивлялся, как мало на меня влияет холод, и посмеивался в душе над всеми рассказами о жестоких морозах в России, радуясь, что я так хорошо акклиматизировался. Двух своих учеников, Бобринского и Нарышкина, к которым я направился сначала, не оказалось дома, и я подумал, что судьба иногда устраивает нам премилые сюрпризы. Между тем встречавшиеся мне пешеходы с беспокойством посматривали на меня, но ничего не говорили. Вскоре навстречу мне попался какой-то господин, по видимому, более общительный, чем другие. Увидев меня, он крикнул: «Нос!». Я не знал, что это означает по-русски, и думал, что не стоит задерживаться из-за односложного слова, а потому спокойно продолжал свой путь.

На углу Гороховой мне повстречался мчавшийся во весь дух извозчик, но и он крикнул мне: «Нос, нос!». Наконец, на Адмиралтейской площади какой-то мужичок, увидев меня, ничего не сказал, но, схватив

пригоршню снега, прежде нежели я успел опомниться, стал изо всех сил растирать мне лицо, в особенности нос. Я нашел эту шутку не слишком удачной, тем более по такому холоду, и дал ему такого тумака, что он отлетел шагов на десять.

К несчастью или, вернее, к счастью для меня мимо проходило двое крестьян. Взглянув на меня, они схватили меня за руки, в то время как мой вошедший в раж мужичок по-прежнему стал тереть мне лицо снегом, пользуясь тем, что я уже не могу защищаться. Думая, что я стал жертвой недоразумения или попал в ловушку, я изо всех сил стал звать о помощи. Прибежал какой-то офицер и по-французски спросил меня, в чем дело.

— Ради бога,— воскликнул я, делая попытку освободиться от трех мужичков,— разве вы не видите, что они со мной делают?!

— А что?

— Они трут мне лицо снегом! Не находите ли вы, что это плохая шутка по такому морозу.

— Простите, сударь, но ведь они вам оказывают огромную услугу,— сказал офицер, пристально всматриваясь мне в лицо.

— Какую услугу?

— Ведь у вас нос отморожен!

— Что вы говорите! — вскричал я, хватаясь за нос.

В это время какой-то прохожий обратился к моему собеседнику:

— Ваше благородие, вы отморозили себе нос.

— Благодарю вас,— ответил офицер, точно ему сообщили самую обыкновенную и притом приятную новость.

Нагнувшись, он взял горсть снега и стал оказывать себе ту самую услугу, которую оказал мне бедный мужик, а я еще так грубо отплатил за его любезность.

— Значит, сударь,— сказал я офицеру,— без этого мужичка...

— Вы остались бы без носа,— заметил офицер, продолжая растирать свой нос.

— В таком случае позвольте...

И я бросился вслед за мужичком, который, думая, что я хочу его избить, пустился наутек. Так как страх больше окрыляет, нежели благодарность, я, вероятно, не

догнал бы своего спасителя, если бы несколько человек не схватили его, думая, что это обокравший меня воришка. Подбежав, я увидел, что мужичок пытается втолковать собравшейся толпе, что если он и виновен в чем-нибудь, то лишь в чрезмерном человеколюбии.

Я дал ему десять рублей, и этим все завершилось. Мужик долго кланялся и благодарил меня, а один из присутствующих сказал мне по-французски, что во время прогулок мне следует обращать больше внимания на свой нос. Излишне говорить, что я на всю жизнь запомнил этот добрый совет.

Несколько дней спустя я отправился к учителю фехтования Синебрюхову, где генерал Горголи назначил мне свидание. Я рассказал генералу эту историю, и он спросил, не предупреждал ли меня кто-нибудь на улице до сердобольного мужичка. Я ответил, что двое встречных прокричали мне: «нос, нос!», но я не понял этого слова.

— Они просили вас, — сказал он, — обратить внимание на свой нос. Имейте в виду, это очень принято у нас зимою.

Генерал Горголи был совершенно прав. Но в Петербурге нужно бояться отморозить не только нос и уши, о чем вас предупредит всякий встречный, — гораздо опаснее отморозить себе какую-нибудь часть тела, скрытую под одеждой, ибо об этом никто из окружающих вас предупредить не может. Прошлой зимой некий француз, по имени Пиерсон, стал по своей неосторожности жертвой подобного несчастья.

Агент одного из крупнейших парижских банков г-н Пиерсон выехал в Петербург с крупной суммой денег, которую он должен был передать русскому правительству в счет сделанного в Париже займа. В день его отъезда из Парижа стояла чудная погода, и он не принял никаких мер предосторожности против холода в дороге. В Риге погода была еще довольно сносная, так что Пиерсон не счел нужным обзавестись шубой, меховыми сапогами и прочим. Но едва он отъехал от Ревеля, как пошел снег, да такой густой, что ямщик сбился с дороги и опрокинул сани в ров.

Так как они не могли вытянуть саней вдвоем, ямщик выпряг одну из лошадей и поскакал за помощью, а Пиерсон, боясь в наступающей темноте бросить воз

с деньгами на произвол судьбы, остался, чтобы стеречь его. Снег перестал, подул северный ветер и сильно похолодало. Зная, какой опасности он подвергается на морозе, Пиерсон принялся ходить возле саней. Через три часа вериулся ямщик с людьми и лошадьми, сани были вытащены, и Пиерсон вскоре добрался до ближайшей почтовой станции.

Станционный смотритель, у которого были взяты лошади, с беспокойством ожидал путешественника и, как только тот вышел из саней, спросил, не отморозил ли он себе рук или ног. Пиерсон ответил, что, по-видимому, ничего себе не отморозил, так как все время был в движенни и полагает, что благодаря этому остался цел и невредим. Он показал свое лицо и руки: они не пострадали.

Пиерсон чувствовал все же огромную усталость и, не желая пускаться в путь ночью из боязни какой-нибудь новой беды, принял решение переночевать на почтовой станции. Он велел согреть постель, выпил стакан вина и лег спать.

Проснувшись на следующее утро, Пиерсон попытался встать, но ему показалось, что он прикован к постели, парализован: он с трудом дотянулся до колокольчика и позвонил. Поднялась суматоха, побежали за врачом. Тот нашел, что у путешественника отморожены икры и начинается гангрена обеих ног: необходима немедленная ампутация.

Как ни страшна эта операция, Пиерсон соглашается подвергнуться ей. Врач посылает за инструментами и уже намеревается приступить к делу, когда пациент начинает жаловаться на расстройство зрения: он не различает даже ближайших предметов. Доктор понимает, что положение больного гораздо хуже, чем ему показалось поначалу, и вновь принимается обследовать его. Оказывается, что у несчастного отморожена также спина и там тоже началась гангрена.

Однако врач не говорит об этом Пиерсону, напротив, успокаивает его, обещает, что все пойдет на лад, что ему вскоре станет лучше, недаром его, видимо, опять клонит ко сну. Тот отвечает, что ему и в самом деле хочется спать. Он засыпает и через четверть часа умирает во сне.

Если бы удалось сразу обнаружить, что у Пиерсона отморожены и ноги и спина, если бы их тут же растерли

снегом, как это сделал с моим носом тот добросердечный мужик, несчастный смог бы как ни в чем не бывало отправиться в путь на следующий же день.

Случай с моим носом послужил мне хорошим уроком и, не желая более утруждать прохожих, я выходил теперь из дома не иначе как с маленьким зеркалом в кармане и каждые десять — пятнадцать минут сверялся по нему, все ли у меня в порядке.

Спустя неделю зима в Петербурге вступила в свои права. Нева окончательно замерзла, и по ней стали ходить и ездить. Вместо экипажей всюду появились сани, Невский проспект превратился в своеобразный Лоншан с массой катающихся по нему людей, в церквях топились печи, перед театрами и на многих улицах горели костры, вокруг которых грелись слуги в ожидании своих господ. Что до кучеров, то заботливые хозяева отсылали их домой, наказав вернуться обратно в определенный час. Но главными жертвами холодов оказались солдаты и будочники: не проходило ночи, чтобы кто-нибудь из них не замерз.

Морозы все крепчали. В окрестностях Петербурга появились стаи волков, и однажды утром несколько волков были замечены на Литейном. Правда, выглядели они вполне мирно, и были скорее похожи на нищих, просящих подаяние, чем на грабителей и убийц. Их все же забили палками.

В тот же вечер я рассказал о волках графу Анненкову, а он сообщил мне, в свою очередь, о грандиозной охоте на медведей, которая затевается на днях в десяти — двенадцати верстах от города. Охоту эту устраивает граф Нарышкин, один из моих учеников, и я попросил Анненкова передать ему, что я очень желал бы принять в ней участие. На следующий день я получил от Нарышкина приглашение с перечнем не увеселений, а предметов охотничьего снаряжения — костюма, подбитого и отороченного мехом, подобия кожаной каски на меху, закрывающей, как пелерина, плечи, и латной рукавицы на правую руку, в которой охотнику надлежало держать кинжал.

Эти условия, которые по моей просьбе мне повторили несколько раз, охладили до известной степени мой охотничий пыл. Однако мне не хотелось отставать от других — я приобрел и костюм, и каску, и кинжал.

Накануне я засиделся у Луизы допоздна и вернулся домой далеко за полночь. Тут мне пришло в голову прорепетировать охоту на медведя: я положил свои подушки, изображавшие медведя, на кресло и, вооружившись кинжалом, бросился на этого воображаемого зверя, стараясь нанести ему смертельный удар под шестое ребро. Вдруг я услышал в трубе камина какой-то подозрительный шорох. Я подбежал к камину и, всунув туда голову, заметил некий странный предмет: я не мог разглядеть его, так как он тотчас же поднялся вверх и исчез.

Я не сомневался, что это был вор, который хотел проникнуть ко мне через трубу и, увидев, что я не сплю, поспешно обратился в бегство. Я несколько раз крикнул: «Кто там?» — никто мне не отвечал, что явно подтверждало мое предположение. Я не ложился еще около получаса и, более не слыша ничего подозрительного, решил, что вор убежал и не вернется. Поэтому, забаррикадившись чем только мог камин, я лег спать.

Я проспал не более четверти часа, когда услышал чьи-то шаги в коридоре. Напуганный непонятной историей с камином, я вскочил с постели и прислушался. Не подлежало сомнению, что кто-то, крадучись, приближается к моей двери и под его шагами слегка потрескивает паркет, хотя, по-видимому, он ступает с величайшей осторожностью. Шаги остановились у моей двери: злоумышленник явно не решался идти дальше. Я надел каску, приготовленную для охоты, взял кинжал и замер в ожидании.

Вскоре я услышал, что кто-то открыл мою дверь, и при свете фонаря, оставленного в коридоре, увидел странную фигуру, лицо которой, как мне показалось, скрыто под маской. Я подумал, что лучше нападать, чем ждать нападения. И, видя, что непрошенный гость напрямик направился к камину, как человек, хорошо знакомый с моей комнатой, я бросился на него, схватил за горло, повалил на пол и, приставив кинжал к его груди, спросил, кто он и зачем сюда явился.

К моему великому удивлению, злоумышленник мой стал истошно кричать и звать на помощь. Тогда я выбежал в коридор и схватил фонарь, чтобы при его свете рассмотреть, с кем имею дело. Но хотя тут же вернулся с фонарем, вор точно в воду канул. Я опять

услышал шорох в трубе, однако успел увидеть лишь чьи-то подошвы и штаны, которые исчезли с величайшей быстротой. Я был в полном недоумении.

Один из моих соседей, услышав душераздирающие крики в моей комнате, прибежал ко мне на помощь, думая, что меня убивают. Он застал меня на ногах, в охотничьей каске, с фонарем и кинжалом в руках. Увидев меня в таком нелепом виде, он, естественно, подумал, что я сошел с ума.

В доказательство того, что я нахожусь в здравом уме, я рассказал ему всю историю. Сосед разразился хохотом: оказывается, я одержал победу над трубочистом! Я мог бы усомниться в этом, но мои руки, рубашка и даже лицо, испачканные сажей, доказывали справедливость его слов. Тут он пустился в объяснения, и я перестал сомневаться.

Во Франции даже зимой трубочисты — залетные птицы, поющие только раз в год с высоты дымовых труб. Между тем в Петербурге без них просто нельзя обойтись, и они появляются в каждом доме регулярно два раза в месяц. Но работа их проходит по ночам, так как днем идет топка печей. Работая по договоренности с домовладельцами, трубочисты чистят трубы по ночам, а затем спускаются в квартиры, чтобы выбрать ту сажу, которая накопилась внизу. Петербуржцы знают это и не беспокоятся при ночном посещении трубочиста. К несчастью, меня забыли предупредить об этом, и, явившись ко мне впервые, трубочист едва не стал жертвой моего стремительного нападения.

На следующий день я убедился, что сосед сказал мне сухую правду: домохозяйка пришла ко мне утром и заявила, что трубочист требует обратно свой фонарь.

В три часа дня мы с графом Анненковым отправились в его великолепных санях в загородное имение Нарышкина — место сбора охотников. Мы прибыли туда часов в пять пополудни и застали в сборе почти всех охотников. Вскоре приехали запоздавшие, и нас пригласили к столу.

Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь представление об их роскоши. Была середина декабря, и, когда я вошел в столовую, меня больше всего поразило великолепное вишневое дерево, усыпанное вишнями, которое стояло посреди стола. Можно было

подумать, что находишься во Франции в середине лета. Вокруг этого дерева лежали горы апельсинов, ананасов и винограда — такой десерт трудно было бы найти в Париже даже в сентябре. Я уверен, что один этот десерт стоил больше трех тысяч.

Мы сели за стол. В то время в Петербурге существовал превосходный обычай: гости сами себя угощали напитками, и потому перед каждым из нас стояло по пяти бутылок вин разных марок. Что касается еды, то здесь было решительно все, начиная с архангельской телятины и кончая самой разнообразной дичью.

После первого блюда в залу вошел метрдотель, неся на серебряном блюде двух неизвестных мне живых рыб. При виде их все гости ахнули от удивления: то были две стерляди. Так как стерляди водятся только в Волге, расстояние от нее до Петербурга не меньше трехсот пятидесяти лье, и могут жить только в волжской воде, пришлось везти их в течение пяти дней и пяти ночей в крытом и отапливаемом возке, чтобы вода в той посудине, где они помещались, не замерзла.

Каждая из этих рыб стоила 800 рублей, то есть более 1600 франков. Блаженной памяти Потемкин и тот не придумал бы ничего лучшего!

Через десять минут рыбы снова появились на столе уже в вареном виде с гарниром из горошка, спаржи, зеленых бобов и прочих овощей.

По окончании обеда сотрапезники перешли в другую залу, где стояли карточные столы. В игре я участия не принимал, а был только наблюдателем. Когда я отправился спать, то есть часов в двенадцать, уже было проиграно в общей сложности около трехсот тысяч рублей и двадцать пять тысяч крестьян.

На следующий день меня разбудили чуть свет. Доезжачие донесли, что в близлежащих лесах поднято пять медведей. Я услышал эту приятную весть с легким содроганием. Как бы ты ни был храбр, но всегда испытываешь волнение в ожидании встречи, особенно в первый раз, с неведомым тебе врагом.

Тем не менее я бодро надел свой костюм, в котором вполне мог не бояться холода. Точно готовясь принять участие в нашем празднестве, солнце сияло. Под его лучами температура поднялась до пятнадцати градусов ниже нуля, и следовало ожидать, что днем еще потеплеет.

Охотники были одеты столь однообразно, что мы с трудом узнавали друг друга. У подъезда нас ждали сани, и через несколько минут мы уже были на месте.

Мы подъехали к прекрасной деревенской избе с огромной печью и с образом в углу, перед которым, по русскому обычаю, все перекрестились. Нас ждал здесь завтрак, которому мы оказали честь. Но я заметил, что против своего обыкновения никто из охотников не пил. Впрочем, это вполне понятно: перед поединком никто не напивается, а ведь предстоявшая нам охота была настоящим поединком.

К концу завтрака на пороге появился один из доезжачих — это означало, что пора собираться в путь. Каждый из нас получил по заряженному карабину, который разрешалось пускать в ход лишь в момент наиболее грозной опасности. Кроме того, нам вручили по пяти или шести жестяных кружков — их бросают в медведя, чтобы его рассердить.

Шагах в ста от избы мы увидели лесной участок, оцепленный музыкантами, из которых состоял роговой оркестр Нарышкина, тот самый, что вызвал мое восхищение во время белых ночей на Неве. Каждый музыкант держал в руке рожок, готовясь затрубить в него, когда настанет время. Таким образом, откуда бы медведь ни явился, звуки рожков должны были испугать его. Между музыкантами стояли мужики с ружьями, заряженными порохом, чтобы холостыми выстрелами усилить шум, производимый рожками. Мы сразу же углубились в огороженное таким образом лесное пространство.

В ту же минуту затрубили рожки и запалили ружья. Шум этот произвел на охотников такое же действие, как военная музыка на солдат в начале сражения. Я был охвачен таким воинственным пылом, которого никак не предполагал у себя еще пять минут назад.

Меня поставили между графом Анненковым и одним из доезжачих Нарышкина, которому вследствие моей неопытности поручено было наблюдать за мною. Я обещал Луизе оберегать графа, а на деле он оберегал меня. Влево от него стоял граф Никита Муравьев, с которым Анненков был связан тесной дружбой, а за Муравьевым, насколько я мог разглядеть сквозь

деревья,— Нарышкин. Кто находился дальше — я не видел.

Прошло минут десять, как вдруг раздались крики: «Медведь, медведь!» — и последовало несколько выстрелов. На нас шел медведь, испуганный шумом музыки и выстрелами. Оба соседа сделали мне знак приготовиться. Вскоре мы услышали шум ломаемых ветвей и глухое рычание. Несмотря на холод, меня ударило в пот. Я поглядел на своих соседей — они были совершенно спокойны, и я тоже постарался овладеть собой. В это мгновение между мною и графом Алексеем появился медведь.

Моим первым движением было бросить кинжал и схватить ружье. Медведь остановился и с удивлением посмотрел на нас; он, очевидно, колебался, не знал, на кого из нас броситься, но граф не дал ему времени на размышление. Зная мою неопытность, он решил привлечь внимание зверя к себе и, выступив вперед, бросил в него жестяной кружок, который держал наготове. Медведь с невероятной ловкостью схватил этот кружок и смял его в лапах, продолжая реветь. Граф сделал еще один шаг и бросил второй кружок. Медведь схватил и этот кружок и разгрыз его зубами. Чтобы еще больше рассердить зверя, граф бросил ему третий кружок. Но на этот раз медведь, видно, решил, что не стоит возиться с неодушевленными предметами, он повернул голову в сторону графа и, страшно заревев, пошел на него, их разделяло теперь не более десяти футов. Граф издал резкий свист, медведь тотчас же стал на задние лапы. Именно этого и ждал граф: он бросился на зверя, который вытянул вперед передние лапы, как бы желая схватить его, но тут же страшно заревел, зашатался и упал мертвым. Кинжал поразил его в самое сердце.

Я подбежал к графу, так как опасался, что он ранен, и нашел его совершенно спокойным, точно ничего не случилось. Я мог только удивляться такому мужеству. Сам я весь дрожал, хотя был всего только зрителем этого поединка.

— Вы видите,— сказал мне граф,— это не особенно трудно. Помогите мне, пожалуйста, повернуть медведя, я хочу, чтобы вы поняли, куда именно нужно наносить удар.



Мы с трудом повернули огромную медвежью тушу. Кинжал вошел в грудь зверя по самую рукоять. Граф вытащил его и вытер о снег. В этот момент мы снова услышали крики и увидели, что охотник, стоявший слева от Нарышкина, в свою очередь, расправляется с медведем: здесь борьба длилась несколько дольше, но медведь тоже был убит.

Эти две победы привели меня в полное восхищение. Остатки моего страха улетучились. Я почувствовал себя Геркулесом, побеждающим Немейского льва, и мне захотелось испытать свои силы.

Случай не заставил себя долго ждать. Едва мы отошли шагов на двести от места, где лежали туши обоих медведей, как я увидел еще одного медведя. Я бросил ему жестяной кружок. Медведь оскалился с глухим рычанием, показав два ряда ослепительно белых зубов. Мои соседи справа и слева остановились и приготовили карабины, чтобы прийти мне на помощь, если это понадобится.

Я последовал их примеру. Должен, впрочем, сказать, что я больше доверял этому оружию, чем кинжалу. Так, с карабином наготове, я ждал медведя со всем тем хладнокровием, на которое был способен, но он не двигался. Тогда я прицелился и выстрелил.

В ту же минуту раздался оглушительный рев. Медведь поднялся на задние лапы и стал трясти одной из передних, так как другая была, по-видимому, перебита. Я услышал крики: «Осторожнее!» Медведь бежал прямо на меня с такой быстротой, что я едва успел выхватить кинжал. Я плохо помню, что произошло вслед за этим, так как все совершилось с быстротою молнии.

Я увидел зверя прямо перед собой с раскрытой, окровавленной пастью и что было сил ударил его в грудь, но удар мой пришелся по ребру. Огромная лапа опустилась на мое плечо, и под ее тяжестью я упал навзничь. В ту же минуту раздалось два выстрела. Медведь свалился на меня. Я с трудом выкарабкался из-под него и вскочил, готовый защищаться, но зверь был уже мертв. В него попали обе пули: графа Алексея — позади уха, а доезжачего — в плечо. Я был весь в крови, хотя не получил ни малейшей царапины.

Со всех сторон сбежались охотники. Зная, что я сражаюсь с медведем, они испугались, как бы такой

поединок не окончился для меня печально. Все обрадовались, видя меня целым и невредимым, а медведя мертвым.

Хотя эта победа и была одержана не мною одним, она доставила мне большое удовольствие, ведь я был еще новичком в подобного рода охоте. Однако своим выстрелом я перебил медведю переднюю лапу, а кинжалом нанес ему обширную рану: стало быть, рука моя не дрогнула ни тогда, когда враг был далеко, ни тогда, когда он приблизился.

Крестьяне и доезжачие убили еще двух медведей, после чего охота закончилась. Убитых медведей сволокли вместе, сняли с них шкуры и отрезали у них задние лапы, которые считаются лакомым блюдом: их должны были подать нам к обеду.

Мы вернулись во дворец Нарышкина с нашими трофеями. Каждого из нас ожидала у него в комнате душистая вода для купанья, что было более чем кстати, после того как мы полдня провели на охоте, с ног до головы закутанные в меха. Через полчаса колокол возвестил, что наступил час обеда.

Обед этот оказался не менее роскошным, чем вчерашний: правда, не было стерлядей, зато были медвежьи окорока. Их приготовили сами доезжачие, изжарив во дворе на горящих углях. Увидев большие куски медвежьего мяса, почерневшего, чуть ли не обугленного, я испытал чувство отвращения. Все же мне захотелось попробовать это редкое блюдо; я снял ножом подгоревшую корку, и под ней оказалось великолепное, сочное, чрезвычайно вкусное мясо.

Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашел в них шкуру убитого мною медведя, которую весьма любезно велел положить туда Нарышкин.

Глава десятая

В петербургском обществе шли приготовления к двум большим праздникам, следующим один за другим: я имею в виду Новый год и крещение. Первый праздник — чисто светский, второй — чисто церковный.

Между тем по городу распространились тревожные слухи, будто в этом году приема в Зимнем дворце не

будет, так как замышляется цареубийство. То были отголоски тайного заговора, о котором уже давно толковали. Говорили, что убийство Александра замышляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейб-гвардии, но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог неожиданно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость божью. Однако вскоре опасения рассеялись: государь приказал, чтобы все оставалось по-прежнему, и прием должен был состояться.

Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены как обычно. Я получил их целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В семь часов вечера двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него.

В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинается играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются, точно отхлынувшие волны Черного моря, и император проходит среди них.

Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет сделано покушение, и нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко.

Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в Царском Селе. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности.

В десять часов вечера, когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал.

Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло двенадцать

негров, одетых в богатые восточные костюмы; они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты.

Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены которой убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от восьми до десяти тысяч разноцветных ламп-ионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле, и заливает чудесную декорацию — сады, цветы, боскеты, присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся тысячью огней волшебном дворце.

В одиннадцать часов музыка и трубы возвестили о прибытии императора. Тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами, фрейлины и придворные чины сели за стол, находившийся в центре помещения, прочие же гости, среди которых было около шестисот человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами. Один только государь не садился: он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя, как того требовал этикет.

Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах. Что до меня, то я никогда еще не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском.

По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал, танцы снова начались здесь полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было двадцать градусов тепла, а на дворе — столько же мороза. Таким образом, разница в температуре достигала сорока градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду, но в Петербурге об этом молчат, а потому за веселыми праздниками не следуют печальные будни.

Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан и хорошо закрытым саням, я достиг

вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале.

Суровой зимой 1825 года не приходилось опасаться оттепели: стояли крепкие морозы, и на Неве, против французского посольства, стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает две тысячи шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В высоту они имеют около ста футов, а в длину — около четырехсот. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной дюймов в шесть.

Здесьние салазки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице на верх горы и садится на салазки спереди, а катальщик — сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены, и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего одну копейку, иными словами, менее двух лиардов на наши деньги.

Прочие развлечения напоминают в общем народные гулянья на Елисейских полях: в Петербурге тоже дают представления силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляция и приемы, при помощи которых зазывала приглашает публику, очень похожи на наши, хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности.

Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем: на сцене отец, с нетерпением ожидающий своего новорожденного сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленатым, что виден только его черный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот как две капли воды похож на него самого, и такой же ласковый, как и его мать. При

этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем, который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок и оказывается... медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребенка.

Ночью в последнюю неделю святок на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленной сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляпы. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее шеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права, какой-нибудь полишинель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему.

Что касается простого народа, то, готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест в три горла, но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется: чересчур вольные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни — в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся.

Но как ни блестящи теперешние празднества, они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила затмить своих предшественников и устроить такой праздник, который был под силу разве что русской императрице. Она приурочила к нему свадьбу своего шута, и по этому поводу было велено губернаторам прислать в Петербург по два представителя всех подведомственных им народностей в их национальных костюмах и на обычных для них средствах передвижения.

Приказ императрицы был тщательно выполнен, и к назначенному дню в Петербурге собрались представители ста различных народностей, некоторые из них едва были известны даже по названию. Здесь были камчадалы и лапландцы, одни в санях, запряженных собаками, другие — в санях, запряженных оленями, калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остяки на лыжах, светлоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи-самоеды, башкирцы и т. д. и т. п.

По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствовавшем географическому положению губернии, которую он представлял. Знамен этих было четыре: одно обозначало весну, второе — лето, третье — осень, четвертое — зиму.

Однажды, когда все представители оказались в сборе, было устроено их шествие по улицам Петербурга, и хотя эта процессия повторялась каждый день, она никак не могла насытить всеобщего любопытства.

Наконец, настал день свадебной церемонии. После службы в дворцовой церкви новобрачные отправились в сопровождении своей шутовской свиты во дворец, который приказала выстроить для них императрица. Дворец этот, целиком сделанный из льда, имел в длину пятьдесят два фута, а в ширину — двадцать. Все украшения, и наружные и внутренние, вся мебель и посуда — столы, кресла, подсвечники со свечами, тарелки, статуи, даже кровати — все было из прозрачного льда, отделанного под мрамор. У дворца стояло шесть также ледяных пушек, из которых одна, заряженная полутора фунтами пороха и ядром, приветствовала выстрелом новобрачных.

Самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон, на нем сидел перс, а по бокам стояли двое слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, извергал из своего хобота днем воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов он время от времени испускал крик, слышимый во всем Петербурге. Этот крик издавали десять человек, помещавшихся у него внутри.

Зимой 1825 года было еще меньше увеселений, чем обычно. Причина этого крылась во всевозраставшей меланхолии императора Александра, которая передавалась его приближенным, всему двору и даже народу.

Поговаривали, что уныние царя было следствием угрызений совести; поэтому мы расскажем подробно о том, чем они были вызваны.

Глава одиннадцатая

По смерти Екатерины II на престол взошел Павел I. Надолго удаленный от двора, разлученный со своими детьми, воспитание которых взяла на себя бабушка, новый император обнаружил в своих отношениях с окружающими недоверие и жестокость, из-за которых его недолгое царствование вызывало недоумение соседних правительств и народов.

Павел стал царем в возрасте сорока трех лет, после тридцати пяти лет лишений, изгнания и презрения. За эти долгие годы он много выстрадал и, как ему казалось, многому научился. Вот почему он взошел на трон с уже готовыми указами и постановлениями, которые он составил во время своего изгнания. И, достигнув власти, с лихорадочной поспешностью начал приводить их в исполнение.

Действуя наперекор всему, что было сделано и задумано Екатериной II, к которой он относился с ненавистью, он прежде всего окружил себя своими детьми и назначил великого князя Александра военным губернатором Санкт-Петербурга. Императрица Мария Федоровна, которая не раз жаловалась на его охлаждение, увидела с удивлением, смешанным со страхом, что он стал к ней добр и даже ласков. Сперва она усомнилась в искренности этих чувств, но вскоре поверила в благоприятную перемену супруга.

Из духа противоречия, проявлявшегося чаще всего тогда, когда этого меньше всего ожидали, Павел в первом же своем указе велел приостановить набор рекрутов, недавно начатый по приказу Екатерины, согласно которому отдавали в солдаты одного крепостного из ста. Мера эта была не только гуманной, но и весьма политической, ибо она разом принесла новому императору благодарность дворян, недовольных былым набором рекрутов, и любовь крестьян, чрезвычайно от нее страдавших.

Граф Зубов, последний фаворит Екатерины, думал, что он все потерял со смертью своей повелительницы и опасался не только за свою свободу, но и за жизнь. Павел I призвал его к себе, утвердил во всех занимаемых им должностях и, в частности в звании флигель-адъютанта. При этом он сказал ему:

— Продолжайте исполнять свои обязанности. Надеюсь, вы будете служить мне так же верно, как служили моей матери.

Польский генерал Костюшко жил пленником в одном из петербургских дворцов. Павел решил освободить его и самолично возвестить ему эту милость. Костюшко так растерялся при виде царя, что даже не поблагодарил его. А спохватившись, велел отнести себя во дворец, ибо еще не оправился после полученных ран. Выслушав изъявления его благодарности, Павел пожаловал ему большое поместье в Польше, но генерал отказался от него и попросил взамен денег, чтобы жить и умереть там, где он пожелает. Павел приказал выдать ему 100 000 рублей.

Среди подобных распоряжений, которые вопреки опасениям всего света позволяли надеяться на тихое и достойное царствование, наступил день похорон скончавшейся императрицы, и по этому поводу Павел задумал исполнить свой двойной сыновний долг.

В течение тридцати пяти лет имя Петра III произносили в Петербурге только шепотом. Павел отправился в Александро-Невскую лавру, где был похоронен несчастный император, велел открыть его гроб, пал на колени перед останками отца и, сняв с руки скелета перчатку, поцеловал ее несколько раз. Затем он велел поставить гроб посреди церкви и отпевать покойного императора так же, как только что отпевали Екатерину, лежавшую на парадной кровати в одной из зал дворца.

Наконец, отыскав барона Унгерн-Штернберга, проведшего более трети столетия в изгнании за то, что верой и правдой служил Петру III, он вызвал старика в Зимний дворец, в одной из зал которого висел портрет покойного императора.

Когда барон явился, Павел сказал ему:

— Я пригласил вас для того, чтобы в вашем лице выразить благодарность преданным друзьям отца.

И, поставив барона у портрета, он расцеловал его, пожаловал ему звание генерал-аншефа и орден Александра Невского и попросил стоять у гроба Петра III в той же форме, какую он носил при жизни императора.

Наступил день печальной церемонии. Петр III, как известно, не был коронован, и под этим предлогом предан земле как обыкновенный русский вельможа. Павел I приказал короновать его прах в гробу, перенести этот гроб во дворец и поставить возле праха Екатерины. Из дворца останки обоих государей были перевезены в крепость для прощания с ними народа. И в течение недели придворные, раболепствуя перед новым царем, целовали мертвенно-белую руку Екатерины II и гроб Петра III.

После этих двойных похорон Павел I, видимо, позабыл о благочестии и мудрости. Он уединился в своем Гатчинском дворце под охраной двух или трех гвардейских рот и целиком ушел в мелочи воинской службы, проводя иной раз целые часы за чисткой пуговиц на своем мундире, что он делал с такой же любовью, с какой Потемкин любовался игрой своих бриллиантов.

С первого же дня его восшествия на престол во дворце были установлены новые порядки. Прежде чем заняться государственными делами, император проводил время за теми мелочами, которые он считал нужным ввести в обученные и обмундированные солдаты. Ежедневно он проводил во дворе дворца военное учение, во время которого муштровал солдат по своему вкусу и усмотрению. Это учение, получившее название «вахтпарада», стало не только наиболее важным делом его правления, но и центром всех его административных и государственных забот.

На этих «парадах» он отдавал приказания, издавал указы и принимал посетителей. Ежедневно с обоими великими князьями, Александром и Константином, он часа три заставлял маршировать солдат и, поднимая и опуская трость, повторял: «Раз, два, раз, два!» и подпрыгивал на месте, чтобы немного согреться, ибо, несмотря на зимние морозы, стоял в одном мундире с непокрытой лысой головой.

Вскоре все эти военные мелочи стали для него делом государственной важности: прежде всего он заменил

белую кокарду черной с желтым ободком. Это, говорил он, делается потому, что белый цвет бросается в глаза издали, в то время как черный сливается с цветом шапки и неприятелю труднее целиться в голову солдата. Реформа коснулась также цвета плюмажа, высоты сапог, пуговиц на гетрах и т. д., и тому, кто желал обратить на себя внимание царя и доказать ему свою преданность, достаточно было явиться на следующий вахтпарад с теми новшествами в форме, которые Павел ввел накануне. Бывало — и не раз, — что такая готовность исполнить малейший каприз царя награждалась орденом и производством в следующий чин.

Павел относился с таким вниманием не только к форме солдат, которых он то одевал, то раздевал, как это делает ребенок со своими куклами, но и к одежде всего населения. Французская революция ввела в моду большие круглые шляпы, но он возненавидел их и в один прекрасный день издал указ, строжайше запрещающий показываться в таких шляпах на улицах Санкт-Петербурга.

Отчасти по неведению, отчасти по нежеланию, приказ этот не был выполнен с той быстротой, какой требовал Павел. Тогда он расставил на всех перекрестках казаков и городских, приказав им срывать круглые шляпы с голов упрямцев, а сам разъезжал по улицам, наблюдая, точно ли выполняется его воля.

Однажды, на обратном пути во дворец, он увидел на улице англичанина в ненавистной ему круглой шляпе. Англичанин этот считал императорский указ покушением на свою личную свободу. Павел остановился и приказал одному из своих офицеров сорвать шляпу с головы слушника, который еще осмелился показаться в ней на Адмиралтейской площади, вблизи царского дворца. Но, приблизившись к англичанину, офицер убедился, что на нем узаконенная треугольная шляпа. Он возвратился назад и доложил об этом государю.

Павел берет лорнетку и смотрит на англичанина, который как ни в чем не бывало продолжает свой путь, и видит на нем круглую шляпу. Офицер, очевидно, ошибся. Разгневанный Павел приказывает отправить его под арест и посылает вместо него одного из своих адъютантов, и тот, желая выслужиться, прищипривает

своего коня и подъезжает к англичанину. Но оказывается, что государь ошибся: на англичанине действительно треугольная шляпа. Адъютант почтительно докладывает об этом Павлу. Последний снова наводит на англичанина лорнет и вслед за офицером посылает под арест адъютанта, ибо видит на англичанине круглую шляпу.

В дело, наконец, вмешивается один из генералов, которого Павел посылает разрешить эту задачу, оказавшуюся столь роковой для обоих офицеров. Генерал видит, что по мере его приближения к англичанину форма его шляпы меняется и постепенно переходит из круглой в треугольную. Опасаясь, как бы его не постигла та же участь, что и двух офицеров, он подводит англичанина к Павлу, и тут все объясняется. Оказывается, ловкий британец, желая примирить свою национальную гордость с капризом иностранного монарха, заказал такую шляпу, которая при помощи спрятанной внутри пружинки может быстро менять форму, становясь то запрещенной круглой, то законной треугольной. Павел нашел эту мысль превосходной, освободил из-под ареста офицеров и разрешил остроумному англичанину носить впредь такие шляпы, какне ему заблагорассудится.

За приказом о шляпах последовал приказ об экипажах. В один прекрасный день в Петербурге было запрещено разъезжать в экипажах с русской упряжью, при которой фореитор сидит верхом на правой лошади и управляет левой. Владельцам карет, ландо и дрожек были даны две недели, чтобы обзавестись немецкой упряжью, после чего полиции было приказано обрезать постромки у тех лошадей, что будут запряжены не по закону.

Наконец, реформа коснулась кучеров: было велено одеть их по немецкому образцу и сбрить им бороды. Некий офицер, не успевший сделать это, отправился на вахтпарад пешком из страха прогневить императора. Он шел по улице в длинной и широкой шубе, а денщик нес за ним его шпагу. Неожданно им повстречался Павел. Видя такое нарушение дисциплины, рассерженный император приказал разжаловать офицера, а солдата произвести в офицеры.

Во всех областях жизни был введен строжайший этикет. Старинный закон требовал, чтобы при встрече на улице с государем, императрицей или цесаревичем обыватель останавливался, выходил из экипажа и приветствовал их низким поклоном. Закон этот был отменен в царствование Екатерины, но по воцарении Павел восстановил его во всей строгости.

Некий генерал, кучер которого не узнал на улице экипажа императора и не остановил лошадей, был обезоружен и посажен под арест. Когда окончился срок ареста, ему хотели вернуть его шпагу, но он отказался взять ее, говоря, что это почетная шпага, преподнесенная ему Екатериной с уверением, что никогда не будет отнята у него. Павел велел подать себе шпагу, рассмотрел ее и убедился, что она золотая и украшена бриллиантами. Он подозвал к себе генерала и лично вернул ему шпагу, говоря, что не имеет решительно ничего против него, и все же приказал ему в течение двадцати четырех часов уехать из Петербурга в армию.

К сожалению, далеко не всегда такие случаи оканчивались более или менее благополучно. Некий Лихарев, один из наиболее отважных офицеров императорской гвардии, заболел как-то у себя в деревне, и его жена приехала за врачом в Петербург. На свою беду, она встретила на улице экипаж императора. Ни она, ни сопровождавшие ее люди ничего не слышали о новом приказе, так как более трех месяцев не были в столице. Итак, несчастная женщина проехала, не останавливаясь, мимо Павла. Такое нарушение его приказа задело императора за живое, и он тут же послал вдогонку за ослушницей своего адъютанта, повелев посадить ее под арест, а ее четверых людей отдать в солдаты. Приказ был в точности выполнен. Женщина эта сошла с ума, а ее муж, оставленный без врачебной помощи, умер в деревне.

Еще более строгий этикет царил внутри дворца. При целовании руки государя подданные должны были становиться на колени. Князь Григорий Голицын был арестован за то, что не склонился достаточно низко перед императором и небрежно поцеловал его руку.

Все эти сумасбродства, наугад взятые нами из жизни Павла, сделали невозможным в конце четвертого года его пребывание на троне, тем более что каждый новый

день множил эти безумства. Понятно, сколь опасны стали они со стороны самодержца, малейшее желание которого является законом. Павел интуитивно чувствовал, что ему угрожает неведомая, но вполне реальная опасность, и вызванный ею страх еще более омрачал его помутившийся разум. Он уединился в Михайловском дворце, построенном им на месте прежнего, который он повелел выкрасить в красный цвет, чтобы оказать честь вкусу одной из своих любовниц, явившейся как-то во дворец в красивых перчатках. Это было массивное, тяжеловесное здание с бесчисленными бастиянами, в которых император считал себя в безопасности.

Между тем у Павла было два любимца, положение которых казалось весьма прочным: Кутайсов, по происхождению турок, бывший некогда брадобреем Павла и неожиданно, без всякой заслуги со своей стороны, ставший одним из самых влиятельных лиц в империи, и курляндский граф Пален, получивший чин генерал-майора при Екатерине II, который благодаря дружбе с Зубовым, последним фаворитом императрицы, занял место гражданского губернатора города Риги.

История возвышения графа Палена такова: незадолго до своего восшествия на престол Павел приехал в Ригу. В то время он был в опале, и придворные едва осмеливались разговаривать с ним. Пален оказал цесаревичу почести, полагавшиеся ему как наследнику престола. Тот не привык к таким знакам внимания и сохранил к Палену чувство благодарности. Вступив на престол, он вспомнил о приеме в Риге, вызвал Палена в Петербург, наградил высшими орденами и назначил шефом гвардии и губернатором Петербурга.

И хотя Пален уже четыре года занимал столь высокий пост, он прекрасно знал всю шаткость человеческих судеб. Он видел на своем веку столько людей, сперва возвысившихся, а потом впадших в немилость, что должен был удивляться, что до сих пор не свернул себе шеи. И он решил предупредить свое падение, низвергнув Павла.

Зубов, покровитель Палена, которого император назначил своим флигель-адъютантом, вдруг впал в немилость. Однажды утром он узнал, что его канцелярия опечатана, двое его главных секретарей, Альтести и Гржибовский, схвачены, а офицеры,

принадлежащие к его штабу и свите, должны либо вернуться в свои воинские части, либо подать в отставку.

Вслед за этим, по какой-то непонятной прихоти, император подарил Зубову дворец, а на следующий день лишил его всех занимаемых должностей в количестве не то двадцати пяти, не то тридцати. Одновременно Зубов получил приказ о выезде из пределов России. Поселился он в Германии.

В Германию и приехал к Зубову посланец Палена. Вероятно, Зубов жаловался своему бывшему протезе на изгнание, довольно объяснимое, но так и оставшееся необъясненным, и в своем ответе Пален давал ему такой совет: сделать вид, будто бы он, Зубов, желает жениться на дочери любимца Павла Кутайсова. Несомненно, довольный этим Павел не замедлит разрешить изгнаннику вернуться в Петербург, а тогда видно будет, как действовать дальше.

Зубов последовал совету Палена. Однажды Кутайсов получил письмо, в котором Зубов просил руки его дочери. Чрезвычайно польщенный таким предложением, выскочка-брадобрей тотчас же поехал в Михайловский дворец, бросился к ногам императора и, держа в руках письмо Зубова, стал умолять его довершить свои благодеяния, разрешив его дочери выйти замуж за Зубова. Павел бросил взгляд на письмо и сказал:

— Вот первая умная мысль, которая пришла в голову этому безумцу. Хорошо, пусть возвращается.

Две недели спустя Зубов вернулся в Петербург и с милостивого соизволения Павла стал ухаживать за дочерью его любимца.

С помощью этой уловки зародился и разросся заговор против Павла, привлекавший все и новых и новых недовольных. Сначала заговорщики думали лишь об отречении императора Павла, то есть об удалении от власти — конечной цели их устремлений. Предполагалось, что после своего отречения он будет сослан в какую-нибудь отдаленную губернию, а на престол взойдет великий князь Александр, которым располагали без ведома его и согласия. Только некоторые из них понимали, что дело этим не закончится, и тот, кто вместо шпаги вытащит кинжал, вложит его в ножны лишь окровавленным.

Между тем Пален, хотя и являлся главой заговора, но старался не давать повода для подозрений: смотря по обстоятельствам, он мог либо до конца пойти с заговорщиками, либо стать на сторону Павла. Такая осторожность расхолаживала его соратников, и дело могло затянуться на целый год и дольше, если бы сам он не подтолкнул событий. Хорошо зная характер императора, Пален рассчитывал на успех своей хитрости. Он написал императору анонимное письмо об угрожающем ему заговоре, к которому был приложен поименный список заговорщиков.

Получив это письмо, Павел приказал удвоить караулы в Михайловском дворце и послал за Паленом.

Пален, ожидавший этого приглашения, тотчас же явился на зов императора. Он нашел Павла в спальне во втором этаже дворца. Это была огромная комната с дверью против камина и двумя окнами, выходившими во двор. У противоположной стены стояла кровать Павла, а рядом с ней находилась потайная дверь, которая вела в покои императрицы. В ногах кровати существовала в полу другая потайная дверь, известная одному императору, которая открывалась, если с силой нажать на нее каблуком. Дверь эта вела на лестницу, та — в коридор, а оттуда подземным ходом можно было незаметно выйти из дворца.

Павел ходил большими шагами по комнате, издавая по временам гневные восклицания, когда отворилась дверь и вошел Пален. Император повернулся к нему и застыл на месте, скрестив на груди руки и устремив взгляд на вошедшего.

— Граф, знаете ли вы, что происходит в Петербурге? — спросил он.

— Я знаю, — отвечал Пален, — что всемиловиднейший государь повелел мне явиться, и я поспешил исполнить его приказ.

— А знаете, почему я послал за вами? — воскликнул Павел с явным нетерпением.

— Надеюсь, что ваше величество соизволите мне объяснить это.

— Я призвал вас, сударь, чтобы сообщить вам, что против меня в столице затевается заговор.

— Знаю, ваше величество.

— Как, вы знаете об этом?!

— Знаю и сам состою в числе заговорщиков.

— Так вот, я получил список, где они все поименованы.

— А у меня есть его копия, ваше величество: вот она.

— Черт возьми,— пробормотал до смерти перепуганный Павел, не зная, что и подумать.

— Ваше величество,— продолжал Пален,— извольте сравнить оба списка: если тот, кто прислал его, в курсе дела, оба списка должны быть тождественны.

— Посмотрите,— сказал Павел.

— Да,— холодно проговорил Пален, пробежав список глазами,— здесь указаны все заговорщики, кроме троих.

— Кто они? — взволнованно спросил император.

— Ваше величество, я не смею назвать их. Но теперь, когда представлено доказательство моей осведомленности, я надеюсь, что вы отнесетесь ко мне с полным доверием и положитесь на мое рвение...

— Говорите,— прервал его Павел,— кто они? Я хочу знать, кто эти три лица!

— Ваше величество,— ответил Пален, склонив голову,— я не дерзаю произнести эти священные имена.

— Я жду! — глухо проговорил Павел, бросив взгляд на потайную дверь, ведущую в апартаменты государыни.— Вы намекаете на императрицу, цесаревича Александра и великого князя Константина?

— Закон не должен знать тех, кого он не может коснуться.

— Закон коснется всех, сударь, и вина, чья бы она ни была, будет наказана! Пален, сию минуту приказываю вам арестовать обоих великих князей и отослать их завтра же в Шлиссельбург. Что касается императрицы, то о ней я распоряжусь сам. Расправиться с остальными заговорщиками — это ваше дело.

— Слушаю, ваше величество,— отвечал Пален,— но попрошу дать мне письменный приказ. Как бы ни было высоко положение виновных, я исполню ваш приказ.

— Ты единственный верный слуга мой! — вскричал император.— Охраняй меня, ибо я вижу, что все желают моей гибели, и у меня нет никого, кроме тебя.

С этими словами Павел подписал приказ об аресте обоих великих князей и передал его Палену.

Именно этого и добивался ловкий заговорщик. Имея в руках приказ императора, он тотчас же отправился

к Платону Зубову, где, как он знал, собрались все заговорщики.

— Все раскрыто, — сказал он, входя, — вот приказ об аресте великих князей. Нельзя терять ни минуты. Сегодня ночью я еще санкт-петербургский губернатор, а завтра, быть может, окажусь в тюрьме. Надо действовать немедленно.

Действительно, медлить было нельзя, ибо промедление грозило эшафотом или по меньшей мере Сибирью. Заговорщики сговорились сойтись той же ночью у полковника Преображенского полка князя Голицына. Ввиду своей малочисленности, они решили привлечь к себе всех недовольных, арестованных накануне.

Обстоятельства благоприятствовали им, ибо как раз подверглись аресту человек тридцать офицеров из знатных петербургских фамилий, причем некоторые из них были разжалованы, заключены в тюрьму или приговорены к ссылке за проступки, едва заслуживавшие обычного выговора. Граф Пален распорядился, чтобы вблизи тюрем, где содержались эти заключенные, стояло наготове несколько саней. Затем, видя, что заговорщики преисполнены решимости, он поспешил к цесаревичу Александру.

Александр только что встретился с отцом в коридоре дворца и по своему обыкновению хотел подойти к нему, но Павел махнул рукой и велел ему оставаться в своих покоях впредь до нового распоряжения.

Пален нашел Александра весьма обеспокоенным строгостью отца, причины которой он не знал.

Увидя Палена, цесаревич спросил, не явился ли он по приказанию отца.

— Увы, — отвечал Пален, — государь дал мне ужасный приказ.

— Какой? — спросил Александр.

— Арестовать ваше высочество.

— Меня?! — вскричал Александр. — За что?

— Ваше высочество, изволите знать, что, к несчастью, кара подчас настигает у нас ни в чем не повинного человека.

— Государь, — сказал Александр, — может вдвойне распоряжаться моей судьбой: как император и как отец. Я готов повиноваться его воле.

Граф показал Александру приказ об аресте, и тот молча стал читать его, но, увидев имя Константина, воскликнул:

— Как, и брата тоже?! Я полагал, что приказ касается одного меня!

Когда же Пален сказал, что подобная же участь ожидает императрицу, Александр схватился за голову.

— Матушка, — закричал он, — бедная моя матушка!.. Это уже слишком, Пален, слишком!

И он закрыл лицо руками. Пален счел момент подходящим для того, чтобы заговорить с цесаревичем.

— Ваше высочество, — сказал он, — извольте выслушать меня: необходимо предупредить несчастье, большое несчастье! Необходимо положить конец безумствам государя. Сегодня он лишает вас свободы, а завтра лишит вас, быть может...

— Пален!!

— Ваше высочество, извольте вспомнить Алексея Петровича.

— Пален, вы клевете на моего отца!

— Нет, ваше высочество, ибо я виню не его сердце, а его рассудок. Все эти странные противоречия, эти невыполнимые приказы, эти бесполезные наказания свидетельствуют только о его ужасной болезни. Это говорят все, кто окружает государя, и повторяют те, кто далек от него. Ваше высочество, несчастный батюшка ваш безумен.

— Боже мой!..

— Необходимо спасти его от него самого. Это говорю не только я — это говорит сенат и весь народ, представителем которого я являюсь. Необходимо, чтобы государь отрекся от престола в вашу пользу.

— Что вы говорите! — вскричал Александр, делая шаг назад. — Чтобы я наследовал отцу, который еще жив, чтобы я сорвал с головы его корону?.. Нет, безумец — это вы, Пален!.. Никогда, никогда!

— Ваше высочество, — спокойно возразил Пален, — извольте вникнуть в приказ. Дело касается не только вашего ареста, уверяю вас, опасности подвергается и ваша жизнь.

— Спасите императрицу и брата — вот все, о чем я вас прошу, — сказал Александр.

— Разве я властен сделать это? — спросил Пален. — Разве приказ не касается их так же, как и вас? А как только они будут арестованы и заключены в тюрьму, всегда найдутся люди, которые, желая

услужить государю, пойдут дальше его желаний. Обратите ваши взоры на Англию, ваше высочество: там происходит то же, что и у нас, но власть короля не так велика, а потому и опасность меньше. Принц Уэльский готов стать во главе государства, и, однако, у короля Георга тихое, безвредное помешательство. И вот, что я еще позволю заметить вам, ваше высочество: соглашаясь с тем, что я предлагаю, вы спасете не только свою жизнь, но жизнь великого князя, императрицы и даже вашего августейшего батюшки.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что царствование государя всем в тягость, а потому дворянство и сенат решили любым способом положить ему предел. Вы против отречения? Ну что ж, быть может, завтра вам придется примириться с убийством вашего батюшки.

Боже мой, — вскричал Александр, — могу я видеть отца?

— Это невозможно, ваше высочество, — строжайше приказано не допускать вас к нему.

Вы говорите, что жизнь государя в опасности? — спросил Александр.

Россия полагает все надежды свои на вас, ваше высочество, и если нам придется выбирать между решением, которое нас может погубить, и преступлением, могущим нас спасти, то мы предпочтем последнее.

Пален сделал движение, готовясь уйти.

Пален, — воскликнул Александр, — Пален, поклянитесь мне, что отцу моему не угрожает никакой опасности и что в случае надобности вы жизнью пожертвуете ради него! Поклянитесь мне — иначе я не отпущу вас.

— Ваше высочество, — ответил Пален, — я вам сообщил то, что должен был сообщить. Подумайте над тем, что я вам сказал, а я, со своей стороны, подумаю о клятве, которую вы требуете от меня.

При этих словах Пален почтительно склонился перед великим князем и вышел из комнаты. Поставив часовых у его двери, он отправился к великому князю Константину и к императрице Марии Федоровне, показал им приказ императора, но не принял против них таких мер предосторожности, как против Александра.

Было 8 часов вечера и уже стемнело, потому что дело происходило в начале весны. Пален отправился к князю

Голышину, где застал почти всех заговорщиков. На него со всех сторон посыпались вопросы.

— Мне некогда отвечать вам, — сказал он, — пока все идет хорошо, и через полчаса я приведу к вам подкрепление.

И Пален поехал в одну из тюрем. Перед ним как перед петербургским губернатором, тут же отворились все ее двери. Увидев губернатора, окруженного стражей, и заметив грозное выражение его лица, заключенные вообразили, что пробил их час: либо их сошлют в Сибирь, либо переведут в другую, худшую тюрьму. Тон, каким Пален приказал им одеться и быть готовыми к отъезду, подтвердил их предположения. Несчастные молодые люди повиновались. У ворот их ожидал караул, они безропотно расселись по саням, которые умчали их куда-то.

К великому их изумлению, спустя минут десять сани остановились во дворе великолепного дворца. Заключенным было приказано выйти. Они вышли, затем двери дворца затворились за ними, стража осталась во дворе. Пален был с ними.

— Следуйте за мной, — сказал он и пошел вперед.

Арестованные повиновались. Войдя в комнату рядом с залой, где собрались заговорщики, Пален поднял лежавшую на столе шинель, под которой оказались шпаги.

— Вооружайтесь, — проговорил он.

Заговорщики в полном недоумении подчинились этому приказу, начиная догадываться, что им предстоит нечто столь же странное, сколь и неожиданное. Пален отворил дверь той залы, где были заговорщики, и приезжие увидели за столом своих друзей с бокалами в руках, которые встретили их возгласом: «Да здравствует Александр!». Люди, чудом вышедшие из тюрьмы и считавшие себя навсегда оторванными от друзей, с криками радости бросились в зал, где происходило пиршество. В нескольких словах их ввели в курс дела. Они все горели желанием отомстить за унижение, которому подверглись накануне. План царевубийства был ими принят с восторгом, и ни один не отказался от той роли, которая предназначалась ему в грядущих событиях.

В одиннадцать часов ночи заговорщики, числом около шестидесяти, вышли из особняка князя Голицына и направились небольшими группами к Михайловскому дворцу. Главари были: граф Беннигсен, бывший фаворит Екатерины, граф Платон Зубов, санкт-петербургский губернатор Пален, полковник Семеновского полка Депрерадович, флигель-адъютант императора Аргамаков, генерал-майор артиллерии князь Яшвиль, командир лейб-гвардии Преображенского полка князь Голицын и князь Вяземский.

Заговорщики вошли через калитку в парк Михайловского дворца. Но в ту минуту, когда они проходили по аллее, затененной летом густыми деревьями, которые, усеяв землю листьями, воздевали теперь к небу оголенные ветви, стая воронов, разбуженных шумом шагов, со зловещим карканьем поднялась с места. Заговорщики, перепуганные этим карканьем, которое, по понятиям русских, считается дурным предзнаменованием, остановились в нерешительности. Но Зубов и Пален подбодрили их, и они продолжили путь.

Войдя во двор дворца, заговорщики разделились на два отряда: один, под командованием графа Палена, вошел во дворец через маленькую дверь (здесь обыкновенно проходил сам граф, когда не желал быть замеченным). Другой отряд, под начальством Зубова и Беннигсена, беспрепятственно поднялся по парадной лестнице на второй этаж благодаря тому, что Пален заменил всех караульных солдат офицерами, переодетыми в солдатскую форму.

Позабыли подменить лишь одного часового, и, увидев приближающихся людей, он спросил: «Кто идет?» Часовой уже готовился преградить им путь, когда Беннигсен подошел к нему и, распахнув свой плащ, под которым был мундир, увешанный орденами, крикнул:

— Молчать! Разве ты не видишь, кто идет?

Солдат посторонился, и заговорщики прошли мимо него. В галерее, ведущей в переднюю, перед покоями императора, они нашли своего человека — офицера, переодетого солдатом.

— Ну, что император? — шепотом спросил Платон Зубов.

— Около часа как вернулся и теперь, кажется, поживает, — так же тихо ответил офицер.

— Хорошо,— сказал Зубов, и заговорщики продолжали свой путь.

Павел, по своему обыкновению, провел весь вечер у княгини Гагариной. Заметив, что он более бледен и мрачен, чем обычно, она стала настойчиво расспрашивать его.

— Что со мной? — молвил император,— а то, что настала минута нанести сокрушительный удар: через несколько дней, быть может, падут головы, которые были мне весьма дороги.

Испуганная этой угрозой княгиня Гагарина, которая хорошо знала, какое недоверие питает Павел к своей семье, воспользовалась первым благовидным предложением, чтобы предупредить Александра. Офицер, стоявший на часах у покоев великого князя, получил лишь один приказ — не выпускать его, а потому и разрешил войти посланцу княгини Гагариной. Александр получил записку княгини и, зная ее осведомленность в делах императора, понял всю опасность своего положения.

В двенадцатом часу ночи император Павел, как сообщил часовой, вернулся к себе от княгини Гагариной и тотчас же лег почивать.

Итак, заговорщики подошли к двери комнаты, смежной с опочивальней императора, и Аргамаков постучал.

— Кто там? — спросил камердинер государя.

— Я, Аргамаков, флигель-адъютант его величества.

— Что угодно вашему превосходительству?

— Имею сделать экстренное сообщение государю.

— Извольте шутить, ваше превосходительство, уже скоро полночь.

— Не полночь, а шесть часов утра. Откройте поскорей, не то государь будет гневаться...

— Право не знаю, ваше превосходительство, должен ли я...

— Приказываю вам сию же минуту открыть дверь!

Камердинер повиновался. Как только дверь отворилась, заговорщики, обнажив шпаги, ринулись в покои государя. Испуганный камердинер забился в угол. Польский гусар, стоявший на часах у опочивальни Павла, встал перед дверью, требуя, чтобы заговорщики удалились. Зубов хотел оттолкнуть его, но в ту же минуту раздался выстрел, и гусар упал. Единственный

защитник того, кто час тому назад повелевал пятьюдесятью тремя миллионами людей, был убит.

Выстрел разбудил Павла. Он соскочил с кровати, подбежал к потайной двери, ведшей в покои императрицы, позабыв, что три дня назад по своей подозрительности велел заделать ее. Тогда он вспомнил о подземном ходе, бросился в угол комнаты, где находилась потайная дверь, но он был бос и не мог достаточно сильно нажать на пружину — опускная дверь не поднялась. В этот же момент дверь опочивальни рухнула, и Павел едва успел спрятаться за ширмой, стоявшей перед камином.

Беннигсен и Зубов первыми ворвались к императору. Подбежав к его кровати и найдя ее пустой, Зубов воскликнул:

— Все погибло, он бежал!

— Нет, — сказал Беннигсен, — вот он.

— Пален, — крикнул император. — На помощь, Пален!

— Ваше величество, — сказал Беннигсен, подходя к Павлу и салютуя ему шпагой, — вы напрасно зовете Палена: он наш. Но не извольте беспокоиться: жизни вашей ничто не угрожает. От имени императора Александра арестую вас.

— Кто вы? — крикнул император, не узнав при слабом, дрожащем свете ночника тех, кто с ним говорил.

— Кто мы? — повторил Зубов, протягивая ему акт об отречении от престола. — Мы посланы сенатом, прочти эту бумагу и сам решай свою судьбу.

Одной рукой Зубов протянул Павлу бумагу, а другой поднес ночник, чтобы он мог прочесть ее. Павел взял бумагу, пробежал ее глазами, но, так и не дочитав до конца, поднял голову и, глядя на заговорщиков, спросил:

— Боже правый! Что я вам сделал? Почему вы так поступаете со мной?

— Четыре года ты нас мучаешь и тиранишь! — крикнул в ответ чей-то голос.

Павел продолжал чтение, и мало-помалу его возбуждение росло и гнев увеличивался. И он, забыв, что одинок, гол и безоружен, что перед ним стоят люди со шпагами в руках, скомкал акт об отречении и бросил его на пол.

— Никогда, — закричал он, — никогда я этой бумаги не подпишу! Лучше умру!

И он сделал движение, чтобы схватить свою шпагу, лежавшую на кресле в нескольких шагах от него.

В этот момент в комнату ворвался второй отряд заговорщиков, состоявший большею частью из разжалованных и подвергнутых наказанию офицеров во главе с князем Яшвилем, который поклялся отомстить Павлу за нанесенное им оскорбление.

Он кинулся на Павла, и между ними завязалась борьба, во время которой оба упали на пол, опрокинув ночник и ширмы. Павел дико вскрикнул, ибо ударился головой о выступ камина и получил глубокую рану. Испугавшись, что крик этот будет услышан во дворце, князь Вяземский принялся душить Павла.

Все это произошло в полной темноте. Наконец Павел вырвался из рук заговорщиков и стал умолять их по-французски:

— Господа, ради бога, пощадите! Дайте помолиться бо...

Слова эти тут же замерли, потому что один из заговорщиков обвил вокруг шеи Павла свой шарф и затянул его. Тот захрипел, но скоро хрип его прекратился. Тело судорожно вздрогнуло, и, когда Беннигсен снова зажег ночник, Павел был уже мертв.

На голове его зияла рана, полученная при ударе о край камина, но заговорщиков это нисколько не тревожило: было решено объявить, что император скончался от апоплексического удара и что он рану эту получил при падении.

В этот момент за дверь потайного хода послышался шорох. Это была императрица, услышавшая шум и крики, доносившиеся из покоев императора. Заговорщики сперва испугались, но, узнав ее голос, успокоились. Впрочем, дверь из ее половины на половину Павла была закрыта, и они свободно могли окончить начатое дело.

Беннигсен наклонился над Павлом и, убедившись, что он в самом деле мертв, велел положить его на кровать. Только в эту минуту в комнате появился Пален с обнаженной шпагой в руке. Верный своей двойственной роли, он выжидал, чтобы все было окончено, и только тогда примкнул к заговорщикам. Увидев труп Павла, на который Беннигсен набросил одеяло, он побледнел, прислонился к двери, опустив шпагу.

— Пора, господа,— сказал Беннигсен, единственный из заговорщиков, сохранивший полное самообладание,— необходимо присягнуть новому императору.

— Да, да,— раздались со всех сторон голоса.

— Да здравствует Александр!

И заговорщики поспешили оставить комнату, в которой только что разыгралась эта трагедия.

В это время императрица Мария Федоровна, видя, что она не может проникнуть в покои императора через потайной ход, вернулась назад, чтобы другим ходом добраться до половины мужа. В одной из зал она встретила поручика Семеновского полка Петровского с тридцатью солдатами. Выполняя полученный приказ, Петровский преградил ей дорогу.

— Простите, сударыня,— произнес он,— дальше я не могу вас пропустить.

— Разве вы не узнаете меня? — спросила императрица.

— Узнаю, сударыня, но именно вас мне приказано не пропускать.

— Кто приказал?

— Мой полковой командир.

— И вы осмелились выполнить такой приказ?

Императрица повернулась в сторону солдат, но те ружьями преградили ей дорогу.

В эту минуту в залу вошли заговорщики во главе с Беннигсеном, крича: «Да здравствует император Александр!» Увидев императрицу, Беннигсен направился к ней. Мария Федоровна сделала ему знак подойти и приказать солдатам, чтобы те пропустили ее к императору.

— Сударыня,— сказал Беннигсен,— все кончено. Императора Павла нет в живых.

При этих словах императрица вскрикнула и опустилась в кресло. Услышав этот крик, обе великие княжны Мария и Екатерина Павловны, поспешили к матери на помощь. Императрица слабым голосом попросила воды. Какой-то солдат принес полный стакан воды, но Мария Павловна не решилась дать матери напиток из страха, что вода отравлена. Тогда догадливый солдат отпил половину и, передавая стакан великой княжне, сказал:

— Ее величество смело может пить эту воду.

Оставив императрицу и великих князей, Беннигсен направился к Александру. Его комнаты находились над

покоюми императора Павла, и он должен был слышать все, что произошло внизу: выстрел, крики, падение и стоны умирающего. Он попытался выйти, чтобы оказать помощь отцу, но стража, стоявшая у дверей, не выпустила его. Все меры предосторожности были приняты: он был пленником и ничего не мог предпринять.

Сопровождаемый несколькими заговорщиками, Беннигсен вошел в покои Александра. Крики «Да здравствует император Александр!» дали ему знать, что все кончено, и уже нет сомнения в том, какой ценой достался ему престол. Увидев Палена, он сказал:

— Ах, Пален, как ужасна начальная страница моего царствования!

— Ваше величество,— отвечал Пален,— последующие страницы заставят позабыть эту первую страницу.

— Но поймите же,— воскликнул Александр,— в народе станут говорить, что я убийца отца!

— Ваше величество,— спокойно ответил Пален,— думайте в эту минуту только о том, что вам предстоит.

— О чем же? — спросил Александр, подавленный всем происшедшим.

— Ваше величество, извольте следовать за мною, так как малейшее промедление чревато величайшими бедствиями.

— Делайте со мной, что хотите,— покорно произнес Александр,— я в вашем распоряжении.

Пален посадил императора в карету, ожидавшую у подъезда, чтобы отвезти Павла в крепость. Александр сел в нее со слезами на глазах. Пален и Зубов поместились на запятках, и карета направилась в Зимний дворец, эскортируемая двумя гвардейскими батальонами. Беннигсен остался возле императрицы, которую Александр успел поручить его попечению.

На Адмиралтейской площади были уже собраны гвардейские полки. «Да здравствует император Александр!» — закричали Пален и Зубов, указывая на юного Александра. «Да здравствует!» — повторили батальоны эскорта, и все полки крикнули в один голос: «Да здравствует император!»

Александра, бледного, осунувшегося, пригласили выйти из кареты, и тут со всех сторон послышались приветственные возгласы; они свидетельствовали о том,

что, совершив преступление, заговорщики исполнили желание народа. И Александр понял, что, как бы ему ни хотелось этого, он бессилён наказать убийц отца.

На следующий день вдовствующая императрица, в свою очередь, присягнула своему сыну. По законам Российского государства она сама должна была наследовать трон после смерти мужа, но, поняв всю серьёзность положения, она отказалась от своих прав на престол в пользу сына.

Хирург Виллие и доктор Штофф, произведя вскрытие тела императора Павла, заявили, что он умер от апоплексического удара и что рана на его голове — результат ушиба при падении на пол.

Между тем заговорщики под разными предложениями были удалены от двора: одни получили отставку, другие были откомандированы в полки, несшие службу в Сибири. В Петербурге оставался один Пален, сохранивший за собой пост петербургского военного губернатора. Однако его присутствие было живым укором для молодого императора, и тот воспользовался первым удобным случаем, чтобы, в свою очередь, удалить его. Вот как это произошло.

Вскоре после смерти Павла некий священник объявил, что в церкви, где он был настоятелем, появилась неизвестно откуда чудотворная икона, внизу которой начертаны слова: «Господь покарает всех убийц Павла I». Узнав, что народ валом валит в эту церковь, Пален испросил у Александра I разрешение положить конец этим слухам. Допрошенный с пристрастием священник сказал, что он действовал по приказу императрицы-матери и в подтверждение своих слов сослался на такую же икону, находящуюся в её часовне.

Пален приказал отпереть часовню императрицы и, найдя там указанную икону, велел убрать её. Оскорблённая до глубины души императрица пожаловалась Александру, и тот ухватился за этот предлог, позволявший ему отделаться от Палена. Он тут же послал графу приказ немедленно покинуть столицу.

— Я ждал этого, — сказал, улыбаясь, Пален, — и мой багаж уже давно готов.

Час спустя граф Пален направил императору прошение об отставке и в тот же вечер отбыл в Ригу.

Меланхолия Александра беспрестанно увеличивалась. Пытаясь рассеяться, он очень много путешество-

вал. Было подсчитано, что он проехал в общей сложности по своей империи и по иноземным странам двести тысяч верст или пятьдесят тысяч лье. Во время одной из таких поездок он и скончался в Таганроге в возрасте сорока восьми лет.

Глава двенадцатая

Мы узнали печальную весть о кончине Александра I от графа Алексея Анненкова, который присутствовал на панихиде в Казанском соборе. Потому ли, что смерть Александра очень опечалила его или вследствие каких-либо других причин, граф казался расстроенным, возбужденным. Луизе и мне бросилось в глаза это столь необычное для него состояние.

В шестом часу вечера, когда он ушел к князю Трубецкому, мы с Луизой поделились своими опасениями.

Бедная моя соотечественница была очень встревожена мыслью о заговоре, о котором граф Алексей как-то проговорился ей. Много раз она наводила разговор на эту тему, но граф всякий раз отделялся шуткой, уверяя, что никакого заговора больше нет. Однако некоторые признаки, не ускользающие от взора любящей женщины, убедили ее, что заговор существует и что граф обманывает ее.

На следующий день Петербург проснулся в трауре. Император Александр был любим, и так как никто еще не знал об отказе от престола Константина, всех тревожил грубый, взбалмошный нрав великого князя. О Николае Павловиче, как о наследнике Александра, никто в то время не помышлял.

Хотя Николаю было известно о том, что Константин отказался от трона, он подумал, что брат мог изменить свое решение и написал письмо, в котором присягал ему в верности как императору и приглашал приехать в Петербург, чтобы занять принадлежащий ему трон. Но, в то время как Михаил Павлович вез это письмо в Варшаву, от Константина Павловича прибыл из Варшавы курьер с подтверждением его отказа.

Между тем Государственный совет известил Николая Павловича, что у него имеется письмо императора

Александра, которое император просил вскрыть после его смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле, государственный совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина от престола.

Этот вторичный отказ, повторенный почти через три года после первого, заставил великого князя Николая принять необходимое решение. Он издал манифест, в котором объявлял населению России, что вступает на императорский престол, переходящий к нему вследствие отказа старшего брата. На следующий день столица должна была присягнуть ему и старшему его сыну Александру.

Население Петербурга вздохнуло свободно, прочитав этот манифест: великий князь Константин слишком напоминал по характеру императора Павла и потому внушал сильное недоверие к себе. Зато на великого князя Николая, видимо, можно было положиться: это был человек холодный, суровый, с сильным, властным характером.

Между тем по городу поползли тревожные слухи. Говорили, что отречение Константина вынужденное и что он идет во главе армии на Петербург, дабы отвоевать трон у тех, кто насильственно хочет им завладеть. Передавали также, что офицеры многих полков, в том числе и Московского гвардейского, заявляли во всеулышание, что не станут присягать Николаю, ибо признают Константина единственным законным наследником престола.

Эти толки мне довелось слышать в нескольких домах, где я побывал этим вечером. Вернувшись домой, я нашел записку от Луизы, с просьбой заехать к ней в любой, даже самый поздний час. Я тут же отправился к Луизе и нашел ее чрезвычайно встревоженной. Граф Алексей был у нее, как обычно, и, несмотря на все старания, не мог скрыть бушевавшее его волнение. Луиза попыталась расспросить его: граф ни в чем не признался, но отвечал ей с той скорбной нежностью, которая прорывается у человека в роковые минуты жизни, что и подтвердило ее догадку: без всякого сомнения что-то неожиданное готовилось на завтра, и граф намеревался принять в этом участие.

Луиза вызвала меня с тем, чтобы я сходил к Алексею Анненкову. Она полагала, что со мной граф будет

откровеннее и, если разговор зайдет о заговоре, умоляла сделать все возможное, чтобы убедить графа отказаться от участия в нем. Я согласился выполнить это поручение; впрочем, я уже давно разделял ее опасения, да и, кроме того, чувствовал себя бесконечно обязанным графу.

Я не застал Анненкова дома; однако слуги прекрасно знали меня, и как только я выразил желание дождаться графа, меня тотчас же провели в его спальню. Оставшись один, я огляделся и сперва ничего подозрительного не обнаружил, но потом заметил на ночном столике два дуствольных пистолета: они были заряжены. Это ничтожное обстоятельство, на которое в других условиях я не обратил бы внимания, показалось мне в данную минуту весьма подозрительным и заставило призадуматься.

Я сел в кресло и приготовился ждать графа до тех пор, пока он не вернется. Часы пробили двенадцать, час, два. Беспокойство мое уступило место усталости, и я заснул.

Около четырех часов утра я проснулся. За столом сидел граф и писал. Пистолеты лежали около него. Он был очень бледен. Едва я пошевелился, как он повернулся ко мне лицом.

— Вы спали,— сказал он,— и мне не хотелось вас будить. Вы что-то желаете сказать мне, и я догадываюсь, что именно. Я написал письмо, и если завтра не вернусь домой, передайте его Луизе. Я думал послать это письмо завтра с моим камердинером, но предпочитаю передать его через вас.

— Стало быть,— заметил я,— мы не напрасно беспокоились. По-видимому, готовится какой-то заговор, и вы участвуете в нем?

— Тише,— сказал граф, с силой сжимая мне руку и оглядываясь по сторонам,— тише, одно неосторожное слово может погубить нас.

— О,— сказал я шепотом,— какое безумие!..

— Вы думаете, что я не знаю так же хорошо, как вы, что это безумие? Что я хоть немного надеюсь на успех? Нет! Я сознательно бросаюсь в пропасть, и даже чудо не может меня спасти. Единственное, что я могу сделать,— это закрыть глаза, чтобы не видеть глубины этой пропасти.

— Но зачем же вы по доброй воле бросаетесь в нее?

— Слишком поздно идти на попятный. Скажут, что я струсил. Я дал слово товарищам и последую за ними... хотя бы на эшафот.

— Но подумали ли вы об одном обстоятельстве, ваше сиятельство? — сказал я, сжимая его руку и глядя ему прямо в лицо. — Подумали ли вы о том, что это будет смертельным ударом для бедной Луизы?

Граф опустил голову, и на лицо его легла тень.

— Луиза будет жить, — проговорил он.

— О, вы ее не знаете! — отвечал я.

— Напротив, я говорю так, потому что знаю ее. Луиза не вправе умереть. Она должна жить для нашего ребенка.

— Бедная женщина! — вздохнул я, — я не знал, что несчастье ее так велико.

— Послушайте, — сказал граф, — я не знаю, что случится завтра или даже сегодня. Вот письмо для нее. Надеюсь, что все окончится лучше, чем мы думаем, и что весь этот шум рассеется, как дым, в котором не видно даже огня. Если действительно все обойдется, вы уничтожите письмо, в противном случае отдадите его Луизе. В этом письме я обращаюсь также к своей матери, прося ее относиться к Луизе, как к своей родной дочери. Я оставил бы ей все, что имею, но, понимаете, если я буду схвачен и осужден, то первым делом будет конфисковано все мое имущество; что касается наличных средств, у меня их почти нет: все до последнего рубля ушло на будущую республику, так что на этот счет я могу не беспокоиться. Обещаете ли вы исполнить мою просьбу?

— Клянусь вам.

— Благодарю. Теперь простимся. Постарайтесь, чтобы вас никто не заметил, когда вы будете выходить от меня, — это может вас скомпрометировать. — Право, не знаю, должен ли я оставить вас одного.

— Да, мой друг, это необходимо. Подумайте, как важно для Луизы иметь в случае несчастья поддержку в вашем лице. Вы и так уже, быть может, скомпрометировали себя из-за своих добрых отношений со мной, с Муравьевым и Трубецким. Будьте же благоразумны, если не для себя, то по крайней мере для меня — прошу вас от имени Луизы.

— Ради нее я готов на все.

— Прекрасно. До свидания. Я очень утомлен и должен хоть немного отдохнуть: день мне предстоит тяжелый.

— Ну, что ж, до свидания, если вы этого желаете...

— Я требую этого.

— Будьте осторожны.

— Осторожность здесь ни при чем. Я ни в чем не властен. Прощайте. Излишне предупреждать вас, что одно неосмотрительное слово — и мы все погибем.

— О, будьте спокойны!

Мы расцеловались.

Я ушел от него, не прибавив ничего больше, но в ту минуту, когда я намеревался затворить за собою дверь, до меня донеслись его слова:

— Поручаю вам Луизу.

Как я узнал впоследствии, участники заговора собрались в эту ночь у князя Оболенского. На этом собрании присутствовали все видные заговорщики, и было решено выступить открыто против Николая на следующий день — день принесения присяги. Существовал план посеять среди солдат сомнение в том, что Константин будто бы не отказался от престола, и взбунтовать их. Заговорщики рассчитывали на то, что Константин пользовался большой популярностью и даже любовью в армии.

Как только взбунтуется один из полков, имелось в виду отправиться с ним по казармам поднимать другие полки, а затем идти на Сенатскую площадь с барабанным боем, чтобы собрать побольше народа. Заговорщики надеялись, что при одной этой демонстрации Николай не пожелает применять силу, войдет с восставшими в переговоры и откажется от своих прав на престол. В таком случае ему собирались предложить следующие условия:

1. Собрать немедленно депутатов от всех губерний России.

2. Опубликовать от имени Сената манифест, согласно которому депутаты должны выработать новую форму правления.

3. В ожидании этого, избрать временное правительство, в котором примут также участие польские депутаты, дабы выработать меры, необходимые для сохранения единства государства.

В случае, если Николай, прежде чем принять эти условия, пожелает посоветоваться с Константином, он должен разрешить заговорщикам и восставшим полкам расположиться на зимние квартиры под Петербургом и дожидаться там приезда великого князя, которому и будет представлен проект конституции, составленный Никитой Муравьевым. Если Константин (по убеждению заговорщиков, это было маловероятно) осудит восстание, от него надлежит отвернуться, если же император со своей стороны откажется от всяких переговоров, следует арестовать его со всей императорской фамилией, а дальше действовать сообразно обстоятельствам.

При неудаче восстания заговорщики собирались покинуть столицу и постараться поднять народ.

Граф Анненков не принимал участия в спорах на длительном и бурном собрании, где это решение было принято большинством. Но даже не имея надежды на успех, граф считал делом чести не отставать от других.

Заговорщики возлагали особые надежды на князя Трубецкого, и после собрания один из них с восторгом обратился к Анненкову:

— Неправда ли, мы выбрали превосходного вождя?

— Да, — ответил граф, — он очень представительен.

Под впечатлением этих событий Алексей Анненков вернулся домой, где и застал меня.

Глава тринадцатая

То, что я рассказал Луизе, не могло ее успокоить. Я все еще надеялся, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство расстроит готовящийся заговор, и с этой мыслью отправился к себе, чтобы немного отдохнуть. Я так устал, что проснулся весьма поздно, тотчас же оделся и поспешил на Сенатскую площадь.

Заговорщики не теряли даром времени, и каждый из них уже был на своем посту, согласно указаниям Трубецкого, который распоряжался всем в военном отношении так же, как Рылеев — в политическом. Лейтенант Арбузов должен был поднять восстание среди матросов Гвардейского экипажа, а братья Бодиско и подпоручик Гудима — в Измайловском полку. Князь Щепин-Ростовский, капитан Михаил

Бестужев, брат его Александр и два других офицера, Брок и Волков, взяли на себя Московский полк. Что касается графа Анненкова, он не брал на себя никаких поручений, но обещал сделать все, что от него потребуют. Так как он слыл честным человеком и не требовал никакого поста в будущем правительстве, ничего большего от него не потребовали.

Я пробыл до одиннадцати часов не на Сенатской площади, — на улице было слишком холодно, — а в кондитерской, которая находилась в конце Невского рядом с домом банкира Серкле. Это был великолепный наблюдательный пост, так как окна кондитерской выходили на Адмиралтейскую площадь. В нее поминутно приходили посетители, от которых можно было узнать, что происходит в городе. Пока все обстояло, по-видимому, благополучно. Во дворец являлись генералы и адъютанты с донесениями, что Конногвардейский полк, кавалергарды, Преображенский и Семеновский полки, павловские гренадеры, гвардейский Стрелковый батальон, Финляндский лейб-гвардейский полк и саперы только что принесли присягу новому царю. От других воинских частей сведений еще не поступало, но, по всей вероятности, лишь потому, что их казармы были расположены на окраине.

Я уже собрался домой, понадеявшись, что день так и окончится и разговорщики, поняв безнадежность своих планов, ничего не предпримут, как вдруг мимо окон кондитерской промчался галопом какой-то адъютант. По-видимому, случилось нечто неожиданное. Мы выбежали на площадь. В воздухе чувствовалось то беспокойство, которое предшествует крупным событиям. И действительно, собравшиеся на площади войска шумели так сильно, что нельзя было даже приблизительно предсказать, чем все это кончится.

Князь Щепин-Ростовский и оба Муравьева выполнили взятые на себя поручения. В девять часов утра они прибыли в казармы Московского полка, и здесь князь Ростовский, вызвав вторую, третью, пятую и шестую роты, наиболее преданные, как известно, Константину, стал говорить, что их обманывают, заставляя присягнуть новому императору. Он добавил, что великий князь Константин не только не отказался от короны, но даже арестован за то, что не хочет уступить своих прав брату.

Вслед за тем взял слово Александр Бестужев. Он сказал, что прибыл из Варшавы и Константин лично поручил ему воспрепятствовать присяге. Заметив, какое огромное впечатление произвела эта новость на войска, князь Ростовский приказал солдатам зарядить ружья боевыми патронами.

В эту минуту в казармы прибыли генерал-майор Фредерикс и адъютант Веригин в сопровождении взвода grenадер и объявили офицерам полка, что те должны немедленно отправиться к своему командиру. Князь Ростовский решил, что настал момент действовать открыто. Обратившись к солдатам, он приказал им прогнать grenадеров ружейными прикладами и отнять у них знамя. В то же время он бросился на генерал-майора Фредерикса и повалил его ударом шпаги. Обернувшись, он увидел, что бригадный командир генерал-майор Шеншин спешит на помощь Фредериксу, и тоже сбил его с ног.

После этого он кинулся с несколькими солдатами на grenадер, ранил полковника Хвошинского, подпрапорщика Моисеева и рядового Красовского, вырвал у них из рук знамя и развернул его с криком «ура». На этот крик большая часть солдат отвечала криками: «Да здравствует Константин! Долой Николая!». И князь Ростовский, воспользовавшись этим, повел их с барабанным боем на Адмиралтейскую площадь.

Адъютант, принесший это известие в Зимний дворец, столкнулся там с офицером, только что прискакавшим из казарм Grenадерского полка, который принес столь же тревожную новость. В тот момент, когда полк вышел из казарм, чтобы принести присягу, перед ним выступил подпоручик Кожевников:

— Мы должны принести присягу не великому князю Николаю, а императору Константину!

Когда же кто-то возразил ему, что Константин отказался от престола, он закричал:

— Неправда! Ложь! Великий князь едет в Петербург, чтобы наказать тех, кто забыл свой долг, и вознаградить тех, кто остался ему верен.

Однако, несмотря на это происшествие, полк все-таки присягнул Николаю и спокойно вернулся в казармы. Во время обеда корнет Сутгоф, присягнувший вместе со всеми, обратился к солдатам:

— Ребята, мы неправильно поступили, присягнув Николаю. Прочие полки возмутились и отказались присягать ему. Они теперь на Сенатской площади. Одевайтесь, зарядите ружья и следуйте за мной. Ваше жалованье у меня в кармане, и я раздам его, не дожидаясь приказа.

— Кто это сказал? — слышались голоса. — Верно ли это?

— Спросите корнета Панова. Он ваш друг, как и я.

— Вот что, ребята, — сказал Панов, не дожидаясь, чтобы к нему обратились, — ваш единственный законный император — Константин. Его хотят насильственно лишить престола. Да здравствует император Константин!

— Да здравствует Константин! — закричали солдаты.

— Да здравствует император Николай! — воскликнул полковник Стюрлер, вбегая в залу. — Не верьте им: Константин отказался, и ваш император — Николай. Да здравствует Николай!

— Да здравствует Константин! — орали солдаты.

— Вас обманывают, солдаты, вас сбивают с пути! — снова крикнул полковник Стюрлер.

— За мной, ребята, — кричал Панов, — на площадь, на защиту Константина! Да здравствует Константин!

— Да здравствует Константин! — кричали солдаты.

— К сенату, — крикнул Панов, обнажая шпагу, — за мной, ребята!

За ним устремилось человек двести солдат с криками «ура».

В то время, как об этих событиях докладывали Николаю, во дворец прибыл граф Милорадович, военный губернатор Петербурга. Он знал уже о возмущении Московского полка и других полков и приказал войскам, на которые мог положиться, немедленно идти к Зимнему дворцу. Это были первый батальон Преображенского полка, три гвардейских Павловских полка и гвардейский батальон саперов.

Николай увидел, что дело принимает более серьезный оборот, чем ему показалось вначале. Вызвав генерал-майора Нейдгарта, он велел ему передать гвардейскому Семеновскому полку, чтобы тот расправился с мятежниками. Затем, обратившись к Финлян-

дскому полку, стоявшему перед Зимним, он приказал солдатам зарядить ружья и охранять дворцовые входы и выходы.

В эту минуту на площади послышался сильный шум: это прибыли с барабанным боем и развевающимся знаменем третья и шестая роты Московского полка под предводительством князя Щепина-Ростовского и обоих Бестужевых. «Долой Николая, да здравствует Константин!» — кричали солдаты, и роты выстроились спиной к сенату. Вскоре вслед за ними прибыли гренадеры, среди которых было несколько штатских, вооруженных пистолетами.

В ту же минуту я увидел Николая, он вышел из Зимнего дворца и приблизился к его ограде. Он был бледнее обычного, но держался спокойно. Рассказывали, что перед тем как выйти из дворца, он попрощался с семьей.

Вдруг позади меня раздался конский топот, и со стороны Мраморного дворца показался эскадрон кирасир во главе с князем Орловым, одним из храбрейших и преданнейших друзей Николая. Перед ним ворота сразу отворились, он соскочил на землю и подошел с докладом к Николаю, в то время как его люди выстраивались перед Зимним дворцом. Опять загремел барабан: это приближались оставшиеся верными Николаю батальоны Преображенского полка. Они также выстроились во дворе Зимнего дворца. Вслед за ними показались кавалергарды, среди которых я узнал Алексея Анненкова. Кавалергарды стали под углом к кирасирам, а образовавшийся между ними промежуток сразу же заняла артиллерия. Мятежники спокойно наблюдали за прибывающими воинскими частями и только от времени до времени повторяли: «Да здравствует Константин, долой Николая!». Они, очевидно, ждали подкрепления.

Между тем великий князь Михаил то и дело присылал в Зимний дворец гонцов с донесениями. В то время как Николай был занят обороной дворца, Михаил объезжал казармы, стараясь успокоить волновавшиеся полки. Кое-где ему удалось достигнуть этого. В тот момент, когда остатки Московского полка хотели последовать за двумя восставшими ротами, капитан пятой роты, граф Ливен, брат одного из моих учеников, приказал закрыть двери казармы.

Затем, встав перед солдатами, он вынул шпагу и крикнул, что убьет всякого, кто попытается выйти из казарм. При этой угрозе какой-то подпоручик подскочил к Ливену с пистолетом в руках, но граф ударом шпаги выбил из его рук оружие. Подпоручик снова поднял пистолет и прицелился в графа. Последний, скрестив руки на груди, сделал несколько шагов по направлению к нему. Все замерли, ожидая, чем окончится эта странная дуэль.

Подпоручик выстрелил. По счастью, пистолет дал осечку. В эту минуту кто-то постучал в дверь.

— Кто там? — крикнуло несколько голосов.

— Его императорское высочество, великий князь Михаил Павлович, — ответили снаружи.

Эти слова вызвали сильное замешательство среди недовольных. Граф Ливен открыл дверь. Никто его не остановил.

Михаил вошел в сопровождении нескольких офицеров.

— Почему вы бездействуете в минуту опасности?! — воскликнул он. — Кто вы, честные солдаты или изменники?

— Ваше высочество, — ответил Ливен, — вы находитесь среди наиболее преданных вам людей, и вы незамедлительно убедитесь в этом.

И, подняв шпагу, он крикнул:

— Да здравствует император Николай!

— Ура, да здравствует император Николай! — в один голос ответили солдаты.

Подпоручик попытался что-то сказать, но Ливен схватил его за руку и шепнул:

— Молчите, я ни слова не скажу о том, что только что произошло между нами. Не губите себя!

— Ливен, — проговорил великий князь, — я поручаю этих людей вам.

— Отвечаю за них головой, ваше высочество, — ответил граф.

Вскоре на площади появился митрополит в окружении духовенства. Они несли хоругви. Подойдя к мятежникам, митрополит призвал их не нарушать своего долга и присягнуть Николаю. Солдаты стали кричать священникам, чтобы те не подходили и не вмешивались не в свое дело: их дело — молиться, а не заниматься



земными делами. Митрополит хотел продолжать свои увещевания, но Николай приказал ему удалиться.

Николай подозвал старого генерала Милорадовича, героя Отечественной войны:

— Милорадович, ступай и поговори с ними.

Генерал Милорадович и великий князь Михаил поскакали к мятежникам, но их встретили выстрелами и криками: «Да здравствует Константин!»

— Ребята! — закричал Милорадович, поднимая над головой великолепную турецкую шпагу, осыпанную бриллиантами. — Видите эту шпагу, она подарена мне великим князем Константином. Честью заверяю вас и клянусь этой шпагой, что вы обмануты: Константин отказался от престола, и единственный законный император — Николай Павлович!

«Ура» и крики «да здравствует Константин!» были ответом на эти слова. В то же время раздался пистолетный выстрел, и Милорадович закачался в седле. Другой пистолет был нацелен на великого князя Михаила, но какой-то матрос из числа заговорщиков отвел руку стрелявшего, и Михаил остался невредим.

Князь Орлов и его кирасиры мгновенно окружили Милорадовича и великого князя и оттеснили их к Зимнему дворцу. Милорадович с трудом держался в седле и, едва въехав во двор Зимнего дворца, упал на руки подхвативших его людей.

Великий князь Михаил тут же соскочил с коня, подбежал к артиллеристам и, выхватив банник из рук канонира, поднес фитиль к запалу.

— Стрелять в изменников! Стрелять в них! — крикнул он.

Раздались четыре пушечных выстрела, и за ними последовал такой же залп. Более шестидесяти человек упали, остальные бросились врассыпную по Галерной улице, Английскому проспекту, Исаакиевскому мосту и по замерзшей Неве. Кавалергарды пришпорили коней и понеслись вдогонку, за исключением одного человека. Соскочив с коня, он подошел к графу Орлову и отдал ему свою шпагу.

— Что это значит, граф, — спросил удивленно генерал, — и почему вы отдаете мне шпагу, вместо того, чтобы обратить ее против изменников?

— Потому что я принимал участие в заговоре и рано или поздно буду разоблачен и арестован. Предпочитаю сам прийти с повинной.

Это был граф Алексей Анненков.

— Арестуйте графа Алексея Анненкова,— сказал генерал, обращаясь к двум кирасирам,— и отведите его в крепость.— Его отвели в крепость вместе с другими.

Первая моя мысль была о Луизе: ведь теперь я был ее единственным другом. И я поспешил к ней. Видя меня печальным и бледным, моя несчастная соотечественница сразу поняла, что случилась беда. И едва я переступил порог, как она подошла ко мне, с мольбою сложив руки.

— Что такое, ради бога, что случилось? — спросила она.

Я рассказал ей все, чему был свидетелем, и вручил ей письмо графа Алексея.

Как я и предполагал, это было прощальное письмо.

Генерал Милорадович скончался в тот же вечер от полученной раны.

На следующее утро, часов около девяти, когда город еще только просыпался и никто не знал, подавлено или нет восстание, Николай сел с супругой в карету, ожидавшую у подъезда Зимнего дворца, и поехал по улицам столицы, желая видеть, что происходит в городе. Везде было тихо. На Невском он заметил женщину, которая при его приближении стала на колени с какой-то бумагой в руках.

Кучер остановил лошадей, тогда женщина, обессиленная, вся в слезах, протянула царю бумагу. Николай хотел было ехать дальше, но императрица удержала его, взяла бумагу, на которой было несколько наскоро написанных слов:

«Ваше величество, во имя всего самого святого для вас, пощадите графа Анненкова».

Под этими словами не было никакой подписи. Повернувшись лицом к незнакомой женщине, Николай спросил:

— Вы кто? Его сестра?

Просительница отрицательно покачала головой.

— Жена?

Она опять покачала головой.

— Так кто же вы, наконец? — спросил Николай с раздражением в голосе.

— Ваше величество,— с трудом произнесла Луиза,— через несколько месяцев я буду матерью его ребенка.

Глава четырнадцатая

В последующие дни власти были заняты уничтожением следов грозного восстания...

Вечером и в ту же ночь были арестованы главные заговорщики: князь Трубецкой, Рылеев, князь Оболенский, капитан Якубович, лейтенант Каховский, капитан 2 ранга Щепин-Ростовский, оба Бестужевых, один из которых состоял адъютантом герцога Вюртембергского, затем человек шестьдесят — восемьдесят заговорщиков, среди них Анненков, который сдался по доброй воле, и полковник Булатов, последовавший его примеру.

Пестель был арестован в одном из южных городов в тот самый день, когда в Петербурге вспыхнуло восстание.

Что касается братьев Муравьевых-Апостол, которым удалось взбунтовать шесть рот Черниговского полка, они были схвачены возле небольшого селения Васильковского уезда генерал-лейтенантом Ротом. После отчаянного сопротивления один из них пытался застрелиться, но неудачно, а другой был тяжело ранен осколком снаряда и ударом шпаги по голове.

Где бы ни были арестованы заговорщики, всех их переслали в Петербург. Здесь была образована следственная комиссия, состоявшая из военного министра Татищева, великого князя Михаила, князя Голицына, петербургского военного губернатора Голенищева-Кутузова, назначенного вместо скончавшегося Милорадовича, Чернышева, Бенкендорфа, Левашева и Потапова. Они должны были расследовать заговор и выяснить степень вины каждого из его участников.

Согласно порядку, заведенному в Санкт-Петербурге, следствие велось втихомолку, и в городе о нем ничего не было известно. И странное дело: после правительственного сообщения об аресте заговорщиков о них в обществе перестали говорить, словно их никогда не было, словно у них не осталось ни родных, ни друзей. Жизнь шла своим чередом, будто ничего особенного не произошло.

И однако, уверен в этом, все с трепетом ждали, что не сегодня — завтра грянет, как гром среди ясного неба, некая страшная весть, ибо не подлежали сомнению ни пагубные намерения заговорщиков, ни наличие самого заговора. Луиза глубоко страдала, не зная, чем кончатся следствие и суд над Анненковым. И хотя я всячески старался внушить ей надежду, которой не было у меня самого, горе моей соотечественницы очень пугало меня. Со дня ареста Анненкова она перестала чем-либо заниматься, сидела неподвижно в комнатке позади магазина, уронив голову на руки, и безмолвно плакала. Когда в ее уединенную обитель приходил кто-нибудь из редких друзей, она неизменно обращалась к нему с таким вопросом:

— Скажите, они не убьют его?

И, не слушая ответа, повторяла:

— Ах, если бы я не была беременна!

Время шло, и никто по-прежнему не знал, какая участь грозит арестованным. Следственная комиссия, как мы уже говорили, работала в тайне, но чувствовалось, что дело близится к кровавой развязке.

Два происшествия, случившиеся в Петербурге, на время отвлекли горожан от декабрьского восстания, а именно: чрезвычайная французская депутация во главе с герцогом Рагузским и прибытие тела Елизаветы Алексеевны.

Депутация приехала в первых числах мая, а гроб с телом императрицы был привезен в середине июня. О приезде депутации мне сообщил письмом один из моих прежних учеников, а о прибытии останков государыни жители столицы были оповещены пушечными выстрелами. Мысли мои были всецело заняты Луизой и графом. Поэтому пушечные выстрелы показались мне страшными вестниками нависшей над нами угрозы. Я выскочил на улицу и увидел, что народ бежит к Неве. Я поспешил вслед за всеми, спрашивая у окружающих, в чем дело.

На набережной было столько народа, что, оставаясь там, я ничего бы не увидел. Поэтому я нанял лодку и наблюдал из нее, как траурный кортеж вступил на плашкоутный мост, соединяющий Марсово поле с Петропавловской крепостью.

Кортеж проходил по мосту целых полтора часа — так медленно он двигался и так далеко растянулся.

Затем процессия направилась к крепости, куда за ней поспешила и вся толпа. Вернувшись, я нашел Луизу в смятении. Подобно мне, она ничего не знала о готовящейся печальной церемонии — отпевании и похоронах покойной императрицы — и безумно испугалась, когда раздались пушечные выстрелы и звон колоколов, решив, что это сигнал к началу казни.

Генерал Горголи, по-прежнему благосклонно относившийся ко мне, часто успокаивал меня, уверяя, что решение следственной комиссии станет заблаговременно известно населению и что в случае, если Аниенков будет приговорен к смертной казни, мы успеем принять необходимые меры по его спасению. И, действительно, 14 июля в местных газетах появилось сообщение следственной комиссии; сообразно своей виновности участники заговора были разделены на три категории и обвинены в стремлении ниспровергнуть государственный строй и существующий порядок.

Верховный суд приговорил к смерти 36 человек, а остальных — к ссылке. Анненков был в числе приговоренных к смерти. Но тридцать одному из них смертная казнь была заменена ссылкой на вечное поселение, в их числе был и Анненков.

К казни были приговорены: Рылеев, Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Пестель и Каховский.

Я выскочил, как сумасшедший, на улицу с газетой в руках, готовый в своей радости поделиться ею со всеми встречными, и, задыхаясь от спешки, прибежал к Луизе. Она читала ту же газету и, увидев меня, в слезах бросилась мне на шею.

— Слава богу, спасен! — только и могла проговорить она.

В своем эгоизме мы забыли о тех, кто готовился к смерти, а ведь и у них тоже были родные, друзья, знакомые. Первым же побуждением Луизы было сообщить радостную весть матери и сестрам Анненкова. Несчастные женщины еще не знали, что их любимец избавлен от грозившей ему смерти. Из Сибири, с каторги возвращаются, но могильная плита никогда не поднимается.

Луизе пришла в голову мысль, которая может прийти только матери или сестре: она подсчитала, что

петербургские газеты будут отправлены в Москву только вечером, а если их послать с нарочным, можно выгадать 12 часов. Поэтому она спросила меня, не знаю ли я человека, который согласился бы немедленно отправиться в Москву. У меня был русский камердинер, человек толковый и надежный. Я предложил его Луизе в качестве посланца, и она с радостью согласилась. Остановка была только за подорожной, но благодаря покровительству дружественного мне генерала Горголи я ее получил через полчаса, и человек мой тут же выехал в Москву, получив тысячу рублей на путевые издержки.

Он опередил на четырнадцать часов официального курьера, и мать и сестры Анненкова узнали четырнадцатью часами раньше, что сын и брат их спасен.

Камердинер мой по имени Григорий вернулся из Москвы с восторженным ответом семьи Анненкова. Старая графиня называла в нем Луизу своей дочерью, а молодые девушки — сестрой, умоляя сообщить им день, когда осужденные будут увезены из Петербурга. Я сказал Григорию, чтобы он готовился снова отправиться в Москву, и очень обрадовал его этим. Такие поездки были для него весьма прибыльны: в прошлый раз мать Анненкова пожаловала ему тысячу рублей.

Мы ждали дня казни, но он еще не был назначен, и, следовательно, никто ничего не знал. Петербург просыпался каждое утро с мыслью о том, что все уже кончено с пятью обреченными. А многие надеялись, что их помилуют, так как уже более шестидесяти лет в Петербурге не было ни одной смертной казни.

Дни шли своим чередом, и население напряженно ожидало решения Николая. Как оказалось, задержка была вызвана тем, что не прибыл палач, выписанный из Германии.

Наконец, 23 июля вечером ко мне пришел молодой француз, служащий французского посольства, которого я просил держать меня в курсе событий. Он сообщил, что казнь состоится на следующий день в 4 часа утра.

Я поспешил к Луизе, чтобы сообщить ей эту новость, и у нее снова начались страхи за судьбу Анненкова. Быть может, его имя случайно попало в список приговоренных к ссылке, а на самом деле его казнят? Быть может, слух о смягчении наказания виновным распространили нарочно, чтобы предстоящая казнь не

так взволновала население? Быть может, завтра же столица с ужасом увидит тридцать шесть трупов вместо пяти? Мнительная, как и все любящие женщины, Луиза беспрестанно изводила себя различными мрачными предположениями. А я всячески старался ее успокоить, так как знал от моего знакомого француза, что казнены будут лишь пять человек.

Я на время оставил Луизу, чтобы взглянуть на крепость и на приготовления к завтрашней казни, но увидел только членов трибунала, вышедших из крепости. Этого, однако, было достаточно: я понял, что обвинительный приговор уже сообщен осужденным и завтра утром казнь непременно состоится.

Мы тотчас же послали моего Григория в Москву с новым письмом Луизы к матери Анненкова. Таким образом на этот раз мы выгадали целых 24 часа.

Около полуночи Луиза попросила меня провести ее поближе к крепости: она хотела видеть хоть стены, в которых был заключен любимый ею человек.

Троицкий мост охранялся войсками, и по нему никого не пускали. Это служило лишним доказательством, что и в самом деле что-то готовилось на завтра. Мы смотрели на противоположный берег Невы, на суровые стены крепости, которые ясно вырисовывались в прозрачном сумраке северной ночи.

Кроме нас, на набережной никого не было. Мимо мчались запоздалые экипажи со светящимися фонарями, напоминавшими глаза дракона. По Неве тихо скользили лодки, и одна за другой уплывали куда-то. Только одна лодка стояла неподвижно, словно была на якоре, но и оттуда не доносилось ни единого звука. Быть может, в ней находилась жена, мать или сестра одного из мучеников, приговоренных к смерти, которые, подобно нам, ждали чего-то.

В два часа проходивший патруль велел нам уйти.

Мы вернулись к Луизе. До казни оставалось недолго: как я уже говорил, она была назначена на четыре часа. Я пробыл часа полтора у Луизы и снова вышел.

На улицах было пустынно. Я встретил лишь нескольких крестьян, по-видимому, ничего не знавших о том, что готовится в городе. Близился рассвет. Над рекой стоял легкий туман, застилавший противоположный берег.

На набережной теснились какие-то люди, но не потому, что их интересовала готовящаяся казнь — они попросту не могли попасть к себе домой, так как мост был занят войсками. Люди эти были взволнованы и тихо переговаривались между собой, не зная, опасно или нет оставаться возле моста. Что до меня, я решил ждать, пока меня не прогонят.

За несколько минут до четырех часов возле крепости вспыхнул большой костер, привлекая мое внимание. Туман стал рассеиваться, и я увидел на фоне неба силуэты пяти виселиц. Сразу же после этого вывели приговоренных к ссылке. Все они были в парадной форме, при орденах. Солдаты несли за ними шпаги. Затем были приведены пять смертников в серых балахонах с белыми капюшонами. Им разрешили поцеловать друг друга.

К осужденным на смерть приблизился палач, накинул капюшоны им на голову и надел на шею веревку.

В эту минуту часы в крепости пробили четыре раза.

Еще не замолкли куранты, как из-под ног у осужденных была выбита доска, на которой они стояли. Вслед за этим раздался какой-то грохот. Солдаты подбежали к эшафоту, слышались неясные крики, и мне почудилось, что вспыхнул бунт.

Оказалось, что веревки, на которых висели двое повешенных, оборвались, и они свалились в открывшиеся при этом люки, один сломал себе бедро, а другой — руку. Это и было причиной того шума, который донесся до нас.

Упавших подняли и положили на помост, так как они не могли держаться на ногах. Один из них сказал другому:

— Несчастливая Россия: повесить и то не умеют!

Послали за новыми веревками, сделали новые петли и собрались опять накинуть их на смертников. В эту минуту они громко крикнули:

— Да здравствует Россия, да здравствует свобода! За нас отомстят!

Этот грозный крик замер без всякого отклика, натолкнувшись на стену молчания. Люди, возгласившие свободу России, опередили свой век на целое столетие!

Настала очередь приговоренных к ссылке. Им прочитали приговор, по которому они лишались чинов, орденов и имущества. Затем с них сорвали эполеты и все ордена, которые палач бросил в огонь, и над головой каждого из них сломали его шпагу.

После этого их отвели обратно в каземат. Место казни опустело. Остались только часовые.

Я вернулся к Луизе и увидел ее на коленях: она молилась и плакала.

— Ну, что? — спросила она меня.

— Что ж, — сказал я, — те, кто должен был умереть, — умерли, те, кто должен жить, — будут жить.

Луиза задумалась.

— Не знаете ли, — спросила она меня, — сколько отсюда до Тобольска?

— Почти 800 лье, — ответил я.

— Это меньше, чем я думала, — сказала она.

Я внимательно посмотрел на нее, догадываясь, о чем она думает.

— Почему вы меня спрашиваете об этом? — спросил я.

— Разве вы не догадались?

— Но подумайте, Луиза, о своем положении.

— Друг мой, — молвила она, — успокойтесь. Я знаю обязанности матери по отношению к ребенку, но знаю также свои обязанности по отношению к отцу этого ребенка...

Я склонился перед этой самоотверженной женщиной и с благоговением поцеловал ее руку.

Той же ночью ссыльных отправили в Сибирь и виселицу разобрали. На рассвете не оставалось уже никаких следов происшедшего, так что обыватели могли подумать, будто все это пригрезилось им во сне.

Глава пятнадцатая

Мать Анненкова и его сестры хотели заранее знать дату отправки осужденных в Сибирь: путь из Санкт-Петербурга в Тобольск проходил через Ярославль — город, находящийся в каких-нибудь 60-и лье от Москвы, и женщины надеялись, что им удастся свидеться там с Алексеем.

Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма радушно принят Анненковыми: они уже две недели готовились к путешествию и успели запастись подорожными. Как только Григорий сообщил им о дне высылки, они, не теряя ни минуты, отправились в Ярославль.

В России путешествуют очень быстро: выехав утром из Москвы, Анненковы на другой день прибыли в Ярославль, где с великой радостью узнали, что осужденных еще не провозили. Боясь, что их пребывание в этом городе может показаться подозрительным, графиня уехала с дочерьми в небольшую деревню вблизи Ярославля и наняла людей, которые должны были заранее уведомить ее о приближении партии ссыльных: пересыльный пункт находился в трех верстах от этой деревеньки.

Прошло два дня, и графине донесли, что партия, состоящая из пяти возков, приближается к пересыльному пункту и что начальник конвоя послал подчиненных в деревню за лошадьми. Графиня тотчас же села в свой экипаж и выехала навстречу этой партии. Когда прибыли ссыльные, она убедилась, что сына ее среди них нет.

Несколько часов спустя графине дали знать, что приближается вторая партия, но и в ней Алексея Анненкова не оказалось.

Как ни желала графиня поскорее увидеть сына, ей хотелось в то же время, чтобы он приехал как можно позже: чем позже он приедет, тем меньше будет шансов получить лошадей и тем дольше, стало быть, партия задержится на этом пересыльном пункте.

Обстоятельства сложились именно так, как того желала графиня: первые три партии в самом деле забрали всех лошадей. Наконец она узнала, что приближается четвертая партия.

Анненков находился в третьем возке этой партии. Несмотря на наступившие сумерки и на одежду, изменившую Алексея, женщины тотчас же узнали его. Вместе с другими ссыльными Анненков был отведен в избу, чтобы дожидаться там свежих лошадей.

Начальник конвоя тотчас же отрядил двух солдат за лошадьми, приказав им обследовать все окрестности, если в деревне лошадей не найдется. Конвойные

повиновались, а он стал прогуливаться перед избой, где находились ссыльные. К нему приблизились три женщины, словно три тени, возникшие из ночного мрака. Начальник остановился, с недоумением глядя на них.

Обратилась к нему старая графиня, а две дочери ее остались позади.

— Я мать одного из несчастных, находящихся в этой партии,— сказала она.

— Что вам угодно? — спросил унтер-офицер.

— Я хочу видеть сына.

— Это невозможно. Мне дан строжайший приказ никого не допускать к ссыльным, и я за это отвечаю головой.

— Но ведь никто не узнает об этом,— сказала графиня со слезами в голосе.

Обе дочери, подойдя к ней, также стали умолять офицера.

— Нет,— это невозможно! — повторил он.

— Матушка,— закричал в эту минуту Анненков, появляясь в дверях избы,— матушка, я узнал ваш голос!

И он бросился в объятия старухи.

Начальник сделал движение, чтобы остановить его, но обе девушки повисли у него на руках.

— Взгляните,— шептали они,— взгляните на них!

Унтер-офицер хотел что-то сказать, но вздохнул и отвернулся. Оторвавшись от сына, старая графиня подошла к начальнику конвоя и, схватив его руку, поцеловала ее.

— Пусть бог вознаградит вас за то, что вы сделали для бедной матери! — проговорила она.

— Нам придется здесь прождать еще не менее получаса, пока приведут лошадей,— сказал унтер-офицер.— Зайти в избу вы не можете, так как вас увидят ссыльные. Оставаться здесь вам тоже нельзя, потому что могут вернуться солдаты. Садитесь все четверо в вашу карету и спустите шторы.

Анненковы последовали доброму совету и целый час провели вместе, то смеясь, то плача, так как они знали, что расстаются навек. Мать и сестры рассказывали Алексею, как они узнали на 12 часов раньше о приговоре над ним и на 24 часа раньше о дне его отправления в ссылку.

Через час, пролетевший как мгновение, унтер-офицер открыл дверцу кареты:

— Сейчас будут лошади. Пора расстаться!

— О, еще несколько минут! — взмолились женщины.

— Ни одной секунды, — решительно повторил он, — иначе вы погубите меня!

Мать и сестры стали прощаться с Алексеем. Сцена эта была столь драматична, что унтер-офицер поневоле был тронут.

— Если вы желаете, — сказал он, — опять увидеть его, то поезжайте вслед за партией до ближайшей остановки. Мы станем перепрягать там лошадей, и у вас опять будет почти целый час. А мне все равно отвечать что за один раз, что за два.

— О, нет! вам ничего не будет! — в один голос воскликнули женщины. — Напротив, господь бог вознаградит вас.

— Гм! гм! — с сомнением пробормотал унтер-офицер.

Женщины тут же послали за лошадьми и все же ждать пришлось долго. Тысячи мыслей, тысячи опасений приходили им в голову. То им казалось, что унтер-офицер раздумает, то они опасались, что не успеют нагнать партию. Наконец им привели лошадей, и они поспешили выехать.

На следующем пересыльном пункте повторилась та же сцена. Пока конвойные искали лошадей, прошло не менее трех четвертей часа, в течение которых мать и сестры могли побыть с Алексеем. Но и здесь пришлось расстаться. Старая графиня сняла с пальца кольцо и отдала его сыну. Она в последний раз обняла его, в последний раз Алексей расцеловался с ней и с сестрами.

Вернувшись в Москву, графиня нашла у себя дома Григория, которому, уезжая, наказала ждать ее, и передала ему записку Алексея для Лунзы. В ней было всего несколько строк:

«Я не ошибся в тебе: ты ангел. Единственное, что я могу сделать ради тебя на этом свете — это любить тебя как жену и поклоняться тебе как святой. Береги нашего ребенка. Прощай.»

А л е к с е й .

К этой записке было приложено письмо графини, в котором она приглашала Луизу в Москву и обещала ждать ее, как ждет мать любимую дочь.

При чтении этих строк Луиза печально покачала головой.

— Нет,— сказала она, улыбаясь своей печальной улыбкой,— в Москву я не поеду... мое место не там!

Глава шестнадцатая

Начиная с этого момента, Луиза стала упорно осуществлять свой замысел — уехать к графу Алексею в Тобольск.

Как я уже сказал, она была на седьмом месяце беременности и хотела отправиться в путь тотчас же после родов.

Луиза превратила в деньги все, что имела: магазин, мебель, драгоценности. Покупателям было известно, в какой крайности она находится, а потому ей пришлось распродать вещи за бесценок. Тем не менее, она собрала почти 30 000 рублей и, оставив свою квартиру на Невском, перебралась в маленькое помещение на Мойке.

Со своей стороны, я обратился к генералу Горголи, моему постоянному покровителю, который обещал мне испросить у императора разрешение на выезд Луизы в Тобольск. Слух о ее плане во что бы то ни стало соединиться с любимым человеком распространился по Петербургу; все удивлялись преданности молодой француженки, но предсказывали, что, когда наступит решающий момент, у нее не хватит мужества уехать. Один я был уверен, что Луиза выполнит свое намерение,— я хорошо знал ее.

Впрочем, я был ее единственным другом, даже больше,— я был ее братом. Все свободные минуты я проводил с нею, и говорили мы только о графе Алексее.

Я не раз пытался доказать ей все безрассудство ее намерения, но она отвечала мне со своей печальной улыбкой:

— Вы прекрасно понимаете, что я должна последовать за ним, и не только потому, что люблю его, но также из чувства долга. Я считаю себя виновной в том, что он

принял участие в этом заговоре. Кто знает, если бы я отвечала на его письма, у него, быть может, не развилось бы такое отвращение к жизни. Если бы я призналась на полгода раньше, что люблю его, я уверена, он не был бы теперь сослан. Вы сами видите, что я также виновна, как он, и по справедливости должна разделить его участь.

Зная в глубине души, что на ее месте я поступил бы точно так же, я ответил ей:

— Ну что ж, поезжайте, и да свершится воля господня.

В первых числах сентября Луиза разрешилась от бремени мальчиком.

— В глазах света, — сказала она, — у моего ребенка нет ни имени, ни семьи. Если мать Алексея захочет, я отдам ей сына, так как не могу взять его с собой в такой далекий путь, но сама навязывать его, конечно, не стану.

И она позвала кормилицу, чтобы поцеловать ребенка и показать мне, как он похож на своего отца.

То, что должно было случиться, — случилось. Мать Анненкова, узнав о рождении ребенка, написала Луизе, что ждет ее с сыном к себе. Если до сих пор Луиза все еще колебалась, то это письмо уничтожило все ее сомнения. Ее тревожила лишь участь ребенка; теперь же она могла ехать незамедлительно.

Однако, как ни мечтала Луиза поскорее отправиться в путь, беременность и особенно пережитые волнения так расстроили ее здоровье, что она с трудом оправлялась после родов. Я посоветовался с ее врачом, который сказал мне, что она слишком слаба для такого длительного путешествия. Все это несколько не помешало бы ей тотчас уехать из Петербурга, но остановка была за разрешением, которое я должен был выхлопотать через посредство Горголи.

Однажды рано утром кто-то постучал в мою дверь, и я услышал голос Луизы. Я подумал, что с ней приключилось новое несчастье. Наскоро одевшись, я открыл дверь и был поражен видом Луизы: она сияла от радости.

— Он спасен, — воскликнула она, — спасен!

— Кто? — спросил я.

— Он, он, Алексей!

— Каким образом?

— Читайте!

И она протянула мне письмо графа. Я посмотрел на нее с удивлением.

— Прочтите это письмо,— сказала она, упав в кресло под влиянием обуревавшей ее радости.

Я прочитал:

«Дорогая Луиза!»

Человеку, который отдаст тебе это письмо, ты можешь довериться так же, как и мне: это мой лучший друг, мой спаситель.

Я заболел в дороге, и меня пришлось оставить в Перми. Случаю было угодно, чтобы в брате смотрителя здешней тюрьмы я узнал старого слугу нашей семьи. Благодаря его стараниям тюремный врач признал меня больным и не разрешил ехать дальше. И вот мне было позволено провести всю зиму в здешнем остроге, откуда я пишу тебе это письмо.

Все готово к моему бегству. Смотритель тюрьмы и брат его убегут вместе со мною, и я должен, конечно, вознаградить их за то, что они потеряют из-за меня, а также за ту опасность, которой подвергнутся. Отдай, пожалуйста, подателю сего все деньги, какие у тебя найдутся, а также все драгоценности.

Я знаю, как сильно ты меня любишь, и надеюсь, что ты не задумаешься сделать все возможное ради моего спасения.

Как только я буду в безопасности, я вызову тебя, и ты приедешь ко мне.

Граф Анненков».

— Ну и что же? — спросил я, пробежав письмо еще раз.

— Как, что же? — удивилась она.— Разве вы не видите?

— Да, он предполагает бежать.

Я уверена, что это ему удастся.

— И что же вы сделали?

— И вы еще спрашиваете?!

— Неужели,— вскричал я,— вы отдали неизвестному человеку...

— Все, что у меня было. Ведь Алексей пишет, чтобы я доверилась его другу, как ему самому.

— А вы уверены,— медленно проговорил я,— что это письмо от Алексея?

В свою очередь она с изумлением посмотрела на меня.

— От кого же, как не от него?

— Ну, а если этот человек... я не могу этого утверждать, но у меня такое тяжелое предчувствие...

— Какое? — спросила Луиза, бледнея.

— А что если этот человек — мошенник, подделавший почерк графа?

Луиза вскрикнула и вырвала у меня из рук письмо.

— О, нет, нет! — воскликнула она, как бы стараясь успокоить самое себя.— Нет! Я прекрасно знаю почерк Алексея и не могу ошибиться!

И однако, перечитав письмо, она побледнела.

— Нет ли у вас при себе другого письма от него? — спросил я.

— Есть. Вот его записка, написанная карандашом.

Почерк письма был, по-видимому, тот же самый, и все же в нем чувствовалась какая-то неуверенность.

Неужели вы думаете,— спросил я,— что граф обратился бы к вам за помощью?

— А почему бы нет? Разве не я люблю его больше всех на свете?

— Да, конечно, за любовью, за нежностью он обратился бы к вам, но за деньгами — к своей матери и только к ней.

— Но разве все, что я имею, не принадлежит ему? — спросила Луиза дрогнувшим голосом.

— Да, несомненно, но либо я не знаю графа Анненкова, либо это письмо писал не он.

— Боже мой,— вскричала Луиза,— ведь эти 30 000 рублей — все мое достояние, моя единственная надежда!

— Скажите, а как он подписывал свои письма к вам? — спросил я.

— Попросту «Алексей».

— А это письмо подписано «граф Анненков».

— Да,— подтвердила Луиза, совершенно подавленная.

— Вы не знаете, что случилось с этим человеком?

Нет. Он мне сказал, что приехал вчера вечером и немедленно уезжает обратно в Пермь.

— Надо заявить в полицию. Ах, если бы полицей-
мейстером по-прежнему был Горголи!

— Заявить в полицию?

— Конечно!

— Ну, а если мы ошибаемся,— спросила Луиза,—
если человек этот окажется не мошенником, а спасите-
лем Алексея, ведь я могу погубить его из-за нескольких
тысяч? Ведь я вторично буду виновницей его несчастья?
О, нет, лучше рискнуть! А что до меня, я как-нибудь
выйду из положения. Не беспокойтесь обо мне.
Единственное, что я хотела бы знать, действительно ли
Алексей в Перми?

— Послушайте,— сказал я,— мне довелось слы-
шать, что конвой, сопровождавший сосланных в Сибирь,
недавно вернулся обратно. Я знаком с одним жандарм-
ским ротмистром. Я схожу к нему и узнаю, в чем дело.
Подождите меня.

— Нет, нет, я пойду с вами.

— Не советую, вы еще слишком слабы, чтобы
лишний раз выходить на улицу. Вы и так поступили
очень неосторожно, что пришли ко мне. А, главное, вы
помешаете мне собрать нужные сведения.

— В таком случае идите один и возвращайтесь как
можно скорее. Помните, что я вас жду!

Я поспешно оделся, взял извозчика и спустя десять
минут был у жандармского ротмистра Соловьева: одно
время он тоже был моим учеником.

Я не ошибся: конвой и в самом деле вернулся три дня
тому назад. Узнав, какого рода сведения мне нужны,
Соловьев предложил помочь мне: оказалось, что унтер-
офицер, в партии которого был Анненков, его хороший
знакомый.

Соловьев послал за ним, и спустя несколько минут
офицер этот явился. Это был человек с прекрасной
военной выправкой, с суровым и вместе с тем добрым
лицом. Хотя я и понятия не имел о том, что он сделал для
графини и ее дочерей, я сразу же почувствовал к нему
симпатю.

— Вы были начальником конвоя, сопровождавшего
четвертую партию ссыльных? — спросил я.

— Да, я.

— В этой партии был граф Анненков?

— Гм... гм...

Унтер-офицер замялся, не зная, к чему клонятся мои расспросы. Я увидел его смущение и поспешил объясниться:

— Вы говорите с другом графа Анненкова, готовым пожертвовать жизнью ради него,— проговорил я,— умоляю вас, скажите мне всю правду.

— Что вам угодно знать? — спросил офицер по-прежнему недоверчиво.

— Я хочу прежде всего знать, не заболел ли он в дороге?

— Ничего подобного.

— Затем, остался ли он в Перми?

— Мы там даже не останавливались.

— Значит, он продолжал безостановочно свой путь?

— Да, до Козлова, где он, надеюсь, и по сей час находится в таком же добром здоровье, как мы с вами.

— А что это такое — Козлово?

— Сельцо на Иртыше, примерно в восьмидесяти верстах от Тобольска.

— Вы уверены, что он там?

— А то как же! Ведь я получил расписку от местных властей и представил ее позавчера его превосходительству господину полицеймейстеру.

— Стало быть, и болезнь и остановка графа в Перми — это басни?

— Конечно. Ни слова правды в этом нет.

— Благодарю вас, друг мой.

Я отправился затем к Горголи и все ему рассказал.

— И вы говорите,— спросил он,— что это девушка решила отправиться за своим любовником в Сибирь?

— Да.

— Хотя у нее нет теперь никаких средств?

— Да, ваше превосходительство.

— В таком случае передайте ей от меня, что она к нему поедет.

Я вернулся домой. Луиза ждала меня.

— Скажите,— тут же спросила она,— вы узнали что-нибудь?

— Узнал и хорошее и дурное: ваши тридцать тысяч пропали. Граф в дороге не болел и теперь находится в Козлове, откуда ему вряд ли удастся бежать. Зато вы получите разрешение отправиться к нему.

— Другого я ничего и не желаю,— обрадовалась она,— только бы поскорее получить это разрешение.

Я передал Луизе свой разговор с Горголи, и она вполне успокоилась: так сильно было ее желание уехать к Алексею.

Проводив ее домой, я отдал ей все, что имел, — что-то около трех тысяч рублей. К сожалению, остальные свои сбережения я незадолго до этого отослал во Францию, не предполагая, конечно, что они могут мне понадобиться.

Горголи сдержал слово: Луиза не только получила разрешение на поездку, но к нему были приложены 30 тысяч рублей. Кроме того, сопровождать ее в Сибирь в качестве фельдъегеря был назначен тот самый унтер-офицер, который конвоировал графа Анненкова.

Глава семнадцатая

Было решено, что Луиза выедет в Москву на следующий же день и там оставит своего ребенка у матери Алексея. Я обещал сопровождать ее до Москвы, второй столицы России, которую давно собирался осмотреть. Луиза попросила фельдъегеря позаботиться об экипаже и лошадях, чтобы выехать с утра, часов около восьми.

В назначенный час лошади были готовы, что указывало на исполнительность фельдъегеря. Более того, он получил разрешение взять для этого путешествия экипаж и лошадей из дворцовых конюшен.

Луиза была бесконечно счастлива: все ее страхи исчезли. Еще накануне она готовилась отправиться в путь чуть ли не пешком, без копейки в кармане. Сегодня ей предстояло путешествовать с роскошью, о которой она и мечтать не смела. Экипаж был превосходный и очень поместительный.

Кто не путешествовал по России, тот не знает, с какой быстротой ездят русские. Между Петербургом и Москвой около семисот верст, и если щедро давать на чай ямщикам, то они покрывают это расстояние за сорок часов.

Между станциями по этому тракту двадцать—тридцать верст, а хорошие чаевые составляют от пятидесяти копеек до рубля. Если платить ямщику эти деньги, то, подъезжая к почтовой станции, он еще

издали кричит: «Лошадей для моих орлов!». Это означает, что он получает хорошие чаевые и что нужно поскорее дать свежих лошадей. Если ямщику дают мало или ничего не дают, он подъезжает к станции молча, всем своим видом говоря, что спешить с перепряжкой лошадей нечего.

Около каждой почтовой станции обычно стоят человек десять — пятнадцать крестьян с лошадьми. В ожидании проезжих, они играют в какие-нибудь игры, а, заслышав крик ямщика об «орлах», поспешно тянут жребий. Встав бок о бок, они берут постромку или какую-нибудь веревку, сжимают ее обеими руками, а тот, кому достанется ее конец, и везет дальше седоков. Если же, напротив, проезжие не дают чаевых или дают слишком мало, то ямщик, которому выпал жребий доставить их на следующую станцию, бывает не слишком доволен: он медленно идет за лошадьми, нехотя запрягает их и не торопясь пускается в путь.

Ямщик редко прибегает к кнуту. Лошади слушаются его голоса и то ускоряют, то замедляют бег. Обычно они мчатся во весь дух, и ямщик редко объезжает то, что валяется на дороге, будь то дерево, вязанка хвороста, пук соломы, а вывернув своих седоков, он утешает их следующими словами: «ничего» и «небось». Каков бы ни был ваш чин, положение и возраст, ямщик неизменно обращается к вам на «ты».

Когда в дороге случается поломка, ямщик тотчас же исправляет ее. Загорится ли ось, сломается ли спица в колесе, он срубит ближайшее дерево топором, который всегда находится при нем, и изготовит то, что ему нужно.

В пути ямщик распевает свои бесконечные песни, не обращая внимания на то, что делается позади него в экипаже. Бывали случаи, что седоки вываливались на ухабах из экипажей, а ямщик как ни в чем не бывало продолжал ехать дальше. И только потом, заметив исчезновение своих седоков, возвращался за ними и говорил в утешение со своей обычной улыбкой:

— Это ничего.

Мы приехали в тот же вечер в Новгород, старинный русский город, который взял себе девизом следующую поговорку: «Супротив бога и великого Новгорода никто не устоит».

Новгород был колыбелью русской монархии, шестьдесят церквей которого едва могли вместить достославное население великого города. Теперь же со своими полуразрушенными стенами и пустынными улицами он встает между Санкт-Петербургом и Москвой — этими двумя современными столицами Русской империи, — как тень былого могущества.

Мы остановились в Новгороде лишь для того, чтобы поужинать, и тотчас же продолжали путь. Ночью мы видели порой по бокам тракта костры и вокруг них длиннородых мужиков и целый ряд повозок. Это были возчики, которые за неимением постоянных дворов, ночуют на голой земле и утром встают отдохнувшие и веселые, словно провели ночь в удобных кроватях.

На другое утро мы проснулись в так называемой русской Швейцарии. После неизменных равнин и огромных еловых лесов перед нами лежал живописный край с озерами, долинами и холмами. Город Валдай — столица этой северной Гельвеции находится от Петербурга на расстоянии, приблизительно равном девяносто лье. Едва мы въехали в этот город, как нас окружили торговки с пряниками, напомнившие мне уличных девиц в Париже. В самом деле, девушки эти были в коротких юбках и, как мне показалось, не столько занимались торговлей, сколько ремеслом, не имеющим с ней ничего общего.

За Валдаем лежит Торжок, город, славящийся сафьяном, из которого там выделывают всевозможную обувь, порой очень элегантную.

Следующим городом была Тверь — центр Тверской губернии, где находится мост через Волгу, длиной в шестьсот шагов.

Когда мы отъехали верст на двадцать пять от Твери, наступила ночь, а проснувшись утром, мы уже увидели золотые купола московских церквей. Москва произвела на меня сильнейшее впечатление: я видел перед собой огромную могилу, где Франция похоронила свое военное счастье. Я вздрогнул помимо воли, и мне показалось, что передо мной вот-вот предстанет тень Наполеона и, плача кровавыми слезами, поведаст о своем поражении.

В Москве я видел повсюду следы пребывания французов в 12-м году. То тут, то там попадались разрушенные, обгорелые здания — свидетельства дико-

го патриотизма Растопчина. Мне хотелось выскочить из экипажа и расспросить про дорогу в Кремль, но я был не один. Я решил отложить осмотр города, и в частности Кремля, до другого раза, а пока что мы направились в гостиницу, хозяин которой оказался французом. По воле случая наша гостиница находилась вблизи особняка графини Анненковой.

Луиза очень устала с дороги, так как почти все время держала на руках своего сына. Я советовал ей сперва отдохнуть, а уже потом известить графиню о своем приезде и попросить разрешения представиться ей. Но она меня не послушала: не медля, послала графине записку о нашем благополучном прибытии и сообщила, где мы остановились.

Десять минут спустя у подъезда гостиницы остановился экипаж, из которого вышли графиня и две ее дочери. Они не стали ожидать, когда к ним явится Луиза, а сами поспешили к ней. Старая графиня и ее дочери, видимо, оценили благородное сердце Луизы и не могли допустить, чтобы та, которую они называли дочерью и сестрой, жила в гостинице во время своего краткого пребывания в Москве.

Через тонкую стенку, отделявшую мой номер от номера Луизы, я слышал, с какой сердечной теплотой они беседовали с Луизой.

Луиза показала им уснувшего сына, и прежде, нежели она высказала свое желание оставить его у них, барышни завладели ребенком и передали его старой графине.

Узнав, что я приехал с Луизой, они пожелали видеть и учителя фехтования, преподавателя графа Алексея. Я ожидал этого и успел заранее привести себя в порядок после длительного путешествия.

Легко догадаться, что меня буквально засыпали вопросами.

Я хорошо знал графа Алексея и очень любил его, так что с удовольствием удовлетворил их любопытство. Бедные женщины очень тепло отнеслись ко мне и настойчиво предлагали поселиться у них, но я отказался. Во-первых, я не имел права на такое внимание с их стороны, а во-вторых, я чувствовал себя гораздо свободнее в гостинице. Так как я не собирался оставаться в Москве после отъезда Луизы, мне

следовало воспользоваться своим кратким пребыванием в этом городе, чтобы осмотреть его.

Для ознакомления с Москвой я взял с собой фельдгегера: он был участником войны 12-го года, совершил отступление от Немана до Владимира, а затем принимал участие в преследовании французов от Владимира до Березины. Такой человек был для меня сущим кладом. Луиза уехала с Анненковыми, а я остался в гостинице, пообещав, что приду к ним в тот же день обедать.

Четверть часа спустя мы с фельдгегерем начали прогулку по Москве.

Глава восемнадцатая

Несмотря на повсеместные следы бывшего здесь в 12-м году пожара, сохранившиеся как мрачное воспоминание об этой ужасной године, Москва стала после этого еще краше и величественнее, чем прежде. Московский Кремль остался нерушимым свидетелем былых дней, несколько не утратив своего византийского характера, благодаря которому он с первого взгляда напоминает дворец дождей в Венеции.

Само собой разумеется, что прежде всего я направился в Кремль. Я вошел в него через Спасские ворота, по обычаю русских обнажив при этом голову. Кроме Спасских, еще четверо ворот пробиты в его зубчатых стенах.

Кремль означает собственно «камень». В Кремле находится сенат, арсенал, Благовещенский собор, Успенский кафедральный собор, в котором цари венчаются на царство и где недавно короновался император Николай, Архангельский собор, где похоронены первые русские цари, Патриарший дворец и древние царские палаты, в которых родился Петр Великий.

Благодаря моему проводнику я все осмотрел подробно. Фельдгегерь показал мне подземный ход, через который Наполеон выбрался из Кремля, а также апартаменты, где он, как говорят, простоял целые сутки у окна и, скрестив на груди руки, следил за приближением нового, неведомого и страшного врага — огненной

стихии, отнимавшей у него шаг за шагом плоды его побед. Из этих комнат я вышел на террасу, откуда Москва представилась мне утопающей в садах и сверкающей своими бесчисленными золотыми куполами.

Кремль расположен в центре Москвы, на холме, у подножия которого течет Москва-река. С высоты террасы, где я стоял, Москва видна, как на ладони, и со своими извилистыми улицами, причудливыми домами и церквями кажется фантастическим городом из «Тысячи и одной ночи».

Налюбовавшись видом Москвы, я спустился к зданию сената, построенному в царствование Екатерины, на котором красуется слово «закон», написанное на всех его четырех стенах. Так как здание это не представляло для меня особого интереса, а долго оставаться в Москве я не рассчитывал, я не стал тратить время на его осмотр, а направился в арсенал, обширное здание, начатое постройкой в 1702 году Петром Великим.

Здание это было заминировано в 12-м году при отступлении французской армии и носит до сих пор следы взрыва, совершенно его исковеркавшего.

Отсюда мы направились к церкви Ивана Великого, построенной в 1600 году в память избавления народа от голода, поразившего страну. Форма ее колокольни восьмиугольная, а купол покрыт, как говорят, чистым золотом. Крест этой церкви был снят Наполеоном при отступлении его из Москвы и предназначался им для украшения купола Дома Инвалидов в Париже, но был утерян при переправе через Березину. Русские заменили этот крест медным позолоченным крестом.

Около Ивана Великого лежит знаменитый Царь-колокол, привезенный из Новгорода в Москву. Колокол этот висел на колокольне Ивана Великого, выделяясь своей громадой среди других колоколов. Но однажды он сорвался, сломав балку, на которой висел, и при падении глубоко врезался в землю. Стоил он очень дорого, особенно если вспомнить, что во время его отливки горожане бросали в расплавленную массу свою золотую и серебряную утварь. Таким образом, на этот колокол ушло без всякой пользы около 4 миллионов 742 тысяч франков.

Я не хотел уйти из Кремля, не побывав в Успенском соборе, где недавно короновался Николай. Собор этот, построенный в 1325 году, был затем перестроен

в 1475 году итальянскими архитекторами, которых Иван III выписал из Флоренции. Храм не велик — он вмещает не более пятисот человек. В нем находятся гробницы патриархов и хранится древний трон царей. До 1812 года в храме висела серебряная люстра весом более трех тысяч семисот фунтов, которая исчезла во время французского нашествия. Зато заменившая ее люстра была выплавлена из серебра, отобранного у нас во время отступления. Надо сознаться, что церковь проиграла от этой замены, ибо новая люстра весит всего шестьсот шестьдесят фунтов.

Мне хотелось продолжить свое знакомство с Москвой, но я был зван на обед к Анненковым. Пришлось ограничиться поверхностным осмотром храма Василия Блаженного, наиболее интересного из двухсот шестидесяти трех московских церквей. Он был возведен в 1554 году Иваном Грозным в память взятия Казани. Строил его итальянский архитектор, который, пожелав угодить своевольному царю, создал нечто необычное. Храм венчают семнадцать разноцветных куполов, каждый из которых имеет особую форму: один шарообразный, другой — напоминает сосновую шишку, третий — ананас и т. д. Грозный остался так доволен этим произведением искусства, что перед отъездом иностранного архитектора велел не только уплатить ему вдвое больше обещанного, но и ослепить несчастного, чтобы он уже не мог больше создать ничего подобного.

Настало время отправляться на обед к графине Анненковой. Луиза уже обосновалась у них, но на все просьбы подольше пробыть в Москве отвечала отказом. Единственное, на что она согласилась, — это не уезжать через день утром. Ее сын успел стать домашним тираном: все в доме ходило на цыпочках, бежали к нему при малейшем крике, а кормилицу нарядили в великолепный национальный костюм, купленный для нее молодыми хозяйками.

Нетрудно догадаться, что за обедом речь шла только об Алексее и о предстоящем отъезде Луизы. Приближающаяся зима, а морозы в Сибири достигают порой 40—50 градусов, — внушала серьезные опасения графине и ее дочерям: ведь Алексей, как и большинство богатых и знатных молодых людей в России, с детства привык к комфорту и роскоши.

Графиня предлагала Луизе всевозможные вещи, чтобы по возможности облегчить положение Алексея, но та ничего не захотела брать, кроме мехов.

Я тоже отказался по ее примеру от подарков, соблазнившись только турецкой саблей, принадлежавшей покойному графу Анненкову, ценность которой заключалась главным образом в закалке.

Несмотря на то, что я чувствовал себя очень усталым, проведя в дороге два дня и две ночи, я пробыл у этих превосходных людей до полуночи. Затем я откланялся и вернулся в гостиницу.

Я сообщил фельдъегерю, что хотел бы на следующий день посмотреть Петровское, и в семь часов утра извозчик уже стоял у подъезда гостиницы. Поездка в Петровское была, с моей стороны, своеобразным паломничеством: именно там пробыл Наполеон те три дня, что длился пожар Москвы.

Около часа спустя мы уже были в великолепном дворце, именем которого назван живописный поселок, почти исключительно состоящий из загородных дач богатейших московских вельмож. Сам Петровский дворец удивляет своей странной архитектурой, которая, на мой взгляд, есть подражание стилю старинных татарских дворцов. Я забыл сказать, что до прибытия сюда мы проехали через небольшой лесок, где среди темных елей я чуть ли не с детской радостью приветствовал несколько величественных дубов, напомнивших мне прекрасные леса Франции.

Фельдъегерь отправился на постоянный двор, чтобы заказать завтрак, и весело сообщил мне по возвращении, что в Петровском как раз обосновалась труппа цыган. Я знал понаслышке, что русские увлекаются цыганами, которые для них то же, что танцовщицы для египтян и баядерки для индусов. Исследовав свои карманы, я решил доставить себе за завтраком это чисто княжеское удовольствие и попросил фельдъегеря отвезти меня к ним.

Мы подъехали к одному из лучших домов поселка. К сожалению, цыган дома не было, но служанка, уроженка Мальты, немного говорившая по-итальянски, предложила нам подождать их. Я охотно согласился: мне было очень интересно увидеть, как живут цыгане.

Комната, в которую она ввела нас, служила, по видимому, общей спальней, так как вдоль двух ее стен

стояли кровати, застланные довольно приличными одеялами. На некоторых из них лежали горы подушек разной величины, а в головах висели музыкальные инструменты, оружие или всевозможные украшения.

Прождав немного, я удалился, попросив прислать в ресторан четверых или пятерых цыган, так как мне очень хочется послушать их пение. Служанка уверила меня, что передаст им мое приглашение, как только они вернутся домой.

Хозяин ресторана, где был заказан завтрак, оказался французом, оставшимся здесь после отступления армии. Он был поваром у князя Невшательского и решил применить свои таланты на чужбине. В России, как я заметил, повара и учителя не остаются долго без работы, и наш француз вскоре получил место у одного из русских князей. Прослужив у него лет семь-восемь, он собрал изрядную сумму денег и открыл собственный ресторан в Петровском. Зная, что имеет дело с соотечественником, он отнесся ко мне очень внимательно и приготовил нам роскошный завтрак, поданный в лучшей зале его прекрасного ресторана. При виде этой роскоши я испугался за свой кошелек, но решил до конца играть роль знатного и богатого человека.

Наш завтрак уже подходил к концу, и я потерял надежду увидеть цыган, когда хозяин гостиницы сообщил нам, что цыгане прибыли. Я попросил его пригласить их, и в залу вошли двое мужчин и три женщины.

Сначала мне показалось непонятным, что хорошего находят знатные и богатые русские люди в этих странных созданиях, среди которых граф Толстой и князь Гагарин выбрали себе жен. Две из этих женщин были отнюдь не красивы, а третья, державшаяся с сознанием того достоинства, которое дает красота или талант, показалась мне несколько лучше других. Черные глаза ее напоминали глаза газелей, бескровные губы обнажали порой белые, как жемчуг, зубы, и ножки были такие маленькие, каких я еще не видел. В общем все они, и мужчины и женщины, производили впечатление изнуренных людей, и надо думать, что желание заработать заставляло их петь и плясать сверх сил.

Старший из мужчин пользовался, по-видимому, известным влиянием. Он сел с гитарой посреди комнаты,

а другой мужчина и две женщины поместились около него на полу. Третья женщина, наиболее красивая и молодая, осталась стоять, слегка наклонив голову вбок и согнув колени, словно птица, которая ищет, где бы ей сесть на ночлег.

Старик вдруг ударил по струнам гитары и запел нечто вроде кантаты, которую подхватил другой мужчина и две женщины. Когда он коичил, запела, словно проснувшись, молодая цыганка, запела на редкость мягким, хватающим за душу голосом, и ей стали вторить остальные. Так оба они — старик и молодая — пели по очереди под аккомпанемент хора.

Не могу передать глубокое, щемящее впечатление, которое произвела эта дикая и вместе с тем мелодичная песня. Можно было подумать, что к нам сюда залетела из девственных лесов Америки какая-то неведомая птица, которая поет не для людей, а для широких просторов и для бога. Я сидел не шевелясь, вперив взор в певичу, и сердце мое сжимала непонятная боль.

Вдруг струны взвизгнули под пальцами старика, трое цыган мигом вскочили и, взявшись за руки, стали кружить вокруг молодой цыганки, которая лишь покачивалась в такт музыки. Но как только их круг распался, она сама приняла участие в танце.

Что это был за танец? Это была скорее пантомима, чем танец. Танцоры, казавшиеся вначале утомленными, вялыми, оживились, полусонные глаза их расширились, губы сладострастно вздрагивали, открывая ряд жемчужных зубов. Молодая цыганка превратилась в вакханку.

Вдруг мужчина, танцевавший вместе с другими женщинами, бросился к ней и прильнул губами к ее плечу. Она вскрикнула, точно ее коснулось раскаленное железо, и отскочила в сторону. Казалось, он преследует ее, а она убегает, но, убегая, манит его за собою. Звуки гитары становились все более призывными. Пляшущие цыганки издавали по временам какие-то крики, били в ладоши, как в цимбалы, и, наконец, словно обессилив, две женщины и цыган упали на пол. Прекрасная цыганка одним прыжком оказалась у меня на коленях и, обхватив мою шею руками, впилась в мой рот своими губами, надушенными неведомыми восточными травами. Так, видно, она просила оплатить свою волшебную пляску.

Я вывернул свои карманы и дал ей что-то около 300 рублей. Если бы в эту минуту у меня были тысячи, я бы не пожалел их для нее.

Я понял, почему русские так увлекаются цыганами!

Глава девятнадцатая

Чем ближе подходил день отъезда Луизы, тем неотступнее преследовала меня мысль, давно уже меня тревожившая. Я разузнал в Москве про трудности путешествия в Tobольск в это время года, и все, к кому я обращался, говорили, что дорога эта не только тяжела, но и опасна. Под впечатлением всего этого я понял, что не могу оставить женщину одну так далеко от родины, от которой она еще хотела отдалиться на три тысячи с лишком верст. Ведь она была совершенно одинока,— никого, кроме меня, у нее не было.

Я принимал близкое участие во всех ее радостях и горестях с самого начала моего пребывания в Петербурге. Протекция, оказанная мне по ее рекомендации графом Алексеем, благодаря которой я устроил свою жизнь в Петербурге, а также внутренний голос, говоривший мне о моем долге в подобных обстоятельствах жизни,— все это убеждало меня, что я должен сопровождать Луизу до конца ее путешествия и передать ее с рук на руки графу Алексею.

Я подумал, что если она поедет одна и с нею в дороге приключится какое-нибудь несчастье, я не только буду горевать, но и всю жизнь упрекать себя в этом. Итак, я решил сделать все возможное, чтобы уговорить Луизу отложить свое путешествие до весны, а при ее отказе ехать вместе с нею.

Случай начать такой разговор вскоре представился: вечером, когда мы сидели за чаем у графини, она и дочери ее стали говорить Луизе об опасностях предстоящего ей пути. Старая графиня убеждала ее остаться на зиму у них в Москве и отправиться в путь только весной. Я воспользовался моментом и присоединился к настояниям графини.

Но на все наши слова Луиза отвечала со своей печальной улыбкой:

— Не беспокойтесь, я доеду.

Тогда мы стали умолять ее отложить путешествие хотя бы до той поры, когда установится санный путь, но она снова отказалась.

— Ждать этого слишком долго,— сказала она.

В самом деле, на дворе была поздняя, дождливая осень, и трудно было предвидеть, когда начнутся морозы. Мы продолжали настаивать, а она — упорно стоять на своем.

— Вы хотите,— говорила она,— чтобы он умер там, а я здесь.

В словах Луизы слышалась такая твердая решимость, что я перестал убеждать ее.

Луиза хотела отправиться в путь на следующий же день часов в 10 утра после завтрака, на который был приглашен и я. Я встал очень рано, купил себе дорожное платье, меховые сапоги, карабин и пару пистолетов и заранее положил все это в наш дорожный экипаж.

Завтрак, как легко догадаться, прошел среди грустного молчания. Одна только Луиза сияла от радости и в конце концов заразила этим настроением и меня.

Завтрак был окончен. Мы все спустились во двор, где уже стоял экипаж. Прощание было очень нежное и длительное. Расцеловавшись по нескольку раз с графиней и с ее дочерьми, Луиза протянула мне руку.

— Прощайте,— молвила она.

— Нам незачем прощаться,— ответил я.

— Почему?

— Очень просто: я еду с вами.

— Вы едете со мной?

Луиза, очевидно, не сразу поняла меня.

— Вы едете со мной? — повторила она.

— Ну да, еду с вами, чтобы передать вас здоровой и невидимой графу и вернуться обратно.

Луиза подняла руку, точно хотела помешать мне следовать за ней.

— Впрочем,— сказала она, помолчав,— я не вправе воспрепятствовать столь прекрасному, столь великодушному поступку с вашей стороны. Если вы исполнены такой же решимости, как и я, хорошо, едемте.

Старая графиня и ее дочери стали благодарить меня.

— Не благодарите меня,— сказал я,— за то, что я считаю своим долгом. Я скажу графу от вашего имени,

что вы не поехали с нами только потому, что не имели на то разрешения.

— Да, да,— воскликнула мать,— скажите ему, что мы хлопотали об этом разрешении, но нам было отказано.

— Принесите мне моего сына,— попросила Луиза,— я хочу поцеловать его в последний раз.

Ей подали ребенка, и она, плача, покрывала его поцелуями.

Чтобы положить конец этому тягостному прощанию, я почти насильно отнял у нее ребенка, усадил ее в экипаж, затем вскочил в него сам и крикнул кучеру «пошел!». Фельдъегерь уже ждал нас на козлах. Лошади тронули, и вслед нам донеслись последние напутствия и пожелания. Полчаса спустя мы выехали из Москвы.

Я предупредил фельдъегеря, что мы желаем ехать днем и ночью, чтобы прибыть на место до наступления морозов. Я предполагал, что при этом условии мы доберемся до Тобольска за две-три недели.

Мы быстро миновали Владнмир и через несколько дней прибыли в Нижний Новгород. Я попросил Луизу отдохнуть здесь несколько часов, так как она очень устала от дороги и пережитых волнений, от расставания с сыном.

Хотя нам очень хотелось осмотреть Нижний Новгород, мы не решились тратить на это время, переночевав в нем, рано утром пустились в дальнейший путь и вечером того же дня приехали в Козьмодемьянск. До сих пор все у нас шло великолепно: попадавшиеся нам на пути деревни казались зажиточными, дома были просторны, на каждом дворе имелась баня.

Население относилось к нам с радушием и доброжелательностью, которые свойственны русским крестьянам.

Дожди, наконец, прекратились, и подул холодный северный ветер. Когда мы приехали в Казань, было уже довольно холодно. В этом древнем татарском городе мы остановились всего на два часа. В другое время я не удержался бы от соблазна приподнять длинную чадру, скрывающую лица тамошних женщин, которые, говорят, славятся своей красотой, но такая любознательность была бы теперь не к месту: нам нужно было торопиться.

По прибытии в Пермь Луиза почувствовала себя такой усталой, что ехать дальше было нельзя. Посмотрев на серое, низко нависшее небо, фельдъегерь сказал:

— Верно, в ночь выпадет снег, и дальше придется ехать на санях.

И действительно, когда я проснулся на другой день утром, крыши домов, улицы — все побелело от снега.

Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с фельдъегерем. Он был очень озабочен: за ночь снега выпало так много, что под ним не было видно ни дорог, ни канав, и наш провожатый считал, что ехать в этих условиях не безопасно. Следует подождать пока не установится санный путь и морозы не скуют все ручьи и реки. На все его доводы я лишь отрицательно качал головой: я был убежден, что Луиза не захочет ждать. Вскоре и сама Луиза вышла к нам. Выслушав наши соображения, она сказала:

— Хорошо, останемся здесь на два дня, но не дольше.

— Эти два дня, — заметил я, — мы употребим на то, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию.

Прежде всего нам нужно было приобрести сани, что мы сделали в тот же день и сразу перенесли в них все наши пожитки, а также оружие, которое я приобрел в Москве. В Перми мы встретили нескольких ссыльных поляков, жилось им не так уж плохо. Пермь красивый город особенно летом, и морозы редко достигают там 30 градусов, в то время как в Тобольске они доходят иной раз до 50-и.

Закончив наши приготовления, в назначенный срок мы снова пустились в путь-дорогу. Сердца наши сжались от тоски при виде бесконечной покрытой снегом равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно было ни дорог, ни речек, только редкие деревья служили вехами, указывавшими ямщикам направление. Время от времени нам попадались еловые леса, темная зелень которых выделялась среди окружающей нас белизны.

Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше 30—40 верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа ямщиков, как это бывало на тракте между Петербургом и Москвой: там стоял обычно лишь один ямщик с парой маленьких, неказистых на вид

лошадок, которых тут же впрягали в наши сани. Лошади эти, однако, оказались норовисты и резвы в пути.

Мы ехали довольно быстро и через несколько дней добрались, наконец, до тех мест, откуда начинается Урал, эта естественная граница между Европой и Азией.

Холод становился с каждым днем ощутимее, и я с радостью думал о том, что реки, через которые нам придется переправляться, скоро замерзнут. Мы остановились как-то в небольшой деревушке, в которой было не более 20 изб. Ямщик пошел искать лошадей, а мы зашли на почтовую станцию. Это была жалкая изба, даже без классической русской печи — топилась она по-черному; около очага грелось несколько возчиков, не обративших на нас никакого внимания. Но когда мы с фельдъегерем сняли свои шубы и предстали перед ними в военной форме, нам тотчас же очистили место у огня.

Главное, надо было согреться, а потом подумать об ужине. Итак, я обратился к станционному смотрителю с просьбой дать нам чего-нибудь поесть. Он посмотрел на меня с величайшим изумлением и принес половину черного каравая, объяснив, что это все, что у него имеется. Я спросил, нет ли у него чего-нибудь еще, и этот добрый человек, узнав, что мы не можем удовлетвориться одним хлебом, открыл свой шкаф, приглашая меня убедиться, что там ничего съестного нет.

Возчики достали из своих баулов по куску черного хлеба и, натерев его салом, стали есть. Я попросил их уступить немного сала, но в это время вернулся куда-то отлучавшийся фельдъегерь с хлебом побелее и двумя курицами. Мы наскоро приготовили ужин и даже угостили им возчиков, которые были поражены столь роскошным блюдом.

Поужинав, мы собрались было ехать дальше. Но оказалось, что сменных лошадей нет, и нам пришлось заночевать на почтовой станции. Ночь мы, конечно, провели, сидя на стульях, но благодаря нашим превосходным мехам не почувствовали холода и спокойно заснули.

На рассвете я пробудился, почувствовав, что кто-то ущипнул меня за щеку. Оказалось, что это был цыпленок, неизвестно каким образом забравшийся

в комнату. Я не был уверен, что мы сумеем достать что-нибудь съестное и, наученный горьким опытом, поймал цыпленка и, прежде чем он успел пикнуть, свернул ему шею.

После этого я уже не мог заснуть, — тем более, что на разные голоса стали переключаться петухи, приветствовавшие близкое наступление дня. Я оделся и вышел во двор, чтобы посмотреть, какова погода: оказалось, мороз усилился.

Вернувшись в избу, я увидел, что петухи разбудили не только меня: Луиза тоже не спала. Тепло укутавшись, она сидела у погасшего очага. Встали также и возчики, один только фельдъегерь спал сном праведника. Я разбудил его и попросил распорядиться насчет отъезда. Вместе с нами должны были выехать и несколько возчиков, но между ними разгорелся спор: одни, наиболее опытные, говорили, что ехать нельзя и что нужно переждать денек-другой, а более молодые хотели немедленно отправиться в путь. Луиза была, конечно, на стороне этих последних.

Не знаю, что именно убедило фельдъегеря: красивые ли глаза Луизы или состояние погоды, но он тоже высказался за отъезд. Несомненно, решение этого человека в военной форме должно было оказать влияние на возчиков. Кончилось тем, что они тоже стали готовиться в путь.

При расчете со стационарным смотрителем я отдал ему деньги за убитого мной цыпленка и попросил снабдить нас хоть какой-нибудь провизией, особенно хлебом, который был бы свежее, чем вчерашний. Смотритель ушел куда-то и вскоре вернулся с курицей, сырым окороком и несколькими бутылками какой-то бурды, похожей на водку. Говорят, ее делают из березовой коры.

Возчики стали запрягать, а я пошел на конюшню выбрать для нас лошадей, но по здешнему обыкновению их угнали в лес. Смотритель разбудил мальчика лет двенадцати — пятнадцати, спавшего в углу, и послал его за лошадьми. Мальчик поднялся с молчаливой покорностью, свойственной русскому крестьянину, взял длинный шест, вскочил на лошадь и помчался куда-то галопом. Возчики сказали нам, что старосту их артели зовут Григорием и в случае какой-нибудь нужды мы тотчас можем обратиться к нему.

Григорий — старик лет семидесяти пяти, которому на вид едва можно было дать сорок пять, выделялся высоким ростом и атлетическим сложением; у него была длинная седеющая борода и густые брови, нависшие над черными глазами. Одет он был, как и другие возчики, в тулуп, туго подпоясанный узким ремешком, на ногах были высокие сапоги, на голове — меховая шапка. Из-за пояса торчали с одной стороны несколько подков, бряцавших при каждом шаге, оловянная ложка и большой нож, а с другой — топор и кожаный кисет, в котором, кроме табака и трубки, лежали разные мелкие инструменты и деньги.

Итак, староста артели Григорий приказал возчикам собираться в путь, чтобы добраться засветло до следующей ночевки. Мы попросили его подождать, когда приведут наших лошадей, чтобы ехать всем вместе. Он охотно согласился.

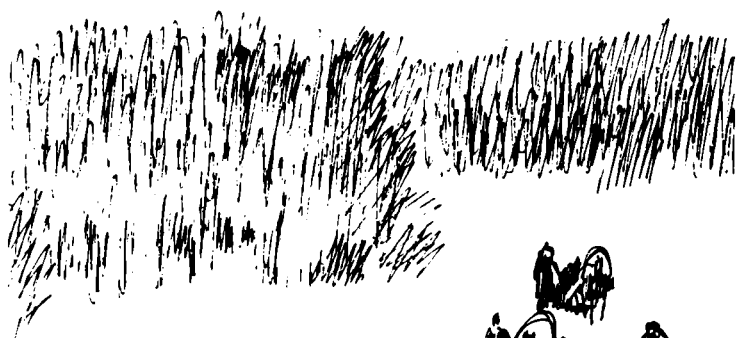
Смотритель подбросил в очаг несколько еловых и березовых веток, которые вспыхнули ярким пламенем, а мы подошли к очагу, чтобы погреться перед дорогой. Вдруг мы услышали, как застучали подковы лошадей. В ту же минуту в комнату вбежал озябший мальчик и принялся жаловаться на мороз.

Тотчас же нам заложили лошадей, и у ворот избы растянулся длинный караван — одни сани за другими.

Глава двадцатая

Мы отъехали верст на двенадцать от деревни, когда совсем рассвело. Впереди были Уральские горы, кругом глубокий снег. Чтобы убедиться, не сбились ли мы с пути, Григорий порой вылезал из саней и нащупывал дорогу шестом; проделав это, он объявлял, что можно ехать дальше. Если нам попадались речонки, он прежде всего исследовал прочность льда.

Когда подъем становился очень крут, возчики по приказу Григория впрягали несколько лошадей в одни сани. Затем, когда эти сани брали подъем, лошадей впрягали в следующие сани, и так далее, пока, наконец, не переправлялся весь караван. Конечно, такая езда отнимала много времени, и мы очень медленно



подвигались вперед. Возчики относились к нам очень дружелюбно и всячески старались услужить.

Далее дорога стала еще труднее. Мы ехали шагом, а впереди нас шли два возчика с длинными шестами в руках, которыми они исследовали грунт. Григорий взял одну из наших лошадей под уздцы и сам повел ее, делая все время зарубки на деревьях для того, чтобы таким образом наметить обратный путь. Я воспользовался случаем немного размять затекшие ноги и также пошел пешком.

Поднимаясь все время в гору, к вечеру мы добрались до прогалины в лесу. Место вполне подходило для ночевки. Луиза сидела в санях, хорошо укутанная, и нисколько не страдала от холода. Однако провести ночь под открытым небом мы не решились. По совету Григория, все принялись за постройку убежища. Топоры у нас были, мы срубили тотчас же несколько деревьев и соорудили нечто вроде хижины для защиты от ветра. Внутри нее зажгли костер и стали готовить ужин.

Возчики хотели было провести ночь под открытым небом, но мы настояли на том, чтобы и они легли вместе с нами. Один из них (я отдал ему свое ружье) стал на страже на случай нападения волков или медведей. Мы с Луизой с благодарностью вспоминали старую графиню Анненкову, снабдившую нас меховыми вещами, без которых нам пришлось бы плохо. Усталые, мы скоро заснули. Под утро нас разбудил ружейный выстрел.

Я вскочил и, схватив пистолеты, выбежал наружу, за мной последовал фельдъегерь. Возчики тоже проснулись, с тревогой спрашивая, в чем дело.

Оказалось, что Григорий, как раз стоявший на часах, стрелял в медведя, который слишком близко подошел к нам.

Зверь был ранен, на что указывали следы крови на снегу. Григорий велел своему сыну, бывшему также в числе возчиков, идти за медведем и добить его.

Я следил за парнем, пока он не скрылся в темноте; он шел, низко пригнувшись к земле, чтобы не сбиться со следа. Возчики вернулись в убежище, Григорий снова встал на часах, а я остался с ним, чувствуя, что все равно не засну. Вдруг издали донесся рев. Услышав его, Григорий с силой сжал мое плечо. Рев повторился, пальцы Григория судорожно впились в меня. Наступила

недолгая тишина, которая, вероятно, показалась веком бедному отцу, и вдруг мы улышались крик человека. Григорий облегченно вздохнул и выпустил мое плечо.

— Завтра у нас будет на обед медвежатина, — сказал он, — медведь убит.

— Как ты не побоялся послать сына на медведя? Да и вооружен-то он был лишь ножом и топором.

— Чего мне за него бояться? — возразил Григорий. — На своем веку я убил более пятидесяти медведей и ни разу не был ранен, так только, царапины получал. А сын посильнее меня будет.

— Однако ты все же волновался.

— Конечно, все может случиться, а отец — он всегда отец.

В эту минуту показался его сын. Он нес задние лапы медведя, иначе говоря, самую лакомую часть медвежьей туши. Оказалось, что охотнику не слишком легко далась эта победа: во время схватки медведь расцарапал ему плечо. Мы хотели было перевязать его, но парень отказался. «Ничего, и так заживет», — сказал он.

Григорий с сыном сели в стороне, и молодой охотник принялся рассказывать ему о своем поединке. Под их тихий разговор мы с Луизой опять заснули, и ничто уже больше не нарушало нашего сна.

Выехали мы с раннего утра. Подъем в гору был не такой крутой, как накануне, но мы придерживались прежнего порядка: сын Григория с другим парнем шли впереди, нащупывая длинными шестами дорогу, сам Григорий вел под уздцы нашу лошадь, а за нами тянулся весь караван.

К полудню мы добрались до самой высокой точки перевала, где нам пришлось остановиться, чтобы дожидаться остальных. Местность была лишена всякой растительности. Внимательно осмотревшись, мы с Луизой пришли в отчаяние. Не было ни кустика, ни деревца — не будет дров, чтобы обогреться, соорудить убежище. Мы уже собрались кое-как приспособить наши одеяла, когда увидели двух лошадей, груженных лесом: это Григорий с сыном позаботились о нас.

Воткнув в землю шесты, мы натянули на них одеяла и устроили нечто вроде палатки. Сын Григория разгреб снег, вырыл квадратную яму около фута глубиной и развел в ней огонь. По прошествии двух часов на дне

ямы остались зола и раскаленные угли, на которые он положил оба медвежьих окорока. Как ни был занят наш повар приготовлением обеда, он то и дело поглядывал на небо. В самом деле, оно все больше хмурилось, а затем наступила та настороженная тишина, которая не предвещает ничего хорошего.

Когда к нам подъехали остальные сани, все возчики собрались на совет и тоже стали озабоченно посматривать на небо. Я попросил фельдъегеря узнать, что их беспокоит. Оказывается, они ждали, что этой же ночью разыграется метель и снег занесет все дороги. А так как здесь много обрывов и пропастей, путешествовать станет небезопасно. Как раз этого я и ожидал, и новость не слишком меня поразила.

Как ни тревожило возчиков состояние погоды, но голод все же взял свое, и они принялись отрезать себе большие куски медвежатины. Сперва это темное мясо показалось мне весьма непривлекательным, но, отведав его, я изменил свое мнение. Что до Луизы, она с явным отвращением посматривала на медвежий окорок и ни за что не захотела попробовать его.

Стемнело, и мрак становился все гуще, что явно указывало на ухудшение погоды. Лошади, выпряженные из саней, с видимым беспокойством жались друг к дружке. Ветер набегал порывами, грозя сорвать нашу импровизированную палатку. Казалось, нам предстоит мучительная ночь. Мы все же приготовились ко сну. Луиза устроилась в наших санях, мы с сыном Григория в палатке, возчики, опрокинув сани, легли под ними прямо на снегу.

Неподалеку от нас была навалена целая гора веток; как оказалось, возчики приготовили их для костра, который они собирались поддерживать всю ночь, чтобы отпугивать волков, — их, несомненно, привлечет к нам запах медвежьего мяса. Эта мера показалась мне очень разумной.

Мы завернулись в свои шубы в ожидании двух врагов: волков и снега. Враги эти не заставили себя долго ждать: прошло не более получаса, как началась метель, и в то же время я услышал отдаленный вой волков. Последние меня беспокоили гораздо больше, чем метель, но, видя, что волки не приближаются, я понемногу успокоился и заснул крепким сном.

Не знаю, как долго я проспал, но мигом пробудился, почувствовав, что на меня свалилась какая-то тяжесть. Я хотел вскочить, но не тут-то было: что-то увесистое лежало на мне, не давая возможности пошевелиться. Я попробовал крикнуть, но голос мой тут же замер. В первую минуту я не мог сообразить, что случилось. С превеликим трудом мне удалось протянуть руку к своему товарищу по несчастью, он с силой привлек меня к себе, и голова моя оказалась снаружи. Дело в том, что под тяжестью снега наша палатка рухнула, и пока я тщетно пытался выбраться из-под нее, сын Григория попросту разрезал ее своим ножом.

О сне уже нечего было думать. Снег продолжал падать крупными чистыми хлопьями и вскоре целиком засыпал все сани, на месте которых образовались снежные бугры.

Около шести часов утра снег перестал, но небо оставалось хмурым. Когда совсем рассвело, Григорий, внимательно осмотрев небо, покачал головой и позвал остальных возчиков. Одни выползли из-под своих саней, других так занесло, что их пришлось отрывать. Светлее не становилось, хотя было не так уж рано: день боролся с ночью, и ночь, казалось, одержит над ним верх. Погода ничего хорошего не предвещала.

За ночь снега напало столько, что он доходил до колен, а в более низких местах — до пояса. Конечно, не было признака дорог, а ветер намел местами огромные сугробы, скрывшие от глаз все неровности почвы. Остаться здесь не представлялось возможным: у нас не было ни крыши над головой, ни дров, ни провизии; идти дальше было опасно, возвращаться — не менее опасно. Возчики советовали переждать здесь непогоду, но мы и слышать не хотели об этом.

Григорий разделял наше мнение, говоря, что нужно продолжать путь. Ждать, утверждал он, дольше нельзя, снегу может нападать столько, что он окончательно отрежет нас от всякого жилья. Нужно ехать, и как можно скорее: завтра, по его мнению, мы уже доберемся до Екатеринбурга.

Как ни привлекателен был план Григория, но он заключал в себе и много опасностей: ветер продолжал дуть, а здесь в горах часто бывают обвалы. Это и беспокоило возчиков, которые не соглашались

с Григорием, яростно оспаривая его мнение. В спор пришлось вмешаться фельдъегерю. Он заявил возчикам, что мы едем по высочайшему повелению, а потому ждать не можем. Услышав это, возчики перестали роптать и немедленно стали собираться в дорогу. Через полчаса мы были уже готовы и опять караваном потянулись вперед.

Впереди всех шел опять сын Григория с длинным шестом, затем ехал в санях сам Григорий, а за ним следовали мы; остальные сани вытянулись гуськом вслед за нами. Как я уже говорил, мы достигли самой высокой точки перевала и нам предстояло теперь спуститься с горы.

Вдруг мы услышали крик и увидели, что сын Григория провалился куда-то. Мы выскочили из саней и добежали до того места, где он исчез: на глубине футов в пятнадцать торчала из снега только судорожно двигавшаяся рука. В эту минуту подоспел отец с длинной веревкой, которой он хотел обвязать себя, чтобы спуститься вниз и попытаться спасти сына. Но один из возчиков вызвался заменить его, сказав, что Григорий должен беречь себя: он всем нужен, чтобы вести караван. Смельчака обвязали веревкой, и мы, человек шесть или восемь, принялись быстро разматывать ее, так что возчик успел схватить руку парня в тот момент, когда она уже погружалась в снег. Взяв сына Григория в охапку, он дернул веревку в знак того, что нужно тянуть его наверх. Вскоре он показался из пропасти с сыном Григория, который находился без сознания. Мы занялись приведением его в чувство. Он очнулся после того, как ему влили в рот изрядную дозу живительной влаги из моей бутылки.

Старик был счастлив, что сын его дешево отделался. Молодой возчик хотел по-прежнему идти впереди с шестом, но отец не позволил этого, да и мы запротестовали. Вместо него пошел другой, а потерпевшего мы поместили в сани к Луизе, закутав его как можно теплее.

Мы продолжали путь очень медленно и осторожно, стараясь держаться поближе к отвесному склону горы, под которым, вероятно, проходила наша дорога. После нескольких часов довольно крутого спуска мы добрались до роши, похожей на ту, в которой провели первую

ночь. Никто из нас ничего не ел с самого утра, и было решено сделать привал и подкрепиться. Лошадей также нужно было покормить.

Какое счастье, что здесь были хвойные деревья! Нам достаточно было срубить одно-два из них, чтобы получился великолепный костер, вокруг которого мы с удовольствием расположились и стали готовить себе пищу. Я отрезал кусок медвежатины и зажарил его прямо на огне. Но и в таком виде мясо показалось нам очень вкусным. Мы ели только мясо, так как хлеба у нас оставалось очень мало.

Как ни коротка была эта остановка, но и нам и лошадям она дала возможность подкрепиться и отдохнуть. В полдень наш караван снова пустился в путь; три часа мы проехали без всяких приключений. Вдруг раздался какой-то грохот, как бы удар грома, повторенный эхом окрестных гор: сильнейший порыв ветра поднял тучи снежной пыли и обдал нас ею. Григорий резко остановил сани и крикнул:

— Обвал!

И мы все молча застыли на месте.

Лавина пронеслась неподалеку от нас, и если бы до этого мы продвинулись еще на какую-нибудь версту, она непременно увлекла бы нас с собой. Видя, что опасность была так близка и так благополучно миновала, возчики снимали шапки и перекрестились.

Правду сказать, это происшествие не явилось для нас полной неожиданностью: еще накануне Григорий высказал опасение, как бы нам не попасть под обвал. Когда ветер стих, мы попробовали ехать дальше, но перед нами буквально выросла гора снега, объехать которую вследствие узости дороги не представлялось возможным. Нужно было пробиться через нее. Однако, сделав несколько шагов, мы остановились: лошади вязли в снегу буквально по брюхо. Пришлось их вытаскивать, а из одних саней и вовсе выпрячь.

Гора упавшего снега, преградившая нам путь, оказалась гораздо больше, чем можно было предполагать. Чтобы проложить в ней путь, потребовалось бы несколько часов.

Хотя еще было не поздно, начало смеркаться, быстро надвигалась ночь. Нечего было и думать об устройстве шалаша или палатки. Мы выпрягли лошадей и,

поставив сани полукругом возле отвесного склона горы, загнали лошадей в огороженное таким образом пространство. Сами же мы разместились в санях и приготовились провести ночь под открытым небом. Поступили мы так на случай появления волков, так как, не имея ни дров, ни веток, мы не могли держать их на почтительном расстоянии. Едва мы окончили эти приготовления, как наступила ночь.

Об ужине никто даже не подумал, все мы удовольствовались куском хлеба. У меня еще оставалась бутылка водки, которую я предложил Григорию, но он отказался, сказав, что придет время, когда она нам понадобится.

Луиза вспомнила, что, уезжая из Москвы, она взяла с собой два фонаря. Они оказались весьма кстати. Свечи в них были, и мы тотчас же зажгли их. Конечно, в этой заснеженной пустыне слабый свет фонаря был едва мерцающей точкой, но и она нам очень пригодилась. Мы вбили в снег два шеста и повесили на них фонари.

Нас было всего десять человек мужчин. Двух возчиков Григорий назначил дозорными, а остальные, и я в том числе, принялись расчищать завал. Мороз все крепчал, и я с ужасом думал о предстоящей ночи.

Часа три-четыре мы проработали довольно спокойно, и водка, так удачно сбереженная Григорием, очень помогла нам, когда раздался протяжный вой. Это были волки. Мы поспешили укрыться в санях и приготовились к защите. Волки хотя и были неподалеку, но нападать на нас не осмеливались — их все-таки отпугивал свет фонарей.

Как я уже говорил, мы были защищены с одной стороны отвесным склоном горы, а с другой полукругом наших саней, на которых мы держали оборону, вооружившись кто топором, кто ножом, и только у нас с фельдъегерем было по карабину и по паре пистолетов. Прошло с полчаса. Волки подвигались все ближе и ближе. Вдруг один из них отделился от стаи и стал подбираться к нам. Я прицелился в него.

— Стреляй! — крикнул Григорий.

Раздался выстрел — и зверь упал. В ту же минуту на него набросились пять или шесть волков и стали рвать его на части.

Некоторое время мы могли быть спокойны: волки отошли и держались от нас на приличном расстоянии.

Но завывание их не прекращалось. Временами оно настолько усиливалось, что казалось, число их все растет.

— Глянь-ка,— сказал Григорий,— как беспокоятся лошади: стало быть, волки близко.

В эту минуту несколько волков, отделившись от стаи, бросились напрямик на поставленные цепью сани, готовясь, очевидно, перескочить через них и атаковать лошадей. Нападение это было так стремительно, что мы едва успели дать им отпор. Так мы провели всю ночь. Когда волки становились уж слишком нахальны и близко подходили к нам, мы встречали их выстрелами, что давало нам временную передышку. Всего мы убили за ночь семь волков.

Как только небо посветлело, волки оставили нас в покое. Мы сразу же принялись за работу, и, когда взошло солнце, путь через завал был закончен. Мы поспешили выехать и часа через три добрались до небольшой рощи. Возчики очень обрадовались, увидев ее: отсюда до жилья было недалеко. В этой роще мы ненадолго остановились, чтобы дать передышку лошадям и подкрепить свои силы горячей пищей. Немедленно было срублено несколько деревьев, разведен костер и на нем зажарены остатки медвежатины.

Покончив с едой, мы двинулись дальше. И вскоре за выступом скалистой горы увидели к великой своей радости деревушку, а в четыре часа пополудни уже остановились у ее первой избы. Здесь мы переночевали, и этот отдых после всего перенесенного показался нам раем.

На следующий день мы простились с возчиками и в благодарность за все, что они для нас сделали, подарили им пятьсот рублей.

Глава двадцать первая

Мы ехали по огромной сибирской равнине, которая тянется к северу вплоть до Ледовитого океана, и на всем этом обширном пространстве нет ни единой возвышенности, которая заслуживала бы название горы. Благодаря фельдъегерю нам всюду давали лучших лошадей, а ночью нас сопровождало обыкновенно

несколько вооруженных верховых, скакавших справа и слева от наших саней.

Мы проехали, не останавливаясь, Екатеринбург и даже не посетили его великолепных магазинов драгоценных и полудрагоценных камней. После всего, что мы перенесли в последние три дня, город показался нам красивым и богатым. Затем, миновав Тюмень, мы оказались в Тобольской губернии. Семь дней спустя после жуткого перевала через Уральский хребет мы въехали ночью в самый Тобольск.

Мы были крайне измучены тяжелой дорогой, но Луиза, нетерпение которой росло по мере того, как она приближалась к графу Алексею, не захотела задерживаться в городе ни на один день. Переночевав в Тобольске, мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село на Иртыше, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Анненкова.

В Козлове мы явились к коменданту и предъявили ему свои документы. Комендант отнесся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анненкова и узнали, что он совершенно здоров.

Мы решили с Луизой, что сперва я пойду к Алексею один, чтобы подготовить его к ее приезду. Я попросил у коменданта разрешение на свидание с Анненковым, и он охотно дал мне его. Ввиду того, что я не знал, где именно живет граф, и плохо говорил по-русски, мне дали в прожатые какого-то казака. Мы дошли с ним до обособленного поселка, состоящего из двух десятков домов и обнесенного высоким забором. Все его ходы и выходы охранялись часовыми. Нас пропустили. Казак остановился у одного из домиков и показал мне, что это здесь.

С замиранием сердца постучал я в дверь и услышал в ответ:

— Войдите.

Открыв дверь, я увидел Алексея, он лежал одетый на кровати, рука его бессильно свесилась, и книга, которую он, видимо, читал, валялась на полу.

Я остановился на пороге, а он приподнялся, с изумлением глядя на меня.

— Здравствуйте,— сказал я,— вы не узнаете меня?

— Боже мой, это вы? вы?!

Он вскочил с кровати и горячо обнял меня. Затем отступил назад и, всплеснув руками, спросил:

— Вы тоже сосланы? И я — причина этому!
— Успокойтесь,— сказал я,— я приехал сюда добровольно.

Он горько улыбнулся.

— Добровольно, в Сибирь?.. Объясните мне, в чем дело, но раньше... скажите мне, как Луиза?

— Могу вам сообщить самые свежие новости о ней.

— Вы ее оставили месяц тому назад?

— Нет, всего лишь пять минут.

— Боже мой,— воскликнул он,— что вы говорите?!

— Истинную правду.

— Лунза?..

— Здесь.

— О святая женщина! — прошептал Алексей.

Прошло несколько секунд, в течение которых Анненков стоял, глубоко задумавшись.

— Так Луиза здесь? — переспросил он.— Но где ж она?

— У коменданта.

— Скорей идите к ней! Право, я с ума сошел: совсем забыл, что живу под замком и не могу выйти из своего загона без разрешения жандармского ротмистра. Дорогой друг,— обратился он ко мне,— сходите за ней, приведите ее сюда, я хочу ее увидеть, обнять. Впрочем, нет, оставайтесь. Ваш проводник сходит за ней, а в ожидании вы все мне расскажете.

Он сказал несколько слов казаку, и тот вышел, чтобы выполнить его поручение.

Я рассказал Алексею все, что произошло с момента его ареста: как Луиза решила ехать к нему, как она все продала, как у нее украли деньги, о нашем путешествии в Москву, о том, как ее приняли его мать и сестры, и закончил описанием наших лишений и опасностей при перевале через Урал.

Анненков слушал меня, затаив дыхание. От времени до времени он пожимал мне руку, не в состоянии промолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал и подбегал к двери: ему все казалось, что кто-то идет.

Наконец дверь открылась, но казак вошел один.

— В чем дело? — спросил граф, побледнев.

— Комендант ответил, что вам должны быть известны правила...

— Какие правила?

— Запрещающие ссыльным принимать у себя женщин.

Граф провел рукой по лбу и, подавленный, опустился в кресло. Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея, на лице которого отражалась смена обуревавших его чувств. Помолчав, он обратился к казаку.

— Нельзя ли попросить сюда жандармского ротмистра? — спросил он.

— Он был у коменданта в одно время со мной.

— Будьте так любезны, подождите его у порога и попросите от моего имени зайти ко мне.

Казак поклонился и вышел.

— Эти люди все же слушаются вас, — заметил я.

— Да, по привычке, — ответил он, улыбаясь. — Можно ли представить себе более трагичное положение, — продолжал он, — она здесь, в нескольких шагах от меня, а я не могу ее видеть!

— Не сомневаюсь, — сказал я, — что вам завтра же дадут разрешение на свидание с нею. В противоположном случае вы напишите жалобу в Петербург.

— И получу ответ через три месяца. О, вы еще не знаете наших порядков!

Отчаяние, отразившееся на лице графа, испугало меня.

— Ну что ж? — заметил я. — Я готов остаться здесь на целых три месяца.

Анненков посмотрел на меня и улынулся.

— Нет, — сказал он, — я не надеюсь, что ее допустят ко мне. Очевидно, есть такой приказ, а против приказа не пойдешь.

— Это ужасно, — пробормотал я.

В это время отворилась дверь и вошел жандармский ротмистр.

Анненков шагнул к нему навстречу.

— Сударь, — сказал он, — сюда приехала дама из Петербурга специально для того, чтобы повидаться со мной. Она перенесла в дороге тысячи лишений, чуть не погибла. Неужели я не смогу ее увидеть?

— Нет, — спокойно ответил ротмистр, — вы знаете, что арестантам запрещены свидания с жейщинами.

— Однако князю Трубецкому это было разрешено.

— Да, — согласился ротмистр, — но ведь то была его жена.

— Ну, а если эта женщина станет моей женой, она будет допущена ко мне?

— Ну, конечно.

— О,— вздохнул с облегчением Анненков, точно с плеч его свалилась гора.— Тогда я попрошу пригласить сюда священника, а вас,— обратился он ко мне,— быть шафером на моей свадьбе.

Я обнял его молча, не будучи в силах произнести ни слова.

— Скажите же Луизе,— попросил меня Анненков, прощаясь со мной,— что завтра мы с нею увидимся.

На другой день, в десять часов утра, произошло бракосочетание графа Анненкова с девицей Луизой Дююи. В сельскую церковь явились мы с Луизой, а вслед за нами Анненков с Трубецким и остальные ссыльные. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей наконец увидели друг друга и, молча преклонив колена перед алтарем, обменялись одним-единственным словом.

Это было слово «да», которое связало их навеки.

* * *

Вернувшись в Санкт-Петербург, я нашел несколько писем, настоятельно призывавших меня во Францию.

Дело было в феврале, следовательно, морской путь был закрыт. Я избрал поэтому санный путь и без особого огорчения покинул город Петра Великого, где я потерял почти всех учеников из-за событий, связанных с заговором.

Итак, я ехал в обратном направлении по той самой дороге, которая полтора года назад привела меня в Петербург. Но теперь вокруг меня был бескрайний снежный ковер. Древняя Московия и Польша остались позади, и передо мной были владения его величества прусского короля. И тут, высунув нос из саней, я увидел к своему удивлению мужчину лет пятидесяти, высокого, тонкого, сухопарого. На нем был черный фрак, такого же цвета жилет и штаны; на ногах его красовались башмаки с пряжками, на голове — цилиндр; левой рукой он прижимал к боку скрипку, в правой держал смычок, помахивая им, словно тросточкой. Вид его

показался мне столь нелепым, а место для прогулки столь неподходящим по морозу в 25—30 градусов, что я велел кучеру остановиться. Увидев, что я поджидаю его, незнакомец ускорил шаг, но без торопливости и с достоинством, преисполненным изящества. По мере того как этот странный субъект приближался ко мне, я все внимательнее вглядывался в его лицо. Наконец мои сомнения рассеялись: да это был мой соотечественник, которого я встретил, когда впервые попал в Санкт-Петербург. В двух шагах от саней он остановился, переложил смычок в левую руку и, сняв тремя пальцами свой цилиндр, поклонился мне по всем правилам хореографического искусства.

— Сударь, — проговорил он, — не считите за бестактность, но не могу ли я узнать у вас, в какой части света я нахожусь?

— Сударь, — ответил я, — вы находитесь на южном берегу Немана, приблизительно в тридцати лье от Кенигсберга. Слева от вас лежит Восточная Пруссия, справа — Балтийское море.

— Так, так! — воскликнул мой собеседник, явно обрадованный моим ответом.

— Не считите и вы за бестактность с моей стороны, — проговорил я, — но объясните мне, сударь, каким образом вы оказались во фраке, в черных шелковых чулках, с цилиндром на голове и со скрипкой под мышкой в тридцати лье от всякого жилья да еще по такому морозу?

— Вам это кажется странным, не так ли? Но... можете ли вы заверить меня, что я действительно нахожусь за пределами империи его величества самодержца всея Руси?

— Вы находитесь во владениях короля Фридриха-Вильгельма.

— Превосходно! Надо вам сказать, сударь, что на свою беду я давал уроки танцев почти всем молодым людям, которые злоумышляли против его величества Николая I. Как того требовало мое искусство, я постоянно бывал то у одних, то у других из них, а эти вертопрахи поручали мне свои злонамеренные письма, которые я передавал по назначению, клянусь честью, сударь, с таким же простодушием, с каким я передал бы приглашение на обед или на бал. Заговор всплыл на поверхность, вы, вероятно, слышали об этом?

Я утвердительно кивнул.

— Не знаю, каким образом, но роль, которую я поневоле сыграл в этом деле, была раскрыта, и меня посадили в тюрьму. Положение было серьезное: меня признали виновным в недонесении. Но как я мог о чем-нибудь донести, когда ровным счетом ничего не знал? Ведь это же яснее ясного.

Я кивнул, выражая этим свое полное с ним согласие.

— Так вот, сударь, в ту самую минуту, когда я ожидал, что меня повесят, меня усадили в закрытые сани, где, к слову сказать, ехать было очень удобно, но откуда меня выпускали только два раза в день для удовлетворения естественных потребностей, таких, как принятие пищи...

Я кивнул в подтверждение, что прекрасно все понимаю.

— Короче говоря, сударь, четверть часа тому назад меня высадили среди этой равнины, и мои провожатые умчались во весь дух, да, сударь, во весь дух, не сказав мне ни слова, что было не особенно любезно с их стороны, но и не потребовав с меня на водку, что было весьма деликатно. Я уже думал, что нахожусь где-нибудь в Тобольске, за Уральским хребтом. Вы бывали в Тобольске, сударь?

Я снова кивнул.

— Теперь мне остается попросить извинения за то, что обеспокоил вас, и узнать, какие средства передвижения существуют в этой благословенной стране.

— В какую страну вы направляетесь, сударь?

— Я хочу вернуться во Францию. У меня есть сбережения, сударь, говорю это, потому что вы не похожи на вора. Итак, я хочу вернуться во Францию и жить потихоньку на скопленные мною деньги, вдали от людских козней и от всевидящего ока правительства. Потому-то я и спросил вас о средствах передвижения... не слишком разорительных для седоков.

— Вот что, мой друг,— сказал я сердечнее, чем раньше, так как мне стало жаль несчастного, который, сохраняя свою улыбку и хореографическое изящество, начинал дрожать от холода.— Если пожелаете, я могу вам предложить весьма простое и удобное средство передвижения.

— Какое именно, сударь?

— Я тоже еду к себе на родину, во Францию. Садитесь в сани рядом со мной, и по прибытии в Париж я доставлю вас, куда вы пожелаете, так же как по прибытии в Санкт-Петербург я доведу вас до гостиницы «Англетер».

— Как, это вы, дорогой господин Гризье? ¹

— Я, собственной персоной. Но не будем терять времени. Вам не терпится вернуться во Францию, мне тоже. Закутайтесь хорошенько в эту шубу. Вот так, и постарайтесь согреться.

— Я и в самом деле стал замерзать.

— И положите куда-нибудь свою скрипку.

— Нет, спасибо, пусть остается у меня под мышкой.

— Как желаете. Кучер, в дорогу!

Девять дней спустя, минута в минуту, я подвез своего спутника к зданию Оперы. Больше я его не видел.

Я никогда не умел копить деньги, а потому продолжаю давать уроки. Господь бог благословил мое искусство. У меня много учеников, и ни один из них не был убит на дуэли. А это самое большое счастье, о котором может мечтать учитель фехтования.

¹ Анонимный автор рукописи впервые открыл здесь свое никогнито. Я предполагаю, однако, что читатели давно уже узнали в герое этих мемуаров нашего знаменитого учителя фехтования.

МУЧЕНИКИ¹

Павлу Пестелю едва исполнилось тридцать лет. Хотя фамилия его немецкая, но он русский от рождения: воспитывался в Дрездене, затем, прибыв в Петербург, вступил в Пажеский корпус и продолжал курс учения вплоть до получения звания капитана во время французской кампании. Однажды, находясь в Баварии, увидев, что баварские солдаты избивают французского крестьянина, он лично усмирил их. В Россию он возвратился в должности адъютанта генерала Витгенштейна; получив звание полковника, он стал командиром пехотного полка в Вятке.

Невысокого роста, но необычайно подвижный, сильный, он обладал отличной фигурой. О нем отзывались как о человеке остроумном, лукавом,

¹ Перевод М. С. Трескунова



властолюбивом. Несомненно, это был глубокий ум, оказавший влияние даже на тех его сподвижников, которые не питали к нему симпатии. Среди этих лиц был Рылеев, также обладавший поразительным разумом, и Александр Бестужев. Именно Пестель мечтал об основании союза, именно он составил проект русской конституции, и, наконец, именно его призыв был повсюду, где речь шла о смелых проектах и решительных мерах.

О нем отзывались как о республиканце напоподобие Наполеона, но не Вашингтона.

Кто смог бы об этом судить? Он погиб раньше, чем смог исполнить свое дело. Смерть его была ужасной, постарались сделать все возможное, чтобы она стала позорной. Казалось бы, клевета не должна была витать над прахом Пестеля.

Кондратий Рылеев был поэтом. Он только что опубликовал свою поэму «Войнаровский», посвященную другу Бестужеву, где пророчески предсказал его и свою судьбу.

Послушайте его самого:

Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день
Меня преследует как тень;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых,
«Пора! — мне шелчет голос тайный: —
Пора губить врагов Украины!»

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!¹

¹ Рылеев К. Ф. Наливайко.— В кн.: Рылеев К. Ф. Поли. собр. стихотворений. Л., 1971, с. 233—234.

Мы не смогли бы лучше охарактеризовать Рылеева, нежели это делают его стихи.

Сергей Муравьев-Апостол был подполковником Черниговского пехотного полка. Это был замечательный офицер, смелый, великодушный, воспитанный в либеральном духе, вошедший в группу заговорщиков с момента ее основания. Его двойная фамилия указывает на то обстоятельство, что он принадлежал к той семье Муравьевых, которая дала России многих выдающихся людей, и к семье казацкого гетмана Апостола. Его отец Иван Муравьев-Апостол, которого я очень хорошо знал, проживал во Флоренции, куда он удалился, не желая оставаться в России, где, по его словам, он оплакивал прах троих своих сыновей: одного, покончившего жизнь самоубийством, другого — повешенного, третьего — ссыльного. Иван Муравьев-Апостол был сенатором и во времена империи исполнял обязанности русского посла в ганзейских городах, а затем в Испании. Эти три сына, которых он лишился при роковом стечении обстоятельств, составляли его гордость и его славу.

— Ни на одного из своих сыновей я не могу пожаловаться, — говорил он мне, вытирая слезы. Лично он являлся скорее аристократом, нежели либералом. Это был замечательный филолог, главным образом эллинист. Он перевел на русский язык «Облака» Аристофана и опубликовал в 1823 году «Путешествие в Тавриду». На смерть своего старого друга Александра I он написал оду, одновременно переведя ее на латинский язык. Его любимым чтением был «Прикованный Прометей» Эсхила.

Сергей также, хотя и не являлся литератором, был образованным человеком. Службу в армии он начал в 1816 году и примкнул к той группе офицеров, которая восстала против своего командира Шварца. После преобразования полка он перешел в Черниговский, что способствовало его сближению с Пестелем.

Четвертому обвиняемому — Михаилу Бестужеву-Рюмину было двадцать лет. Он служил младшим лейтенантом в пехотном полку Полтавы; именно здесь он присоединился к заговору.

Что касается Петра Каховского, то напрасно мы будем искать сведения и факты о нем. Заговорщик и солдат, он умел конспирировать, сражаться, героиче-

ски принять смерть, большего от него нельзя было требовать.

Императрица Елизавета, отменив смертную казнь за ординарные преступления, сохранила эту меру наказания для лиц, обвиняемых в государственной измене, вернее сказать, она даже не упомянула о них. Во имя данной ею самой клятвы, на протяжении всего ее царствования не было совершено ни одной казни, при которой преступник умирает сразу, но она разрешила применять кнут и розги, и под их ударами люди умирали, хотя слово «смерть» не упоминалось в приговоре; судья так же, как и палач, отлично знали, что невозможно остаться в живых после ста ударов кнутом и града ударов шпицрутенами.

По делу ста двадцати одного обвиняемого верховный суд приговорил пятерых к четвертованию: Пестеля, Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Каховского.

Следствие велось втайне, известны стали лишь его результаты.

Император пожелал увидеть некоторых обвиняемых и лично допросить их.

Он допросил Рылеева.

— Ваше величество, — сказал ему поэт, заранее воспевший свою смерть, — я знал, что дело приведет меня к гибели, но семена, посеянные нами, взойдут и впоследствии принесут свои плоды.

Он допросил Николая Бестужева, брата Михаила.

— Сударь, — сказал ему император, — мне нравится твердость вашего характера, я смог бы вас помиловать, если бы был убежден, что в будущем вы станете мне верным слугой.

— Ваше величество, — ответил осужденный, — именно это обстоятельство и вызывает наше недовольство, император может миловать и может казнить, в то время как народ не имеет права возразить императору. Поэтому я прошу ваше величество не нарушать закон ради меня, и пусть в будущем судьба ваших подданных не зависит от капризов и вспышек вашего гнева.

Он допросил Михаила Бестужева-Рюмина.

— Я ни в чем не раскаиваюсь, — ответил Бестужев, — я умираю, исполнив долг и убежденный в том, что за меня отомстят.

Долгое время император оставался задумчив, уверенность в собственной непогрешимости, вера в предначертанную миссию, которую он должен исполнить и о которой мы расскажем несколько позже,— не было ли поколеблено все это?

Конечно же, нет. Ведь когда старый сенатор Лопухин принес ему на подпись приговоры суда, он вначале стал рассматривать те, в которых Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Каховский были приговорены к четвертованию. Не колеблясь, он начертал: «Быть по сему», подписав: «Николай». Затем он вручил приговор председателю суда.

Старый Лопухин, без содрогания лицезревший безумные выходки Павла I, побледнел, увидев молодого императора, утвердившего столь жестокою кару.

— Что с вами, Лопухин? — спросил император у председателя суда, побледневшего и дрожавшего. — Разве мы здесь занимаемся игрой и разве приговор суда несправедлив?

— Отнюдь нет, ваше величество,— ответил сенатор,— но, быть может, суд вынес столь суровый приговор лишь для того, чтобы предоставить возможность вашему величеству проявить милосердие.

— Я могу утвердить приговор суда, ибо, утверждая его, я не приговариваю, а лишь подтверждаю. Если же я изменил бы форму казни, то это означало бы, что приговариваю их я. Сообщите суду, что форма исполнения смертной казни может быть изменена по его усмотрению.

При этом он разорвал приговор, с тем чтобы суд представил ему на подпись другой.

23 июля собрался Верховный суд для того, чтобы изменить приговор, касающийся Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Петра Каховского.

Вот заключительная часть приговора:

«Верховный суд, учитывая то милосердие, которое было проявлено их величеством, смягчившим наказание в отношении других преступников и пользуясь предоставленным ему правом, приговаривает:

Вместо мучительной смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру

Каховскому приговором Суда определенной,— сих преступников, за их тяжкие злодеяния,— повесить».

Все милосердие ограничилось заменой жестокой казни казнью позорной.

Несчастные смертники надеялись, что их расстреляют либо обезглавят.

В России виселицы не существовало со времен Петра, когда были повешены стрельцы.

Император Николай подписал приговор суда, предоставил осужденным двадцать четыре часа, чтобы, прежде чем предстать перед всевышним, они могли предаться возвышенным размышлениям, а сам уехал в Царское Село.

Никто не может поведать о том впечатлении, которое произвела на приговоренных эта «милость». Все с бесстрастными лицами выслушали приговор, не обмолвившись ни единым словом.

Все согласились принять церковное благословление. Священник пообещал Рылееву, что он лично передаст его последнее письмо к жене. В доказательство того, что письмо вручено адресату, вдова должна была вручить священнику золотую табакерку. Когда мы в дальнейшем расскажем о русском духовенстве, читатели смогут убедиться, что вознаграждение для священнослужителей не является чем-то предосудительным.

Все пребывали в безмолвии, но в особенности невозмутим был Пестель, не отвергая ни одного из своих убеждений, не раскаиваясь ни в одном из совершенных им деяний. Он оставался до конца убежденным в том, что принципы, изложенные в «Русской правде», являются благоразумными и своевременными.

25 июля, около двух часов ночи, хотя казнь должна была состояться лишь в 10 часов, на валу в крепости сооружалась широкая виселица, на которой должны были висеть пять осужденных.

Это происходило напротив маленькой деревянной церкви св. Троицы, воздвигнутой на берегу Невы на Петербургской стороне, там, где прежде всего обосновался Петр Великий.

Слабая дробь барабанов, зловещие звуки фанфар неслись из различных кварталов города, так как каждый полк Петербургского гарнизона должен был направить роту солдат к месту казни.

Роты солдат, отряженные из различных казарм, соединились в крепости и расположились у подножия ее стен.

Отсюда исходили зловещие звуки барабанной дробы, протяжные и траурные, исполняемые сводным оркестром барабанщиков.

Двести либо триста зрителей расположились за кругом, замкнувшим солдатскую цепь, выстроенную возле крепостной стены, а так как ужасная сцена казни должна была произойти на валу, собравшиеся ясно различали все через головы солдат.

В три часа вновь раздалась барабанная дробь. Тогда все увидели четко выделявшихся на фоне прозрачной утренней лазури тех осужденных, которых впоследствии помиловали.

Их распределили по группам. Каждая группа находилась напротив полка, к которому ранее принадлежала, позади каждой находилась виселица. Вначале они выслушали приговор, потом их поставили на колени, затем с них были сорваны эполеты, знаки отличия, форменное платье, над их бритыми головами были сломаны их шпаги, им был нанесен удар «в лоб», они были переодеты в широкие солдатские плащи, затем прошли один за другим перед эшафотом, в то время как в огромный костер бросали их форму, знаки отличия, ордена. После чего поодиночке они вошли в крепость.

И тогда пятеро приговоренных к смертной казни в свою очередь появились на помосте.

Толпа, находившаяся на расстоянии ста шагов от приговоренных, не могла различить черты их лиц, к тому же осужденные были одеты в серые плащи с опущенными на голову капюшонами.

Они поодиночке поднялись на помост, потом встали на табуреты, установленные напротив виселицы, в том порядке, который был определен приговором. Первым взошел Пестель, на крайнюю левую скамью, если считать от тех, кто на них смотрел. Затем Рылеев, затем Сергей Муравьев-Апостол, потом Бестужев-Рюмин, и, наконец, правую крайнюю занял Каховский.

Их шеи обкрутили веревкой, и то ли по невежеству, то ли из-за жестокости, веревки были обтянуты вокруг капюшонов, что продлевало процесс удушения до того момента, пока не будет переломан позвонок шеи.

Исполнив это, палач удалился.

Сразу же после его ухода помост из-под их ног провалился.

И тут произошло нечто ужасное.

Тела двух висевших по краям эшафота — Пестеля и Каховского остались висеть, медленно лишаясь жизни.

Но трое других выскользнули из петли и упали вниз вместе со своими табуретами.

К смертникам направились конвоиры.

Первым извлечен из могилы (у них были связаны руки, и они не могли помочь себе) был Муравьев-Апостол.

— О господи,— произнес он, снова увидев свет,— согласитесь, ведь весьма тяжело умирать дважды только лишь за то, что мечтал о свободе для своей страны.

Он спустился с помоста, сделал несколько шагов и остановился в ожидании.

Вторым был Рылеев.

— Взгляните только, на что способен народ-раб! — произнес он.— И повесить-то не умеют!

И он направился к Муравьеву.

Затем появился Бестужев-Рюмин; при падении он сломал ногу. Его перенесли к двум сподвижникам.

— Значит, так определено свыше,— сказал он,— ни в чем нам не повезло, даже в смерти!

И он улегся возле них, не будучи в силах стоять на ногах.

Помост установили вновь, им вновь обвязали веревками шею, и вновь, на этот раз прочно, затянулся ужасный шнур.

ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН



*Перевод с французского
Е. Л. Овсянниковой*



I

Благодарный народ

20 августа 1672 года город Гаага, такой оживленный, сияющий и нарядный, словно в нем царит вечный праздник,— город Гаага со своим тенистым парком, огромными деревьями, склоненными над готическими зданиями, с зеркальной поверхностью широких каналов, в которых отражаются почти восточные по стилю купола его колоколен,— 20 августа 1672 года, город Гаага — столица семи Соединенных провинций, был заполнен высypавшими на улицу возбужденными толпами граждан. Они, торопясь и волнуясь, с ножами за поясом, с мушкетами на плечах или с дубинами в руках, пестрым потоком стекались со всех сторон к грозной тюрьме Бюйтенгоф. Там в то время томился по доносу врача Тикелара, за покушение на убийство, Корнель де Витт,

брат Яна де Витта, бывшего великого пенсионария Голландии.

Если бы история этой эпохи и в особенности того года, с середины которого начинается наш рассказ, не была неразрывно связана с двумя вышеупомянутыми именами, то несколько последующих пояснительных строк могли бы показаться излишними. Но мы предупреждаем нашего старого друга-читателя, которому на первых страницах всегда обещаем, что он получит удовольствие, по мере наших сил выполняя это обещание,— мы предупреждаем его, что это введение так же необходимо для ясности нашего повествования, как и для понимания того великого политического события, с которым связана эта повесть.

Корнелю, или Корнелиусу де Витту, главному инспектору плотин области, бывшему бургомистру своего родного города Дордрехта и депутату генеральных штатов Голландии, было сорок девять лет, когда голландский народ, разочаровавшись в республиканском образе правления, как его понимал великий пенсионарий Голландии Ян де Витт, проникся страстной любовью к идее штатгальтерства, которое в свое время было особым эдиктом навсегда упразднено в Голландии по настоянию Яна де Витта.

Так как очень редко бывает, чтобы общественное мнение в своей капризной изменчивости не связывало определенного принципа с какой-нибудь личностью, то и в данном случае народ связывал республику с двумя суровыми братьями де Витт, этими римлянами Голландии, непоколебимыми сторонниками умеренной свободы и благосостояния без излишеств. А за идеей штатгальтерства, казалось народу, стоит, склонив свое суровое, осененное мыслью чело, молодой Вильгельм Оранский, которому современники дали прозвище Молчаливый.

Оба брата де Витт проявляли величайшую осторожность в отношениях с Людовиком XIV, так как они видели рост его влияния на всю Европу, силу же его они почувствовали на самой Голландии, когда столь блестящим успехом закончилась его Рейнская кампания, в три месяца сломившая могущество Соединенных провинций.

Людовик XIV с давних пор был врагом голландцев, и они оскорбляли его или насмехались над ним всеми

способами, правда — почти всегда устами находившихся в Голландии французских эмигрантов. Национальное самолюбие голландцев видело в нем современного Митридата, угрожающего их республике.

Народ питал к де Виттам двойную неприязнь. Вызывалась она, с одной стороны, упорной борьбой этих представителей государственной власти с устремлениями всей нации, с другой — естественным разочарованием побежденного народа, надеющегося, что другой вождь сможет спасти его от разорения и позора.

Этим другим вождем, готовым появиться, чтобы дерзновенно начать борьбу с Людовиком XIV, и был Вильгельм принц Оранский, сын Вильгельма II, внук (через Генриету Стюарт) Карла I — короля английского, тот молчаливый юноша, тень которого, как мы уже говорили, вырисовывалась за идеей штатгальтерства. В 1672 году ему было 22 года. Его воспитателем был Ян де Витт, стремившийся сделать из бывшего принца хорошего гражданина. Он-то и лишил его надежды на получение власти своим эдиктом об упразднении штатгальтерства на вечные времена. Но страх перед Людовиком XIV заставил голландцев отказаться от политики великого пенсионария, отменить этот эдикт и восстановить штатгальтерство для Вильгельма Оранского.

Великий пенсионарий преклонился перед волей сограждан; но Корнель де Витт проявил больше упорства и, несмотря на угрозы смертью со стороны оранжистских толп, осаждавших его дома в Дордрехте, отказался подписать восстанавливавший штатгальтерство акт. Только мольбы и рыдания жены заставили его, наконец, поставить свою подпись под этим актом, но к подписи он прибавил две буквы: V. C. — то есть *vi coactus* — «вынужденный силой».

И только чудом он спасся в этот день от своих врагов.

Что касается Яна де Витта, то и он ничего не выиграл от того, что быстрее и легче склонился перед волей сограждан. Спустя несколько дней после этого события на него было произведено покушение, — пронзенный несколькими ударами кинжала, он все же не умер от ран.

Это не удовлетворило оранжистов. Жизнь обоих братьев была постоянной преградой их замыслам. Они

изменили свою тактику и пытались достичь клеветой того, чего не могли выполнить при помощи кинжала, рассчитывая в любой момент, когда будет нужно, вернуться к первой своей тактике.

Не всегда случается, чтобы для выполнения великого исторического дела появлялся столь же великий деятель. Когда же такое совпадение происходит, история тотчас же отмечает имя такого деятеля, чтобы им могли восхищаться потомки.

Но когда сам черт вмешивается в людские дела, чтобы погубить какого-нибудь человека или целое государство, редко бывает, чтобы у него под рукой не оказалось подлеца, которому достаточно шепнуть на ухо одно слово — и он тотчас же примется за работу. Таким подлецом, в данных обстоятельствах оказавшимся весьма подходящей для черта личностью, явился, как мы уже, кажется, говорили, Тикелар, по профессии врач.

Он заявил, что Корнель де Витт, возмущенный отменой эдикта о штатгальтерстве, что он, впрочем, доказал припиской к своей подписи, и воспламененный ненавистью к Вильгельму Оранскому, подговорил убийцу освободить республику от нового штатгальтера и что этим убийцей является он, Тикелар. Однако при одной лишь мысли о данном ему поручении он почувствовал такое угрызение совести, что предпочел лучше разоблачить преступление, чем его совершить.

Можно себе представить, какое возмущение охватило оранжистов при известии о заговоре. 16 августа 1672 года Корнель был арестован в своем доме, и его подвергли в Бюйтенгофской тюрьме пытке, чтобы вырвать у него признание в заговоре против Вильгельма.

Но Корнель был не только выдающимся умом, — он был также человеком великого мужества. Он принадлежал к той породе людей, которые преданы своим политическим убеждениям, так как их деды преданы были вере, которые улыбаются под пыткой; и в то время, как его терзали, он декламировал твердым голосом, скандируя размер, первую строфу оды Горация *Yustum et tena sem*¹ — ни в чем не признался и не только измотал палачей, но и поколебал их фанатическую уверенность в своей правоте.

¹ «Кто, справедливый, стоек в решениях». (См. прим.).

Тем не менее судьи не предъявили Тикелару никакого обвинения, а Корнеля де Витта лишили всех должностей и званий и приговорили к вечному изгнанию из пределов республики.

При первых же слухах о возведенных на брата обвинениях Ян де Витт отказался от своей должности великого пенсионария. А Вильгельм Оранский, стараясь, впрочем, несколько ускорить события, поджидал, чтобы народ, идолом которого он являлся в то время, сложил ему из трупов обоих братьев две ступеньки, необходимые ему для того, чтобы взойти к месту штатгальтера.

Итак, 20 августа 1672 года, как мы уже сказали в начале этой главы, все население города стекалось к Бюйтенгофу, чтобы присутствовать при выходе из тюрьмы Корнеля де Витта, отправлявшегося в изгнание. Всем хотелось увидеть, какие следы оставила пытка на благородном теле этого человека, который так хорошо знал Горация.

Поспешим добавить, что не вся масса, стекавшаяся к Бюйтенгофу, стремилась туда с безобидной целью присутствовать на необычном зрелище; многие из толпы хотели сыграть при этом активную роль или, вернее, выступить в роли, которая, по их мнению, была раньше плохо сыграна.

Мы имеем в виду роль палача.

Правда, в толпе были также люди, спешившие к зданию тюрьмы с менее враждебными намерениями. Их главным образом интересовало зрелище, столь привлекательное для толпы и льстящее ее самолюбию, зрелище повергнутого в прах человека, который долго и гордо стоял во весь свой рост.

Ведь Корнель де Витт — этот бесстрашный человек — сидел в заключении и был измучен пыткой. Не увидят ли они его бледным, окровавленным, униженным? Разве это не блестящий триумф для буржуазии, еще более завистливой, чем простой народ, триумф, в котором каждый порядочный гражданин Гааги должен был принять участие?

— И к тому же, — говорили оранжистские подстрекатели, ловко рассеявшиеся в толпе, с расчетом превратить ее одновременно в острое и тупое орудие, — не подвернется ли случай по пути от Бюйтенгофа до

заставы швырнуть грязью, а может быть, даже и камнем в этого гордеца, главного инспектора плотин, который не только дал принцу Оранскому штатгальтерство *vi coactus*, но еще хотел его убить?

А более ярые враги Франции говорили, что надо бы действовать с толком, и если б нашлись в Гааге смелые люди, — они никогда бы не допустили Корнеля де Витта отправиться в изгнание. Ведь он, как только очутится за пределами Голландии, сейчас же снова начнет вместе с Францией плести свои интриги и будет жить со своим негодяем-братом Яном на золото маркиза Лува.

Понятно, что при таком настроении люди, жаждущие зрелища, обычно не идут шагом, а бегут. Вот почему жители Гааги стремительно бежали по направлению к Бюйтенгофу.

Среди наиболее торопившихся бежал и Тикелар, полный озлобления и не знающий, что же ему теперь предпринять. У оранжистов он считался олицетворением честности, национальной гордости и христианского милосердия.

Этот благородный негодяй изощрял все свое остроумие и пускал в ход всю силу своего воображения, рассказывая, как Корнель де Витт пытался купить его совесть, какие суммы денег он сулил ему и какие адские махинации строил заблаговременно, чтобы устранить для него, Тикелара, все затруднения при покушении на убийство.

И каждая его фраза жадно воспринималась толпой, вызвала бурные возгласы восторженной любви к Вильгельму Оранскому и слепой ненависти к братьям де Виттам.

Толпа готова была проклинать неправедных судей, которые своим приговором давали возможность скрыться живым и невредимым такому ужасному преступнику, каким был этот негодяй Корнель де Витт.

А подстрекатели тем временем шептали исподтишка:
— Он ускользнет от нас. Он уедет.

Другие добавляли:

— В Схвенингене его поджидает корабль, французский корабль. Тикелар видел его.

— Доблестный Тикелар! Честный Тикелар! — хором кричала толпа.

— А вы не думаете о том, — произнес кто-то, — что вместе с Корнелем сбежит и Ян, такой же предатель, как и его брат?

— И эти два мерзавца будут проедать во Франции наши деньги, деньги за наши корабли, наши арсеналы, наши верфи, проданные Людовику XIV!

— Не дадим им уехать! — воскликнул некий патриот, более ярый, чем прочие.

— К тюрьме! К тюрьме! — завопила толпа.

И под эти возгласы ускорялись шаги горожан, заряжались мушкеты, сверкали бердыши и загорались глаза.

Однако никакого насилия пока еще не было совершено, и кавалерийская цепь, охранявшая доступ к Бюйтенгофу, стояла суровая, непроницаемая, молчаливая и более грозная в своей неподвижности, чем эти возбужденные толпы гаагских буржуа с их криками и угрозами. Отряд стоял неподвижно под зорким взглядом своего командира капитана гаагской кавалерии, который сидел на коне с обнаженной, но опущенной к стремени шпагой.

Этому отряду кавалерии, единственному барьеру, защищавшему тюрьму, пришлось сдерживать не только бушующую, разнузданную толпу народа, но также и отряд гражданской милиции, выстроенный перед тюрьмой для совместного с кавалерией поддержания порядка. Милиция подавала пример смутьянам провокационными выкриками:

— Да здравствует принц Оранский! Долой предателей!

Правда, присутствие капитана Тилли и его кавалеристов несколько сдерживало пыл вооруженных буржуа, но вскоре они разъярились от собственных криков, и, так как им не было понятно, что можно быть храбрыми, не производя шума, они приняли спокойствие кавалеристов за робость и двинулись к тюрьме, увлекая за собой толпу.

Тогда граф Тилли, нахмутив брови и подняв шпагу, один двинулся им навстречу:

— Эй, вы, господа из гражданской милиции! — воскликнул он, — зачем вы тронулись с места и чего вы хотите?

Буржуа замахали мушкетами, продолжая кричать:

— Да здравствует принц Оранский! Смерть предателям!

— Да здравствует принц Оранский, пусть так, — сказал Тилли, — хотя я и предпочитаю веселые лица

мрачным. Смерть предателям! Если вам угодно, но при условии, что вы ограничитесь только криками. Кричите сколько вам угодно: «Смерть предателям», но выполните этой угрозы вам не придется. Я поставлен здесь, чтобы этого не допустить, и не допущу.— И затем, повернувшись к своим солдатам, скомандовал:

— Целься!

Солдаты Тилли выполнили команду с невозмутимым спокойствием. И милиция и толпа немедленно отступили назад в некотором смятении, вызвавшем улыбку у командира кавалерии.

— Ну, ну,— сказал он насмешливым тоном, свойственным только военным: — не пугайтесь, граждане, мои солдаты не сделают ни одного выстрела, но зато и вы, со своей стороны, не сделаете ни одного шага к тюрьме.

— А знаете ли вы, господин офицер, что у нас есть мушкеты? — крикнул взбешенный командир гражданской милиции.

— Еще бы, я хорошо вижу, что у вас есть мушкеты,— ответил Тилли,— они все время мелькают у меня перед глазами; но заметьте также и вы, что у нас есть пистолеты, которые прекрасно бьют на пятьдесят шагов, а вы стоите только в двадцати пяти.

— Смерть предателям! — загорлаили возмущенные буржуа.

— Ну,— проворчал офицер,— вы повторяете все одно и то же; это надоедает.

И он занял свой пост во главе отряда, в то время как смятение вокруг Бюйтенгофа все усиливалось.

И, однако, возбужденные толпы не знали, что в тот самый момент, когда они чуяли кровь одной из своих жертв, другая жертва, словно спеша навстречу своей судьбе, направлялась в Бюйтенгоф и проходила в каких-нибудь ста шагах от площади, позади отряда кавалеристов.

Действительно, Ян де Витт только что вышел из своей кареты и в сопровождении слуги спокойно шел пешком по переднему двору, ведущему к тюрьме.

Он назвал себя привратнику, который, впрочем, и так знал его.

— Здравствуй, Грифус,— сказал он,— я пришел, чтобы увести моего брата Корнеля де Витта, приговоренного, как тебе известно, к изгнанию.

Привратник, похожий на выдрессированного медведя, обученного открывать и закрывать двери тюрьмы, поклонился Яну де Витту и пропустил его внутрь здания, двери которого сейчас же за ним закрылись.

Пройдя шагов десять, Ян де Витт встретил очаровательную семнадцатилетнюю или восемнадцатилетнюю девушку в фрисландском костюме, которая сделала ему изящный реверанс.

— Здравствуй, прекрасная милая Роза,— сказал он, взяв ее ласково за подбородок.— Как чувствует себя мой брат?

— О, господин Ян,— ответила девушка,— я опасаюсь не за страдания, которые ему причинили,— они ведь уже прошли.

— Чего же ты боишься, красавица?

— Я опасаюсь, господин Ян, зла, которое ему намереваются еще причинить.

— Ах, да,— сказал де Витт: — ты думаешь об этой толпе, не правда ли?

— Вы слышите, как она бушует?

— Да, действительно, народ очень возбужден, но так как мы ему, кроме добра, ничего не сделали, то, может быть, при виде нас он успокоится.

— К несчастью, этого недостаточно,— прошептала девушка и удалилась, заметив властный знак, который ей сделал отец.

— Да, недостаточно, дитя мое, ты права.

— Вот молоденькая девушка,— шептал, продолжая свой путь, Ян де Витт,— по всей вероятности, она не умеет даже читать и, следовательно, никогда ничего не читала, но она одним словом охарактеризовала историю человечества.

И Ян де Витт, бывший великий пенсионарий, по-прежнему спокойный, но только более грустный, чем при входе, продолжал свой путь к камере брата.

II

Два брата

В тревоге красавицы Розы было верное предчувствие: в то время как Ян де Витт поднимался по каменной лестнице, ведущей в тюрьму к брату,

вооруженные буржуа прилагали все усилня, чтобы удалить отряд Тилли, не дававший им действовать.

При виде их стараний народ, одобрявший благие намерения своей милиции, кричал во всю глотку:

— Да здравствует гражданская милиция!

Что касается Тилли, то он, столь же осторожный, сколь и решительный, вел под охраной пистолетов своего эскадрона переговоры с гражданской милицией, стараясь втолковать ей, что правительством дан ему приказ охранять тремя кавалерийскими взводами тюрьму и прилегающие улицы.

— Зачем этот приказ? Зачем охранять тюрьму? — кричали оранжисты.

— Ну вот, — ответил Тилли, — теперь вы мне задаете вопросы, на которые я вам не могу ответить. Мне приказали: «О х р а н я й т е», — я о х р а н я ю. Вы, господа, сами почти военные, и вы должны знать, что военный приказ не оспаривается.

— Но этот приказ вам дали для того, чтобы предоставить возможность предателям выйти за пределы города.

— Вполне возможно, раз предатели осуждены на изгнание, — ответил Тилли.

— Но от кого исходит приказ?

— От правительства, конечно.

— Они предают нас!

— Этого я не знаю.

— И вы также изменник!

— Я?

— Да, вы.

— Ах, вот как! Но подумайте, господа горожане, кому мог бы я изменить? Правительству? Но где же здесь измена? Ведь я нахожусь у него на службе и в точности выполняю его приказ.

Ввиду того, что граф был совершенно прав и на его ответ нечего было возразить, крики и угрозы стали еще громче. Эти крики и угрозы были ужасны, а граф отвечал на них с самой изысканной вежливостью:

— Господа горожане, убедительно прошу вас, разрядите свои мушкеты; может произойти случайный выстрел, и, если он ранит хоть одного из моих кавалеристов, мы уложим у вас человек двести. Нам это будет очень неприятно, а вам еще неприятнее; тем более, что ни у меня, ни у вас подобных намерений нет.

— Если бы вы это сделали,— кричали буржуа,— мы бы тоже открыли по вас огонь.

— Так, так, но если бы вы, стреляя в нас, перебили бы нас всех от первого до последнего, всё же от этого не воскресли бы и ваши люди, убитые нами.

— Уступите нам площадь, и вы поступите, как честный гражданин.

— Во-первых, я не гражданин,— ответил Тилли,— я офицер, что далеко не одно и то же; а затем я не голландец, а француз, что еще более усугубляет разницу. Я признаю только правительство, которое платит мне жалованье. Принесите мне от него приказ очистить площадь, и я в ту же минуту сделаю полуоборот, тем более, что мне самому ужасно надоело здесь торчать.

— Да! Да! — закричала сотня голосов, которую сейчас же поддержали еще пятьсот других.— К ратуше! К депутатам! Скорей! Скорей!

— Так, так,— бормотал Тилли, глядя, как удаляются самые неистовые из горожан,— идите к ратуше, идите требовать, чтобы депутаты совершили подлость, и вы увидите, удовлетворят ли ваше требование. Идите, мои друзья, идите!

Достойный офицер полагался на честь должностных лиц так же, как и они полагались на его честь солдата.

— Знаете, капитан,— шепнул графу на ухо его старший лейтенант,— пусть депутаты откажут этим бесноватым в их просьбе, но все же пусть они нам пришлют подкрепление; я полагаю, оно нам не повредит.

В это время Ян де Витт, оставленный нами, когда он поднимался по каменной лестнице после разговора с тюремщиком Грифусом и его дочерью Розой, подошел к двери камеры, где на матрасе лежал его брат Корнель, которого, как мы уже говорили, прокурор велел подвергнуть предварительной пытке.

Приговор об его изгнании был получен, и тем самым отпала надобность в дальнейшем дознании и новых пытках.

Корнель, вытянувшись на своем ложе, лежал с раздробленными кистями, с переломанными пальцами. Он не сознался в несовершенном им преступлении и после трехдневных страданий вздохнул, наконец, с облегчением, узнав, что судьи, от которых он ожидал

смерти, благоволили приговорить его только к изгнанию.

Сильный телом и непреклонный духом, он бы очень разочаровал своих врагов, если бы они могли в глубоком мраке Бюйтенгофской камеры разглядеть игравшую на его бледном лице улыбку мученика, который забывает о всей мерзости земной, когда перед ним раскрывается сияние неба.

Напряжением скорее своей воли, чем благодаря какой-либо реальной помощи, Корнель собрал все свои силы, и теперь он подсчитывал, сколько времени еще могут юридические формальности задержать его в заключении.

Это было как раз в то время, когда гражданская милиция, которой вторила толпа, яростно поносила братьев де Витт и угрожала защищавшему их капитану Тилли. Шум, подобно поднимающемуся морскому приливу, докатился до стен тюрьмы и дошел до слуха узника.

Но, несмотря на угрожающий характер, этот шум не встревожил Корнеля, он даже не поднялся к узкому решетчатому окну, через которое проникал уличный гул и дневной свет.

Узник был в таком оцепенении от непрерывных физических страданий, что они стали для него почти привычными. Наконец он с наслаждением чувствовал, что его дух и его разум готовы отделиться от тела; ему даже казалось, будто они уже распрощались с телом и витают над ним подобно пламени, которое взлетает к небу над почти потухшим очагом.

Он думал также о своем брате. И, может быть, эта мысль появилась потому, что он каким-то неведомым образом издали почувствовал приближение брата.

В ту самую минуту, когда представление о Яне так отчетливо возникло в мозгу у Корнеля, что он готов был прошептать его имя, дверь камеры распахнулась, вошел Ян и быстрыми шагами направился к ложу заключенного. Корнель протянул изувеченные руки с забинтованными пальцами к своему прославленному брату, которого ему удалось кое в чем превзойти: если ему не удалось оказать стране больше услуг, чем Ян, то во всяком случае голландцы неавидели его сильнее, чем брата.

Ян нежно поцеловал Корнеля в лоб и осторожно опустил на тюфяк его больные руки.

— Корнель, бедный мой брат,— произнес он,— ты очень страдаешь, не правда ли?

— Нет, я больше не страдаю, ведь я увидел тебя.

— Но зато какие для меня мучения видеть тебя в таком состоянии, мой бедный, дорогой Корнель!

— Потому-то и я больше думал о тебе, чем о себе самом, и все их пытки вырвали у меня только одну жалобу: «бедный брат». Но ты здесь, и забудем обо всем. Ты ведь приехал за мной?

— Да.

— Я выздоровел. Помоги мне подняться, брат, и ты увидишь, как хорошо я могу ходить.

— Тебе не придется далеко идти, мой друг,— моя карета стоит позади стрелков отряда Тилли.

— Стрелки Тилли? Почему же они стоят там?

А вот почему: предполагают,— ответил сам свойственной ему печальной улыбкой великий пенсионарий,— что жители Гааги захотят посмотреть на твой отъезд и опасаются, как бы не произошло волнений.

— Волнений? — переспросил Корнель, пристально взглянув на несколько смущенного брата: — волнений?

— Да, Корнель.

— Так вот что я сейчас слышал,— произнес Корнель, как бы говоря сам с собой. Потом он опять обратился к брату: — Вокруг Бюйтенгофа толпится народ?

— Да, брат.

— Как же тебе удалось?

— Что?

— Как тебя сюда пропустили?

— Ты хорошо знаешь, Корнель, что народ нас не особенно любит,— заметил с горечью великий пенсионарий.— Я пробирался боковыми улочками.

— Ты прятался, Ян?

— Мне надо было попасть к тебе, не теряя времени. Я поступил так, как поступают в политике и на море при встречном ветре: я лавировал.

В этот момент в тюрьму донесли с площади еще более яростные крики.

Тилли вел переговоры с гражданской милицией.

— О, ты — великий кормчий, Ян,— заметил Корнель,— но я не уверен, удастся ли тебе сквозь бурный прибой толпы вывести своего брата из Бюйтенгофа так

же благополучно, как ты провел между мелей Шельды до Антверпена флот Тромпа.

— Мы все же с божьей помощью попытаемся, Корнель, — ответил Ян, — но сначала я должен тебе кое-что сказать.

— Говори.

С площади снова донеслись крики.

— О, о, — заметил Корнель, — как разъярены эти люди! Против тебя? Или против меня?

— Я думаю, что против нас обоих, Корнель. Я хотел сказать тебе, брат, что оранжисты, распуская про нас гнусную клевету, ставят нам в вину переговоры с Францией.

— Глупцы!..

— Да, но они все же упрекают нас в этом.

— Но ведь если бы наши переговоры успешно закончились, они избавили бы их от поражений при Орсэ, Везеле и Рейнберге. Они избавили бы их от перехода французов через Рейн, и Голландия все еще могла бы считать себя, среди своих каналов и болот, непобедимой.

— Все это верно, брат, но еще вернее то, что если бы сейчас нашли нашу переписку с господином де Лувуа, то хоть я и опытный лоцман, но не смог бы спасти даже и тот хрупкий челнок, который должен увезти за пределы Голландии де Виттов, вынужденных теперь искать счастья на чужбине. Эта переписка, которая честным людям доказала бы, как сильно я люблю свою страну и какие личные жертвы я готов был принести во имя ее свободы, во имя ее славы, — эта переписка погубила бы нас в глазах оранжистов, наших победителей. И я надеюсь, дорогой Корнель, что ты ее сжег перед отъездом из Дордрехта, когда ты направлялся ко мне в Гаагу.

— Брат, — ответил Корнель, — твоя переписка с господином де Лувуа доказывает, что в последнее время ты был самым великим, самым великодушным и самым мудрым гражданином семи Соединенных провинций. Я дорожу славой своей родины, особенно я дорожу твоей славой, брат, и я, конечно, не сжег этой переписки.

— Тогда мы погибли для этой земной жизни, — спокойно сказал бывший великий пенсионарий, подходя к окну.



— Нет, Ян, наоборот, мы спасем нашу жизнь и одновременно вернем былую популярность.

— Что же ты сделал с этими письмами?

— Я поручил их в Дордрехте моему крестнику, известному тебе Корнелиусу ван Берле.

— О бедняга! Этот милый, наивный мальчик, этот ученый, который, что так редко встречается, знает столько вещей, а думает только о своих цветах. И ты дал ему на хранение этот смертоносный пакет! Да, брат, этот славный бедняга Корнелиус погиб.

— Погиб?

— Да. Он проявит либо душевную силу, либо слабость. Если он окажется сильным (ведь, несмотря на то, что он живет вне всякой политики, что он похоронил себя в Дордрехте, что он страшно рассеян, он все же рано или поздно узнает о нашей судьбе), если он окажется сильным, он будет гордиться нами; если окажется слабым, он испугается своей близости к нам. Сильный, он громко заговорит о нашей тайне, слабый, он ее так или иначе выдаст. В том и другом случае, Корнель, он погиб, и мы тоже. Итак, брат, бежим скорее, если еще не поздно.

Корнель приподнялся на своем ложе и взял за руку брата, который вздрогнул от прикосновения повязки.

— Разве я не знаю своего крестника? — сказал Корнель. — Разве я не научился читать каждую мысль в голове ван Берле, каждое чувство в его душе? Ты спрашиваешь меня, — силен ли он? Ты спрашиваешь меня, — слаб ли он? Ни то, ни другое. Но не все ли равно, каков он сам. Ведь в данном случае важно лишь, чтоб он не выдал тайны, но он и не может ее выдать, так как он ее даже не знает.

Ян с удивлением повернулся к брату.

— О, — продолжал с кроткой улыбкой Корнель, — главный инспектор плотин ведь тоже политик, воспитанный в школе Яна. Я тебе повторяю, что ван Берле не знает ни содержания, ни значения доверенного ему пакета.

— Тогда поспешим, — воскликнул Ян: — пока еще не поздно, дадим ему распоряжение сжечь пакет.

— С кем же мы пошлем это распоряжение?

— С моим слугой Кракэ, который должен был сопровождать нас верхом на лошади. Он вместе со мной

пришел в тюрьму, чтобы помочь тебе сойти с лестницы.

— Подумай хорошенько, прежде чем сжечь эти славные документы.

— Я думаю, что раньше всего, мой славный Корнель, необходимо братьям де Витт спасти свою жизнь для того, чтобы спасти затем свою репутацию. Если мы умрем, кто защитит нас, Корнель? Кто сможет хотя бы понять нас?

— Так ты думаешь, что они убьют нас, если найдут эти бумаги?

Не отвечая брату, Ян протянул руку по направлению к площади Бюйтенгофа, откуда доносились яростные крики.

— Да, да,— сказал Корнель,— я хорошо слышу эти крики, но что они значат?

Ян распахнул окно.

— Смерть предателям! — вопила толпа.

— Теперь ты слышишь, Корнель?

— И это мы — предатели? — сказал заключенный, подняв глаза к небу и пожимая плечами.

— Да, это мы,— повторил Ян де Витт.

— Где Кракэ?

— Вероятно, за дверью камеры.

— Так позови его.

Ян открыл дверь и позвал верного слугу:

— Войдите, Кракэ, и запомните хорошенько, что вам скажет мой брат.

— О нет, Ян, словесного распоряжения недостаточно, к несчастью, мне необходимо написать его.

— Почему же?

— Потому что ван Берле никому не отдаст и не сожжет пакета без моего точного приказа.

— Но сможешь ли ты, дорогой друг, писать? — спросил Ян, взглянув на опаленные и изувеченные руки несчастного.

— О, были бы только чернила и перо!

— Вот, по крайней мере, карандаш.

— Нет ли у тебя бумаги? Мне ничего не оставили.

— А вот библия, оторви первую страницу.

— Хорошо.

— Но твой почерк сейчас будет неразборчив.

— Пустяки,— сказал Корнель, взглянув на брата,— эти пальцы, вынесшие огонь палача, и эта воля,

победившая боль, объединятся в одном общем усилии, и не бойся, брат, строчки будут безукоризненно ровные.

И действительно, Корнель взял карандаш и стал писать.

Тогда стало заметно, как от давления израненных пальцев на карандаш, на повязке выступили капли крови.

На висках великого пенсионаря выступил пот. Корнель писал:

«Дорогой крестник! Сожги пакет, который я тебе вручил, сожги его, не рассматривая, не открывая, чтобы содержание его осталось тебе неизвестным. Тайны такого рода, какие он содержит, убивают его владельцев; сожги, и ты спасешь Яна и Корнеля. Прощай и люби меня. Корнель де Витт. 20 августа 1672 года».

Ян со слезами на глазах вытер каплю крови, просочившуюся на бумагу, и передал письмо Кракэ с последними напутствиями. Затем он вернулся к Корнелю, который от испытанных страданий еще больше побледнел и был близок к обмороку.

— Теперь,— сказал он,— когда до нас донесется свисток нашего храброго слуги Кракэ, это будет означать, что он уже за пределами толпы, по ту сторону пруда. Тогда и мы тронемся в путь.

Не прошло и пяти минут, как продолжительный и сильный свист прорезал вершину черных вязов и заглушил вопли толпы у Бюйтенгофа.

В знак благодарности Ян простер руки к небу.

— Теперь,— сказал он,— двинемся в путь, Корнель...

III

Воспитанник Яна де Витта

В то время как доносившиеся к братьям все более и более яростные крики собравшейся у Бюйтенгофа толпы заставили Яна де Витта торопить отъезд Корнеля,— в это самое время, как мы уже упоминали, депутация от горожан направилась в городскую ратушу, чтобы потребовать отозвания кавалерийского отряда Тилли.

От Бюйтенгофа до Хогстрета совсем недалеко. В толпе можно было заметить незнакомца, который с самого начала с любопытством следил за деталями разыгравшейся сцены. Вместе с делегацией или, вернее, — вслед за делегацией, он направился к городской ратуше, чтобы узнать, что там произойдет.

Это был молодой человек, не старше двадцати двух — двадцати трех лет, не отличавшийся, судя по внешнему виду, большой силой. Он старался скрыть свое бледное длинное лицо под тонким платком из фрисландского полотна, которым беспрестанно вытирал покрытый потом лоб и пылающие губы. По всей вероятности, у него были веские основания не желать, чтобы его узнали. У него был зоркий, словно у хищной птицы, взгляд, и длинный орлиный нос, тонкий прямой рот, походивший на открытые края раны. Если бы Лафатер жил в ту эпоху, этот человек мог бы служить ему прекрасным объектом для его физиогномических наблюдений, которые с самого начала привели бы к неблагоприятным для объекта выводам.

«Какая разница существует между внешностью завоевателя и морского разбойника? — спрашивали древние. И отвечали: — Та же разница, что между орлом и коршуном».

Уверенность или тревога?

Мертвенно-бледное лицо, хрупкое болезненное сложение, беспокойная походка человека, следовавшего от Бюйтенгофа к Хогстрету за рычащей толпой, могли быть признаками, характерными или для недоверчивого хозяина, или для встревоженного вора. И полицейский, конечно, увидел бы в нем последнее, благодаря старанию, с каким человек, интересующий нас в данный момент, пытался скрыть свое лицо.

К тому же он был одет очень просто и, по-видимому, не имел при себе никакого оружия. Его худая, но довольно жилистая рука, с сухими, но белыми тонкими аристократическими пальцами опиралась не на руку, а на плечо офицера, который до того момента, как его спутник пошел за толпой, увлекая его за собой, стоял, держась за эфес шпаги, и с вполне понятным интересом следил за происходившими событиями.

Дойдя до площади Хогстрета, человек с бледным лицом стал вместе со своим сотоварищем у окна одного

дома за открытой, выступающей наружу ставней и устремил свой взор на балкон городской ратуши.

На неистовые крики толпы окно ратуши распахнулось и на балкон вышел человек.

— Кто это вышел на балкон? — спросил офицера молодой человек, только взглядом указывая на заговорившего, который казался очень взволнованным и скорее держался за перила, чем опирался на них.

— Это депутат Бовельт, — ответил офицер.

— Что за человек этот депутат Бовельт? Знаете вы его?

— Порядочный человек, как мне кажется, монсеньор.

При этой характеристике Бовельта, данной офицером, молодой человек сделал движение, в котором выразилось и странное разочарование и явная досада. Офицер заметил это и поспешил добавить:

— По крайней мере, так говорят, монсеньор. Что касается меня, то я этого утверждать не могу, так как лично не знаю Бовельта.

— Порядочный человек, — повторил тот, кого называли монсеньором, — но что вы хотите этим сказать? Честный? Смелый?

— О, пусть монсеньор извинит меня, но я не осмелился бы дать точную характеристику лица, которое, повторяю вашему высочеству, я знаю только по наружности.

— Впрочем, — сказал молодой человек, — подождем, и мы увидим.

Офицер наклонил голову в знак согласия и замолчал.

— Если этот Бовельт порядочный человек, — продолжал принц, — то он не особенно благосклонно примет требование этих одержимых.

Нервное подергивание руки принца, помимо его воли судорожно вздрагивавшей на плече спутника, выдавало жгучее нетерпение, которое он порою, а особенно в настоящий момент, так плохо скрывал под ледяным и мрачным выражением лица.

Послышался голос предводителя делегации горожан. Последний требовал от депутата, чтобы тот сказал, где находятся другие его товарищи.

— Господа, — повторил Бовельт, — я говорю вам, что в настоящий момент я здесь один с господином Аспереном и ничего не могу решать на свой страх.

— Приказ! приказ! — крикнули тысячи голосов. Бовельт пытался говорить, но слов не было слышно, и можно было видеть только быстрые, отчаянные движения его рук.

Убедившись, однако, что он не может заставить толпу слушать себя, Бовельт повернулся к окну и позвал Асперена.

Асперен также вышел на балкон. Его встретили еще более бурными криками, чем депутата Бовельта десять минут тому назад.

Он также пытался говорить с толпой, но вместо того, чтобы слушать увещания господина Асперена, толпа предпочла прорваться сквозь правительственную стражу, которая, впрочем, не оказала никакого сопротивления суверенному народу.

— Пойдемте, — сказал спокойно молодой человек, в то время как толпа врывалась в главные ворота ратуши. — Переговоры, как видно, будут происходить внутри. Пойдемте, послушаем, о чем будут говорить.

— О, монсеньор, монсеньор, будьте осторожны!

— Почему?

— Многие из этих депутатов встречались с вами, и достаточно лишь одному узнать ваше высочество...

— Да, чтобы можно было обвинить меня в подстрекательстве. Ты прав, — сказал молодой человек, и его щеки на миг покраснели от досады, что он проявил несдержанность и обнаружил свои желания. — Да, ты прав, останемся здесь. С этого места нам будет видно, вернутся ли они оттуда удовлетворенные или нет, и таким образом мы сможем определить, на сколько порядочен господин Бовельт, честен он или храбр. Это меня очень интересует.

— Но, — заметил офицер, посмотрев с удивлением на того, кого он величал монсеньором, — но я думаю, что ваше высочество ни одной минуты не предполагает, что депутаты прикажут кавалеристам Тилли удалиться. Не правда ли?

— Почему? — холодно спросил молодой человек.

— Потому что этот приказ был бы просто равносильен подписанию смертного приговора Корнелю и Яну де Внтт.

— Мы это сейчас узнаем,— холодно ответил молодой человек.— Одному лишь богу известно, что творится в сердцах людей.

Офицер украдкой посмотрел на непроницаемое лицо своего спутника и побледнел.

Этот офицер был человеком честным и смелым.

С того места, где остановились принц и его спутник, было хорошо слышно и голоса и топот толпы на лестнице ратуши. Затем этот шум стал распространяться по всей площади, вырываясь из здания через открытые окна зала с балконом, на котором появлялись Бовельт и Асперен; они теперь вошли внутрь, опасаясь, по всей вероятности, как бы напиральная толпа не перекинула их через перила.

Потом за окнами замелькали волиующиеся, беспорядочные тени. Зал, где происходили переговоры, заполнился народом.

Вдруг шум на мгновение затих, а потом вновь усилился и достиг такой мощи, что старое здание сотрясилось до самого гребня крыши.

Поток людей снова покотился по галереям и лестницам к выходной двери, из-под сводов которой он вихрем выкатывался наружу.

Во главе первой группы скорее летел, чем бежал, человек, с лицом, искаженным омерзительной радостью.

То был врач Тикелар.

— Вот он! Вот он! — кричал он, размахивая в воздухе бумажкой.

— Они получили приказ,— пробормотал пораженный офицер.

— Ну, вот теперь я убедился,— спокойно сказал принц.— Вы не знали, мой дорогой полковник, честный или храбрый человек этот Бовельт. Он ни то и ни другое.

Провожая спокойным взглядом катившийся перед ним поток толпы, он добавил:

— Теперь пойдемте к Бюйтенгофу, полковник; я думаю, что там мы сейчас увидим изумительное зрелище.

Офицер поклонился и, не отвечая, последовал за своим повелителем.

Площадь и все кругом было запружено бесчисленной толпой, но кавалеристы Тилли продолжали успешно сдерживать ее по-прежнему, а главное — с прежней твердостью.

Вскоре граф Тилли услышал всевозраставший шум приближавшегося людского потока и заметил его первые валы, катившиеся с быстротой бурного водопада. В то же мгновение он увидел над судорожно простертыми руками и сверкающим оружием развевающуюся в воздухе бумагу.

— Ого,— заметил он, приподнявшись на стремянах и коснувшись своего помощника эфесом шпаги,— мне кажется, что эти мерзавцы добились приказа.

— Подлые негодяи! — крикнул офицер.

Действительно, это был приказ, который гражданская милиция принесла с радостным ревом. Она тотчас же двинулась вперед и с громкими криками и опущенным оружием направилась к кавалеристам Тилли.

Но граф был не такой человек, чтобы позволить вооруженным приблизиться больше, чем это полагалось.

— Стой! — закричал он. — Стой! Назад от лошадей, или я скомандую «вперед»!

— Вот приказ! — закричала сотня дерзких голосов.

Он с изумлением взял его, окинул быстрым взглядом и очень громко произнес:

— Люди, подписавшие этот приказ, являются истинными палачами Корнеля де Витта. Что касается меня, то я скорее дал бы отрубить себе обе руки, чем согласиться написать хоть одну букву этого гиусного приказа.

И, оттолкнув эфесом шпаги человека, который хотел у него взять обратно приказ, он сказал:

— Одну минутку, бумага эта не пустячная, и я должен ее сохранить.

Он сложил приказ и бережно положил его в карман своего камзола. Затем, повернувшись к отряду, скомандовал:

— Кавалеристы Тилли, направо, марш!

И совсем не громко, но все же так, что слова его были отчетливо слышны,— произнес:

— А теперь, убийцы, делайте свое дело.

Бешеный вопль ярой ненависти и дикой радости, клокотавший на Бюйтенгофской площади, провожал кавалерию. Кавалеристы отъезжали медленно.

Граф оставался сзади, до последнего момента сдерживая оголтелую толпу, которая постепенно двигалась вперед, вслед за его лошадью.

Как видите, Ян де Витт не преувеличивал опасности положения, когда он помогал брату подняться и торопил его покинуть тюрьму.

И вот Корнель, опираясь на руку бывшего великого пенсионария, спускался по лестнице во двор.

Внизу он увидел красавицу Розу, она вся дрожала от волнения.

— О господин Ян,— сказала она,— какая беда!

— Что случилось, дитя мое?— спросил де Витт.

— Говорят, что они направились в ратушу требовать там приказа господину Тилли очистить площадь.

— О, о,— заметил Ян,— это правда, дитя мое,— если кавалеристы удалятся, то для нас создается действительно скверное положение.

— Если бы вы разрешили дать вам совет,— сказала девушка, трепеща от волнения.

— Говори, дитя мое.

— Вот что, господин Ян, я на вашем месте не выходила бы главной улицей.

— Почему же, раз кавалеристы Тилли находятся еще на своем посту?

— Да, но до тех пор, пока этот приказ не будет отменен, они обязаны оставаться у тюрьмы.

— Безусловно.

— А есть у вас приказ, чтобы Тилли сопровождал вас за городскую черту?

— Нет.

— Ну, вот видите, как только вы минуете первых кавалеристов, вы попадете в руки толпы.

— Ну, а гражданская милиция?

— О, она-то больше всего и беснуется.

— Как же быть?

— На вашем месте,— продолжала застенчиво девушка,— я вышла бы через потайной ход. Он ведет на безлюдную улочку; вся же толпа находится на большой улице, ожидая у главных ворот; оттуда я бы пробралась к заставе, через которую вы хотите выехать.

— Но брат не сможет дойти,— сказал Ян.

— Я попытаюсь,— ответил с твердостью Корнель.

— Но разве у вас нет здесь кареты?— спросила девушка.

— Карета там, у главного входа.



— Нет,— ответила девушка,— я решила, что ваш кучер преданный вам человек, и велела ему ждать вас у потайного выхода.

Братья с умилением переглянулись, и оба их взгляда, преисполненные величайшей благодарности, устремились на девушку.

— Теперь,— сказал великий пенсионарий,— еще вопрос, согласится ли Грифус открыть нам эту дверь.

— О нет, он никогда не согласится на это,— сказала Роза.

— Как же быть?

— А я предвидела его отказ и, пока он разговаривал через тюремное окно с одним из кавалеристов, вытащила из связки ключ.

— И этот ключ у тебя?

— Вот он, господин Ян.

— Дитя мое,— сказал Корнель,— я ничего не могу тебе дать в награду за оказываемую мне услугу, кроме библии, которую ты найдешь в моей камере: это последний дар честного человека; я надеюсь, он принесет тебе счастье.

— Спасибо, господин Корнель, я никогда с ней не расстанусь,— сказала девушка.

Потом с улыбкой добавила про себя:

— Какое несчастье, что я не умею читать!

— Крики усиливаются, дитя мое, и я думаю, что нам нельзя терять ни минуты,— сказал Ян.

— Идемте же,— и прелестная фрисландка внутренним коридором повела обоих братьев в противоположную сторону тюрьмы.

В сопровождении Розы они спустились по лестнице, ступенек в двенадцать, пересекли маленький дворик с зубчатыми стенами и, открыв ворота под каменным сводом, вышли на пустынную улицу, по другую сторону тюрьмы, где их ожидала карета со спущенной подножкой.

— Скорее, скорее, господа! — кричал испуганный кучер.— Вы слышите, как они кричат?

Усадив Корнеля в карету первым, Ян повернулся к девушке.

— Прощай, мое дитя,— сказал он,— все наши слова могли бы только в очень слабой степени выразить нашу благодарность. Надеюсь, что сам бог вспомнит о том, что ты спасла жизнь двух человек.

Роза почтительно поцеловала протянутую ей великим пенсионарием руку.

— Скорее, скорее,— сказала она,— они, кажется, уже выламывают ворота.

Ян быстро вскочил в карету и крикнул кучеру:

— В Толь-Гек!

Через эту заставу дорога вела в маленький порт Схвенинген, где братьев ожидало небольшое судно.

Две сильных фламандских лошади галопом подхватили карету, унося в ней обоих беглецов.

Роза следила за ними, пока они не завернули за угол.

Затем она вернулась, заперла за собой дверь и бросила ключ в колодец.

Шум, заставивший Розу предположить, что народ взламывает ворота, действительно производила толпа, которая, добившись, чтобы отряд Тилли удалился с площади, ринулась к тюремным воротам.

Хотя тюремщик Грифус, надо ему отдать справедливость, упорно отказывался открыть тюремные ворота, все же ясно было, что, несмотря на свою прочность, они недолго устоят перед напором толпы. В то время как побледневший от страха Грифус размышлял, не лучше ли открыть ворота, чем дать их выломать, он почувствовал, как кто-то осторожно дернул его за платье.

Он обернулся и увидел Розу.

— Ты слышишь, как они беснуются? — сказал он.

— Я так хорошо их слышу, отец, что на вашем месте...

— Ты открыла бы? Ведь так?

— Нет, я дала бы им взломать ворота.

— Но ведь тогда они убьют меня!

— Конечно, если они вас увидят.

— Как же они могут не увидеть меня?

— Спрячьтесь.

— Где?

— В потайной камере.

— А ты, мое дитя?

— Я тоже спущусь туда с вами, отец. Мы там запремся, а когда они уйдут из тюрьмы, выйдем из нашего убежища.

— Черт побери, да ты права! — воскликнул Грифус.— Удивительно,— добавил он,— сколько рассудительности в такой маленькой головке.

Ворота, при общем восторге толпы, начали трещать.
— Скорее, скорее, отец! — воскликнула девушка, открывая маленький люк.

— А как же наши узники? — заметил Грифус.

— Бог их уж как-нибудь спасет, а мне разрешите позаботиться о вас, — сказала молодая девушка.

Грифус последовал за дочерью, и люк захлопнулся над их головой как раз в тот момент, когда сквозь взломанные ворота врывалась толпа.

Камера, куда Роза увела отца, называлась секретной и давала нашим двум героям, которых мы вынуждены сейчас на некоторое время покинуть, верное убежище. О существовании секретной камеры знали только власти. Туда заключали особо важных преступников, когда опасались, как бы из-за них не возник мятеж и их не похитили бы.

Толпа ринулась в тюрьму с криком:

— Смерть изменникам! На виселицу Корнеля де Витта! Смерть! Смерть!

IV

Погромщики

Молодой человек, все так же скрывая свое лицо под широкополой шляпой, все так же опираясь на руку офицера, все так же вытирая свой лоб и губы платком, стоял неподвижно на углу Бюйтенгофской площади, теряясь в тени навеса над запертой лавкой, и смотрел на разъяренную толпу, — на зрелище, которое разыгрывалось перед ним и, казалось, уже близилось к концу.

— Да, — сказал он офицеру, — мне кажется, что вы, ван Декен, были правы: приказ, подписанный господами депутатами, является поистине смертным приговором Корнелю. Вы слышите эту толпу? Похоже, что она действительно очень зла на господ де Виттов.

— Да, — ответил офицер, — такого крика я еще никогда не слышал.

— Кажется, они уже добрались до камеры нашего узника. Посмотрите-ка на то окно. Ведь это окно камеры, в которой был заключен Корнель?

Действительно, какой-то мужчина ожесточенно выламывал железную решетку в окне камеры Корнеля, которую последний покинул минут десять назад.

— Удрал! Удрал! — кричал мужчина. — Его здесь больше нет!

— Как нет? — спрашивали с улицы те, которые пришли последними и не могли уже попасть в тюрьму, — настолько она была переполнена.

— Его нет, его нет! — повторял яростно мужчина. — Его здесь нет, он скрылся!

— Что он сказал? — спросил, побледнев, молодой человек, тот, кого называли высочеством.

— О, монсеньор, то, что он сказал, было бы великим счастьем, если бы только было правдой.

— Да, конечно, это было бы большим счастьем, если бы это было так, — заметил молодой человек. — К несчастью, этого не может быть.

— Однако же посмотрите, — сказал офицер.

В окнах тюрьмы показались и другие разъяренные лица, они от злости скрежетали зубами и кричали:

— Спасся, убежал! Ему помогли скрыться!

Оставшаяся на улице толпа со страшными проклятиями повторяла: «Спаслись! Бежали! Скорее за ними! Надо их догнать!»

— Монсеньор, — сказал офицер, — Корнель де Витт, кажется, действительно спасся.

— Да, из тюрьмы, пожалуй, но из города он еще не убежал, — ответил молодой человек. — Вы увидите, ван Декен, что ворота, которые несчастный рассчитывал найти открытыми, будут закрыты.

— А разве был дан приказ закрыть городские заставы, монсеньор?

— Нет, я не думаю. Кто мог бы дать подобный приказ?

— Так почему же вы так думаете?

— Бывают роковые случайности, — небрежно ответил молодой человек, — и самые великие люди иногда падают жертвой таких случайностей.

При этих словах офицер почувствовал, как по всем жилам его прошла дрожь; он понял, что так или иначе, а заключенный погиб.

В этот момент, точно удар грома, разразился неистовый рев толпы, убедившейся, что Корнеля де Витта в тюрьме больше нет.

Корнель и Ян тем временем выехали на широкую улицу, которая вела к Толь-Геку, и приказали кучеру

ехать несколько тише, чтобы их карета не вызвала никаких подозрений.

Но когда кучер доехал до середины улицы, когда он увидел издали заставу, когда он почувствовал, что тюрьма и смерть позади него, а впереди свобода и жизнь, он пренебрег мерами предосторожности и пустил лошадей во всю прыть.

Вдруг он остановился.

— Что случилось? — спросил Ян, высунув голову из окна кареты.

— О сударь! — воскликнул кучер, — здесь...

От волнения он не мог закончить фразу.

— Ну, в чем же дело? — сказал великий пенсионарий.

— Решетка ворот заперта.

— Как заперта? Обычно днем ее не запирают.

— Посмотрите сами.

Ян де Витт высунулся из кареты и увидел, что решетчатые ворота действительно заперты.

— Поезжай, — сказал он кучеру, — у меня с собой приказ о высылке; привратник отперет.

Карета снова покатила вперед, но чувствовалось, что кучер погоняет лошадей без прежней уверенности.

Когда Ян де Витт высунулся из кареты, его увидел и узнал какой-то трактирщик, который с некоторым запозданием запер у себя двери, торопясь догнать своих товарищей у Бюйтенгофа.

Он вскрикнул от удивления и помчался вдогонку за теми двумя, которые бежали впереди.

Шагов через сто он догнал и стал что-то рассказывать. Все трое остановились, следя за удалявшейся каретой, но они еще не были вполне уверены в том, кто в ней сидит.

Карета подъехала к самым воротам.

— Открывайте! — закричал кучер.

— Открыть, — сказал привратник с порога своей сторожки, — открыть, а чем?

— Ключом, конечно, — сказал кучер.

— Ключом, это верно, но для этого надо его иметь.

— Как, у тебя нет ключа от ворот?

— Нет.

— Куда же он девался?

— У меня его взяли.

— Кто взял?

— Тот, кому, по всей вероятности, нужно было, чтобы никто не выходил за городскую черту.

— Мой друг,— сказал великий пенсионарий, высывая голову из дверцы кареты и ставя все на карту,— ворота нужно открыть для меня, Яна де Витта, и моего брата Корнеля, которого я сопровождаю в изгнание.

— О, господин де Витт, я в отчаянии,— воскликнул, подбегая к карете, привратник,— но клянусь вам честью, что ключ у меня взяли.

— Когда?

— Сегодня утром.

— Кто?

— Молодой человек, лет двадцати двух, бледный, худой.

— Почему же ты отдал ему ключ?

— Потому, что у него был приказ, скрепленный подписью и печатью.

— А кем он был подписан?

— Да господами из городской ратуши.

— Да,— сказал спокойно Корнель,— по-видимому, нас ждет неминуемая гибель.

— Ты не знаешь, всюду ли приняты эти меры предосторожности?

— Этого я не знаю.

— Трогай,— сказал кучеру Ян.— Бог велит делать все возможное, чтобы спасти жизнь. Поезжай к другой заставе.

— Спасибо, мой друг, за доброе намерение,— обратился он к привратнику.— Намерение равноценно поступку. Ты хотел спасти нас, в глазах господ — это все равно как если бы тебе это удалось.

— Ах,— воскликнул привратник,— посмотрите, что там творится!

— Гони галопом сквозь ту кучку людей,— крикнул кучеру Ян,— и поворачивай на улицу влево; это единственная наша надежда.

Ядром кучки, о которой говорил Ян, были те трое горожан, которые, как мы видели недавно, провожали взглядами карету. Пока Ян разговаривал с привратником, она увеличилась на семь-восемь человек.

У вновь прибывших людей были явно враждебные намерения по отношению к карете.

Как только они увидели, что лошади галопом летят на них, они стали поперек улицы и, размахивая дубинами, закричали: «Стой! Стой!»

Кучер, со своей стороны, метнулся вперед и осыпал их ударами кнута.

Наконец, люди и карета столкнулись.

Братьям де Виттам в закрытой карете ничего не было видно. Но они почувствовали, как лошади стали на дыбы, и затем ощутили сильный толчок. На один миг карета как бы заколебалась и вздрогнула всем корпусом, затем снова понеслась, переехав через что-то или кого-то, и скрылась под непрерывный град проклятий.

— О,— сказал Корнель,— я боюсь, что мы натворили беды.

— Гони! Гони! — кричал Ян.

Но, вопреки этому приказу, кучер вдруг остановил лошадей.

— Что случилось? — спросил Ян.

— Посмотрите,— сказал кучер.

Ян выглянул.

В конце улицы, по которой должна была проехать карета, показалась вся толпа с Бюйтенгофской площади и, подобно урагану, с ревом катилась на них.

— Бросай лошадей и спасайся,— сказал кучеру Ян.— Дальше ехать бесполезно, мы погибли.

— Вот, вот они! — разом закричали пятьсот голосов.

— Да, вот они, предатели, убийцы! Разбойники! — отвечали им люди, бежавшие позади кареты. Они несли на руках раздавленное тело товарища, который хотел схватить лошадей под уздцы, но был ими опрокинут. По нему-то и проехала карета, как это почувствовали братья.

Кучер остановил лошадей, но, несмотря на настояния своего господина, отказался искать спасения в бегстве.

Карета оказалась в западне между гнавшимися за ней и бежавшими ей навстречу. В одно мгновение она словно поднялась над волнуемой, подобно плавучему острову, толпой.

Вдруг плавучий остров остановился. Какой-то кузнец оглушил молотом одну из лошадей, и она пала наземь.

В этот момент в одном из ближайших домов приоткрылась ставня и в окне можно было видеть бледное **лицо** и мрачные глаза молодого человека, который наблюдал за готовившейся расправой.

Позади него показалось лицо офицера, почти такое же бледное.

— О, боже мой, боже мой, монсеньор, что же сейчас произойдет? — прошептал офицер.

— Конечно, произойдет нечто ужасное, ответил первый.

— О, смотрите, монсеньор, они вытащили из кареты великого пенсионария, они его избивают, они его герзают!

Да, правда, у этих людей прямо какое-то яростное ожесточение, — заметил молодой человек тем же бесстрастным тоном, который он сохранял до самого конца.

— А вот они вытаскивают из кареты и Корнеля; Корнеля, уже истерзанного и изувеченного пыткой! О, посмотрите, посмотрите!

Да, действительно это Корнель.

Офицер слегка вскрикнул и тотчас отвернулся.

Корнель еще не успел сойти наземь, он еще стоял на подножке кареты, когда ему нанесли удар железным ломом и размозжили голову. Однако же он поднялся, но гут же снова рухнул на землю.

Затем стоявшие впереди схватили его за ноги и поволокли в гуцу толпы. Виден был кровавый след, который оставляло за собой его тело. Толпа с радостным гиканьем окружила Корнеля.

Молодой человек побледнел еще сильнее, хотя казалось, что большей бледности быть не может, и на мгновение закрыл глаза.

Офицер заметил это выражение жалости, впервые проскользнувшее на лице его сурового спутника, и хотел воспользоваться им.

— Пойдемте, пойдемте, монсеньор, сказал он, они сейчас убьют и великого пенсионария.

Но молодой человек уже открыл глаза.

— Да, сказал он, этот народ неумолим, плохо тому, кто его продает.

Монсеньор, сказал офицер, — может быть, еще есть какая-нибудь возможность спасти этого несчастно-

го, воспитателя вашего высочества; скажите мне, и я, хотя бы рискуя жизнью...

Вильгельм Оранский, ибо это был он, зловеще нахмурил свой лоб, усилием воли погасил мрачное пламя ярости, блеснувшее за опущенными веками, и ответил:

— Полковник ван Декен, прошу вас, отправляйтесь к моим войскам и передайте приказ быть на всякий случай в боевой готовности.

— Но как же я оставлю ваше высочество одного среди этих разбойников?

— Не беспокойтесь обо мне больше меня самого,— резко сказал принц.— Ступайте.

Офицер удалился с поспешностью, которая свидетельствовала не столько о его повинности, сколько о том, что он был рад уйти и не присутствовать при гнусном убийстве второго брата.

Он еще не успел закрыть за собой дверь, как Ян, последними усилиями добравшись до крыльца, расположенного почти напротив дома, где прятался его воспитанник, зашатался под ударами, сыпавшимися на него со всех сторон.

— Мой брат? Где мой брат? — стонал он.

Кто-то из разъяренной толпы ударом кулака сшиб с него шляпу.

Другой показал ему обгаренные кровью руки. Он только что распорол живот Корнелю, труп которого волокли на виселицу, и прибежал сюда, чтобы не упустить случая проделать то же самое и с великим пенсионарием.

Ян жалобно застонал и закрыл рукой глаза.

— Ах, ты закрываешь глаза,— сказал один из солдат гражданской милиции,— так я тебе их выколю!

И он ткнул ему в лицо острое пики,— брызнула кровь.

— Брат! — воскликнул де Витт, пытаясь, несмотря на заливавшую ему глаза кровь, разглядеть, что случилось с Корнелем,— брат!

— Ступай же за ним,— прорычал другой убийца, приставив к виску Яна мушкет и спуская курок.

Но выстрела не последовало.

Тогда убийца повернул свое оружие, обеими руками схватил за дуло и оглушил Яна де Витта ударом приклада.

Ян де Витт пошатнулся и упал к его ногам.

Но, сделав последнее усилие, он еще поднялся.

— Брат! — воскликнул он таким жалобным голосом, что молодой человек закрыл перед собой ставню. Да и видеть уже было почти нечего, так как третий убийца выстрелил в Яна в упор из пистолета и размозил ему череп.

Ян упал и больше уже не поднимался.

Тогда каждый из негодяев, которые осмелели, видя, что он мертв, стал палить из мушкетов в его труп, каждый хотел ударить его дубиной, шпагой или ножом, каждый жаждал его крови, каждый порывался оторвать лоскут от его одежды.

Оба брата были растерзаны, изувечены, изуродованы. Толпа поволокла их голые окровавленные трупы к импровизированной виселице, где добровольные палачи повесили их вниз головой.

Тут на них накинудись самые подлые; живых еще они не смели коснуться и зато теперь кромсали мертвые тела: они отрезали от них клочки кожи и мяса и расходились по городу продавать куски тела Яна и Корнеля по десять су за кусок.

Мы не знаем, видел ли молодой человек сквозь еле заметную щель в ставне конец ужасающего зрелища; но в момент, когда вешали тела обоих мучеников, он, пересекая толпу, слишком поглощенную своим веселым делом, направился к воротам Толь-Гек.

— О сударь, — воскликнул привратник, — вы мне принесли ключ?

— Да, дружище, вот он, — ответил молодой человек.

— О, какое несчастье, что вы не принесли ключа хотя бы на полчаса раньше! — сказал, вздыхая, привратник.

— Почему? — спросил молодой человек.

— Тогда бы я мог открыть ворота де Виттам. А так, найдя заставу запертой, они должны были повернуть обратно и попали в руки своих преследователей.

— Открывайте ворота, открывайте ворота! — слышался голос какого-то, по-видимому, очень спешившего человека.

Принц обернулся и узнал полковника ван Декена.

— Это вы, полковник? Вы еще не выехали из Гааги? С большим запозданием выполняете вы мое распоряжение.

— Мэнсеньор,— ответил полковник,— я подъезжаю уже к третьей заставе, те обе были заперты.

— Ну, так здесь этот славный парень отопрет нам ворота. Отпирай, дружище,— обратился принц к привратнику, застывшему в изумлении: он расслышал, как полковник ван Декен назвал монсеньором этого бледного молодого человека, с которым он только что запросто разговаривал. И, чтобы исправить ошибку, он поспешно бросился открывать. Ворота заставы распахнулись со скрипом.

— Не жалеет ли ваше высочество взять мою лошадь? — спросил Вильгельма полковник.

— Благодарю вас, полковник, моя лошадь ждет меня в нескольких шагах отсюда.

И, вынув из кармана золотой свисток, служивший в эту эпоху для зова слуг, он резко и продолжительно свистнул. В ответ на свист прискакал верхом конюший, держа в поводу вторую лошадь.

Вильгельм, не касаясь стремян, вскочил в седло и помчался к дороге, ведущей в Лейден. Доскакав, он обернулся.

Полковник следовал за ним на расстоянии корпуса лошади.

Принц сделал знак, чтобы он поравнялся с ним.

— Знаете ли вы,— сказал он, продолжая ехать,— что эти негодяи убили также и Яна де Витта вместе с его братом?

— Ах, ваше высочество,— грустно ответил полковник,— я предпочел бы, чтобы на вашем пути к штатгальтерству Голландии еще оставались эти два препятствия.

— Конечно, было бы лучше,— согласился принц,— если бы не случилось того, что произошло. Но что сделано, то сделано, не наша в этом вина. Поедем быстрее, полковник, чтобы быть в Альфене раньше, чем придет послание, которое, по всей вероятности, пошлет мне правительство.

Полковник поклонился, пропустил вперед принца и поскакал на том же расстоянии от него, какое разделяло их до разговора.

— Да, хотелось бы мне,— злобно шептал Вильгельм Оранский, хмуря брови, сжимая губы и вонзая шпоры в брюхо лошади,— хотелось бы мне посмотреть, какое выражение лица будет у Людовика-Солнца, когда он узнает, как поступили с его дорогими друзьями,

господами де Витт. О Солнце! Солнце! Недаром зовусь я Молчаливым и Сумрачным; Солнце, бойся за твои лучи!

Он быстро скакал на добром коне, этот молодой принц, упорный противник короля, этот штатгальтер, еще накануне мало уверенный в своей власти, к которой теперь гаагские буржуа сложили ему прочные ступеньки из трупов Яна и Корнеля де Витт.

V

Любитель тюльпанов и его сосед

В то время, как гаагские буржуа раздирали на части трупы Яна и Корнеля, в то время, как Вильгельм Оранский, окончательно убедившийся в смерти двух своих противников, скакал по дороге в Лейден в сопровождении полковника ван Декена, которого он нашел слишком сострадательным, чтобы и в дальнейшем считать его достойным своего доверия,— в это время верный слуга Кракэ, не сомневавшийся в том, что после его отъезда совершатся ужасные события, тоже мчался на прекрасном коне по усаженным деревьями дорогам, пока не выехал за пределы города и окрестных деревень.

Здесь, почувствовав себя вне опасности и не желая вызывать никаких подозрений, он оставил своего коня и спокойно продолжал путь по реке, пересаживаясь с лодки в лодку и добравшись таким образом до Дордрехта. Лодки ловко проплывали по самым маленьким извилистым рукавам реки, омывавшей своими влажными объятиями очаровательные островки, окаймленные ивами, тростниками и пестреющей цветами травой, где, лоснясь на солнце, беспечно пасется тучный скот. Кракэ издали узнал Дордрехт, этот веселый город, расположенный у подножия усеянного мельницами холма.

Он издали видел красивые красные с белыми полосами домики, кирпичные фундаменты которых погружались в воду. На их открытых балконах над рекой развевались шитые золотом шелковые ковры, дивные творения Индии и Китая, а около ковров свисали длинные лески, постоянная западня для прожорливых

угрей, привлекаемых сюда кухонными отбросами, которые ежедневно выбрасывали из окон в воду.

Кракэ еще с лодки, сквозь вертящиеся крылья мельниц, увидел на склоне холма бело-розовый дом — цель своего путешествия. Дом четко вырисовывался на темном фоне исполинских вязов, в то время как гребень крыши утопал в желтоватой листве тополей. Он был расположен так, что падавшие на него, словно в воронку, лучи солнца высушивали, согревали и обезвреживали даже туманы, которые, несмотря на густую ограду из листьев, каждое утро и каждый вечер заносились туда ветром с реки.

Высадившись средн обычной городской сутолоки, Кракэ немедленно отправился к этому дому. Необходимо описать его читателю, что мы сейчас и сделаем. Это был беленький, чистый, блестящий домик, еще более основательно вымытый и начищенный внутри, чем снаружи. И в домике этом жил счастливый смертный.

Этим счастливым смертным, *ga ga avis*¹, как говорит Ювенал, был доктор ван Берле, крестник Корнеля. Он жил в описанном нами домике с самого детства, ибо это был дом его отца и его деда, славных купцов славного города Дордрехта.

Торгуя с Индией, господин ван Берле-отец скопил от трехсот до четырехсот тысяч флоринов, которые ван Берле-сын в 1668 году после смерти своих добрых и горячо любимых родителей нашел совершенно новенькими, хотя они и были отчеканены одни в 1640 году, другие в 1610 году. А это говорило о том, что здесь были флорины ван Берле-отца и ван Берле-деда. Поспешим заметить, что четыреста тысяч флоринов были только наличными, так сказать, карманными деньгами Корнелиуса ван Берле, так как от своих владений в провинции он получал ежегодно еще около десяти тысяч флоринов.

Когда умирал достойный гражданин, отец Корнелиуса, через три месяца после похорон своей жены (она скончалась первой, словно для того, чтобы облегчить мужу путь к смерти так же, как она облегчала ему жизненный путь), — он, обнимая в последний раз сына, сказал ему:

— Если ты хочешь жить настоящей жизнью, то ешь, пей и проживай деньги, ибо работать целые дни на деревянном стуле или в кожаном кресле, в лаборатории

¹ *Ra ga avis* (лат.) — редкая птица.

или в лавке — это не жизнь. Ты тоже умрешь, когда придет твой черед, и если тебе не посчастливится иметь сына, то наше имя угаснет, и мои флорины будут очень удивлены, оказавшись в руках неизвестного хозяина, эти новенькие флорины, которых никто никогда не взвешивал, кроме меня, моего отца и чеканщика. А главное, не следуй примеру твоего крестного отца Корнеля де Витта; он всецело ушел в политику и, безусловно, плохо кончит.

Затем достойный господин ван Берле умер, оставив в полном отчаянии своего сына Корнелиуса, который был равнодушен к флоринам и сильно любил отца.

Итак, Корнелиус остался одиноким в большом доме.

Напрасно его крестный отец Корнель предлагал ему общественные должности; напрасно он хотел соблазнить его славой, когда Корнелиус, чтобы пойти навстречу желанию крестного, отправился вместе с ван Рюйтером на военном корабле «Семь Провинций», шедшем во главе ста тридцати девяти судов, с которыми знаменитый адмирал готовился бросить вызов соединенным силам Англии и Франции. Когда же Корнелиус приблизился на расстояние выстрела из мушкета к боевому судну «Принц», где находился брат английского короля герцог Йоркский; когда нападение его патрона ван Рюйтера было проведено настолько энергично и умело, что герцог Йоркский едва успел перейти на борт «Св. Михаила»; когда он увидел, как «Св. Михаил», разбитый и изрешеченный голландскими ядрами, вышел из строя; когда он увидел, как взорвался корабль «Граф де Санвик» и погибло в волнах и в огне четыреста матросов; когда он убедился, что в конце концов, после того как двадцать судов было разбито, три тысячи человек убито и пять тысяч ранено, бой все же остался нерешенным, и каждый приписывал победу себе, так что надо было начинать сначала, и к списку морских сражений прибавилось лишь новое название — сражение при Суттвудской бухте; когда он понял, сколько времени теряет человек, закрывающий глаза и затыкающий уши, стремясь мыслить даже в те часы, когда ему подобные палят друг в друга из пушек, — тогда-то Корнелиус распростился с ван Рюйтером, с главным инспектором плотин и со славой. Он облобызал колени великого пенсионария, к которому

чувствовал глубокое уважение, и вернулся в свой домик в Дордрехт. Он вернулся, обогащенный правом на заслуженный отдых, своими двадцатью восемью годами, железным здоровьем, пронизательным взором и убеждением более ценным, чем капитал в четыреста тысяч и доход в десять тысяч флоринов, убеждением, что человек получил от судьбы слишком много, чтобы быть счастливым, и достаточно — чтобы не узнать счастья.

Поэтому, стремясь создать себе благополучие по своему вкусу, Корнелиус стал изучать растения и насекомых. Он собрал и классифицировал всю флору островов, составил коллекцию насекомых всей области, написал с них трактат с собственноручными рисунками и, наконец, не зная, куда девать свое время, а главное — деньги, количество которых ужасающе увеличивалось, он стал выбирать среди увлечений своей страны и своей эпохи самое изысканное и самое дорогое увлечение. Он полюбил тюльпаны.

Как известно, то была эпоха, когда фламандцы и португальцы, соревнуясь в занятии этого рода цветоводством, дошли буквально до обожествления тюльпана и проделали с этим привезенным с востока цветком то, чего никогда ни один натуралист не осмеливался сделать с человеческим родом, из опасения вызвать ревность у самого бога.

Вскоре в целой округе, от Дордрехта до Монса, только и говорили о тюльпанах господина ван Берле. Его гряды, оросительные каналы, его сушильни, его коллекции луковниц приходили осматривать так же, как когда-то знаменитые римские путешественники осматривали галереи и библиотеки Александрии.

Ван Берле начал с того, что истратил весь свой годовой доход на составление коллекции, затем, для улучшения ее, он сделал почин своим новеньким флоринам, — и его труд увенчался блестящим успехом. Он вывел пять разных видов тюльпанов, которым дал названия «Жанна» — имя своей матери, «Берле» — фамилию своего отца, «Корнель» — имя своего крестного отца; остальных названий мы не помним, но любители, без сомнения, найдут их в каталогах того времени.

В начале 1672 года Корнель де Витт приехал в Дордрехт, чтобы провести три месяца в своем старом

родовом доме, ибо известно, что не только Корнель был рожден в Дордрехте, но и вся семья де Виттов происходила из этого города.

Как раз в это время Корнель стал блистать, по выражению Вильгельма Оранского, полной непопулярностью. Однако же для своих земляков, добродушных жителей города Дордрехта, он еще не был преступником, заслуживающим виселицы, и хотя они и были не очень довольны его слишком резкими антиоранжистскими взглядами, но все же, гордясь его личными достоинствами, устроили ему торжественную встречу.

Поблагодарив сограждан, Корнель пошел посмотреть родной дом и распорядился, чтобы там произвели кое-какой ремонт, прежде чем придет госпожа де Витт, его жена с детьми.

Затем он направился к дому своего крестника — единственного, по всей вероятности, в Дордрехте человека, который еще не знал о прибытии инспектора плотин в родной город.

Насколько Корнель де Витт вызывал к себе повсюду ненависть, рассеивая зловредные семена, именуемые политическими страстями, настолько ван Берле приобрел всеобщую симпатию, совершенно отказавшись от политики и всецело уйдя в свои тюльпаны.

Ван Берле любили и рабочие его и прислуга, и он даже не представлял себе, что на свете может существовать человек, который желал бы зла другому человеку.

И, однако же, пусть это будет сказано к стыду человечества, Корнелиус ван Берле имел, не подозревая этого, врага, куда более яростного, более ожесточенного, более непримиримого, чем самые ожесточенные оранжисты, наиболее враждебно настроенные против Корнеля де Витта и его брата Яна.

Увлечшись тюльпанами, Корнелиус стал тратить на них и свои ежегодные доходы и флорины отца.

В Дордрехте, стена в стену с ван Берле, жил гражданин по имени Исаак Бокстель, который, как только он достиг вполне сознательного возраста, стал страдать тем же влечением и при одном только слове тюльпан приходил в восторженное состояние.

Бокстель не имел счастья быть богатым, как ван Берле. С большими усилиями, с большим терпением

и трудом разбил он при своем доме в Дордрехте сад для культивирования тюльпанов. Он возделал там, согласно всем тюльпановодческим предписаниям, землю и дал грядам ровно столько тепла и прохлады, сколько полагалось по правилам садоводства.

Исаак знал температуру своих парников до одной двадцатой градуса. Он изучил силу давления ветра и устроил такие приспособления, что ветер только слегка колебал стебли его цветов.

Его тюльпаны стали нравиться. Они были красивы и даже изысканны. Многие любители приходили посмотреть на тюльпаны Бокстеля. Наконец, Бокстель выпустил в свет новую породу тюльпанов, дав ей свое имя. Этот тюльпан получил широкое распространение, — завоевал Францию, попал в Испанию и проник даже в Португалию. Король дон Альфонс VI, изгнанный из Лиссабона и поселившийся на острове Терсейр, где он развлекался разведением тюльпанов, поглядел на вышеназванный «Бокстель» и сказал: «Неплохо».

Когда Корнелиус ван Берле, после всех предыдущих занятий, страстно увлекся тюльпанами, он несколько видоизменил свой дом, который, как мы уже говорили, был расположен рядом с домом Бокстеля. Он надстроил этаж на одном из зданий своей усадьбы, чем лишил сад Бокстеля тепла приблизительно на полградуса и соответственно на полградуса охладил его, не считая того, что отрезал доступ ветра в сад Бокстеля и этим нарушил все расчеты своего соседа.

В конце концов, с точки зрения Бокстеля, это были пустяки. Он считал ван Берле только художником, то есть своего рода безумцем, который пытается, искажая чудеса природы, воспроизвести их на полотне. Сейчас он пристроил над мастерской один этаж, чтобы иметь больше света, — это было его право. Господин ван Берле был художником так же, как господин Бокстель был цветоводом, разводящим тюльпаны. Первому нужно было солнце для его картин, и он отнял полградуса у тюльпанов господина Бокстеля.

Право было на стороне ван Берле. *Bene sit* ¹.

К тому же Бокстель установил, что избыток солнечного света вредит тюльпанам и что этот цветок растет лучше и ярче окрашивается под мягкими лучами утреннего и вечернего солнца, чем под палящим полуденным зноем.

¹ *Bene sit* (лат.) — да будет так.

Итак, он был почти благодарен ван Берле за бесплатную постройку ограждения от солнца.

Может быть, это было не совсем так; может быть, Бокстель говорил о своем соседе ван Берле не совсем то, что он о нем думал. Но великие души в тяжелые минуты жизни находят удивительную поддержку в философии.

Но, увы, что случилось с этим несчастным Бокстелем, когда он увидел, что окна заново выстроенного этажа украсились луковцами, отростками их, тюльпанами в ящиках с землей, тюльпанами в горшках и, наконец, всем, что характеризует профессию маньяка, разводящего тюльпаны!

Там находились целые пачки этикеток, полки, ящики с отделениями и железные сетки, предназначенные для прикрытия этих ящиков, чтобы обеспечить постоянный доступ свежего воздуха к ним без риска, что туда проникнут мыши, жуки, долгоносики, полевые мыши и крысы, эти любопытные любители тюльпанов по две тысячи франков за луковицу.

Бокстель остолбенел при виде всего этого оснащения, но он не постигал еще размера своего несчастья. Ван Берле знали как любителя всего, что радует взгляд. Он до тонкости изучил природу для своих картин, законченных, как картины Герарда Доу — его учителя, и Мириса — его друга. Может быть, он собирался писать картину — комнату садового, разводящего тюльпаны, для чего и собрал в своей новой мастерской все эти принадлежности?

Однако же, хотя Бокстель и убаюкивал себя этой обманчивой идеей, он все же сгорал от пожирающего его любопытства. Как только наступил вечер, он приставил к смежной их владениям стене лестницу и стал разглядывать, что делается у соседа ван Берле. Он убедился, что громадная площадь земли, раньше усеянная различными растениями, была взрыта и разбита на грядки; земля смешана с речным илом — комбинация, самая благоприятная для тюльпанов, и все было окаймлено дерном, чтобы предупредить осыпание земли. Кроме того, Бокстель убедился, что расположение грядок такое, чтобы они согревались восходящим и заходящим солнцем и оберегались от солнца полуденного. Запас воды достаточный, и она тут же под рукой. Весь участок обращен на юго-запад, словом, —

соблюдены все условия не только для успеха, но и для усовершенствования дела.

Сомнений больше не было: ван Берле стал разводить тюльпаны.

Бокстель тут же представил себе, как этот ученый человек, с капиталом в четыреста тысяч флоринов и ежегодной рентой в девять тысяч, употребит все свои способности и все свои возможности на выращивание тюльпанов.

Он предвидел в смутном, но близком будущем его успех и заранее почувствовал такие страдания, что его руки разжались, ноги ослабли, и он в отчаянии покатился с лестницы вниз.

Итак, значит, не для тюльпанов на картинах, а для настоящих тюльпанов ван Берле отнял у него полградуса тепла. Итак, ван Берле будет иметь превосходное солнечное освещение и, кроме того, обширную комнату для хранения своих луковиц и отростков, светлую, чистую, с хорошей вентиляцией,— роскошь, недоступную для Бокстеля, который был вынужден пожертвовать для этого своей собственной спальней и, чтобы испарения человеческого тела не вредили растениям, заставил себя спать на чердаке.

Итак, стена в стену, дверь в дверь, у Бокстеля будет соперник, соревнователь, быть может, победитель. Этот соперник — не какой-нибудь маленький, безвестный садовод, а крестник Корнеля де Витта, человек знаменитый.

Как видно, Бокстель был менее рассудителен, чем индийский царь Пор, который, потерпев поражение от Александра Македонского, утешался тем, что его победитель — великая знаменитость.

Действительно, что будет, если ван Берле откроет когда-нибудь новый вид тюльпанов и назовет его Яном де Виттом, после того, как первый вид он назвал Корнелем? Ведь тогда можно будет задохнуться от злобы.

Таким образом, в своем завистливом предвидении Бокстель, как пророк собственного несчастья, угадывал то, что должно произойти.

И вот, сделав это открытие, он провел самую ужасную ночь, какую только можно себе представить.

VI

Ненависть любителя тюльпанов

С этого момента Бокстелем овладела уже не забота, а страх. Когда человек трудится над осуществлением какой-то заветной мысли, это придает усилиям его духа и тела мощь и благородство. Их-то Бокстель и утратил, думая только о вреде, который причинит ему идея соседа.

Ван Берле, как можно было предполагать, применил к делу все свои изумительные природные дарования и добился превосходных результатов, взрастив самые красивые тюльпаны.

Корнелиус успешнее кого бы то ни было в Гаарлеме и Лейдене (городах с самой благоприятной почвой и климатом) достиг большого разнообразия в окраске и в форме тюльпанов и увеличил количество разновидностей.

Он принадлежал к той талантливой и наивной школе, которая с седьмого века взяла своим девизом изречение:

«Пренебрегать цветами — значит оскорблять бога».

Посылка, на которой любители тюльпанов построили в 1653 году следующий силлогизм.

«Пренебрегать цветами — значит оскорблять бога. Тюльпаны прекраснее всех цветов. Поэтому тот, кто пренебрегает тюльпанами, безмерно оскорбляет бога».

На основании подобного заключения четыре или пять тысяч цветоводов Голландии, Франции и Португалии (мы не говорим уже о цветоводах Цейлона, Индии и Китая) могли бы, при наличии злой воли, поставить весь мир вне закона и объявить раскольниками, еретиками и достойными смерти сотни миллионов людей, равнодушных к тюльпанам. И не следует сомневаться, что Бокстель, хотя и был смертельным врагом ван Берле, стал бы во имя этого действовать с ним рука об руку.

Итак, ван Берле достиг больших успехов, и о нем стали всюду столько говорить, что Бокстель навсегда исчез из списка известных цветоводов Голландии, и представителем Дордрехтского садоводства стал скромный и безобидный ученый Корнелиус. Так из черенка маленькой ветки вырастают прекрасные отростки и от четырехлепесткового бесцветного шиповника

ведет свое начало гигантская благоухающая роза. Так иногда корни королевского рода выходили из хижины дровосека или из лачуги рыбака.

Ван Берле, весь ушедший в свои работы по выращиванию и сбору цветов, ван Берле, которого прославляли все садоводства Европы, даже и не подозревал, что рядом с ним живет несчастный развенчанный король, престолом которого он завладел. Он успешно продолжал опыты и в течение двух лет покрыл свои гряды чудеснейшими творениями, равных которым никогда никто не создавал, за исключением разве только Шекспира и Рубенса.

И вот, чтобы получить представление о страдальце, которого Данте забыл поместить в своем «Аде», нужно было только посмотреть на Бокстеля. В то время как ван Берле полыл, удобрял и орошал грядки, в то время как он, стоя на коленях, на краю грядки, выложенной дерном, занимался обследованием каждой жилки на цветущем тюльпане, раздумывая о том, какие новые видоизменения можно было бы в них внести, какие сочетания цветов можно было бы еще испробовать,— в это время Бокстель, спрятавшись за небольшим кленом, который он посадил у стены и из которого устроил себе как бы ширму, следил воспаленными глазами, с пеной у рта за каждым шагом, за каждым движением своего соседа. И, когда тот казался ему радостным, когда он улавливал на его лице улыбку или в глазах проблески счастья, он посылал ему столько проклятий, столько свирепых угроз, что непонятно даже, как это ядовитое дыхание зависти и злобы не проникло в стебли цветов и не внесло туда зачатков разрушения и смерти.

Вскоре — так быстро разрастается зло, овладевшее человеческой душой,— вскоре Бокстель уж не довольствовался тем, что наблюдал только за Корнелиусом. Он хотел видеть также и его цветы; ведь он был в душе художником, и достижения соперника хватали его за живое.

Он купил подзорную трубу, при помощи которой мог следить не хуже самого хозяина за всеми изменениями растения с момента его прорастания, когда на первом году показывается из-под земли бледный росток, и вплоть до момента, когда, по прошествии пяти лет,

начинает округляться благородный и изящный бутон, а на нем проступают неопределенные тона будущего цвета и когда затем распускаются лепестки цветка, раскрывая, наконец, тайное сокровище чашечки.

О, сколько раз несчастный завистник, взобравшись на лестницу, замечал на грядках ван Берле такие тюльпаны, которые ослепляли его своей изумительной красотой и подавляли его своим совершенством!

И тогда, после периода восхищения, которое он не мог побороть в себе, им овладевала лихорадочная зависть, разъедавшая грудь, превращавшая сердце в источник мучительных страданий. Сколько раз во время этих терзаний, описание которых не поддается перу, Бокстеля охватывало искушение прыгнуть ночью в сад, переломать растения, изгрызть зубами луковицы тюльпанов и даже принести в жертву безграничному гневу самого владельца, если бы он осмелился защищать свои цветы.

Но убить тюльпан — это в глазах настоящего садовода преступление ужасающее.

Убить человека, — еще куда ни шло.

Однако же непрерывные, ежедневные достижения ван Берле, которых он добивался как бы инстинктом, довели Бокстеля до такого пароксизма озлобления, что он замыслил забросать палками и камнями гряды тюльпанов своего соседа.

Но он соображал, что на другое утро, при виде этого разрушения, ван Берле произведет дознание и установит, что дом расположен далеко от улицы, что в семнадцатом веке камни и палки не падают больше с неба, как во времена амалекитян, и что виновник преступления, хотя бы он и действовал ночью, будет разоблачен и не только наказан правосудием, но и обесчещен на всю жизнь в глазах всех европейских садоводов. Тогда Бокстель решил прибегнуть к хитрости и применить способ, который не скомпрометировал бы его.

Правда, он долго искал его, но, наконец, нашел.

Однажды ночью он привязал двух кошек друг к другу за задние лапы бечевкой в десять футов длины и бросил их со стены на середину самой главной гряды, можно сказать, — королевской гряды, где находились не только «Корнель де Витт», но также «Брабантец»

молочно-белый и пурпурно-красный, «Мраморный» — сероватый, красный и ярко-алый, «Чудо», выведенный в Гаарлеме, а также тюльпан «Коломбин темный» и «Коломбин светлый».

Обезумевшие от падения с высокой стены животные бросились сначала по грядке, пытаясь бежать каждое в свою сторону, пока не натянулась связывающая их бечевка. Но затем, чувствуя невозможность бежать дальше, они заметались с диким мяуканием во все стороны, ломая своей бечевкой цветы. После пятнадцатиминутной яростной борьбы им наконец удалось разорвать связывающую их бечевку, и они исчезли.

Бокстель, спрятавшись за кленом, ничего не видел в ночной тьме, но по бешеному крику двух кошек он представил себе картину разрушения, сердце его, освобождаясь от желчи, наполнилось радостью.

У Бокстеля было так велико желание убедиться в причиненных им повреждениях, что он оставался до утра, чтобы собственными глазами посмотреть, в какое состояние пришли грядки его соседа после кошачьей драки.

Он околел от предрассветного тумана, но не чувствовал холода. Он согревался надеждой на месть. Горе соперника вознаградит его за все страдания. При первых лучах солнца дверь белого дома открылась. Показался ван Берле и направился к грядкам с улыбкой человека, прошедшего ночь в своей постели и видевшего приятные сны.

Вдруг он замечает на земле, которая еще накануне была выровнена, как зеркало, борозды и бугры; вдруг он замечает, что симметричные гряды его тюльпанов в полном беспорядке, подобно солдатам батальона, среди которого разорвалась бомба.

Побледнев, как полотно, он бросился к грядкам.

Бокстель задрожал от радости. Пятнадцать или двадцать тюльпанов, разодранных и помятых, лежали на земле, одни согнутые, другие совсем поломанные и уже увядшие. Из их ран вытекал сок — драгоценная кровь, которую ван Берле согласился бы сохранить ценой своей собственной крови.

О неожиданность, о радость ван Берле! О неизъяснимая боль Бокстеля! Ни один из четырех знаменитых тюльпанов, на которые покушался завистник, не был



поврежден. Они гордо поднимали прекрасные головки над трупами своих сотоварищей. Этого было достаточно, чтобы утешить ван Берле. Этого было достаточно, чтобы повергнуть в отчаяние убийцу. Он рвал на себе волосы при виде совершенного им преступления и совершенного притом напрасно.

Ван Берле, оплакивая постигшее его несчастье, которое, в конце концов, волею судеб оказалось менее значительным, чем оно могло бы быть, не понимал причины случившегося. Он только навел справки и узнал, что ночью слышалось ужасающее мяукайе. Впрочем, он и сам убедился в том, что тут побывали кошки — по следам их когтей, по клочкам шерсти, оставленной ими на поле битвы, шерсти, на которой, так же как и на листьях раздавленного цветка, дрожали равнодушные капли росы. Желая избежать в будущем подобного несчастья, он распорядился, чтобы впредь в саду, в сторожке у гряд, ночевал садовник.

Бокстель слышал, как он делал это распоряжение. Он видел, как в тот же день принялись строить сторожку, и довольный, что остался вне подозрений, но возбужденный больше, чем когда-либо, против счастливого цветовода, стал ждать более подходящего случая.

Это происходило приблизительно в то время, когда общество любителей тюльпанов города Гаарлема назначило премию тому, кто вырастит, мы не решаемся сказать сфабрикует, большой черный тюльпан без одного пятнышка, — задача еще не разрешенная и считавшаяся неразрешимой, так как в эту эпоху в природе не существовало даже темно-коричневых тюльпанов.

И все с полным основанием говорили, что учредители конкурса могли бы с тем же успехом назначить премию в два миллиона флоринов, вместо ста тысяч, так как все равно добиться разрешения задачи невозможно.

Тем не менее весь мир тюльпановодов переживал величайшее волнение.

Некоторые любители увлеклись этой идеей, хотя и не верили в возможность ее осуществления; но такова уж сила воображения цветоводов: считая заранее свою задачу неразрешимой, они все же только и думали об этом большом черном тюльпане, который считался такой же химерой, как черный лебедь Горация или белый дрозд французских легенд.

Ван Берле был в числе тех цветоводов, которые увлеклись этой идеей; Бокстель был в числе тех, кто подумал, как ее использовать.

Как только эта мысль засела в проницательной и изобретательной голове ван Берле, он сейчас же спокойно принялся за посевы и все необходимые работы, для того, чтобы превратить красный цвет тюльпанов, которые он уже культивировал, в коричневый и коричневый в темно-коричневый. На следующий же год ван Берле вывел тюльпаны темно-коричневой окраски, и Бокстель видел их на его грядках, в то время как он сам добился лишь светло-коричневого тона.

Быть может, было бы полезно изложить читателям замечательные теории, которые доказывают, что тюльпаны приобретают окраску под влиянием сил природы; быть может, нам были бы благодарны, если бы мы установили, что нет ничего невозможного для цветовода, который благодаря своему таланту и терпению использует тепло солнечных лучей, мягкость воды, соки земли и движение воздуха. Но мы не собираемся писать трактата о тюльпанах вообще, мы решили написать историю одного определенного тюльпана, и этим мы ограничимся, как бы ни соблазняла нас другая тема.

Бокстель, снова побежденный превосходством своего противника, почувствовал полное отвращение к цветоводству и, дойдя почти до состояния безумия, целиком предался наблюдению за работой ван Берле.

Дом его соперника стоял на открытом месте. Освещенный солнцем сад, комнаты с большими окнами, сквозь которые снаружи видны были ящики, шкафы, коробки и этикетки, — подзорная труба улавливала все мельчайшие подробности. У Бокстеля в земле сгнивали луковицы, в ящиках высыхала рассада, на грядках увядали тюльпаны, но он отныне, не жалея ни себя, ни своего зрения, интересовался лишь тем, что делалось у ван Берле. Казалось, он дышал только через стебли его тюльпанов, утолял жажду водой, которой их орошали, и утолял голод мягкой и хорошо измельченной землей, которой сосед посыпал свои драгоценные луковицы. Но, однако, наиболее интересная работа производилась не в саду.

Когда часы били час, час ночи, ван Берле поднимался в свою лабораторию, в остекленную комнату, в ко-

тору так легко проникала подзорная труба Бокстеля, и там, едва только огни ученого, сменившие дневной свет, освещали окна и стены, Бокстель видел, как работает гениальная изобретательность его соперника.

Он видел, как тот просеивает семена, как поливает их жидкостями, чтобы вызвать в них те или иные изменения. Бокстель видел, как он подогревал некоторые семена, потом смачивал их, потом соединял с другими путем своеобразной, чрезвычайно тщательной и искусной прививки. Он прятал в темном помещении те семена, которые должны были дать черный цвет, выставлял на солнце или на свет лампы те, которые должны были дать красный, ставил под отраженный от воды свет те, из которых должны были вырасти белые тюльпаны.

Эта невинная магия, плод соединившихся друг с другом детских грез и мужественного гения, этот терпеливый, упорный труд, на который Бокстель считал себя неспособным, вся эта жизнь, все эти мысли, все надежды — все улавливалось подзорной трубой завистника.

Странное дело — такой интерес и такая любовь к искусству не погасили все же в Исааке его дикую зависть и жажду мщения. Иногда, направляя на ван Берле свой телескоп, он воображал, что целится в него из мушкета, не дающего промаха, и он искал пальцем собачку, чтобы произвести выстрел и убить ван Берле.

Но, однако, пора установить связь этих дней, когда один работал, а другой подглядывал, с приездом Корнеля де Витта, главного инспектора плотин, в свой родной город.

VII

Счастливый человек знакомится с несчастьем

Корнель, покончив с семейными делами, отправился в январе 1672 года к своему крестнику Корнелиусу ван Берле.

Наступал вечер.

Хотя Корнель и не был большим знатоком садоводства, хотя он и не особенно увлекался искусством, все же

он осмотрел весь дом, от мастерской до оранжереи, от картин до тюльпанов. Он поблагодарил крестника за то, что тот назвал его именем такой великолепный тюльпан. Он говорил с ним приветливым, благодушным отеческим тоном, и в то время, как он рассматривал сокровища ван Берле, у двери счастливого человека с любопытством и даже с почтением стояла толпа.

Весь этот шум возбудил внимание Бокстея, который закусывал у своего очага.

Он справился, в чем дело, и, выяснив, тотчас же забрался в свою обсерваторию. И, несмотря на холод, он примостился там со своей подзорной трубой.

С осени 1671 года эта подзорная труба не приносила ему больше пользы. Зябкие, как истые дети Востока, тюльпаны не выращиваются зимой в земле под открытым небом. Им нужны комнаты, мягкие постели в ящиках и нежное тепло печей. Поэтому зиму Корнелиус проводил в своей лаборатории среди книг и картин. Он очень редко входил в комнату, где хранились луковицы, разве только для того, чтобы согреть ее случайными лучами изредка появлявшегося в небе солища, которые он заставлял волей-неволей проникать к себе в комнату через стеклянный люк в потолке.

В тот вечер, о котором мы говорим, после осмотра в сопровождении слуг всего дома, Корнель тихо сказал ван Берле:

— Сын мой, удалите слуг и постарайтесь, чтобы мы на некоторое время остались одни.

Корнелиус поклонился в знак согласия.

Затем громко произнес:

— Не хотите ли, сударь, теперь осмотреть сушильню для тюльпанов?

Сушильня! Этот *pandaemonium*¹ цветоводства, это дарохранилище, этот *sanctum sanctorum*² был недоступен непосвященным, как некогда Дельфы.

Никогда слуга не переступал его порога своей дерзкой ногой, как сказал бы великий Расин, процветавший в ту эпоху. Корнелиус позволял проникнуть туда только безобидной метле старой служанки, своей кормилицы, которая с тех пор, как Корнелиус посвятил

¹ Святлище.

² Святая святых.

себя выращиванию тюльпанов, не решалась больше класть в рагу луковиц из боязни, как бы не очистить и не поджарить божество своего питомца.

Итак, только при одном слове «сушильня» слуги, несшие светильники, почтительно удалились. Корнелиус взял из рук ближайшего из них свечу и повел своего крестного отца в комнату.

Добавим к уже сказанному нами, что сушильной являлась та самая застекленная комната, на которую Бокстель непрерывно наводил свою подзорную трубу.

Завистник был, конечно, на своем посту. Сперва он увидел, как осветились стены и стекла. Затем появились две тени. Одна из них, большая, величественная, строгая, села за стол, на который Корнелиус поставил светильник. И в ней Бокстель узнал бледное лицо Корнеля де Витта, длинные, на пробор расчесанные волосы, спадавшие ему на плечи.

Главный инспектор плотин, сказав Корнелиусу несколько слов, содержания которых завистник не мог угадать по движению губ, вынул из внутреннего кармана и передал ему тщательно запечатанный белый пакет. По тому, с каким видом Корнелиус взял этот пакет и положил в один из своих шкафов, Бокстель заподозрил, что это были очень важные бумаги.

Сначала он подумал, что драгоценный пакет содержит какие-нибудь луковицы, только что прибывшие из Бенгалии или с Цейлона; но тут же сообразил, что Корнель не разводил тюльпанов и занимался только людьми, растением, на вид менее приятным и от которого гораздо труднее добиться цветения.

И он пришел к мысли, что пакет содержит просто-напросто бумаги и что бумаги эти политического характера.

Но зачем Корнелиусу бумаги, касавшиеся политики? Ведь ученый Корнелиус не только чуждался этой науки, но даже хвастал этим, считая ее более темной, чем химия и даже алхимия?

Без сомнения, Корнель, которому уже угрожала утрата популярности у своих соотечественников, конечно, передал своему крестнику ван Берле на хранение пакет с какими-то бумагами. И это было тем более хитро со стороны Корнеля, что, конечно, не у Корнелиуса, чуждого всяких политических интриг, станут искать эти бумаги.

... К тому же, если бы пакет содержал луковички, — а Бокстель хорошо знал своего соседа, — Корнелиус не выдержал бы и тотчас стал бы рассматривать их, как знаток, чтобы по достоинству оценить сделанный ему подарок.

Корнелиус же, наоборот, почтительно взял пакет из рук инспектора плотин и так же почтительно положил его в ящик, засунув в самую глубь, с одной стороны, вероятно, для того, чтобы его не было видно, а с другой — чтобы он не занимал слишком много места, предназначенного для луковиц.

Когда пакет был положен в ящик, Корнель де Витт поднялся, пожал руку крестнику и направился к двери.

Корнелиус поспешно схватил светильник и бросился вперед, чтобы получше осветить ему путь.

Свет постепенно удалялся из застекленной комнаты, потом он замерцал на лестнице, затем в вестибюле и, наконец, на улице, еще переполненной людьми, желавшими взглянуть, как инспектор плотин снова сядет в карету.

Завистник не ошибся в своих подозрениях. Пакет, переданный Корнелем своему крестнику и заботливо спрятанный последним, содержал в себе переписку Яна с господином де Лувау.

Однако, как об этом рассказывал брату Корнель, пакет был вручен крестнику таким образом, что не вызвал в нем ни малейших подозрений о политической важности бумаг.

При этом он дал единственное указание не отдавать пакет никому, кроме него лично, или по его личной записке, — никому, кто бы этого ни потребовал.

И Корнелиус, как мы видели, запер пакет в шкаф с редкими луковицами.

Когда главный инспектор плотин уехал, затих шум и погасли огни, наш ученый и вовсе перестал думать о пакете. Но о нем, наоборот, весьма задумался Бокстель; он, подобно опытному лощману, видел в этом пакете отдаленную незаметную тучку, которая, приближаясь, растет и таит в себе бурю.

Вот все вехи нашей повести, расставленные на этой тучной почве, которая тянется от Дордрехта до Гааги. Тот, кто хочет, пусть следует за ними в будущее, которое раскрывается в следующих главах; что касается нас, то мы сдержали данное нами слово, доказав, что никогда

ни Корнель, ни Ян де Витт не имели во всей Голландии таких яростных врагов, какого имел ван Берле в лице своего соседа мингера Исаака Бокстеля.

Но все же, благоденствуя в неведении, наш цветовод подвинулся на своем пути к цели, намеченной обществом цветоводов города Гаарлема: из темно-коричневого тюльпана он вывел тюльпан цвета жженого кофе.

Возвращаясь к нему в тот самый день, когда в Гааге произошли знаменательные события, о которых мы уже рассказывали, мы застаем его около часу пополудни у одной из грядок. Он снимал с нее еще бесплодные луковицы от посаженных тюльпанов цвета жженого кофе; их цветение ожидалось весной 1673 года, и оно должно было дать тот знаменитый черный тюльпан, которого добивалось общество цветоводов города Гаарлема.

Итак, 20 августа 1672 года в час дня Корнелиус находился у себя в сушильне. Упершись ногами в перекладину стола, а локтями — на скатерть, он с наслаждением рассматривал три маленьких луковички, которые получил от только что снятой луковицы: луковички безупречные, неповрежденные, совершенные — неоценимые зародыши одного из чудеснейших произведений науки и природы, которое в случае удачи опыта должно было навсегда прославить имя Корнелиуса ван Берле.

— Я выведу большой черный тюльпан,— говорил про себя Корнелиус, отделяя луковички.— Я получу обещанную премию в сто тысяч флоринов. Я раздам их бедным города Дордрехта, и, таким образом, ненависть, которую вызывает каждый богатый во время гражданской войны, утратит свою остроту, и я, не опасаясь ни республиканцев, ни оранжистов, смогу по-прежнему содержать свои гряды в отличном состоянии. Тогда мне не придется больше опасаться, что во время бунта лавочники из Дордрехта и моряки из порта придут вырывать мои луковицы, чтобы накормить ими свои семьи, как они мне иногда грозят втихомолку, когда до них доходит слух, что я купил луковицу за двести или триста флоринов. Это решено, я раздам бедным сто тысяч флоринов, премию города Гаарлема. Хотя...

На этом слове хотя Корнелиус сделал паузу и вздохнул.

— Хотя,— продолжал он,— было бы очень приятно потратить эти сто тысяч флоринов на расширение моего цветника или даже на путешествие на восток — на родину прекраснейших цветов.

Но, увы, не следует больше мечтать об этом: мушкетеры, знамена, барабаны и прокламации — вот кто господствует в данный момент.

Ван Берле поднял глаза к небу и вздохнул.

Затем, вновь устремив свой взгляд на луковицы, занимавшие в его мыслях гораздо больше места, чем мушкетеры, барабаны, знамена и прокламации, он заметил:

— Вот, однако же, прекрасные луковички; какие они гладкие, какой прекрасной формы, какой у них грустный вид, сулящий моему тюльпану цвет черного дерева! Жилки на их кожице так тонки, что они даже незаметны невооруженному глазу. О, уж наверняка ни одно пятно не испортит траурного одеяния цветка, который своим рождением будет обязан мне.

Как назвать это детище моих бдений, моего труда, моих мыслей? «*Tulipa nigra Barlaensis*»¹... Да, *Barlaensis*. Прекрасное название. Все европейские тюльпановоды, то есть, можно сказать, вся просвещенная Европа, вздрогнут, когда ветер разнесет на все четыре стороны это известие.

— Большой черный тюльпан найден.

— Его название? — спросят любители.

— *Tulipa nigra Barlaensis*.

— Почему *Barlaensis*?

— В честь имени творца его, ван Берле,— будет ответ.

— А кто такой ван Берле?

— Это тот, кто уже создал пять новых разновидностей: «Жанну», «Яна де Витта», «Корнеля» и т. д.

Ну что же, вот мое честолюбие. Оно никому не будет стоить слез. И о моем «*Tulipa nigra Barlaensis*» будут говорить и тогда, когда, быть может, мой крестный, этот великий политик, будет известен только благодаря моему тюльпану, который я назвал его именем.

Очаровательные луковички!

— Когда мой тюльпан расцветет,— продолжал Корнелиус,— и если к тому времени волнения в Голландии прекратятся, я раздам бедным только пятьдесят

¹ *Tulipa nigra (Ldr.)* — черный тюльпан.

тысяч флоринов, ведь в конечном счете и это немало для человека, который, в сущности, никому ничего не должен. Остальные пятьдесят тысяч флоринов я употреблю на научные опыты. С этими пятьюдесятью тысячами флоринов я добьюсь, что тюльпан станет благоухать. О, если бы мне удалось добиться, чтобы тюльпан издавал аромат розы или гвоздики или, даже еще лучше, совершенно новый аромат! Если бы я мог вернуть этому царю цветов его естественный аромат, который он потерял при переходе со своего восточного трона на европейский, тот аромат, которым он должен обладать в Индии, в Гоа, в Бомбее, в Мадрасе и особенно на том острове, где некогда, как уверяют, был земной рай и который именуется Цейлоном. О, какая слава! Тогда, клянусь! Тогда я предпочту быть Корнелиусом ван Берле, чем Александром Македонским, Цезарем или Максимилианом.

Восхитительные луковички!..

Корнелиус наслаждался созерцанием и весь ушел в сладкие грезы.

Вдруг звонок в его кабинете зазвонил сильнее обычного.

Корнелиус вздрогнул, прикрыл рукой луковички, обернулся.

— Кто там?

— Сударь,— ответил слуга,— это нарочный из Гааги.

— Нарочный из Гааги? Что ему нужно?

— Сударь, это Кракэ.

— Кракэ, доверенный слуга Яна де Витта? Хорошо. Хорошо, хорошо, пусть он подождет.

— Я не могу ждать,— раздался голос в коридоре.

И в тот же момент, нарушая запрещение, Кракэ устремился в сушильню.

Неожиданное, почти насильственное вторжение было таким нарушением обычаев дома Корнелиуса ван Берле, что он, при виде вбежавшего в комнату Кракэ, сделал рукой, прикрывавшей луковички, судорожное движение и сбросил две из них на пол; они покатались; одна — под соседний стол, другая — в камин.

— А, дьявол! — воскликнул Корнелиус, бросившись вслед за своими луковичками.— В чем дело, Кракэ?

— Вот,— сказал Кракэ, положив записку на стол, на котором оставалась лежать третья луковичка.— Вы должны, не теряя ни минуты, прочесть эту бумагу.

И Кракэ, которому показалось, что на улицах Дордрехта заметны признаки волнения, подобного тому, какое он недавно наблюдал в Гааге, скрылся, даже не оглядываясь назад.

— Хорошо, хорошо, мой дорогой Кракэ,— сказал Корнелиус, доставая из-под стола драгоценную луковичку,— прочтем твою бумагу.

Подняв луковичку, он положил ее на ладонь и стал внимательно осматривать.

— Ну, вот, одна неповрежденная. Дьявол Кракэ! Ворвался как бешеный в сушильню. А теперь посмотрим другую.

И, не выпуская из руки беглянки, ван Берле направился к камину и, стоя на коленях, стал ворошить золу, которая, к счастью, была холодная.

Он скоро нащупал вторую луковичку.

— Ну, вот и она.

И, рассматривая ее почти с отеческим вниманием, сказал:

— Невредима, как и первая.

В этот момент, когда Корнелиус еще на коленях рассматривал вторую луковичку, дверь так сильно сотряслась, а вслед за этим распахнулась с таким шумом, что Корнелиус почувствовал, как от гнева, этого дурного советчика, запылали его щеки и уши.

— Что там еще? — закричал он.— Или в этом доме все с ума сошли!

— Сударь, сударь! — воскликнул, поспешно вбегая в сушильню слуга. Лицо его было еще бледнее, а вид еще растерянее, чем у Кракэ.

— Ну, что? — спросил Корнелиус, предчувствуя в двойном нарушении всех его правил какое-то несчастье.

— О, сударь, бегите, бегите скорее! — кричал слуга.

— Бежать? Почему?

— Сударь, дом переполнен стражей!

— Что им надо?

— Они ищут вас.

— Зачем?

— Чтобы арестовать.

— Арестовать, меня?

— Да, сударь, и с ними судья.

— Что бы это значило? — спросил ван Берле, сжимая в руке обе луковички и устремляя растерянный взгляд на лестницу.

— Они идут, они идут наверх! — закричал слуга.

— О мой благородный господин, о мое дорогое дитя! — кричала кормилица, которая тоже вошла в сушильню. — Возьмите золото, драгоценности и бегите, бегите!

— Но каким путем я могу бежать? — спросил ван Берле.

— Прыгайте в окно!

— Двадцать пять футов.

— Вы упадете на пласт мягкой земли.

— Да, но я упаду на мои тюльпаны.

— Все равно, прыгайте!

Корнелиус взял третью луковичку, подошел к окну, раскрыл его, но, представив себе вред, который будет причинен его грядам, он пришел в больший ужас, чем от расстояния, какое ему пришлось бы пролететь при падении.

— Ни за что, — сказал он и сделал шаг назад.

В этот момент за перилами лестницы появились алебарды солдат.

Кормилица простерла к небу руки.

Что касается Корнелиуса, то надо сказать, к чести его (не как человека, а как цветовода), что все свое внимание он устремил на драгоценные луковички.

Он искал глазами бумагу, во что бы их завернуть, заметил листок из библии, который Кракэ положил на стол, взял его и, не вспомнив даже — так сильно было его волнение, — откуда взялся этот листок, завернул в него все три луковички, спрятал их за пазуху и стал ждать.

В эту минуту вошли солдаты, возглавляемые судьей.

— Это вы доктор Корнелиус ван Берле? — спросил судья, хотя он прекрасно знал молодого человека. Он в этом отношении действовал согласно правилам правосудия, что, как известно, придает допросу сугубо важный характер.

— Да, это я, господин ван Спеннен, — ответил Корнелиус, вежливо раскланиваясь с судьей. — И вы это отлично знаете.

— Выдайте нам мятежные документы, которые вы прячете у себя.

— Мятежные документы? — повторил Корнелиус, ошеломленный таким обращением.

— О, не притворяйтесь удивленным.

— Клянусь вам, господин ван Спеннен, я не знаю, что вы хотите этим сказать.

— Ну, тогда, доктор, я вам помогу, — сказал судья. — Выдайте нам те бумаги, которые спрятал у вас в январе месяце предатель Корнель де Витт.

В уме Корнелиуса словно что-то озарилось.

— О, о, — сказал ван Спеннен, — вот вы и начинаете вспоминать, не правда ли?

— Конечно, но вы говорите о мятежных бумагах, а таких у меня нет.

— А, вы отрицаете?

— Безусловно.

Судья обернулся, чтобы окинуть взглядом весь кабинет.

— Какую комнату в вашем доме называют сушильной? — спросил он.

— Мы как раз в ней находимся.

Судья взглянул на небольшую записку, лежавшую поверх бумаг, которые он держал в руке.

— Хорошо, — сказал он с уверенностью и повернулся к Корнелиусу. — Вы мне выдадите эти бумаги? — спросил он.

— Но я не могу, господин ван Спеннен, эти бумаги не мои, они мне отданы на хранение и потому неприкосновенны.

— Доктор Корнелиус, — сказал судья, — именем правительства я приказываю вам открыть этот ящик и выдать мне бумаги, которые там спрятаны. — И судья пальцем указал на третий ящик шкафа, стоящего у камина.

Действительно, в этом ящике и лежал пакет, который главный инспектор плотин передал своему крестнику; было очевидно, что полиция прекрасно осведомлена обо всем.

— А, вы не хотите, — сказал ван Спеннен, увидев, что ошеломленный Корнелиус не двигается с места. — Тогда я открою сам.

Судья выдвинул ящик во всю его длину и раньше всего нацкнулся на десятка два луковиц, заботливо уложенных рядами и снабженных надписями, затем он

нашел и пакет с бумагами, который был точно в том же виде, в каком его вручил своему крестнику несчастный Корнель де Витт.

Судья сломал печати, разорвал конверт, бросил жадный взгляд на первые попавшие ему листки и воскликнул грозным голосом:

— А, значит, правосудие получило не ложный донос!

— Как,— спросил Корнелиус,— в чем дело?

— О, господин ван Берле, бросьте притворяться невинным и следуйте за мной.

— Как, следовать за вами? — воскликнул доктор.

— Да так, как именем правительства я вас арестую.

Именем Вильгельма Оранского пока еще не арестовывали. Для этого он еще слишком недавно сделался штатгальтером.

— Арестовать меня? — воскликнул Корнелиус.— Что же я такого совершил?

— Это меня не касается, доктор, вы объяснитесь с вашими судьями.

— Где?

— В Гааге.

Корнелиус в полном изумлении поцеловал падающую в обморок кормилицу, пожал руки своим слугам, которые обливались слезами, и двинулся за судьей. Тот посадил его в карету, как государственного преступника, и велел возможно быстрее везти в Гаагу.

VIII

Налет

Легко догадаться, что все случившееся было дьявольским делом рук мингера Исаака Бокстеля.

Мы знаем, что при помощи подзорной трубы он во всех подробностях наблюдал встречу Корнеля де Витта со своим крестником.

Мы знаем, что он ничего не слышал, но все видел.

Мы знаем, что, по тому, как Корнелиус бережно взял пакет и положил его в тот ящик, куда он запирает самые драгоценные луковицы, Бокстель догадался о важности бумаг, доверенных главным инспектором плотин своему крестнику.

Как только Бокстель, уделявший политике куда больше внимания, чем его сосед Корнелиус, узнал об аресте Корнеля де Витта, как государственного преступника, он сразу же подумал, что ему, вероятно, достаточно сказать только одно слово, чтобы крестник был так же арестован, как и его крестный.

Однако, как ни возрадовалось сердце Бокстеля, он все же сначала содрогнулся при мысли о доносе и о том, что донос может привести Корнелиуса на эшафот.

В злых мыслях самое страшное то, что злые души постепенно сживаются с ними.

К тому же мингер Бокстель поощрял себя следующим софизмом:

«Корнель де Витт плохой гражданин, раз он арестован по обвинению в государственной измене. Что касается меня, то я честный гражданин, раз меня ни в чем не обвиняют, и я свободен, как ветер. Поэтому, если Корнель де Витт — плохой гражданин, что является непреложным фактом, раз он обвинен в государственной измене и арестован, то его сообщник Корнелиус ван Берле является гражданином не менее плохим, чем он.

Итак, раз я честный гражданин, а долг всех честных граждан доносить на граждан плохих, то я, Исаак Бокстель, обязан донести на Корнелиуса ван Берле».

Но, может быть, эти рассуждения, как бы благовидны они ни были, не овладели бы так сильно Бокстелем и, может быть, завистник не поддался бы простой жажде мести, терзавшей его сердце, если бы демон зависти не объединился с демоном жадности.

Бокстель знал, каких результатов добился уже ван Берле в своих опытах по выращиванию черного тюльпана.

Как ни был скромен доктор Корнелиус ван Берле, он не мог скрыть от близких свою почти что уверенность в том, что в 1673 году он получит премию в сто тысяч флоринов, объявленную обществом садоводов города Гаарлема.

Вот эта почти что уверенность Корнелиуса ван Берле и была лихорадкой, терзавшей Исаака Бокстеля.

Арест Корнелиуса произвел бы большое смятение в его доме. И в ночь после ареста никому не пришло бы в голову оберегать в саду его тюльпаны.

И в эту ночь Бокстель мог бы перебраться через забор, и так как он знал, где находится луковица знаменитого черного тюльпана, то он и забрал бы ее. И вместо того, чтобы расцвести у Корнелиуса, черный тюльпан расцвел бы у него, и премию в сто тысяч флоринов вместо Корнелиуса получил бы он, не считая уже великой чести назвать новый цветок *tulipa nigra Boxtellensis*.

Результат, который удовлетворял не только его жажду мщения, но и его алчность.

Когда он бодрствовал, все его мысли были заняты только большим черным тюльпаном, во сне он грезил только им.

Наконец, 19 августа, около двух часов пополудни искушение стало настолько сильным, что мингер Исаак не мог ему больше противиться. И он написал анонимный донос, который был настолько точен, что не мог вызвать сомнений в достоверности, и послал его по почте.

В тот же вечер главный судья получил этот донос. Он тотчас же назначил своим коллегам заседание на следующее утро. Утром они собрались, постановили арестовать ван Берле, и приказ об аресте вручили господину ван Спеннену.

Последний — мы это видели — выполнил его, как честный голландец, и арестовал Корнелиуса ван Берле именно в то время, когда оранжисты города Гааги терзали трупы Корнеля и Яна де Виттов.

Со стыда ли, по слабости ли воли, но в этот день Исаак Бокстель не решился направить свою подзорную трубу ни на сад, ни на лабораторию, ни на сушильню. Он и без того слишком хорошо знал, что произойдет в доме несчастного доктора Корнелиуса. Он даже не встал и тогда, когда его единственный слуга, завидовавший слугам ван Берле не менее, чем Бокстель завидовал их господину, вошел в комнату.

Бокстель сказал ему:

— Я сегодня не встану, я болен.

Около девяти часов он услышал шум на улице и вздрогнул. В этот момент он был бледнее настоящего больного и дрожал сильнее, чем дрожит человек, одержимый лихорадкой.

Вошел слуга. Бокстель укрылся под одеяло.

— О сударь!— воскликнул слуга, который догадывался, что, сокрушаясь о несчастье, постигшем их соседа, он сообщит своему господину приятную новость.— О сударь, вы не знаете, что сейчас происходит?

— Откуда же мне знать?— ответил Бокстель еле слышным голосом.

— Сударь, сейчас арестовывают вашего соседа Корнелиуса ван Берле по обвинению в государственной измене.

— Что ты!— пробормотал слабеющим голосом Бокстель.— Разве это возможно?

— По крайней мере, так говорят; к тому же я сам видел, как к нему вошли судья ван Спеннен и стрелки.

— Ну, если ты сам видел,— другое дело,— ответил Бокстель.

— Во всяком случае, я еще раз схожу на разведку,— сказал слуга.— И, не беспокойтесь, сударь, я буду вас держать в курсе дела.

Бокстель легким кивком головы поощрил усердие своего слуги.

Слуга вышел и через четверть часа вернулся обратно.

— О сударь,— сказал он,— все, что я вам рассказал, истинная правда.

— Как так?

— Господин ван Берле арестован; его посадили в карету и увезли в Гаагу.

— В Гаагу?

— Да, и там, если верить разговорам, ему недобровать.

— А что говорят?

— Представьте, сударь, говорят,— но это еще только слухи, говорят, что горожане убивают сейчас Корнеля и Яна де Виттов.

— О!.. — простонал или, вернее, прохрипел Бокстель, закрыв глаза, чтобы не видеть ужасной картины, которая ему представилась.

— Черт возьми,— заметил, выходя, слуга,— мингер Исаак Бокстель, по всей вероятности, очень болен, раз при такой новости он не соскочил с кровати.

Действительно, Исаак Бокстель был очень болен, он был болен, как человек, убивший другого человека. Но он убил человека с двойной целью. Первая была достигнута, теперь оставалось достигнуть второй.

Приближалась ночь.

Бокстель ждал ночи.

Наступила ночь, он встал.

Затем он взлез на свой клен. Он правильно рассчитал,— никто и не думал охранять сад; в доме все было перевернуто вверх дном.

Бокстель слышал, как пробило десять часов, потом одиннадцать, двенадцать.

В полночь, с бьющимся сердцем, с дрожащими руками, с мертвенно-бледным лицом, он слез с дерева, взял лестницу, приставил ее к забору и, поднявшись до предпоследней ступени, прислушался.

Кругом было спокойно. Ни один звук не нарушал ночной тишины.

Единственный огонек брезжил во всем доме. Он теплился в комнате кормилицы.

Мрак и тишина ободрили Бокстеля.

Он перебросил ногу через забор, задержался на секунду на самом верху, потом, убедившись, что ему нечего бояться, перекинул лестницу из своего сада в сад Корнелиуса и спустился по ней вниз.

Зная в точности место, где были посажены луковицы будущего черного тюльпана, он побежал в том направлении, но не прямо через грядки, а по дорожкам, чтобы не оставить следов. Дойдя до места, с дикой радостью погрузил он свои руки в мягкую землю.

Он ничего не нашел и решил, что ошибся местом. Пот градом выступил у него на лбу. Он копнул рядом — ничего. Копнул справа, слева — ничего.

Он чуть было не лишился рассудка, так как заметил, наконец, что земля была взрыта еще утром. Действительно, в то время, как Бокстель лежал еще в постели, Корнелиус спустился в сад, вырыл луковицу и, как мы видели, разделил ее на три маленькие луковички.

У Бокстеля не хватило решимости оторваться от заветного места. Он перерыл руками больше десяти квадратных футов.

Наконец он перестал сомневаться в своем несчастье.

Обезумев от ярости, он добежал до лестницы, перекинул ногу через забор, снова перенес лестницу от Корнелиуса к себе, бросил ее в сад и спрыгнул вслед за ней.

Вдруг его осенила последняя надежда.

Луковички находятся в сушильне.

Остается проникнуть в сушильню. Там он должен найти их.

В сущности, сделать это было не труднее, чем проникнуть в сад. Стекла в сушильне поднимались и опускались, как в оранжерее. Корнелиус ван Берле открыл их этим утром, и никому не пришло в голову закрыть их.

Все дело было в том, чтобы раздобыть достаточно высокую лестницу, длиною в двадцать футов, вместо двенадцатифутовой.

Бокстель однажды видел на улице, где он жил, какой-то ремонтирующийся дом. К дому была приставлена гигантская лестница. Эта лестница, если ее не унесли рабочие, наверняка подошла бы ему.

Он побежал к тому дому. Лестница стояла на своем месте. Бокстель взял лестницу и с большим трудом дотащил до своего сада. Еще с большим трудом ему удалось приставить ее к стене дома Корнелиуса.

Лестница как раз доходила до верхней подвижной рамы.

Бокстель положил в карман зажженный потайной фонарик, поднялся по лестнице и проник в сушильню.

Войдя в это святилище, он остановился, опираясь о стол. Ноги у него подкашивались, сердце безумно билось.

Здесь было более жутко, чем в саду. Простор как бы лишает собственность ее священной неприкосновенности. Тот, кто смело перепрыгивает через изгородь или забирается на стену, часто останавливается у двери или у окна комнаты.

В саду Бокстель был только мародером, в комнате он был вором.

Однако же мужество вернулось к нему: он ведь пришел сюда не для того, чтобы вернуться с пустыми руками.

Он долго искал, открывая и закрывая все ящики и даже самый заветный ящик, в котором лежал пакет, оказавшийся роковым для Корнелиуса. Он нашел «Жанну», «де Витта», серый тюльпан и тюльпан цвета жженого кофе, снабженные этикетками с надписями, как в ботаническом саду. Но черного тюльпана или,

вернее, луковичек, в которых он дремал перед тем, как расцвести,— не было и следа.

И все же в книгах записи семян и луковичек, которые ван Берле вел по бухгалтерской системе и с большим старанием и точностью, чем велись бухгалтерские книги в первоклассных фирмах Амстердама, Бокстель прочел следующие строки:

«Сегодня, 20 августа 1672 года, я вырыл луковицу славного черного тюльпана, от которой получил три превосходные луковички».

— Луковички! Луковички! — рычал Бокстель, переворачивая в сушильне все вверх дном.— Куда он их мог спрятать?

Вдруг изо всей силы он ударил себя по лбу и воскликнул:

— О я несчастный! О трижды проклятый Бокстель! Разве с луковичками расстаются? Разве их оставляют в Дордрехте, когда уезжают в Гаагу? Разве можно существовать без своих луковичек, когда это луковички знаменитого черного тюльпана? Он успел их забрать, негодяй! Они у него, он увез их в Гаагу!

Это был луч, осветивший Бокстелю бездну его бесполезного преступления. Бокстель, как громом пораженный, упал на тот самый стол, на то самое место, где несколько часов назад несчастный ван Берле долго и с упоением восхищался луковичками черного тюльпана.

— Ну, что же,— сказал завистник, поднимая свое мертвенно-бледное лицо,— в конце концов, если они у него, он сможет хранить их только до тех пор, пока жив...

И его гнусная мысль завершилась отвратительной гримасой.

— Луковички находятся в Гааге,— сказал он.— Значит, я не могу больше жить в Дордрехте.

В Гаагу, за луковичками, в Гаагу!

И Бокстель, не обращая внимания на огромное богатство, которое он покидал,— так он был захвачен стремлением к другому неоценимому сокровищу,— Бокстель вылез в окно, спустился по лестнице, отнес орудие воровства туда, откуда он его взял, и, рыча, подобно дикому животному, вернулся к себе домой.

IX

Фамильная камера

Было около полуночи, когда бедный ван Берле был заключен в тюрьму Бюйтенгоф.

Предположения Розы сбылись. Найдя камеру Корнеля пустой, толпа пришла в такую ярость, что, подвернись под руку этим бешеным людям старик Грифус, он, безусловно, поплатился бы за отсутствие своего заключенного.

Но этот гнев излился на обоих братьев, застигнутых убийцами, благодаря мерам предосторожности, принятым Вильгельмом, этим предусмотрительнейшим человеком, который велел запереть городские ворота.

Наступил, наконец, момент, когда тюрьма опустела, когда после громоподобного рева, катившегося по лестницам, наступила тишина.

Роза воспользовалась этим моментом, вышла из своего тайника и вывела оттуда отца.

Тюрьма была совершенно пуста. Зачем оставаться в тюрьме, когда кровавая расправа идет на улице.

Грифус, дрожа всем телом, вышел вслед за мужественной Розой. Они пошли запереть кое-как ворота. Мы говорим кое-как, ибо ворота были наполовину сломаны.

Было видно, что здесь прокатился мощный поток народного гнева.

Около четырех часов вновь послышался шум. Но этот шум уже не был опасен для Грифуса и его дочери. Толпа волокла трупы, чтобы повесить их на обычном месте казни.

Роза снова спряталась, но на этот раз только для того, чтобы не видеть ужасного зрелища.

В полночь постучали в ворота Бюйтенгофа или, вернее, в баррикаду, которая их заменяла.

Это привезли Корнелиуса ван Берле.

Когда Грифус принял нового гостя и прочел в сопроводительном приказе звание арестованного, он пробормотал с у г р ю м о й улыбкой тюремщика:

— Крестник Корнеля де Витта. А, молодой человек, здесь у нас есть как раз ваша фамильная камера; в нее мы вас и поместим.

И, довольный своей остротой, непримиримый оранжист взял фонарь и ключи, чтобы провести Корнелиуса в ту камеру, которую только утром покинул Корнель де Витт.

Итак, Грифус готовился проводить крестника в камеру его крестного отца.

По пути к камере несчастный цветовод слышал только лай собаки и видел только лицо молодой девушки.

Таша за собой толстую цепь, собака вылезла из большой ниши, выдолбленной в стене, и стала обнюхивать Корнелиуса, чтобы его узнать, когда ей будет приказано растерзать его.

Под напором руки заключенного затрещали перила лестницы, и молодая девушка открыла под самой лестницей окошечко своей комнаты. Лампа, которую она держала в правой руке, осветила ее прелестное розовое личико, обрамленное тугими косами чудесных белокурых волос; левой же рукой она запахивала на груди ночную рубашку, так как неожиданный приезд Корнелиуса прервал ее сон.

Получился прекрасный сюжет для художника, вполне достойный кисти Рембрандта: черная спираль лестницы, которую красноватым огнем освещал фонарь Грифуса; на самом верху суровое лицо тюремщика, позади него задумчивое лицо Корнелиуса, склонившегося над перилами, чтобы заглянуть вниз; внизу, под ним, в рамке освещенного окна — милое личико Розы и ее стыдливый жест, несколько смущенный, быть может, потому, что рассеянный и грустный взгляд Корнелиуса, стоявшего на верхних ступеньках, скользил по белым, округлым плечам молодой девушки.

Дальше, внизу, совсем в тени, в том месте лестницы, где мрак скрывал все детали, красным огнем пламенели глаза громадной собаки, потрясавшей своей цепью, на кольцах которой блестело яркое пятно от двойного света — лампы Розы и фонаря Грифуса.

Но и сам великий Рембрандт не смог бы передать страдальческое выражение, появившееся на лице Розы, когда она увидела медленно поднимавшегося по лестнице бледного, красивого молодого человека, к которому относилась зловещие слова ее отца: «Вы получите фамилную камеру».

Однако эта живая картина длилась только один миг, гораздо меньше времени, чем мы употребили на ее описание.

Грифус продолжал свой путь, а за ним поневоле последовал и Корнелиус. Спустя пять минут он вошел в камеру, описывать которую бесполезно, так как читатель уже знаком с ней.

Грифус пальцем указал заключенному кровать, на которой столько выстрадал скончавшийся днем мученик, и вышел.

Корнелнус, оставшись один, бросился на кровать, но уснуть не мог. Он не спускал глаз с окна с железной решеткой, которое выходило на Бюйтенгоф; он видел через него появляющийся поверх деревьев первый проблеск света, падающий на землю, словно белое покрывало.

Ночью, время от времени, раздавался быстрый топот лошадей, скачущих галопом по Бюйтенгофу, слышалась тяжелая поступь патруля, шагающего по булыжнику площади, а фитили аркебуз, вспыхивая при западном ветре, посылали вплоть до тюремных окон свои быстро перемещающиеся искорки.

Но когда предутренний рассвет посеребрил гребни остроконечных крыш города, Корнелиус подошел к окну, чтобы скорее узнать, нет ли хоть одного живого существа вокруг него, и грустно оглядел окрестность.

В конце площади, вырисовываясь на фоне серых домов, неправильным силуэтом возвышалось что-то черноватое, в предутреннем тумане приобретающее темно-синий оттенок.

Корнелиус понял, что это виселица.

На ней слегка раскачивались два бесформенных трупа, которые скорее представляли собою окровавленные скелеты.

Добрые гаагские горожане истерзали тела своих жертв, но честно приволокли на виселицу их трупы, и имена убитых красовались на огромной доске.

Корнелиусу удалось разобрать на доске следующие строки, написанные толстой кистью захудалого живописца:

«Здесь повешены великий злодей, по имени Ян де Витт, и мелкий негодяй, его брат, два врага народа, но большие друзья французского короля».

Корнелиус закричал от ужаса и в безумном исступлении стал стучать ногами и руками в дверь так стремительно и с такой силой, что прибежал разъяренный Грифус с огромной связкой ключей в руке.

Он отворил дверь, изрыгая проклятия по адресу заключенного, осмелившегося побеспокоить его в неурочный час.

— Что это! Уж не взбесился ли этот новый де Витт? — воскликнул он. — Да, похоже, что де Витты действительно одержимы дьяволом!

— Посмотрите, посмотрите, — сказал Корнелиус, схватив тюремщика за руку, и потащил его к окну. — Посмотрите, что я там прочел!

— Где там?

— На этой доске.

И, бледный, весь дрожа и задыхаясь, Корнелиус указал на виселицу, возвышавшуюся в глубине площади и украшенную этой циничной надписью.

Грифус расхохотался.

— А, — ответил он, — вы прочли... Ну что же, дорогой господин, вот куда докатываются, когда ведут знакомство с врагами Вильгельма Оранского.

— Виттов убили, — прошептал, падая с закрытыми глазами на кровать, Корнелиус; на лбу его выступил пот, руки беспомощно повисли.

— Господа Витты подверглись народной каре, — возразил Грифус. — Вы именуете это убийством, я же называю это казнью.

И, увидев, что заключенный не только успокоился, но пришел в полное изнеможение, он вышел из камеры, с шумом хлопнув дверью и с треском задвинув засов.

Корнелиус пришел в себя; он стал смотреть на камеру, в которой находился, на «фамильную камеру», по изречению Грифуса, — как на роковое преддверие к печальной смерти.

И так как Корнелиус был философом и, кроме того, христианином, он стал молиться за упокой души крестного отца и великого пенсионария и затем решил смириться перед всеми бедами, которые ему пошлет судьба.

Спустившись с небес на землю, очутившись в своей камере и убедившись, что, кроме него, в ней никого нет, он вынул из-за пазухи три луковички черного тюльпана

и спрятал их в самом темном углу, за камнем, на который ставят традиционный кувшин.

Сколько лет бесполезного труда! Разбитые мечты! Его открытие канет в ничто так же, как он сойдет в могилу. В тюрьме ни одной травинки, ни одной горсти земли, ни одного луча солнца!

При этой мысли Корнелиус впал в мрачное отчаяние, из которого он вышел только благодаря чрезвычайному событию.

Что это за чрезвычайное событие?

О нем мы расскажем в следующей главе.

Х

Дочь тюремщика

В тот же вечер, когда Грифус приносил пищу заключенному, он, открывая дверь камеры, поскользнулся и упал. Стараясь удержать равновесие, он неловко подвернул руку и сломал ее повыше кисти.

Корнелиус бросился было к тюремщику, но Грифус, не почувствовав сразу серьезности ушиба, сказал:

— Ничего серьезного. Не подходите.

И он хотел подняться, опираясь на ушибленную руку, но рука согнулась. Тут Грифус ощутил сильнейшую боль и закричал.

Он понял, что сломал руку. И этот человек, столь жестокий с другими, упал без чувств на порог и лежал без движения, холодный, словно покойник.

Дверь камеры оставалась открытой, и Корнелиус был почти на свободе. Но ему и в голову не пришла мысль воспользоваться этим несчастным случаем. Как врач, он моментально сообразил по тому, как рука согнулась, по треску, который раздался при этом, что случился перелом, причиняющий пострадавшему боль. Корнелиус старался оказать помощь, забыв о враждебности, с какой пострадавший отнесся к нему при их единственной встрече.

В ответ на шум, вызванный падением Грифуса, и на его жалобный стон послышались быстрые шаги на лестнице, и сейчас же появилась девушка. При виде ее

у Корнелиуса вырвался возглас удивления, в свою очередь, девушка негромко вскрикнула.

Это была прекрасная фрисландка. Увидев на полу отца и склоненного над ним заключенного, она подумала сначала, что Грифус, грубость которого ей хорошо была известна, пал жертвой борьбы, затеянной им с заключенным. Корнелиус сразу уловил это подозрение, зародившееся у молодой девушки.

Но при первом же взгляде девушка поняла истину и, устыдившись своих подозрений, подняла на молодого человека очаровательные глаза и сказала со слезами:

— Простите и спасибо, сударь. Простите за дурные мысли и спасибо за оказываемую помощь.

Корнелиус покраснел.

— Оказывая помощь ближнему, — ответил он, — я только выполняю свой долг.

— Да, и оказывая ему помощь вечером, вы забываете о тех оскорблениях, которые он вам наносил утром. Это более чем человечно, сударь, — это более чем по-христиански.

Корнелиус посмотрел на красавицу, пораженный тем, что слышит столь благородные слова из уст простой девушки.

Но он не успел выразить свое удивление. Грифус, придя в себя, раскрыл глаза, и его обычная грубость ожила вместе с ним.

— Вот, — сказал он, — что получается, когда торопишься принести ужин заключенному: торопясь — падаешь, падая — ломаешь себе руку, потом валяешься на полу безо всякой помощи.

— Замолчите, — сказала Роза. — Вы несправедливы к молодому человеку; я его застала как раз в тот момент, когда он оказывал вам помощь.

— Он? — спросил недоверчиво Грифус.

— Да, это правда, и я готов лечить вас и впредь.

— Вы? — спросил Грифус. — А разве вы доктор?

— Да, это моя о с н о в н а я профессия.

— Так что вы сможете вылечить мне руку?

— Безусловно.

— Что же вам для этого потребуется?

— Две деревянные дощечки и два бита для перевязки.

— Ты слышишь Роза? — сказал Грифус. — Заключенный вылечит мне руку; мы избавимся от лиш-

него расхода; помоги мне подняться, я словно налит свинцом.

Роза подставила раненому свое плечо, он обвил здоровой рукой шею девушки и, сделав усилие, поднялся на ноги, а Корнелиус пододвинул к пострадавшему кресло, чтобы избавить его от лишних движений.

Грифус сел, затем обернулся к своей дочери:

— Ну, что же, ты разве не слышала? Пойди принеси то, что требуется.

Роза спустилась и вскоре вернулась с двумя дощечками и длинным бинтом. Корнелиус снял с тюремщика куртку и засучил рукав его рубашки.

— Вам это нужно, сударь? — спросила Роза.

— Да, мадемуазель, — ответил Корнелиус, бросив взгляд на принесенные предметы, — да, это как раз то, что мне нужно. Теперь я поддерживаю руку вашего отца, а вы придвиньте стол.

Роза придвинула стол. Корнелиус положил на него сломанную руку, чтобы она лежала ровнее, и с удивительной ловкостью соединил концы переломанной кости, приладил дощечки и наложил бинт.

В самом конце перевязки тюремщик опять потерял сознание.

— Пойдите принесите уксус, мадемуазель, — сказал Корнелиус, — мы потрем ему виски, и он придет в себя.

Но вместо того, чтобы выполнить это поручение, Роза, убедившись, что отец действительно в бессознательном состоянии, подошла к Корнелиусу.

— Сударь, — сказала она, — услуга за услугу.

— Что это значит, милое дитя?

— А это значит, сударь, что судья, который должен вас завтра допрашивать, приходил узнать, в какой вы камере, и ему сказали, что вы в той же камере, где находился Корнель де Витт. Услышав это, он так зловеще усмехнулся, что я опасаюсь, не ожидает ли вас какая-нибудь беда.

— Но что же мне могут сделать? — спросил Корнелиус.

— Вы видите отсюда эту виселицу?

— Но ведь я же невиновен, — сказал Корнелиус.

— А разве были виновны те двое, которые там повешены, истерзаны, изуродованы?

— Да, это правда,— сказал, омрачившись, Корнелиус.

— К тому же,— продолжала Роза,— общественное мнение хочет, чтобы вы были виновны. Но виновны вы или нет, ваш процесс начнется завтра; послезавтра вы будете осуждены; в наше время эти дела делаются быстро.

— Какие же выводы вы делаете из этого? — спросил Корнелиус.

— А вот какие: я одна, я слаба, я женщина, отец лежит в обмороке, собака в наморднике; следовательно, никто и ничто не мешает вам скрыться. Спасайтесь бегством, вот какие выводы я делаю.

— Что вы говорите?

— Я говорю, что мне, к сожалению, не удалось спасти ни Корнеля, ни Яна де Виттов, и я бы очень хотела спасти хоть вас. Только торопитесь, вот у отца уже появилось дыхание; через минуту, быть может, он откроет глаза, и тогда будет слишком поздно. Вы колеблетесь?

Корнелиус стоял, как вкопанный, глядя на Розу, и казалось, что он смотрит на нее, совершенно не слушая, что она говорит.

— Вы что, не понимаете разве? — нетерпеливо сказала девушка.

— Нет, я понимаю,— ответил Корнелиус,— но...

— Но?

— Я отказываюсь. В этом обвинят вас.

— Не все ли равно? — ответила Роза, покраснев.

— Спасибо, дитя мое,— возразил Корнелиус,— но я остаюсь.

— Вы остаетесь? Боже мой! Боже мой! Разве вы не поняли, что вас приговорят... приговорят к смерти через повешение, а может быть, вас убьют, растерзают на куски, как растерзали господина Яна и господина Корнеля! Ради всего святого! Я вас заклинаю, не беспокойтесь обо мне и бегите из этой камеры! Берегитесь,— она приносит несчастье де Виттам!

— О, о,— воскликнул пришедший в себя тюремщик.— Кто там упоминает имена этих негодяев, этих мерзавцев, этих подлых преступников Виттов?

— Не волнуйтесь, друг мой,— сказал Корнелиус, кротко улыбаясь.— При переломе раздражаться очень вредно.

Обратившись к Розе, он сказал шепотом:

— Дитя мое, я невиновен и буду ждать своих судей с безмятежным спокойствием невинного.

— Тише! — сказала Роза.

— Почему?

— Отец не должен подозревать, что мы с вами переговаривались?

— А что тогда будет?

— А будет то, что он не позволит мне больше приходить сюда,— ответила девушка.

Корнелиус с улыбкой принял это наивное признание. Казалось, в несчастии ему мелькнул луч света.

— Ну, о чем вы там шепчетесь вдвоем?— закричал Грифус, поднимаясь и поддерживая свою правую руку левой.

— Ни о чем,— ответила Роза.— Господин объясняет мне тот режим, которому вы должны следовать.

— Режим, которому я должен следовать! Режим, которому я должен следовать! У тебя тоже, голубушка, есть режим, которому ты должна следовать.

— Какой режим, отец?

— Не заходить в камеры к заключенным, а если приходишь, то не засиживаться там. Ну-ка, проваливай, да быстрей!

Роза и Корнелиус обменялись взглядом.

Взгляд Розы говорил: «Видите?»

Взгляд Корнелиуса означал: «Да будет так, как угодно судьбе».

XI

Завещание Корнелиуса ван Берле

Роза не ошиблась. На другое утро в Бюйтенгоф явились судьи и учинили допрос Кориелиусу ван Берле. Но допрос длился недолго. Было установлено, что Корнелиус хранил у себя роковую переписку де Виттов с Францией.

Он и не отрицал этого.

Судьи сомневались только в том, что эта корреспонденция была ему передана его крестным отцом

Корнелем де Виттом. Но так как со смертью этих мучеников Корнелиусу не было необходимости что-либо скрывать, то он не только не скрыл, что бумаги были вручены ему лично Корнелем, но рассказал также, как и при каких условиях пакет был ему передан.

Признание свидетельствовало о том, что крестник замешан в преступлении крестного отца. Соучастие Корнелиуса было совершенно явно.

Корнелиус не ограничился только этим признанием. Он подробно рассказал о своих симпатиях, привычках и привязанностях. Он рассказал о своем безразличном отношении к политике, о любви к искусству, наукам и цветам. Он сказал, что с тех пор, как Корнель приезжал в Дордрехт и доверил ему эти бумаги, он к ним больше не прикасался и даже не замечал их.

На это ему возразили, что он говорит неправду, так как пакет был заперт как раз в тот шкаф, в который он каждый день заглядывал и с содержимым которого постоянно имел дело.

Корнелиус ответил, что это верно, но что он раскрывал этот шкаф только затем, чтобы убедиться, достаточно ли сухи луковицы, и чтобы посмотреть, не дали ли они ростков.

Ему возражали, что, здраво рассуждая, его пресловутое равнодушие к пакету едва ли правдоподобно, ибо невозможно допустить, чтобы он, получая из рук своего крестного отца пакет на хранение, не знал важности его содержания.

На это он ответил, что его крестный отец Корнель был очень осторожным человеком и к тому же слишком любил его, чтобы рассказать о содержании бумаг, которое могло только встревожить их хранителя. Ему возразили, что если бы это было так, то господин де Витт приложил бы к пакету, на всякий случай, какое-нибудь свидетельство, которое удостоверяло бы, что его крестник совершенно чужд этой переписки, или во время своего процесса он мог бы написать ему письмо, которое могло бы служить Корнелиусу оправданием.

Корнелиус отвечал, что, по всей вероятности, крестный считал, что его пакету не грозит никакая опасность, так как он был спрятан в шкаф, который считался в доме ван Берле столь же священным, как ковчег завета, и, следовательно, он находил такое удостоверение бесполезным. Что касается письма, то

ему припоминается: перед самым арестом, когда он был поглощен исследованием одной из своих редчайших луковичек, к нему в сушильню вошел слуга Яна де Витта и передал какую-то бумагу; но что обо всем этом у него осталось только смутное воспоминание, словно о мимолетном видении. Слуга исчез, а бумагу, если хорошенько поищут, может быть, и найдут.

Но Кракэ было невозможно найти, — он исчез из Голландии. Обнаружить бумагу было так мало шансов, что даже не стали предпринимать поисков.

Лично Корнелиус особенно и не настаивал на этом, так как, если бы даже бумага и нашлась, еще неизвестно, имеет ли она какое-нибудь отношение к предъявленному обвинению.

Судьи делали вид, будто они желают, чтобы Корнелиус защищался энергичнее. Они проявляли к нему некое благосклонное терпение, которое обычно указывает или на то, что следователь как-то заинтересован в судьбе обвиняемого, или на то, что он чувствует себя победителем, уже сломившим противника и державшим его всецело в своих руках, почему и нет необходимости проявлять к нему уже ненужную суровость.

Корнелиус не принимал этого лицемерного покровительства и в своем последнем ответе, который он произнес с благородством мученика и со спокойствием праведника, сказал:

— Вы спрашиваете меня, господа, о вещах, о которых я ничего не могу сказать, кроме чистой правды. И вот эта правда. Пакет попал ко мне указанным мною путем, и я перед богом даю клятву в том, что не знал и не знаю до сих пор его содержания. Я только в день ареста узнал, что это была переписка великого пенсионария с маркизом Лувуа. Я уверяю, наконец, что мне также неизвестно, каким образом узнали, что этот пакет у меня, и не могу понять, как можно усматривать преступление в том, что я принял на хранение нечто, врученное мне моим знаменитым и несчастным крестным отцом.

В этом заключалась вся защитительная речь Корнелиуса. Судьи ушли на совещание.

Они решили: всякий зародыш гражданских раздоров гибелен, так как он раздувает пламя войны, которое в интересах всех надо погасить.

Один из судей, слышавший за глубокого наблюдателя, определил, что этот молодой человек, по виду такой флегматичный, в действительности должен быть очень опасным человеком, — под своей ледяной личиной он скрывает пылкое желание отомстить за господ де Виттов, своих родственников.

Другой заметил, что любовь к тюльпанам прекрасно уживается с политикой и исторически доказано, что много очень зловредных людей садовничали так рьяно, как будто это было их единственным занятием, в то время как на самом деле они были заняты совсем другим. Доказательством могут служить Тарквиний Гордый, который разводил мак в Габнях, и великий Кондэ, который поливал гвоздики в Венсенской башне, в то время как первый обдумывал свое возвращение в Рим, а второй — свое освобождение из тюрьмы.

И в заключение судья поставил следующую дилемму: или господин Корнелнус ван Берле очень любит свои тюльпаны, или он очень любит политику; в том и в другом случае он говорит нам неправду; во-первых, потому что найденными у него письмами доказано, что он занимался и политикой; во-вторых, потому что доказано, что он занимался и тюльпанами; луковички, находящиеся здесь, подтверждают это. Наконец — а в этом и заключается величайшая гнусность — то обстоятельство, что Корнелиус ван Берле занимался одновременно и тюльпанами и политикой, доказывает, что натура у обвиняемого двойственная, двуличная, раз он способен одинаково увлекаться и цветоводством и политикой, а это характеризует его как человека самого опасного для народного спокойствия. И можно провести некоторую, — вернее, полную аналогию между ним и Тарквинием Гордым и Кондэ, которые только что были приведены в пример.

В заключение всех этих рассуждений говорилось, что принц, штатгальтер Голландии, несомненно, будет бесконечно благодарен магистратуре города Гааги за то, что она облегчает ему управление Семью провинциями, истребляя в корне всякие заговоры против его власти.

Этот довод взял верх над всеми остальными, и, чтобы окончательно пресечь всякие зародыши заговоров, судьи единогласно вынесли смертный приговор Корнелнусу ван Берле, заподозренному и уличенному в том, что он, Корнелиус ван Берле, под видом невинного

любителя тюльпанов принимал участие в гнусных интригах и в возмутительном заговоре господ де Виттов против голландского народа и в их тайных сношениях с врагами — французами.

Кроме того, приговор гласил, что вышеуказанный Корнелиус ван Берле будет выведен из тюрьмы Буйтенгоф и отправлен на эшафот, воздвигнутый на площади того же названия, где исполнитель судебных решений отрубит ему голову. Так как совещание это было серьезное, то оно длилось около получаса. В это время заключенный был водворен в камеру, куда и пришел секретарь суда прочесть ему приговор.

У Грифуса от перелома руки повысилась температура, он был вынужден остаться в постели. Его ключи перешли в руки сверхштатного служителя, который и ввел секретаря, а за ним пришла и стала на пороге прекрасная фрисландка Роза. Она держала у рта платок, чтобы заглушить свои вздохи и рыдания.

Корнелиус выслушал приговор скорее с удивлением, чем с грустью. Секретарь спросил Корнелиуса, не имеет ли он что-нибудь возразить.

— Нет, — ответил Корнелиус. — Признаюсь только, что из всех причин смерти, которые предусмотрительный человек может предвидеть для того, чтобы устранить их, я никогда не предполагал этой причины.

После такого ответа секретарь поклонился Корнелиусу ван Берле с тем почтением, какое эти чиновники оказывают большим преступникам всех рангов.

Когда он собрался выйти, Корнелиус остановил его:

— Кстати, господин секретарь, скажите, пожалуйста, а на какой день назначена казнь?

— На сегодня, — ответил секретарь, несколько смущенный хладнокровием осужденного.

За дверью раздались рыдания.

Корнелиус нагнулся, чтобы посмотреть, кто это рыдает, но Роза угадала его движение и отступила назад.

— А на который час, — добавил Корнелиус, — назначена казнь?

— В полдень, сударь.

— Черт возьми, — заметил Корнелиус, — мне кажется, что минут двадцать тому назад я слышал, как часы пробили десять. Я не могу терять ни одной минуты.

— Чтобы исповедаться, сударь, не так ли? — сказал, низко кланяясь, секретарь.— И вы можете требовать любого священника.

При этих словах он вышел, пятясь, назад, а заместитель тюремщика последовал за ним, собираясь запереть дверь Корнелиуса. Но в этот момент дрожащая белая рука просунулась между этим человеком и тяжелой дверью.

Корнелиус видел только золотую шапочку с белыми кружевными ушками, головной убор прекрасных фрисландок; он слышал только какой-то шепот на ухо привратнику; последний положил тяжелые ключи в протянутую к нему белую руку и, спустившись на несколько ступеней, сел посредине лестницы, которую таким образом он охранял наверху, а собака — внизу.

Золотая шапочка повернулась, и Корнелиус увидел заплаканное личико и большие голубые, полные слез глаза прекрасной Розы.

Молодая девушка подошла к Корнелиусу, прижав руки к своей груди.

— О сударь, сударь! — произнесла она.

И не докончила своей фразы.

— Милое дитя,— сказал взволнованный Корнелиус,— чего вы хотите от меня? Теперь я ни в чем не волен, предупреждаю вас.

— Сударь, я прошу у вас одну милость,— сказала Роза, простирая руки наполовину к небу, наполовину к Корнелиусу.

— Не плачьте, Роза,— сказал заключенный,— ваши слезы волнуют меня больше, чем предстоящая смерть. И вы знаете, что чем невиннее заключенный, тем спокойнее он должен принять смерть. Он должен идти на нее даже с радостью, как умирают мученики. Ну, перестаньте плакать, милая Роза, и скажите мне, чего вы желаете.

Девушка упала на колени.

— Простите моего отца,— сказала она.

— Вашего отца? — спросил удивленный Корнелиус.

— Да, он был так жесток с вами. Но такова уж его натура. Он был груб не только с вами.

— Он наказан, Роза, он больше чем наказан переломом руки, и я его прощаю.

— Спасибо,— сказала Роза.— А теперь скажите,— не могла ли бы я лично сделать что-нибудь для вас?

— Вы можете осушить ваши прекрасные глаза, дорогое дитя,— сказал с нежной улыбкой Корнелиус.

— Но для вас... для вас...

— Милая Роза, тот, кому осталось жить только один час, был бы слишком большим сибаритом, если бы вдруг стал что-либо желать.

— Ну, а священник, которого вам предложили?

— Я всегда верил в бога, Роза, и никогда не нарушал его воли. Мне не нужно примирения с богом, и потому я не стану просить у вас священника. Но всю мою жизнь я лелеял только одну мечту, Роза. Вот если бы вы помогли мне осуществить ее.

— О господин Корнелиус, говорите, говорите,— воскликнула девушка, заливаясь слезами.

— Дайте мне вашу прелестную руку и обещайте, что вы не будете надо мной смеяться, дитя мое...

— Смеяться? — с отчаянием воскликнула девушка.— Смеяться в такой момент! Да вы, видно, даже не посмотрели на меня, господин Корнелиус.

— Нет, я смотрел на вас, Роза, смотрел и плотским и духовным взором. Я еще никогда не встречал более прекрасной женщины, более благородной души, и если с этой минуты я больше не смотрю на вас, так только потому, что, готовый уйти из жизни, я не хочу в ней оставить ничего, с чем мне было бы жалко расстаться.

Роза вздрогнула. Когда заключенный произносил последние слова, на Бюйтенгофской каланче пробило одиннадцать часов.

Корнелиус понял.

— Да, да,— сказал он,— надо торопиться, вы правы, Роза.

Затем он вынул из-за пазухи завернутые в бумажку луковички.

— Мой милый друг, я очень любил цветы. Это было в то время, когда я не знал, что можно любить что-либо другое. О, не краснейте, не отворачивайтесь, Роза, если бы я даже признавался вам в любви. Все равно, милое мое дитя, это не имело бы никаких последствий. Там, на площади Бюйтенгофа, лежит стальное орудие, которое через шестьдесят минут покарает меня за эту дерзость. Итак, я любил цветы, Роза, и я открыл, как мне, по крайней мере, кажется, тайну знаменитого черного тюльпана, вырастить который до сих пор считалось невозможным и за который, как вы знаете, а быть может

не знаете, обществом цветоводов города Гаарлема объявлена премия в сто тысяч флоринов. Эти сто тысяч флоринов,— видит бог, что не о них я жалею,— эти сто тысяч флоринов находятся в этой бумаге. Они выиграны тремя луковичками, которые в ней находятся, и вы можете взять их себе, Роза. Я дарю вам их.

— Господин Корнелиус!

— О, вы можете их взять, Роза. Вы этим никому не нанесете ущерба, дорогое дитя. Я одинок во всем свете. Мой отец и мать умерли; у меня никогда не было ни братьев, ни сестер; я никогда ни в кого не был влюблен, а если меня кто-нибудь любил, то я об этом не знал. Впрочем, вы сами видите, Роза, как я одинок: в мой предсмертный час только вы находитесь в моей камере, утешая и поддерживая меня.

— Но, сударь, сто тысяч флоринов...

— Ах, будем серьезны, дорогое дитя,— сказал Корнелиус.— Сто тысяч флоринов составят прекрасное приданое к вашей красоте. Вы получите эти сто тысяч флоринов, так как я уверен в своих луковичках. Они будут ваши, дорогая Роза, и взамен я прошу только, чтобы вы мне обещали выйти замуж за честного молодого человека, которого будете любить так же сильно, как я любил цветы. Не прерывайте меня, Роза, мне осталось только несколько минут...

Бедная девушка задышалась от рыданий.

Корнелиус взял ее за руку.

— Слушайте меня,— продолжал он.— Вот как вы должны действовать. Вы возьмете у моего саду в Дордрехте землю. Попросите у моего садовника Бютрюйсгейма земли из моей гряды № 6. Насыпьте эту землю в глубокий ящик и посадите туда луковички. Они расцветут в будущем мае, то есть через семь месяцев, и, как только вы увидите цветок на его стебле, старайтесь ночью охранять его от ветра, а днем — от солнца. Тюльпан будет черного цвета, я уверен. Тогда вы известите об этом председателя общества цветоводов города Гаарлема. Комиссия определит цвет тюльпана, и вам отсчитают сто тысяч флоринов.

Роза тяжело вздохнула.

— Теперь,— продолжал Корнелиус, смахнув с ресницы слезу (она относилась больше к прекрасному черному тюльпану, который ему не суждено будет увидеть, чем к жизни, с которой он готовился расстаться), теперь у меня больше нет никаких же-

ланий, разве только, чтобы тюльпан этот назывался *Rosa Barlaensis*, то есть напоминал бы одновременно и мое и ваше имя. И так как вы, по всей вероятности, не знаете латинского языка и можете забыть это название, то постарайтесь достать карандаш и бумагу, и я вам это запишу.

Роза зарыдала и протянула ему книгу в шагреновом переплете, на которой стояли инициалы К. В.

— Что это такое? — спросил заключенный.

— Увы, — ответила Роза, — это библия вашего крестного отца Корнеля де Витта. Я ее нашла в этой камере после смерти мученика. Я ее храню, как реликвию. Напишите на ней ваше пожелание, господин Корнелиус, и хотя, к несчастью, я не умею читать, но все, что вы напишете, будет выполнено.

Корнелиус взял библию и благоговейно поцеловал ее.

— Чем же я буду писать? — спросил он.

— В библии есть карандаш, — сказала Роза, — он там лежал, там я его и оставила.

Это был тот карандаш, который Ян де Витт одолжил своему брату.

Корнелиус взял его и на второй странице — первая, как мы помним, была оторвана — он, готовый умереть, подобно Корнелю, написал такой же твердой рукой, как и его крестный:

*«23 августа 1672 года перед тем, как сложить голову на эшафоте, хотя я и ни в чем не виновен, я завещаю Розе Грифус единственное сохранившееся у меня в этом мире имущество, — ибо все остальное конфисковано, — три луковички, из коих (я в этом глубоко убежден) вырастет в мае месяце большой черный тюльпан, за который назначена обществом садоводов города Гарлема премия в сто тысяч флоринов. Я желаю, чтобы она, как единственная моя наследница, получила вместо меня эту премию, при одном условии, что она выйдет замуж за мужчину приблизительно моих лет, который полюбит ее и которого полюбит она, и назовет знаменитый черный тюльпан, который создаст новую разновидность, *Rosa Barlaensis*, то есть объединенным моим и своим именем.*

Да смилуется надо мною бог и да даст он ей доброго здоровья.

Корнелиус ван Берле».

Потом, отдавая библию Розе, он сказал:

— Прочтите.

— Увы,— ответила девушка Корнелиусу,— я уже вам говорила, что не умею читать.

Тогда Корнелиус прочел Розе написанное им завещание.

Рыдания бедной девушки усилились.

— Принимаете вы мои условия? — спросил заключенный, печально улыбаясь и целуя дрожащие кончики пальцев прекрасной фрисландки.

— О, я не смогу, сударь,— прошептала она.

— Вы не сможете, мое дитя? Почему же?

— Потому, что есть одно условие, которое я не смогу выполнить.

— Какое? Мне казалось, однако, что мы обо всем договорились.

— Вы мне даете эти сто тысяч флоринов в виде приданого?

— Да.

— И чтобы я вышла замуж за любимого человека?

— Безусловно.

— Ну, вот видите, сударь, эти деньги не могут быть монми. Я никогда никого не полюблю и не выйду замуж.

И, с трудом произнеся эти слова, Роза пошатнулась и от скорби чуть не упала в обморок.

Испуганный ее бледностью и полубессознательным состоянием, Корнелиус протянул руки, чтобы поддержать ее, как вдруг по лестнице раздались тяжелые шаги, еще какие-то другие зловещие звуки и лай пса.

— За вами идут! — воскликнула, ломая руки, Роза.— Боже мой, боже мой! Не нужно ли вам еще что-нибудь сказать мне?

И она упала на колени, закрыв лицо руками, задыхаясь от рыданий и обливаясь слезами.

— Я хочу вам еще сказать, чтобы вы тщательно спрятали ваши три луковички и заботились о них согласно монм указаниям и во имя любви ко мне. Прощайте, Роза!

— О, да,— сказала она, не поднимая головы,— о, да, все, что вы сказали, я сделаю, за исключением замужества,— добавила она совсем тихо: — ибо это, это, клянусь вам, для меня невозможно.

И она спрятала на своей трепещущей груди дорогое сокровище Корнелюса.

Шум, который слышали Корнелиус и Роза, был вызван приближением секретаря, возвращавшегося за осужденным в сопровождении палача, солдат из стражи при эшафоте и толпы любопытных, постоянных посетителей тюрьмы.

Корнелиус без малодушия, но и без напускной храбрости принял их скорее дружелюбно, чем враждебно; и позволил им выполнять свои обязанности так, как они находили это нужным.

Он взглянул из своего маленького окошечка с решеткой на площадь и увидел там эшафот и шагах в двадцати виселицу, с которой по приказу штатгальтера были уже сняты поруганные останки двух братьев де Виттов.

Перед тем как последовать за стражей, Корнелиус искал глазами ангельский взгляд Розы, но позади шпак и алебард он увидел только лежавшее ничком у деревянной скамьи тело и помертвевшее лицо, скрытое наполовину длинными волосами.

Однако, лишаясь чувств, Роза приложила руку к своему бархатному корсажу и даже в бессознательном состоянии продолжала инстинктивно оберегать ценный дар, доверенный ей Корнелиусом.

Выходя из камеры, молодой человек мог заметить в сжатых пальцах Розы пожелтевший листок библии, на котором Корнель де Витт с таким трудом написал несколько строк, которые, если бы Корнелиус прочел их, несомненно, спасли бы и человека и тюльпан.

XII

Казнь

Чтобы дойти от тюрьмы до эшафота, Корнелиусу нужно было сделать не более трехсот шагов.

Когда он спустился с лестницы, собака спокойно пропустила его. Корнелиусу показалось даже, что она посмотрела на него с кротостью, похожей на сострадание.

Быть может, собака узнавала осужденных и кусала только тех, кто выходил отсюда на свободу.

Понятно, что, чем короче путь из тюрьмы к эшафоту, тем больше он был запружен любопытными. Та же са-

мая толпа, которая, не утолив еще жажду крови, пролитой три дня назад, поджидала здесь новую жертву.

И, как только показался Корнелиус, на улице раздался неистовый рев. Он разнесся по площади и покатился по улицам, прилегающим к эшафоту. Таким образом, эшафот походил на остров, о который ударяются волны четырех или пяти рек.

Чтобы не слышать угроз, воплей и воя, Корнелиус глубоко погрузился в свои мысли.

О чем думал этот праведник, идя на казнь?

Он не думал ни о своих врагах, ни о своих судьях, ни о своих палачах.

Он мечтал о прекрасных тюльпанах, на которые он будет взирать с того света.

«Один удар меча,— говорил себе философ,— и моя прекрасная мечта осуществится».

Но было еще не известно, одним ли ударом покончит с ним палач или продлит мучения бедного любителя тюльпанов. Тем не менее ван Берле решительно поднялся по ступенькам эшафота.

Он взошел на эшафот гордый тем, что был другом знаменитого Яна де Витта и крестником благородного Корнеля, растерзанных толпой, снова собравшейся, чтобы теперь поглазеть на него.

Он встал на колени, произнес молитву и с радостью заметил: если он положит голову на плаху с открытыми глазами, то до последнего момента ему видно будет окно за решеткой в Бюйтенгофской тюрьме.

Наконец настало время сделать это ужасное движение. Корнелиус спустил свой подбородок на холодный сырой чурбан, но в этот момент глаза невольно закрылись, чтобы мужественнее принять страшный удар, который должен обрушиться на его голову и лишить жизни.

На полу эшафота сверкнул отблеск: это был отблеск меча, поднятого палачом.

Ван Берле попросался со своим черным тюльпаном, уверенный, что уходит в другой мир, озаренный другим светом и другими красками.

Трижды он ощутил на трепещущей шее холодный ветерок от меча.

Но какая неожиданность!..

Он не почувствовал ни удара, ни боли. Он не увидел перемены красок.



До сознания ван Берле дошло, что чын-то руки, он не знал чьи, довольно бережно приподняли его, и он встал, слегка пошатываясь.

Он раскрыл глаза.

Около него кто-то что-то читал на большом пергаменте, скрепленном красной печатью.

То же самое желтовато-бледное солнце, каким ему и подобает быть в Голландии, светило в небе, и то же самое окно с решеткой смотрело на него с вышины Буйтенгофа, и та же самая толпа ротозеев, но уже не вопящая, а изумленная, глазела на него с площади.

Осмотревшись, прислушавшись, ван Берле сообразил следующее:

Его высочество Вильгельм, принц Оранский, побоявшись, по всей вероятности, как бы семнадцать фунтов крови, которые текли в жилах ван Берле, не переполнил чаши небесного правосудия, сжалился над его мужеством и возможной невиновностью. Вследствие этого его высочество даровал ему жизнь. Вот почему меч, который поднялся с зловещим блеском, три раза взлетел над его головой, подобно зловещей птице, но не опустился на его шею и оставил нетронутым его позвоночник.

Вот почему не было ни боли, ни удара. Вот почему солнце все еще продолжало улыбаться ему, в не особенно яркой, правда, но все же очень приятной, лазури небесного свода.

Корнелиус, рассчитывавший увидеть бога и тюльпаны всей вселенной, несколько разочаровался, но вскоре утешился тем, что имеет возможность свободно поворачивать голову на шее.

И кроме того, Корнелиус надеялся, что помилование будет полным, что его выпустят на свободу, он вернется к своим грядкам в Дордрехте.

Но Корнелиус ошибался.

Как сказала приблизительно в то же время госпожа де Севинье, в письме бывает приписка. Была приписка и в указе штатгальтера, содержавшая самое существенное. Вильгельм, штатгальтер Голландии, приговаривал Корнелиуса ван Берле к вечному заключению.

Он был недостаточно виновным, чтобы быть казненным, но слишком виновным для того, чтобы остаться на свободе.

Корнелиус выслушал приписку, но досада его, вызванная разочарованием, скоро рассеялась.

«Ну, что же, — подумал он, — еще не все потеряно. В вечном заключении есть свои хорошие стороны. В вечном заключении есть Роза. Есть также и мои три луковички черного тюльпана».

Но Корнелиус забыл о том, что Семь провинций могут иметь семь тюрем, по одной в каждой провинции, что пища заключенного обходится дешевле в другом месте, чем в Гааге, которая является столицей.

Его высочество Вильгельм, у которого не было, по видимому, средств содержать ван Берле в Гааге, отправил его отбывать вечное заключение в крепость Левештейн, расположенную, правда, около Дордрехта, но, увы, все-таки очень далеко от него. Левештейн, по словам географов, расположен в конце острова, который образуют против Горкума Вааль и Маас.

Ван Берле был достаточно хорошо знаком с историей своей страны, чтобы не знать, что знаменитый Гроций был после смерти Барневельта заключен в этот же замок и что правительство, в своем великодушии к знаменитому публицисту, юрисконсульту, историку, поэту и богослову, ассигновало ему на содержание двадцать четыре голландских су в сутки.

«Мне же, куда менее важному, чем Гроций, — подумал ван Берле, — мне с трудом ассигнуют двенадцать су, и я буду жить очень скудно, но в конце концов все же буду жить».

И вдруг его поразило ужасное воспоминание.

— Ах, — воскликнул Корнелиус, — там сырая и туманная местность! Такая неподходящая почва для тюльпанов! И затем Роза, Роза, которой не будет в Левештейне, — шептал он, склонив на грудь голову, которая у него только что чуть не скатилась значительно ниже.

XIII

*Что творилось в это время
в душе одного зрителя?*

В то время как Корнелиус размышлял, к эшафоту подъехала карета. Карета эта предназначалась для заключенного. Ему предложили сесть в нее. Он покорился.

Его последний взгляд был обращен к Бюйтенгофу. Он надеялся увидеть в окне успокоенное лицо Розы, но карета была запряжена сильными лошадьми, и они быстро вынесли ван Берле из толпы, которая ревом выражала свое одобрение великодушию штатгальтера и — одновременно — брань по адресу де Виттов и их спасенного от смерти крестника.

Зрители рассуждали таким образом: «Счастье еще, что мы поторопились расправиться с негодяем из негодяев Яном и с проходимцем Корнелем, а то, без сомнения, милосердие его высочества отняло бы их у нас так же, как оно отняло у нас вот этого».

Среди зрителей, привлеченных казнью ван Берле на площадь Бюйтенгоф и несколько разочарованных оборотом, какой приняла казнь, самым разочарованным был один хорошо одетый горожанин. Он с утра еще так усиленно работал ногами и локтями, что в конце концов от эшафота его отделял только ряд солдат, окруживших место казни.

Многие жаждали видеть, как прольется гнусная кровь преступного Корнелиуса; но, выражая это жестокое желание, никто не проявлял такого остервенения, как вышеуказанный горожанин.

Наиболее ярые пришли в Бюйтенгоф на рассвете, чтобы захватить лучшие места; но он опередил наиболее ярых и провел всю ночь на пороге тюрьмы, а оттуда попал в первые ряды, как мы уже говорили, работая ногами и локтями, любезничая с одними и награждая ударами других.

И когда палач возвел осужденного на эшафот, этот горожанин, забравшись на тумбу у фонтана, чтобы лучше видеть и быть виденным, сделал палачу знак, означавший:

— Решено, не правда ли?

В ответ ему последовал знак палача:

— Будьте покойны.

Кто же был горожанин, состоявший, по-видимому, в близких отношениях с палачом, и что означал этот обмен знаками?

Очень просто: горожанином был мингер Исаак Бокстель, который тотчас же после ареста Корнелиуса приехал в Гаагу, чтобы попытаться раздобыть луковицы черного тюльпана.

Бокстель попробовал сначала использовать Грифуса, но последний, отличаясь верностью хорошего бульдога, обладал и его недоверчивостью и злобностью. Он увидел в ненависти Бокстеля нечто совершенно обратное: он принял его за преданного друга Корнелиуса, который, осведомляясь о пустяжных вещах, пытается устроить побег заключенному.

Поэтому на первое предложение Бокстеля добыть луковички, которые спрятаны, по всей вероятности, если не на груди заключенного, то в каком-нибудь уголке камеры, Грифус прогнал его, напустив на него собаку.

Но оставшийся в зубах пса клочок штанов Бокстеля не обескуражил его. Он снова начал атаку. Грифус в это время находился в постели в лихорадочном состоянии, с переломленной рукой. Он даже не принял посетителя. Бокстель тогда обратился к Розе, предлагая девушке взамен трех луковичек головной убор из чистого золота. Но хотя благородная девушка не знала еще цены того, что ее просили украсть и за что ей предлагали невиданно хорошую плату, она направила искусителя к палачу, — не только последнему судье, но и последнему наследнику осужденного. Совет Розы породил новую идею в голове Бокстеля.

Тем временем приговор был вынесен; как мы видели, спешный приговор. У Исаака уже не оставалось времени, чтобы подкупить кого-нибудь, так что он остановился на мысли, поданной ему Розой, и пошел к палачу.

Исаак не сомневался в том, что Корнелиус умрет, прижимая луковички тюльпана к сердцу. В действительности же Бокстель не мог угадать двух вещей: Розу, то есть любовь, Вильгельма, то есть милосердие.

Без Розы и Вильгельма расчеты завистника оказались бы правильными. Если бы не Вильгельм, Корнелиус бы умер. Если бы не Роза, Корнелиус умер бы, прижимая луковички к своему сердцу.

Итак, мингер Бокстель направился к палачу, выдал себя за близкого друга осужденного и купил у него за непомерную сумму — свыше ста флоринов — всю одежду будущего покойника, кроме золотых и серебряных украшений, которые безвозмездно переходили к палачу.

Но что значила эта сумма в сто флоринов для человека, почти уверенного, что он покупает за эти

деньги премию общества цветоводов города Гаарлема? Это значило получить на затраченные деньги тысячу процентов, что было, согласитесь, недурной операцией.

Палач, со своей стороны, зарабатывал сто флоринов без всяких хлопот или почти без всяких хлопот. Ему только нужно было после казни пропустить мингера Бокстеля и его слуг на эшафот и отдать ему бездыханный труп его друга.

К тому же подобные явления были обычны среди приверженцев какого-нибудь деятеля, кончившего жизнь на эшафоте Бюйтенгофа. Фанатик, вроде Корнелиуса, мог свободно иметь другом такого же фанатика, который дал бы сто флоринов за его останки.

Итак, палач принял предложение. Он выставил только одно условие: получить плату вперед. Бокстель, подобно людям, которые входят в ярмарочные балаганы, мог остаться недовольным и при выходе не пожелать внести плату.

Но Бокстель заплатил вперед и стал ждать.

После этого можно судить, насколько он был взволнован и как он следил за стражей, секретарем, палачом, как его волновало каждое движение ван Берле: как он ляжет на плаху, как он упадет и не раздавит ли он, падая, бесценные луковички; позаботился ли он по крайней мере положить их хотя бы в золотую коробочку, так как золото самый прочный из металлов.

Мы не решаемся описать то впечатление, какое произвела на этого достойного смертного задержка в выполнении приговора. Чего ради палач теряет время, сверкая своим мечом над головой Корнелиуса, вместо того, чтобы отрубить эту голову? Но, когда он увидел, как секретарь суда взял осужденного за руку и поднял его, вынимая из кармана пергамент, когда он услышал публичное чтение о помиловании, дарованном штатгальтером, Бокстель потерял человеческий облик. Ярость тигра, гиены, змеи вспыхнула в его глазах. Если бы он был ближе к ван Берле, он бросился бы на него и убил бы его.

Так, значит, Корнелиус будет жить. Корнелиус поселится в Левештейне, он унесет туда, в тюрьму луковички и, быть может, найдется там сад, где ему и удастся вырастить свой черный тюльпан.

Бывают события, которые перо бедного писателя не в силах описать и которые он вынужден предоставить фантазии читателя во всей их простоте.

Бокстель в полуобморочном состоянии упал со своей тумбы среди группы оранжистов, так же, как и он, недовольных оборотом, принятым казнью. Они подумали, что крик, который испустил Бокстель, был криком радости, и наградили его кулачными ударами не хуже, чем это сделали бы ярые боксеры-англичане.

Но что могли прибавить несколько кулачных ударов к тем страданиям, которые испытывал Бокстель? Он бросился вдогонку за каретой, уносившей Корнелиуса с его луковичками тюльпанов. Но, торопясь, он не заметил камня под ногой — споткнулся, потерял равновесие, отлетел шагов на десять и поднялся, истоптанный и истерзанный, только тогда, когда вся грязная толпа Гааги прошла через него. Бокстель, которого положительно преследовало несчастье, все же поплатился только изодранным платьем, истоптанной спиной и изодранными руками.

Можно было подумать, что для Бокстеля достаточно всех этих неудач. Но это было бы ошибкой.

Бокстель, поднявшись на ноги, вырвал из своей головы столько волос, сколько смог, и принес их в жертву жестокой и бесчувственной богине, именуемой завистью. Подношение было, безусловно, приятно богине, у которой, как говорит мифология, вместо волос на голове — змеи.

XIV

Голуби Дордрехта

Для Корнелиуса ван Берле было, конечно, большой честью, что его отправили в ту самую тюрьму, в которой когда-то сидел ученый Гуго Гроций.

По прибытии в тюрьму его ожидала еще большая честь. Случилось так, что когда благодаря великодушню принца Оранского туда отправили цветовода ван Берле, камера в Левештейне, в которой в свое время сидел знаменитый друг Барневельта, была свободной. Правда, камера эта пользовалась в замке плохой репутацией с тех пор, как Гроций, осуществляя блестящую мысль

своей жены, бежал из заключения в ящике из-под книг, который забыли осмотреть.

С другой стороны, ван Берле казалось хорошим предзнаменованием, что ему дали именно эту камеру, так как, по его мнению, ни один тюремщик не должен был бы сажать второго голубя в ту клетку, из которой так легко улетел первый.

Это историческая камера. Но мы не станем терять времени на описание деталей, а упомянем только об алькове, который был сделан для супруги Гроция. Это была обычная тюремная камера, в отличие от других, может быть, несколько более высокая. Из ее окна с решеткой открывался прекрасный вид.

К тому же интерес нашей истории не заключается в описании каких бы то ни было комнат.

Для ван Берле жизнь выражалась не в одном процессе дыхания. Бедному заключенному, помимо его легких, дороги были два предмета, обладать которыми он мог только в воображении: цветок и женщина, оба утраченные для него навеки.

К счастью, добряк ван Берле ошибался. Судьба, оказавшаяся к нему благосклонной в тот момент, когда он шел на эшафот, эта же судьба создала ему в самой тюрьме, в камере Гроция, существование, полное таких переживаний, о которых любитель тюльпанов никогда и не думал.

Однажды утром, стоя у окна и вдыхая свежий воздух, доносившийся из долины Вааля, он любовался видневшимися на горизонте мельницами своего родного Дордрехта и вдруг заметил, как оттуда целой стаей летят голуби и, трепеща на солнце, садятся на острые шпили Левештейна.

«Эти голуби,— подумал ван Берле,— прилетают из Дордрехта и, следовательно, могут вернуться обратно. Если бы кто-нибудь привязал к крылу голубя записку, то, возможно, она дошла бы до Дордрехта, где обо мне горюют».

И, помечтав еще некоторое время, ван Берле добавил: «Этим «кто-нибудь» буду я».

Можно быть терпеливым, когда вам двадцать восемь лет и вы осуждены на вечное заключение, то есть приблизительно на двадцать две или на двадцать три тысячи дней.

Ван Берле не покидала мысль о его трех луковичках, ибо, подобно сердцу, которое бьется в груди, она жила

в его памяти. Итак, ван Берле все время думал только о них, соорудил ловушку для голубей и стал их приманивать туда всеми способами, какие предоставлял ему его стол, на который ежедневно выдавалось восемнадцать голландских су, равных двенадцати французским. И после целого месяца безуспешных попыток ему удалось поймать самку.

Он употребил еще два месяца, чтобы поймать самца. Он запер их в одной клетке и в начале 1673 года, после того, как самка снесла яйца, выпустил ее на волю. Уверенная в своем самце, в том, что он выведет за нее птенцов, она радостно улетела в Дордрехт, унося под крылышком записку.

Вечером она вернулась обратно. Записка оставалась под крылом. Она сохраняла эту записку таким образом пятнадцать дней, что вначале очень разочаровало, а потом и привело в отчаяние ван Берле.

На шестнадцатый день голубка прилетела без записки.

Записка была адресована Корнелиусом его кормилице, старой фрисландке, и он обращался к милосердию всех, кто найдет записку, умоляя передать ее по принадлежности как можно скорее.

В письме к кормилице была вложена также записка, адресованная Розе.

Кормилица получила это письмо. И вот каким путем.

Уезжая из Дордрехта в Гаагу, а из Гааги в Горкум, мингер Исаак Бокстель покинул не только свой дом, не только своего слугу, не только свой наблюдательный пункт, не только свою подзорную трубу, но и своих голубей.

Слуга, который остался без жалования, проел сначала те небольшие сбережения, какие у него были, а затем стал поедать голубей. Увидев это, голуби стали перелетать с крыши Исаака Бокстеля на крышу Корнелиуса ван Берле.

Кормилица была добрая женщина, и она чувствовала постоянную потребность любить кого-нибудь. Она очень привязалась к голубям, которые пришли просить у нее гостеприимства. Когда слуга Исаака потребовал последних двенадцать или пятнадцать голубей, чтобы их съесть, она предложила их продать ей по шесть голландских су за штуку. Это было вдвое больше действительной стоимости голубей. Слуга, конечно, согласился с большой радостью. Таким образом,

кормилица осталась законной владелицей голубей завистника.

Эти голуби, разыскивая, вероятно, хлебные зерна иных сортов и конопляные семена повкуснее, объединились с другими голубями и в своих перелетах посещали Гаагу, Левештейн и Роттердам. Случаю было угодно, чтобы Корнелиус ван Берле поймал как раз одного из этих голубей.

Отсюда следует, что если бы завистник не покинул Дордрехта, чтобы поспешить за своим соперником сначала в Гаагу, а затем в Горкум или Левештейн, то записка, написанная Корнелиусом ван Берле, попала бы в его руки, а не в руки кормилицы. И тогда наш бедный заключенный потерял бы даром и свой труд и время. И вместо того, чтобы иметь возможность описать разнообразные события, которые подобно разноцветному ковру будут развиваться под нашим пером, нам пришлось бы описывать целый ряд грустных, бледных и темных, как ночной покров, дней.

Итак, записка попала в руки кормилицы ван Берле. И вот однажды, в первых числах февраля, когда, оставляя за собой рождающиеся звезды, с неба спускались первые сумерки, Корнелиус услышал вдруг на лестнице башни голос, который заставил его вздрогнуть.

Он приложил руку к сердцу и прислушался. Это был мягкий, мелодичный голос Розы.

Сознаемся, что Корнелиус не был так поражен неожиданностью и не ощутил той чрезвычайной радости, которую он испытал бы, если бы это произошло помимо истории с голубями.

Голубь, взамен его письма, принес ему под крылом надежду, и он, зная Розу, ежедневно ожидал, если только до нее дошла записка, известий о своей любимой и о своих луковичках.

Он приподнялся, прислушиваясь и наклоняясь к двери. Да, это несомненно, был тот же голос, который так нежно взволновал его в Гааге.

Но сможет ли теперь Роза, которая приехала из Гааги в Левештейн, Роза, которой удалось каким-то неведомым Корнелиусу путем проникнуть в тюрьму, — сможет ли она так же счастливо проникнуть к заключенному?

В то время, как Корнелиус ломал себе голову над этими вопросами, волновался и беспокоился, открылось

окошечно его камеры, и Роза, сияющая от счастья, еще более прекрасная от пережитого ею в течение пяти месяцев горя, от которого слегка побледнели ее щеки, Роза прислонила свою голову к решетке окошечка и сказала:

— О сударь, сударь, вот и я.

Корнелиус простер руки, устремил к небу глаза и радостно воскликнул:

— О Роза, Роза!

— Тише, говорите шепотом, отец идет следом за мной,— сказала девушка.

— Ваш отец?

— Да, там, во дворе, внизу, у лестницы. Он получает инструкции у коменданта. Он сейчас поднимется.

— Инструкций от коменданта?

— Слушайте, я постараюсь объяснить вам все в нескольких словах. У штатгальтера есть усадьба в одном лье от Лейдена. Собственно, это просто большая молочная ферма. Всеми животными этой фермы ведает моя тетка, его кормилица. Как только я получила ваше письмо, которое — увы! — я даже не смогла прочесть, но которое мне прочла ваша кормилица,— я сейчас же побежала к своей тетке и оставалась там до тех пор, пока туда не приехал принц. А когда он туда приехал, я попросила его перевести отца с должности привратника Гаагской тюрьмы на должность тюремного надзирателя в крепость Левештейн. Он не подозревал моей цели; если бы он знал ее, он, может быть, и отказал бы, но тут он, наоборот, удовлетворил мою просьбу.

— Таким образом, вы здесь.

— Как видите.

— Таким образом, я буду видеть вас ежедневно?

— Так часто, как я только смогу.

— О Роза, моя прекрасная мадонна, Роза,— воскликнул Корнелиус,— так, значит, вы меня немного любите?

— Немного...— сказала она.— О, вы недостаточно требовательны, господин Корнелиус.

Корнелиус страстно протянул к ней руки, но сквозь решетку могли встретиться только их пальцы.

— Отец идет,— сказала девушка.

И Роза быстро отошла от двери и устремилась навстречу старому Грифусу, который показался на лестнице.

XV

Окошечко

За Грифусом следовала его собака.

Он обводил ее по всей тюрьме, чтобы в нужный момент она могла узнать заключенных.

— Отец,— сказала Роза,— вот знаменитая камера, из которой бежал Гроций; вы знаете, Гроций?

— Знаю, знаю, мошенник Гроций, друг этого злодея Барневельта, казнь которого я видел, будучи еще ребенком. Гроций! Из этой камеры он и бежал? Ну, так я ручаюсь, что теперь никто больше из нее не сбежит.

И, открыв дверь, он стал впотьмах держать речь к заключенному.

Собака же в это время обнюхивала с ворчанием икры узника, как бы спрашивая, по какому праву он остался жив, когда она видела, как его уводили палач и секретарь суда.

Но красавица Роза отозвала собаку к себе.

— Сударь,— начал Грифус, подняв фонарь, чтобы осветить немного вокруг,— в моем лице вы видите своего нового тюремщика. Я являюсь старшим надзирателем, и все камеры находятся под моим наблюдением. Я не злой человек, но я непреклонно выполняю все то, что касается дисциплины.

— Но я вас прекрасно знаю, мой дорогой Грифус,— сказал заключенный, став в освещенное фонарем пространство.

— Ах, так это вы, господин ван Берле,— сказал Грифус,— ах, так это вы, вот как встречаешься с людьми!

— Да, и я, к своему большому удовольствию, вижу, дорогой Грифус, что ваша рука в прекрасном состоянии, раз в этой руке вы держите фонарь.

Грифус нахмурил брови.

— Вот видите,— сказал он,— всегда в политике делают ошибки. Его высочество даровал вам жизнь,— я бы этого никогда не сделал.

— Вот как! Но почему же? — спросил Корнелиус.

— Потому что вы и впредь будете устраивать заговоры. Ведь вы, ученые, общаетесь с дьяволом.

— Ах, Грифус, Грифус,— сказал смеясь молодой человек,— уже не за то ли вы на меня так злы, что я вам

плохо вылечил руку, или за ту плату, какую я с вас взял за лечение!

— Наоборот, черт побери, наоборот,— проворчал тюремщик, — вы слишком хорошо мне ее вылечили, в этом есть какое-то колдовство: не прошло и шести недель, как я стал владеть ею, словно с ней ничего не случилось. До такой степени хорошо, что врач Бюйтенгофа предложил мне ее снова сломать, чтобы вылечить по правилам, обещая, что на этот раз я не смогу ею действовать раньше чем через три месяца.

— И вы на это не согласились?

— Я сказал: нет! До тех пор, пока я смогу делать крестное знамение этой рукой,— Грифус был католиком,— до тех пор, пока я смогу делать крестное знамение этой рукой, мне наплевать на дьявола.

— Но если вы плюете на дьявола, господин Грифус, то тем более вы не должны бояться ученых.

— О, ученые, ученые!— воскликнул Грифус, не отвечая на вопрос.— Я предпочитаю охранять десять военных, чем одного ученого. Военные курят, пьют, напиваются. Они становятся кроткими, как овечки, когда им дают виски или мозельвейн. Но, чтобы ученый стал пить, курить или напиваться. О да, они трезвенники, они ничего не тратят, сохраняют свою голову ясной, чтобы устраивать заговоры! Но я вас предупреждаю, что вам устраивать заговоры будет нелегко. Прежде всего — ни книг, ни бумаги, никакой чертовщины. Ведь благодаря книгам Гроцию удалось бежать.

— Я вас уверяю, господин Грифус,— сказал ван Берле, что, быть может, был момент, когда я подумывал о побеге, но теперь у меня, безусловно, нет этих помыслов.

— Хорошо, хорошо,— сказал Грифус, — следите за собой; я так же буду следить. Все равно, все равно его высочество допустил большую ошибку.

— Не отрубив мне голову? Спасибо, спасибо, господин Грифус.

— Конечно. Вы видите, как теперь спокойно себя ведут господа де Витты.

— Какие ужасные вещи вы говорите, господин Грифус,— сказал Корнелиус, отвернувшись, чтобы скрыть свое отвращение.— Вы забываете, что один из этих несчастных — мой лучший друг, а другой... другой мой второй отец.

— Да, но я помню, что тот и другой были заговорщиками. И к тому же я говорю так скорее из чувства сострадания.

— А, вот как! Ну, так объясните мне это, дорогой Грифус, я что-то плохо понимаю.

— Да, если бы вы остались на плахе палача Гербрука...

— То что же было бы?

— А то, что вам не пришлось бы больше страдать. Между тем здесь,— я этого не скрываю,— я сделаю вашу жизнь очень тяжелой.

— Спасибо за обещание, господин Грифус.

И в то время, как заключенный иронически улыбался тюремщику, Роза за дверью ответила ему улыбкой, полной утешения.

Грифус подошел к окну.

Было еще достаточно светло, чтобы можно было видеть, не различая деталей, широкий горизонт, который терялся в сером тумане.

— Какой отсюда вид? — спросил тюремщик.

— Прекрасный,— ответил Корнелиус, глядя на Розу.

— Да, да, слишком много простора, слишком много простора.

В это время встревоженные голосом незнакомца голуби вылетели из своего гнезда и, испуганные, скрылись в тумане.

— О, о, что это такое?

— Мои голуби,— ответил Корнелиус.

— Мои голуби,— закричал тюремщик.— Мои голуби! Да разве заключенный может иметь что-нибудь свое?

— Тогда,— ответил Корнелиус,— это голуби, которые мне сам бог послал.

— Вот уже одно нарушение правил,— продолжал Грифус.— Голуби! Ах, молодой человек, молодой человек, я вас предупреждаю, что не позднее, чем завтра, эти птицы будут жариться в моем котелке.

— Вам нужно сначала поймать их, господин Грифус,— возразил Корнелиус.— Вы считаете, что я не имею права иметь этих голубей, но вы, клянусь вам, имеете на это прав еще меньше, чем я.

— То, что отложено, еще не потеряно,— проворчал тюремщик,— и не позднее завтрашнего дня я им сверну шею.

И, давая Корнелиусу это злое обещание, Грифус перегнулся через окно, осматривая конструкцию гнезда. Это позволило Корнелиусу подбежать к двери и подать руку Розе, которая прошептала ему:

— Сегодня, в девять часов вечера.

Грифус, всецело занятый своим желанием захватить голубей завтра же, как он обещал, ничего не видел, ничего не слышал и, закрыв окно, взял за руку дочь, вышел, запер замок и направился к другому заключенному, пообещать ему что-нибудь в этом же роде.

Как только он вышел, Корнелиус подбежал к двери и стал прислушиваться к удалявшимся шагам. Когда они совсем стихли, он подошел к окну и совершенно разрушил голубиное гнездо.

Он предпочел навсегда расстаться со своими пернатыми друзьями, чем обрекать на смерть милых вестников, которым он был обязан счастьем вновь видеть Розу.

Ни посещения тюремщика, ни его грубые угрозы, ни мрачная перспектива его надзора, которым — Корнелиусу это было хорошо известно — он так злоупотреблял,— ничто не могло рассеять сладких грез Корнелиуса и в особенности той сладостной надежды, которую воскресила в нем Роза.

Он с нетерпением ждал, когда на башне Левештейна часы пробьют девять.

Роза сказала: «Ждите меня в девять часов».

Последний звук бронзового колокола еще дрожал в воздухе, а Корнелиус уже слышал на лестнице легкие шаги и шорох пышного платья прелестной фрисландки, и вскоре дверная решетка, на которую устремил свой пылкий взор Корнелиус, осветилась.

Окошечко раскрылось с наружной стороны двери.

— А вот и я! — воскликнула Роза, задыхаясь от быстрого подъема по лестнице.— А вот и я!

— О, милая Роза!

— Так вы довольны, что видите меня?

— И вы еще спрашиваете? Но расскажите, как вам удалось прийти сюда.

— Слушайте, мой отец засыпает обычно сейчас же после ужина, и тогда я укладываю его спать, слегка

опьяненного водкой. Никому этого не рассказывайте, так как благодаря этому сну я смогу каждый вечер на час приходить сюда, чтобы поговорить с вами.

— О, благодарю вас, Роза, дорогая Роза!

При этих словах Корнелиус так плотно прижал лицо к решетке, что Роза отодвинула свое.

— Я принесла вам ваши луковички,— сказала она.

Сердце Корнелиуса вздрогнуло: он не решался сам спросить Розу, что она сделала с драгоценным сокровищем, которое он ей оставил.

— А, значит, вы их сохранили!

— Разве вы не дали мне их, как очень дорогую для вас вещь?

— Да, но, раз я вам их отдал, мне кажется, они теперь принадлежат вам.

— Они принадлежали бы мне после вашей смерти, а вы, к счастью, живы. О, как я благословляла его высочество! Если бог наградит принца Вильгельма всем тем, что я ему желала, то король Вильгельм будет самым счастливым человеком не только в своем королевстве, но и во всем мире. Вы живы, говорила я, и оставляя себе библию вашего крестного, я решила вернуть вам ваши луковички. Я только не знала, как это сделать. И вот я решила просить у штатгальтера место тюремщика в Горкуме для отца, и тут ваша кормилица принесла мне письмо. О, уверяю вас, мы много слез пролили вместе с нею. Но ваше письмо только утвердило меня в моем решении, и тогда я уехала в Лейден. Остальное вы уже знаете.

— Как, дорогая Роза, вы еще до моего письма думали приехать ко мне сюда?

— Думала ли я об этом? — ответила Роза (любовь у нее преодолела стыдливость), — все мои мысли были заняты только этим.

Роза была так прекрасна, что Корнелиус вторично прижал свое лицо и губы к решетке, по всей вероятности, чтобы поблагодарить молодую девушку.

Роза отшатнулась, как и в первый раз.

— Правда,— сказала она с кокетством, свойственным каждой молодой девушке,— правда, я довольно часто жалела, что не умею читать, но никогда я так сильно не жалела об этом, как в тот раз, когда кормилица передала мне ваше письмо. Я держала его

в руках, оно обладало живой речью для других, а для меня, бедной дурочки — было немым.

— Вы часто сожалели о том, что не умеете читать? — спросил Корнелиус. — Почему?

— О, — ответила, улыбаясь, девушка, — потому что мне хотелось читать все письма, которые мне присылают.

— Вы получаете письма, Роза?

— Сотнями.

— Но кто же вам пишет?

— Кто мне пишет? Да все студенты, которые проходят по Бюйтегофу, все офицеры, которые идут на учение, все приказчики и даже торговцы, которые видят меня у моего маленького окна.

— И что же вы делали, дорогая Роза, с этими записками?

Раньше мне их читала какая-нибудь приятельница, и это меня очень забавляло, а с некоторых пор — зачем мне слушать все эти глупости? — с некоторых пор я их просто сжигаю.

— С некоторых пор! — воскликнул Корнелиус, и глаза его засветились любовью и счастьем.

Роза, покраснев, опустила глаза.

И она не заметила, как приблизились уста Корнелиуса, которые, увы, соприкоснулись только с решеткой. Но, несмотря на это препятствие, до губ молодой девушки донеслось горячее дыхание, обжигавшее, как самый нежный поцелуй.

Роза вздрогнула и убежала так стремительно, что забыла вернуть Корнелиусу его луковички черного тюльпана.

XVI

Учитель и ученица

Как мы видели, старик Грифус совсем не разделял расположения своей дочери к крестинку Корнеля де Витта.

В Левештейне находилось только пять заключенных, и надзор за ними был не труден, так что должность тюремщика была чем-то вроде синекуры, данной Грифусу на старости лет.

Но в своем усердии достойный тюремщик всей силой своего воображения усложнил порученное ему дело. В его воображении Корнелиус принял гигантские размеры перворазрядного преступника. Поэтому он стал в его глазах самым опасным из всех заключенных. Грнфус следил за каждым его шагом; обращался к нему всегда с самым суровым видом, заставляя его нести кару за его ужасный, как он говорил, мятеж против милосердного штатгальтера.

Он заходил в камеру ван Берле по три раза в день, надеясь застать его на месте преступления, но Корнелиус, с тех пор как его корреспондентка оказалась тут же рядом, отрешился от всякой переписки. Возможно даже, что если бы Корнелиус получил полную свободу и возможность жить, где ему угодно, он предпочел бы жизнь в тюрьме с Розой и своими луковичками, чем где-нибудь в другом месте без Розы и без луковичек.

Роза обещала приходить каждый вечер в девять часов для беседы с дорогим заключенным и, как мы видели, в первый же вечер исполнила свое обещание.

На другой день она пришла с той же таинственностью, с теми же предосторожностями, как и накануне. Она дала себе слово не приближать лица к самой решетке. И, чтобы сразу же начать разговор, который мог бы серьезно заинтересовать ван Берле, она начала с того, что протянула ему сквозь решетку три луковички, завернутые все в ту же бумажку.

Но, к большому удивлению Розы, ван Берле отстранил ее белую ручку кончиками своих пальцев.

Молодой человек обдумал все.

— Выслушайте меня, — сказал он, — мне кажется, что мы слишком рискуем, вкладывая все наше состояние в один мешок. Вы понимаете, дорогая Роза, мы собираемся выполнить задание, которое до сих пор считалось невыполнимым. Нам нужно вырастить знаменитый черный тюльпан. Примем же все предосторожности, чтобы в случае неудачи нам не пришлось себя ни в чем упрекать. Вот каким путем, я думаю, мы достигнем цели.

Роза напрягла все свое внимание, чтобы выслушать, что ей скажет заключенный, не потому, чтобы она лично придавала этому большое значение, а только потому, что этому придавал значение бедный цветовод.

Корнелиус продолжал:

— Вот как я думаю наладить наше совместное участие в этом важном деле.

— Я слушаю,— сказала Роза.

— В этой крепости есть, по всей вероятности, какой-нибудь садик, а если нет садика, то дворик, а если не дворик, то какая-нибудь насыпь.

— У нас здесь чудесный сад,— сказала Роза,— он тянется вдоль реки и усажен прекрасными старыми деревьями.

— Не можете ли вы, дорогая Роза, принести мне оттуда немного земли, чтобы я мог судить о ней?

— Завтра же принесу.

— Вы возьмете немного земли в тени и немного на солнце, чтобы я мог определить по обоим образчикам ее сухость и влажность.

— Будьте покойны.

— Когда я выберу землю, мы разделим луковички. Одну луковичку возьмете вы и посадите в указанный мною день в землю, которую я выберу. Она, безусловно, расцветет, если вы будете ухаживать за ней согласно моим указаниям.

— Я не покину ее ни на минуту.

— Другую луковичку вы оставите мне, и я попробую вырастить ее здесь, в своей камере, что будет для меня развлечением в те долгие часы, которые я провожу без вас. Признаюсь, я очень мало надеюсь на эту луковичку и заранее смотрю на нее, бедняжку, как на жертву моего эгоизма. Однако же, иногда солнце проникает и ко мне. Я постараюсь самым искусным образом использовать все. Наконец, мы будем,— вернее, вы будете держать про запас третью луковичку, нашу последнюю надежду на случай, если бы первые два опыта не удались. Таким путем, дорогая Роза, невозможно, чтобы мы не выиграли ста тысяч флоринов — ваше приданое, и не добились бы высшего счастья, достигнув своей цели.

— Я поняла,— ответила Роза.— Завтра я принесу землю, и вы выберете ее для меня и для себя. Что касается земли для вас, то мне придется потратить на это много вечеров, так как каждый раз я смогу приносить только небольшое количество.

— О, нам нечего торопиться, милая Роза. Наши тюльпаны должны быть посажены не раньше чем через

месяц. Как видите, у нас еще много времени. Только для посадки вашего тюльпана вы будете точно выполнять все мои указания, не правда ли?

— Я вам это обещаю.

— И, когда он будет посажен, вы будете сообщать мне все обстоятельства, касающиеся вашего воспитанника, именно: изменение температуры, следы на аллее, следы на грядке. По ночам вы будете прислушиваться, не посещают ли наш сад кошки. Две несчастные кошки испортили у меня в Дордрехте целых две грядки.

— Хорошо, я буду прислушиваться.

— В лунные ночи... Виден ли от вас сад, милое дитя?

— Окна моей спальни выходят в сад.

— Отлично. В лунные ночи вы будете следить, не выползают ли из отверстий забора крысы. Крысы — опасные грызуны, которых нужно остерегаться; я встречал цветоводов, которые горько жаловались на Ноя за то, что он взял в ковчег пару крыс.

— Я послезу и, если там есть крысы и кошки...

— Хорошо, нужно все предусмотреть. Затем, — продолжал ван Берле, ставший очень подозрительным за время своего пребывания в тюрьме, — затем есть еще одно животное, более опасное, чем крысы и кошки.

— Что это за животное?

— Это человек. Вы понимаете, дорогая Роза, крадут один флорин, рискуя из-за такой ничтожной суммы попасть на каторгу; тем более могут украсть луковичку тюльпана, который стоит сто тысяч флоринов.

— Никто, кроме меня, не войдет в сад.

— Вы мне это обещаете?

— Я клянусь вам в этом.

— Хорошо, Роза. Спасибо, дорогая Роза. Теперь вся радость для меня будет исходить от вас.

И, так как губы ван Берле с таким же пылом, как накануне, приблизились к решетке, а к тому же настало время уходить, Роза отстранила голову и протянула руку.

В красивой руке девушки была луковичка тюльпана. Корнелиус страстно поцеловал кончики пальцев ее руки. Потому ли, что эта рука держала одну из луковичек знаменитого черного тюльпана? Или потому, что эта рука принадлежала Розе? Это мы предоставляем разгадывать лицам, более опытным, чем мы.

Итак, Роза ушла с двумя другими луковичками, крепко их прижимая к груди.

Прижимала она их к груди потому ли, что это были луковички черного тюльпана, или потому, что луковнички ей дал Корнелиус ван Берле? Нам кажется, что эту задачу легче решить, чем предыдущую.

Как бы то ни было, но с этого момента жизнь заключенного становится приятной и осмысленной.

Роза, как мы видели, передала ему одну из луковичек.

Каждый вечер она приносила ему по горсти земли из той части сада, какую он нашел лучшей и которая была действительно превосходной.

Широкий кувшин, удачно надбитый Корнелиусом, послужил ему вполне подходящим горшком. Он наполнил его наполовину землей, которую ему принесла Роза, смешав ее с высушенным речным илом, и у него получился прекрасный чернозем.

В начале апреля он посадил туда первую луковичку.

Мы не смогли бы описать стараний, уловок и ухищрений, к каким прибег Корнелиус, чтобы скрыть от наблюдений Грифуса радость, которую он получал от работы. Для заключенного философа полчаса — это целая вечность ощущений и мыслей.

Роза приходила каждый день побеседовать с Корнелиусом.

Тюльпаны, о которых Роза прошла за это время целый курс, являлись главной темой их разговоров. Но, как бы ни была интересна эта тема, нельзя все же говорить постоянно только о тюльпанах. Итак, говорили и о другом, и, к своему великому удивлению, любитель тюльпаниов увидел, как может расширяться круг тем для разговоров.

Только Роза, как правило, стала держать свою красивую головку на расстоянии шести дюймов от окошечка, ибо прекрасная фрисландка стала опасаться за себя самое, с тех пор, по всей вероятности, как она почувствовала, что дыхание заключенного может даже сквозь решетку обжигать сердца молодых девушек.

Одно обстоятельство беспокоило в это время Корнелиуса почти так же сильно, как его луковички, и он постоянно думал о нем.

Его смущала зависимость Розы от ее отца.

Словом, жизнь ван Берле, известного врача, прекрасного художника, человека высокой культуры, — ван Берле-цветовода, который безусловно первым

взрастил то чудо творения, которое, как это заранее было решено, должно было получить наименование *Rosa Barlaensis*, — жизнь ван Берле, больше чем жизнь, благополучие его, зависело от малейшего каприза другого человека. И уровень умственного развития того человека — самый низкий. Человек-тюремщик — существо менее разумное, чем замок, который он запирает, и более жестокое, чем засов, который он задвигал. Это было нечто среднее между человеком и зверем.

Итак, благополучие Корнелиуса зависело от этого человека. Он мог в одно прекрасное утро соскучиться в Левештейне, найти, что здесь плохой воздух, что водка недостаточно вкусна, покинуть крепость и увезти с собой дочь. И вновь Роза с Корнелиусом были бы разлучены.

— И тогда, дорогая Роза, к чему послужат почтовые голуби, раз вы не сможете ни прочесть моих писем, ни излагать мне свои мысли?

— Ну, что же, — ответила Роза, которая в глубине души так же, как и Корнелиус, опасалась разлуки, — в нашем распоряжении — по часу каждый вечер; употребим это время с пользой.

— Но мне кажется, — заметил Корнелиус, — что мы его и сейчас употребляем не без пользы.

— Употребим его с еще большей пользой, — повторила улыбаясь Роза. — Научите меня читать и писать. Уверяю вас, ваши уроки пойдут мне впрок, и тогда, если мы будем когда-нибудь разлучены, то только по своей собственной воле.

— О, — воскликнул Корнелиус, — тогда перед нами вечность.

Роза улыбнулась, пожав слегка плечами.

— Разве вы останетесь вечно в тюрьме? — ответила она. — Разве, даровав вам жизнь, его высочество не даст вам свободы? Разве вы не вернетесь снова в свои владения? Разве вы не станете вновь богатым? А будучи богатым и свободным, разве вы, проезжая верхом на лошади или в карете, удостоите взглядом маленькую Розу, дочь тюремщика, почти дочь палача?

Корнелиус пытался протестовать и протестовал бы, без сомнения от всего сердца, с искренностью души, переполненной любовью.

Молодая девушка прервала его:

— Как поживает ваш тюльпан? — спросила она ; с улыбкой.

Говорить с Корнелиусом о его тюльпане было для Розы способом заставить его позабыть все, даже самое Розу.

— Неплохо, — ответил он, — кожица чернеет, брожение началось, жилки луковички нагреваются и набухают; через неделю, пожалуй, даже раньше, можно будет наблюдать первые признаки прорастания. А ваш тюльпан, Роза?

— О, я широко поставила дело и точно следовала вашим указаниям.

— Послушайте, Роза, что же вы сделали? — спросил Корнелиус. Его глаза почти так же вспыхнули, и его дыхание было таким же горячим, как в тот вечер, когда его глаза обжигали лицо, а дыхание — сердце Розы.

— Я, — заулыбалась девушка, так как в глубине души она не могла не наблюдать за двойной любовью заключенного и к ней и к черному тюльпану, — я поставила дело широко: я приготовила грядку на открытом месте, вдали от деревьев и забора, на слегка песчаной почве, скорее влажной, чем сухой, и без единого камушка. Я устроила грядку так, как вы мне ее описали.

— Хорошо, хорошо, Роза.

— Земля, подготовленная таким образом, ждет только ваших распоряжений. В первый же погожий день вы прикажете мне посадить мою луковичку, и я посажу ее. Ведь мою луковичку нужно сажать позднее вашей, так как у нее будет гораздо больше воздуха, солнца и земных соков.

— Правда, правда! — Корнелиус захлопал от радости в ладоши. — Вы прекрасная ученица, Роза, и вы, конечно, выиграете ваши сто тысяч флоринов.

— Не забудьте, — сказала смеясь Роза, — что ваша ученица — раз вы меня так называете — должна еще учиться и другому, кроме выращивания тюльпанов.

— Да, да, и я так же заинтересован, как и вы, прекрасная Роза, чтобы вы научились читать.

— Когда мы начнем?

— Сейчас.

— Нет, завтра.

— Почему завтра?

— Потому что сегодня наш час уже прошел, и я должна вас покинуть.

— Уже?! Но что же мы будем читать?

— О,— ответила Роза,— у меня есть книга, которая, надеюсь, принесет нам счастье.

— Итак, до завтра.

— До завтра.

XVII

Первая луковичка

На следующий день Роза пришла с библией Корнелия де Витта.

Тогда началась между учителем и ученицей одна из тех очаровательных сцен, какие являются радостью для романиста, если они, на его счастье, попадают под его перо.

Окошечко, единственное отверстие, которое служило для общения влюбленных, было слишком высоко, чтобы молодые люди, до сих пор довольствовавшиеся тем, что читали на лицах друг у друга все, что им хотелось сказать, могли с удобством читать книгу, принесенную Розой.

Вследствие этого молодая девушка была вынуждена опираться на окошечко, склонив голову над книгой, которую она держала на уровне фонаря, поддерживаемого правой рукой. Чтобы рука не слишком уставала, Корнелиус придумал привязывать фонарь носовым платком к решетке. Таким образом, Роза, водя пальцем по книге, могла следить за буквами и слогами, которые заставлял ее повторять Корнелиус. Он, вооружившись соломинкой, указывал буквы своей внимательной ученице через отверстие решетки.

Свет фонаря освещал румяное личико Розы, ее глубокие синие глаза, ее белокурые косы под потемневшим золотым чепцом,— головным убором фрисландок. Ее поднятые вверх пальчики, от которых отливала кровь, становились бледно-розовыми, прозрачными, и их меняющаяся окраска словно вскрывала таинственную жизнь, пульсирующую у нас под кожей.

Способности Розы быстро развивались под влиянием живого ума Корнелиуса, и когда затруднения казались

слишком большими, то их углубленные друг в друга глаза, их соприкоснувшиеся ресницы, их смешивающиеся волосы испускали такие электрические искры, которые способны были осветить даже самые непонятные слова и выражения.

И Роза, спустившись к себе, повторяла одна в памяти данный ей урок чтения и одновременно в своем сердце тайный урок любви.

Однажды вечером она пришла на полчаса позднее обычного. Запоздание на полчаса было слишком большим событием, чтобы Корнелиус раньше всего не справился о его причине.

— О, не браните меня,— сказала девушка, — это не моя вина. Отец возобновил в Левештейне знакомство с одним человеком, который часто приходил к нему в Гааге с просьбой показать ему тюрьму. Это славный парень, большой любитель выпить, который рассказывает веселые истории и, кроме того, щедро платит и никогда не останавливается перед издержками.

— С другой стороны вы его не знаете? — спросил изумленный Корнелиус.

— Нет,— ответила молодая девушка,— вот уже около двух недель, как мой отец пристрастился к новому знакомому, который нас усердно посещает.

— О,— заметил Корнелиус, с беспокойством покачивая головой, так как каждое новое событие предвещало ему какую-нибудь катастрофу,— это, вероятно, один из тех шпионов, которых посылают в крепости для наблюдения и за заключенными и за их охраной.

— Я думаю,— сказала Роза с улыбкой,— что этот славный человек следит за кем угодно, но только не за моим отцом.

— За кем же он может здесь следить?

— А за мной, например.

— За вами?

— А почему бы и нет? — сказала смеясь девушка.

— Ах, это правда,— заметил, вздыхая, Корнелиус,— не все же ваши поклонники, Роза, должны уходить ни с чем; этот человек может стать вашим мужем.

— Я не говорю: «нет».

— А на чем вы основываете эту радость?

— Скажите — это опасение, господин Корнелиус...

— Спасибо, Роза, вы правы, это опасение...

— А вот на чем я его основываю.

— Я слушаю, говорите.

— Этот человек приходил уже несколько раз в Бюйтенгоф в Гааге; да, как раз в то время, когда вас туда посадили. Когда я выходила, он тоже выходил; я приехала сюда, он тоже приехал. В Гааге он приходил под предлогом повидать вас.

— Повидать меня?

— Да. Но это, без всякого сомнения, был только предлог; теперь, когда вы снова стали заключенным моего отца или, вернее, когда отец снова стал вашим тюремщиком, он больше не выражает желания повидать вас. Я слышала, как он вчера говорил моему отцу, что он вас не знает.

— Продолжайте, Роза, я вас прошу. Я попробую установить, что это за человек и чего он хочет.

— Вы уверены, господин Корнелиус, что никто из ваших друзей не может интересоваться вами?

— У меня нет друзей, Роза. У меня никого не было, кроме моей кормилицы; вы ее знаете, и она знает вас. Увы! Эта бедная женщина пришла бы сама и безо всякой хитрости, плача, сказала бы вашему отцу или вам: «Дорогой господин или дорогая барышня, мое дитя здесь у вас; вы видите, в каком я отчаянии, разрешите мне повидать его хоть на один час, и я всю свою жизнь буду молить за вас бога». О нет,— продолжал Корнелиус,— кроме моей доброй кормилицы, у меня нет друзей.

— Итак, остается думать то, что я предполагала, тем более, что вчера, на заходе солнца, когда я откапывала гряду, на которой я должна посадить вашу луковичку, я заметила тень, проскользнувшую через открытую калитку за осины и бузину. Я притворилась, что не смотрю. Это был наш парень. Он спрятался, смотрел, как я копала землю, и, конечно, он следил за мной. Это он меня выслеживает. Он следил за каждым взмахом моей лопаты, за каждой горстью земли, до которой я дотрагивалась.

— О да, о да, это, конечно, влюбленный,— сказал Корнелиус.— Что, он молод, красив?

И он жадно смотрел на Розу, с нетерпением ожидая ее ответа.

— Молодой, красивый? — воскликнула, рассмеявшись, Роза.— У него отвратительное лицо, у него

скрюченное туловище, ему около пятидесяти лет, и он не решается смотреть мне прямо в лицо и громко со мной говорить.

— А как его зовут?

— Якоб Гизельс.

— Я его не знаю.

— Теперь вы видите, что он не для вас сюда приходит.

— Во всяком случае, если он вас любит, Роза, а это очень вероятно, так как видеть вас — значит любить, то вы-то не любите его?

— О, конечно, нет.

— Вы хотите, чтобы я успокоился на этот счет?

— Я этого требую от вас.

— Ну, хорошо, теперь вы умеете уже немного читать, Роза, и вы прочтете, не правда ли, все, что я вам напишу о муках ревности и разлуки?

— Я прочту, если вы это напишете крупными буквами.

Так как разговор начал принимать тот оборот, который беспокоил Розу, она решила оборвать его.

— Кстати,— сказала она,— как поживает ваш тюльпан?

— Судите сами о моей радости, Роза. Сегодня утром я осторожно раскопал верхний слой земли, который покрывает луковичку, рассмотрел ее на солнце и увидел, что появляется первый росток. Ах, Роза, мое сердце растаяло от радости! Эта незаметная белесоватая почка, которую могло бы содрать крылышко задевшей ее мухи, этот намек на жизнь, которая проявляет себя в чем-то почти неосознанном, взволновала меня больше, чем чтение указа его высочества, задержавшего меч палача на эшафоте Бюйтенгофа и вернувшего меня к жизни.

— Так вы надеетесь? — сказала, улыбаясь, Роза.

— О да, я надеюсь.

— А когда же я должна посадить свою луковичку?

— В первый благоприятный день. Я вам скажу об этом. Но, главное, не берите себе никого в помощники. Главное, никому не доверяйте этой тайны, никому на свете. Видите ли, знаток при одном взгляде на луковичку сможет оценить ее. И главное, главное, дорогая Роза, тщательно храните третью луковичку, которая у нас осталась.

— Она завернута в ту же бумагу, в которой вы мне ее дали, господин Корнелиус, и лежит на самом дне моего шкафа, под моими кружевами, которые согревают ее, не обременяя ее тяжестью. Но прощайте, мой бедный заключенный!

— Как, уже?

— Нужно идти.

— Прийти так поздно и так рано уйти!

— Отец может беспокоиться, что я поздно не прихожу; влюбленный может заподозрить, что у него есть соперник.

И она вдруг стала тревожно прислушиваться.

— Что с вами? — спросил ван Берле.

— Мне показалось, что я слышу...

— Что вы слышите?

— Что-то вроде шагов, которые раздались на лестнице.

— Да, правда, — сказал Корнелиус, — но это, во всяком случае, не Грифус, его слышно издали.

— Нет, это не отец, я в этом уверена. Но...

— Но...

— Но это может быть господин Якоб.

Роза кинулась к лестнице, и действительно, было слышно, как торопливо захлопнулась дверь, раньше чем девушка спустилась с первых десяти ступенек.

Корнелиус очень обеспокоился, но для него это оказалось только прелюдией.

Когда злой рок начинает выполнять свое дурное намерение, то очень редко бывает, чтобы он великодушно не предупредил свою жертву, подобно забияке, предупреждающему своего противника, чтобы дать тому время принять меры предосторожности.

Почти всегда с этими предупреждениями, воспринимаемыми человеком инстинктивно или при посредстве неодушевленных предметов, — почти всегда, говорим мы, с этими предупреждениями не считаются.

Следующий день прошел без особенных событий. Грифус трижды обходил камеры. Он ничего не обнаружил. Когда Корнелиус слышал приближение шагов тюремщика, — а Грифус в надежде обнаружить тайны заключенного никогда не приходил в одно и то же время, — когда он слышал приближение шагов своего тюремщика, то он спускал свой кувшин вначале под

карниз крыши, а затем — под камни, которые торчали под его окном. Это он делал при помощи придуманного им механизма, подобного тем, которые применяются на фермах для подъема и спуска мешков с зерном. Что касается веревки, при помощи которой этот механизм приводился в движение, то наш механик ухитрился прятать ее во мхе, которым обросли черепицы, или между камнями.

Грифус ни о чем не догадывался.

Хитрость удавалась в течение восьми дней.

Но однажды утром Корнелиус, углубившись в созерцание своей луковички, из которой росток пробивался уже наружу, не слышал, как поднялся старый Грифус. В этот день дул сильный ветер, и в башне все кругом трещало. Вдруг дверь распахнулась, и Корнелиус был захвачен врасплох с кувшином на коленях.

Грифус, увидя в руках заключенного не известный ему, а следовательно, запрещенный предмет, набросился на него стремительнее, чем сокол набрасывается на свою жертву.

Случайно или благодаря роковой ловкости, которой злой дух иногда наделяет зловредных людей, он попал своей громадной мозолистой рукой прямо в середину кувшина, как раз на чернозем, в котором находилась драгоценная луковица. И попал он именно той рукой, которая была сломана у кисти и которую так хорошо вылечил ван Берле.

— Что у вас здесь? — закричал он. — Наконец-то я вас поймал!

И он засунул свою руку в землю.

— У меня ничего нет, ничего нет! — воскликнул, дрожа всем телом, Корнелиус.

— А, я вас поймал! Кувшин с землей, в этом есть какая-то преступная тайна.

— Дорогой Грифус... — умолял ван Берле, взволнованный подобно куропатке, у которой жнец захватил гнездо с яйцами. Но Грифус принялся разрывать землю своими крючковатыми пальцами.

— Грифус, Грифус, осторожно! — сказал, бледнея, Корнелиус.

— В чем дело, черт побери? — рычал тюремщик.

— Осторожнее, говорю вам, вы убьете его!

Он быстрым движением, в полном отчаянии, выхватил из рук тюремщика кувшин и прикрыл, как драгоценное сокровище, руками.

Упрямый Грифус, убежденный, что раскрыл заговор против принца Оранского,— замахнулся на своего заключенного палкой. Но, увидя непреклонное решение Корнелиуса защищать цветочный горшок, он почувствовал, что заключенный боится больше за кувшин, чем за свою голову.

И он старался силой вырвать у него кувшин.

— А,— закричал тюремщик,— так вы бунтуете!

— Не трогайте мой тюльпан! — кричал ван Берле.

— Да, да, тюльпан! — кричал старик.— Мы знаем хитрость господ заключенных.

— Но я клянусь вам...

— Отдайте,— повторял Грифус, топая ногами.— Отдайте, или я позову стражу.

— Зовите, кого хотите, но вы получите этот бедный цветок только вместе с моей жизнью.

Грифус в озлоблении вновь запустил свою руку в землю и на этот раз вытащил оттуда совсем черную луковичку. В то время как ван Берле был счастлив, что ему удалось спасти сосуд, и не подозревал, что содержимое — у его противника, Грифус с силой швырнул размякшую луковичку, которая разломалась на каменных плитах пола и тотчас же исчезла, раздавленная, превращенная в кусок грязи под грубым сапогом тюремщика.

И тут ван Берле увидел это убийство, заметил влажные останки луковички, понял дикую радость Грифуса и испустил крик отчаяния. В голове ван Берле молнией промелькнула мысль — убить этого злобного человека. Пылкая кровь ударила ему в голову, ослепила его, и он поднял обеими руками тяжелый, полный бесполезной теперь земли кувшин. Еще один миг, и он опустил бы его на лысый череп старого Грифуса.

Его остановил крик, крик, в котором звенели слезы и слышался невыразимый ужас. Это кричала за решеткой окошечка несчастная Роза,— бледная, дрожащая, с простертыми к небу руками. Ей хотелось броситься между отцом и другом.

Корнелиус уронил кувшин, который с грохотом разбился на тысячу мелких кусочков.

И только тогда Грифус понял, какой опасности он подвергался, и разразился ужасными угрозами.

— О,— заметил Корнелиус,— нужно быть очень подлым и тупым человеком, чтобы отнять у бедного заключенного его единственное утешение — луковницу тюльпана.

— О, какое преступление вы совершили, отец! — сказала Роза.

— А, ты, болтунья,— закричал, повернувшись к дочери, старик, кипевший от злости.— Не суй своего носа туда, куда тебя не спрашивают, а главное, проваливай отсюда, да побыстрей.

— Презренный, презренный! — повторял с отчаянием Корнелиус.

— В конце концов это только тюльпан,— прибавил Грифус, несколько сконфуженный.— Можно вам дать сколько угодно тюльпанов, у меня на чердаке их триста.

— К черту ваши тюльпаны! — закричал Корнелиус.— Вы друг друга стоите. Если бы у меня было сто миллиардов миллионов, я их отдал бы за тот тюльпан, который вы раздавили.

— Ага! — сказал, торжествуя, Грифус.— Вот видите, вам важен вовсе не тюльпан. Вот видите, у этой штуки был только вид луковницы, а на самом деле в ней таилась какая-то чертовщина, быть может, какой-нибудь способ переписываться с врагами его высочества, который вас помиловал. Я правильно сказал, что напрасно вам не отрубили голову.

— Отец, отец! — воскликнула Роза.

— Ну, что же, тем лучше, тем лучше,— повторял Грифус, приходя все в большее возбуждение: — я его уничтожил, я его уничтожил. И это будет повторяться каждый раз, как вы только снова начнете. Да, да, я вас предупреждал, милый друг, что я сделаю вашу жизнь тяжелой.

— Будь проклят, будь проклят! — рычал в полном отчаянии Корнелиус, щупая дрожащими пальцами последние остатки луковички, конец стольких радостей, стольких надежд.

— Мы завтра посадим другую, дорогой господин Корнелиус,— сказала шепотом Роза, которая понимала безысходное горе цветовода.

Ее нежные слова падали, как капли бальзама на кровоточащую рану Корнелиуса.

XVIII

Поклонник Розы

Не успела Роза произнести эти слова, как с лестницы послышался голос. Кто-то спрашивал у Грифуса, что случилось.

— Вы слышите, отец! — сказала Роза.

— Что?

— Господин Якоб зовет вас. Он волнуется.

— Вот сколько шума наделали! — заметил Грифус. — Можно было подумать, что этот ученый убивает меня. О, сколько всегда хлопот с учеными!

Потом, указывая Розе на лестницу, он сказал:

— Ну-ка, иди вперед, сударыня. — И, заперев дверь, он крикнул: — Я иду к вам, друг Якоб!

И Грифус удалился, уводя с собой Розу и оставив в глубоком горе и одиночестве бедного Корнелиуса.

— О, ты убил меня, старый палач! Я этого не переживу.

И действительно, бедный ученый захворал бы, если бы провидение не послало ему того, что еще придавало смысл его жизни и что именовалось Розой.

Девушка пришла в тот же вечер.

Первыми ее словами было сообщенно о том, что отец впредь не будет ему мешать сажать цветы.

— Откуда вы это знаете? — спросил заключенный жалобным голосом девушку.

— Я это знаю потому, что он это сам сказал.

— Быть может, чтобы меня обмануть?

— Нет, он раскаивается.

— О, да, да, но слишком поздно.

— Он раскаялся не по своей инициативе.

— Как же это случилось?

— Если бы вы знали, как его друг ругает его за это!

— А, господин Якоб. Как видно, этот господин Якоб вас совсем не покидает.

— Во всяком случае, он покидает нас, по возможности, реже.

И она улыбнулась той улыбкой, которая сейчас же рассеяла тень ревности, омрачившую на мгновение лицо Корнелиуса.



— Как это произошло? — спросил заключенный.

— А вот как. За ужином отец, по просьбе своего друга, рассказал ему историю с тюльпаном или, вернее, с луковичкой и похвастался подвигом, который он совершил, когда уничтожил ее.

Корнелиус испустил вздох, похожий на стои.

— Если бы вы только видели в этот момент нашего Якоба, — продолжала Роза. — Поистине я подумала, что он подожжет крепость: его глаза пылали, как два факела, его волосы вставали дыбом; он судорожно сжимал кулаки; был момент, когда мне казалось, что он хочет задушить моего отца. «Вы это сделали! — закричал он: — вы раздавили луковичку?» — «Конечно», — ответил мой отец. — «Это бесчестно! — продолжал он кричать. — Это гнусно! Вы совершили преступление!»

Отец мой был ошеломлен. «Что, вы тоже с ума сошли?» — спросил он своего друга.

— О, какой благородный человек этот Якоб! — пробормотал Корнелиус. — У него великодушное сердце и честная душа.

— Во всяком случае, пробирать человека более сурово, чем он пробрал моего отца, — нельзя, — добавила Роза. — Он был буквально вне себя. Он бесконечно повторял: «Раздавить луковичку, раздавить! О, мой боже, мой боже! Раздавнть!»

Потом, обратившись ко мне: «Но ведь у него была не одна луковичка?» — спросил он.

— Он это спросил? — заметил, насторожившись, Корнелиус.

— «Вы думаете, что у него была не одна? — спросил отец. — Ладно, поищем и остальные».

«Вы будете искать остальные?» — воскликнул Якоб, взяв за шиворот моего отца, но тотчас же отпустил его.

Затем он обратился ко мне: «А что же сказал на это бедный молодой человек?»

Я не знала, что ответить. Вы просили меня никому не говорить, какое большое значение придаете этим луковичкам. К счастью, отец вывел меня из затруднения.

Что он сказал? Да у него от бешенства на губах выступила пена.

Я прервала его. «Как же ему было не обозлиться? — сказала я. — С ним поступили так жестоко, так грубо».

«Вот как, да ты с ума сошла! — закричал в свою очередь отец. — Скажите, какое несчастье — раздавить луковицу тюльпана! За один флорин их можно получить целую сотню на базаре в Горкуме».

«Но, может быть, менее ценные, чем эта луковица», — ответила я, на свое несчастье.

— И как же реагировал на эти слова Якоб? — спросил Корнелиус.

— При этих словах, должна заметить, мне показалось, что в его глазах засверкали молнии.

— Да, — заметил Корнелиус, — но это было не все, он еще что-нибудь сказал при этом?

— «Так вы, прекрасная Роза, — сказал он вкрадчивым тоном, — думаете, что это была ценная луковица?»

Я почувствовала, что сделала ошибку.

«Мне-то откуда знать? — ответила я небрежно: — разве я понимаю толк в тюльпанах? Я знаю только, раз мы обречены — увы! — жить вместе с заключенными, что для них всякое времяпрепровождение имеет свою ценность. Этот бедный ван Берле забавлялся луковицами. И вот я говорю, что было жестоко лишать его забавы».

«Но прежде всего, — заметил отец, — каким образом он добыл эту луковицу? Вот, мне кажется, что было бы недурно узнать».

Я отвела глаза, чтобы избегнуть взгляда отца, но я встретила с глазами Якоба. Казалось, что он старается проникнуть в самую глубину моих мыслей.

Часто раздражение избавляет нас от ответа. Я пожалала плечами, повернулась и направилась к двери.

Но меня остановило одно слово, которое я услышала, хотя оно было произнесено очень тихо.

Якоб сказал моему отцу: «Это не так трудно узнать, черт побери». — «Да, обыскать его, и, если у него есть еще и другие луковички, мы их найдем», — ответил отец.

«Да, обычно их должно быть три...»

— Их должно быть три! — воскликнул Корнелиус. — Он сказал, что у меня три луковички?

— Вы представляете себе, что эти слова поразили меня не меньше вашего. Я обернулась. Они были оба так поглощены, что не заметили моего движения. «Но, может быть, — заметил отец, — он не прячет на себе эти луковички». — «Тогда выведите его под каким-нибудь предлогом из камеры, а тем временем я обыщу ее».

— О, о,— сказал Корнелиус, — да ваш Якоб — негодай.

— Да, я опасюсь этого.

— Скажите мне, Роза...— продолжал задумчиво Корнелиус.

— Что?

— Не рассказывали ли вы мне, что в тот день, когда вы готовили свою грядку, этот человек следил за вами?

— Да.

— Что он, как теиь, проскользнул позади бузины?

— Верю.

— Что он не пропустил ни одного взмаха вашей лопаты?

— Ни одного.

— Роза,— произнес, бледнея, Корнелиус.

— Ну что?

— Он выслеживал не вас.

— Кого же он выслеживал?

— Он влюблен не в вас.

— В кого же тогда?

— Он выслеживал мою луковичку. Он влюблен в мой тюльпан.

— А, это вполне возможно! — согласилась Роза.

— Хотите в этом убедиться?

— А каким образом?

— Это очень легко.

— Как?

— Пойдите завтра в сад; постарайтесь сделать так, чтобы Якоб знал, как и в первый раз, что вы туда идете; постарайтесь, чтобы, как и в первый раз, он последовал за вами; притворитесь, что вы сажаете луковичку, выйдите из сада, но посмотрите сквозь калитку, и вы увидите, что он будет делать.

— Хорошо. Ну, а потом?

— Ну, а потом мы поступим в зависимости от того, что он сделает.

— Ах,— вздохнула Роза:— вы, господин Корнелиус, очень любите ваши луковицы.

— Да,— ответил заключенный,— с тех пор, как ваш отец раздавил эту несчастную луковичку, мне кажется, что у меня отнята часть моей жизни.

— Послушайте, хотите испробовать еще один способ?

— Какой?

— Хотите принять предложение моего отца?

— Какое предложение?

— Он же предложил вам целую сотню луковиц тюльпанов.

— Да, это правда.

— Возьмите две или три, а среди этих двух-трех вы сможете вырастить и свою луковичку.

— Да, это было бы неплохо,— ответил Корнелиус, нахмутив брови,— если бы ваш отец был один, но тот, другой... этот Якоб, который за нами следит...

— Ах, да, это правда. Но все же подумайте. Вы этим лишаете себя, как я вижу, большого удовольствия.

Она произнесла эти слова с улыбкой, не вполне лишенной иронии. Корнелиус на момент задумался. Было видно, что он борется с очень большим желанием.

— И все-таки нет! — воскликнул он, как древний стоик.— Нет! Это было бы слабостью, это было бы безумием. Это было бы подлостью отдавать на долю прихоти, гнева и зависти нашу последнюю надежду. Я был бы человеком, недостойным прощения. Нет, Роза, нет! Завтра мы примем решение относительно вашей луковички. Вы будете выращивать ее, следуя моим указаниям. А что касается третьей,— Корнелиус глубоко вздохнул,— что касается третьей, храните ее в своем шкафу. Берегите ее, как скупой бережет свою первую или последнюю золотую монету; как мать бережет своего сына; как раненый бережет последнюю каплю крови в своих венах. Берегите ее, Роза. У меня предчувствие, что в этом наше спасение, что в этом наше богатство. Берегите ее, и если бы огонь небесный пал на Левештейн, то поклянитесь мне, Роза, что вместо ваших колец, вместо ваших драгоценностей, вместо этого прекрасного золотого чепца, так хорошо обрамляющего ваше личико,— поклянитесь мне, Роза, что вместо всего этого вы спасете ту последнюю луковичку, которая содержит в себе мой черный тюльпан.

— Будьте спокойны, господин Корнелиус,— сказала мягким, торжественно-грустным голосом Роза.— Будьте спокойны, ваши желания для меня священны.

— И даже,— продолжал молодой человек, все более и более возбуждаясь,— если бы вы заметили, что за вами следят, что все ваши поступки выслеживают, что ваши разговоры вызывают подозрения у вашего отца или у этого ужасного Якоба, которого я ненавижу,— тогда, Роза, пожертвуйте тотчас же мною, мною, который живет только вами, у кого, кроме вас,

нет ни единого человека на свете, пожертвуйте мною, не посещайте меня больше.

Роза почувствовала, как сердце сжимается у нее в груди; слезы выступили на ее глазах.

— Увы! — сказала она.

— Что? — спросил Корнелиус.

— Я вижу...

— Что вы видите?

— Я вижу, — сказала, рыдая, девушка, — вы любите ваши тюльпаны так сильно, что для другого чувства у вас в сердце не остается места.

И она убежала.

После ухода девушки Корнелиус провел одну из самых тяжелых ночей в своей жизни.

Роза рассердилась на него, и она была права. Она, быть может, не придет больше к заключенному, и он больше ничего не узнает ни о Розе, ни о своих тюльпанах.

Но мы должны сознаться, к стыду нашего героя и садовода, что из двух привязанностей Корнелиуса перевес был на стороне Розы. И когда, около трех часов ночи, измученный, преследуемый страхом, истерзанный угрызениями совести, он уснул, в его сновидениях черный тюльпан уступил первое место прекрасным голубым глазам белокурой фрисландки.

XIX

Женщина и цветок

Но бедная Роза, запершись в своей комнате, не могла знать, о ком или о чем грезил Корнелиус. Помня его слова, Роза склонна была думать, что он больше грезит о тюльпане, чем о ней. И, однако же, она ошибалась.

Но так как не было никого, кто мог бы ей сказать, что она ошибается, так как неосторожные слова Корнелиуса, словно капли яда, отравили ее душу, то Роза не грезила, а плакала.

Будучи девушкой неглупой и достаточно чуткой, Роза отдавала себе должное, не в оценке своих моральных и физических качеств, а в оценке своего социального положения.

Корнелиус — ученый, Корнелиус богат или по крайней мере был богат раньше, до конфискации имущества. Корнелиус — родом из торговой буржуазии, которая своими вывесками, разрисованными в виде гербов, гордилась больше, чем родовое дворянство своими настоящими фамильными гербами. Поэтому Корнелиус мог смотреть на Розу только как на развлечение, но если бы ему пришлось отдать свое сердце, то он, конечно, отдал бы его скорее тюльпану, то есть самому благородному и самому гордому из всех цветов, чем Розе, скромной дочери тюремщика.

Розе было поиятно предпочтение, оказываемое Корнелиусом черному тюльпану, но отчаяние ее только усугублялось от того, что она понимала.

И вот, проведя бессонную ночь, Роза приняла решение: никогда больше не приходиться к окошечку.

Но так как она знала о пылком желании Корнелиуса иметь сведения о своем тюльпане, а с другой стороны — не хотела подвергать себя риску опять пойти к человеку, чувство жалости к которому усилилось настолько, что, пройдя через чувство симпатии, эта жалость прямо и быстрыми шагами переходила в чувство любви, и так как она не хотела огорчать этого человека, — то решила одна продолжать свои уроки чтения и письма.

К счастью, она настолько подвинулась в своем учении, что ей уже не нужен был бы учитель, если б этого учителя не звали Корнелиусом.

Роза горячо принялась читать библию Корнеля де Витта, на второй странице которой, ставшей первой, с тех пор, как та была оторвана, — на второй странице которой было написано завешание Корнелиуса ван Берле.

— Ах, — шептала она, перелистывая завешание, которое она никогда не кончала читать без того, чтобы из ее ясных глаз не скатывалась на побледневшие щеки слеза, — ах, в то время было, однако же, мгновение, когда мне казалось, что он любит меня!

Бедная Роза, она ошибалась! Никогда любовь заключенного так ясно не ощущалась им, как в тот момент, до которого мы дошли и когда мы с некоторым смущением отметили, что в борьбе черного тюльпана с Розой побежденным оказался черный тюльпан.

Но Роза, повторяем, не знала о поражении черного тюльпана.

Покончив с чтением — занятием, в котором Роза сделала большие успехи, — она брала перо и принималась с таким же похвальным усердием за дело, куда более трудное, — за письмо.

Роза писала уже почти разборчиво, когда Корнелиус так неосторожно позволил проявиться своему чувству. И она тогда надеялась, что сделает еще большие успехи и не позднее как через неделю сумеет написать заключенному отчет о состоянии тюльпана.

Она не забыла ни одного слова из указаний, сделанных ей Корнелиусом. В сущности, Роза никогда не забывала ни одного произнесенного им слова, хотя бы оно и не имело формы указания.

Он, со своей стороны, проснулся влюбленным больше, чем когда-либо. Правда, тюльпан был еще очень ясным и живым в его воображении, но уже не рассматривался как сокровище, которому он должен пожертвовать всем, даже Розой. В тюльпане он уже видел драгоценный цветок, чудесное соединение природы с искусством, нечто такое, что сам бог предназначил для того, чтобы украсить корсаж его возлюбленной.

Однако же весь день Корнелиуса преследовало смутное беспокойство. Он принадлежал к людям, обладающим достаточно сильной волей, чтобы на время забывать об опасности, угрожающей им вечером или на следующий день. Поборов это беспокойство, они продолжают жить своей обычной жизнью. Только время от времени сердце их шепчет от этой забытой угрозы. Они вздрагивают, спрашивая себя, в чем дело, затем вспоминают то, что они забыли. «О, да, — говорят они со вздохом, — это именно то».

У Корнелиуса это «именно то» было опасение, что Роза не придет на свидание, как обычно, вечером.

И по мере приближения ночи опасение становилось все сильнее и все настойчивее, пока оно всецело не овладело Корнелиусом и не стало его единственной мыслью. С сильно бьющимся сердцем встретил бы наступившие сумерки. И по мере того, как сгущался мрак, слова, которые он произнес накануне и которые так огорчили бедную девушку, ярко всплывали в его памяти, и он задавал себе вопрос, — как мог он предложить своей утешительнице пожертвовать им для тюльпана, то есть отказаться, в случае необходимости, встречаться с ним, в то время

как для него самого видеть Розу стало потребностью жизни?!

Из камеры Корнелиуса слышно было, как били крепостные часы. Пробило семь часов, восемь часов, затем девять. Никогда металлический звон часового механизма не проникал ни в чье сердце так глубоко, как проник в сердце Корнелиуса этот девятый удар молотка, отбивавший девятый час.

Все замерло. Корнелиус приложил руку к сердцу, чтобы заглушить его биение, и прислушался. Шум шагов Розы, шорох ее платья, задевающего о ступени лестницы, были ему до того знакомы, что, едва только она ступала на первую ступеньку, он говорил:

— А, вот идет Роза.

В этот вечер ни один звук не нарушил тишины коридора; часы пробили четверть десятого, затем двумя разными ударами пробили половину десятого, затем три четверти десятого, затем они громко оповестили не только гостей крепости, но и всех жителей Левештейна, что уже десять часов.

Это был час, когда Роза обычно уходила от Корнелиуса. Час пробил, а Розы еще и не было.

Итак, значит, его предчувствие не обмануло. Роза, рассердившись, осталась в своей комнате и покинула его.

— О, я, несомненно, заслужил то, что со мной случилось. Она не придет и хорошо сделает, что не придет. На ее месте я поступил бы, конечно, так же.

Тем не менее Корнелиус прислушивался, ждал и все еще надеялся.

Так он прислушивался и ждал до полуночи, но в полночь потерял надежду и, не раздеваясь, бросился на постель.

Ночь была долгая, печальная. Наступило утро, но и утро не принесло никакой надежды.

В восемь часов утра дверь его камеры открылась, но Корнелиус даже не повернул головы. Он слышал тяжелые шаги Грифуса в коридоре, он прекрасно чувствовал, что это были шаги только одного человека.

Он даже не посмотрел в сторону тюремщика.

Однако же ему очень хотелось поговорить с ним, чтобы спросить, как поживает Роза. И каким бы странным ни показался отцу этот вопрос, Корнелиус чуть было не задал его. В своем эгоизме он надеялся услышать от Грифуса, что его дочь больна.

Роза обычно, за исключением самых редких случаев, никогда не приходила днем. И пока длился день, Корнелиус обыкновенно не ждал ее. Но по тому, как он внезапно вздрагивал, по тому, как прислушивался к звукам со стороны двери, по быстрым взглядам, которые он бросал на окошечко, было ясно, что узник таил смутную надежду: не нарушит ли Роза своих привычек?

При втором посещении Грифуса Корнелиус, против обыкновения, спросил старого тюремщика самым ласковым голосом, как его здоровье. Но Грифус, лаконичный, как спартанец, ограничился ответом:

— Очень хорошо.

При третьем посещении Корнелиус изменил форму вопроса.

— В Левештейне никто не болен? — спросил он.

— Никто, — еще более лаконично, чем в первый раз, ответил Грифус, захлопывая дверь перед самым носом заключенного.

Грифус, не привыкший к подобным любезностям со стороны Корнелиуса, усмотрел в них первую попытку подкупить его.

Корнелиус остался один. Было семь часов вечера, и тут вновь началось еще сильнее, чем накануне, то терзание, которое мы пытались описать. Но, как и накануне, часы протекали, а оно все не появлялось, милое видение, которое освещало сквозь окошечко камеру Корнелиуса и, уходя, оставляло там свет на все время своего отсутствия.

Ван Берле провел ночь в полном отчаянии. Наутро Грифус показался ему еще более безобразным, более грубым, более безнадежным, чем обычно. В мыслях или, скорее, в сердце Корнелиуса промелькнула надежда, что это именно он не позволяет Розе приходить.

Им овладевало дикое желание задушить Грифуса. Но если бы Корнелиус задушил Грифуса, то по всем божеским и человеческим законам Роза уже никогда не смогла бы к нему прийти. Таким образом, не подозревая того, тюремщик избег самой большой опасности, какая ему только грозила в жизни.

Наступил вечер, и отчаяние перешло в меланхолию. Меланхолия была тем более мрачной, что, помимо воли ван Берле, к испытываемым им страданиям прибавлялось еще воспоминание о бедном тюльпане. Наступили

как раз те дни апреля месяца, на которые наиболее опытные садоводы указывают, как на самый подходящий момент для посадки тюльпанов. Он сказал Розе: «Я укажу вам день, когда вы должны будете посадить вашу луковичку в землю». Именно в следующий вечер он и должен был назначить ей день посадки. Погода стояла прекрасная, воздух, хотя слегка и влажный, уже согревался бледными апрельскими лучами, которые всегда очень приятны, несмотря на их бледность. А что, если Роза пропустит время посадки, если к его горю, которое он испытывает от разлуки с молодой девушкой, прибавится еще и неудача от посадки луковички, от того, что она будет посажена слишком поздно или даже вовсе не будет посажена?

Да, соединение таких двух несчастий легко могло лишить его аппетита, что и случилось с ним на четвертый день. На Корнелиуса жалко было смотреть, когда он, подавленный горем, бледный от изнеможения, рискуя не вытащить обратно своей головы из-за решетки, высовывался из окна, пытаясь увидеть маленький садик слева, о котором ему рассказывала Роза и ограда которого, как она говорила, прилегала к речке. Он рассматривал сад в надежде увидеть там, при первых лучах апрельского солнца, молодую девушку или тюльпан, свои две разбитые привязанности.

Вечером Грифус отнес обратно и завтрак и обед Корнелиуса; он только чуть-чуть к ним притронулся. На следующий день он совсем не дотрагивался до еды, и Грифус унес ее обратно совершенно нетронутой.

Корнелиус в продолжение дня не вставал с постели.

— Вот и прекрасно,— сказал Грифус, возвращаясь в последний раз от Корнелиуса,— вот и прекрасно, скоро, мне кажется, мы избавимся от ученого.

Роза вздрогнула.

— Ну,— заметил Якоб,— каким образом?

— Он больше не ест и не пьет, и не поднимается с постели. Он уйдет отсюда, подобно Гроцию, в ящике, но только его ящик будет гробом.

Роза побледнела, как мертвец.

— О,— прошептала она,— я понимаю, он волнуется за свой тюльпан.

Она ушла к себе в комнату подавленная, взяла бумагу и перо и всю ночь старалась написать письмо.

Утром Корнелиус поднялся, чтобы добрать до окошечка, и заметил клочок бумаги, который подсунули

под дверь. Он набросился на записку и прочел несколько слов, написанных почерком, в котором он с трудом узнал почерк Розы, настолько он улучшился за эти семь дней.

«Будьте спокойны, ваш тюльпан в хорошем состоянии».

Хотя записка Розы и успокоила отчасти страдания Корнелиуса, он все же почувствовал ее иронию. Так, значит, Роза действительно не больна. Роза оскорблена; значит, Розе никто не мешает приходить к нему, и она по собственной воле покинула Корнелиуса.

Итак, Роза была свободна, Роза находила в себе достаточно силы воли, чтобы не приходить к тому, кто умирал с горя от разлуки с ней.

У Корнелиуса была бумага и карандаш, который ему принесла Роза. Он знал, что девушка ждет ответа, но что она придет за ним только ночью. Поэтому он написал на клочке такой же бумаги, какую получил:

«Меня удручает не беспокойство о тюльпане. Я болен от разлуки с вами».

Затем, когда ушел Грифус, когда наступил вечер, он просунул под дверь записку и стал слушать. Но, как старательно он ни напрягал слух, он все же не слышал ни шагов, ни шороха платья. Он услышал только слабый, как дыхание, нежный, как ласка, голос, который прозвучал сквозь окошечко:

— До завтра.

Завтра — то был уже восьмой день.

Корнелиус не виделся с Розой в продолжение восьми дней.

XX

Что случилось за восемь дней

Действительно, на другой день, в обычный час ван Берле услышал, что кто-то слегка скребется в его окошечко, как это обыкновенно делала Роза в счастливые дни их дружбы. Не трудно догадаться, что Корнелиус был недалеко от двери, через решетку которой он должен был увидеть так давно исчезнувшее милое личико.

Ожидавшая с фонарем в руках Роза не могла сдержать своего волнения при виде, как бледен и грустен заключенный.

— Вы больны, господин Корнелиус? — спросила она.

— Да, мадемуазель, я болен и физически, и нравственно.

— Я видела, что вы перестали есть,— молвила Роза,— отец мне сказал, что вы больны и не встаете; тогда я написала вам, чтобы успокоить, о судьбе волнующего вас драгоценного предмета.

— И я ответил вам,— сказал Корнелиус.— И, видя, что вы снова пришли, дорогая Роза, я думаю, что вы получили мою записку.

— Да, это правда, я ее получила.

— Теперь вы не можете оправдываться тем, что вы не могли прочесть ее. Вы теперь не только бегло читаете, но вы также сделали большие успехи и в письме.

— Да, правда, я не только получила, но и прочла вашу записку. Потому-то я и пришла, чтобы попытаться вылечить вас.

— Вылечить меня! — воскликнул Корнелиус.— У вас, значит, есть какие-нибудь приятные новости для меня?

При этих словах молодой человек устремил на Розу пылающие надеждой глаза. Потому ли, что Роза не поняла этого взгляда, потому ли, что она не хотела его понять, но она сурово ответила:

— Я могу только рассказать вам о вашем тюльпане, который, как мне известно, интересуется вас больше всего на свете.

Роза произнесла эти несколько слов таким ледяным тоном, что Корнелиус вздрогнул.

Пылкий цветовод не понял всего того, что скрывала под маской равнодушия бедная Роза, находившаяся в постоянной борьбе со своим соперником — черным тюльпаном.

— Ах,— прошептал Корнелиус,— опять, опять... Боже мой, разве я вам не говорил, Роза, что я думал только о вас, что я тосковал только по вам, что вас одной мне не доставало, только вы своим отсутствием лишили меня воздуха, света, тепла и жизни!..

Роза грустно улыбнулась.

— Ах, какой опасности подвергался ваш тюльпан! — сказала она.

Корнелиус помимо своей воли вздрогнул и попал в ловушку, если только она была поставлена.

— Большой опасности? — переспросил он, весь дрожа. — Боже мой, что же случилось?

Роза посмотрела на него с состраданием, она поняла: то, чего она хотела, было выше сил этого человека, и его нужно было принимать таким, каков он есть.

— Да, — сказала она, — вы правильно угадали, — поклонник, влюбленный Якоб, приходил совсем не ради меня.

— Ради кого же он приходил? — спросил Корнелиус с беспокойством.

— Он приходил ради тюльпана.

— О, — произнес Корнелиус, побледнев при этом известии больше, чем две недели тому назад, когда Роза, ошибаясь, сказала ему, что Якоб приходил из-за нее.

Роза заметила охвативший его ужас, и Корнелиус прочел на ее лице как раз те мысли, о которых мы только что говорили.

— О, простите меня, Роза, — сказал он. — Я вас хорошо знаю, я знаю вашу доброту и благородство вашего сердца. Природа одарила вас разумом, рассудком, силой и способностью передвигаться — словом, всем, что нужно для самозащиты, а мой бедный тюльпан, которому угрожает опасность, беспомощен.

Роза ничего не ответила на эти извинения заключенного; она продолжала:

— Раз этот человек, который шел следом за мной в сад и в котором я узнала Якоба, вызвал у вас опасения, то я боялась его еще больше. И я поступила так, как вы сказали. На утро того дня, когда мы с вами виделись в последний раз и когда вы сказали мне...

Корнелиус прервал ее:

— Еще раз простите, Роза, — сказал он. — Я не должен был говорить вам того, что я сказал. Я же просил у вас прощения за эти роковые слова. Я прошу вас еще раз. Неужели вы никогда меня не простите?

— На другое утро этого дня, — продолжала Роза, — вспомнив, что вы мне говорили об уловке, к которой я должна прибегнуть, чтобы проверить, за кем, за мной или за тюльпаном, следил этот гнусный человек...

— Да, гнусный... Не правда ли, Роза, вы ненавидите этого человека?

— О, я его ненавижу, — сказала Роза, потому что из-за него я страдала в течение восьми дней.

— А! Так вы тоже, тоже страдали! Спасибо за эти добрые слова, Роза.

— Итак, на следующее утро после этого злосчастливого дня,— продолжала Роза,— я спустилась в сад и направилась к гряде, на которой я должна была посадить тюльпан. Я оглянулась, чтобы посмотреть, не следуют ли за мной, как и в первый раз.

— И что же? — спросил Корнелиус.

— И что же, та же самая тень проскользнула между калиткой и оградой и опять скрылась за бузиной.

— И вы притворились, что не заметили его, не так ли? — спросил Корнелиус, вспоминая во всех подробностях совет, который он дал Розе.

— Да, и я склонилась над грядой и стала копать ее лопатой, как будто я сажаю луковичку.

— А он, а он... в то время?

— Я заметила сквозь ветви деревьев, что глаза у него горели, словно у тигра.

— Вот видите! Вот видите! — сказал Корнелиус.

— Затем я сделала вид, что закончила какую-то работу, и удалилась.

— Но вы вышли только за калитку сада, не правда ли, чтобы сквозь щели или скважины калитки посмотреть, что он будет делать, увидев, что вы ушли?

— Он выждал некоторое время для того, по всей вероятности, чтобы убедиться, не вернусь ли я, потом, крадучись, вышел из своей засады, пошел к грядке, сделав большой крюк и, наконец, подошел к тому месту, где земля была только что взрыта, то есть к своей цели. Там он остановился с безразличным видом, огляделся по сторонам, посмотрел во все уголки сада, посмотрел на все окна соседних домов, бросил взгляд на землю, небо и, думая, что он совершенно один, что вокруг него никого нет, что его никто не видит, бросился на грядку, вонзил свои руки в мягкую почву, взял оттуда немного земли, осторожно разминая ее руками, чтобы найти там луковичку. Он три раза повторял это и каждый раз все с большим рвением, пока, наконец, понял, что стал жертвой какого-то обмана. Затем он поборол снедающее его возбуждение, взял лопату, заровнял землю, чтобы оставить ее в таком же виде, в каком он ее нашел, и, сконфуженный, посрамленный, направился к выходу, стараясь принять невнимательный вид прогуливающегося человека.

— О, мерзавец! — бормотал Корнелиус, вытирая капли пота, который струями катился по его лбу. — О, мерзавец! Но что вы, Роза, сделали с луковичкой? Увы, теперь уже немного поздно сажать ее.

— Луковичка уже шесть дней в земле.

— Где? Как? — воскликнул Корнелиус. — О, боже, какая неосторожность! Где она посажена? В какой земле? Нет ли риска, что у нас ее украдет этот ужасный Якоб?

— Она вне опасности, разве только Якоб взломает дверь в мою комнату.

— А, она у вас, она в вашей комнате, Роза, — сказал, немного успокоившись, Корнелиус. — Но в какой земле? В каком сосуде? Я надеюсь, что вы ее не держите в воде, как кумушки Гаарлема и Дордрехта, которые упорно думают, что вода может заменить землю, как будто вода, содержащая в себе тридцать три части кислорода и шестьдесят шесть частей водорода, может заменить... но что я вам тут плету, Роза?

— Да, это слишком для меня учено, — ответила улыбаясь молодая девушка. — Поэтому я ограничусь только тем, что скажу вам, чтобы вас успокоить, что ваша луковичка находится не в воде.

— Ах, мне становится легче дышать.

— Она в хорошем глиняном горшке, как раз такого же размера, как кувшин, в котором вы посадили свою. Она в земле, смешанной из трех частей обыкновенной земли, взятой в лучшем месте сада, и одной части земли, взятой на улице. — О, я так часто слышала от вас и от этого гнусного, как вы его называете, Якоба, где нужно сажать тюльпаны, что я теперь знаю это так же хорошо, как первоклассный цветовод города Гаарлема.

— Ну, теперь остается только вопрос о его положении. Как он поставлен, Роза?

— Сейчас он находится весь день на солнце. Но, когда он выступит из земли, когда солнце станет горячее, я сделаю так же, как сделали вы здесь, дорогой господин Корнелиус. Я буду его держать на своем окне, которое выходит на восток, с восьми часов утра и до одиннадцати дня, и на окне, которое выходит на запад, с трех часов дня и до пяти часов.

— Так, так, — воскликнул Корнелиус, — вы прекрасная садовница, моя прелестная Роза! Но я боюсь, что уход за моим тюльпаном отнимет у вас все ваше время.

— Да, это правда,— сказала Роза,— но это не важно, ваш тюльпан — мое детище. Я уделяю ему время так же, как уделяла бы своему ребенку, если бы была матерью. Только, став его матерью,— добавила с улыбкой Роза,— я перестану быть его соперницей.

— Милая, дорогая Роза,— прошептал Корнелиус, устремляя на молодую девушку взгляд, который походил больше на взгляд возлюбленного, чем цветовода, и который немного успокоил Розу.

После короткого молчания, которое длилось, пока Корнелиус старался поймать через отверстие решетки ускользающую от него руку Розы, он продолжал:

— Значит, уже шесть дней, как луковичка в земле?

— Да, господин Корнелиус,— сказала девушка,— уже шесть дней.

— И она еще не проросла?

— Нет, но я думаю, что завтра пробьется росток.

— Завтра вечером вы мне расскажете о нем и о себе, Роза, не правда ли? Я очень беспокоюсь о ребенке, как вы его называете, но еще больше — о его матери.

— Завтра, завтра,— заметила Роза, искоса поглядывая на Корнелиуса,— я не знаю, смогу ли я завтра.

— Боже мой, почему же вы не сможете?

— Господин Корнелиус, у меня тысяча дел.

— В то время, как у меня только одно,— прошептал Корнелиус.

— Да, любить свой тюльпан.

— Вас любить, Роза.

Роза покачала головой.

Снова наступило молчание.

— Впрочем,— продолжал, прерывая молчанье, Корнелиус,— в природе все меняется; на смену весенним цветам приходят другие цветы, и мы видим, как пчелы, которые нежно ласкали фиалку и гвоздику, с такой же любовью садятся на жимолость, розы, жасмин, хризантемы и герань.

— Что это значит? — спросила Роза.

— А это значит, милая барышня, что раньше вам нравилось выслушивать рассказы о моих радостях и печалях; вы лелеяли цветок моей и вашей молодости; но мой увял в тени. Сад радостей и надежд заключенного цветет только в течение одного сезона. Он ведь не похож на прекрасные сады, которые расположены на свежем воздухе и на солнце. Раз майская жатва прошла, добыча собрана, пчелы, подобные вам, Роза,

пчелы с тонкой талией, с золотыми усиками и прозрачными крылышками пробиваются сквозь решетки, улетают от холода, печали, уединения, чтобы в другом месте искать ароматов и теплых испарений. Искать счастья, наконец.

Роза смотрела на Корнелиуса с улыбкой, но он не видел ее, так как его глаза были обращены к небу.

Он со вздохом продолжал:

— Вы покинули меня, мадемуазель Роза, чтобы получить удовольствие всех четырех времен года. Вы хорошо сделали, я не жалею. Какое я имею право требовать от вас верности?

— Моей верности? — воскликнула Роза, зарыдав и не скрывая больше от Корнелиуса слез, которые катились по ее щекам. — Моей верности! Это я-то была вам не верна.

— Да! — воскликнул Корнелиус. — Разве это верность, когда меня покидают, когда меня оставляют умирать в одиночестве?

— Но разве я не делаю, господин Корнелиус, всего, что может доставить вам удовольствие, выращивая ваш тюльпан?

— Какая горечь в ваших словах, Роза! Вы попрекаете меня единственной чистой радостью, доступной мне в этом мире.

— Я ничем не попрекаю вас, разве только тем глубоким горем, которое я пережила в Бюйтенгофе, когда мне сказали, что вы приговорены к смертной казни.

— Вам не нравится, Роза, моя милая Роза, вам не нравится, что я люблю цветы?

— Нет, не то мне не нравится, что вы любите цветы, господин Корнелиус, но мне очень грустно, что вы их любите больше, чем меня.

— Ах, милая, дорогая, любимая, — воскликнул Корнелиус, — посмотрите, как дрожат мои руки, посмотрите, как бледно мое лицо, послушайте мое сердце, как оно бьется! Да, и все это не потому, что мой тюльпан улыбается и зовет меня. Нет, это потому, что вы улыбаетесь мне, потому что вы склонили ко мне свою голову, потому, что мне кажется, — я не знаю, насколько это верно, — мне кажется, что ваши руки, все время прячась, все же тянутся к моим рукам, что я чувствую за

холодом решетки жар ваших прекрасных щек. Роза, любовь моя, раздавите луковичку черного тюльпана, разрушите надежду на этот цветок, угасите мягкий свет этой девственной, очаровательной мечты, которой я предавался каждый день,— пусть! Не нужно больше цветов в богатых нарядах, полных благородного изящества и божественных причуд! Отнимите у меня все это, вы, цветок, ревнующий к другим цветам, лишите меня всего этого, но не лишайте меня вашего голоса, ваших движений, звука ваших шагов по глухой лестнице, не лишайте меня огня ваших глаз в темном коридоре, уверенности в вашей любви, которая беспрестанно согревает мое сердце. Любите меня, Роза, так как я чувствую, что люблю только вас!

— После черного тюльпана,— вздохнула молодая девушка, теплые, ласковые руки которой прикоснулись, наконец, сквозь решетку к губам Корнелиуса.

— Раньше всего, Роза...

— Должна ли я вам верить?

— Так же, как вы верите в бога.

— Хорошо. Ведь ваша любовь не обязывает вас ко многому?

— Увы, к очень немногому, Роза, но вас это обязывает.

— Меня?— спросила Роза.— К чему же это меня обязывает?

— Прежде всего, вы не должны выходить замуж. Она улыбнулась.

— Ах, вот вы какие,— сказала она,— вы — тираны. У вас есть обожаемая красавица, вы думаете, вы мечтаете только о ней; вы приговорены к смерти, и, идя на эшафот, вы ей посвящаете свой последний вздох, и в то же время вы требуете от меня, бедной девушки, чтобы я вам пожертвовала своими мечтами, своими надеждами.

— Но о какой красавице, Роза, вы говорите?— сказал Корнелиус, пытаясь, но безуспешно, найти в своей памяти женщину, на которую Роза могла намекать.

— О прекрасной брюнетке, сударь, о прекрасной брюнетке, с гибким станом и стройными ногами, с горделивой головкой. Я говорю о вашем черном тюльпане.

Корнелиус улыбнулся.

— Прелестная фантазерка, моя милая Роза, не вы ли, не считая вашего влюбленного или моего влюбленного Якоба, не вы ли окружены поклонниками, которые ухаживают за вами? Вы помните, Роза, что вы мне рассказывали о студентах, офицерах и торговцах Гааги? А разве в Левештейне нет ни студентов, ни офицеров, ни торговцев?

— О, конечно, есть, даже много,— ответила Роза.

— И они вам пишут?

— Пишут.

— И теперь, раз вы умеете читать...

И Корнелиус вздохнул, подумав, что это ему, несчастному заключенному, Роза обязана тем, что может прочитывать теперь любовные записки, которые получает.

— Ну, так что же,— сказала Роза,— мне кажется, господин Корнелиус, что, изучая своих поклонников по их запискам, я только следую вашим же наставлениям.

— Как моим наставлениям?

— Да, вашим наставлениям. Вы забыли,— сказала Роза, вздыхая в свою очередь,— вы забыли завещание, написанное вами в библии Корнеля де Витта. Я его не забыла, так как теперь, когда я научилась читать, я перечитываю его ежедневно, даже два раза в день. Ну, так вот, в нем вы и завещаете мне полюбить и выйти замуж за молодого человека, двадцати шести — двадцати восьми лет. Я ищу этого молодого человека и, так как весь день мне приходится тратить на уход за вашим тюльпаном, то должны же вы предоставить мне для поисков вечер.

— О, Роза, завещание было написано в ожидании смерти, но, милостью судьбы, я остался жив.

— Ну, хорошо, тогда я перестану искать этого прекрасного молодого человека, двадцати шести — двадцати восьми лет, и буду приходить к вам.

— Приходите, приходите, Роза.

— Да, но при одном условии.

— Оно принимается заранее.

— Если в продолжение первых трех дней не будет разговоров о черном тюльпане.

— Мы о нем больше никогда не будем говорить, Роза, если вы этого потребуете.

— О, нет,— сказала молодая девушка,— не нужно требовать невозможного.

И, как бы нечаянно, она приблизила свою бархатную щечку так близко к решетке, что Корнелиус мог дотронуться до нее губами.

Роза в порыве любви тихо вскрикнула и исчезла.

XXI

Вторая луковичка

Ночь была прекрасная, а следующий день еще лучше.

В предыдущие дни тюрьма казалась мрачной, тяжелой, гнетущей. Она всей своей тяжестью давила заключенного. Стены ее были черные, воздух холодный, решетка была такая частая, что еле-еле пропускала свет.

Но, когда Корнелиус проснулся, на железных брусках решетки играл утренний луч солнца, одни голуби рассекали воздух своими распростертыми крыльями, другие влюбленно ворковали на крыше у еще закрытого окна.

Корнелиус подбежал к окну, распахнул его, и ему показалось, что жизнь, радость, чуть ли не свобода вошли в его мрачную камеру вместе с этим лучом солнца.

Это расцветала любовь, заставляя цвести все кругом; любовь — небесный цветок, еще более сияющий, более ароматный, чем все земные цветы.

Когда Грифус вошел в комнату заключенного, то вместо того чтобы найти его, как в прошлые дни, угрюмо лежащим в постели, он застал его уже на ногах и напевающим какую-то оперную арию.

Грифус посмотрел на него исподлобья.

— Ну, что, — заметил Корнелиус, — как мы поживаем?

Грифус косо посмотрел на него.

— Ну, как поживают собака, господин Якоб и красавица Роза?

Грифус заскрежетал зубами.

— Вот ваш завтрак, — сказал он.

— Спасибо, друг Цербер, — сказал заключенный. — Он прибыл как раз вовремя, — я очень голоден.

— А, вы голодны?

— А почему бы и нет? — спросил ван Берле.

— Заговор как будто подвигается, — сказал Грифус.

— Какой заговор?— спросил Корнелиус.

— Ладно, мы знаем, в чем дело. Но мы будем следить, господин ученый, мы будем следить, будьте спокойны.

— Следите, дружище Грифус, следите,— сказал ван Берле,— мой заговор так же, как и моя персона, всецело к вашим услугам.

— Ничего, в полдень мы это выясним.

Грифус ушел.

— «В полдень»,— повторил Корнелиус,— что он этим хотел сказать? Ну что же, подождем полудня; в полдень увидим.

Корнелиусу не трудно было дожидаться полудня,— ведь он ждал девяти часов вечера. Пробило двенадцать часов дня, и на лестнице послышались не только шаги Грифуса, но также и шаги трех-четырех солдат, поднимавшихся с ним. Дверь раскрылась, вошел Грифус, пропустил людей в камеру и запер за ними дверь.

— Вот теперь начинайте обыск.

Они искали в карманах Корнелиуса, искали между камзолом и жилетом, между жилетом и рубашкой, между рубашкой и его телом,— ничего не нашли.

Искали в простынях, искали в тюфяке,— ничего не нашли.

Корнелиус был очень рад, что не согласился в свое время оставить у себя третью луковичку. Как бы она ни была хорошо спрятана, Грифус при этом обыске, без сомнения, нашел бы ее и поступил бы с ней так же, как и с первой. Впрочем, никогда еще ни один заключенный не присутствовал с более спокойным видом при обыске своего помещения.

Грифус ушел с карандашом и тремя или четыремя листками бумаги, которые Роза дала Корнелиусу. Это были его единственные трофеи.

В шесть часов Грифус вернулся, но уже один. Корнелиус хотел смягчить его, но Грифус заворчал, оскалив клык, который торчал у него в углу рта, и, пятясь, словно боясь, что на него нападут, вышел.

Корнелиус рассмеялся.

Грифус крикнул ему сквозь решетку:

— Ладно, ладно, смеется тот, кто смеется последним.

Последним должен был смеяться, по крайней мере сегодня вечером, Корнелиус, так как ждал Розу.

В девять часов пришла Роза, но Роза пришла на этот раз без фонаря. Розе больше не нужен был фонарь: она уже умела читать.

К тому же фонарь мог выдать Розу, за которой Якоб шпионил больше, чем когда-либо. Кроме того, свет выдавал на лице Розы краску, когда она краснела.

О чем говорили молодые люди в этот вечер? О вещах, о которых говорят во Франции на пороге дома, в Испании — с двух соседних балконов, на востоке — с крыши дома. Они говорили о вещах, которые окрыляют бег часов, которые сокращают полет времени. Они говорили обо всем, за исключением черного тюльпана. В десять часов, как обычно, они расстались.

Корнелиус был счастлив, так счастлив, как только может быть счастлив цветовод, которому ничего не сказали о его тюльпане. Он находил Розу прекрасной, он находил ее милой, стройной, очаровательной. Но почему Роза запрещала ему говорить о черном тюльпане?

Это был большой недостаток Розы.

И Корнелиус сказал себе, вздыхая, что женщина — существо несовершенное.

Часть ночи он размышлял об этом несовершенстве. Это значит, что все время, пока он бодрствовал, он думал о Розе.

А когда он уснул, он грезил о ней.

Но в его грезах Роза была куда совершеннее, чем Роза наяву; эта Роза не только говорила о тюльпане, но она даже принесла Корнелиусу чудесный черный тюльпан, распутившийся в китайской вазе.

Корнелиус проснулся, весь трепеща от радости и бормоча:

— Роза, Роза, люблю тебя.

И так как было уже светло, он считал лишним засыпать. И весь день он не расставался с мыслями, с которыми проснулся.

Ах, если бы только Роза разговаривала о тюльпане, Корнелиус предпочел бы Розу и Семирамиде, и Клеопатре, и королеве Елизавете, и королеве Анне Австрийской, то есть самым великим и самым прекрасным королевам мира. Но Роза запретила говорить о тюльпане под угрозой прекратить свои посещения. Роза

запретила упоминать о тюльпане раньше чем через три дня.

Правда, это были семьдесят два часа, подаренные возлюбленному, но это были в то же время и семьдесят два часа, отнятые у цветовода. Но из этих семидесяти двух часов — тридцать шесть уже прошли. Остальные тридцать шесть часов так же быстро пройдут, — восемнадцать — на ожидание, восемнадцать — на воспоминания.

Роза пришла в то же самое время. Корнелиус и в этот раз героически вынес положенное ею испытание.

Впрочем, прекрасная посетительница отлично понимала, что, выставляя известные требования, надо, в свою очередь, идти на уступки. Роза позволяла Корнелиусу касаться ее пальцев сквозь решетку окошечка. Роза позволяла ему целовать сквозь решетку ее волосы. Бедный ребенок, все эти ласки были для нее куда опасней разговора о черном тюльпане!

Она поняла это, придя к себе с бьющимся сердцем, пылающим лицом, сухими губами и влажными глазами.

На другой день, после первых же приветствий, после первых же ласк, она посмотрела сквозь решетку на Корнелиуса таким взглядом, который хотя и не был виден впотьмах, но который можно было почувствовать.

— Знаете, — сказала она, — он пророс.

— Пророс? кто? что? — спросил Корнелиус, не осмеливаясь поверить, что она по собственной воле уменьшила срок испытания.

— Тюльпан, — сказала Роза.

— Как так? Вы, значит, разрешаете?

— Да, разрешаю, — сказала Роза тоном матери, которая разрешает какую-нибудь забаву своему ребенку.

— Ах, Роза! — воскликнул Корнелиус, вытягивая к решетке свои губы, в надежде прикоснуться к щеке, к руке, ко лбу, к чему-нибудь.

И он коснулся полуоткрытых губ.

Роза тихо вскрикнула.

Корнелиус понял, что нужно торопиться, что этот неожиданный поцелуй взволновал Розу.

— А как он пророс? Ровно?

— Ровно, как фрисландское веретено, — сказала Роза.

— И он уже высокий?

— В нем, по крайней мере, два дюйма высоты.

— О Роза, ухаживайте за ним хорошенько, и вы увидите, как он быстро станет расти.

— Могу ли я еще больше ухаживать за ним? — сказала Роза. — Я ведь только о нем и думаю.

— Только о нем? Берегитесь, Роза, — теперь я стану ревновать.

— Ну, вы же хорошо знаете, что думать о нем — это все равно, что думать о вас. Я его никогда не теряю из виду. Мне его видно с постели. Это — первое, что я вижу, просыпаясь. Это — последнее, что скрывается от моего взгляда, когда я засыпаю. Днем я сажусь около него и работаю, так как с тех пор, как он в моей комнате, я ее не покидаю.

— Вы хорошо делаете, Роза. Ведь вы знаете, — это ваше приданое.

— Да, и благодаря ему я смогу выйти замуж за молодого человека двадцати шести — двадцати восьми лет, которого я люблю.

— Замолчите, злючка вы такая!

И Корнелиусу удалось поймать пальцы молодой девушки, что если и не изменило темы разговора, то, во всяком случае, прервало его.

В этот вечер Корнелиус был самым счастливым человеком в мире. Роза позволяла ему держать свою руку столько, сколько ему хотелось, и он мог в то же время говорить о тюльпане.

Последующий каждый день вносил что-нибудь новое и в рост тюльпана и в любовь двух молодых людей. То это были листья, которые стали разворачиваться, то это был сам цветок, который начал формироваться.

При этом известии Корнелиус испытал огромную радость, он стал забрасывать девушку вопросами с быстротой, доказывавшей всю их важность.

— Он начал формироваться! — воскликнул Корнелиус, — начал формироваться!

— Да, он формируется, — повторяла Роза.

От радости у Корнелиуса закружилась голова, и он вынужден был схватиться за решетку окошечка:

— О, боже мой!

Потом он снова начал расспрашивать.

— А овал у него правильный? Цилиндр бутона без вмятины? Кончики лепестков зеленые?

— Овал величиной с большой палец и вытягивается нглой, цилиндр по бокам расширяется, кончики лепестков вот-вот раскроются.

В эту ночь Корнелиус спал мало. Наступал решительный момент, когда должны были приоткрыться кончики лепестков.

Через два дня Роза объявила, что они приоткрылись.

— Приоткрылись, Роза, приоткрылись! — воскликнул Корнелиус. — Значит, можно, значит, уже можно различить...

И заключенный, задыхаясь, остановился.

— Да, — ответила Роза, — да, можно различить полоску другого цвета, тонкую как волосок.

— А какого цвета? — спросил, дрожа, Корнелиус.

— О, очень темного, — ответила Роза.

— Коричневого?

— О нет, темнее.

— Темнее, дорогая Роза, темнее! Спасибо! Он темный, как черное дерево, темный, как...

— Темный, как чернила, которыми я вам писала.

Корнелиус испустил крик безумной радости.

— О, — сказал он, — нет ангела, равного вам, Роза.

— Правда? — ответила Роза улыбкой на этот восторг.

— Роза, вы так много трудились, так много сделали для меня; Роза, мой тюльпан расцветет, мой тюльпан будет черного цвета; Роза, Роза — вы одно из самых совершенных творений природы!

— После тюльпана, конечно?

— Ах замолчите, негодная, замолчите из сострадания, не портите мне моей радости! Но скажите, Роза, если тюльпан находится в таком состоянии, то он начнет цвести дня через два, самое позднее через три?

— Да, завтра или послезавтра.

— О, я его не увижу! — воскликнул Корнелиус, отклонившись назад, — и я не поцелую его, как чудо природы, которому нужно поклоняться, как я целую ваши руки, Роза, как я целую ваши волосы, как я целую ваши щечки, когда они случайно оказываются близко от кошечка.

Роза приблизила свою щеку к решетке, но не случайно, а намеренно; губы молодого человека жадно прильнули к ней.

— Ну, что же, если хотите, я срежу цветок, — сказала Роза.

— О, нет, нет, как только он расцветет, Роза, поставьте его совсем в тени и в тот же момент, в тот же

момент пошлите в Гаарлем и сообщите председателю общества цветоводства, что большой черный тюльпан расцвел. Гаарлем далеко, я знаю, но за деньги вы найдете курьера. У вас есть деньги, Роза?

Роза улыбнулась.

— О, да,— сказала она.

— Достаточно? — спросил Корнелиус.

— У меня триста флоринов.

— О, если у вас триста флоринов, Роза, то вы не должны посылать курьера, вы должны сами ехать в Гаарлем.

— Но в это время цветов...

— О, цветок, вы его возьмете с собой; вы понимаете, что вам с ним нельзя расставаться ни на минуту.

— Но, не расставаясь с ним, я расстаюсь с вами,— господин Корнелиус,— сказала Роза грустно.

— Ах, это верно, моя милая, дорогая Роза! Боже, как злы люди! Что я им сделал, за что они лишили меня свободы? Вы правы, Роза, я не смогу жить без вас. Ну, что же, вы пошлете кого-нибудь в Гаарлем, вот и все; а, кроме того, это чудо достаточно велико для того, чтобы председатель мог побеспокоиться и лично приехать в Левештейн за тюльпаном.

Затем он вдруг остановился и сказал дрожащим голосом:

— Роза, Роза, а если тюльпан не будет черным?

— Ну что же, об этом вы узнаете завтра или послезавтра вечером.

— Ждать до вечера, чтобы это узнать, Роза! Я умру от нетерпения. Не можем ли мы установить какой-нибудь условный знак?

— Я сделаю лучше.

— Что вы сделаете?

— Если он распухнет ночью, я приду; я приду сама сказать вам об этом. Если он распухнет днем, я пройду мимо вашей двери и просуну записку или под дверь, или через окошечко, между первым и вторым обходом моего отца.

— Так, так, Роза, одно слово от вас с весточкой об этом будет для меня двойным счастьем.

— Вот уже десять часов, я должна покинуть вас.

— Да, да, идите, Роза, идите.

Роза ушла почти печальная. Корнелиус почти прогнал ее. Правда, он сделал это для того, чтобы она наблюдала за черным тюльпаном.

XXII

Цветок расцвел

Корнелиус провел очень приятную, но в тоже время очень тревожную ночь. Каждую минуту ему казалось, что его зовет нежный голос Розы. Он внезапно просыпался, подбегал к двери, прислонял свое лицо к окошечку, но у окошечка никого не было, коридор был пуст.

Роза тоже бодрствовала, но она была счастливее его: она следила за тюльпаном.

Перед ней, перед ее глазами стоял благородный цветок, чудо из чудес, не только до сих пор невиданное, но и считавшееся недостижимым.

Что скажет свет, когда узнает, что черный тюльпан расцвел, что он существует и что вырастил его ван Берле, заключенный?

Как решительно прогнал бы Корнелиус человека, который пришел бы предложить ему свободу в обмен на тюльпан!

Следующий день не принес с собой никаких новостей. Тюльпан еще не распустился.

День прошел, как и ночь.

Пришла ночь, и с ней явилась Роза, радостная и легкая, подобная птице.

— Ну, как? — спросил Корнелиус.

— Ну, что же, все идет прекрасно. Этой ночью, несомненно, ваш тюльпан расцветет.

— И будет черного цвета?

— Черного, как смоль.

— Без единого пятнышка другого цвета?

— Без единого пятнышка.

— О, радость! Роза, я провел ночь, мечтая сначала о вас...

Роза сделала движение, которое выражало недоверие.

— Затем о том, как мы должны поступить.

— Ну, и как?

— Как? А вот что я решил. Как только тюльпан расцветет, как только мы установим, что он черный, вам нужно будет сейчас же найти курьера.

— Если дело только в этом, то у меня уже есть курьер наготове.

— Курьер, которому можно довериться?

— Курьер, за которого я отвечаю. Один из моих поклонников.

— Это, надеюсь, не Якоб?

— Нет, успокойтесь, это лодочник из Левештейна, бойкий малый, лет двадцати пяти — двадцати шести!

— О, дьявол!

— Будьте покойны, — сказала, смеясь, Роза, — он еще не достиг того возраста, который вы назначили, — от двадцати шести до двадцати восьми лет.

— Словом, вы считаете, что на этого молодого человека можно положиться?

— Как на меня самое. Он бросится со своей лодки в Вааль или Маас, куда мне будет угодно, если я ему это прикажу.

— Ну, хорошо, Роза, через десять часов этот парень сможет быть в Гаарлеме. Вы мне дадите бумагу и карандаш или, лучше, чернила и перо, и я напишу или, лучше всего, напишите вы сами; ведь я — несчастный заключенный; в этом еще усмотрят, по примеру вашего отца, какой-нибудь заговор. Вы напишете председателю общества цветоводов, и я уверен, что председатель придет.

— Ну, а если он будет медлить?

— Предположите, что он промедлит день, даже два дня. Но это невозможно: любитель тюльпанов не промедлит ни одного часа, ни одной минуты, ни одной секунды, он сразу же пустится в путь, чтобы увидеть восьмое чудо света. Но, как я сказал, пусть он промедлит день, два дня, все же тюльпан будет еще во всем своем великолепии. Когда председатель увидит тюльпан, когда он составит протокол, все будет кончено, и вы сохраните у себя копию протокола, а ему отдадите тюльпан. Ах, Роза, если бы мы могли снести его лично, то из моих рук он перешел бы только в ваши руки! Но это мечты, которым не нужно предаваться, — продолжал, вздыхая, Корнелиус, — другие глаза увидят, как он будет отцветать. А главное, Роза, пока его не увидит председатель, не показывайте его никому. Черный тюльпан! Боже мой, если бы кто-нибудь увидел черный тюльпан, он украл бы его.

— О!

— Не говорили ли вы мне сами, что вы опасаетесь этого со стороны вашего поклонника Якоба? Ведь

крадут и один флорин, почему же не украсть сто тысяч флоринов?

— Я буду оберегать его, будьте спокойны.

— А что если он распустился, пока вы здесь?

— Капризный цветок способен на это,— сказала Роза.

— Если вы, придя к себе, найдете его распустившимся?

— То что же?

— Ах, Роза, если вы его найдете распустившимся, то не забывайте, что нельзя терять ни минуты, нужно сейчас же предупредить председателя.

— И предупредить вас. Да, я понимаю.

Роза вздохнула, но без горечи, как женщина, начинающая понимать слабость человека или привыкать к ней.

— Я возвращаюсь к тюльпану, господин ван Берле; как только он расцветет, вы будете предупреждены; как только я предупрежу вас, курьер уедет.

— Роза, Роза, я не знаю больше, с каким земным или небесным сокровищем сравнить вас!

— Сравнивайте меня с черным тюльпаном, господин Корнелиус, и я буду очень польщена, клянусь вам. Итак, простимся, господин Корнелиус.

— Нет, скажите: до свидания, мой друг.

— До свидания, мой друг,— сказала Роза, немного утешенная.

— Скажите: мой любимый друг.

— Мой друг....

— Любимый, Роза, я вас умоляю, любимый, любимый, не правда ли?

— Любимый, да, любимый,— повторяла Роза, трепеща от безумного счастья.

— Ну, Роза, раз вы сказали «любимый», скажите также и «очень счастливый», скажите «счастливый», потому что человек еще никогда не был так счастлив на земле, как я. Мне не хватает, Роза, только одного.

— Чего?

— Вашей щечки, вашей свежей щечки, вашей розовой щечки, вашей бархатной щечки. О, Роза, по вашему доброму желанию, не невзначай, не случайно, Роза!

Заключенный вздохом закончил свою просьбу. Он встретил губы молодой девушки, но не случайно, не невзначай. Роза убежала.



Корнелиус задыхался от радости и счастья. Он открыл окно и с переполненным радостью сердцем созерцал безоблачное небо, луну, серебрившую обе сливающиеся реки, которые протекали за холмами.

Он наполнил свои легкие свежим, чистым воздухом, разум — приятными мыслями и душу — благодарным и восторженным чувством.

Бедный больной, выздоровел, бедный заключенный чувствовал себя свободным.

Часть ночи Корнелиус оставался, насторожившись, у решетки своего окна, сконцентрировав все свои пять чувств в одно или, вернее, в два, — в слух и в зрение.

Он созерцал небо, он слушал землю.

Затем, обращая время от времени свои взоры в сторону коридора, он говорил:

— Там Роза, Роза, которая так же, как и я, бодрствует, как и я, ждет с минуты на минуту. Там, перед взором Розы таинственный цветок — живет, приоткрывается, распускается. Быть может, сейчас Роза держит своими теплыми, нежными пальцами стебель тюльпана. Роза, осторожно держи этот стебель. Быть может, она прижимается своими устами к приоткрытой чашечке цветка. Прикасайся к ней осторожно, Роза; Роза, твои уста пылают.

В этот миг на юге загорелась звезда, пересекла все пространство от горизонта до крепости и упала на Левештейн.

Корнелиус вздрогнул.

— Ах,— сказал он,— небо посылает душу моему цветку.

Он словно угадал; почти в тот же самый момент заключенный услышал в коридоре легкие шаги, как шаги сильфиды, шорох платья, похожий на взмахи крыльев, и хорошо знакомый голос, который говорил:

— Корнелиус, мой друг, мой любимый друг, мой счастливый друг, скорее, скорее!

Корнелиус одним прыжком очутился у окошечка. На этот раз его уста опять встретились с устами Розы, которая, целуя, шептала ему:

— Он распустился! Он черный! Он здесь!

— Как здесь? — воскликнул Корнелиус, отнимая свои губы от губ девушки.

— Да, да, большая радость стоит того, чтобы ради нее пойти на небольшой риск. Вот он, смотрите.

И одной рукой она подняла на уровень окошечка зажженный потайной фонарь, другой — подняла на тот же уровень чудесный тюльпан.

Корнелиус вскрикнул, ему показалось, что он теряет сознание.

— О, боже, о, боже! — шептал он, — эти два цветка, расцветшие у окошечка моей камеры, — награда за мою невинность и мое заключение.

— Поцелуйте его, — сказала Роза, — я тоже только что поцеловала его.

Корнелиус притаил дыхание и осторожно губами дотронулся до цветка; и никогда поцелуй женщины, даже Розы, не проникал так глубоко в его душу.

Тюльпан был прекрасен, чудесен, великолепен; стебель его был восемнадцать дюймов вышины. Он стройно вытягивался кверху между четырьмя зелеными гладкими, ровными, как стрела, листками. Цветок его был сплошь черным и блестел, как янтарь.

— Роза, — сказал, задыхаясь, Корнелиус, — нельзя терять ни одной минуты, надо писать письмо.

— Оно уже написано, мой любимый Корнелиус, — сказала Роза.

— Правда?

— Пока тюльпан распускался, я писала, так как я не хотела упустить ни одной минуты. Просмотрите письмо и скажите, так ли оно написано.

Корнелиус взял письмо, написанное почерком, который значительно улучшился после первой записки, полученной им от Розы, и прочел:

«Господин Председатель, черный тюльпан распустится, может быть, через десять минут. Сейчас же, как только он расцветет, я пошлю к вам нарочного, чтобы просить вас приехать за ним лично в крепость Левештейн. Я — дочь тюремщика Грифуса, почти такая же заключенная, как узники моего отца. Поэтому я не смогу сама привезти вам это чудо природы. Вот почему я и осмеливаюсь умолять вас приехать за ним лично.

Мое желание, чтобы его назвали rosa barlaensis.

Он распустился. Он совершенно черный... Приезжайте, господин Председатель, приезжайте...

Имею честь быть вашей покорной слугой

Роза Грифус».

— Так, так, дорогая Роза, это чудесное письмо. Я не мог бы написать его с такой простотой. На съезде вы дадите все сведения, которые у вас потребуют. Тогда узнают, как был выращен тюльпан, сколько бессонных ночей, опасений, хлопот он причинил. Ну, а теперь, Роза, не теряйте ни секунды. Курьер, курьер!

— Как имя председателя?

— Давайте, я напишу адрес. О, он очень известный человек! Это господин ван Систенс, бургомистр Гаарлема. Дайте, Роза, дайте! — и Корнелиус написал на письме дрожавшей рукой:

«Мингеру Петерсу ван Систенс, бургомистру и председателю Общества цветоводов города Гаарлема».

— А теперь, Роза, ступайте, ступайте, — сказал Корнелиус, — и отдадимся воле судьбы, которая до сих пор покровительствовала нам.

XXIII

Завистник

Действительно, эти бедные молодые люди очень нуждались в покровительстве судьбы. Никогда еще им не грозила такая опасность, как в этот самый момент, когда они были так уверены в своем счастье.

Мы не сомневаемся в сообразительности наших читателей настолько, чтобы сомневаться в том, что они узнали в лице Якоба нашего старого друга или, вернее, недруга — Исаака Бокстеля.

Читатель, конечно, догадывается, что Бокстель последовал из Бюйтенгофа в Левештейн за предметом своей страсти и предметом своей ненависти: за черным тюльпаном и за ван Берле.

То, чего никто, кроме любителя тюльпанов и притом завистливого любителя, никогда не мог бы открыть, то есть существования луковичек и замыслов заключенного, — было обнаружено или, во всяком случае, предположено Бокстелем.

Мы видели, что под именем Якоба ему больше, чем под именем Исаака, посчастливилось сдружиться с Грифусом. Пользуясь его гостеприимством, в продолжение уже нескольких месяцев он спаивал старого тюремщика самой лучшей водкой, какую только можно было найти на всем протяжении от Текстеля до

Антверпена. Он усыпил его подозрения, ибо мы видели, что старый Грифус был недоверчив; он усыпил, говорим мы, его подозрения, убедив, что намерен жениться на Розе.

Он льстил так же его самолюбию тюремщика, как его отцовской гордости. Он льстил самолюбию тюремщика, обрисовывая ему в самых мрачных красках ученого узника, которого Грифус держал под замком и который, по словам лицемерного Якоба, вошел в сношения с дьяволом, чтобы вредить его высочеству принцу Оранскому.

Вначале он имел также успех и у Розы и не потому, чтобы он внушил ей симпатию к себе, — Розе всегда очень мало нравился Якоб, — но он ей так много говорил о своей пылкой страсти к ней и о желании жениться на ней, что вначале не возбудил в ней никаких подозрений.

Мы видели, как, неосторожно выслеживая Розу в саду, он себя выдал и как инстинктивные опасения Кориелиуса заставили обоих молодых людей быть настороже.

Но заключенного особенно встревожило — наш читатель, наверно, это помнит — то безмерное возмущение, которое охватило Якоба, когда он узнал, что Грифус растоптал луковичку.

В тот момент это возмущение было тем более велико, что Бокстель хотя и подозревал, что у Корнелиуса должна быть вторая луковичка, но все же не был уверен в этом.

Тогда он стал подсматривать за Розой и следить за ней не только в саду, но и в коридоре. Но так как там он следовал за ней впотьмах и босиком, то его никто не замечал и не слышал, за исключением того раза, когда Розе показалось, что она видела нечто вроде тени на лестнице.

Но все равно уже было поздно: Бокстель узнал из уст самого заключенного о существовании второй луковички.

Одураченный хитростью Розы, которая притворилась, что сажает луковичку в гряду, и не сомневаясь в том, что вся эта маленькая комедия была сыграна с целью заставить его выдать себя, он удвоил предосторожности и пустил в ход все уловки своего ума, чтобы выслеживать других, оставаясь не замеченным ими. Он видел, как Роза пронесла из кухни отца в свою комнату большую фаянсовую вазу.

Он видел, как Роза усиленно мыла в воде свои белые руки, запачканные землей, которую она месила, приготавливая возможно лучшую почву для тюльпана.

Наконец он нанял на каком-то чердаке, как раз против окна Розы, небольшую комнатку. Там он был достаточно далек для того, чтобы его можно было обнаружить невооруженным глазом, и достаточно близко, чтобы, вооружившись подзорной трубой, следить за всем, что творилось в Левештейне, в комнате Розы, как он следил в Дордрехте за всем тем, что делалось в лаборатории Корнелиуса.

Не прошло и трех дней с момента его переселения, как у него уже не оставалось никаких сомнений.

С самого утра, с восходом солнца, фаянсовый горшок стоял на окне, и Роза, подобно очаровательным женщинам Мириса и Метсю, также появлялась в окне, обрамленная первыми зеленеющими ветвями дикого винограда и жимолости.

По взгляду, каким Роза смотрела на фаянсовый горшок, Бокстель мог ясно определить, какая в нем находится драгоценность. В фаянсовый горшок была посажена вторая луковичка, то есть последняя надежда заключенного.

Если ночи обещали быть очень холодными, Роза снимала с окна фаянсовый горшок. Она поступала так по указаниям Корнелиуса, который опасался, как бы луковичка не замерзла.

Когда солнце становилось слишком жарким, Роза с одиннадцати до двух часов пополудни снимала фаянсовый горшок с окна. Это опять-таки делалось по указаниям Корнелиуса, который опасался, чтобы земля не слишком пересохла.

Когда же стебель цветка показался из земли, то Бокстель окончательно убедился: он не достиг еще и дюйма вышины, как, благодаря подзорной трубе, для завистника не оставалось никаких сомнений.

У Корнелиуса было две луковички, и вторую он доверил любви и заботам Розы.

Ведь любовь двух молодых людей, безусловно, не осталась тайной для Бокстеля.

Итак, надо было найти способ похитить эту луковичку у любви Корнелиуса и забот Розы.

Только это была нелегкая задача.

Роза оберегала свой тюльпан, подобно матери, оберегающей своего ребенка; нет, еще заботливее, подобно голубке, выводящей птенцов. Роза целыми днями не покидала своей комнаты, и, что еще удивительней, Роза не покидала своей комнаты и вечерами.

В продолжение семи дней Бокстель напрасно шпионил за комнатой Розы; Роза не покидала ее.

Это были те семь дней ссоры, которые сделали Корнелиуса таким несчастным, лишив его всяких известий одновременно и о Розе и о тюльпане. Но будет ли Роза вечно в ссоре с Корнелиусом? Похитить тюльпан стало бы тогда еще трудней, чем это сначала предполагал Исаак.

Мы говорим похитить, так как Исаак просто-напросто решил украсть тюльпан. И так как его выращивание было окружено большой тайной, так как молодые люди тщательно скрывали от всех его существование, то, конечно, его, Бокстея, известного цветовода, скорее сочтут хозяином тюльпана, чем какую-то молодую девушку, которой чужды всякие тонкости цветоводства, или заключенного, осужденного за государственную измену, которого держат под тщательным надзором и которому было бы трудно из своего заключения отстаивать свои права. К тому же, раз он будет фактическим владельцем тюльпана (а когда дело касается предметов домашнего обихода и вообще движимого имущества, фактическое обладание является доказательством собственности), то премию, конечно, получит он, и вместо Корнелиуса увенчан будет, конечно, он, и тюльпан вместо того, чтобы быть названным *Tulipa nigra Barlaensis* будет назван *Tulipa nigra Boxtellensis* или *Boxtellea*.

Мингер Исаак еще не решил, какое из этих двух названий он даст черному тюльпану, но так как оба они обозначали одно и то же, то этот вопрос был не так уж важен.

Главное заключалось в том, чтобы украсть тюльпан.

Но для того, чтобы Бокстель мог украсть тюльпан, нужно было, чтобы Роза выходила из своей комнаты. Поэтому Исаак, или Якоб, как вам будет угодно, с истинной радостью убедился, что вечерние свидания возобновились.

Первые дни отсутствия Розы он использовал для обследования двери ее комнаты.

Дверь запиралась очень крепко на два поворота, простым замком, но ключ от него был только у Розы.

Вначале у Бокстеля возникла мысль украсть ключ у Розы, но, помимо того, что не так-то легко залезть в карман молодой девушки, даже при благоприятном для Бокстеля исходе, Роза, обнаружив потерю ключа, сразу же заказала бы другой замок и не выходила бы из комнаты, пока старый не был бы заменен новым. Таким образом, преступление Бокстеля оказалось бы бесплодным.

Лучше было испробовать другой способ.

Он собрал все ключи, какие только мог найти, и в то время, как Роза и Корнелиус проводили свои счастливые часы у окошечка, он перепробовал их все.

Два из них вошли в замок, один из двух сделал один поворот, но остановился на втором повороте.

Значит, приспособить этот ключ ничего не стоило.

Бокстель покрыл его тонким слоем воска и вновь вставил в замок. Препятствие, встреченное ключом при втором повороте, оставило след на воске.

Бокстелю оставалось только провести по следам воска тонким, как лезвие ножа, напильником. Еще два дня работы, и ключ Бокстеля легко вошел в замок.

Дверь Розы без всяких усилий бесшумно открылась, и Бокстель очутился в комнате Розы, один, лицом к лицу с тюльпаном.

Первое преступление Бокстеля было совершено тогда, когда он перелез через забор, чтобы вырыть тюльпан, второе — когда он проник в сушильню Корнелиуса, и третье, когда он с поддельным ключом проник в комнату Розы. Мы видим, как зависть толкала Бокстеля по пути преступления.

Итак, Бокстель очутился лицом к лицу с тюльпаном. Обычный вор схватил бы горшок под мышку и унес бы его. Но Бокстель не был обычным вором; он раздумывал. Разглядывая при помощи потайного фонаря тюльпан, он раздумывал о том, что тюльпан еще недостаточно распустился, чтобы можно было быть уверенным, что он будет черного цвета, хотя все данные говорили за это.

Он раздумывал о том, что если тюльпан будет не черным или если на нем будет какое-нибудь пятнышко, то его кража окажется бесполезной.

Он раздумывал о том, что слух о краже распространится, что после случившегося в саду в краже, безусловно, заподозрят его, станут искать и, как бы хорошо он ни прятал тюльпан, его все же смогут найти.

Он думал о том, что если бы ему и удалось спрятать тюльпан так, чтобы его никто не отыскал, то все перемещения, которым подвергся бы цветок, могли повредить последнему.

Он думал о том, наконец, что лучше всего, — раз у него есть ключ от комнаты Розы и он может войти туда в любой момент, — лучше всего подождать полного цветения, взять тюльпан за час до того, как он распустится, или через час после этого и, не медля ни одной секунды, уехать с ним прямо в Гаарлем, где раньше, чем кто-либо успеет предъявить на него права, тюльпан очутится перед экспертами.

И тогда, если кто-нибудь предъявит свои права на тюльпан, Бокстель обвинит его или ее в воровстве.

Это был хорошо задуманный план и во всем достойный того, кто его задумал.

И вот, каждый вечер, в тот сладостный час, который молодые люди проводили у тюремного окошечка, Бокстель входил в комнату молодой девушки для того, чтобы следить за цветением черного тюльпана.

В последний описанный нами вечер он хотел было, как и в предыдущие вечера, войти в комнату, но, как мы видели, молодые влюбленные обменялись только несколькими словами, и Корнелиус отослал Розу следить за тюльпаном.

Увидев, что Роза вернулась спустя десять минут после ухода, Бокстель понял, что тюльпан расцвел или с минуты на минуту расцветет. Значит, в эту ночь должны произойти решительные события, и Бокстель пришел к Грифусу, принеся с собой водки вдвое больше, чем он приносил обычно, то есть по бутылке в каждом кармане.

Когда Грифус напьется, то Бокстель станет почти полным хозяином всего здания тюрьмы.

К одиннадцати часам Грифус был мертвецки пьян. В два часа ночи Бокстель видел, как Роза вышла из своей комнаты и явно несла в своих руках с большой предосторожностью какой-то предмет. Этим предметом был, несомненно, черный тюльпан, который только что расцвел.

Но что она собирается делать? Не собирается ли она сейчас же увезти его в Гаарлем? Невероятно, чтобы девушка одна ночью предприняла такое путешествие. Не идет ли она только показать тюльпан Корнелиусу? Это возможно.

Он босиком, на цыпочках, последовал за Розой.

Он видел, как она подошла к окошечку.

Он слышал, как она позвала Корнелиуса.

При свете потайного фонаря он увидел распустившийся тюльпан, черный, как ночь, которая его окутывала.

Он слышал, что Роза и Корнелиус решили послать курьера в Гаарлем.

Он видел, как уста молодых людей прильнули друг к другу, затем он слышал, как Корнелиус отослал Розу.

Он видел, как Роза погасила потайной фонарь и направилась к себе в комнату.

Он видел, как она вошла в комнату.

Затем он видел, как десять минут спустя она вышла из комнаты и тщательно заперла ее на двойной замок.

Почему она так старательно заперла дверь? Потому, что за этой дверью она заперла черный тюльпан.

Бокстель, который наблюдал все это, спрятавшись на площадке лестницы этажом выше, спустился на одну ступеньку со своего этажа, когда Роза спустилась на одну ступеньку со своего.

Таким образом, когда Роза своей легкой ногой ступила на последнюю ступень лестницы, Бокстель еще более легкой рукой касался замка ее комнаты. И в этой руке, можно догадаться, он держал поддельный ключ, который открыл комнату Розы с такой же легкостью, как и ключ настоящий.

Вот почему мы в начале этой главы и сказали, что молодые люди очень нуждались в покровительстве судьбы.

XXIV

Черный тюльпан меняет владельца

Корнелиус остался на том же месте, где стоял, прощаясь с Розой, стараясь найти в себе силы перенести двойное бремя своего счастья.

Прошло полчаса.

Уже первые прозрачные голубоватые лучи проникли сквозь решетку окна в камеру Корнелиуса, когда он вдруг вздрогнул от поднимавшихся по лестнице шагов и донесшегося до него крика. Почти в тот же момент его лицо встретилось с бледным, искаженным лицом Розы.

Он отшатнулся назад, тоже побледнев от ужаса.

— Корнелиус, Корнелиус! — кричала она, задыхаясь.

— Боже мой, что случилось? — спросил заключенный.

— Корнелиус! Тюльпан!..

— Что тюльпан?

— Я не знаю, как сказать вам это!

— Говорите же, Роза, говорите!

— У нас его отняли! У нас его украли!

— У нас его отняли! У нас его украли! — вскричал Корнелиус.

— Да, — сказала Роза, опираясь о дверь, чтобы не упасть. — Да, отняли, украли.

И силы покинули ее. Она упала на колени.

— Но как это случилось? — спросил Корнелиус. — Расскажите мне, объясните мне...

— О, я не виновата в этом, мой друг.

Бедная Роза, она не решалась сказать мой л ю б и м ы й д р у г.

— Вы его оставили одного? — сказал печально Корнелиус.

— Только на один момент, чтобы пойти к нашему курьеру, который живет шагах в пяти от нас, на берегу Вааля.

— И на это время, несмотря на мои наставления, вы оставили в дверях ключ, несчастное дитя!

— Нет, нет, это меня и удивляет, — я не оставляла в дверях ключа, я все время держала его в руках и крепко сжимала, как бы боясь потерять его.

— Тогда как же это все случилось?

— Я сама не знаю. Я отдала письмо своему курьеру: он при мне уехал. Я вернулась к себе, дверь была заперта, в моей комнате все оставалось на своем месте, кроме тюльпана, который исчез. Кто-нибудь, по всей вероятности, достал ключ от моей комнаты или подделал его.

Она задыхалась, слезы прерывали голос.

Корнелиус стоял неподвижно с искаженным лицом, слушая ее почти без сознания, и только бормотал:

— Украден, украден, украден, я погиб...

— О, господин Корнелиус, пощадите! — кричала Роза. — Я умру с горя.

При этой угрозе Корнелиус схватил решетку окошечка и, бешено сжимая ее, воскликнул:

— Нас обокрали, Роза, это верно, но разве мы должны из-за этого пасть духом? Нет! Несчастье велико, но, быть может, еще поправимо. Мы знаем вора!

— Увы! Разве я могу сказать с полной уверенностью?

— О, я-то уверен, я вам говорю, что это — мерзавец Якоб! Неужели мы допустим, Роза, чтобы он отнес в Гаарлем плод наших трудов, плод наших забот, дитя нашей любви? Роза, нужно бежать за ним, нужно догнать его.

— Но как все это сделать, не открыв отцу, что мы с вами в сговоре? Как я, женщина подневольная, к тому же малоопытная, как могу я сделать то, чего, быть может, и вы не смогли бы сделать?

— Откройте мне эту дверь, Роза, откройте мне эту дверь, и вы увидите, я это сделаю! Вы увидите, я разыщу вора; вы увидите, я заставлю его сознаться в своем преступлении! Вы увидите, как он запросит пощады!

— Увы,— сказала, зарыдав, Роза,— как же я вам открою? Разве у меня ключи? Если бы они были у меня, разве вы уже не были бы на свободе?

— Они у вашего отца, они у вашего гнусного отца, который уже загубил мне первую луковичку тюльпана. О, негодяй, негодяй! Он соумышленник Якоба!

— Тише, тише, умоляю вас,— тише!

— О, если вы мне не откроете! — закричал Корнелиус в порыве бешенства,— я сломаю решетку и перебею в тюрьме все, что мне попадется!

— Мой друг, сжальтесь надо мной!

— Я вам говорю, Роза, что не оставлю камня на камне!

И несчастный обеими руками, сила которых удесятирилась благодаря его возбуждению, стал с шумом бить в дверь, не обращая внимания на громкие раскаты своего голоса, который звонко разносился по винтовой лестнице.

Перепуганная Роза напрасно старалась успокоить эту неистовую бурю.

— Я вам говорю, что я убью этого мерзавца Грифуса,— рычал ван Берле,— я вам говорю, что я пролью его кровь, как он пролил кровь моего черного тюльпана.

Несчастный начал терять рассудок.

— Хорошо, хорошо,— говорила дрожащая от волнения Роза,— хорошо, хорошо, только успокойтесь. Хорошо, я возьму ключи, я открою вам, только успокойтесь, мой Корнелиус.

Она не закончила: раздавшееся вдруг рычание прервало ее фразу.

— Отец! — закричала Роза.

— Грифус! — завопил ван Берле.— Ах, изверг!

Никем не замеченный среди этого шума, Грифус поднялся наверх. Он грубо схватил свою дочь за руку.

— Ах, ты возьмешь мои ключи! — закричал он прерывающимся от злобы голосом.— Ах, этот мерзавец, этот изверг, этот заговорщик, достойный вселенной. Это твой Корнелиус. Так ты соумышленница государственного преступника! Хорошо!

Роза с отчаянием всплеснула руками.

— А,— продолжал Грифус, переходя с тона яростного и гневного на холодный иронический тон победителя.— А, невинный господин цветовод! А, милый господин ученый! Вы убьете меня; вы прольете мою кровь! Очень хорошо, не нужно ничего лучшего. И при соучастии моей дочери? Боже мой, да я в разбойничьем вертепе! Ну, хорошо. Все это сегодня же будет доложено господину коменданту, а завтра же узнает обо все этом и его высочество штатгальтер. Мы знаем законы. Статья шестая гласит о бунте в тюрьме. Мы покажем вам второе издание Бюйтенгофа, господин ученый, и на этот раз хорошее издание! Да, да, грызите свои кулаки, как медведь в клетке, а вы, красавица, пожирайте глазами своего Корнелиуса! Предупреждаю вас, мои голубки, что теперь вам уже не удастся благополучно заниматься заговорами. Ну-ка, спускайся к себе, негодница! А вы, господин ученый, до свидания; будьте покойны, до свидания!

Роза, обезумев от страха и отчаяния, послала воздушный поцелуй своему другу; затем, осененная, по всей вероятности, внезапной идеей, она бросилась к лестнице, говоря:

— Еще не все потеряно, рассчитывай на меня, мой Корнелиус.

Отец, рыча, следовал за ней.

Что касается бедного заключенного, то он постепенно отпустил решетку, которую судорожно сжимали его пальцы, голова его отяжелела, глаза закатились, и он тяжело рухнул на плиты своей камеры, бормоча:

— Украли! Его украли у меня!

Тем временем Бокстель, выйдя из тюрьмы через туалитку, которую открыла сама Роза, с тюльпаном, обернутым широким плащом, Бокстель бросился в экипаж, ожидавший его в Горкуме, и исчез, не предупредив, разумеется, своего друга Грифуса о столь поспешном отъезде.

А теперь, когда мы видели, что он сел в экипаж, последуем за ним, если читатель согласен, до конца его путешествия. Он ехал медленно: быстрая езда может повредить черному тюльпану.

Но, опасаясь, как бы не запоздать, Бокстель заказал в Дельфте коробку, выложенную прекрасным свежим мхом, и уложил туда тюльпан. Цветок получил спокойное мягкое ложе, экипаж мог свободно катиться с полной быстротой, безо всякого риска повредить тюльпану.

На утро следующего дня Бокстель, измученный от усталости, но торжествующий, прибыл в Гаарлем и, чтобы скрыть следы кражи, он пересадил тюльпан в другой сосуд, фаянсовый же горшок разбил, а осколки его бросил в канал. Затем он написал председателю общества цветоводов письмо о своем прибытии в Гаарлем с тюльпаном совершенно черного цвета и остановился с неповрежденным цветком в прекрасной гостинице.

И там он ждал.

XXV

Председатель ван Систенс

Роза, покинув Корнелиуса, приняла решение. Она решила или вернуть ему тюльпан, украденный Якобом, или больше никогда с ним не встречаться.

Она видела отчаяние заключенного, двойное неизлечимое отчаяние: с одной стороны — неизбежная разлука, так как Грифус открыл тайну и их любви и их свиданий; с другой стороны — крушение всех честолюбивых надежд ван Берле, надежд, которые он питал в течение семи лет.

Роза принадлежала к числу тех женщин, которые из-за пустяка легко падают духом, но которые полны сил перед лицом большого несчастья и в самом же несчастье черпают энергию, чтобы побороть его.

Девушка вошла к себе, осмотрела в последний раз комнату, чтобы убедиться, не ошиблась ли она, не стоит ли тюльпан в каком-нибудь из уголков, в который она не заглянула.

Но Роза напрасно искала: тюльпана не было, тюльпан был украден.

Роза сложила в узелок кое-какие необходимые ей пожитки, взяла скопленные ею триста флоринов, то есть все свое достояние, порылась в кружевах, где хранилась третья луковичка, тщательно спрятала ее у себя на груди, заперла на двойной замок свою комнату, чтобы скрыть этим возможно дольше свое бегство, и спустилась с лестницы. Она вышла из тюрьмы сквозь ту же калитку, из которой час назад вышел Бокстель, зашла в почтовый двор и попросила дать ей экипаж, но там был только один экипаж, именно тот, который Бокстель нанял накануне и в котором он мчался теперь по дороге в Дельфт.

Мы говорим «по дороге в Дельфт» вот почему. Чтобы попасть из Левештейна в Гаарлем, приходилось делать большой круг; по прямой линии это расстояние было бы вдвое короче. Но по прямой линии в Голландии могут летать только птицы,— Голландия больше всякой другой страны в мире испещрена речками, ручьями, каналами и озерами.

Розе поневоле пришлось взять верховую лошадь. Ей охотно доверили: владелец лошади знал, что Роза — дочь привратника крепости.

Роза надеялась иагнать своего курьера, хорошего, честного парня, которого она взяла бы с собой и который служил бы ей одновременно и защитником и проводником. Действительно, она не сделала и одного лье, как заметила его. Он шел быстрым шагом по склону прелестной дороги, тянувшейся вдоль берега.

Она пришпорнула лошадь и нагнала его.

Славный парень хотя и не знал всей важности данного ему поручения, но шел, однако, так быстро, как если бы он знал это. Через час он прошел полтора лье.

Роза взяла у него обратно письмо, которое стало теперь ненужным, и объяснила ему, чем он мог быть ей полезен. Лодочник отдал себя в ее распоряжение, обещая поспевать за ней, если только она позволит ему держаться за круп или за гриву лошади. Молодая девушка разрешила ему держаться за все, что ему угодно, лишь бы он не задерживал ее.

Оба путешественника находились в пути уже пять часов и сделали восемь лье, а старик, Грифус еще не знал, что девушка покинула крепость. Тюремщик, как человек очень злой, наслаждался тем, что поверг свою дочь в глубокий ужас.

Но в то время, как он радовался возможности рассказать своему приятелю Якобу столь блестящую историю, Якоб тоже мчался по дороге в Дельфт. Только благодаря своей повозке он опередил Розу и лодочника на четыре лье. Он все еще воображал, что Роза находится в своей комнате в трепете или в гневе, а она — уже нагоняла его.

Итак, никто, кроме заключенного, не находился там, где он должен был быть по предположению Грифуса.

С тех пор, как Роза ухаживала за тюльпаном, она так мало времени проводила с отцом, что только в обычное обеденное время, то есть в двенадцать часов дня, Грифус, почувствовав голод, заметил, что его дочь слишком долго дуется.

Он послал за ней одного из своих помощников. Затем, когда тот вернулся и сказал, что нигде не мог ее найти, Грифус сам пошел звать дочь. Он пошел прямо в ее комнату, но, несмотря на его стук, Роза не отвечала.

Позвали слесаря крепости, слесарь открыл дверь, но Грифус не нашел Розы, так же как Роза в свое время не нашла тюльпана.

Роза в этот момент въезжала в Роттердам. Поэтому Грифус не нашел ее и в кухне, так же как и в комнате, не нашел он ее и в саду, так же как и в кухне.

Можно себе представить ярость, в какую пришел Грифус, когда, обежав окрестности, он узнал, что дочь его наняла лошадь и уехала, как истая искательница приключений, не сказав никому, куда она едет.

Взбешенный Грифус поднялся к ван Берле, ругал его, угрожал ему, перевернул вверх дном весь его бедный скарб, обещал посадить его в карцер, в подземелье, грозил голодом, розгами.

Корнелиус даже не слушал, что говорил тюремщик, позволял себя ругать, поносить, грозить себе, оставаясь мрачным, неподвижным, неспособным ни к каким ощущениям, глухой ко всяким страхам.

После того, как Грифус в поисках Розы тщетно обошел все места, он стал искать Якоба и, не найдя его, так же как он не нашел своей дочери, он и заподозрил его в похищении молодой девушки.

Однако же Роза, сделав остановку на два часа в Роттердаме, вновь двинулась в путь. В тот же вечер она остановилась в Дельфте, где и переночевала, на другое утро прибыла в Гаарлем на четыре часа позднее, чем туда прибыл Бокстель.

Раньше всего Роза попросила проводить ее к председателю общества цветоводов, к господину ван Систенсу.

Она застала этого достойного гражданина в таком состоянии, что мы обязаны его описать, чтобы не изменить нашему долгу художника и историка.

Председатель составлял доклад комитету общества. Доклад он писал на большом листе бумаги самым изысканным почерком, на какой был способен.

Роза попросила доложить о себе; но ее простое хотя и звучное имя — Роза Грифус — не было известно председателю, и Розе было отказано в приеме.

В Голландии, стране шлюзов и плотин, трудно пробраться куда-либо без разрешения.

Но Роза не отступала. Она взяла на себя миссию и поклялась себе самой не падать духом ни перед отказом, ни перед грубостями, ни перед оскорблениями.

— Доложите председателю, — сказала она, — что я хочу говорить с ним о черном тюльпане.

Эти слова, не менее магические, чем известные «Сезам, отворись» из «Тысячи и одной ночи», послужили ей пропуском; благодаря этим словам она прошла в кабинет председателя ван Систенса, который галантно вышел к ней навстречу.

Это был маленький, хрупкий мужчина, очень похожий на стебель цветка: голова его походила на чашечку, две висящих руки напоминали два удлинённых

листка тюльпана. У него была привычка слегка покачиваться, что еще больше дополняло его сходство с тюльпаном, колеблемым дуновением ветра.

Мы уже говорили, что его звали ван Систенс.

— Мадемуазель, — воскликнул он, — вы говорите, что пришли от имени черного тюльпана?

Для председателя общества цветоводов *Tulipa nigra* был первоклассной величиной и в качестве короля тюльпанов мог посылать своих послов.

— Да, сударь, — ответила Роза, — во всяком случае, я пришла, чтобы поговорить с вами о нем.

— Он в полном здравии? — спросил ван Систенс с нежной почтительной улыбкой.

— Увы, сударь, — ответила Роза, — это мне неизвестно.

— Как, значит, с ним случилось какое-нибудь несчастье?

— Да, сударь, очень большое несчастье, но не с ним, а со мной.

— Какое?

— У меня его украли.

— У вас украли черный тюльпан?

— Да, сударь.

— А вы знаете, кто?

— О, я подозреваю, но не решаюсь еще обвинять.

— Но ведь это же легко проверить.

— Каким образом?

— С тех пор, как его у вас украли, вор не успел далеко уехать.

— Почему он не успел далеко уехать?

— Да потому, что я его видел не больше, как два часа тому назад.

— Вы видели черный тюльпан? — воскликнула девушка, бросившись к ван Систенсу.

— Так же, как я вижу вас, мадемуазель.

— Но где же?

— У вашего хозяина, по-видимому.

— У моего хозяина?

— Да. Вы не служите у господина Исаака Бокстея?

— Я?

— Да, вы?

— Но за кого вы меня принимаете, сударь?

— Но за кого вы меня сами принимаете?

— Сударь, я вас принимаю за того, кем вы, надеюсь, и являетесь на самом деле, то есть за distinguished господина ван Систенса, бургомистра города Гаарлема и председателя общества цветоводов.

— И вы ко мне пришли?

— Я пришла сказать вам, сударь, что у меня украли мой черный тюльпан.

— Итак, ваш тюльпан — это тюльпан господина Бокстеля? Тогда вы плохо объясняетесь, мое дитя; тюльпан украли не у вас, а у господина Бокстеля.

— Я вам повторяю, сударь, что я не знаю, кто такой господин Бокстель, и что я в первый раз слышу это имя.

— Вы не знаете, кто такой господин Бокстель, и вы тоже имели черный тюльпан?

— Как, разве есть еще один черный тюльпан? — спросила Роза, задрожав.

— Да, есть тюльпан господина Бокстеля.

— Какой он собой?

— Черный, черт побери!

— Без пятен?

— Без одного пятнышка, без единой точки!

— И этот тюльпан у вас? Он здесь?

— Нет, но он будет здесь, так как я должен его выставить перед комитетом раньше, чем премия будет утверждена.

— Сударь, — воскликнула Роза, — этот Исаак Бокстель, этот Исаак Бокстель, который выдает себя за владельца черного тюльпана...

— И который в действительности является им...

— Сударь, этот человек худой?

— Да.

— Лысый?

— Да.

— С блуждающим взглядом?

— Как будто так.

— Беспokoйный, сгорбленный, с кривыми ногами?

— Да, действительно, вы черту за чертой рисуете портрет Бокстеля.

— Сударь, не был ли тюльпан в белом фаянсовом горшке с желтоватыми цветами?

— Ах, что касается этого, то я менее уверен, я больше смотрел на мужчину, чем на горшок.

Сударь, это мой тюльпан, это тот тюльпан, который у меня украли! Сударь, это мое достояние! Сударь, я пришла за ним к вам, я пришла за ним сюда!

— О, о,— заметил ван Систенс, смотря на Розу, вы пришли сюда за тюльпаном господина Бокстеля. Черт побери, да вы смелая бабенка!

— Сударь,— сказала Роза, несколько смущенная таким обращением,— я не говорю, что пришла за тюльпаном господина Бокстеля, я сказала, что пришла требовать свой тюльпан.

— Ваш?

— Да, тот, который я лично посадила и лично вырастила.

— Ну, тогда ступайте к господину Бокстелю в гостиницу «Белый Лебедь» и улаживайте дело с ним. Что касается меня, то, так как спор этот кажется мне таким же трудным для решения, как тот, который был вынесен на суд царя Соломона, на мудрость которого я не претендую, то я удовольствуюсь тем, что составляю свой доклад, констатирую существование черного тюльпана и назначу премию тому, кто его взрастил. Прощайте, дитя мое.

— О, сударь, сударь! — настаивала Роза.

— Только, дитя мое,— продолжал ван Систенс,— так как вы красивы, так как вы молоды, так как вы еще не совсем испорчены, выслушайте мой совет. Будьте осторожны в этом деле, потому что у нас есть суд и тюрьма в Гаарлеме; больше того, мы очень щепетильны во всем, что касается чести тюльпанов. Идите, дитя мое, идите. Господин Исаак Бокстель, гостиница «Белый Лебедь».

И господин ван Систенс, снова взяв свое прекрасное перо, стал продолжать прерванный доклад.

XXVI

Один из членов общества цветоводов

Роза вне себя, почти обезумевшая от радости и страха при мысли, что черный тюльпан найден, направилась в гостиницу «Белый Лебедь» в сопровождении своего лодочника, здорового парня-фрисланд-

ца, способного в одиночку справиться с десятью Бокстелями.

В дороге лодочник был посвящен в суть дела, и он не отказался от борьбы, если бы это понадобилось. Ему внушили, что в этом случае он только должен быть осторожен с тюльпаном.

Дойдя до гостиницы, Роза вдруг остановилась. Ее внезапно осенила мысль.

— Боже мой,— прошептала она,— я сделала ужасную ошибку,— я, быть может, погубила и Корнелиуса, и тюльпан, и себя. Я подняла тревогу, я вызвала подозрение. Я ведь только женщина; эти люди могут объединиться против меня, и тогда я погибла. О, если бы погибла только я одна, это было бы полбеды, но Корнелиус, но тюльпан...

Она на минуту задумалась.

«А что, если я приду к Бокстелю, и окажется, что я не знаю его, если этот Бокстель не мой Якоб, если это другой любитель, который тоже вырастил черный тюльпан, или если мой тюльпан был похищен не тем, кого я подозреваю, или уже перешел в другие руки. Если я узнаю не человека, а только мой тюльпан, чем я докажу, что этот тюльпан принадлежит мне?»

С другой стороны, если я узнаю в этом обманщике Якоба, как знать, что тогда произойдет. Тюльпан может завянуть, пока мы будем его оспаривать. О, что же мне делать? Как поступить? Ведь дело идет о моей жизни, о жизни бедного узника, который, быть может, умирает сейчас».

В это время с конца Большого Рынка донесся сильный шум и гам. Люди бежали, двери раскрывались, одна только Роза оставалась безучастной к волнению толпы.

— Нужно вернуться к председателю,— прошептала она.

— Вернемся,— сказал лодочник.

Они пошли по маленькой улочке, которая привела их прямо к дому господина ван Систенса; а тот прекрасным пером и прекрасным почерком продолжал писать свой доклад.

Всюду по дороге Роза только и слышала разговоры о черном тюльпане и о премии в сто тысяч флоринов.

Новость облетела уже весь город.

Розе стоило немало трудов вновь проникнуть к ван Систенсу, который, однако, как и в первый раз, был очень взволнован, когда услышал магические слова «черный тюльпан».

Но, когда он узнал Розу, которую он мысленно счел сумасшедшей или еще хуже, он страшно обозлился и хотел прогнать ее. Роза сложила руки и с искренней правдивостью, проникавшей в душу, сказала:

— Сударь, умоляю вас, не отталкивайте меня; наоборот, выслушайте, что я вам скажу, и если вы не сможете восстановить истину, то, по крайней мере, у вас не будет угрызений совести из-за того, что вы приняли участие в злом деле.

Ван Систенс дрожал от нетерпения; Роза уже второй раз отрывала его от работы, которая вдвойне льстила его самолюбию и как бургомистра и как председателя общества цветоводов.

— Но мой доклад, мой доклад о черном тюльпане!

— Сударь,— подождала Роза с твердостью невинности и правоты,— сударь, если вы меня не выслушаете, то ваш доклад будет основываться на преступных или ложных данных. Я вас умоляю, сударь, вызовите сюда этого господина Бокстея, который, по моему, является Якобом, и я клянусь богом, что, если не узнаю ни тюльпана, ни его владельца, то не стану оспаривать права на владение тюльпаном.

— Черт побери, недурное предложение! — сказал ван Систенс.

— Что вы этим хотите сказать?

— Я вас спрашиваю, а если вы и узнаете их, что это докажет?

— Но, наконец,— сказала с отчаянием Роза,— вы же честный человек, сударь. Неужели вы дадите премию тому, который не только не вырастил сам тюльпана, но даже украл его?

Быть может, убедительный тон Розы проник в сердце ван Систенса, и он хотел более мягко ответить бедной девушке, но в этот момент с улицы послышался сильный шум. Этот шум казался простым усилением того шума, который Роза уже слышала на улице, но не придавала ему значения, и который не мог заставить ее прервать свою горячую мольбу.

Шумные приветствия потрясли дом.

Господин ван Систенс прислушался к приветствиям, которых Роза раньше совсем не слышала, а теперь приняла просто за шум толпы.

— Что это такое? — воскликнул бургомистр. — Что это такое? Возможно ли это? Хорошо ли я слышал!

И он бросился в прихожую, не обращая больше никакого внимания на Розу и оставив ее в своем кабинете.

В прихожей ван Систенс с изумлением увидел, что вся лестница вплоть до вестибюля заполнена народом.

По лестнице поднимался молодой человек, окруженный или, вернее, сопровождаемый толпой, просто одетый в лиловый бархатный костюм, шитый серебром. С гордой медлительностью поднимался он по каменным ступеням, сверкающим своей белизной и чистотой. Позади него шли два офицера, один моряк, другой кавалерист.

Ван Систенс, пробравшись в середину перепуганных слуг, поклонился, почти простерся перед новым посетителем, виновником всего этого шума.

— Монсеньор, — воскликнул он, — монсеньор! Ваше высочество у меня! Какая исключительная честь для моего скромного дома!

— Дорогой господин ван Систенс, — сказал Вильгельм Оранский с тем спокойствием, которое заменяло ему улыбку, — я истинный голландец, — я люблю воду, пиво и цветы, иногда даже и сыр, вкус которого так ценят французы: среди цветов я, конечно, предпочитаю тюльпаны. В Лейдене до меня дошел слух, что Гаарлем наконец обладает черным тюльпаном, и, убедившись, что это правда, хотя и невероятная, я приехал узнать о нем к председателю общества цветоводов.

— О, монсеньор, монсеньор, — сказал восхищенный ван Систенс, — какая честь для общества, если его работы находят поощрение со стороны вашего высочества!

— Цветок здесь? — спросил принц, пожалевший, вероятно, что сказал лишнее.

— Увы, нет, монсеньор, у меня его здесь нет.

— Где же он?

— У его владельца.

— Кто этот владелец?

— Честный цветовод города Дордрехта.

— Дордрехта?

— Да.

— А как его зовут?

— Бокстель.

— Где он живет?

— В гостинице «Белый Лебедь». Я сейчас за ним пошлю, и если ваше высочество окажет мне честь и войдет в мою гостиную, то он, зная, что монсеньор здесь, поторопится и сейчас же принесет свой тюльпан монсеньору.

— Хорошо, посылайте за ним.

— Хорошо, ваше высочество. Только...

— Что?

— О, ничего существенного, монсеньор.

— В этом мире все существенно, господин ван Систенс.

— Так, вот, монсеньор, возникает некоторое затруднение?

— Какое?

— На этот тюльпан уже предъявляют свои права какие-то узурпаторы. Правда, он стоит сто тысяч флоринов.

— Неужели?

— Да, монсеньор, узурпаторы, обманщики.

— Но ведь это же преступление, господин ван Систенс!

— Да, ваше высочество.

— А у вас есть доказательства этого преступления?

— Нет, монсеньор, виновница...

— Виновница?

— Я хочу сказать, что особа, которая выдвигает свои права на тюльпан, находится в соседней комнате.

— Там? А какого вы о ней мнения, господин ван Систенс?

— Я думаю, монсеньор, что приманка в сто тысяч флоринов соблазнила ее.

— И она предъявляет свои права на тюльпан?

— Да, монсеньор.

— А что говорит в доказательство своих требований?

— Я только хотел было ее допросить, как ваше высочество изволили прибыть.

— Выслушаем ее, господин ван Систенс, выслушаем ее. Я ведь верховный судья в государстве. Я выслушаю дело и вынесу приговор.

— Вот нашелся и царь Соломон,— сказал, поклонившись, ван Систенс и повел принца в соседнюю комнату.

Принц, сделав несколько шагов, вдруг остановился и сказал:

— Идите впереди меня и называйте меня просто господином.

Они вошли в кабинет.

Роза продолжала стоять на том же месте, у окна, и смотрела в сад.

— А, фрисландка,— заметил принц, увидев золотой убор и красную юбку Розы.

Роза повернулась на шум, но она еле заметила принца, который уселся в самом темном углу комнаты.

Понятно, что все ее внимание было обращено на ту важную особу, которую звали ван Систенс, а не на скромного человека, следовавшего за хозяином дома и не имевшего, по всей вероятности, громкого имени.

Скромный человек взял с полки книгу и сделал знак Систенсу начать допрос.

Ван Систенс, также по приглашению человека в лиловом костюме, начал допрос, счастливый и гордый той высокой миссией, которую ему поручили.

— Дитя мое, вы обещаете мне сказать истину, только истину об этом тюльпане?

— Я вам обещаю.

— Хорошо, тогда рассказывайте в присутствии этого господина. Господин — член нашего общества цветоводства.

— Сударь,— молвила Роза,— что я вам могу еще сказать, кроме уже сказанного мною?

— Ну, так как же?

— Я опять обращаюсь к вам с той же просьбой.

— С какой?

— Пригласите сюда господина Бокстея с его тюльпаном; если я его не признаю своим, я откровенно об этом скажу; но, если я его узнаю, я буду требовать его возвращения. Я буду требовать, даже если бы для этой цели мне пришлось пойти к его высочеству штатгальтеру с доказательством в руках.

— Так у вас есть доказательства, прекрасное дитя?

— Бог — свидетель моего права на тюльпан, и он даст мне в руки доказательства.

Ван Систенс обменялся взглядом с принцем, который с первых же слов Розы стал напрягать свою память. Ему казалось, что он уже не в первый раз слышит этот голос.

Один из офицеров ушел за Бокстелем.

Ван Систенс продолжал допрос.

— На чем же вы основываете, — спросил он, — утверждение, что черный тюльпан принадлежит вам?

— Да очень просто, на том, что я его лично сажала и выращивала в своей комнате.

— В вашей комнате? А где находится ваша комната?

— В Левештейне.

— Вы из Левештейна?

— Я дочь тюремщика крепости.

Принц сделал движение, которое как будто говорило: «Ах, да, теперь я припоминаю».

И, притворяясь углубленным в книгу, он с еще большим вниманием, чем раньше, стал наблюдать за Розой.

— А вы любите цветы? — продолжал ван Систенс.

— Да, сударь.

— Значит, вы ученая цветоводка?

Роза колебалась один момент, затем самым трогательным голосом сказала:

— Господа, ведь я говорю с благородными людьми?

Тон ее голоса был такой искренний, что и ван Систенс и принц одновременно ответили утвердительным кивком головы.

— Ну тогда я вам скажу. Ученая цветоводка не я, нет. Я только бедная девушка из народа, бедная фрисландская крестьянка, которая еще три месяца назад не умела ни читать, ни писать. Нет, тюльпан был выращен не мною лично.

— Кем же он был выращен?

— Одним несчастным заключенным в Левештейне.

— Заключенным в Левештейне? — сказал принц.

При звуке этого голоса Роза вздрогнула.

— Значит, государственным преступником, — продолжал принц, — так как в Левештейне заключены только государственные преступники.

И он снова принялся читать или, по крайней мере, притворился, что читает.

— Да,— прошептала, дрожа, Роза,— да, государственным преступником.

Ван Систенс побледнел, услышав такое признание при подобном свидетеле.

— Продолжайте,— холодно сказал Вильгельм председателю общества цветоводов.

— О, сударь,— промолвила Роза, обращаясь к тому, кого она считала своим настоящим судьей,— я должна признаться в очень тяжелом преступлении.

— Да, действительно,— сказал ван Систенс,— государственные преступники в Левештейне должны содержаться в большой тайне.

— Увы, сударь.

— А из ваших слов можно заключить, что вы воспользовались вашим положением, как дочь тюремщика, и общались с ними, чтобы вместе выращивать цветы.

— Да, сударь,— растерявшись прошептала Роза,— да, я должна признаться, что виделась с ним ежедневно.

— Несчастная! — воскликнул ван Систенс.

Принц поднял голову и посмотрел на испугавшуюся Розу и побледневшего председателя.

— Это,— сказал он своим четким, холодным тоном,— это не касается членов общества цветоводов; они должны судить черный тюльпан, а не касаться государственных преступлений. Продолжайте, девушка, продолжайте.

Ван Систенс красноречивым взглядом поблагодарил от имени тюльпанов нового члена общества цветоводов.

Роза, ободренная подобным обращением незнакомца, рассказала все, что произошло в течение последних трех месяцев, все, что она сделала, все, что она выстрадала. Она говорила о суровостях Грифуса, об уничтожении им первой луковички, об отчаянии заключенного, о предосторожностях, которые она приняла, чтобы вторая луковичка расцвела, о терпении заключенного, о его скорби во время разлуки; как он хотел умерить себя голодом в отчаянии, что ничего не знает о своем тюльпане; об его радости, когда они помирились и, наконец, об их обоюдном отчаянии, когда они увидели, что у них украли черный тюльпан через час после того, как он распустился.

Все это было рассказано с глубокой искренностью, которая, правда, оставила бесстрастным принца, если судить по его внешнему виду, но произвела глубокое впечатление на ван Систенса.

— Но,— сказал принц,— вы ведь только недавно знакомы с этим заключенным?

Роза широко раскрыла глаза и посмотрела на незнакомца, который отклонился в теиь, избегая ее взгляда.

— Почему, сударь? — спросила она.

— Потому что прошло только четыре месяца, как тюремщик и его дочь поселились в Левештейне.

— Да, это правда, сударь.

— А может быть, вы и просили о перемещении вашего отца только для того, чтобы следовать за каким-нибудь заключенным, которого переводили из Гааги в Левештейн?

— Сударь,— сказала, покраснев, Роза.

— Кончайте,— сказал Вильгельм.

— Я сознаюсь, я знала заключенного в Гааге.

— Счастливый заключенный! — заметил, улыбаясь, Вильгельм.

В это время вошел офицер, который был послан за Бокстелем, и доложил, что тот, за кем он был послан, следует за ним с тюльпаном.

XXVII

Третья луковичка

Едва офицер успел доложить о приходе Бокстеля, как тот уже вошел в гостиную ван Систенса в сопровождении двух людей, которые в ящике внесли драгоценный предмет и поставили его на стол.

Принц, извещенный о том, что принесли тюльпан, вышел из кабинета, прошел в гостиную, полюбовался цветком, ничего не сказал, вернулся в кабинет и молча занял свое место в темном углу, куда он сам поставил себе кресло.

Роза, трепещущая, бледная, полная страха, ждала, чтобы ее тоже пригласили посмотреть тюльпан.

Она услышала голос Бокстеля.

— Это он! — воскликнула она.

Принц сделал ей знак, чтобы она взглянула сквозь приоткрытую дверь в гостиную.

— Это мой тюльпан! — закричала Роза. — Это он, и его узнаю! О, мой бедный Корнелиус!

И она залилась слезами.

Принц поднялся, подошел к двери и стоял там некоторое время так, что свет падал прямо на него.

Роза остановила на нем свой взгляд. Теперь она была совершенно уверена, что видит этого незнакомца не в первый раз.

— Господин Бокстель, — сказал принц, — войдите-ка сюда.

Бокстель стремительно вбежал и очутился лицом к лицу с Вильгельмом Оранским.

— Ваше высочество! — воскликнул он, отступая.

— «Ваше высочество!» — повторила ошеломленная Роза.

При этом восклицании, которое раздалось слева от него, Бокстель повернулся и заметил Розу.

Увидев ее, завистник вздрогнул всем телом, как от прикосновения к Вольтову столбу.

— А, — пробормотал про себя принц, — он смущен.

Но Бокстель сделал колоссальное усилие и овладел собой.

— Господин Бокстель, — обратился к нему Вильгельм, — вы кажется, открыли тайну выращивания черного тюльпана?

— Да, монсеньор, — ответил несколько смущенным голосом Бокстель.

Правда, эту тревогу могло вызвать волнение, которое почувствовал садовод при неожиданной встрече с Вильгельмом.

— Но вот, — продолжал принц, — молодая девушка, которая также утверждает, что она открыла эту тайну.

Бокстель презрительно улыбнулся и пожал плечами.

Вильгельм следил за всеми его движениями с видимым любопытством.

— Итак, вы не знаете эту молодую девушку? — спросил принц.

— Нет, монсеньор.

— А вы, молодая девушка, знаете господина Бокстеля?

— Нет, я не знаю господина Бокстеля, но я знаю господина Якоба.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что тот, кто называет себя Исааком Бокстелем, в Левештейне именовал себя Якобом.

— Что вы скажете на это, господин Бокстель?

— Я говорю, монсеньор, что эта девушка лжет.

— Вы отрицаете, что были когда-нибудь в Левештейне?

Бокстель колебался: принц своим пристальным, повелительно-испытующим взглядом мешал ему лгать.

— Я не могу отрицать того, что я был в Левештейне, монсеньор, но я отрицаю, что я украд тюльпан.

— Вы украли его у меня, украли из моей комнаты! — воскликнула возмущенная Роза.

— Я это отрицаю.

— Послушайте, отрицаете ли вы, что выслеживали меня в саду в тот день, когда я обрабатывала грядку, в которую я должна была посадить тюльпан? Отрицаете ли вы, что выслеживали меня в саду в тот день, когда я притворилась, что сажаю его? Не бросились ли вы тогда к тому месту, где надеялись найти луковичку? Не рылись ли вы руками в земле, но, слава богу, напрасно, ибо это была только моя уловка, чтобы узнать ваши намерения? Скажите, вы отрицаете все это?

Бокстель не счел нужным отвечать на эти многочисленные вопросы.

И, оставив начатый спор с Розой, он обратился к принцу:

— Вот уже двадцать лет,— сказал он,— как я культивирую тюльпаны в Дордрехте, и я приобрел в этом искусстве даже некоторую известность. Один из моих тюльпанов занесен в каталог под громким названием. Я посвятил его королю португальскому. А теперь выслушайте истину. Эта девушка знала, что я вырастил черный тюльпан, и в сообщничестве со своим любовником, который находится у нее в крепости Левештейн, разработала план, чтобы разорить меня, присвоив себе премию в сто тысяч флоринов, которую я надеюсь получить благодаря вашей справедливости.

— О! — воскликнула Роза в возмущении.

— Тише,— сказал принц.

Затем, обратившись к Бокстелю:

— А кто этот заключенный, которого вы называете возлюбленным этой молодой девушки?

Роза чуть не упала в обморок, так как в свое время принц считал этого узника большим преступником.

Для Бокстеля же это был самый приятный вопрос.

— Кто этот заключенный? — повторил он.

— Монсеньор, это человек, одно только имя которого покажет вашему высочеству, какую веру можно придавать ее словам. Этот заключенный — государственный преступник, уже однажды приговоренный к смерти.

— И его имя?

Роза в отчаянии закрыла лицо руками.

— Имя его Корнелиус ван Берле, — сказал Бокстель, — и он является крестником изверга Корнеля де Витта.

Принц вздрогнул. Его спокойный взгляд вспыхнул огнем, но холодное спокойствие тотчас же вновь воцарилось на его непроницаемом лице.

Он подошел к Розе и сделал ей знак пальцем, чтобы она отняла руки от лица.

Она подчинилась, как это сделала бы женщина, повинувшись воле гипнотизера.

— Так, значит, в Лейдене вы просили меня о перемене места службы вашему отцу для того, чтобы следовать за этим заключенным?

Роза опустила голову и, совсем обессиленная, склонилась, произнеся:

— Да, монсеньор.

— Продолжайте, — сказал принц Бокстелю.

— Мне больше нечего сказать, — ответил тот: — вашему высочеству все известно. Теперь вот то, чего я не хотел говорить, чтобы этой девушке не пришлось краснеть за свою неблагодарность. Я приехал в Левештейн по своим делам; там я познакомился со стариком Грифусом, влюбился в его дочь, сделал ей предложение, и так как я не богат, то по своему легковерию поведал ей о своей надежде получить премию в сто тысяч флоринов. И, чтобы подкрепить эту надежду, показал ей черный тюльпан. А так как ее любовник, желая отвлечь внимание от заговора,

который он замышлял, занимался в Дордрехте разведанием тюльпанов, то они вдвоем и задумали погубить меня. За день до того, как тюльпан должен был распуститься, он был похищен у меня этой девушкой и унесен в ее комнату, откуда я имел счастье взять его обратно, в то время как она имела дерзость отправить нарочного к членам общества цветоводов с известием, что она вырастила большой черный тюльпан. Но это не изменило ее поведения. По всей вероятности, за те несколько часов, когда у нее находился тюльпан, она его кому-нибудь показывала, на кого она и сошлется, как на свидетеля. Но, к счастью, монсеньор, теперь вы предупреждены против это интриганки и ее свидетелей.

— О, боже мой, боже мой, какой негодяй! — простонала рыдающая Роза, бросаясь к ногам штат-гальтера, который, хотя и считал ее виновной, все же сжалился над нею.

— Вы очень плохо поступили, девушка, — сказал он, — и ваш возлюбленный будет наказан за дурное влияние на вас. Вы еще так молоды, у вас такой невинный вид, и мне хочется думать, что все зло происходит от него, а не от вас.

— Монсеньор, монсеньор, — воскликнула Роза, — Корнелиус не виновен!

Вильгельм сделал движение.

— Не виновен в том, что натолкнул вас на это дело? Вы это хотите сказать, не так ли?

— Я хочу сказать, монсеньор, что Корнелиус во втором преступлении, которое ему приписывают, так же не виновен, как и в первом.

— В первом? А вы знаете, какое это было преступление? Вы знаете, в чем он был обвинен и уличен? В том, что он, как сообщник Корнеля де Витта, прятал у себя переписку великого пенсионария с маркизом Лувуа.

— И что же, монсеньор, — он не знал, что хранил у себя эту переписку, он об этом совершенно не знал! Он сказал бы мне это! Разве мог этот человек, с таким чистым сердцем, иметь какую-нибудь тайну, которую бы он скрыл от меня? Нет, нет, монсеньор, я повторяю, даже если я навлеку этим на себя ваш гнев, что Корнелиус не виновен в первом преступлении так же, как и во втором,

и во втором так же, как в первом. Ах, если бы вы только знали, монсеньор, моего Корнелиуса!

— Один из Виттов! — воскликнул Бокстель.— Монсеньор его слишком хорошо знает, раз он однажды уже помиловал его.

— Тише,— сказал принц,— все эти государственные дела, как я уже сказал, совершенно не должны касаться общества цветоводов города Гаарлема.

Затем он сказал, нахмурия брови:

— Что касается черного тюльпана, господин Бокстель, то будьте покойны, мы поступим по справедливости.

Бокстель с переполненным радостью сердцем поклонился, и председатель поздравил его.

— Вы же, молодая девушка,— продолжал Вильгельм Оранский,— вы чуть было не совершили преступления; вас я не накажу за это, но истинный виновник поплатится за вас обоих. Человек с его именем может быть заговорщиком, даже предателем... но он не должен воровать.

— Воровать! — воскликнула Роза.— Воровать?! Он, Корнелиус! О, монсеньор, будьте осторожны. Ведь он умер бы, если бы слышал ваши слова! Ведь ваши слова убили бы его вернее, чем меч палача на Бюйтенгофской площади. Если говорить о краже, монсеньор, то, клянусь вам, ее совершил вот этот человек.

— Докажите,— сказал холодно Бокстель.

— Хорошо, я докажу,— твердо заявила фрисландка.

Затем, повернувшись к Бокстелю, она спросила:

— Тюльпан принадлежал вам?

— Да.

— Сколько у него было луковичек?

Бокстель колебался один момент, но потом он сообразил, что девушка не задала бы этого вопроса, если бы имелись только те две известные ему луковички.

— Три,— сказал он.

— Что случилось с этими луковичками? — спросила Роза.

— Что с ними случилось? Одна не удалась, из другой вырос черный тюльпан...

— А третья?

— Третья?

— Третья, где она?

— Третья у меня,— сказал взволнованно Бокстель.

— У вас? А где? В Левештейне или в Дордрехте?

— В Дордрехте,— сказал Бокстель.

— Вы лжете! — закричала Роза.— Монсеньор,— добавила она, обратившись к принцу,— я вам расскажу истинную историю этих трех луковичек. Первая была раздавлена моим отцом в камере заключенного, и этот человек прекрасно это знает, так как он надеялся завладеть ею, а когда узнал, что эта надежда рушилась, то чуть не поссорился с моим отцом. Вторая, при моей помощи, выросла в черный тюльпан, а третья, последняя (девушка вынула ее из-за корсажа), третья, вот она, в той же самой бумаге, в которой мне ее дал Корнелиус, вместе с двумя другими луковичками, перед тем как идти на эшафот. Вот она, монсеньор, вот она!

И Роза, вынув из бумаги луковичку, протянула ее принцу, который взял ее в руки и стал рассматривать.

— Но, монсеньор, разве эта девушка не могла ее украсть так же, как и тюльпан? — бормотал Бокстель, испуганный тем вниманием, с каким принц рассматривал луковичку; а особенно его испугало то внимание, с которым Роза читала несколько строк, написанных на бумажке, которую она держала в руках. Неожиданно глаза молодой девушки загорелись, она, задыхаясь, прочла эту таинственную бумагу и, протягивая ее принцу, воскликнула:

— О, прочитайте ее, монсеньор, умоляю вас, прочитайте!

Вильгельм передал третью луковичку председателю, взял бумажку и стал читать.

Едва Вильгельм окинул взглядом листок, как он пошатнулся, рука его задрожала, и казалось, что он сейчас же выронит бумажку; в глазах его появилось выражение жестокого страдания и жалости.

Этот листок бумаги, который ему передала Роза, и был той страницей библии, которую Корнель де Витт послал в Дордрехт с Кракэ, слугой своего брата Яна де Витта, с просьбой к Корнелиусу сжечь переписку великого пенсионария с Лувуа.

Эта просьба, как мы помним, была составлена в следующих выражениях:

«Дорогой крестник, сожги пакет, который я тебе вручил, сожги его, не рассматривая, не открывая, чтобы

содержание его осталось тебе неизвестным. Тайны такого рода, какие он содержит, убивают его владельца. Сожги их, и ты спасешь Яна и Корнеля. Прощай и люби меня, Корнель де Витт. 20 августа 1672 г.»

Этот листок был одновременно доказательством невинности ван Берле и того, что он являлся владельцем луковичек тюльпана.

Роза и штатгальтер обменялись только одним взглядом.

Взгляд Розы как бы говорил: вот видите. Взгляд штатгальтера говорил: молчи и жди.

Принц вытер каплю холодного пота, которая скатилась с его лба на щеку. Он медленно сложил бумажку. А мысль его унеслась в ту бездонную пропасть, которую именуют раскаянием и стыдом за прошлое.

Потом он с усилием поднял голову и сказал:

— Прощайте, господин Бокстель. Будет поступлено по справедливости, я вам обещаю.

Затем, обратившись к председателю, он добавил:

— А вы, дорогой ван Систенс, оставьте у себя эту девушку и тюльпан. Прощайте.

Все склонились, и принц вышел сгорбившись, словно его подавляли шумные приветствия толпы.

Бокстель вернулся в «Белый лебедь» очень взволнованный. Бумажка, которую Вильгельм, взяв из рук Розы, прочитал, тщательно сложил и спрятал в карман, встревожила его.

XXVIII

Песня цветов

В то время, как происходили описанные нами события, несчастный ван Берле, забытый в своей камере в крепости Левештейн, многое терпел от Грифуса, который причинял ему все страдания, какие только может причинить тюремщик, решивший во что бы то ни стало сделаться палачом.

Грифус, не получая никаких известий от Розы и от Якоба, убедил себя в том, что случившееся с ним — проделка дьявола и что доктор Корнелнус ван Берле и был посланником этого дьявола на земле.

Вследствие этого в одно прекрасное утро, на третий день после исчезновения Розы и Якоба, Грифус поднялся в камеру Корнелиуса еще в большей ярости, чем обычно.

Корнелиус, опершись локтями на окно, опустив голову на руки, устремив взгляд в туманный горизонт, который разрезали своими крыльями дордрехтские мельницы, вдыхал свежий воздух, чтобы отогнать душившие его слезы и сохранить философски-спокойное настроение.

Голуби оставались еще там, но надежды уже не было, но будущее утонуло в неизвестности.

Увы, Роза под надзором и не сможет больше приходить к нему. Сможет ли она хотя бы писать? И если сможет, то удастся ли ей передавать свои письма?

Нет. Вчера и третьего дня он видел в глазах старого Грифуса слишком много ярости и злобы. Его бдительность никогда не ослабнет, так что Роза, помимо заключения, помимо разлуки, может быть, переживает еще большие страдания. Не станет ли этот зверь, негодяй, пьяница мстить ей? И, когда спирт ударит ему в голову, не пустит ли он в ход свою руку, слишком хорошо выправленную Корнелиусом, придавшим ей силу двух рук, вооруженных палкой?

Мысль о том, что с Розой, быть может, жестоко обращаются, приводила Корнелиуса в отчаяние. И он болезненно ощущал свое бессилие, свою бесполезность, свое ничтожество. И он задавал себе вопрос, праведен ли бог, посылающий столько несчастий двум невинным существам. И он терял веру, ибо несчастье не способствует вере.

Ван Берле принял твердое решение послать Розе письмо. Но где Роза?

Ему являлась мысль написать в Гаагу, чтобы заранее рассеять тучи, вновь сгустившиеся над его головой, вследствие доноса, который готовил Грифус.

Но чем написать?

Грифус отнял у него и карандаш и бумагу. К тому же, если бы у него было и то и другое, — то не Грифус же взялся бы переслать письмо.

Корнелиус сотни раз перебирал в своей памяти все хитрости, употребляемые заключенными. Он думал также и о бегстве, хотя эта мысль никогда не приходила ему в голову, пока он имел возможность ежедневно

видеться с Розой. Но чем больше он об этом размышлял, тем несбыточнее казался ему побег. Он принадлежал к числу тех избранных людей, которые питают отвращение ко всему обычному и часто пропускают в жизни удачные моменты только потому, что они не пошли бы по обычной дороге, по широкой дороге посредственных людей, которая приводит тех к цели.

«Как смогу я бежать из Левештейна,— рассуждал Корнелиус,— после того как отсюда некогда бежал Гроций? Не приняты ли все меры предосторожности после этого бегства? Разве не оберегаются окна? Разве не сделаны двойные и тройные двери? Не удесятирили ли свою бдительность часовые?»

Затем, помимо оберегаемых окон, двойных дверей, бдительных, как никогда, часовых, разве у меня нет неутомимого аргуса? И этот аргус, Грифус, тем более опасен, что он смотрит глазами ненависти.

Наконец, разве нет еще одного обстоятельства, которое парализует меня? Отсутствие Розы. Допустим, что я потрачу десять лет своей жизни, чтобы изготовить пилу, которой я мог бы перепилить решетку на окне, чтобы сплести веревку, по которой я спустился бы из окна, или приклеить к плечам крылья, на которых я улетел бы, как Дедал... Но я попал в полосу неудач. Пила иступится, веревка оборвется, мои крылья растают на солнце. Я расшибусь. Меня подберут хромым, одноруким, калеккой. Меня поместят в гаагском музее между окровавленным камзолом Вильгельма Молчаливого и морской сиреной, подобранной в Ставесене, и конечным результатом моего предприятия окажется только то, что я буду иметь честь находиться в музее среди диковинок Голландии. Впрочем, нет, может быть и лучший выход. В один прекрасный день Грифус сделает мне какую-нибудь очередную мерзость. Я теряю терпение с тех пор, как меня лишили радости свидания с Розой, и особенно с тех пор, как я потерял свои тюльпаны. Нет никакого сомнения, что рано или поздно Грифус нанесет оскорбление моему самолюбию, моей любви или будет угрожать моей личной безопасности. Со времени заключения я чувствую в себе бешеную, неудержимую, буйную мощь. Во мне зуд борьбы, жажда схватки, непонятное желание драться. Я наброшусь на старого мерзавца и задушу его!»

При последних словах Корнелиус на мгновение остановился, рот его кривила гримаса, взгляд был неподвижен.

Он обдумывал какую-то радовавшую его мысль.

«Да, раз Грифус будет мертв, почему бы и не взять у него тогда ключи? Почему бы тогда не спуститься с лестницы, словно я совершил самый добродетельный поступок?»

Почему тогда не пойти к Розе в комнату, рассказать о случившемся и не броситься вместе с ней через окно в Вааль?

Я прекрасно плаваю за двоих.

Роза? Но, боже мой, ведь Грифус ее отец! Как бы она ни любила меня, она никогда не простит мне убийства отца, как бы он ни был груб и жесток. Придется уговаривать ее, а в это время появится кто-нибудь из помощников Грифуса и, найдя того умирающим или уже задушенным, арестует меня. И я вновь увижу площадь Бюйтенгофа и блеск того жуткого меча: на этот раз он уже не задержится, а упадет на мою шею. Нет, Корнелиус, нет, мой друг, этого делать не надо, это плохой способ! Но что же тогда предпринять? Как разыскать Розу?»

Таковы были размышления Корнелиуса — через три дня после злосчастной сцены расставания с Розой — в тот момент, когда он стоял, как мы сообщили читателю, прислонившись к окну.

И в этот же момент вошел Грифус.

Он держал в руке огромную палку, его глаза блестели зловещим огоньком, злая улыбка искажала его губы, он угрожающе покачивался, и все его существо дышало злыми намерениями. Корнелиус, подавленный, как мы видели, необходимостью все претерпевать, слышал, как кто-то вошел, понял, кто это, но даже не обернулся. Он знал, что на этот раз позади Грифуса не будет Розы.

Нет ничего более неприятного для разгневанного человека, когда на его гнев отвечают полным равнодушием. Человек настроил себя надлежащим образом и не хочет, чтобы его настроение пропало даром. Он разгорячился, в нем бушует кровь, и он хочет вызвать хоть небольшую вспышку.

Всякий порядочный негодяй, который наточил свою злость, хочет по крайней мере нанести этим орудием кому-нибудь хорошую рану.

Когда Грифус увидел, что Корнелиус не трогается с места, он стал громко подкашливать.

— Гм, гм!

Корнелиус стал напевать сквозь зубы песню цветов, грустную, но очаровательную песенку:

«Мы дети сокровенного огня,
Огня, горящего внутри земли,
Мы рождены зарёю и росой,
Мы рождены водой,
Но ранее всего — мы дети неба».

Эта песня, грустный и спокойный мотив которой еще усиливал невозмутимую меланхолию Корнелиуса, вывела из терпения Грифуса:

— Эй, господин певец,— закричал он,— вы не слышите, что я вошел?

Корнелиус обернулся.

— Здравствуйте,— сказал он.

И он снова стал напевать:

«Страдая от людей, мы от любви их гибнем,
И тонкой ниточкой мы связаны с землей;
Та ниточка — наш корень, наша жизнь,
А руки мы вытягиваем к небу».

— Ах, проклятый колдун, я вижу, ты смеешься надо мной!— закричал Грифус.

Корнелиус продолжал:

«Ведь небо — наша родина; оттуда,
Как с родины, душа приходит к нам
И снова возвращается туда:
Душа, наш аромат, опять идет на небо».

Грифус подошел к заключенному.

— Но ты, значит, не видишь, что я захватил с собой хорошее средство, чтобы укротить тебя и заставить сознаться в твоих преступлениях?

— Вы что, с ума сошли, дорогой Грифус?— спросил, обернувшись, Корнелиус.

И, когда он увидел искаженное лицо, сверкающие глаза, брызжащий пеной рот старого тюремщика, он добавил:

— Черт побери, да мы как будто больше чем с ума сошли, мы просто взбесились!

Грифус замахнулся палкой.

Но ван Берле оставался невозмутимым.

— Ах, вот как, Грифус,— сказал он, скрестив на груди руки,— вы, кажется, мне угрожаете?

— Да, я угрожаю тебе!— кричал тюремщик.

— А чем?

— Ты посмотри раньше, что у меня в руках.

— Мне кажется,— сказал спокойно Корнелиус, что это у вас палка и даже большая палка. Но я не думаю, чтобы вы мне стали этим угрожать.

— А, ты этого не думаешь! А почему?

— Потому что всякий тюремщик, который ударит заключенного, подлежит двум наказаниям: первое, согласно параграфу IX правил Левештейна: «Всякий тюремщик, надзиратель или помощник тюремщика, который подымет руку на государственного заключенного, подлежит увольнению».

— Руку,— заметил вне себя от злости Грифус,— но не палку, палку!.. Устав об этом не говорит.

— Второе наказание,— продолжал Корнелиус,— которое не значится в уставе, но которое предусмотрено в евангелии, вот оно: «Взявший меч — от меча и погибнет», взявшийся за палку будет ею побит!..

Грифус, все более и более раздраженный спокойным и торжественным тоном Корнелиуса, замахнулся дубиной, но в тот момент, когда он ее поднял, Корнелиус выхватил ее из его руки и взял себе под мышку.

Грифус рычал от злости.

— Так, так, милейший,— сказал Корнелиус,— не рискуйте своим местом.

— А, колдун,— рычал Грифус,— ну, подожди, я тебя доконаю иначе!

— В добрый час!

— Ты видишь, что в моей руке ничего нет?

— Да, я это вижу и даже с удовольствием.

— Но ты знаешь, что обычно она не бывает пуста, когда я по утрам поднимаюсь по лестнице.

— Да, обычно вы мне приносите самую скверную похлебку или самый жалкий обед, какой только можно себе представить. Но для меня это совсем не пытка; я питаюсь только хлебом, а чем хуже хлеб на твой вкус. Грифус, тем вкуснее он для меня.

— Тем он вкуснее для тебя?

— Да.

— Почему?

— О, это очень просто.

— Тогда скажи: почему?

— Охотно; я знаю, что, давая мне скверный хлеб, ты этим хочешь заставить страдать меня.

— Да, действительно, я даю его не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, негодяй!

— Ну, что же, как тебе известно, я колдун, и я превращаю твой скверный хлеб в самый лучший, который доставляет мне удовольствие больше всякого пряника. Таким образом я ощущаю двойную радость: во-первых, оттого, что я ем хлеб по своему вкусу, во-вторых оттого, что привожу тебя в ярость.

Грифус проревел от бешенства:

— Ах, так ты, значит, сознаешься, что ты колдун?

— Черт побери, конечно, я колдун. Я об этом только не говорю при людях, потому что это может привести меня на костер, но, когда мы только вдвоем, почему бы мне не признаться тебе в этом?

— Хорошо, хорошо, хорошо,— ответил Грифус:— но если колдун превращает черный хлеб в белый, то не умирает ли этот колдун с голоду, когда у него совсем нет хлеба?

— Что, что?— спросил Корнелиус.

— А то, что я тебе совсем не буду приносить хлеба, и посмотрим, что будет через неделю.

Корнелиус побледнел.

— И мы начнем это,— продолжал Грифус,— с сегодняшнего же дня. Раз ты такой колдун, то превращай в хлеб обстановку своей камеры; что касается меня, то я буду ежедневно экономить те восемнадцать су, которые отпускают на твое содержание.

— Но ведь это же убийство!— закричал Корнелиус, вспыхнув при первом приступе ужаса, который охватил его, когда он подумал о столь страшной смерти.

— Ничего,— продолжал Грифус, поддразнивая его,— ничего, раз ты колдун, ты, несмотря ни на что, останешься в живых.

Корнелиус опять перешел на свой насмешливый тон и, пожимая плечами, сказал:

— Разве ты не видел, как я заставил дордрехтских голубей прилетать сюда?

— Ну, так что же? — сказал Грифус.

— А то, что голуби — прекрасное блюдо. Человек, который будет съедать ежедневно по голубю, не умрет с голоду, как мне кажется.

— А огонь? — спросил Грифус.

— Огонь? Но ведь ты же знаешь, что я вошел в сделку с дьяволом. Неужели ты думаешь, что дьявол оставит меня без огня?

— Каким бы здоровьем человек ни обладал, он все же не сможет питаться одними голубями. Бывали и такие пари, но их всегда проигрывали.

— Ну, так что же, — сказал Корнелиус, — когда мне надоедят голуби, я стану питаться рыбой из Вааля и Мааса.

Грифус широко раскрыл испуганные глаза.

— Я очень люблю рыбу, — продолжал Корнелиус: — ты мне ее никогда не подаешь. Но что же, я воспользуюсь тем, что ты хочешь уморить меня голодом, и полакомлюсь рыбой.

Грифус чуть было не упал в обморок от злости и страха.

Но он сдержал себя, сунул руку в карман и сказал:

— Раз ты меня вынуждаешь, так смотри же!

И он вынул из кармана нож и открыл его.

— А, нож, — сказал Корнелиус, становясь в оборонительную позу с палкой в руках.

XXIX

В которой ван Берле, раньше чем покинуть Левештейн, сводит счеты с Грифусом

И они оба стояли какой-то момент неподвижно, один готовый нападать, другой — обороняться.

Но ввиду того, что такое положение могло продолжаться бесконечно, Корнелиус решил выпытать у своего противника причину его бешенства.

— И так, чего же вы еще хотите? — спросил он.

— Я тебе скажу, чего я еще хочу, — ответил Грифус: — я хочу, чтобы ты мне вернул мою дочь Розу.

— Вашу дочь? — воскликнул Корнелиус.

— Да, Розу, которую ты похитил у меня своими дьявольскими уловками. Послушай, скажи, где она?

И Грифус принимал все более и более угрожающую позу.

— Розы нет в Левештейне!— опять воскликнул Корнелиус.

— Ты это прекрасно знаешь. Я тебя еще раз спрашиваю: вернешь ты мне дочь?

— Ладно,— ответил Корнелиус:— ты расставляешь мне западню.

— В последний раз: ты скажешь мне, где моя дочь?

— Угадай сам, мерзавец, если ты этого не знаешь.

— Подожди, подожди,— рычал Грифус, бледный, с перекошенным от охватившего его безумия ртом!— А, ты ничего не хочешь сказать? Тогда я заставлю тебя говорить!

Он сделал шаг к Корнелиусу, показывая сверкавшее в его руках оружие.

— Ты видишь этот нож; я зарезал им более пятидесяти черных петухов и так же, как я их зарезал, я зарежу их хозяина — дьявола; подожди, подожди!

— Ах ты, подлец,— сказал Корнелиус,— ты действительно хочешь меня зарезать?

— Я хочу вскрыть твое сердце, чтобы увидеть, куда ты прядешь мою дочь.

И, произнося эти слова, Грифус, в охватившем его безумии, бросился на Корнелиуса, который еле успел спрятаться за столом, чтобы избежать первого удара.

Грифус размахивал своим большим ножом, изрыгая угрозы.

Корнелиус сообразил, что если Грифусу до него нельзя достать рукой, то вполне можно достать оружием. Пущенный в него нож мог свободно пролететь разделявшее их пространство и пронзить ему грудь; и он, не теряя времени, со всего размаха ударил палкой по руке Грифуса, в которой зажат был нож. Нож упал на пол, и Корнелиус наступил на него ногой.

Затем, так как Грифус, возбужденный и болью от удара палкой и стыдом от того, что его дважды обезоружили, решил, казалось, на беспощадную борьбу, Корнелиус решил на крайние меры.

Он с героическим хладнокровием стал осыпать ударами своего тюремщика, выбирая при каждом ударе место, на которое опустить дубину.

Грифус вскоре запросил пощады.

Но раньше чем просить пощады, он кричал и кричал очень громко. Его крики были услышаны и подняли на ноги всех служащих тюрьмы. Два ключаря, один надзиратель и трое или четверо стражников внезапно появились и застали Корнелиуса на месте преступления — с палкой в руках и ножом под ногами.

При виде свидетелей его преступных действий, которым смягчающие обстоятельства, как сейчас говорят, не были известны, Корнелиус почувствовал себя окончательно погибшим.

Действительно, все данные были против него.

Корнелиус в один миг был обезоружен, а Грифуса заботливо подняли с пола и поддержали, так что он мог, рыча от злости, подсчитать ушибы, которые буграми вздулись на его плечах и спине.

Тут же на месте был составлен протокол о нанесении заключенным ударов тюремщику. Протокол, подсказанный Грифусом, трудно было бы упрекнуть в мягкости. Речь шла не больше не меньше, как о покушении на убийство тюремщика с заранее обдуманном намерением и об открытом мятеже.

В то время, как составляли акт против Корнелиуса, два привратника унесли избитого и стонущего Грифуса в его помещение, так как после данных им показаний присутствие его было уже излишне.

Схватившие Корнелиуса стражники посвятили его в правила и обычаи Левештейна, которые он, впрочем, и сам знал не хуже их, так как во время его прибытия в тюрьму ему прочли эти правила, некоторые параграфы которых сильно врезались ему в память.

Стражники, между прочим, рассказали ему, как эти правила в 1668 году, то есть пять лет тому назад, были применены к одному заключенному по имени Матиас, который совершил преступление гораздо менее тяжелое, чем преступление Корнелиуса.

Матиас нашел, что его похлебка слишком горяча, и вылил ее на голову начальнику стражи, который, после такого омовения, имел неприятность, вытирая лицо, снять с него и часть кожи.

Спустя двенадцать часов Матиаса вывели из его камеры. Затем его провели в тюремную контору, где отметили, что он выбыл из Левештейна.

Затем его провели на площадь перед крепостью, откуда открывается чудесный вид на расстояние в одиннадцать лье.

Здесь ему связали руки.

Затем завязали глаза, велели прочитать три молитвы. Затем ему предложили стать на колени, и левештейнские стражники, в количестве двенадцати человек, по знаку сержанта, ловко всадили в его тело по одной пуле из своих мушкетов, от чего Матиас тотчас же пал мертвым.

Корнелиус слушал этот неприятный рассказ с большим вниманием.

— А,— сказал он, выслушав его,— вы говорите: спустя двенадцать часов?

— Да, мне кажется даже, что полных двенадцати часов и не прошло,— ответил рассказчик.

— Спасибо,— сказал Корнелиус.

Еще не успела сойти с лица стражника сопровождавшая его рассказ любезная улыбка, как на лестнице раздались громкие шаги.

Шпоры звонко ударяли о стертые края ступеней.

Стража посторонилась, чтобы дать проход офицеру.

Когда офицер вошел в камеру Корнелиуса, писец Левештейна продолжал еще составлять протокол.

— Это здесь номер одиннадцатый?— спросил офицер.

— Да, полковник,— ответил унтер-офицер.

— Значит, здесь камера заключенного Корнелиуса ван Берле.

— Точно так, полковник.

— Где заключенный?

— Я здесь, сударь,— ответил Корнелиус, чуть побледнев, несмотря на свое мужество.

— Вы Корнелиус ван Берле?— спросил полковник, обратившись на этот раз непосредственно к заключенному.

— Да, сударь.

— В таком случае следуйте за мной.

— О,— прошептал Корнелиус, у которого сердце защемило предсмертной тоской.— Как быстро делаются дела в Левештейне, а этот чудак говорил мне о двенадцати часах.

— Ну, вот видите, что я вам говорил,— прошептал на ухо осужденному стражник, столь сведущий в истории Левештейна.

— Вы солгали.

— Как так?

— Вы обещали мне двенадцать часов.

— Ах да, но к вам прислали адъютанта его высочества, притом одного из самых приближенных, господина ван Декена. Такой чести, черт побери, не оказали бедному Матиасу.

— Ладно, ладно,— заметил Корнелиус, стараясь поглубже вздохнуть,— ладно, покажем этим людям, что крестник Корнеля де Витта может, не поморщившись, принять столько же пуль из мушкета, сколько их получил какой-то Матиас.

И он гордо прошел перед писцом, который решился сказать офицеру, оторвавшись от своей работы:

— Но, полковник ван Декен, протокол еще не закончен.

— Да его и не к чему кончать.

— Хорошо,— ответил писец, складывая с философским видом свои бумаги и перо в потертый и засаленный портфель.

«Мне не было дано судьбой,— подумал Корнелиус,— завещать в этом мире свое имя ни ребенку, ни цветку, ни книге». И мужественно, с высоко поднятой головой последовал он за офицером.

Корнелиус считал ступени, которые вели к площади, сожалея, что не спросил у стражника, сколько их должно быть. Тот в своей услужливой любезности, конечно, и не замедлил бы сообщить ему это.

Только одного боялся приговоренный во время своего пути, на который он смотрел как на конец своего великого путешествия, именно — что он увидит Грифуса и не увидит Розы. Какое злорадное удовлетворение должно загореться на лице отца! Какое страдание — на лице дочери!

Как будет радоваться Грифус казни, этой дикой мести за справедливый в высшей степени поступок, совершить который Корнелиус считал своим долгом.

Но Роза, бедная девушка! Что, если он ее не увидит, если он умрет, не дав ей последнего поцелуя или по

крайней мере не послав последнего «прости»! Неужели он умрет, не получив никаких известий о большом черном тюльпане?

Нужно было иметь много мужества, чтобы не разрыдаться в такой момент.

Корнелиус смотрел направо, Корнелиус смотрел налево, но он дошел до площади, не увидев ни Розы, ни Грифуса.

Он был почти удовлетворен.

На площади Корнелиус стал усиленно искать глазами стражников, своих палачей, и действительно увидел дюжину солдат, которые стояли вместе и разговаривали. Стояли вместе и разговаривали, но без мушкетов; стояли вместе и разговаривали, но не выстроенные в шеренгу. Они скорее шептались, чем разговаривали, — поведение, показавшееся Корнелиусу недостойным той торжественности, какая обычно бывает перед такими событиями.

Вдруг, хромя, пошатываясь, опираясь на костыль, появился из своего помещения Грифус. Взгляд его старых серых кошачьих глаз зажегся в последний раз ненавистью. Он стал теперь осыпать Корнелиуса потоком гнусных проклятий; ван Берле вынужден был обратиться к офицеру:

— Сударь, — сказал он, — я считаю недостойным позволять этому человеку так оскорблять меня, да еще в такой момент.

— Послушайте-ка, — ответил офицер смеясь, — да ведь вполне понятно, что этот человек зол на вас; вы, говорят, здорово избили его?

— Но, сударь, это же было при самозащите.

— Ну, — сказал офицер, философски пожимая плечами, — пусть он говорит. Не все ли вам теперь равно?

Холодный пот выступил у Корнелиуса на лбу, когда он услышал этот ответ, который воспринял как иронию, несколько грубую, особенно со стороны офицера, приближенного, как говорили, к особе принца.

Несчастный понял, что у него нет больше никакой надежды, что у него нет больше друзей, и он покорился своей участи.

— Пусть так, — прошептал он, склонив голову.

Затем он обратился к офицеру, который, казалось, любезно выжидал, пока он кончит свои размышления.

— Куда же, сударь, мне теперь идти?— спросил он.

Офицер указал ему на карету, запряженную четверкой лошадей, сильно напоминавшую ему ту карету, которая при подобных же обстоятельствах уже раз бросилась ему в глаза в Бюйтенгофе.

— Садитесь в карету,— сказал офицер.

— О, кажется, мне воздадут почести на крепостной площади.

Корнелиус произнес эти слова настолько громко, что стражник, который, казалось, был приставлен к его персоне, услышал их. По всей вероятности, он счел своим долгом дать Корнелиусу новое разъяснение, так как подошел к дверце кареты, и, пока офицер, стоя на подножке, делал какие-то распоряжения, он тихо сказал Корнелиусу:

— Бывали и такие случаи, когда осужденных привозили в родной город и, чтобы пример был более наглядным, казнили у дверей их дома. Это зависит от обстоятельств.

Корнелиус в знак благодарности кивнул головой. Затем подумал про себя: «Ну, что же, слава богу, есть хоть один парень, который не упускает случая сказать вовремя слово утешения».

— Я вам очень благодарен, мой друг, прощайте. Карета тронулась.

— Ах, негодяй, ах, мерзавец! — вопил Грифус, показывая кулаки своей жертве, ускользнувшей от него.— Он все же уезжает, не вернув мне дочери.

«Если меня повезут в Дордрехт,— подумал Корнелиус,— то, проезжая мимо моего дома, я увижу, разорены ли мои бедные грядки».

XXX

*Где начинают сомневаться, к какой казни
был приговорен Корнелиус ван Берле*

Карета ехала целый день. Она оставила Дордрехт слева, пересекла Роттердам и достигла Дельфта. К пяти часам вечера проехали по крайней мере, двадцать лье.

Корнелиус обращался с несколькими вопросами к офицеру, служившему ему одновременно и стражей



и спутником, но, несмотря на всю осторожность этих вопросов, они, к его огорчению, оставались без ответа.

Корнелиус сожалел, что с ним не было того стражника, который так охотно говорил, — не заставляя себя просить. Он, по всей вероятности, и на этот раз сообщил бы ему такие же приятные подробности и дал бы такие же точные объяснения, как и в первых двух случаях.

Карета ехала и ночью. На другой день, на рассвете, Корнелиус был за Лейденом, и по левую сторону его находилось Северное море, а по правую залив Гаарлема.

Три часа спустя они въехали в Гаарлем.

Корнелиус ничего не знал о том, что произошло за это время в Гаарлеме, и мы оставим его в этом неведении, пока сами события не откроют ему случившегося.

Но мы не можем таким же образом поступить и с читателем, который имеет право быть обо всем осведомленным, даже раньше нашего героя.

Мы видели, что Роза и тюльпан, как брат с сестрой или как двое сирот, были оставлены принцем Вильгельмом Оранским у председателя ван Систенса. До самого вечера Роза не имела от штатгальтера никаких известий.

Вечером к ван Систенсу пришел офицер; он пришел пригласить Розу от имени его высочества в городскую ратушу. Там ее провели в зал совещаний, где она застала принца, который что-то писал.

Принц был один. У его ног лежала большая фрисландская борзая. Верное животное так пристально смотрело на него, словно пыталось сделать то, чего не смог еще сделать ни один человек: прочесть мысли своего господина.

Вильгельм продолжал еще некоторое время писать, потом поднял глаза и увидел Розу, стоявшую в дверях.

— Подойдите, мадемуазель, — сказал он, не переставая писать.

Роза сделала несколько шагов по направлению к столу.

— Монсеньор, — сказала она, остановившись.

— Хорошо, садитесь.

Роза подчинилась, так как принц смотрел на нее. Но, как только он опустил глаза на бумагу, она смущенно

поднялась с места. Принц кончал свое письмо. В это время собака подошла к Розе и стала ее ласково обнюхивать.

— А,— сказал Вильгельм своей собаке,— сейчас видно, что это твоя землячка; ты узнал ее.

Затем он обратился к Розе, устремив на нее испытующий, задумчивый взгляд.

— Послушай, дочь моя,— сказал он.

Принцу было не больше двадцати трех лет, а Розе восемнадцать или двадцать; он вернее мог бы сказать: «сестра моя».

— Дочь моя,— сказал он тем странно строгим тоном, от которого цепенели все встречавшиеся с ним,— мы сейчас наедине, давай поговорим.

Роза задрожала всем телом, несмотря на то, что у принца был очень благожелательный вид.

— Монсеньор...— пролепетала она.

— У вас отец в Левештейне?

— Да, монсеньор.

— Вы его не любите?

— Я не люблю его, монсеньор, по крайней мере, так, как дочь должна бы любить своего отца.

— Нехорошо, дочь моя, не любить своего отца, но хорошо говорить правду своему принцу.

Роза опустила глаза.

— А за что вы не любите вашего отца?

— Мой отец очень злой человек.

— В чем же он проявляет свою злость?

— Мой отец дурно обращается с заключенными.

— Со всеми?

— Со всеми.

— Но можете вы его упрекнуть в том, что он особенно дурно обращается с одним из них?

— Мой отец особенно дурно обращается с господином ван Берле, который...

— Который ваш возлюбленный?

Роза отступила на один шаг.

— Которого я люблю, монсеньор,— гордо ответила она.

— Давно уже? — спросил принц.

— С того дня, как я его увидела.

— А когда вы его увидели?

— На другой день после ужасной смерти великого пенсионария Яна и его брата Корнеля.

Принц сжал губы, нахмурил лоб и опустил веки, чтобы на миг спрятать свои глаза. Через секунду молчания он продолжал:

— Но какой смысл вам любить человека, который обречен на вечное заключение и смерть в тюрьме?

— А тот смысл, монсеньор, что, если он обречен свою жизнь провести в тюрьме и там же умереть, я смогу облегчить ему там и жизнь и смерть.

— А вы согласились бы быть женой заключенного?

— Я была бы самым гордым и счастливым существом в мире, если бы я была женой ван Берле, но...

— Но что?

— Я не решаюсь сказать, монсеньор.

— В вашем тоне слышится надежда; на что вы надеетесь?

Она подняла свои ясные глаза, такие умные и пронизательные, и всколыхнула милосердие, спавшее мертвым сном в самой глубине этого темного сердца.

— А я понял.

Роза улыбнулась, сложив умоляюще руки.

— Вы надеетесь на меня? — сказал принц.

— Да, монсеньор.

— А!

Принц запечатал письмо, которое он только что написал, и позвал одного из офицеров.

— Господин ван Декен, — сказал он, — свезите в Левештейн вот это послание. Вы прочтете распоряжение, которое я даю коменданту, и выполните все, что касается вас лично.

Офицер поклонился, и вскоре под гулками сводами ратуши раздался лошадиный топот.

— Дочь моя, — сказал принц, — в воскресенье будет праздник тюльпанов; воскресенье — послезавтра. Вот вам пятьсот флоринов, нарядитесь на эти деньги, так как я хочу, чтобы этот день был для вас большим праздником.

— А в каком наряде ваше высочество желает меня видеть? — прошептала Роза.

— Оденьтесь в костюм фрисландской невесты, — сказал Вильгельм, — он будет вам очень к лицу.

Гаарлем

Гаарлем, в который мы входили три дня тому назад с Розой и в который мы сейчас вошли вслед за заключенным,— красивый город, имеющий полное право гордиться тем, что он самый тенистый город Голландии.

В то время, как другие города стремились блистать арсеналами, верфями, магазинами и рынками, Гаарлем славился среди всех городов Соединенных провинций своими прекрасными, пышными вязами, стройными тополями и главным образом своими тенистыми аллеями, над которыми шатровым сводом раскидывались кроны дубов, лип и каштанов.

Гаарлем, видя, что его сосед Лейден и царственный Амстердам стремятся стать один — городом науки, другой — столицей коммерции,— Гаарлем решил стать центром земледелия или, вернее, центром садоводства. И действительно, хорошо защищенный от ветров, хорошо согреваемый солнцем, он давал садовникам те преимущества, которых не мог бы им предоставить ни один другой город, обвеваемый морскими ветрами или опаляемый на равнине солнцем.

И в Гаарлеме обосновались люди со спокойным характером, с тяготением к земле и ее дарам, тогда как в Амстердаме и Роттердаме жили люди беспокойные, подвижные, любящие путешествия и коммерцию, а в Гааге — все политики и общественные деятели.

Мы говорим, что Лейден был городом науки. Гаарлем же проникся любовью к изящным вещам — к музыке, живописи, к фруктовым садам, аллеям, лесам и цветникам. Гаарлем до безумия полюбил цветы и среди них больше всего — тюльпаны.

И, как вы видите, мы совершенно естественным путем подходим к описанию того момента, когда город Гаарлем готовился — 15 мая 1673 года — вручить премию в сто тысяч флорнов тому, кто вырастил большой черный тюльпан без пятен и недостатков.

Выявив свою специальность, заявив во всеуслышание о своей любви к цветам вообще и в особенности к тюльпанам в эту эпоху войн и восстаний, Гаарлем почувствовал неопишуемую радость, достигнув идеала своих стремлений, с полным правом приписывая себе величайшую честь того, что при его участии был

взращен и расцвел идеальный тюльпан. И Гаарлем, этот красивый город, полный зелени и солнца, тени и света, Гаарлем пожелал превратить церемонию вручения награды в праздник, который навсегда сохранился бы в памяти потомства.

И он имел на это тем большее право, что Голландия — страна празднеств. Никогда ни один из самых ленивых народов мира не производил столько шума, не пел и не плясал с таким жаром, как это все проделывали добрые республиканцы Семи провинций во время своих увеселений.

Для того, чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть на картины обоих Тенирсов. Известно, что ленивые люди больше других склонны утомлять себя, но только не работой, а развлечениями.

Итак, Гаарлем переживал тройную радость; он готовился отпраздновать тройное торжество: во-первых, был выращен черный тюльпан; во-вторых, на торжестве присутствовал, как истый голландец, принц Вильгельм Оранский. Наконец, после разорительной войны 1672 года являлось вопросом государственной чести показать французам, что фундамент Батавской республики настолько прочен, что на нем можно плясать под аккомпанемент морских орудий.

Общество садоводов Гаарлема оказалось на должной высоте, жертвуя сто тысяч флориннов за луковницу тюльпана. Город не пожелал отстать от него и ассигновал такую же сумму для организации праздника в честь присуждения премии.

И вот, воскресенье, назначенное для этой церемонии, стало днем народного ликования. Необыкновенный энтузиазм охватил горожан. Даже те, кто обладал насмешливым характером французов, привыкших вышучивать всех и вся, не могли не восхищаться этими славными голландцами, готовыми с одинаковой легкостью тратить деньги на сооружение корабля для борьбы с врагами, то есть для поддержания национальной чести, и на вознаграждение за открытие нового цветка, которому суждено было блистать один день и развлекать в течение этого дня женщин, ученых и любопытных.

Во главе представителей города и комитета садоводов блистал господин ван Систенс, одетый

в самое лучшее свое платье. Этот достойный человек употребил все усилия, чтобы походить изяществом темного и строгого одеяния на свой любимый цветок, и поторопился добавить, что он успешно достиг этого. Черный стеклярус, синий бархат, темно-фиолетовый шелк, в сочетании с ослепительной чистоты бельем — вот что входило в церемониальный костюм председателя, который шел во главе комитета с огромным букетом в руках.

Позади комитета, пестрого, как лужайка, ароматного, как весна, шли по порядку ученые общества города, магистратура, военные, представители дворянства и крестьянства. Что же касается народной массы, то даже у господ республиканцев Семи провинций она не имела своего места в этой процессии: ей предоставлялось глазеть на нее, тесясь по бокам.

Впрочем, это лучшее место и для созерцания и для действия. Это место народных толп, которые ждут, пока пройдет триумфальное шествие, чтобы знать, что надо в связи с ним сделать.

На этот раз не было речи о триумфе Помпея или Цезаря. На этот раз не праздновали ни поражения Митридата, ни покорения Галлии. Процессия была спокойная, как шествие стада овец по земле, безобидная, как полет птиц в воздухе.

В Гаарлеме победителями были только садовники. Обожая цветы, Гаарлем обожествлял цветоводов.

Посреди мирного, раздушенного шествия возвышался черный тюльпан, который несли на носилках, покрытых белым бархатом с золотой бахромой. Четыре человека, время от времени сменяясь, несли носилки, подобно тому, как в свое время в Риме сменялись те, которые несли изображение Великой Матери Кибелы, когда ее доставили из Этрурии и она торжественно под звуки труб и при общем поклонении вступала в вечный город.

Было условлено, что принц-штатгальтер сам вручит премию в сто тысяч флоринов, — на что всем вообще интересно было поглядеть, — и что он, может быть, произнесет речь, а это особенно интересовало его и друзей и врагов. Известно, что в самых незначительных речах политических деятелей их друзья или враги всегда пытаются обнаружить и так или иначе истолковать какие-либо важные намеки.

Наконец наступил столь долгожданный великий день — 15 мая 1673 года; и весь Гаарлем, да к тому же еще и со своими окрестностями, выстроился вдоль прекрасных аллей с твердым намерением рукоплескать на этот раз не военным и не великим ученым, а просто победителям природы, которые заставили эту неистощимую мать породить считавшееся дотоле невозможным — черный тюльпан.

Но намеренные толпы что-либо или кого-либо приветствовать часто бывает неустойчиво. И когда город готовится рукоплескать или свистать, он никогда не знает, на чем он остановится.

Итак, сначала рукоплескали ван Систенсу и его букету, рукоплескали своим корпорациям, рукоплескали самим себе. И, наконец, вполне заслуженно на этот раз, рукоплескали прекрасной музыке, которая усердно играла при каждой остановке.

Но после первого героя торжества, черного тюльпана, все глаза искали героя праздника, который был творцом этого тюльпана.

Если бы герой появился после столь тщательно подготовленной речи славного ван Систенса, он, конечно, произвел бы большее впечатление, чем сам штатгальтер. Но для нас интерес дня заключается не в почтенной речи нашего друга ван Систенса, как бы красноречива она ни была, и не в молодых разряженных аристократах, жующих свои сдобные пироги, и не в бедных полуголых плебейх, грызущих копченых угрей, похожих на палочки ванили. Нам интересны даже не эти прекрасные голландки с розовыми щечками и белой грудью, и не толстые и приземистые мингеры, никогда раньше не покидавшие своих домов, и не худые и желтые путешественники, прибывшие с Цейлона и Явы, и не возбужденный простой народ, поедавший для освежения соленые огурцы. Нет, для нас весь интерес положения, главный, подлинный, драматический интерес сосредоточился не тут.

Для нас интерес заключается в некой личности, сияющей и оживленной, шествующей среди членом комитета садоводов; интерес заключается в этой личности, разряженной, причесанной, напوماженной, одетой во все красное, — цвет, особенно оттеняющий ее черные волосы и желтый цвет лица.

Этот ликующий, опьяненный восторгом триумфатор, этот герой дня, которому суждена великая честь затмить собою и речь ван Систенса и присутствие штатгальтера, — Исаак Бокстель. И он видит, как перед ним, справа несут на бархатной подушке черный тюльпан, его мнимое детище, а слева — большой мешок со ста тысячами флоринов, прекрасными, блестящими золотыми монетами, и он готов совершенно скосить глаза, чтобы не потерять из виду ни того, ни другого.

Время от времени Бокстель ускоряет шаги, чтобы коснуться локтем локтя ван Систенса. Бокстель старается заимствовать у каждого частицу его достоинства, чтобы придать себе цену, так же, как он украл у Розы ее тюльпан, чтобы приобрести себе славу и деньги.

Пройдет еще только четверть часа, и прибудет принц. Кorteж должен сделать последнюю остановку. Когда тюльпан будет вознесен на свой трон, то принц, уступающий место в сердце народа своему сопернику, возьмет великолепно разрисованный пергамент, на котором написано имя создателя тюльпана, и громким ясным голосом объявит, что совершилось чудо, что Голландия в лице его, Бокстеля, заставила природу создать черный цветок и что этот цветок будет впредь называться *Tulipa nigra Voxtellea*. Время от времени Бокстель отрывает на момент свой взгляд от тюльпана и мешка с деньгами и робко смотрит в толпу, так как опасается увидеть там бледное лицо прекрасной фрисландки.

Вполне понятно, что этот призрак нарушил бы его праздник, так же как призрак Банко нарушил праздник Макбета.

И поспешим добавить, этот презренный человек, перебравшийся через стену, и притом не через собственную стену, влезший в окно, чтобы войти в квартиру своего соседа, забравшийся при помощи поддельного ключа в комнату Розы, — этот человек, который украл славу у мужчины и приданое — у женщины, не считал себя вором.

Он столько волновался из-за тюльпана, он так тщательно следил за ним от ящика в сушильне Корнелиуса до Бюйтенгофского эшафота, от Бюйтенгофского эшафота до тюрьмы в Левештейнской крепости, он так хорошо видел, как тюльпан родился и вырос на окне Розы, он столько раз разогревал своим дыханием воздух вокруг него, что никто не мог быть

владельцем тюльпана с большим правом, чем он. Если бы у него сейчас отняли черный тюльпан, это, безусловно, было бы кражей.

Но он нигде не замечал Розы. И, таким образом, радость Бокстея не была омрачена.

Кортеж остановился в центре круглой площадки, великолепные деревья которой были разукрашены гирляндами и надписями. Кортеж остановился под звуки громкой музыки, и молодые девушки Гаарлема вышли вперед, чтобы проводить тюльпан до высокого пьедестала, на котором он должен был красоваться рядом с золотым креслом его высочества штатгальтера. И гордый тюльпан, возвышающийся на своем пьедестале, вскоре овладел всем собранием, которое захолопало в ладоши, и громкие рукоплескания раздалось по всему Гаарлему.

XXXII

Последняя просьба

В этот торжественный момент, когда раздавались громкие рукоплескания, по дороге вдоль парка ехала карета. Она продвигалась вперед медленно, так как спешившие женщины и мужчины вытесняли из аллеи на дорогу много детей.

В этой запыленной, потрепанной, скрипящей на осях карете ехал несчастный ван Берле. Он смотрел в открытую дверцу кареты, и перед ним стало разворачиваться зрелище, которое мы пытались весьма несовершенно обрисовать нашему читателю. Толпа, шум, эта пышность роскошно одетых людей и природы ослепили заключенного, словно молния, ударившая в его камеру.

Несмотря на нежелание спутника отвечать на вопросы Корнелиуса об ожидающей его участи, Корнелиус все же попробовал в последний раз спросить его, что значит все это шумное зрелище, которое, как ему сразу показалось, совсем не касается его лично.

— Что все это значит, господин полковник? — спросил он сопровождавшего его офицера.

— Как вы можете сами видеть, сударь, это празднество.

— А, празднество,— сказал Корнелнус мрачным, безразличным тоном человека, для которого в этом мире уже давно не существовало никакой радости.

Через несколько секунд, когда карета продвинулась немного вперед, он добавил:

— Престольный праздник города Гаарлема, по всей вероятности? Я вижу много цветов.

— Да, действительно, сударь, это праздник, на котором цветы играют главную роль.

— О, какой нежный аромат, о, какие дивные краски! — воскликнул Корнелиус.

Офицер, подчиняясь внезапному приступу жалости, приказал солдату, заменявшему кучера:

— Остановитесь, чтобы господин мог посмотреть.

— О, благодарю вас, сударь, за любезность,— сказал печально ван Берле,— но в моем положении очень тяжело смотреть на чужую радость. Избавьте меня от этого, я вас очень прошу.

— К вашим услугам, сударь. Тогда едем дальше. Я приказал остановиться потому, что вы меня об этом просили, и затем вы считались большим любителем цветов и в особенности тех, в честь которых устроено сегодня празднество.

— А в честь каких цветов празднество, сударь?

— В честь тюльпанов.

— В честь тюльпанов!— воскликнул ван Берле.— Сегодня праздник тюльпанов?

— Да, сударь, но раз это зрелище вам неприятно, поедем дальше.

И офицер хотел дать распоряжение продолжать путь.

Но Корнелиус остановил его. Мучительное сомнение промелькнуло в его голове.

— Сударь,— спросил он дрожащим голосом,— не сегодня ли выдают премию?

— Да, премию за черный тюльпан.

Щеки Корнелиуса покрылись краской, по его телу пробежала дрожь, на лбу выступил пот. Затем, подумав о том, что без него и без тюльпана праздник, конечно, не удастся, он заметил:

— Увы, все эти славные люди будут так же огорчены, как и я, ибо они не увидят того зрелища, на которое были приглашены, или, во всяком случае, они увидят его неполным.

— Что вы этим хотите сказать, сударь?

— Я хочу сказать,— ответил Корнелиус, откинувшись в глубину кареты,— я хочу сказать, что никогда никем, за исключением только одного человека, которого я знаю, не будет открыта тайна черного тюльпана.

— В таком случае, сударь, тот, кого вы знаете, открыл уже эту тайну. Гаарлем созерцает сейчас тот цветок, который, по вашему мнению, еще не взращен.

— Черный тюльпан! — воскликнул, высунувшись наполовину из кареты, ван Берле.— Где он? Где он?

— Вон там, на пьедестале, вы видите?

— Я вижу.

— Теперь, сударь, надо ехать дальше.

— О, сжальтесь, смилуйтесь, сударь,— сказал ван Берле,— не увозите меня. Позвольте мне еще посмотреть на него. Как, неужели то, что я вижу там, это и есть черный тюльпан? Совершенно черный... возможно ли? Сударь, вы видели его? На нем, по всей вероятности, пятна, он, по всей вероятности, несовершенный, он, быть может, только слегка окрашен в черный цвет. О, если бы я был поближе к нему, я смог бы определить, я смог бы сказать это, сударь! Разрешите мне сойти, сударь, разрешите мне посмотреть его поближе. Я вас очень прошу.

— Да вы с ума сошли, сударь,— разве я могу?

— Я умоляю вас!

— Но вы забываете, что вы арестант.

— Я арестант, это правда, но я человек чести. Клянусь вам честью, сударь, что я не сбегу; я не окажу никакой попытки к бегству; разрешите мне только посмотреть на цветок, умоляю вас.

— А мои предписания, сударь?

И офицер снова сделал движение, чтобы приказать солдату тронуться в путь.

Корнелиус снова остановил его.

— О, подождите, будьте великодушны. Вся моя жизнь зависит теперь от вашего сострадания. Увы, мне теперь, сударь, по-видимому, осталось недолго жить. О, сударь, вы себе не представляете, как я страдаю! Вы себе не представляете, сударь, что творится в моей голове и моем сердце! Ведь это, быть может,— сказал с отчаянием Корнелиус,— мой тюльпан, тот тюльпан, который украли у Розы. О, сударь, понимаете ли вы, что значит вырастить черный тюльпан, видеть его только

одну минуту, найти его совершенным, найти, что это одновременно шедевр искусства и природы, и потерять его, потерять навсегда! О, я должен, сударь, выйти из кареты, я должен пойти посмотреть на него! Если хотите, убейте меня потом, но я его увижу, я его увижу.

— Замолчите, несчастный, и спрячьтесь скорее в карету; приближается эскорт его высочества штатгальтера, и если принц заметит скандал, услышит шум, то нам с вами несдобровать.

Ван Берле, испугавшись больше за своего спутника, чем за самого себя, откинулся в глубь кареты, но он не мог остаться там и полминуты; не успели еще первые двадцать кавалеристов проехать, как он снова бросился к дверцам кареты, жестикулируя и умоляя штатгальтера, который как раз в этот момент проезжал мимо.

Вильгельм, как всегда, спокойный и невозмутимый, ехал на площадь, чтобы выполнить долг председателя. В руках он держал свиток пергамента, который в этот день праздника служил ему командорским жезлом.

Увидев человека, который жестикулирует и о чем-то умоляет, и узнав, быть может, также и сопровождавшего его офицера, принц-штатгальтер приказал остановиться.

В тот же миг его лошади, дрожа на своих стальных ногах, остановились как вкопанные в шести шагах от ван Берле.

— В чем дело? — спросил принц офицера, который при первом же слове штатгальтера выпрыгнул из кареты и почтительно подошел к нему.

— Монсеньор, — ответил офицер, — это тот государственный заключенный, за которым я ездил по вашему приказу в Левештейн и которого я привез в Гаарлем, как того пожелали ваше высочество.

— Чего он хочет?

— Он настоятельно просит, чтобы ему разрешили остановиться на несколько минут...

— Чтобы посмотреть на черный тюльпан, монсеньор, — закричал Корнелиус, умоляюще сложив руки; — когда я его увижу, когда я узнаю то, что мне нужно узнать, я умру, если это потребуется, но, умирая, я буду благословлять ваше высочество, ибо тем самым вы позволите, чтобы дело моей жизни получило свое завершение.

Эти двое людей, каждый в своей карете, окруженные своей стражей, являли любопытное зрелище: один — всемогущий, другой — несчастный и жалкий, один — по дороге к трону, другой, как он думал, по дороге на эшафот.

Вильгельм холодно посмотрел на Корнелиуса и выслушал его пылкую просьбу. Затем обратился к офицеру:

— Это тот взбунтовавшийся заключенный, который покушался на убийство своего тюремщика в Левештейне?

Корнелиус вздохнул и опустил голову, его нежное благородное лицо покраснело и сразу же побледнело. Слова всемогущего, всеведущего принца, который каким-то неведомым путем уже знал о его преступлении, предсказывали ему не только несомненную смерть, но и отказ в его просьбе. Он не пытался больше бороться, он не пытался больше защищаться; он являл принцу трогательное зрелище наивного отчаяния, которое было хорошо понятно и могло взволновать сердце и ум того, кто смотрел в этот миг на Корнелиуса.

— Разрешите заключенному выйти из кареты, — сказал штатгальтер. — Пусть он пойдет и посмотрит черный тюльпан, достойный того, чтобы его видели хотя бы один раз.

— О, — воскликнул Корнелиус, чуть не теряя сознание от радости и пошатываясь на подножке кареты, — о монсеньор!

Он задыхался, и если бы его не поддержал офицер, то бедный Корнелиус на коленях, лицом в пыли, благодарил бы его высочество.

Дав это разрешение, принц продолжал свой путь по парку среди восторженных приветствий толпы.

Вскоре он достиг эстрады, и тотчас же загремели пушечные выстрелы.

З а к л ю ч е н и е

Ван Берле в сопровождении четырех стражников, пробивавших в толпе путь, направился наискось к черному тюльпану. Глаза его так и пожирали цветок по мере того, как он к нему приближался.

Наконец-то он увидел этот исключительный цветок, который в силу неизвестных комбинаций холода и тепла, света и тени, появился однажды на свет, чтобы исчезнуть навсегда. Он увидел его на расстоянии шести шагов; он наслаждался его совершенством и изяществом; он видел его позади молодых девушек, которые несли почетный караул перед этим образцом благородства и чистоты. И, однако же, чем больше он наслаждался совершенством цветка, тем сильнее разрывалось его сердце. Он искал вокруг себя кого-нибудь, кому бы он мог задать вопрос, один-единственный вопрос, но всюду были чужие лица, внимание всех было обращено на трон, на который сел штатгальтер.

Вильгельм, привлекавший всеобщее внимание, встал, обвел спокойным взглядом возбужденную толпу, по очереди остановился своим пронизательным взглядом на трех лицах, чьи столь разные интересы и столь различные переживания образовали перед ним как бы живой треугольник.

В одном углу стоял Бокстель, дрожавший от нетерпения и буквально пожиравший глазами принца, флорины, черный тюльпан и всех собравшихся.

В другом — задыхающийся, безмолвный Корнелиус, устремлявшийся всем своим существом, всеми силами сердца и души к черному тюльпану, своему детищу.

Наконец, в третьем углу, на одной из ступенек эстрады, среди девушек Гаарлема, стояла прекрасная фрисландка в тонком красном шерстяном платье, вышитом серебром, и в золотом чепчике, с которого волнами спускались кружева. То была Роза, почти в полуобморочном состоянии, с затуманенным взором, она опиралась на руку одного из офицеров Вильгельма.

Принц медленно развернул пергамент и произнес спокойным, ясным, хотя и негромким голосом, ни одна нота которого, однако, не затерялась, благодаря благоговейной тишине, воцарившейся над пятьюдесятью тысячами зрителей, затаивших дыхание.

— Вы знаете, — сказал он, — с какой целью вы собрались сюда? Тому, кто вырастит черный тюльпан, была обещана премия в сто тысяч флоринов.

Черный тюльпан! И это чудо Голландии стоит перед вашими глазами. Черный тюльпан выращен и выращен при условиях, поставленных программой общества цветоводов города Гаарлема.

Его история и имя того, кто его вырастил, будут внесены в золотую книгу города.

Подведите то лицо, которое является владельцем черного тюльпана.

И, произнося эти слова, принц, чтобы посмотреть, какое они производят впечатление, обвел ясным взором три угла живого треугольника.

Он видел, как Бокстель бросился со своей скамьи.

Он видел, как Корнелиус сделал невольное движение.

Он видел, наконец, как офицер, которому было поручено оберегать Розу, вел или, вернее, толкал ее к трону.

Двойной крик одновременно раздался и справа, и слева от принца.

Как громом пораженный, Бокстель и обезумевший Корнелиус одновременно воскликнули:

— Роза! Роза!

— Этот тюльпан принадлежит вам, молодая девушка, не правда ли? — сказал принц.

— Да, монсеньор, — прошептала Роза, и вокруг нее раздался всеобщий шепот восхищения ее красотой.

— О, — прошептал Корнелиус, — так она, значит, лгала, когда говорила, что у нее украли этот цветок! Так вот почему она покинула Левештейн. О, неужели я забыт, предан тою, кого я считал своим лучшим другом.

— О, — простонал, в свою очередь, Бокстель, — я погиб!

— Этот тюльпан, — продолжал принц, — будет, следовательно, назван именем того, кто его вырастил, он будет записан в каталог цветов под именем *Tulipa nigra Rosa Warlaensis*, в честь имени ван Берле, которое впредь будет носить эта молодая девушка.

Произнося эти слова, Вильгельм вложил руку Розы в руку мужчины, который бросился к подножию трона, весь бледный, изумленный, потрясенный радостью, приветствуя по очереди то принца, то свою невесту.

В этот же момент к ногам председателя ван Систенса упал человек, пораженный совершенно иным чувством. Бокстель, подавленный крушением своих надежд, упал без сознания.

Его подняли, послушали пульс и сердце; он был мертв.



Этот инцидент несколько не нарушил праздника, так как и принц и председатель не особенно огорчились случившимся.

Но Корнелиус в ужасе отступил: в этом воре, в этом ложном Якобе он узнал своего соседа Исаака Бокстеля, которого он в чистоте душевной никогда ни на один момент не заподозрил в таком злом деле.

В сущности, для Бокстеля было большим благом, что апоплексический удар помешал ему дольше созерцать зрелище, столь мучительное для его тщеславия и скарденности.

Затем процессия, под звуки труб, продолжалась без всяких изменений в церемониале, если не считать смерти Бокстеля и того, что Корнелиус и Роза, взявшись за руки, торжественно шли бок о бок.

Когда вошли в ратушу, принц указал Корнелиусу пальцем на мешок со ста тысячами флоринов.

— Мы не можем определенно решить, — сказал он, — кем выиграны эти деньги, вами или Розой. Вы нашли секрет черного тюльпана, но вырастила и добились его цветения она. К тому же эти деньги — дар города тюльпану.

Корнелиус ждал, желая уяснить, к чему клонил принц. Последний продолжал:

— Я, со своей стороны, даю сто тысяч флоринов Розе. Она их честно заслужила и сможет предложить их вам в качестве приданого. Это награда за ее любовь, храбрость и честность.

— Что касается вас, сударь, опять же благодаря Розе, доставившей доказательство вашей невинности, — при этих словах принц протянул Корнелиусу знаменитый листок из библии, на котором было написано письмо Корнеля де Витта и в который была завернута третья луковичка, — что касается вас, то мы увидели, что вы были заключены за преступление, не совершенное вами. Это означает, что вы не только свободны, но и то, что имущество невинного человека не может быть конфисковано. Итак, ваше имущество возвращается вам. Господин ван Берле, вы — крестник Корнеля де Витта и друг его брата Яна. Оставайтесь достойным имени, которое вам дал первый во время крещения, и дружбы, которую вам оказывал второй. Сохраните память об их заслугах, ибо братья де Витты.

несправедливо осужденные и понесшие несправедливую кару в момент народного заблуждения, были двумя великими гражданами, которыми гордится теперь Голландия.

И принц после этих слов, которые он произнес против обыкновения с большим подъемом, дал поцеловать свои руки обоим помолвленным, ставшим около него на колени.

Потом он со вздохом сказал:

— Увы, можно вам позавидовать. Стремясь к подлинной славе Голландии, и в особенности к истинному ее благополучию, вы стараетесь добыть для нее только новые оттенки тюльпанов.

И он бросил взгляд в сторону Франции, словно увидел, что с той стороны снова сгущаются тучи, затем сел в свою карету и уехал.

Корнелиус, в свою очередь, в тот же день уехал с Розой в Дордрехт. Роза предупредила отца обо всем случившемся через старую кормилицу, направленную к нему в качестве посла.

Знающие, благодаря нашему описанию, характер Грифуса, поймут, что он с трудом примирился со своим зятем. Он не мог забыть палочных ударов, которые подсчитал по синякам. Количество их доходило, как он говорил, до сорока одного. Но он все же в конце концов сдался, чтобы не быть, говорил он, менее великодушным, чем его высочество штатгальтер.

Сделавшись сторожем тюльпанов, после того, как он был тюремщиком людей, он стал самым суровым тюремщиком цветов, какого когда-либо встречали во Фландрии. Надо было видеть, с каким рвением он следил за вредными бабочками, как он убивал полевых мышей, как прогонял слишком алчных пчел!

Он узнал историю Бокстея и пришел в ярость оттого, что был одурачен самозванцем Якобом. Он собственноручно разрушил обсерваторию, выстроенную в свое время завистником позади клена; так как участок Бокстея, продававшийся с торгов, врезался в гряды Корнелиуса, то последний приобрел его и тем самым округлил свои владения настолько, что мог не бояться всех подзорных труб Дордрехта.

Роза, все более и более хорошея, одновременно становилась все более и более образованной. По

истечении двух лет замужества она так хорошо умела читать и писать, что могла взять на себя лично воспитание двух прекрасных детей, которые, как тюльпаны, появились в мае месяце 1674 и 1675 годов. И они причинили ей гораздо меньше хлопот, чем тот знаменитый тюльпан, которому она была обязана их появлением.

Само собой разумеется, что один ребенок был мальчиком, другой — девочкой; первого назвали Корнелиусом, а второго — Розой.

Ван Берле остался верен Розе, как и тюльпанам. Всю жизнь его занимало благополучие его жены и культура цветов, благодаря чему он добился многих новых разновидностей, записанных в голландских каталогах.

Двумя главными украшениями его гостиной были две страницы из библии Корнеля де Витта, вставленные в большие золоченые рамы. На одной, как мы помним, его крестный писал ему, чтобы он сжег переписку маркиза Лувуа. На другой Корнелиус завещал Розе луковичку черного тюльпана, при условии, что она с приданым в сто тысяч флоринов выйдет замуж за красивого молодого человека двадцати шести — двадцати восьми лет, если они будут любить друг друга.

Условие, которое было добросовестно выполнено, хотя Корнелиус и не умер, и именно потому, что он не умер.

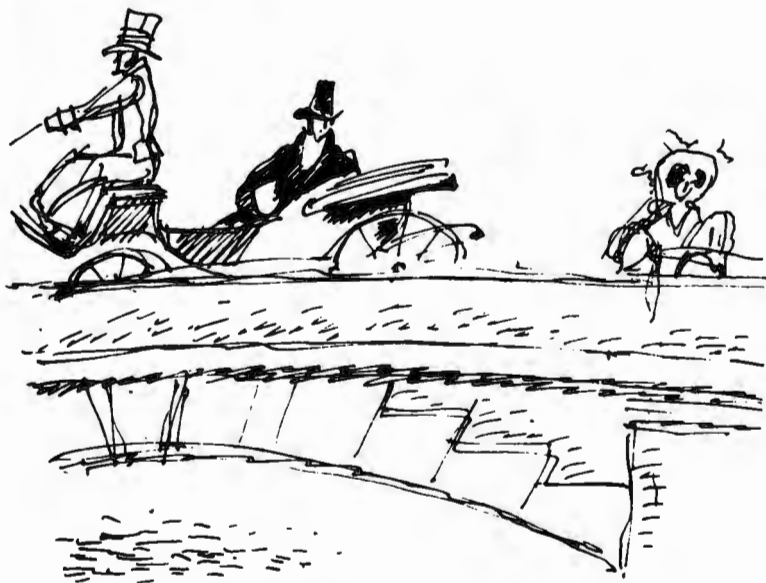
Наконец, в назидание будущим завистникам, от которых, быть может, судьба их не избавит, как она избавила их от мингера Исаака Бокстеля, он надписал над своей дверью изречение, которое Гроций в день своего бегства написал на стене тюрьмы:

«Иногда так много выстрадаешь, что имеешь право никогда не говорить: я слишком счастлив».

НОВЕЛЛЫ



*Перевод с французского
О. В. Моисеенко*



КУЧЕР КАБРИОЛЕТА

Я не уверен, что среди читателей этих строк найдутся люди, которые обращали бы внимание на разницу, существующую между кучером кабриолета и обычным извозчиком. Извозчик одиноко восседает на козлах, серьезный, неподвижный, хладнокровный, и переносит превратности погоды с невозмутимостью подлинного стойка; находясь среди людей, он не поддерживает никакого контакта с ними и лишь изредка разрешает себе в виде развлечения стегнуть кнутом проезжающего мимо приятеля; он не питает никакой привязанности к двум тощим клячам, впряженным в его карету, и не чувствует ни малейшего расположения к своим злосчастным седокам, обмениваясь с ними кривой усмешкой лишь при следующем классическом требовании: «Шагом, никуда не сворачивая». Он гладко зачесывает

волосы, отличается себялюбием и угрюмостью и не прочь побогохульствовать.

Зато кучер кабриолета — полная ему противоположность. Надо быть в отвратительном настроении, чтобы не улыбнуться в ответ на его любезности, при виде того, как он подкладывает вам под ноги солому, как в дождь и в град отдает вам всю полость, дабы оградить вас от сырости и холода; надо замкнуться в поистине злом молчании, чтобы не отвечать на множество его вопросов, на вырывающиеся у него возгласы, на исторические цитаты, которыми он вас донимает. Дело в том, что кучер кабриолета повидал свет и знает людей; он возил за почасовую оплату кандидата в академики, делавшего тридцать девять обязательных визитов, и беседа с будущим академиком сказала на нем: это в области литературы. Его нанял как-то с оплатой за каждый конец пути депутат парламента и привил ему вкус к политике. Однажды с ним ехали двое студентов; они говорили об операциях, и он получил представление о медицине. Словом, нахватав верхов, кучер кабриолета знает всего понемногу; он насмешлив, остроумен, болтлив, носит фуражку с козырьком и вечно имеет друга или родственника, который бесплатно проводит его на любой спектакль. Мы вынуждены прибавить не без зависти, что в театре он занимает кресло в середине партера.

В извозчике есть нечто от первобытных времен: он входит в сношения с людьми лишь тогда, когда это необходимо для выполнения его обязанностей, он донельзя скупен, зато честен.

Кучер кабриолета принадлежит к современному обществу — цивилизация сама пришла к нему, и он дал ей обтесать себя. В моральном отношении этот человек сродни Бартоло.

Кабатчики любят изображать на своих вывесках извозчика в блестящем цилиндре на голове и в синем долгополом пальто на плечах; в одной руке он держит кнут, в другой — кошелек; название, выведенное на вывеске, гласит: «Приют честного извозчика».

Я никогда не видел, чтобы вместо извозчика был нарисован кучер кабриолета, каким бы безусловно честным человеком он ни проявил себя.

И все же я питаю особое пристрастие к кучерам кабриолетов, быть может потому, что у меня редко бывают деньги, которые я мог бы позабыть в их экипаже.

Если я не поглощен мыслями о своей новой драме, не еду на скучнейшую репетицию или не возвращаюсь со спектакля, едва не усыпившего меня, то вступаю в беседу с кучером кабриолета и порой за те десять минут, что длится поездка, забавляюсь в той же мере, в какой проскучал все четыре часа на вечере, с которого он везет меня домой.

Словом, в голове у меня есть специальное отделение для этих воспоминаний стоимостью в двадцать пять су.

Одно из них оставило глубокий след в моей душе. А между тем прошло уже около года с тех пор, как Кантийон поведал мне историю, которую я собираюсь пересказать читателям.

Кантийон — кучер кабриолета за номером 221.

Это человек лет сорока — сорока пяти, темноволосый, с резкими чертами лица. В ту пору, а именно 1 января 1831 года, он носил фетровую шляпу с остатками галуна, вишневый редингот с остатками нашивок и сапоги с остатками отворотов. За прошедшие с тех пор одиннадцать месяцев все эти остатки должны были исчезнуть. Вскоре читатель поймет, откуда происходит или, точнее, происходила (ибо я не видел Кантийона с того достопамятного дня) эта явная разница между его костюмом и костюмом его братьев.

Как я уже говорил, наступило 1 января 1831 года. Было шесть часов утра. Я заранее наметил серию предстоящих визитов, составив улица за улицей список тех друзей, коих всегда полезно поздравить на 1 января, облобызав их в обе щеки и пожав им обе руки, короче говоря, тех симпатичных людей, которых не видишь иной раз по полугоду, которых встречаешь с распростертыми объятиями и у которых никогда не оставляешь своей визитной карточки.

Мой слуга сбегал за кабриолетом; он выбрал Кантийона, и Кантийон был обязан этим предпочтением

остаткам своих галунов, остаткам своих нашивок и остаткам своих отворотов: Жозеф чутьем угадал бывшего собрата. Да и кроме того, его кабриолет отличался приятным шоколадным цветом вместо обычного желтого или зеленого, а посеребренные рессоры экипажа позволяли предельно низко опускать его кожаный верх. По моей довольной улыбке Жозеф понял, что я оценил его сообразительность. Я отпустил его на целый день и, не раздумывая, уселся на мягких подушках кабриолета; Кантийон набросил мне на колени полость кофейного цвета, щелкнул языком, и лошадь тронула без помощи кнута, который за всю нашу поездку провисел на своем месте скорее для вида, чем для устрашения.

— Куда поедет, хозяин?

— К Шарлю Нодье, в Арсенал.

Кантийон ответил мне кивком, означавшим: «Мне не только известно, где это, я знаю также и кто это». Я писал тогда «Антони», и так как сидеть в кабриолете было очень удобно, я принялся обдумывать конец третьего действия, который не давал мне покоя.

Я не знаю бóльшей радости для поэта, чем та, которую он испытывает, видя, что его труд подходит к благополучному концу. Но этому предшествует столько дней напряженной работы, столько часов уныния, столько тягостных сомнений, что когда в этой борьбе за воплощение своего замысла, замысла, тщательно обдуманного, к которому поэт подходил и так и эдак и наконец с редким упорством заставил его склониться перед собой, как побежденного и просящего пощады врага, он переживает мгновение счастья, схожего при всей своей несоизмеримости с тем счастьем, которое должен был испытать бог, когда, создавая землю, он сказал: «Да будет...» — и возникла земля; как бог, писатель может сказать в своей гордыне: «Я создал нечто из ничего. Я вырвал целый мир из небытия».

Правда, его мир населен лишь какой-нибудь дюжиной персонажей, он занимает в солнечной системе лишь тридцать четыре квадратных фута театральных подмостков и нередко рождается и гибнет за один вечер.

Неважно, мое сравнение все же правомерно, и я предпочитаю сравнение, возвышающее человека; сравнению, которое его принижает.

Я говорил себе все это или нечто похожее и видел, словно сквозь прозрачную завесу, что постепенно созданный мною мир обретает место среди литературных планет; его обитатели разговаривали сообразно моему желанию, двигались по моей воле; я был доволен ими, до меня явственно доносился недвусмысленный звук аплодисментов, доказывавших, что мой мир нравился людям, перед глазами которых он проходил, и я был доволен собой.

И хотя я пребывал в горделивом полусне — опиуме поэтов, это не мешало мне видеть, что кучер раздосадован моим молчанием, обеспокоен моим пристальным взглядом, обижен моей рассеянностью и что он изо всех сил старается вывести меня из этого состояния. Он то обращался ко мне со словами: «Хозяин, полость вот-вот сползет у вас», — и я, не отвечая, укутывал ею колени, то он дышал на свои пальцы, чтобы согреть их, и я молча прятал руки в карманы, то насвистывал «Парижанку», и я машинально отбивал такт ногою. Садясь в кабриолет, я сказал кучеру, что наняю его на четырнадцать часов, и беднягу явно мучила мысль, что все это время я буду пребывать в молчании, отнюдь не вязавшемся с его желанием поболтать. Наконец признаки беспокойства Кантийона настолько усилились, что мне стало жаль его; я открыл было рот, чтобы заговорить; физиономия кучера расплылась в улыбке. К несчастью для него, меня вдруг осенило: я придумал конец третьего действия! Я было повернул к нему голову и собрался начать разговор, но опять преспокойно занял прежнее положение, сказав самому себе: «Удачная, *очень удачная* мысль».

Кантийон решил, что я не в своем уме.

Затем он испустил вздох.

Затем, по прошествии минуты, он остановил лошадь со словами: «Приехали, хозяин!» Я оказался у подъезда Нодье.

Мне очень бы хотелось, читатель, поговорить с вами о Нодье, во-первых, для собственного удовольствия, ибо

я знаю его и люблю, во-вторых, для вашего удовольствия, ибо вы тоже любите его, хотя, быть может, с ним и не знакомы. Придется отложить этот разговор.

На сей раз речь пойдет о моем кучере. Вернемся же к нему.

По прошествии получаса я вышел от Нодье; кучер любезно опустил для меня подножку. Пробормотав «брр» и передернув плечами, я сел рядом с ним и снова очутился в некоем подобии кресла, которое так хорошо настраивало меня на созерцательный лад.

— К Тейлору, на улицу Бонди,— произнес я, полузакрыв глаза.

Кантийон воспользовался этим кратким обращением и спросил скороговоркой:

— Скажите, Шарль Нодье — это тот самый человек, что пишет книги?

— Вот именно. Но откуда, черт возьми, ты знаешь об этом?..

— Я прочел один его роман, когда еще служил у господина Эжена (он вздохнул). Там говорится о девушке, любовник которой угодил на гильотину.

— «Терезу Обер»?

— Да, да... Будь я знаком с этим господином, я дал бы ему замечательный сюжет для романа.

— Вот как?

— Удивляться тут нечему. Если бы я владел пером так же хорошо, как вожжами, я никому бы не уступил такого сюжета, сам бы написал роман.

— Ну так изложи мне этот сюжет.

Он взглянул на меня, прищурившись.

— Ну, вы — другое дело.

— Почему?

— Ведь вы-то не пишете книг?

— Нет, зато я пишу пьесы. И, быть может, твоя история послужит канвой для моей будущей драмы.

Он вторично взглянул на меня.

— «Два каторжника», случайно, не ваша пьеса?

— Нет, друг мой.

— А пьеса «Постоялый двор дез Адрэ»?

— Тоже не моя.

— Так для какого же театра вы пишете пьесы?

— До сих пор мои пьесы шли во Французском театре и в Одеоне.

Он скривил рот, и эта гримаса свидетельствовала о том, что я сильно упал в его глазах; затем, подумав немного и как бы примирившись с очевидностью, он проговорил:

— Ну что ж, я и во Французском театре бывал с господином Эженом и видел Тальма в «Сулле»: актер как две капли воды походил на императора. Все-таки это неплохая пьеса. А потом нам показали пустяковину, которой какой-то шельмец, одетый лакеем, смешил публику своими ужимками. Такой был забавник! И все же мне больше нравится «Постоялый двор дез Адрэ».

Возразить на это было нечего. Да и в ту пору я был сыт по горло литературными спорами.

— Так, значит, вы сочиняете трагедии? — спросил он, искоса взглянув на меня.

— Нет, мой друг.

— Так что же вы сочиняете?

— Драмы.

— Так вы романтик! На днях я возил в Академию какого-то академика, и он так и сяк честил романтиков. Сам он пишет трагедии. Фамилии его я не знаю. Он такой высокий, худой... Носит крест Почетного легиона, а кончик носа у него красный. Вы, верно, знаете его.

Я кивнул головой, что соответствовало слову «да».

— Ну а твоя история?

— Дело в том, что это грустная история. В ней гибнет человек!

Глубокое волнение, прозвучавшее в его словах, подстегнуло мое любопытство.

— Валяй рассказывай!

— Вам легко говорить *валяй!* Ну, а если я заплачу, и у меня все будет валиться из рук? Ведь я не смогу ехать дальше...

Я, в свою очередь, посмотрел на него.

— Видите ли, — заметил Кантийон, — я не всегда был извозчиком, о чем вы можете судить по моей ливрее (и он с готовностью показал мне остатки своих красных нашивок). Десять лет тому назад я служил у господина Эжена. Вы не знавали господина Эжена?

— Эжена? А как его фамилия?

— Гм, *как его фамилия?*.. Я никогда не слышал, чтобы его называли по фамилии, и ни разу не видел ни отца его, ни матери. Это был высокий молодой человек, такого же роста, как вы, и приблизительно вашего возраста. Сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Вот и ему было столько же. Он тоже брюнет, только посветлее, чем вы, кроме того, у вас негритянские волосы, а у него они были прямые. В общем, красивый малый, только почему-то он всегда ходил как в воду опущенный. Он получал десять тысяч ливров годового дохода и все-таки грустил. Я долгое время думал, что у него больной желудок. Итак, я поступил к нему в услужение. Ладно. Ни разу, обращаясь ко мне, он не повысил голоса. Только и слышу, бывало: «Каитийон, подай мне шляпу... Каитийон, заложи кабриолет... Каитийон, если придет Альфред де Линар, скажи, что меня нет дома». Надо вам признаться, он терпеть не мог Альфреда де Линара. Да и то сказать, этот тип был мерзавцем. Ну, пока ни слова об этом. Жил он в том же доме, что и мы, и надоел нам до осточертения: все время привязывался к нам. Однажды приходит он и спрашивает господина Эжена. Я отвечаю, что барина нет дома... И вдруг — бац! — тот кашлянул. Гость услышал его. Ладно. Он тут же ушел, сказав мне: «Твой барин — невежа!» Я промолчал, сделал вид, будто ничего не слышал.

— Кстати, хозяин, у какого дома остановиться на улице Бонди?

— У номера шестьдесят четыре.

— Хорошо!.. Ба, да ведь мы уже приехали!

Тейлора не было дома — я вошел и тут же вернулся.

— Ну а дальше?

— Дальше? А, мой рассказ... Скажите прежде, куда поедем?

— На улицу Сэн-Лазар, номер пятьдесят восемь.

— Понятно, к мадемуазель Марс! Замечательная актриса! Итак, в тот же день мы отправились на улицу Мира: там был как раз званый вечер. Ровно в полночь выходит из подъезда мой хозяин в прескверном

настроении: он встретил господина Альфреда, и они поругались. «Я должен проучить этого хлыща», — бормотал он. Забыл вам сказать, что мой хозяин прекрасно стрелял из пистолета и владел шпагой, как святой Георгий. Едем по мосту, знаете, по тому самому, на котором стоят статуи, но в то время их еще не было. Видим женщину, которая рыдает так громко, что ее слышно, несмотря на стук колес. Хозяин кричит мне: «Стой!» Я натягиваю вожжи. Не успел я обернуться, как он уже спрыгнул на мостовую. Ладно.

Темень стояла такая, что не видно было ни зги. Женщина шла прямо перед собой, мой хозяин за ней. Вдруг она останавливается посреди моста, вскакивает на парапет, и я слышу — плюх! Мой хозяин не мешкает ни секунды и — трах! — прыгает вниз головой. Надо вам сказать, что плавал он, как рыба.

Я говорю себе: если я останусь в кабриолете, это не очень-то поможет господину Эжену; с другой стороны, плавать я не умею, и если брошусь в реку, ему придется вытаскивать из воды двоих вместо одной. Я говорю лошади, вот этой самой, но в то время ей было на четыре годика меньше, а в брюхе — на две меры овса больше. Итак, я говорю ей: «Стой здесь, Коко». Можно было подумать, что лошадка меня поняла. Она остается стоять как вкопанная. Ладно.

Я опрометью бегу вниз, к берегу. Вижу небольшую лодку, прыгаю в нее — она привязана; дергаю веревку, дергаю — никакого толка. Ищу свой перочинный нож. Я позабыл его. Выкинем его из головы. А тем временем мой хозяин ныряет, как баклан.

Я с такой силой налегаю на веревку, что — крак! — она рвется; еще немного, и я свалился бы вверх тормашками в реку. Лежу в лодке на спине; по счастью, упал на скамью. Говорю себе: «Сейчас не время считать звезды», — и вскакиваю на ноги.

Лодка уже успела отчалить. Ищу весла, увы, когда я грохнулся, одно из них свалилось в воду. Гребу одним веслом, верчусь на месте, как волчок. Напрасный труд! «Прежде всего, — думаю, — надо пораскинуть мозгами».

В эту минуту, сударь, я вспомнил всю свою жизнь; мне было страшно, казалось, что в реке не вода,

а чернила; так темно было за бортом. Лишь время от времени набегала небольшая волна, и среди пены появлялось белое платье девушки или голова моего хозяина, который высовывался из воды, чтобы набрать воздуха. Один-единственный раз они всплыли одновременно. Я услышал, как господин Эжен сказал: «Вижу ее!» Он в два броска подплыл к тому месту, где только что мелькнуло белое платье. И тут же над водой остались только его разведенные ноги. Он мигом соединил их и нырнул... Я был шагах в десяти от этого места и плыл вниз по реке не быстрее и не медленнее, чем несло меня течение; я сжимал обеими руками весло, да так сильно, словно хотел его сломать. «Боже мой, боже! — бормотал я. — Надо же, чтобы я не умел плавать».

Мгновение спустя господин Эжен снова показался на поверхности. На этот раз он держал девушку за волосы; она была без сознания, да и для моего хозяина пришло время выйти на сушу. Он дышал с присвистом, и у него едва доставало сил держаться над водой, ведь утопленница не могла пошевелить ни рукой, ни ногой и была поэтому словно свинцом налитая. Он повернул голову, чтобы взглянуть, какой берег ближе — правый или левый, и заметил меня... «Кантийон, — сказал он, — ко мне!» Я перегнулся через борт и протянул ему весло — не тут-то было! Между нами все еще оставалось более трех футов... «Ко мне», — повторил он... У меня душа с телом расставалась. «Кантийон!» Воля захлестнула его, а я замер с открытым ртом, устремив глаза в одну точку; он опять всплыл, и у меня словно гора свалилась с плеч; я снова протянул весло; он слегка приблизился ко мне... «Держитесь, хозяин, держитесь!» — крикнул я. Он уже не мог отвечать. «Бросьте вы ее, — взмолился я, — спасайтесь сами». — «Нет, — выдавил он из себя, — я...» Тут вода влилась ему в рот. Ах, сударь, на голове у меня не было ни одного сухого волоса: так я взмок. Я наполовину вылез из лодки, чтобы дотянуться до него веслом; мне казалось, что все вертится вокруг меня. Мост, здание муниципальной гвардии, Тюльери — все плясало, и, однако, я не сводил взора с головы моего хозяина, которая мало-помалу

погружалась в реку, на его глаза, еще видневшиеся над поверхностью, которые казались мне вдвое больше, чем обычно; затем осталась только его макушка, но вот и она погрузилась, как все остальное. Только рука со скрюченными пальцами еще торчала из воды. Я сделал последнее усилие и протянул весло. «Ну же, поднатужься!» — сказал я себе и вложил весло в его руку... Ух!..

Кантийон вытер себе лоб. Я перевел дыхание.

— Правду говорят, — продолжал он, — что утопающий хватается за соломинку. Господин Эжен так судорожно вцепился в весло, что от его ногтей на дереве остались отметины. Я оперся концом весла о борт лодки, она накренилась, и господин Эжен показался над водой. Я дрожал как в лихорадке и все боялся выпустить из рук это чертово весло. Я грудью навалился на него, низко пригнул голову и стал осторожно подтягивать весло, удерживая его своим телом. Голова моего хозяина была откинута назад, словно у человека, потерявшего сознание. Я продолжал тащить весло вместе с его грузом. Наконец, протянув руку, я ухватил господина Эжена за запястье. Ладно! Дело было в шляпе, и я сжал его руку, как в тисках. Неделю спустя у господина Эжена еще был в этом месте синяк.

Девчонки он не бросил; я втащил его на борт, и он плюхнулся в лодку вместе с ней. Они остались лежать рядышком, беспомощные, жалкие... Я кричал, окликал своего хозяина — какое там! Я попытался разжать ему руки, чтобы похлопать его по ладоням, но он так крепко стиснул кулаки, словно намеревался расколоть орех, — можно было вконец известись от отчаяния.

Я снова схватил весло и попробовал добраться до берега. Я не мастак грести, даже если сижу на двух веслах, ну а с одним веслом получалось неведь что; я хотел повернуть лодку в одну сторону, она шла в другую, а течение уносило меня все дальше и дальше от пристани. Убедившись, что я прямехонько плыву к устью, я рассудил, что незачем делать глупости — надо позвать на помощь. И принялся кричать что есть мочи.

Меня услышали мастаки из домика, где приводят в чувство утопленников. Они тут же спустили на воду

свою лодку, в два счета настигли меня и взяли на буксир. Пять минут спустя мой хозяин и девушка лежали на подстилке рядышком, как селетки в банке.

На вопрос, не утопленник ли я, пришлось ответить отрицательно, но все же я выразил желание глотнуть чего-нибудь спиртного; в самом деле, мне необходимо было подкрепиться: ноги у меня были как ватные.

Мой хозяин первый открыл глаза. Он бросился мне на шею... Я рыдал, смеялся, утирал слезы... Бог ты мой, до чего бывает глуп человек!..

Господин Эжен повернул голову и заметил девушку, которую как раз приводили в чувство.

«Плачу тысячу франков, друзья,— сказал он,— если девушка очнется. А ты, Кантийон, мой друг, мой отважный спаситель (я все еще плакал), подай нам кабриолет».

«А ведь и правда! — вскричал я.— Про Коко-то мы забыли!»

Можете мне поверить, что я бросился бежать со всех ног. Добираюсь до того самого места... Ни кабриолета, ни лошади,— ее и след простыл. На следующий день полиция отыскала Коко: какой-то любитель лошадей присвоил себе нашего конягу.

Возвращаюсь к хозяину и говорю:

«Никого и ничего».

«В таком случае возьми извозчика»,— отвечает он.

«А что с девушкой?»

«Она чуть пошевелила ножкой».

«Великолепно!» — восклицаю я.

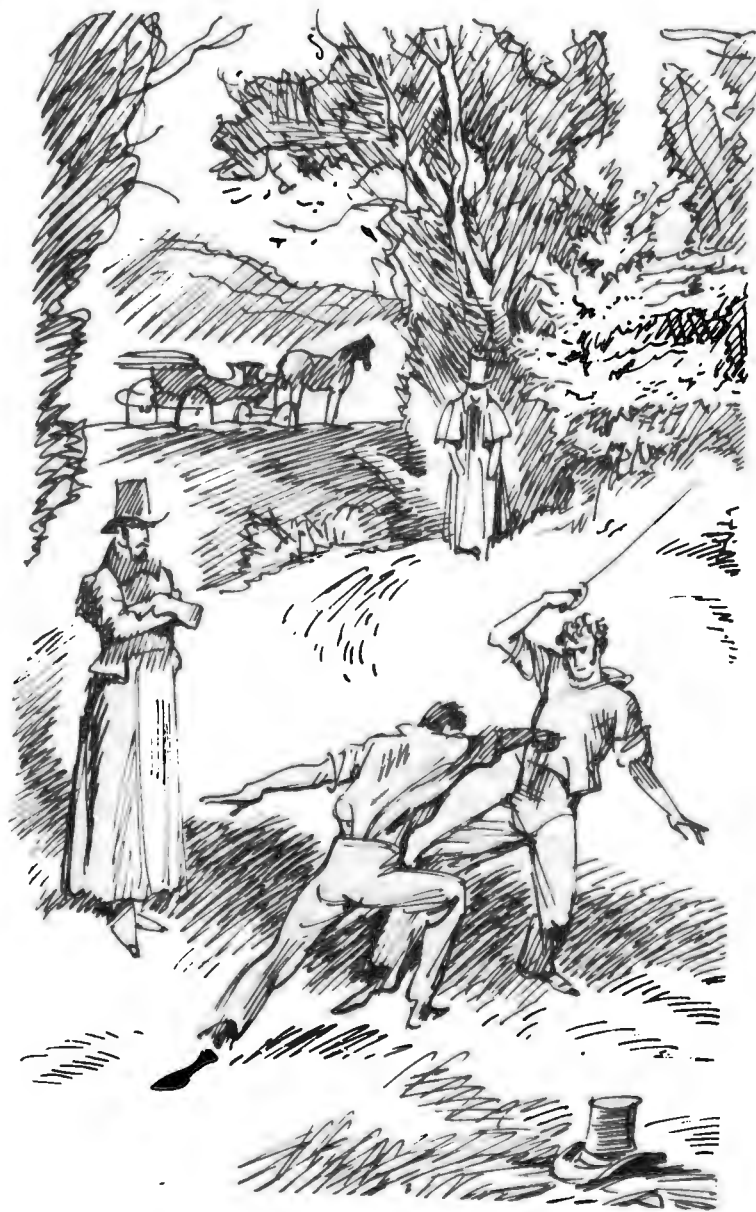
Привожу извозчика. За это время девушка окончательно пришла в себя, но говорить еще не могла. Несем ее в карету. «Извозчик,— приказывает г-н Эжен,— на Бакскую улицу, дом тридцать один, да поживее».

— Эй, хозяин, приехали! Дом пятьдесят восемь, здесь живет мадемуазель Марс.

— Разве твоя история кончена?

— Кончена? Какое там!.. Я и четверти ее не рассказал, так, самую малость, все еще впереди.

Его история и в самом деле не была лишена интереса. Мне надо было высказать только одно пожелание нашей великой актрисе: видеть ее на сцене в 1831 году такой же



божественной, какой она была в 1830-м. Десять минут спустя я уже был в кабриолете.

— Продолжай свой рассказ.

— Скажите прежде, куда вас везти?

— Безразлично, поезжай, куда хочешь. Так ты говорил...

— Да, моя история! Мы остановились на словах: «Извозчик, на Бакскую улицу, да поживее».

На мосту наша девушка вторично лишилась чувств.

Хозяин высадил меня на набережной, велел позвать его домашнего врача. Выполнив приказание, я нашел мадемуазель Марию... Я говорил вам, что ее звали Марией?

— Нет.

— Так вот, это имя и было дано ей при крещении. Я нашел мадемуазель Марию в кровати, а у ее изголовья уже дежурила сиделка. Не могу выразить, до чего наша девушка была хороша: лицо бледное, глаза закрыты, руки сложены крестом на груди. Она походила на божью мать, в честь которой была наречена, к тому же бедняжка была беременна.

— Так вот почему она бросилась в воду,— заметил я.

— То же самое сказал и мой хозяин врачу, когда тот объявил ему эту новость. Ведь мы-то ничего не заметили. Врач дал ей понюхать какой-то флакончик; вовек не забуду этого флакончика. Представьте себе, его оставили на комод, а я, дурак этакий, подумал: наверно, аромат у него замечательный, раз он привел девушку в чувство. Слоняюсь я возле комода как будто ни в чем не бывало и, улучив момент, когда никто на меня не смотрит, вынимаю из флакона обе пробки и подношу к носу. Вот так понюшка! Мне показалось, что я втянул в нос сотню иголок. Ладно, думаю, больше меня на этом не поймаешь. Слезы так и хлынули у меня из глаз. Увидев это, г-н Эжен сказал:

«Утешься, мой друг, доктор отвечает за ее жизнь».

А я твержу про себя: «Может, он доктор и первоклассный, но если я заболею, нипочем за ним не пошлю».

Между тем мадемуазель Марья пришла в себя и, оглядев комнату, прошептала:

«Как странно... Где я? Ничего не узнаю...»

«Естественно,— отвечаю я,— по той простой причине, что вы никогда здесь не были».

«Помолчи, Кантийон»,— говорит мне хозяин и тут же обращается к девушке; а он-то умел разговаривать с женщинами.

«Успокойтесь, сударыня,— говорит он,— я буду ухаживать за вами с преданностью брата, а когда вы поправитесь настолько, что вас можно будет отправить домой, я немедленно перевезу вас отсюда».

«Так, значит, я больна? — удивленно спрашивает она, затем, собравшись с мыслями, восклицает:— Да, да, вспомнила, я хотела!.. (Тут у нее вырвался стон.) И это, очевидно, вы, сударь, спасли мне жизнь. О, если бы вы знали, какую гибельную услугу вы оказали мне! Какое горестное будущее уготовило ваше самопожертвованье незнакомой вам женщине».

Теребя свой нос, который по-прежнему горел огнем, я внимательно слушал их разговор, не пропуская ни единого слова, и потому пересказываю вам все в точности, как оно было. Мой хозяин утешал девушку на все лады, но она только твердила:

«Ах, если бы вы знали!»

Видно, ему надоело слушать одно и то же, потому что, наклонясь к ее уху, он сказал:

«Я все знаю».

«Вы?» — переспросила она.

«Да! Вы любили, а вас предали, бросили».

«Да, предали,— подтвердила она,— подло предали, безжалостно бросили».

«Так вот,— сказал г-н Эжен,— поверьте мне ваши горести. Знайте, мною движет не любопытство, а желание быть вам полезным. Мне кажется, я уж не совсем чужой для вас».

«О нет, нет! — воскликнула она.— Ведь тот, кто готов, как вы, рискнуть жизнью ради другого — великодушный человек. Уверена, вы-то не бросили бы несчастную женщину, оставив ей в удел либо вечный позор, либо быструю смерть. Да, да, я все вам расскажу».

Тут я подумал: «Ладно, начало положено, выслушаем историю до конца».

«Но прежде всего,— заметила девушка,— позвольте мне написать отцу, ведь я оставила ему прощальное письмо, сообщила о своем решении, и он думает, что меня уже нет в живых. Вы позволите ему, не правда ли, приехать сюда? О, только бы в порыве отчаяния он не отважился на какой-нибудь безрассудный шаг. Позвольте ему приехать незамедлительно. Чувствую, что только с ним я смогу поплакать, а слезы принесут мне облегчение!»

«Напишите, конечно, напишите,— сказал мой хозяин, пододвигая ей перо и чернильницу.— Кто посмеет отсрочить хотя бы на миг священное свидание дочери с отцом, мнивших, что они разлучены навеки? Пишите, я первый прошу вас об этом. Не теряйте ни минуты. Как должен страдать в эту минуту несчастный ваш батюшка!»

Пока мой хозяин разглагольствовал, она настрочила записку хорошеньким, бисерным почерком и, подписавшись, спросила адрес дома, где находится.

«Бакская улица, дом тридцать один»,— пояснил я.

«Бакская улица, дом тридцать один!»— повторила она.

И — хлоп! — чернильница опрокинулась на простыню. Помолчав, девушка заметила с грустью:

«Верно, само провидение привело меня сюда».

«Провидение или не провидение тому виной, а потребуются целая бутылка жавеля, чтобы вывести это пятно»,— пробормотал я.

Господин Эжен казался озадаченным.

«Я вижу — вы удивлены,— проговорила она.— Но, узнав мою историю, вы поймете, какое впечатление произвел на меня адрес, названный вашим слугой».

И она вручила ему письмо для своего отца.

«Кантийон, отнеси это письмо».

Я бросаю взгляд на адрес: улица Фоссе-Сен-Виктор.

«Конец не близкий»,— говорю.

«Не важно, найми кабриолет и возвращайся обратно через полчаса».

Я выбежал на улицу как востропанный; мимо проезжал кабриолет, я вскочил в него.

«Сто су, приятель, чтобы отвезти меня на улицу Фоссе-Сен-Виктор и вернуться обратно!»

Хотелось бы мне самому хоть изредка иметь таких щедрых седоков...

Останавливаемся у подъезда невзрачного дома. Стучу, стучу, наконец привратница, брюзжа, открывает дверь.

«Брюзжи себе», — бормочу я и спрашиваю:

«На каком этаже живет господин Дюмон?»

«Боже мой, уж не с вестями ли вы от его дочки?»

«Да, и с отличными», — отвечаю я.

«На шестом этаже, в конце лестницы».

Я поднимаюсь, перескакивая через две ступеньки; одна дверь приоткрыта; смотрю и вижу старика военного, который безмолвно плачет, целуя какое-то письмо, и заряжает при этом два пистолета. «Должно быть, отец девушки, — думаю, — или я очень ошибаюсь».

Толкаю дверь.

«Я приехал к вам от мадемуазель Марии», — говорю ему.

Он оборачивается, становится бледным, как мертвец, и переспрашивает:

«От моей дочки?»

«Да, от мадемуазель Марин, вашей дочери. Ведь вы — господин Дюмон и были капитаном при прежнем режиме?»

Он утвердительно кивает.

«Вот, возьмите письмо».

Он берет письмо. Скажу, не преувеличивая, сударь, что волосы дыбом стояли у него на голове, а со лба падали такие же крупные капли, как из глаз.

«Она жива! — воскликнул он. — И спас ее твой барин! Сию минуту, сию же минуту вези меня к ней! Вот возьми, мой друг, возьми!»

Он шарит в ящике небольшого секретера, вынимает оттуда три или четыре пятифранковые монеты, которые словно играли там в прятки, и сует мне их в руку. Я беру деньги, чтобы не обижать его. Осматриваю помещение и думаю: «Не больно ты богат». Поворачиваюсь на каблуках, кладу все двадцать франков позади бюста некоего полковника и говорю отставному военному:

«Премного благодарен, господин капитан».

«Ты готов?»

«Жду только вас»

И он ринулся вниз по лестнице, да так быстро, как если бы съезжал по перилам

Я кричу ему:

«Послушайте, послушайте, служивый, на вашей винтовой лестнице ни черта не видно!»

Какое там! Он был уже внизу. Ладно. Сидим мы в кабриолете, и я говорю ему:

«Не сочтите за нескромность, господин капитан, но позвольте вас спросить, что вы собирались делать с заряженными пистолетами?»

Он отвечает, сдвинув брови:

«Один пистолет предназначен некоему негодяю, да простит его бог, а я простить не могу».

Я говорю сам себе: «Понятно, он имеет в виду отца ребенка».

«А другой — мне».

«Хорошо, что все обошлось иначе», — отвечаю я.

«Дело еще не кончено, — заявляет он. — Но скажи мне, каким образом твой барин, этот превосходный молодой человек, спас мою несчастную Марию?»

Тут я все рассказал ему. Слушая меня, он рыдал, как ребенок... Сердце разрывалось на части при виде того, как плачет старый солдат, извозчик и тот сказал ему:

«Сударь, как это ни глупо, а слезы застилают мне глаза, и я с трудом правлю лошадь. Если бы бедное животное не было умнее нас троих, оно напрямиком отвезло бы нас в морг».

«В морг! — воскликнул капитан, вздрогнув. — В морг! Подумать только, что я не чаял найти мою несчастную Марию, мою любимую дочку, в ином месте; я уже воображал ее себе, бездыханную, на черном и мокром мраморе! О, скажи мне его имя, имя твоего барина: мне хочется благословить его и поминать вместе с другим дорогим мне именем».

«С именем того человека, чей бюст стоит у вас в комнате?»

«Мария, Мария! Ведь правда, что она вне опасности? Врач отвечает за ее жизнь?»



«Не говорите мне об этом враче: дурак он, недоумок!»

«Как? Разве состояние моей дочери внушает опасение?»

«Да нет же, нет! Это относится ко мне, к моему носу».

Пока мы беседовали, экипаж катил себе по улицам, и вдруг извозчик крикнул:

«Приехали!»

«Помоги мне, друг мой,— попросил капитан,— ноги что-то не слушаются меня. Где живет твой барин?»

«Вот тут, на третьем этаже, там, где горит свет и какая-то тень виднеется за занавеской».

«Идем же, идем!»

Несчастный человек! Он был белее полотна. Я взял старика под руку и почувствовал, как сильно бьется его сердце.

«А что, если я найду ее бездыханной?» — проговорил он, смотря на меня безумным взглядом.

В тот же миг двумя этажами выше распахнулась дверь квартиры г-на Эжена, и мы услышали женский голос:

«Отец! отец!»

«Это она, это ее голос!» — вскричал капитан.

И старик, который за секунду перед тем дрожал всем телом, взлетел по лестнице, словно юноша, вбежал в спальню, ни с кем не здороваясь, и, плача, бросился к кровати дочери.

«Мария, дорогое дитя, любимая девочка моя!» — твердил он.

Когда я вошел, трудно было не растрогаться, видя их в объятиях друг друга. Старик прижимался своей львиной головой с большущими усами к личику дочери, сиделка плакала, г-н Эжен плакал, я тоже заплакал, словом, настоящий потоп.

Хозяин говорит сиделке и мне:

«Надо оставить их вдвоем».

Мы выходим все трое. Г-н Эжен берет меня за руку и говорит:

«Подожди Альфреда де Линара — он скоро вернется с бала — и попроси его зайти ко мне».

Я занимаю наблюдательный пост на лестнице и думаю: «Ну, приятель, ты за все получишь сполна».

По прошествии четверти часа слышу «траля-ля, траля-ля!». Это он поднимался по лестнице, что-то напевая. Я вежливо обращаюсь к нему:

«Мой барин просит вас на два слова».

«Разве твой барин не может подождать до завтра?» — возражает он насмешливо.

«Видно, не может, раз он просит вас зайти немедленно».

«Хорошо. Где он?»

«Я здесь,— говорит г-н Эжен, услышавший наш разговор.— Не будете ли вы так добры, сударь, войти в эту комнату?»

И он указывает на дверь комнаты, где находится мадемуазель Мария. Я ничего не мог понять.

Я отворяю дверь. Капитан направляется в соседнюю комнату, делая мне знак не вводить гостя, пока он не спрячется. Как только старик скрылся, я говорю:

«Входите, господа».

Мой хозяин вталкивает г-на Альфреда в спальню, затворяет за ним дверь, и мы остаемся в коридоре. Я слышу дрожащий голос: «Альфред!» — и другой удивленный голос, вопрошающий: «Как, Мария, вы здесь?»

«Господин Альфред — отец ребенка?» — спрашиваю я у хозяина.

«Да,— отвечает он.— Давай постоим здесь и послушаем».

Сперва до нас доносился только невнятный голос мадемуазель Марии, которая, казалось, о чем-то просила г-на Альфреда. Это продолжалось довольно долго. В конце концов мы услышали мужской голос.

«Нет, Мария,— говорил он,— это невозможно. Вы с ума сошли. Я не властен жениться на вас: я завишу от своей семьи, и она не потерпела бы этого брака. Но я богат, и если деньги...»

При этих словах в комнате началось что-то невообразимое. Капитан даже не дал себе труда отворить дверь комнатки, где он прятался, а высадил ее ударом ноги. Мадемуазель Мария вскрикнула, капитан выругался, да так громко, что зазвенели стекла.

«Идем»,— сказал мне хозяин.

Мы подоспели вовремя.

Капитан Дюмон повалил г-на Альфреда и, придавив его коленом, собирался свернуть ему голову, словно какому-нибудь куренку. Мой хозяин разнял их.

Господин Альфред встал на ноги; он был бледен, взгляд неподвижен, зубы крепко сжаты. Он не удостоил ни одним взглядом мадемуазель Марню, по-прежнему лежавшую без чувств, а подошел к моему хозяину, который ожидал его, скрестив на груди руки.

«Эжен,— сказал он,— я не знал, что у вас не квартира, а разбойничий притон. Теперь я приду к вам не иначе, как с пистолетом в каждой руке, слышите?»

«Именно так я и надеюсь вас видеть,— ответил мой хозяин,— ведь если вы явитесь как гость, я тут же выгоню вас».

«Капитан,— обратился господин Альфред к отцу Марии,— не забудьте, что я также и ваш должник».

«И этот долг вы немедленно уплатите мне,— сказал капитан,— ибо я вас не покину».

«Будь по-вашему».

«Заря уже занялась,— заметил господин Дюмон.— Ступайте за оружием».

«У меня имеются и шпаги, и пистолеты»,— заметил мой хозяин.

«Встретимся через час в Булонском лесу, у ворот Майо»,— сказал господин Альфред.

«Да, ровно через час,— ответили разом мой хозяин и капитан.— Ступайте за свидетелями».

Господин Альфред вышел.

Капитан склонился над кроватью дочери. Г-н Эжен хотел было позвать сиделку, чтобы привести в чувство мадемуазель Марию.

«Нет, нет,— воскликнул отец,— пусть лучше ничего не знает. Мария, мое дорогое дитя, прощай! Если я буду убит, вы отомстите за меня, не так ли, господин Эжен? И не покинете сиротки?»

«Клянусь в этой жизнию вашей дочери,— ответил мой хозяин, бросаясь в объятия несчастного отца.— Кантйон, сходи за извозчиком».

«Слушаюсь, сударь. А я поеду с вами?»

«Да, поедешь».

Еще раз поцеловав дочь, капитан позвал сиделку.

«Прошу вас, приведите ее в чувство, а если она спросит, где я, скажите, что я скоро вернусь. А теперь едемте, мой юный друг».

И оба прошли в кабинет г-на Эжена. Когда я вериулся с извозчиком, они ждали меня внизу. Капитан засунул пистолеты себе в карманы, г-н Эжен нес под плащом шпаги.

«Извозчик, в Булонский лес!»

«Если меня убьют,— проговорил капитан,— передайте это обручальное кольцо моей несчастной Марии: оно принадлежало ее матери, достойнейшей женщине, которую призвал к себе господь бог. Надеюсь, что там, на небе, больше справедливости, чем в нашей земной юдоли. Распорядитесь, кроме того, мой юный друг, чтобы меня похоронили при шпаге и с моим боевым крестом. У меня нет друзей, кроме вас, нет родственников, кроме дочери. Таким образом, за моим гробом пойдете только вы двое — больше никого не будет».

«Зачем такие мрачные мысли, капитан? Они не к лицу отставному военному».

Капитан грустно улыбнулся.

«Жизнь плохо сложилась для меня после тысяча восемьсот пятнадцатого года, господин Эжен. А раз вы обещали оберегать мою дочь, я спокоен: для нее лучше иметь молодого и богатого покровителя, чем старого и нищего отца».

Капитан умолк, г-н Эжен не посмел ему возражать, и старик ничего больше не сказал до самого места дуэли.

Какой-то кабриолет следовал за нами. Когда он остановился, из него вышел г-н Альфред в сопровождении двух свидетелей. Один из них приблизился к нам.

«Какое оружие выбрал капитан?»

«Пистолеты», — ответил старик.

«Оставайся в карете, жди меня и охраняй шпаги», — сказал мне хозяин.

И тут же все пятеро углубились в лес.

Не прошло и десяти минут, как раздались два выстрела. Я подскочил на месте, словно не ожидал этого. Все было кончено для одного из противников, ибо в последующие десять минут выстрелы не возобновились.

Я забился в уголок кареты, боясь выглянуть наружу. Дверца неожиданно распахнулась.

«Кантийон, где шпаги?» — спросил меня хозяин.

Я подал ему оружие. Он протянул руку: на его пальце блеснуло кольцо капитана.

«А... а что... отец мадемуазель Марии?» — пробормотал я.

«Убит!»

«Так значит, эти шпаги?..»

«Для меня».

«Во имя бога, дозволейте мне сопровождать вас».

«Идем, если хочешь».

Я соскочил с извозчика. Сердце у меня так сжалось от страха, что стало меньше горчичного зерна, а сам я дрожал как в лихорадке. Хозяин мой вошел в лес, я последовал за ним.

Едва мы сделали десять шагов, как увидели г-на Альфреда: он стоял со своими свидетелями и что-то говорил им, смеясь.

«Осторожнее», — крикнул хозяин, толкнув меня в бок.

Я отскочил назад. В самом деле, я чуть было не наступил на тело капитана.

Господин Эжен бросил быстрый взгляд на труп и, подойдя к своему противнику и его свидетелям, положил обе шпаги на землю.

«Благоволите проверить, господа, — сказал он, — одинаковой ли они длины».

«Стало быть, вы не желаете откладывать поединок на завтра?» — спросил один из свидетелей.

«Ни в коем случае!»

«Будьте покойны, друзья, — проговорил г-н Альфред, — я несколько не устал, но охотно выпил бы стакан воды».

«Кантийон, сходи за водой для господина Альфреда», — приказал мне хозяин...

Мне до смерти не хотелось уходить в такую минуту, но г-н Эжен повелительно махнул рукой, и я направился

к ресторану, тому, что стоит у входа в лес, — мы были от него в каких-нибудь ста шагах. Я мигом воротился назад и подал стакан г-ну Альфреду, говоря про себя: «Чтоб ты подавился!» Он взял стакан, рука у него не дрожала, но я отметил, беря обратно пустой стакан, что на нем остались отметины, так сильно он закусил его край.

Бросив через плечо стакан, я подошел к хозяину и увидел, что за время моего отсутствия он успел подготовиться к поединку. На нем остались лишь штаны и рубашка, рукава которой он засучил выше локтя.

«Вы ничего не желаете наказать мне?» — спросил я, приближаясь к нему.

«Нет, — ответил он. — У меня нет ни отца, ни матери. В случае моей смерти...»

Он написал несколько строк на клочке бумаги.

«В случае моей смерти, ты отдашь эту записку Марии...»

Он опять взглянул на бездыханное тело капитана и, направляясь к своему противнику, проговорил:

«Ну что ж, приступим, господа».

«Но у вас нет свидетелей», — возразил г-н Альфред.

«Вы уступите мне одного из своих».

«Эрнест, перейдите на сторону господина Эжена».

Один свидетель приблизился к моему хозяину, другой взял оружие, поставил противников в четырех шагах друг от друга, вложил им в руки эфесы шпаг и отошел в сторону со словами:

«Начинайте, господа».

В тот же миг противники шагнули вперед, и клинки их скрестились у самых рукояток.

«Отойдите назад», — сказал мой хозяин.

«Не в моих правилах отступать», — ответил г-н Альфред.

«Хорошо».

Господин Эжен шагнул назад и встал в оборонительную позицию.

Я пережил страшные десять минут. Шпаги вились, как змеи, одна возле другой. Г-н Альфред наносил удары, а мой хозяин, следя глазами за его шпагой, парировал их с таким спокойствием, словно находился в фехтовальной школе. Я себя не помнил от гнева. Будь здесь слуга г-на Альфреда, я, кажется, задушил бы его.

Дуэль продолжалась. Г-н Альфред горько посмеивался, мой хозяин был холоден и спокоен.

«Ага!» — вскричал г-н Альфред.

Он ранил моего хозяина в руку: потекла кровь.

«Пустяки, — возразил г-н Эжен, — продолжим».

Пот лил с меня в три ручья.

Свидетели приблизились. Г-н Эжен махнул рукой, требуя, чтобы они отошли. Его противник воспользовался этим и сделал выпад; мой хозяин слишком поздно прибег к защите, и теперь кровь брызнула из его бедра. Я сел на траву: ноги не держали меня.

Господин Эжен был все так же холоден и спокоен; однако видно было, что он крепко сжал зубы. Пот крупными каплями стекал со лба его противника, который явно терял силу.

Мой хозяин шагнул вперед; его противник отступил.

«Я полагаю, что вы никогда не отступаете», — проговорил господин Эжен.

Господин Альфред сделал ложный выпад; г-н Эжен парировал его удар с такой силой, что шпага противника взметнулась вверх, словно он отдавал честь. На мгновение грудь его осталась открытой, и клинок моего хозяина вошел в нее по самую рукоятку.

Господин Альфред вытянул вперед руки, выпустил оружие и продолжал стоять словно потому, что проткнувшая его насквозь шпага удерживала его в вертикальном положении.

Господин Эжен вытащил свою шпагу, и его недруг рухнул на землю.

«Можете подтвердить, что я вел себя как человек чести?» — спросил мой хозяин у свидетелей.

Они кивнули и нагнулись над г-ном Альфредом.

Хозяин подошел ко мне.

«Поезжай в Париж и привези ко мне нотариуса; я должен найти его по возвращении домой».

«Если вы стараетесь для господина Альфреда, — сказал я, — то напрасно утруждаете себя: он извивается, как уж на сковородке, и изо рта у него хлещет кровь, — а это дурной признак».

«Дело не в этом», — ответил он.

— Для чего же ему потребовался нотариус? — спросил я, прерывая Кантийона.

— А для того, чтобы жениться на девушке,— ответил он,— и признать ее ребенка.

— И господин Эжен сделал это?

— Сделал, сударь, и не моргнув глазом.

И Кантийон продолжал свой рассказ:

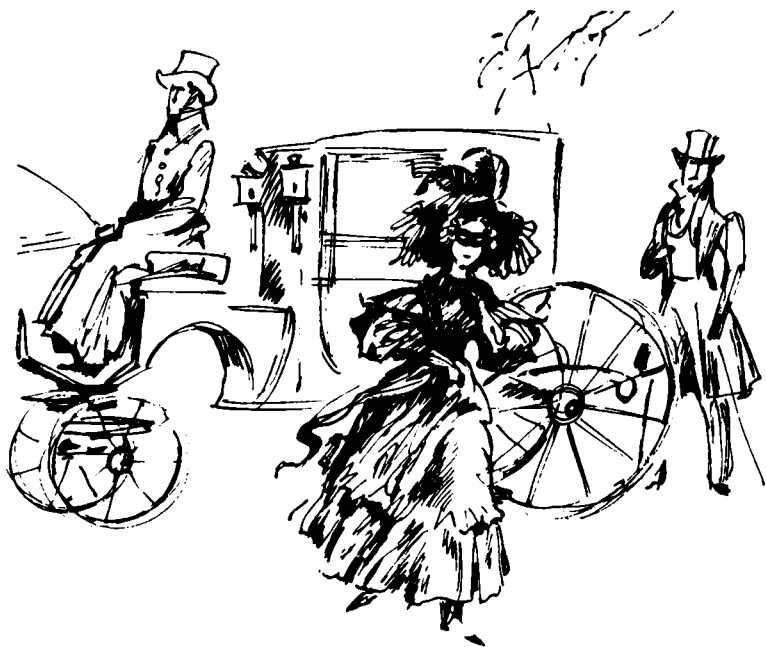
— Мы с женой скоро отправимся путешествовать,— сказал мне г-н Эжен.— Я очень бы хотел, чтобы ты остался у меня, но, видишь ли, Марии было бы тяжело постоянно встречаться с тобой. Вот, возьми эти деньги, здесь тысяча франков. Кроме того, я дарю тебе кабриолет с лошастью. Поступи с ними, как тебе заблагорассудится. А если ты будешь нуждаться в помощи, обещай, что обратишься только ко мне — ни к кому другому».

И так как у меня было все необходимое, чтобы завести собственное дело, я стал возить седоков.

— Вот моя история, хозяин. Куда теперь поедем?

— Ко мне домой: я закончу визиты в следующий раз.

Я вернулся к себе и записал историю Кантийона так, как он мне ее рассказал.



МАСКАРАД

Я приказал никого не пускать ко мне; один из моих друзей все же сумел преодолеть этот запрет.

Слуга неожиданно доложил о г-не Антони Р... Я заметил за ливреей Жозефа рукав черного редингота; вполне возможно, что со своей стороны владелец редингота увидел полу моего халата — прятаться было бесполезно.

— Прекрасно, проси! — сказал я громко.

«Чтоб тебе пусто было!» — сказал я про себя.

Только любимая женщина может безнаказанно помешать вам, когда вы работаете, ибо она незримо присутствует во всем, что вы делаете.

Итак, я встал к нему навстречу, и на моем лице отразилось подавленное недовольство писателя, уединение которого было нарушено в ту минуту, когда он особенно этого опасался; но, увидев, как бледен и расстроен мой друг, я спросил:

— Что с вами? Что случилось?

— Ох, дайте мне перевести дух, — проговорил он, — и я все вам расскажу. Впрочем, по всей вероятности, это был сон или я попросту сошел с ума.

Он бросился в кресло и закрыл лицо руками.

Я с удивлением взирал на гостя: волосы его намокли под дождем, ботинки, низ панталон, колени были покрыты грязью. Я подошел к нему и увидел у подъезда его кабриолет и слугу. Я терялся в догадках.

Заметив мое удивление, он пояснил:

— Я был на кладбище Пер-Лашез.

— Как? В десять часов утра?

— Я приехал туда в семь... Проклятый маскарад!

Я в толк не мог взять, что было общего между маскарадом и кладбищем. Я решил повременить и, повернувшись спиной к камину, принялся скручивать сигарету с хладнокровием и невозмутимостью, свойственными разве что испанцам.

Когда сигарета достигла требуемого совершенства, я протянул ее Антони; обычно он был весьма чувствителен к такого рода вниманию.

Он поблагодарил меня кивком головы и отвел мою руку.

Я нагнулся, чтобы закурить самому, но Антони остановил меня.

— Прошу вас, Александр, — сказал он, — выслушайте меня.

— Вы уже добрых четверть часа здесь и еще ничего мне не рассказали.

— О, это такая странная история!

Я выпрямился, положил сигарету на камин и скрестил руки, как человек, примирившийся с неизбежностью: мне и самому стало казаться, что он не в своем уме.

— Помните тот бал в Опере, на котором мы с вами встретились? — спросил он, немного помолчав.

— Последний бал, на котором было не больше двухсот человек?

— Вот именно. Я распрощался с вами, чтобы ехать на маскарад в Варьете. Мне говорили о нем как о достопримечательности, достойной нашего примечательного времени. Вы отговаривали меня, советовали не ездить — нелегкая попутала меня. О, почему вы, бытописатель, не видели этого зрелища? Почему не

было там ни Гофмана, ни Калло, дабы изобразить фантастическую и гротескную картину, которая развернулась перед моими глазами? Я ушел из пустой и унылой Оперы и очутился в переполненном и оживленном Варьете: зала, коридоры, ложи, партер — все кишело народом. Я обошел залу: двадцать масок окликнули меня по имени и сказали, как их зовут. Здесь присутствовали крупнейшие аристократы и финансисты в гнусных маскарадных костюмах Пьеро, возниц, паяцев, базарных торговков. Все это были люди молодые, благородные, отважные, достойные уважения; позабыв о своем громком имени, об искусстве или политике, они пытались возродить бал-маскарад эпохи Регентства, и это среди нашей строгой и суровой жизни! Мне говорили об этом, но я не верил рассказам!.. Я поднялся на несколько ступенек и, прислонившись к колонне, наполовину скрытый ею, устремил взгляд на человеческий поток у своих ног. Эти домино всевозможных расцветок, эти пестрые наряды, эти вычурные костюмы являли собой зрелище, в котором не было ничего человеческого. Но вот заиграл оркестр. О, что тут началось!.. Странные существа задвигались под его звуки, долетавшие до меня вместе с криками, хохотом, гиканьем; маски схватили друг друга за руки, за плечи, за шею; образовался огромный движущийся круг; мужчины и женщины шумно топали ногами, поднимая облака пыли, и в белесом свете люстр были видны ее мельчайшие атомы; скорость вращения все увеличивалась, люди принимали странные позы, делали непристойные движения, дико орали; они вращались все быстрее и быстрее, откинувшись назад, как пьяные мужчины, воя, как погибшие женщины, и в этих воплях звучала не радость, а исступление, не ликование, а ярость, точно это был хоровод душ, проклятых богом, которые осуждены мучиться в аду за свои прегрешения. Все это происходило передо мной, у моих ног. Я ощущал ветер, поднимаемый стремительным бегом масок; каждый мой знакомец, проносясь мимо, кричал мне какую-нибудь непристойность, от которой лицо мое заливала краска. Весь этот шум, гам, вся эта неразбериха были не только в зале, но и у меня в голове! Вскоре я уже перестал понимать, сон это или явь; я вопрошал себя, кто из нас безумен — они или я; меня обуревало нелепое желание броситься в этот пандемони-

ум, по примеру Фауста, оказавшегося на шабаше ведьм, и я чувствовал, что сразу уподоблюсь этим людям, буду испускать такие же дикие крики, делать такие же непристойные жесты, телодвижения и хохотать, как они. О, отсюда до подлинного безумия был всего один шаг. Меня обуял ужас, я выскочил из зала, преследуемый до самой парадной двери воплями, походившими на любовный рык, вылетающий из логова диких зверей.

Я на минуту задержался под навесом, чтобы прийти в себя: я не решался спуститься на улицу — так велико было охватившее меня смятение; по всей вероятности, я сбился бы с пути или попал под колеса какого-нибудь экипажа. Я походил на пьяного, затуманенный разум которого настолько прояснился, что он уже отдает себе отчет в своем состоянии и, чувствуя возрождение воли, все еще стоит неподвижно, без сил, облокотясь на фонарный столб или на дерево какой-нибудь аллеи, и смотрит перед собой неподвижным, тусклым взглядом.

В этот миг у подъезда остановилась карета, и из нее вышла, или скорее выскочила, какая-то женщина. Она взбежала на крыльцо, озираясь как потерянная; на ней было черное домино, лицо закрывала бархатная маска. Она хотела было войти.

«Ваш билет?» — потребовал контролер.

«Билет? — переспросила она. — У меня нет билета».

«Так купите его в кассе».

Женщина в домино отошла от двери и стала судорожно рыться в своих карманах.

«У меня нет с собой денег! А, вот кольцо!.. — воскликнула она и попросила: — Дайте мне входной билет в обмен за это кольцо».

«Не могу, — ответила кассирша, — таких сделок мы не делаем».

И она оттолкнула бриллиантовое кольцо, которое упало на пол и покатилося в мою сторону.

Домино застыло на месте, позабыв о кольце, целиком уйдя в свои мысли.

Я поднял кольцо и вручил его незнакомке.

В разрезе маски я увидел ее глаза: они пристально смотрели на меня; несколько мгновений она пребывала в нерешительности, затем порывисто схватила меня за руку.

«Вы должны помочь мне войти! — проговорила она. — Сделайте это, хотя бы из жалости».



«Но я как раз собирался уйти, сударыня», — возразил я.

«В таком случае дайте мне шесть франков за это кольцо. Вы окажете мне огромную услугу, и я всю жизнь буду благословлять вас».

Я надел ей на палец кольцо, подошел к кассе и взял два билета. Мы вместе вошли в Варьете.

В коридоре я почувствовал, что моя спутница еле держится на ногах. И вдруг она уцепилась за меня обеими руками.

«Вам дурно?» — спросил я.

«Нет, нет, пустяки», — ответила она. — Просто голова закружилась».

И она увлекла меня за собой.

Я снова очутился, теперь уже с дамой, в этом сумасшедшем доме.

Мы трижды обошли залу, с трудом пробираясь сквозь толпу пляшущих масок; моя дама вздрагивала при каждой долетавшей до нее непристойности, а я краснел оттого, что меня видят под руку с женщиной, которая не боится выслушивать такие слова; затем мы вернулись ко входу в залу. Незнакомка рухнула в кресло. Я остался стоять рядом, положив руку на его спинку.

«Это зрелище должно вам казаться весьма странным, — сказала она, — но не больше, чем мне, клянусь вам! Я и представления не имела ни о чем подобном (она смотрела на маскарад), ничего похожего я не видела даже во сне. Но поймите, мне написали, что он явится сюда с женщиной. Что же это за женщина, если она бывает в таком месте?»

Я развел руками, она поняла мое недоумение.

«Вы хотите сказать, что я тоже пришла сюда? Но я — другое дело: я ищу его, я его жена. А всех этих людей влечет сюда безрассудство и разврат. Меня же, меня толкнула на этот шаг неистовая ревность! Я отправилась бы за ним куда угодно — на кладбище ночью, на Гревскую площадь в день казни. И однако, клянусь вам, в девушках я ни разу не вышла из дому без матери, а после замужества ни разу не была на улице без сопровождения лакея; и вот теперь я здесь, как и все эти женщины, которые прекрасно знают дорогу в этот вертеп. Я здесь под руку с незнакомым мне человеком и краснею под своей маской при мысли о том, что он должен думать обо мне! Представляю себе ваше

удивление. Но скажите, сударь, вы когда-нибудь ревновали?»

«Да, ревновал, и безумно»,— ответил я.

«Значит, вы не осудите меня, вы все поймете. Вам знаком голос, который приказывает вам: «Ступай!»— словно это голос самого безумия. Вы ощущали, как чья-то рука толкает вас на позор, на преступление, словно в дело вмешался злой рок. Вы знаете, что в такую минуту человек способен на все, лишь бы ему удалось отомстить?»

Я собирался ответить ей, но тут она вскочила с места, устремив взгляд на два домино, которые шли мимо нас.

«Молчите»,— приказала она и потащила меня вслед за ними.

Я был вовлечен в интригу, в которой ровно ничего не понимал; я чувствовал, как меня оплетают ее нити, и не мог их распутать; но эта несчастная женщина казалась такой взволнованной, смятенной, что она заинтересовала меня. Я последовал за ней, как дитя,— так неодолимо действует подлинная страсть,— и мы поспешили вслед за обеими масками, под которыми явно скрывались мужчина и женщина. Они разговаривали между собой, но так тихо, что звук их голосов едва долетал до нас.

«Это он,— прошептала моя спутница,— я узнаю его голос! Да, да, и фигура его...»

Мужчина в домино рассмеялся.

«Это его смех,— сказала она.— Это он, сударь, это он! Письмо не солгало. О боже мой, боже мой!»

Между тем обе маски шли, не останавливаясь, и мы по-прежнему сопровождали их; они вышли из зала, мы тоже вышли из нее немного погодя; они вступили на лестницу, которая вела в отдельные кабинеты, и мы поднялись вслед за ними; они остановились только у кабинетов под самой крышей: мы казались двумя их тенями. Отворилась зарешеченная дверь небольшого кабинета; они вошли, и дверь тут же захлопнулась.

Бедная женщина, которую я держал под руку, пугала меня своим волнением; я не мог видеть ее лица, но мы стояли так близко друг от друга, что я ощущал биение ее сердца, трепет тела, дрожь пальцев. Было что-то странное в том, как передавалась мне невообразимая мука, которую я лицезрел перед собой, ведь я не знал этой страждущей женщины, не вполне понимал, в чем тут дело. Однако ни за что на свете я не покинул бы ее в такую минуту.

Увидев, что обе маски вошли в кабинет, дверь которого тут же захлопнулась за ними, она оцепенела, словно громом пораженная, потом подбежала к двери и попыталась услышать, что происходит за ней. Малейшее неосторожное движение могло выдать несчастную, погубить ее; я повелительно схватил ее за руку, втащил за собой в соседний кабинет, опустил решетку и запер дверь.

«Если вы желаете слушать, слушайте по крайней мере здесь», — заметил я.

Она опустилась на одно колено и приникла ухом к перегородке, а я остался стоять в противоположном конце комнаты, скрестив руки на груди и задумчиво склонив голову.

Насколько я мог судить, женщина эта была настоящей красавицей. Низ лица, не скрытый под маской, был юный, округлый, бархатистый, алые губы тонко очерчены, зубы, мелкие, ровные, блестящие, казались особенно белыми по сравнению с краем маски; рука привлекла бы взгляд любого скульптора, талия уместилась бы между двумя пальцами, ее волосы, черные, тонкие, густые, шелковистые, выбивались из-под капюшона домино, а маленькая, видневшаяся из-под платья ножка была так миниатюрна, что не верилось, будто она может выдержать тяжесть тела, каким бы изящным, легким, воздушным оно ни было. О, конечно, женщина эта была самым совершенством! И человек, который держал бы ее в своих объятиях, который видел бы, как душа ее раскрывается ему настречу, ощущал бы у своего сердца любовный трепет, дрожь, содрогание этого тела и говорил бы себе: «Все это, все это — любовь, любовь ко мне, ко мне одному, избранному тобой среди всех других мужчин, мой прекрасный ангел, предназначенный мне судьбою», — этот человек... этот человек!..

Вот какие мысли обуревали меня, как вдруг женщина поднялась с колен, повернулась ко мне и сказала прерывающимся от гнева голосом:

«Сударь, я красива, клянусь вам! Я молода, мне всего девятнадцать лет. До сих пор я была чиста, как божий ангел... И я ваша... ваша... Возьмите меня!..»

Она обвила мою шею руками, и в тот же миг я почувствовал, что губы ее прильнули к моим губам, и болезненная дрожь пробежала по ее телу, словно это

был не поцелуй, а укусы; тут огненная пелена застлала мне взор.

Десять минут спустя я держал ее, полуживую, в своих объятиях: запрокинув голову, она безутешно рыдала.

Постепенно она пришла в себя; я различал в разрезе маски ее блуждающий взгляд, видел низ ее побледневшего лица, слышал, как стучали ее зубы, словно в приступе лихорадки. Все это до сих пор стоит у меня перед глазами.

Тут она вспомнила все, что произошло, и упала к моим ногам.

«Если вы хоть немного сочувствуете мне,— сказала она, рыдая,— если хоть немного жалеете несчастную,— отверните от меня свои взоры и не пытайтесь узнать, кто я. Дайте мне уйти, позабудьте обо всем: я буду помнить о случившемся за нас обоих».

С этими словами она вскочила с проворством ускользящей от нас мысли, подбежала к двери и отворила ее.

«Не следуйте за мной, сударь, во имя неба, не следуйте за мной!» — воскликнула она, обернувшись ко мне в последний раз.

Дверь с шумом захлопнулась, встав преградой между нами, и скрыла ее словно мимолетное видение от моих взоров. Больше я ее не видел.

Больше я ее не видел! Прошло десять месяцев, я искал ее повсюду — на балах, в театрах, на гуляньях; всякий раз, заметив вдалеке женщину с тонкой талией, миниатюрной ножкой и черными волосами, я следовал за ней, обогнав ее, оборачивался в надежде, что вспыхнувший румянец выдаст ее. Я так и не нашел своей незнакомки, ни разу больше не видел ее... разве что ночью, в своих сновидениях! И вот тогда, тогда она приходила ко мне, я ощущал, да, ощущал ее тело, ее объятия, ее укусы и ласки, такие жаркие, что в них было нечто inferнальное, затем маска спадала, открывая самое странное лицо на свете, то расплывчатое, словно подернутое дымкой, то сияющее, словно окруженное ннбмом, то бледное с белым голым черепом, с пустыми глазницами и редкими шаткими зубами. Словом, после этого маскарада я потерял покой, меня сжигала безрассудная любовь к неизвестной женщине: я вечно надеялся найти ее и вечно терпел разочарование; я ревновал ее, не имея на это права, не зная, к кому мне

следовало ее ревновать, не смея признаться в охватившем меня безумии; и все же безумие это преследовало, подтачивало, снесало, сжигало меня.

С этими словами он вытащил спрятанное на груди письмо.

— А теперь, когда я все тебе рассказал,— проговорил он,— возьми это письмо и прочти его.

Я взял письмо и прочел следующие строки:

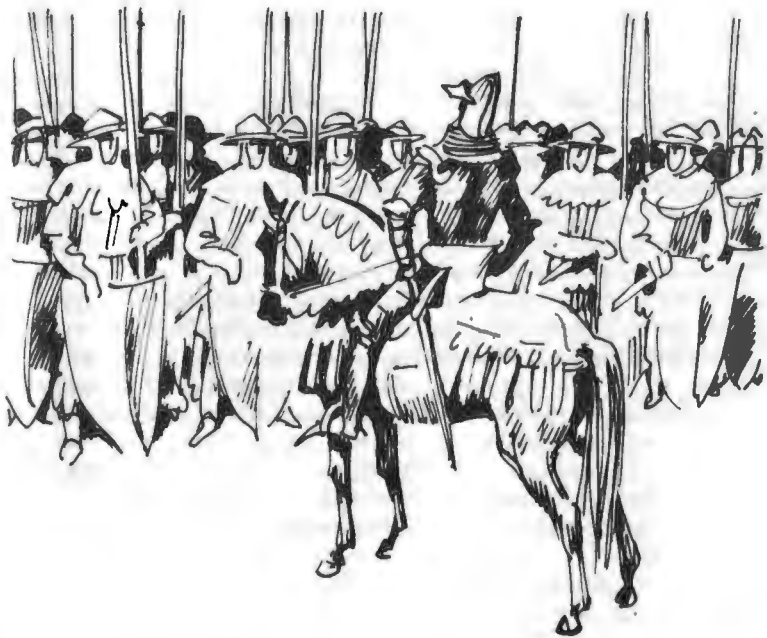
«Быть может, вы забыли несчастную женщину, которая ничего не забыла и умирает оттого, что не в состоянии ничего забыть.

Когда вы получите это письмо, меня уже не будет на свете. Сходите, прошу вас, на кладбище Пер-Лашез и скажите сторожу, чтобы он показал вам свежую могилу, на надгробном камне которой будет начертано только имя «Мария». Подойдите к этой могиле, встаньте на колени и помолитесь за усопшую».

— Я получил это письмо вчера,— продолжал Антони,— а сегодня утром был на кладбище. Сторож провел меня к ее могиле, и я два часа молился и плакал, стоя на коленях. Подумай только! Она лежала здесь, в земле, эта женщина!.. Ее пламенная душа отлетела. Истерзанное духом тело опочило, угаснув под гнетом ревности и угрызений совести. И теперь она спала вечным сном, здесь, у моих ног. Она жила и умерла неведомая мне... Неведомая мне, она заполнила мою жизнь и сошла в могилу. Неведомая мне, она оставила в моем сердце призрак холодного, безжизненного трупа, который покоится ныне под этой могильной насыпью. Слышал ли ты что-нибудь подобное? Встречалась ли тебе более странная история? Итак, всякая надежда потеряна! Я уже никогда не увижу ее. Даже вскрыв ее могилу, я не узнаю черт, которые помогли бы мне воссоздать некогда живое лицо. А вместе с тем я люблю ее, понимаешь, Александр? Я люблю ее до безумия. Ни минуты не колеблясь, я покончил бы с собой, чтобы соединиться с ней за гробом, если бы и там она не осталась навеки такой же неведомой мне, как и на этом свете.

С этими словами он вырвал письмо из моих рук, несколько раз прижался к нему губами и заплакал, как ребенок.

Я обнял друга и, не зная, чем утешить его, стал лить слезы вместе с ним.



ПРАВЯЯ РУКА КАВАЛЕРА ДЕ ЖИАКА

Исторические сцены — 1425—1426 годы

I

Если читатель, с неизменной снисходительностью сопровождавший нас в наших частых странствиях по старой Франции, согласится и на этот раз перенестись с нами в далекое прошлое, мы окажемся вместе с ним в нескольких льё от Авранша, хорошенького городка между Трансом и Сент-Илером, у подножия замка, чьи стены, поросшие ныне травой, гордо опоясывали во времена, о которых идет речь, посад Сен-Джемс де Бёврон.

Там, где тянутся сегодня вплоть до Понторсона сочные зеленые луга, стояли палатки бретонской армии, которая в начале масленичной недели 1425 года

приступила к осаде замка Сен-Джемс. Если бросить взгляд на ров, окружающий лагерь бретонцев, и на палисад, который его защищает, и проследить за зигзагообразным контуром того и другого, нетрудно заметить, что план этих укреплений, предназначенных как для нападения, так и для обороны, был разработан человеком, весьма сведущим в военном деле. Во времена средневековья с его диковинными войнами, когда все подчинялось не плану единой кампании, а прихоти отважных главарей, у которых возникал собственный замысел, едва только под их началом собиралось человек двадцать пять, готовых содействовать его осуществлению, требовалась лишь помощь внезапно освобожденного гарнизона, который, выступив в поход, случайно приходил на выручку какого-нибудь обложенного неприятелем гарнизона, чтобы сегодняшние осаждающие завтра же оказались в осаде. Это вполне могло случиться и с бретонской армией, если бы англичанам, находившимся в Авранше, взбрело на ум оказать помощь своим братьям в Сен-Джемсе де Бёвроне.

Но благодаря своевременно принятым мерам все было спокойно в лагере в этот ночной час; тишина нарушалась лишь часовыми, которые каждую четверть часа окликали друг друга; огни были погашены в жилищах солдат и палатках начальников; свет виднелся лишь в одной палатке, более высокой, чем все остальные, над которой развеялся при каждом порыве ветра, дувшего с моря, франко-бретонский стяг; в этой палатке не смыкал глаз обуреваемый заботами начальник всей этой армии, которая мирно спала, словно стадо, всецело доверившееся своему пастуху.

Даже не сняв доспехов, военачальник рухнул на волчьей шкуры, служившие ему постелью; так как на нем не было шлема,— тот валялся рядом, возле ложа,— сразу бросилось в глаза, что человек, на плечах которого лежала тяжкая ответственность за жизнь подчиненных, был красивым мужчиной не более тридцати двух — тридцати трех лет от роду, белокожим и голубоглазым, с длинными русыми волосами, разметанными по плечам; черты его лица свидетельствовали бы о мягкости характера; если бы привычка слегка хмурить брови не выдавала той могучей, неумолимой воли, которая у бре-

тонцев нередко переходит в упрямство. Медная лампа, единственный огонек, который, как мы уже говорили, бодрствовал в лагере, освещала манускрипт под заглавием *История графа Артюса де Ришемона, коннетабля французского королевства, содержащая описание подвигов, им совершенных с 1413 года до конца года 1424*. Он читал этот манускрипт, подперев голову левой рукой, а правой заносил исправления буквами втрое крупнее, чем в самом тексте.

— Бедный Гийом, несчастный друг мой! — пробормотал молодой человек, перевернув последнюю страницу. — Пожалуй, ты описал здесь самые яркие страницы моей жизни. Очень боюсь, как бы этот тысяча четыреста двадцать пятый год, столь плохо начавшийся, не принял бы худшего оборота.

— Что за мрачные мысли, монсеньер, — заметил мужчина, одетый в крестьянское платье, который вошел в палатку Артюса и незаметно приблизился к его ложу. — К несчастью, — прибавил со вздохом новоприбывший, — вести, которые я привез, вряд ли дадут им более радостный оборот.

— А, это ты, Ле Грюэль! — сказал Артюс, и улыбка, промелькнувшая на его устах, говорила о том, что, несмотря на дурные новости, сам вестник был желанным гостем. — Клянусь душой, я думал, что тебя повесили, мой бедный Гийом, и собирался не позже завтрашнего дня выслать отряд, дабы осмотреть одно за другим все окрестные деревья и, в случае надобности, по-христиански предать твое тело земле.

— Это вполне могло случиться, монсеньер, если бы я не озаботился сменить благородную ливрею вашего дома на этот костюм простолюдина. Под командованием графа де Суффолка и сэра де Скаля англичане день и ночь рыщут по здешним местам. Правда, у меня при себе были лишь небольшие деньги, но негодяи не погнушались бы и такой скромной добычей.

С этими словами Гийом Ле Грюэль высыпал свой кошель в шлем князя.

— Скажи, докуда же ты добрался?

— До самого Ренна, ей-богу.

— И ничего не узнал там о короле?

— Как не узнать? Узнал. Он в Иссудёне с господином де Жиаком и со всем двором.

— Ну а обещанные нам сто тысяч золотых?

— О них ни слуху ни духу.

— Так, значит, деньги, что ты принес?..— продолжал Артюс, бросив небрежный взгляд на свой полный золота шлем.

— Я выручил их за драгоценности, которые вы приказали продать; кроме того, сто золотых я получил от господина Жилия, вашего брата, и столько же от ваших сестер,— госпожи д'Алансон и госпожи де Ломэнь.

— Милые сестры...— прошептал Артюс.

— Герцога Жана я не видел: он отправился не то в сторону Морле, не то Кемпера. Но будь он даже в Ренне, толку не вышло бы никакого. Вы же знаете, что он больше привержен к бургундской партии, чем к партии дофина.

— Так сколько же у нас всего денег?..

— Четыреста восемьдесят золотых.

— Недурно! Достанет по крайней мере расплатиться с купцами, которые снабжают армию провиантом. Зато солдатам придется подождать благорасположения нашего короля.

— Да ниспошлет им господь терпения! — прошептал Гийом тоном человека, который на всякий случай сотворил молитву, хотя и не слишком верит, что она будет услышана.

— Что такое? — спросил Артюс, сжав зубы и нахмурив брови.— Как ты можешь сомневаться в терпеливости армии, когда сам военачальник подает ей в том пример?

— Я кое-что слышал, когда возвратился в лагерь. Говорили об этом часовые, которым мне пришлось назвать себя.

— И о чем же они говорили?..

— О бунте, который вспыхнет завтра, если на рассвете воины не получат денежного довольствия, ведь они ждут его уже пять месяцев.

— Бунт! — воскликнул Артюс, вскочив со своего ложа.— Бунт! Да ты, верно, не понял, Гийом.

— Нет, монсеньер, я знаю, что говорю. А потому, прошу вас, будьте осторожны.

— Бунт,— повторил Артюс, презрительно улыбаясь и крупными шагами расхаживая по палатке.— Бунт!

Любопытно было бы взглянуть на этот бунт! Ты говоришь об осторожности?! Единственное, что я сделаю,— не выйду отсюда без шпаги.

— Но, монсеньер, не лучше ли повременить с оплатой купцам и рассчитаться с воинами?

— Купцы доставили товар под мое честное слово, и слово свое я не нарушу. Я обязан снабжать солдат хлебом, водой и оружием, и пока у них есть еда, питье и воинское снаряжение, им не пристало бунтовать.

— Но, монсеньер...

— Возьми это золото, расплатись с купцами и, если у тебя останется несколько монет, отдай их от меня самым бедным из здешних крестьян да вели им молиться о величии нашего короля Карла Седьмого и о спасении Франции.

Гийом взглянул на своего господина и вышел. Он понял по выражению его лица, что возражать бесполезно. Артюс снова лег на свое ложе, и то ли сморенный усталостью, ибо час был поздний, то ли благодаря уверенности в себе и своей силе воли, четверть часа спустя он уже крепко спал.

На заре сон его был нарушен громким шумом, поднятым в лагере. Артюс сразу проснулся, вскочил на ноги и хотел было выбежать из палатки, когда вошел Ле Грюэль.

— Что за шум, Гийом, что происходит?

— А то, что я предвидел, монсеньер.

— Бунт? — вскричал Артюс и схватил палицу, висевшую у его изголовья.

— Нет еще.

— Так в чем же дело?

— Стража не выпускает из лагеря торговцев скотом.

— Почему?

— Часовой, стоявший у вашей палатки, предупредил стражников, что все принесенные мною деньги пойдут на оплату провианта, воинам ничего не достанется...

— И что же? — нетерпеливо перебил его Артюс.

— А то, что солдаты хотят отобрать эти деньги у купцов, а те противятся, утверждая, что получили их законным путем.

— Клянусь пресвятой девой, они правы! Поспешим же на помощь этим честным людям!

— Разве вы не наденете шлема, монсеньер?

— Нет, нет, эти мерзавцы должны еще издали узнать меня. Пусть не будет оправдания тому, кто не сразу повинуется моему приказу. Коня, Жан, коня!

Оруженосец, к которому были обращены эти слова,— на его обязанности лежало день и ночь держать наготове боевого коня, чтобы ни одно дело, ни одна случайность не застала военачальника врасплох,— подал уздечку коннетаблю и по обыкновению хотел подставить ему колено, но Артюс вскочил в седло с такой легкостью, словно на нем были не тяжелые доспехи, а легкий охотничий костюм; прислушавшись, он определил, откуда доносятся крики, и поскакал туда во весь опор.

Гийом оказался прав: узнав, что с купцами произведен расчет, охрана ворот соглашалась выпустить их из лагеря не меньше чем за половину полученной ими суммы. Нетрудно догадаться, что это требование встретило единодушный отпор; однако солдаты, ожидавшие сопротивления купцов, решили взять силой то, что те не желали отдавать по доброй воле. Тогда купцы, прекрасно понимавшие, что раздел денег будет произведен без особой шепетильности, как только те попадут в руки военных, собрались якобы на совет, а на самом деле чтобы подготовиться к защите; окружив себя повозками, они поместили женщин и детей в середину огороженной таким образом площадки, вооружились палками и собрались отстаивать то, что всякий почтенный коммерсант с молодых ногтей привык ставить выше собственной жизни, а именно свои деньги. С другой стороны, солдаты — для них такая война была детской забавой — готовились к сражению со свирепой радостью, которая обуревает человека и тигра, когда их жертва, слишком слабая, чтобы оказать им отпор, все же готовится к сопротивлению и своими потугами оправдывает жестокость грозящей расправы. К воротам со всего лагеря сбежались солдаты и, в большинстве своем не зная, из-за чего произошла вся эта заваруха, тут же встали под влиянием корпоративного духа на сторону военных людей против людей партикулярных. «Бей, бей их!» — оралы они, хотя еще не понимали да и не хотели понять, в чем виновны те, которых они заранее осудили на смерть

Вдруг среди этого гама, этой сумятицы раздался крик: «Коиннетабль, коннетабль!»

В то же мгновение толпа, сгрудившаяся столь тесно, что, казалось, сквозь нее не пролетит даже стрела арбалета, расступилась и освободила широкий проезд для своего начальника, который пронесся по нему галопом и остановился лишь тогда, когда голова его коня уперлась в заграждение, возведенное купцами; спрятавшись за ним, несчастные ждали ни живы ни мертвы, как распорядится господь бог их жизнью и имуществом. При виде коннетабля они воспряли духом, откатили одну повозку, чтобы пропустить своего спасителя и, бросившись на колени перед конем Артюса, стали взывать — одни о милости, другие о справедливости.

— Почему вы не уехали на заре, как мною было приказано? — спросил Артюс голосом столь громким, что он покрыл все другие голоса и был услышан в последних рядах воинов.

— Потому что стража отказалась отворить нам ворота лагеря, — ответил гораздо тише тот, кто казался главою купцов.

Артюс взмахнул рукой, требуя, чтобы купцы откатили еще одну повозку, и подскочил к воротам лагеря.

— Почему вы не выпустили этих людей? — спросил он у часовых тем же громовым голосом.

— Потому что они не знали пароля, монсеньер, — ответил один из стражников.

— Правильно сделали, — сказал Артюс и, вернувшись на огороженную площадку, наклонился к тому человеку, с которым уже говорил. — *Бретань и Бургундия*, — прошептал он. — А теперь уезжайте.

Купец подошел к своей повозке, взял лошадь за поводья и направился к воротам, сопровождаемый своими товарищами.

— *Бретань и Бургундия*, — повторил он стражникам.

— Проезжайте, — ответили они, и весь обоз беспрепятственно покинул лагерь.

Когда скрылась последняя повозка, Артюс, не спускавший глаз с обоза, обернулся и заметил в нескольких шагах от себя бретонских рыцарей, поспешивших к нему на выручку.

— Господа,— обратился к ним коннетабль, видимо, совершенно забывший о причине, приведшей их сюда,— я весьма рад тому, что вижу всех вас вместе, ибо мы вскорости идем на приступ. Господин Ален де Ла Мотт, прикажите вашим лучникам осмотреть свое оружие и наполнить колчаны стрелами. Господин де Моляк, велите отрядам, стоящим возле Плоэрмеля и Рок Сент-Андре, приготовить фашины и лестницы. Господин де Кетиви, возьмите триста всадников и произведите разведку в окрестностях Авранша и Понторсона, дабы англичане не вздумали отвлечь нас от дела. С вами же, Гийом Эдер, мы одновременно, но с разных сторон ударим по крепости. А теперь пусть каждый встанет под свое знамя и трубы возвестят, когда все будет готово.

При этих словах коннетабля начальники разошлись по своим участкам в сопровождении подчиненных, собравшихся под их знаменами, и лагерь, где четверть часа назад бужевали тысячи три-четыре воинов, разом опустел; остались там лишь часовые да телохранители коннетабля, который, убедившись, что все отправилось по местам, вошел в свою палатку, чтобы тоже подготовиться к сражению.

II

Час спустя бретонская армия, покинув свои квартиры, выступила в полном порядке, чтобы двинуться на приступ замка Сен-Джемс де Бёврон.

Приказы, отданные коннетаблем, были точно выполнены. Господин де Кетиви с двадцатью пятью рыцарями и их свитой направился в сторону Понторсона. Ален де Ла Мотт разделил своих лучников на два отряда и, став во главе одного из них, поручил командование вторым своему сыну Гийому, сеньор де Моляк собрал всех своих воинов, нагруженных лестницами, Гийом Эдер приготовился ударить по крепости с западной стороны, как то было велено коннетаблем, тогда как сам Артюс, взяв с собой половину армии, обогнул замок и намеревался атаковать его с южной стороны. Англичане следили за передвижением вражеских войск со вниманием, доказывавшим, насколько они были обеспокоены всеми этими маневрами, и спешили укрепить своими лучшими отрядами наиболее уязвимые

места крепостной стены. Едва армия коннетабля подошла к крепости на расстояние выстрела из самострела, как осаждаемые оглушительно завопили, их крики сменились пронзительным свистом, и три или четыре бретонских солдата упали, пронзенные насквозь длинными стрелами англичан.

Артюс приказал воинам сомкнуть ряды и продолжать наступление, выставив перед собой щиты. Но как только они сделали еще шагов тридцать по направлению к крепости, новые посланцы смерти ворвались в их ряды; раздались проклятия, однако войско продолжало наступать, оставляя за собой убитых и раненых, плававших в собственной крови. Наконец, оказавшись в пределах досягаемости всех стрел осажденных, Артюс отдал приказ остановиться и построил солдат тремя колоннами; бретонские лучники воткнули в землю свои длинные, остроконечные щиты, встали на коленях за ними и приготовились ответить на каждую стрелу англичан и отомстить за каждого убитого ими солдата.

Видя, что бой разгорелся, Артюс приказал воинам, которые тащили фашины, двигаться по направлению к крепостному рву, укрывшись за своими ношами, а тем, кто нес лестницы, идти вслед за ними; затем он взял лук у только что убитого лучника и стал прикрывать продвижение и тех и других. Несколько рыцарей сразу же примкнули к нему: так в наши дни иные нетерпеливые офицеры подбегают к артиллеристам, чтобы выпустить хотя бы по одному ядру в ожидании той минуты, когда им удастся вступить в бой; впрочем, опасности для рыцарей не было почти никакой, ибо доспехи надежно защищали их от стрел, отскакивавших от их фламандских панцирей, которые даже копье не всегда могло пробить.

Стрелы стучали по доспехам Артюса, как град по крыше, но вдруг он почувствовал, что одна из них ударила его сильнее, чем остальные, и боль в левом плече подтвердила, что, несмотря на прочность панциря, наконечник вражеской стрелы коснулся его тела. Он тотчас же вытащил ее и, тщательно осмотрев, заметил под оперением инициалы Мэтью Данкастера, знаменитого английского мастера, прославившегося своим умением выбирать дерево для луков и закалять железо

для наконечников стрел. Едва он закончил этот осмотр, как почувствовал удар в бедро. На этот раз стрела лишь вонзилась в панцирь, но пробить его не смогла.

— Уж не ранены ли вы, монсеньер? — воскликнул с беспокойством Гийом де Ла Мотт, находившийся рядом с ним.

— Нет, благодаря моим добрым доспехам из Гента, — ответил Артюс. — Однако надо срочно обнаружить того негодяя, который посылает нам такие подарки, и не медля расправиться с ним, ибо его стрела, попавшая в простого воина, уложит того на месте. Да и вы сами, Гийом, сразу же уподобитесь подушечке, утыканной булавками, если этот вражеский стрелок заметит, что на вас лишь одна кольчужка, которая защищает вас не лучше рыбацьеи сети.

— Господи боже, сжался надо мной! — прошептал Гийом де Ла Мотт, опускаясь на одно колено.

— Что с тобой, Гийом, сынок? — спросил Артюс.

— Я смертельно ранен, монсеньер. Видите того проклятого валлийца, что наклонился над крепостной стеной и указывает на меня своим соратникам. Это он, он меня убил!

Артюс бросил взгляд на лучника и, переведя его на раненого, увидел, что одна из английских стрел, имевших около трех футов в длину, пробила его тело над правым соском, и наконечник ее торчал у несчастного возле правой лопатки. Артюс сразу понял, что друг не ошибся и рана его смертельна.

— Скажи, нет ли у тебя какого-нибудь желания, Гийом? — спросил Артюс. — И если исполнить твою последнюю волю под силу человеку, я исполню ее.

Гийом уже не мог говорить: кровь ручьем хлестала у него изо рта; но он показал рукой на ранившего его лучника, который явно радовался своей удаче.

— Да, да, понимаю, — прошептал Артюс, прилаживая свою лучшую стрелу. — И хотя такое желание, пожалуй, и негоже иметь доброму христианину, оно будет исполнено. Почти же с миром, Гийом.

Стрела, пущенная Артюсом, со свистом пронеслась по воздуху и, достигнув цели, намеченной стрелком, пробила оба виска английского лучника, несмотря на его кожаный шлем. Англичанин раскинул руки, выронил лук и, опрокинувшись навзничь, упал в объятия своего

соседа. Артюс обернулся к Гийому. Проблеск жестокой радости мелькнул в глазах умирающего, который вскоре застонал, вздрогнул всем телом и испустил дух.

— На приступ! На приступ! — вскричал Артюс, воспользовавшись жаждой мщения, которую гибель Гийома де Ла Мотт пробудила в сердцах рыцарей. — На приступ! Ров заполнен фашинами, лестницы поднесены к стенам!

И, воодушевляя войско своим примером, он первый бросился к крепости, сопровождаемый рыцарями и оруженосцами. Лучники остались позади, чтобы поддерживать осаждавших, отгоняя англичан от стен крепости.

С полсотни лестниц было установлено во мгновение ока, и, подбодренные примером коннетабля, воины ринулись к ним, чтобы сразиться с врагом врукопашную.

Осаждавшие уже добрались до середины стены, когда за их спинами раздались крики: «Англичане, англичане!» Лучники, которым было приказано поддерживать штурм, подумали, будто неприятель ударил по войску с тыла; они мигом вырвали из земли свои щиты, взвалили их на плечи и обратились в бегство, повторяя этот испугавший их крик. Видя, что отныне им угрожают лишь рыцари и оруженосцы, осажденные стали сбрасывать на их головы камни, бревна, древесные стволы, словом, всевозможные тяжелые предметы, которые военная тактика предписывала заготавливать на крепостных стенах в ожидании атаки; в то же время отряд кавалерии выехал из ближайших ворот крепости и, развернувшись в равнине, ударил с тыла по бретонской армии, которая, позабыв о штурме, с трудом оборонялась от врага.

Артюс соскочил одним из первых с лестницы, чтобы противостоять этой новой опасности, и воины, узнав коннетабля по его воинскому кличу и по меткости наносимых им ударов, сгрудились вокруг него. Итак, под крепостными стенами снова разгорелся ожесточенный бой; однако бретонским рыцарям, пешим, в тяжелых доспехах, под градом падавших сверху камней, осыпаемым с флангов неприятельскими стрелами и тесным с фронта вражеской кавалерией, трудно было надеяться на то, что им удастся вернуть утерянное превосходство; стало быть, не столько ради победы, сколько для того, чтобы достойно принять смерть, продолжали они

держат оборону, да и кроме того, им было стыдно покинуть своего военачальника, который бился, не щадя себя. Было ясно, однако, что его смерть сразу положит конец сражению; вот почему англичане всячески старались поразить его, — а он словно сам призывал на свою голову удары, испуская воинский клич всякий раз, как ему казалось, будто они сыплются на его соратников.

Дружественный крик *Бретань и Ришемон* неожиданно прозвучал за неприятельской конницей, которая пыталась прижать войско к стенам крепости; послышались возгласы: «Бретонцы! Бретонцы!»; их с беспокойством повторили осажденные; в рядах англичан произошло замешательство, всадники отступили, теснимые еще невидимой силой, которая быстро приближалась; наконец преграда, разделявшая Артюса и скакавший к нему на выручку конный отряд, рухнула, словно тонкая земляная стенка между двумя саперами, и монсеньер де Кетиви, израненный, окровавленный, упал в агонии к ногам коннетабля.

Этот отряд, посланный в разведку, и испугал бретонских лучников. Видя, что в своем паническом бегстве они бросили на произвол судьбы коннетабля, г-н де Кетиви поспешил к нему на помощь и в самом деле спас его.

Артюс вскочил на первого попавшегося коня, вложил в ножны обрубок сабли, пожалованной ему как коннетаблю, и, схватив боевой топор, привязанный к луке, погнался за английской конницей, которая вскоре скрылась за городскими воротами. Тогда он вернулся на место, откуда был дан штурм, но лестницы оказались сломаны, фашины сожжены брошенными на них смоляными факелами, а вид измученного войска говорил о том, что лишь чувство долга удерживает его подле коннетабля. Артюс понял, что потерпел поражение; он со слезами гнева отдал приказ об отступлении, а англичанам даже в голову не пришло гнаться за уходящими бретонцами.

По прибытии в лагерь Артюс узнал, что штурм, которым руководил Гийом Эдер, окончился столь же плачевно. Гийом погиб в самом его начале, раздавленный каменной глыбой, которую англичане сбросили на приставную лестницу, де Моляк был убит вражеской

стрелой, Ален де Ла Мотт, прижатый к глубокому пруду, бросился в воду на своем коне и утонул. Словом, этот штурм оказался не менее роковым для бретонского рыцарства, чем проигрыш какого-нибудь крупного сражения.

Артюс дал подчиненным пароль и удалился в свою палатку, запретив тревожить себя.

Он пробыл в одиночестве без еды и питья до десяти часов вечера. Наконец, умирая от жажды, он позвал часового, который должен был охранять его палатку. Часовой не откликнулся.

Не понимая причины этого молчания, Артюс подошел к двери: никто не охранял ее. Тогда он вызвал своего писца, своих оруженосцев и пажей и стал расспрашивать их. Но ничего толком не добился; он узнал лишь, что какие-то странные приготовления велись весь вечер в лагере. Оруженосцы и пажи видели зловещие лица и безуспешно расспрашивали солдат. Затем в час отбоя они вернулись в свои палатки и, притаившись там, больше не выходили. Словом, они знали не больше самого военачальника.

В эту минуту кровавый отблеск появился в восточной стороне лагеря; звезды покраснели, небо окрасилось в пурпур. Горели жилища лучинок, а между тем сигнала бедствия не было слышно.

Артюс недоуменно смотрел на этот молчаливый пожар, который быстро разрастался, ибо ничто не мешало его ярости. Коннетабль ждал, что вот-вот раздадутся крики отчаяния и воины появятся среди пламени. Но, вопреки его ожиданиям, стояла мертвая тишина, словно эти жилища были с незапамятных времен покинуты людьми. Наконец, будучи не в силах побороть нетерпение, он испустил громкий призывный клич. Обгоревшая лошадь выскочила из объятаго огнем стойла и промчалась мимо с жалобным ржанием — это было единственное живое существо, откликнувшееся на зов коннетабля.

Тогда правда предстала перед ним, зловещая, как призрак. Он ощутил всю тяжесть своего позора; ноги у него подкосились, и пот выступил на челе.

Армия подожгла лагерь и ушла, бросив своего военачальника.

III

Эта неожиданная измена, вызванная неуплатой солдатам причитавшегося им денежного довольствия, окончательно расстроила дела Карла VII.

Граф де Ришемон с огромным трудом набрал во владениях своего брата двадцать тысяч воинов, с которыми он и осадил крепость Сен-Джемс де Бёврой; он платил им из собственной казны, пока она не истощилась, ибо рассчитывал на те сто тысяч золотых, которые были ему твердо обещаны королем и даже взысканы по чрезвычайному налогу, утвержденному всеми тремя сословиями королевства, собравшимися в Мен-сюр-Иевр; но эти деньги так и не попали в руки графа де Ришемона, и все усиливая одного из лучших вассалов короны натолкнулись на неодолимую апатию Карла VII.

Между тем англичане захватили Нормандию, Шампань, Иль-де-Франс и Гиень, они склонили на свою сторону Бургундию, владели всеми французскими портами и неизменно получали деньги и подкрепления от матери-родины, ибо, находясь вдали от театра военных действий, она была по-прежнему богата и деньгами и людьми. Поэтому нам трудно было бы понять, каким образом дофин удерживал в своих руках те несколько провинций, которые были для него не столько королевством, сколько убежищем, если бы мы не знали, что тогдашние войны еще не приобрели единообразия и размаха, которыми они отличаются в наши дни.

Каждый военачальник действовал, как ему заблагорассудится, и воевал на стороне того, кто ему нравился; его армия увеличивалась или уменьшалась в зависимости от размера содержания, а когда деньги иссякали, солдаты разбредались в поисках нового военачальника и порой, движимые необходимостью или корыстью, выбирали его во вражеском лагере. Поля были опустошены, города то завоевывались неприятелем, то отвоевывались у него и нередко переходили из рук в руки по три-четыре раза в год; повсюду сражались разрозненные отряды, что вело к разорению провинций, которым одинаково плохо приходилось и от своих защитников, и от врагов. Среди всей этой неразберихи англичане продвигались все дальше, но делали это

медленно, ибо их начальники гораздо больше думали о своем преуспеянии и о своей славе, чем о преуспеянии и славе того дела, которому они служили.

За четыре года, прошедшие со смерти его отца, Карл VII возмужал летами, но не разумом. Он обладал чертами характера, вызывавшими любовь подданных, но не уважение людей, равных ему по рождению. Брошенный в гущу событий, он ни разу не попытался лично встать на борьбу, а вечно прибегал к помощи новых союзников, которых выбирал, руководствуясь скорее необходимостью, чем благоразумием. Вот почему шпага коннетабля с изображением на ее ножнах трех лилий французского герба, которой Ришмон был пожалован 7 марта 1424 года, побывала, хотя и недолго, в руках некоего шотландца. Вот почему граф Дуглас был провозглашен на время войны наместником короля во всем французском королевстве. Вот почему, наконец, Стюарт, разбитый и плененный в Кривене, был обменен на брата графа Суффолка и получил за свои услуги княжество Дрё, а его близкий родственник вступил одновременно во владение герцогством Туренским. Доверие Карла к его заморским союзникам было так велико, что он сформировал из шотландцев отборный отряд и доверил ему охранять свою собственную особу; отсюда и происходит название «Шотландские стрелки», которое носил еще в 1829 году лучший отряд телохранителей французских королей.

Понятно, в каком неустойчивом положении пребывала Франция из-за частых смен политических деятелей. Каждый новый проректор являлся со своими претензиями, дружескими связями и антипатиями, а королю приходилось удовлетворять одни и разделять другие. Так, Ришмон получил шпагу коннетабля вовсе не как милость: он сам продиктовал те условия, на которых соглашался ее принять, а именно: удаление всех министров, участвовавших в деле Шантоисо¹, и ссылку всех участников убийства герцога Жана; придя к власти с более обширными планами и широкими связями, чем все его предшественники, новый коннетабль вознаме-

¹ Королевский совет одобрил заговор Пантьевров, имевший целью захват герцога Жана, который находился тогда в своем замке Шантонсо в провинции Анжу. (Прим. автора.)

рился прежде всего помирить с королем герцогов Бретонского и Бургундского; он даже частично преуспел в этом, убедив герцога Жана Бургундского, своего брата, отказаться от союза с англичанами и, обрадованный первым успехом, тотчас же вступил в переговоры с Филиппом Добрым; в доказательство же раскаяния короля он сослался на смещение Танги Дюшателя, посланного сенешалем в Бокер, и на впавшего в немность «наместника Прованса» Луве, удалившегося в Авиньон; что до виконта Нарбонского, он был убит в Вернее, и англичане, верные обещанию, которое они дали герцогу Бургундскому, подвергли четвертованию и повешению труп виконта, найденный на поле брани. Таким образом, у короля оставался во главе его совета лишь г-н де Жиак, прежние преступления которого еще не были раскрыты¹, а потому он все еще считался верным слугою Бургундского дома.

Однако чья-то таинственная и злая воля расстраивала все, что предпринимал Артюс: король, исполненный решимости и доброй воли в присутствии коннетабля, впадал в свою обычную апатию, когда тот покидал его. Удалившись в Иссудён, не имея иного титула, кроме титула «король Буржа», которым смеха ради наградили его англичане, он посвящал свои дни охоте на крупную и мелкую дичь, вечера — игре в карты и домино, а ночи — любви, деля их между своей угасающей страстью к Марии д'Анжу и своей нарождающейся страстью к Аньесе Сорель.

В конце одного из таких суетных дней, которые дали повод Лаиру сказать, что *никогда еще не было короля, который так весело терял бы свое королевство*, Карл — он заслужил впоследствии прозвище *Победоносного*, хотя в те времена его вряд ли можно было назвать иначе, чем *Беззаботный*, — играл в домино со своим фаворитом, г-ном де Жиаком, в одной из зал иссудёнского дворца; однако эта игра, какой бы модной она ни была в те годы, казалось, не столько доставляла удовольствие королю, сколько помогала ему бороться со скукой; вот почему, сидя в кресле, он время от времени протягивал свою вяло опущенную руку и гладил великолепную белую борзую, лежавшую у его ног; собака отвечала на эту ласку, вытягивая свою длинную,

¹ См. французские летописи. (Прим. автора.)



змеевидную шею и приоткрывая глаза, не менее выразительные, чем человеческие. Наконец король выронил рожок из слоновой кости, повернул свое вращающееся кресло и, наклонившись к борзой, издал негромкий свист, хорошо знакомый его любимице, ибо она тотчас же встала на задние лапы и положила передние на колени короля.

— Знаю, знаю, Верный, ты красивый и, главное, преданный пес, как о том свидетельствует твое имя,— проговорил Карл,— и я очень признателен герцогу Миланскому за этот подарок, которым он порадовал меня гораздо больше, чем присылкой трех тысяч лангобардов: сначала они разграбили мои земли, а потом проиграла мне битва при Вернее. Итак, обещаю, ты будешь носить красивый золотой ошейник до тех пор, пока на голове у меня есть корона.

— Слышишь, что говорит король, Верный? — спросил де Жиак, вмешиваясь в разговор Карла с собакой.— Обещание его величества означает, что ты подохнешь с французским гербом на шее.

Верный негромко зарычал.

— Это еще неизвестно,— грустно заметил Карл, по-прежнему лаская борзую.— Ведь многие точат зубы на эту корону, и она уже лишилась своих лучших жемчужин. Наши грехи, верно, прогневили святого Дионисия, покровителя Франции, или господя бога, великого судью королей, ибо дела в нашем королевстве идут все хуже и хуже.

С этими словами король испустил вздох, на который Верный ответил жалобным визгом.

— Знаете, де Жиак,— снова заговорил король,— с тех пор как меня без конца предают люди, мне не раз хотелось взять в советники моего пса и довериться его чутью, чтобы знать, кто мой друг, а кто недруг.

— В таком случае я недолго буду заседать во главе вашего совета, государь,— сказал де Жиак,— ибо я не пользуюсь благосклонностью Верного.

— Такие чудеса случались,— продолжал король, отвечая на свои мысли, а не на замечание фаворита.— Господь бог не раз поручал животным служить людям проводниками. Мы заблудились как-то на охоте в Денском лесу; никто из нас не знал, в какую сторону идти, да и спросить дорогу было не у кого. Тут мне пришла в голову мысль отвязать Верного. И что же?

Четверть часа спустя мы увидели на опушке леса наших пажей с лошадьми.

— Ваше величество смешивает инстинкт с разумом и сердце животного с душой человека.

— Правда, и все же взгляните на эти великолепные глаза, Пьер. Ей-богу, можно подумать, что в них теплится человеческий разум. Посмотрите на эти уши: пес настаораживает их, чтобы слушать то, что я говорю. Можно подумать, будто он напрягает слух, хочет лучше понять мои слова. И он действительно многое понимает. Мне стоит прогнать Верного, и он уйдет, позвать его, и он вернется. Придворные поступают точно так же, а между тем их величают людьми. И все же есть нечто, в чем они неизменно расходятся с чудесным собачьим племенем: они не умеют найти своего повелителя, если он заблудится, и кусают его, если он упадет.

Молчание, наступившее вслед за этой мизантропической шуткой, вероятно, затянулось бы из-за различного направления мыслей, которое она вызвала у обоих собеседников, если бы Верный не проявил внезапного беспокойства, показав всем своим видом, что в соседней комнате происходит что-то необычное. Король проследил за его взглядом и увидел, что тот устремлен на дверь в помещение телохранителей.

— К нам прибыл кто-то посторонний, Пьер,— сказал король.— Посмотрим, как встретит его Верный. Я постараюсь сообразоваться с поведением пса: на сей раз он будет главой моего совета.

В ту же минуту драпировка приподнялась, и паж объявил о прибытии *сеньора Артюса, графа де Ришемона, коннетабля Франции*.

Король вздрогнул, де Жиак побледнел, Верный подбежал к двери. На пороге появился коннетабль: борзая, видевшая его впервые, лизнула ему руку.

— А, это вы, дорогой кузен,— проговорил король дрогнувшим голосом.— Каким чудом вы здесь? А я-то полагал, что вы сражаетесь в Нормандии на благо нашей короны и к вящей славе Франции.

— Этим я и был занят, государь,— ответил Артюс, проводя рукой по голове собаки, породу и красоту которой он оценил с первого взгляда.— И не моя вина, если я нахожусь здесь вместо того, чтобы водружать флаг с тремя французскими лилиями на крепости Сен-Джемс де Бёврон.

— Но как могли вы прибыть сюда без нашего соизволения, милый кузен?

— Я должен обратиться к вам с несколькими просьбами, государь.

— Говорите,— промолвил Карл VII.

Артюс приблизился к королю. Тот указал ему на кресло, но коннетабль отрицательно покачал головой, видимо, не желая садиться.

— Государь,— веско начал он,— я хочу поговорить с вами о славном бретонском роде, который, как известно, равен по знатности королевскому дому. Вы знаете, я сын доброго и отважного герцога Жана. Отец мой отвоевал Бретань, свою вотчину, в то время как король, ваш батюшка, растерял часть своих владений.

— Кузен! — прервал его Карл VII, сдвинув брови.

Верный лег у ног коннетабля.

— Дозвольте мне говорить, государь,— продолжал Артюс.— Когда я выскажу все, что накипело у меня в душе, вы покараете меня, если я окажусь не прав. Герцог, мой батюшка, умер, когда мы были еще детьми. Герцог Фнлипп Отважный,— он был, как и вы, королевским сыном, государь,— взял над нами опеку и увез нас в Пикардию. Но и он вскоре скончался, после чего я перешел к герцогу Беррийскому, тоже сыну короля, который поручил своему оруженосцу по имени Перони — он был уроженцем Наварры — обучить меня военному делу. И надо вам сказать, что герцог, ваш дядюшка, наблюдал за моим обучением с такой заботливостью, словно я был его сыном. Вот почему, когда в тысяча четыреста седьмом году был заколот убийцей герцог Орлеанский, я примкнул к партии, враждебной герцогу Бургундскому. Я впервые связал себя обязательством и с тех пор привык держать данное мною слово.

— Да, знаю, вы честный слуга короля, дорогой кузен.

Артюс холодно поклонился.

— Итак,— продолжал он, не отвечая на эту похвалу,— когда в тысяча четыреста пятнадцатом году герцог Бургундский и Карл Шестой, ваш батюшка, подвергли осаде город Бурж и сделали это во вред интересам королевства, я поспешил за помощью в Бретань и рассорился из-за этого с моим младшим братом Жилем, приверженцем бургундцев. Однако я получил от своего старшего брата, герцога Жана,

тысячу шестьсот рыцарей и кавалеров, среди которых находились виконт де ла Бельер, сеньор Армель де Шатожирон и сеньор Эсташ де ла Монне — военачальники столь отважные и доблестные, что мы походя взяли города Силле ле Гийом, Бомон и Эгль.

— Я помню об этих подвигах, хотя был тогда еще ребенком, дорогой кузен, — вторично и с явным нетерпением прервал коннетабля Карл VII.

— В тысяча четыреста пятнадцатом году, — продолжал Артюс, пропустив мимо ушей замечание короля, — я осадил город Партеие, но при первом же требовании короля Карла Шестого свернул свой лагерь, чтобы двинуться против английского короля Генриха, угрожавшего Арфлеру. Герцог Гиенский уступил мне для этого дела всех своих челядинцев и кавалеров. Я придал им пятьсот своих рыцарей и кавалеров, среди которых были Бертран де Монтобан, сеньор де Комбур и Эдуар де Роан, — последний нес мой стяг. На берегу Соммы я примкнул к герцогам Орлеанскому, Бурбонскому, Алансонскому, Брабантскому, Невэрскому, к герцогу д'Амбрэ и другим сеньорам. В пятницу двадцать шестого октября тысяча четыреста пятнадцатого года все наши батальоны собрались близ Азенкура, но поле брани оказалось слишком тесным, чтобы достойно сразиться со множеством отважных противников. Вот почему мы проиграли эту битву. Я был пленен самим королем Генрихом, корону которого я успел расколоть ударом топора после того, как поверг к его ногам бездыханное тело брата его Кларенса.

Я дал клятву королю Генриху оставаться его пленником до самой его смерти, невзирая на старания соратников освободить меня, и пробыл пять лет в английском плену. Затем король отпустил меня под честное слово в Нормандию, где я влюбился в герцогиню Гиенскую. Я попросил ее руки, но она велела сказать мне, что не желает быть женой пленника. Я набрался терпения, хотя, клянусь вам, крепко любил ее, и сдержал свое слово тридцать первого августа тысяча четыреста двадцать второго года, когда король Генрих скончался в Венсенском замке под Парижем.

Я стал свободным человеком, ибо теперь ни одна живая душа не имела власти надо мной. Я сочетался брачными узами с герцогиней Гиенской и предложил вам свои услуги, ваше величество.

— Да, да, дорогой кузен. Мы встретилнсь с вами в Анжере, где я вручил вам шпагу коннетабля освободившуюся после смерти Бюшана.

— Седьмого марта тысяча четыреста двадцать четвертого года я получил эту шпагу из ваших рук, государь, на лугу Шинонского замка и тогда же обязался набрать за свой счет и на своих землях двадцать тысяч воинов. В ответ на это, государь, вы обещали выслать мне сто тысяч золотых, чтобы я мог содержать войско во время предстоящей кампании. Разве не так?

— Да, вы правы, кузен.

— Я набрал за свой счет и на своих землях двадцать тысяч солдат и повел их в Нормандию. Я взял Понторсон и истребил весь его гарнизон. Затем я осадил крепость Сен-Джемс де Бёврон.

— Мне известны и эти подвиги, дорогой кузен. Вот почему меня удивляет ваше присутствие здесь.

— Я прибыл, чтобы вернуть вам шпагу коннетабля, государь, ибо я сдержал свое слово, тогда как вы своих обещаний не выполнили. Прошу прощения, что возвращаю вам шпагу в столь плачевном виде,— прибавил Артюс,— но она зазубрилась, а под конец сломалась об английские доспехи.

— Я не выполнил своих обещаний? — переспросил король, разглядывая обломок шпаги, который ему протягивал коннетабль.— Каких именно, кузен?

Де Жиак хотел было встать и уйти.

— Останьтесь,— молвил король и указал ему на кресло.— Вы слышали, в чем нас с вами обвиняют? Вы должны остаться и защитить нас.

Де Жнак тяжело опустился в кресло.

— В том, что случилось, нет моей вины, государь. Я сделал все возможное, чтобы содержать армию. Я велел продать реннским торговцам все свои драгоценности, всю серебряную утварь. Были проданы золотые шпоры и золотая цепь — свидетельство моего рыцарского достоинства. Я не пожалел даже своей графской короны, а ведь она была усыпана жемчугом, полученным мною от английской королевы, моей матушки. Но и этих денег не достало. И вот однажды ночью армия, не получив содержания, разбежалась, побросав оружие, снаряжение, лестницы и предав огню лагерь. Я поскакал вслед за этими изменниками, за этими лиходеями. Я преградил путь их отрядам,

я уговаривал солдат, угрожал им. Но они не стали слушать ни просьб, ни угроз. Они повалили моего коня, прошли по моему телу, и я остался лежать без чувств на дороге. Весь этот позор не пал бы на наш славный бретонский род, не менее знатный, чем королевский, если бы вы, ваше величество, сдержали свое слово.

— В чем же я изменил своему слову, досто-почтенный кузен? — снова спросил Карл VII и вскочил с места, бледный от гнева.

— А в том, что не прислали мне ста тысяч золотых, твердо вами обещанных, государь.

— То, что вы говорите, нас очень удивляет, милый кузен,— проговорил Карл, снова садясь в кресло и бросая взгляд на Пьера де Жиака.— Ведь решение о ста тысячах золотых было принято в Мен-сюр-Иевр всеми тремя сословиями королевства; некий же епископ, а именно преподобный Гуго Комберель, даже назвал этот побор новым грабежом народа, утверждая, будто все собранные деньги попадут в руки моих фаворитов вместо того, чтобы возвеличить французское королевство. Сто тысяч золотых были взысканы с верных нам городов и, конечно же, не остались в нашей казне, где на сей день имеется всего-навсего четыре золотых. В подтверждение своих слов скажу, что нам даже пришлось занять сорок ливров у капеллана, крестившего дофина Людовика.

— Но куда же делись все деньги? — удивленно проговорил Артюс.

— Лучше спросите об этом кавалера де Жиака, милый кузен,— робко проговорил король.— Мне кажется, что именно ему была вручена вся эта сумма.

— Полагаю,— небрежно сказал де Жиак, не дожидаясь расспросов Ришемона и теребя свою золотую цепь,— полагаю, что часть денег пошла на покупку шести великолепных белых кречетов — нам принесли их венгерские купцы, другая часть на обновление охоты, которая была недостойна столь великого короля, а остальные...

— А остальные,— подхватил Артюс, дрожа от гнева,— были израсходованы на то, чтобы обновить хоромы госпожи Катрин де л'Иль-Бушар, недостойной вдовы графа де Тюренна и нынешней любовницы господина де Жиака.

— Все может быть,— ответил кавалер смущенно и вместе с тем нагло.

Артюс преклонил колени и положил к ногам короля обломок шпаги, который он все время держал в руке, и, гордо выпрямившись, хотел было направиться к выходу.

— Погодите, кузен! — воскликнул король, удерживая коннетабля.— Мы не принимаем вашего отказа.

— Берегитесь, государь,— ответил Артюс.— Ведь вам известны права, которыми наделен коннетабль королевства.

— Да, дорогой кузен, мы знаем, что они почти равны правам самого короля.

— В мои права входит даже право выносить смертные приговоры, и сенешали, байи, прево, эшевены, начальники и сторожа городов, замков, крепостей, мостов, портов, застав и все судейские чины обязаны подчиняться мне, как и вам самим, государь!

— Да, знаю.

— Значит, ваше величество снова утверждает меня в этих правах, которые, впрочем, были мне дарованы королевской грамотой от седьмого марта тысяча четыреста двадцать четвертого года?

Король поднял шпагу, лежавшую у его ног, и протянул ее Ришемону.

— Вложите эту шпагу в ножны, дорогой кузен,— сказал он.— Мы приказываем вам только одно — сменить ее лезвие на более прочное.

Ришемон поклонился.

— Не соблаговолит ли теперь ваше величество вручить мне ключи от города?

— Но зачем они вам, дорогой кузен?

— Завтра на заре я желаю помолиться божьей матерью дольской,— ответил Артюс.

— Можете взять их,— ответил король.

— А теперь, когда мне больше нечего сказать вам, государь, не разрешите ли вы мне удалиться?

— Ступайте, милый кузен, и да хранит вас бог.

Коннетабль отвесил глубокий поклон королю и удалился, сопровождаемый до самой двери Верным, который почувствовал к нему явное расположение.

Когда на заре следующего дня Артюс де Ришемон молился в церкви Нотр-Дам де Доль, а священник только еще входил в алтарь, какой-то кавалер, подойдя

к коннетаблю, сказал ему, что по его приказу г-н де Жиак арестован и начальник стражников ожидает дальнейших распоряжений, ибо не знает, как поступить с пленником.

— Пусть Ален Жирон и Робер де Монтобан с сотней копыеносцев препроводят де Жиака в темницу Дён ле Руа. Когда же он будет туда доставлен, мой байи исполнит то, что ему велено. Ступайте! А вас, Жеан де ла Буасьер,— прибавил коннетабль, обращаясь к другому кавалеру,— я попрошу отправиться в Бурж и приказать палачу спешно выехать в Дён ле Руа, где его ждет выгодное дельце.

Отдав эти приказания, Ришемон встал на колени и с благоговением прослушал всю мессу до конца.

IV

Теперь нашим читателям нетрудно будет понять, почему Артюс де Ришемон потребовал у короля ключи от города: он боялся, как бы кавалер де Жиак не сбежал ночью. Но глава королевского совета слишком полагался на благорасположение Карла VII, а потому даже не попытался избежать ожидавшей его участи. И когда, выломав дверь, стражники коннетабля проникли в дом кавалера, они нашли его спокойно спящим в своей кровати. Солдаты подняли его и, дав ему время лишь на то, чтобы накинуть длинный бархатный халат, выволокли на улицу и посадили на небольшую кобылку, стоявшую наготове. В ту же минуту прискакал гонец с новым приказом коннетабля. Отряд двинулся в путь по направлению к Дён ле Руа. Три часа спустя рыцарь был водворен в городскую темницу, и вечером того же дня байи прочел ему смертный приговор.

Де Жиак выслушал приговор, сидя в углу тюремной камеры; его голые ноги покоились на каменном полу; опершись локтями на колени, он согнулся и обхватил голову руками. Когда чтение было окончено, байи спросил, не желает ли осужденный высказать какое-либо желание.

— Священника,— глухо проговорил де Жиак.

Это было единственное слово, которое он произнес после своего ареста, ибо упорно отказывался давать на допросе какие-либо показания. Байи ушел.

При входе в камеру священник нашел рыцаря в описанной выше позе и, видя, что пот струится по лицу осужденного, стал уговаривать его, чтобы он мужественно встретил смерть.

— Я страшусь не смерти,— возразил де Жиак,— мы слишком часто встречались с ней лицом к лицу, чтобы я мог испугаться ее. Мы давно с ней знакомы, это старая приятельница, и если бы смерть явилась ко мне одна, я благословил бы ее приход.

— Надеемся: за гробом вас ждет милосердие божие, сын мой,— сказал священник.

— Нет, отец мой, господний гнев! — молвил де Жиак.

— Вверьте свою душу тому, кто умер ради спасения людей,— продолжал монах и, вынув спрятанное на груди распятие, протянул его рыцарю. Тот хотел было взять распятие правой рукой, но едва его пальцы коснулись креста, как осужденный испустил пронзительный крик: можно было подумать, будто он дотронулся до раскаленного железа. Распятие упало на пол.

— Святотатство! — воскликнул монах.

— Это не святотатство, а забывчивость, отец мой,— ответил де Жиак.— Мне следовало взять распятие левой рукой, ведь моя правая рука проклята. Вот видите,— прибавил он, поднимая распятие левой рукой и благоговейно целуя его,— что у меня и в мыслях не было осквернить святой символ нашего искупления.

— Видимо, вы великий грешник, сын мой,— заметил монах.

— Да, мои прегрешения столь велики, что, боюсь, им нет и не будет прощения.

— Однако вы еще очень молоды.

— Я молод летами, но стар сердцем. Годы влекут нашу жизнь вперед, страдания ускоряют ее бег. Само по себе время не имеет протяженности. Счастье и горе делят нашу жизнь то на минуты, то на века. И поверьте, отец мой, хотя на голове у меня нет ни одного седого волоска, мало найдется стариков, которые прожили бы столько, сколько прожил я.

— Страдания, испытанные нами в земной юдоли, порой засчитываются нам на том свете, сын мой. Ничто не потеряно для того, кто раскаялся. И ваше желание видеть священника внушает мне надежду, что пот,

струящийся по вашему лицу, который я принял за признак страха, свидетельствует на самом деле о вашем раскаянии.

— Я вызвал вас, как больной, который призывает врача, хотя и знает, что болезнь его смертельна. Я вызвал вас, ибо надежда так глубоко коренится в человеческом сердце, что мы возлагаем наши упования на тот свет, когда все бывает потеряно для нас в земной жизни. Я вызвал вас, наконец, потому, что уже десять лет грудь моя таит в себе такие страшные тайны, что я должен открыть их человеку прежде, нежели у меня достанет мужества поведать их богу.

Монах поискал глазами, на что бы сесть.

— Садитесь вот сюда,— проговорил де Жиак, становясь на колени и предлагая монаху занять свое место.

Священник сел на камень.

— Я был счастлив, отец мой. Первые двадцать пять лет жизни прошли для меня в радости, в удовольствиях. Я был богат, знатен, отважен. Меня приблизил к себе герцог Жан Бесстрашный, который был, как вы знаете, могущественнейшим герцогом христианского мира.

— Да,— прошептал монах,— на горе нашей несчастной Франции.

— Так вы приверженец дофина, отец мой?

— Я был воспитан в любви к моим государям и в ненависти к англичанам.

— У меня не было ни любви, ни ненависти. Нет, ошибаюсь, я любил, но не той любовью, о которой вы говорите. Меня мало трогало, в чьих руках находится французское королевство,— его законных королей или же чужеземных завоевателей, только бы рука Катрин опиралась на мою руку, только бы ее глаза взирали на меня с нежностью, только бы ее губы шептали мне: «Люблю тебя...»¹. Я женился на ней. Она была всем для меня, отец мой, в ней заключалась моя жизнь, моя радость и горе, улыбка и слезы. Я отдал бы ради нее не только мой титул, мое достояние, богатство, но и самую жизнь, честь, душу. И эта женщина изменила мне, отец мой. Однажды мне попало ее письмо, в котором она назначала свидание другому. Я не хотел верить своим глазам. Я спрятался и увидел Катрин: она шла об руку со своим любовником, погрузив взгляд в его глаза.

¹ См. роман «Изабелла Баварская». (Прим. автора.)

Я услышал, как они говорили друг другу слова любви. И он, ее любовник, был человеком, которого я уважал как своего повелителя, которого боготворил как отца. Я говорю о герцоге Жане Бургундском.

— Его главная измена вовсе не та, в которой вы упрекаете его, сын мой.

— Главная или второстепенная — не важно: он заплатил сполна за обе. Это я убедил его встретиться с дофином в Монтеро, отец мой. Это я велел расположить палатки так, чтобы между ними не было барьера. Это я подал знак Танги Дюшателю, Нарбону и Роберу Луарскому, и если я и не поразил герцога вслед за ними, то лишь из боязни, что еще одна рана положит конец его агонии и лишит меня сладостного зрелища его последних мук.

— Герцог заслуживал смерти, — сказал священник, сдвинув брови. — Да простит господь бог тех, кто посягнул на его жизнь, ибо они спасли Францию.

— Но это еще не все, отец мой. Я покарал одного из изменников, осталось покарать его соучастницу. Я отправился к ней. Стоит ли рассказывать все до конца? Вы сами знаете, на какую страшную месть ревность толкает иной раз человека. Я влил, да, влил собственной рукой яд в стакан этой женщины, ради которой два месяца назад я отдал бы свою жизнь. Затем, когда она выпила все до капли, я усадил ее на круп своего коня, привязал, прикрутил ее тело к себе и пустил коня во весь опор среди темноты, одиночества, необозримого пространства. В течение двух часов я чувствовал, как извивается в муках это тело, которое я так часто с наслаждением носил на руках, чтобы избавить его от малейшего утомления. В течение двух часов я слышал жалобы, издаваемые голосом, звук которого так часто заставлял меня вздрагивать от радости, от счастья. Наконец через два часа я ничего больше не почувствовал, ничего больше не услышал. Мой конь остановился на берегу Сены. Я спрыгнул на землю. Катрин была мертва. Я столкнул лошадь и труп в реку, и они исчезли в ее водах.

— Как бы велика ни была вина этой женщины, вы превысили свои права, предав ее смерти. В обычной жизни этот грех может быть отпущен лишь святейшим отцом, но в предсмертный час преступника любой

священник бывает наделен той же властью. Надейтесь, сын мой, ибо велико милосердие божие.

— И вот тогда, отец мой, я с головой окунулся во все, что люди называют радостями, уладами, почестями. Я все познал — распутство, славу, богатство. По отношению ко мне люди не имели ни стыда, ни совести, я тоже отбросил стыд и совесть по отношению к ним. Я предавал тех, кто меня любил, как и самого меня предали те, кого любил я. «Друг», «любовница», «родина» стали для меня словами, лишёнными всякого смысла. Из-за пустого каприза я готов был пожертвовать всем и всеми. Такая жизнь длилась десять лет, отец мой, десять лет я влачил ее как проклятие, которое люди принимали за счастье; все эти десять лет не было ни минуты, будь то днем или ночью, чтобы я не представлял себе Катрин в объятиях герцога. И сон, и бодрствование были бессильны против этого наваждения, ибо оно вошло в мою плоть и кровь, а между тем я постоянно слышал на своем пути шепот: «Вот идет фаворит, всемогущий человек, счастливец!..»

— Но как случилось, что ваши преступления не были раскрыты?

— Мне покровительствовала роковая сила, превосходящая силу людскую, ибо я не все сказал вам, отец мой. В минуту скорби, отчаяния, в минуту, когда я страдал так, что чуть не умер, я предложил свою правую руку тому, кто предложил мне средство мести.

— И что же? — спросил священник.

— Договор был заключен, отец мой, — прошептал де Жиак и стал еще бледнее. — Вот почему я сумел отомстить, вот почему моя месть осталась в тайне, вот почему, когда вы протянули мне распятие, я обжегся, дотронувшись до него, словно коснулся пламени.

— Прочь от меня! — воскликнул священник, задрожав от ужаса, и встал во весь рост в углу камеры. — Прочь от меня, пособник сатаны!

— Отец мой!

— Не подходи ко мне, окаянный! Даже наш святейший отец был бы бессилен отпустить тебе грехи. А если бы он и открыл тебе врата рая, твоя рука продолжала бы вечно гореть в адском пламени. Пропусти меня, ибо мне больше нечего здесь делать!

Де Жиак посторонился, и священник, подойдя к двери, отворил ее.

— Итак, несмотря на мои мольбы, на мое раскаяние, угрызения совести, ты не хочешь отпустить мне грехи, священник? — спросил де Жиак.

— Я не могу сделать этого, — ответил монах, — до тех пор, пока твоя рука принадлежит твоему телу.

— Пусть так! — вскричал де Жиак. — Но ведь ты можешь оказать мне последнюю услугу?

— Какую? — спросил священник, собираясь переступить порог.

— Пошли мне палача, а когда он выйдет, вернись сюда.

И де Жиак спокойно опустился на камень, на котором сидел до прихода священника.

— Я исполню вашу просьбу, — проговорил священник, затворяя за собою дверь, и звук его сандалий постепенно затих в коридоре.

Оставшись один, де Жиак снял кольца, которые он носил на левой руке, и надел их на правую. Едва он сделал это, как вошел палач. Де Жиак приблизился к нему.

— Видишь у меня на руке кольца с драгоценными камнями? — спросил он. — Они стоят более двухсот золотых, и я мог бы отдать их священнику, чтобы он молился за упокой моей души.

Де Жиак умолк и взглянул на палача, глаза которого алчно блеснули.

— Так вот, — продолжал он и, засучив рукав своего халата, положил правую руку на обломок колонны, торчавший посреди темницы, — возьми меч, отсеки эту руку, и кольца — твои.

Не говоря ни слов, заплечных дел мастер выхватил меч, дважды покрутил им у себя над головой, как бы примериваясь, и на третий раз отрубил руку г-на де Жиака; затем подобрал руку, положил ее в свой кожаный мешок и вышел. Минуту спустя вернулся священник.

— Теперь, — сказал де Жиак, ндя к нему навстречу и показывая свою изуродованную, окровавленную руку, — ты можешь отпустить мне грехи, священник: у меня нет больше правой руки.

На следующий день г-н де Жиак был брошен в реку и утонул в ней.



ПАСКАЛЬ БРУНО

Все, что генерал Т. сообщил нам об Италии, было особенно важно для меня, так как я собирался съездить в эту страну и побывать в местах, где происходят основные события некоторых моих рассказов. Вот почему при обработке рукописи генерала я широко воспользовался полученным от него разрешением и не раз обращался к его воспоминаниям о местах, которые он посетил. Итак, в моих путевых записках по Италии читатель найдет множество подробностей, собранных мною благодаря его любезному содействию. Однако мой услужливый чичероне покинул меня на южной оконечности Калабрии, так и не пожелав пересечь пролив. Хотя он и провел два года в ссылке на острове Липари, вблизи сицилийских берегов, но ни разу не побывал в Сицилии и отказался говорить со мной об этой стране, опасаясь, что в качестве неаполитанца не сумеет избежать

предвзятости, вызываемой взаимной неприязнью обоих народов.

Словом, я решил разыскать сицилийского изгнанника по имени Пальмьери, автора превосходного двухтомника воспоминаний, — к сожалению, за последнее время я потерял его из вида, — чтобы узнать об его острове, столь поэтичном и загадочном, те общие сведения и характерные мелочи, которые помогают заранее наметить вехи любого путешествия, но как-то вечером к нам на Монмартр, № 4, пришел генерал Т. с Беллини, — о последнем я почему-то не подумал, — которого он привез с собой, чтобы пополнить сообща маршрут моей предполагаемой поездки. Можно себе представить, как горячо был принят в нашем сугубо артистическом обществе, где фехтование служило подчас лишь предлогом для работы пером или кистью, автор «Сомнамбулы» и «Нормы». Беллини родился в Катании, и первое, что увидели его младенческие глаза, было море, волны которого, омыв стены Афин, с мелодичным шумом умирают у берегов Сицилии, этой второй Греции, и сказочная древняя Этна, в окрестностях которой еще живы по прошествии восьмисот лет мифы Овидия и поэмы Вергилия. Недаром Беллини был наиболее поэтической натурой, какую можно себе представить; самый его талант, который следует воспринимать сквозь призму чувства, а не по канонам науки, есть лишь извечная песня, нежная и грустная, как воспоминание, лишь это, подобное тому, которое дремлет в горах и лесах и что-то нашептывает еле слышно, пока его не разбудит крик страсти или боли. Итак, Беллини был как раз необходимым мне человеком. Он уехал из Сицилии еще в молодости, и у него осталось о его родном острове то неистребимое воспоминание, которое свято хранит вдали от мест, где протекало детство, поэтическое видение ребенка. Сиракузы, Агриженто, Палермо прошли таким образом перед моим умственным взором, наподобие еще неведомой мне, но великолепной панорамы, озаренной блеском его воображения; наконец, перейдя от географических описаний к нравам Сицилии, о которых я без усталости его расспрашивал, Беллини сказал мне:

— Вот что, когда вы отправитесь будь то морем или сушей из Палермо в Мессину, задержитесь в деревушке

Баузо, на оконечности мыса Блан. Вы увидите против постоянного двора улицу, которая идет вверх по склону холма и упирается в небольшой замок в виде цитадели. К стене этого замка приделаны две клетки — одна из них пуста, в другой лежит уже двадцать лет побелевший от времени череп. Спросите у первого встречного историю человека, которому принадлежала эта голова, и вы услышите один из тех рассказов, в которых отображен целый народ — от крестьянина до вельможи, от горной деревушки до крупного города.

— А не могли бы вы сами рассказать нам эту историю? — спросил я Беллини. — Чувствуется по вашим словам, что она произвела на вас глубокое впечатление.

— Охотно, — ответил он, — ибо Паскаль Бруно, ее герой, умер за год до моего рождения, и я был вскормлен этим народным преданием. Уверен, что оно все еще живо в Сицилии. Но я плохо говорю по-французски и, пожалуй, не справлюсь со своей задачей.

— Пусть это не смущает вас, — возразил я, — мы все понимаем по-итальянски. Говорите на языке Данте, он не хуже всякого другого.

— Будь по-вашему, — согласился Беллини, пожимая мне руку, — но с одним условием.

— С каким?

— Обещайте, что после вашего возвращения, когда вы познакомитесь с деревнями и городами Сицилии, когда приобщитесь к ее дикому народу, к ее живописной природе, вы напишете либретто для моей будущей оперы «Паскаль Бруно».

— С радостью! Договорились! — воскликнул я, в свою очередь пожимая ему руку.

И Беллини рассказал нам историю, которую прочтет ниже читатель.

Полгода спустя я уехал в Италию, побывал в Калабрии, в Сицилии, но больше всех героических деяний прошлого привлекало меня народное предание, услышанное от музыканта-поэта, предание, ради которого я проделал путь в восемьсот миль, так как считал его целью своего путешествия. Наконец я прибыл в Баузо, нашел постоянный двор, поднялся вверх по улице, увидел две клетки — одна из них была пуста...

После целого года отсутствия я вернулся в Париж; вспомнив о своем обещании и о взятом на себя обязательстве, я тут же решил разыскать Беллини. Но нашел лишь могилу.

I

Судьба городов сходна с судьбою людей: случай определяет появление на свет и тех, и других, а место, где возникают одни, и среда, в которой рождаются другие, оказывают влияние — хорошее или дурное — на всю их последующую жизнь; я видел благородные города, которые в своей гордыне пожелали господствовать над окружающим миром, недаром лишь несколько домов посмели обосноваться на вершине облюбованной ими горы; эти города так и остались высокомерными и нищими, пряча в облаках свои зубчатые главы и беспрестанно подвергаясь натиску стихий — грозы летом и вьюги зимой. Их можно принять за королей в изгнании, окруженных немногими придворными, которые сохранили им верность в злосчастии, королей, слишком надменных, чтобы, спустившись в долину, обрести там страну и народ. Я видел городишки, такие неприятельные, что они спрятались в глубине долины, выстроили на берегу ручья фермы, мельницы, лачуги и, укрывшись от холода и зноя за грядою холмов, вели безвестную, спокойную жизнь, похожую на жизнь людей, лишенных страстей и честолюбия, которых пугает всякий шум, слепит всякий свет и для которых счастье возможно лишь в тени и безмолвии. Встречаются и другие города, бывшие некогда жалкой деревушкой на берегу моря, но после того, как корабли вытеснили лодки, а крупные суда — корабли, они сменили свои хижины на дома и дома на дворцы. И теперь золото Потоси и алмазы Индии стекаются в их порты, они швыряют деньгами и выставляют напоказ свои драгоценности, как те выскочки, что обдают прохожих грязью из-под колес своих шикарных экипажей и натравливают на них своих лакеев. Наконец, встречаются города, которые быстро выросли среди ласковой природы, которые шествовали по лугам, усыпанным цветами, где пролегали извилистые, живо-

писные тропинки; все предрекало этим городам долгие годы благоденствия, но неожиданно-негаданно жизнь одного из них оказалась под угрозой соперника, возникшего у проезжей дороги, он-то и привлек к себе торговцев и путешественников, предоставив своему несчастному предшественнику угасать в одиночестве, подобно юноше, жизненные силы которого навеки подорвала неразделенная любовь. Вот почему к тому или иному городу испытываешь приязнь или отвращение, любовь или ненависть, словно имеешь дело с человеком, вот почему о нагромождении холодных, бездушных камней говорят, как о живом существе, и называют Мессину благородной, Джирдженти великолепным, Трапани непобедимым и наделяют эпитетами «верный» и «счастливый» Сиракузы и Палермо.

В самом деле, если есть на свете город, которому была уготована счастливая доля, то это Палермо. Раскинувшись под безоблачным небом, на плодородной почве, среди чудесной природы, владея портом на море, которое катит свои лазурные волны, защищенная с севера горой Сент-Розали, а с востока мысом Наферано, окруженная со всех сторон холмами, которые опоясывают ее обширную долину, древняя дочь Халден, Палермо, оборотясь лицом к Италии, смотрится более лениво, томно и сладострастно в тиренские воды, чем смотрелись некогда в волны Босфора или Киренаики византийские одалиски или египетские султанши. Напрасно сменяли друг друга завоеватели Сицилии, они сгнули, она осталась, и от всех властелинов, плененных ее прелестью и красотой, у королевы-рабыни сохранились не цепи, а ожерелья. К тому же природа и люди соединились, чтобы сделать ее прекраснейшей из прекрасных. Греки оставили ей храмы, римляне акведуки, сарацины замки, норманны базилики, испанцы церкви. И так как под этими широтами цветет любой цветок, растет любое дерево, в ее великолепных садах произрастают лаконийские олеандры, египетские пальмы, индийские смоковницы, африканское алоэ, итальянские сосны, шотландские кипарисы и французские дубы.

Вот почему нет ничего великолепней дней Сицилии, если не считать ее иочей, ночей восточных, ночей прозрачных и благоуханных, когда шепот моря, шелест ветра и гул городских улиц кажутся извечной песней

страсти, когда все сущее, от волны до растения, от растения до человека, испускает затаенный вздох.

Поднимитесь на эспланаду Циза или на террасу Палаццо Реале, когда Палермо спит, и вам покажется, что вы находитесь у изголовья юной девы, грезящей о любви.

В этот час алжирские пираты и тунисские корсары вылезают из своих берлог, они поднимают треугольные паруса на своих берберийских фелуках и рыщут возле острова, словно сахарские гиены и атласские львы возле овчарни. Горе беспечным городам, которые засыпают без сигнальных огней и без береговой охраны — их жители пробуждаются при свете пожаров, от криков своих жен и дочерей; однако еще до того, как подоспеет помощь, африканские стервятники успевают скрыться со своей добычей, а на рассвете можно различить вдали лишь белые паруса их кораблей, которые вскоре исчезают за островами Порри, Фавиньяна или Лампедуза.

Иной раз море внезапно принимает свинцовый оттенок, ветер падает, жизнь в Палермо замирает; дело в том, что с юга на север пронесли кроваво-красные облака, предвещающие сирокко, иначе говоря, «хамсин», — этот бич арабов; его горячее дыхание, зародившись в ливийских песках, обрушивается на Европу под напором юго-восточных ветров, и тотчас же все пригибается к земле, вся природа трепещет, сетует, и Сицилия стонет, словно перед извержением Этны; люди и животные беспокойно ищут убежища и, найдя его, ложатся, с трудом переводя дух, ибо сирокко побеждает всякое мужество, подавляет всякую силу, парализует всякую деятельность. Палермо терпит смертную муку, и это длится до тех пор, пока чистый ветер, прилетевший из Калабрии, не вернет силы гибнущему городу и, воспрянув под этим животворным дуновением, он облегченно вздыхает, как человек, очнувшийся после обморока, и беспечно возвращается к своей праздничной и радостной жизни.

Это было октябрьским вечером 1803 года; сирокко дул весь день, но на закате небо прояснилось, море снова поголубело, и со стороны Липарских островов повеяло прохладой. Как мы уже говорили, такая перемена погоды оказывает благотворное действие на все живые

существа, которые понемногу выходят из оцепенения: можно подумать, будто присутствуешь при сотворении мира, тем более что Палермо, как мы уже говорили, подлинный эдем.

Среди дочерей Евы, которые, обитая в этом раю, занимаются главным образом любовью, была некая молодая женщина, играющая столь важную роль в нашей истории, что мы должны обратить внимание читателей на нее и на виллу, где она живет. Давайте выйдем вместе с нами из Палермо через ворота Сан-Джорджио, оставим справа от себя Кастелло-а-Маре и дойдем, никуда не сворачивая, до мола; затем, следуя по берегу моря, остановимся у восхитительной виллы, что возвышается среди волшебных садов, доходящих до подножия горы Пеллегрини; эта вилла принадлежит князю де Карини, вице-королю Сицилии, который правит островом именем Фердинанда IV, вернувшегося в Италию, чтобы вступить во владение своим родным городом, прекрасным Неаполем.

На втором этаже этой изящной виллы, в спальне, обитой небесно-голубым атласом, где занавески подхвачены шнурами, усыпанными жемчугом, а потолок расписан фресками, покоится на софе молодая женщина в домашнем капоте, руки ее бессильно свесились, голова запрокинута, волосы растрепались; она лежит неподвижно, как мраморная статуя, но вдруг легкая дрожь пробегает по ее телу, щеки розовеют, глаза открываются; чудесная статуя оживает, дышит, протягивает руку к столику из селинонтского мрамора, где стоит серебряный колокольчик, лениво звонит и, как будто утомившись от этого движения, снова откидывается на софу. Однако серебристый звук колокольчика был услышан, дверь открывается, и на пороге появляется молодая хорошенькая камеристка, небрежность в туалете которой говорит о том, что и она испытала на себе действие африканского ветра.

— Это ты, Тереза? — томно спрашивает ее хозяйка, поворачивая голову в сторону двери.— Боже мой, как тяжело, неужто сирокко никогда не кончится?

— Что вы, синьора, ветер совсем стих, теперь уже можно дышать.

— Принеси мне фруктов, мороженого и отвори окно.

Тереза выполнила оба распоряжения с той расторопностью, на какую была способна, ибо чувствовала еще некоторую вялость, недомогание. Она поставила лакомства на стол и отворила окно, выходящее в сторону моря.

— Вот увидите, ваше сиятельство, — проговорила она, — завтра будет чудесный день. Воздух так прозрачен, что ясно виден остров Аликули, хотя уже начинает смеркаться.

— Да, да, от свежего воздуха мне стало лучше. Дай мне руку, Тереза, я попробую дотащиться до окна.

Тереза подошла к графине; та поставила на стол почти нетронутое фруктовое мороженое, оперлась на плечо камеристки и томно приблизилась к окну.

— Как хорошо! — сказала она, вдыхая вечерний воздух. — Этот мягкий ветерок возвращает меня к жизни! Пододвинь мне кресло и отвори окно, да, то, что выходит в сад. Благодарю! Скажи, князь вернулся из Монреалья?

— Нет еще.

— Тем лучше: я не хочу, чтобы он видел меня такой бледной, осунувшейся. У меня, должно быть, отвратительный вид.

— Синьора графиня еще никогда не была так красива... Уверена, во всем Палермо нет ни одной женщины, которая не завидовала бы вам, ваше сиятельство.

— Даже маркиза де Рудини и графиня де Бутера?

— Решительно все, синьора.

— Князь, верно, платит тебе, чтобы ты мне льстила.

— Клянусь, я говорю то, что думаю.

— О, как приятно жить в Палермо, — сказала графиня, дыша полной грудью.

— В особенности если женщине двадцать два года, если она знатна, богата и красива, — заметила с улыбкой Тереза.

— Ты высказала мою мысль. Вот почему я хочу, чтобы все вокруг меня были счастливы. Скажи, когда твоя свадьба?

Тереза ничего не ответила.

— Разве не в будущее воскресенье? — спросила графиня.

— Да, синьора, — ответила камеристка, вздыхая.

— Что такое? Уж не хочешь ли ты отказать жениху?
— Нет, что вы, все уже слажено.
— Тебе не нравится Гаэтано?
— Нет, почему же? Он честный человек, и я буду с ним счастлива. Да и выйдя за него, я навсегда останусь у вас, а ничего лучшего мне не надо, ваше сиятельство.

— Почему же в таком случае ты вздыхаешь?

— Простите меня, синьора. Подумала о родных местах.

— О нашей родине?

— Да. Когда вы, ваше сиятельство, вспомнили в Палермо обо мне, своей молочной сестре, оставшейся в деревне, во владениях вашего батюшки, я как раз собиралась выйти замуж за одного парня из Баузо.

— Почему же ты ничего не сказала мне о нем? По моей просьбе князь взял бы его к себе в услужение.

— О, он не согласился бы стать слугой. Он слишком горд для этого.

— Правда?

— Да. Он уже отказался однажды поступить в охрану князя де Гото.

— Так, стало быть, этот молодой человек дворянин?

— Нет, он простой крестьянин.

— Как его зовут?

— О, я не думаю, чтобы вы, ваше сиятельство знали его,— поспешно заметила Тереза.

— И ты жалеешь о нем?

— Как вам сказать? Знаю только, что, если бы я стала его женой, а не женой Гаэтано, мне пришлось бы много работать, а это было бы тяжело, особенно после службы у вас, синьора, где мне так легко и приятно живется.

— Однако меня обвиняют в том, что я резка, надменна. Это правда, Тереза?

— Вы бесконечно добры ко мне ваше сиятельство. Вот и все, что я могу сказать.

— Вся беда в палермском дворянстве, это оно клеветает на меня, потому что графы де Кастель-Нуово были возведены в дворянское достоинство Карлом V, тогда как графы де Вентимилле и де Партанна происходят, по их словам, от Танкреда и Рожера. Но женщины недолюбливают меня по другой причине: они

прячут свои чувства под маской презрения, а сами ненавидят меня за любовь Родольфо, завидуют, что меня любит сам вице-король. Они изо всех сил стараются отбить его, но это им не удается: я красивее их. Карини постоянно твердит мне об этом, да и ты тоже обманщица.

— Не только его светлость и я говорим приятное госпоже графине, кое-кто льстит ей еще больше.

— Кто же это?

— Зеркало, сударыня.

— Сумасбродка! Зажги же свечи у большого зеркала.

Камеристка повиновалась.

— А теперь затвори это окно и оставь меня одну. Достаточно окна, выходящего в сад.

Тереза выполнила приказ и вышла из комнаты; едва за ней затворилась дверь, как графиня села у зеркала, взглянула на себя и улыбнулась.

Поистине, она была прелестна, графиня Эмма, или, точнее, Джемма, так как родители изменили первую букву имени, данного ей при крещении, и с самого детства звали ее Джеммой, иначе говоря, «Жемчужиной». И конечно же, графиня была не права, когда в доказательство древности своего рода ссылалась лишь на подпись Карла V, ибо тонкий, гибкий стан изобличал в ней ионянку, черные, бархатистые глаза — дочь арабов, а бело-розовый цвет лица — уроженку Галлии. Она могла считать с одинаковым правом, что происходит от афинского архонта, от сарацинского эмира и от норманнского капитана; такие красавицы встречаются прежде всего в Сицилии, а затем в единственном городе на свете, в Арле, где то же смешение крови, то же скрещение рас объединяет порой в одной женщине эти три столь различных типа. Но вместо того, чтобы прибегнуть к ухищрениям кокетства, как она собиралась это сделать поначалу, Джемма застыла у зеркала в порыве наивного восхищения: до того понравилась она себе в этом домашнем убранстве; так, вероятно, взирает на себя цветок, склонившийся над поверхностью ручья; однако в этом чувстве не было гордыни; она как бы возносила хвалу господу, создавшему такую красоту. Словом, она ничего не изменила в своей внешности. Да и какая прическа лучше выявила бы несравненную

прелесть ее волос, чем тот беспорядок, при котором они свободно рассыпались по плечам? Какая кисть могла бы прибавить что-либо к безукоризненному рисунку ее шелковистых бровей? Какая помада посмела бы соперничать с цветом ее коралловых губ, сочных, словно плод граната? И, как мы уже говорили, она вперила взгляд в зеркало с единственным желанием полюбоваться собой, но мало-помалу погрузилась в упоительные, восторженные мечты, ибо одновременно с ее лицом зеркало, стоявшее у раскрытого окна, отражало небо, которое служило как бы фоном ее ангельской головки; и, наслаждаясь неясным и безграничным чувством счастья, Джемма без повода, без цели считала в зеркале звезды, которые зажигались одна за другой, и вспоминала их названия по мере того, как они появлялись в эфире. Вдруг ей показалось, что какая-то тень загородила звезды и позади нее возникло чье-то лицо; она поспешно обернулась: в окне стоял незнакомый мужчина. Джемма вскочила на ноги и открыла рот, чтобы закричать, но неизвестный спрыгнул на пол и, сложив с мольбой руки, проговорил:

— Во имя неба, никого не зовите, сударыня. Клянусь честью, вам нечего опасаться: я не хочу вам зла!..

II

Джемма упала в кресло, и вслед за появлением незнакомца и его словами наступило молчание, во время которого она успела бросить быстрый, боязливый взгляд на незваного гостя, который проник в ее спальню столь странным, непозволительным способом.

Это был молодой человек лет двадцати пяти—двадцати шести, по-видимому, простолюдин: на нем была калабрийская шляпа с широкой лентой, спускавшейся на плечо, бархатная куртка с серебряными пуговицами и такие же штаны; его стан стягивал красный шелковый пояс с зеленой вышивкой и бахромой — такие пояса изготовляют в Мессине, которая позаимствовала их у стран Леванта. Кожаные ботинки и гетры дополняли этот костюм истого жителя гор, костюм, не лишенный изящества и как бы созданный, чтобы подчеркнуть стройность того, кто его носил. Лицо незнакомца поражало суровой красотой: резкие черты

южанина, смелый, гордый взгляд, черные волосы и борода, орлиный нос и зубы, как у шакала.

Очевидно, Джемму не слишком успокоил вид молодого человека, ибо она протянула руку к столу в поисках стоящего там серебряного колокольчика.

— Вы разве не поняли меня, сударыня? — спросил он, стараясь придать своему голосу ту чарующую мягкость, которую так хорошо передает сицилийский язык. — Я не желаю вам зла, напротив, если вы уважите мою просьбу, я буду боготворить вас, как мадонну. Вы прекрасны, как божья мать, будьте же милосердны, как она.

— Что же вам от меня надобно? — спросила Джемма дрожащим голосом. — И как вы посмели явиться ко мне сюда, да еще таким путем?

— Скажите, сударыня, неужели вы, знатная, богатая, любимая человеком высокого звания, почти королем, согласились бы принять такого безвестного человека, как я? Да если бы и оказали мне такую милость, она могла бы запоздать, а у меня времени нет!

— Но что я могу сделать для вас? — спросила Джемма, постепенно успокаиваясь.

— Все в ваших руках, сударыня, мое несчастье и мое блаженство, моя смерть и моя жизнь.

— Ничего не понимаю! Объясните, в чем дело?

— У вас служит девушка из Баузо.

— Тереза?

— Да, Тереза, — сказал молодой человек, и голос его дрогнул. — Она собирается обвенчаться с камердинером князя де Карини, а ведь девушка эта — моя невеста.

— Так это вы?..

— Да, мы собирались пожениться с Терезой, когда вы вызвали ее к себе. Она обещала хранить мне верность, замолвить перед вами словечко за меня, а если вы откажете в ее просьбе, вернуться домой. Итак, я ждал ее. Прошло три года, ее все не было. Я понял, что она не вернется, сам приехал сюда и все узнал. Тогда я надумал броситься к вашим ногам и вымолить у вас разрешение на брак с Терезой.

— Я люблю Терезу и не желаю разлучаться с ней. Газтано — камердинер князя. Если он женится на ней, Тереза останется у меня.

— Коль скоро таковы ваши условия, я поступлю к князю,— проговорил молодой человек, сделав усилие над собой.

— Тереза говорила, что вы не хотите быть слугой.

— Да, правда, но я принесу эту жертву ради нее, раз уж иначе нельзя. Только, если возможно, я поступил бы телохранителем к князю — это все же лучше, чем быть слугой.

— Хорошо, я поговорю с князем, и если он согласится...

— Князь согласится на все, чего бы вы ни пожелали, сударыня. Я знаю, вы не просите, вы приказываете.

— Но кто мне поручится за вас?

— Поручкой будет моя вечная признательность, сударыня.

— Кроме того, я должна знать, кто вы.

— Я человек, судьба которого зависит от вас. Вот и все.

— Князь спросит, как вас зовут.

— Какое дело князю до моего имени? Разве он когда-нибудь слышал его? И что значит для князя де Карини имя простого крестьянина из Баузо?

— Но я-то родилась в том же краю, что и вы. Мой отец был графом де Кастель-Нуово и жил в небольшом замке неподалеку от деревни.

— Мне все это известно, сударыня,— глухо проговорил молодой человек.

— Так вот, я должна знать, кто вы. Скажите, как вас зовут, и я решу, что мне надлежит делать.

— Верьте мне, ваше сиятельство, вам лучше не знать моего имени. Не все ли равно, как меня зовут? Я честный человек, Тереза будет счастлива со мной, и, если понадобится, я отдам жизнь за князя и за вас.

— Не понимаю вашего упорства. Я хочу знать ваше имя, тем более что Тереза тоже отказалась сказать, как вас зовут, когда я спросила ее об этом. Предупреждаю, я ничего не сделаю для вас, если вы не назовете себя.

— Так вы этого желаете, сударыня?

— Не желаю, а требую.

— Умоляю вас в последний раз...

— Скажите, кто вы, или уходите,— проговорила Джемма, повелительно подняв руку.

— Меня зовут Паскаль Бруно,— ответил молодой человек ровным, тихим голосом; могло показаться, что

он совершенно спокоен, если бы внезапная бледность не выдавала его душевной муки.

— Паскаль Бруно! — воскликнула Джемма, отодвигая от него свое кресло. — Паскаль Бруно! Уж не сыны ли вы Антонио Бруно, чья голова находится в замке Баузо, в железной клетке?

— Да, я его сын.

— И вам известно, почему голова вашего отца находится там? Отвечайте!

Паскаль молчал.

— А потому, — продолжала Джемма, — что ваш отец покушался на жизнь графа, моего отца.

— Знаю, сударыня. Знаю также и другое: когда ребенком вас выводили гулять, ваши горничные и лакеи показывали вам эту клетку и говорили, что в ней голова преступника, который хотел убить вашего батюшку. Одного только вам не рассказали, сударыня: ваш отец обесчестил моего отца.

— Вы лжете!

— Да покарает меня господь бог, если я солгал, сударыня. Моя мать была красива и добродетельна, граф полюбил ее. Она устояла перед его обещаниями, домогательствами, не испугалась даже угроз. И вот однажды, когда мой отец уехал в Таормину, граф приказал четверым верным людям похитить ее и отвезти в небольшой дом между Лимеро и Фуриани — в нем теперь постоянный двор... И там... там, сударыня, он надругался над нею!

— Граф был властелином Баузо, крестьяне принадлежали ему душой и телом. Он оказал большую честь вашей матушке, обратив внимание на нее.

— Мой отец принял это иначе, — сказал Паскаль, нахмурившись, — быть может, потому что родился в Стрилле, на земле князя Монкада-Патерно, он ударил кинжалом графа. Рана не была смертельной, и слава богу, хотя я долгое время жалел об этом. Но сегодня, к моему стыду, это меня радует.

— Если память мне не изменяет, не только ваш отец был казнен как убийца, но и все ваши дяди отбывают наказание на каторге.

— Да, они спрятали виновного и встали на его защиту, когда за ним явилась полиция. Их посчитали сообщниками отца и отправили на каторгу. Дядя

Плачидо попал на остров Фавиньяна, дядя Пиетро — на Липари, а дядя Пепе — в Вулкано. Я был тогда ребенком, но и меня арестовали вместе с ними, пришлось, однако, вернуть меня матери.

— А что случилось с этой женщиной?

— Она умерла.

— Где же?

— В горах между Пиццо ди Гото и Низи.

— Почему она уехала из Баузо?

— Почему? Чтобы не видеть, когда мы шли мимо замка, ей головы своего мужа, мне головы своего отца. Да, она умерла без врача, без священника. Я похоронил ее на неосвященной земле и был ее единственным могильщиком... Надеюсь, вы простите меня, сударыня, но на свежей могиле матери я дал обет отомстить за гибель всей моей семьи, из которой уцелел я один, — к тому времени дядей моих, конечно, уже не было в живых, — да, отомстить вам, последней из семьи графа. Но что поделаешь? Я влюбился в Терезу, спустился с гор, чтобы не видеть могилы матери, так как чувствовал, что готов нарушить свою клятву, и поселился в долине, неподалеку от Баузо. Более того, когда Тереза надумала уехать из деревни и поступить к вам в услужение, мне пришла в голову мысль наняться к князю. Долгое время эта мысль страшила меня, потом я с ней свыкся. Я решил повидать вас, и вот я пришел, пришел безоружный, чтобы умолять вас о милости, хотя намеревался, сударыня, предстать перед вами как мститель.

— Вы понимаете, конечно, — ответила Джемма, — что князь не может взять к себе человека, отец которого был повешен, а родственники осуждены на каторжные работы.

— Но почему же, сударыня, если этот человек готов забыть об этих несправедливых приговорах?

— Вы с ума сошли!

— Вы знаете, ваше сиятельство, что значит клятва для горца? Так вот, я обещаю нарушить свою клятву. Вы знаете, что значит месть для сицилийца? Я обещаю отказаться от мести... Я все предам забвению, не заставляйте же меня вспоминать...

— А в противном случае?

— Не хочу думать об этом.

— Хорошо, мы примем надлежащие меры.

— Смилуйтесь, сударыня, умоляю! Видите, я делаю все, что в моих силах, хочу остаться честным. Ручаюсь, я стану другим человеком, коль скоро поступлю к князю и женюсь на Терезе... К тому же я никогда не вернусь в Баузо.

— Я ничего не могу для вас!

— Ваше сиятельство, ведь вы любили!

Джемма презрительно улыбнулась.

— Вы должны знать, что такое ревность. Вы должны знать, какая это мука, чувствуешь, что сходишь с ума. Я люблю Терезу, я ревную ее, чувствую, что не совладаю с собой, если она выйдет замуж за другого, и тогда...

— Что тогда?

— Тогда берегитесь, как бы я не вспомнил о клетке с головой отца, о каторге, куда сосланы мои дяди, и о могиле, в которой покоится моя мать.

В эту минуту странный крик, похожий на сигнал, раздался под окном спальни, и почти тотчас же прозвенел звонок.

— Князь! — воскликнула Джемма.

— Да, да, знаю! — пробормотал Паскаль. — Но прежде, нежели он войдет сюда, вы можете обещать мне... Умоляю, сударыня, снизойдите к моей просьбе: разрешите мне жениться на Терезе, попросите князя взять меня в услужение...

— Пропустите меня! — повелительно сказала Джемма, направляясь к выходу.

Но вместо того, чтобы повиноваться, Бруно подбежал к двери и запер ее.

— И вы посмели задержать меня? — спросила Джемма, берясь за шнурок звонка. — Ко мне, не помощь! На помощь!

— Не зовите, сударыня, — проговорил Бруно, все еще владея собой. — Ведь я сказал, что не причиню вам зла.

Вторично раздался под окном тот же странный крик.

— Молодец, Али, ты на посту, мой мальчик! — крикнул Бруно. — Понимаю, пришел князь, слышу его шаги в коридоре. Сударыня, сударыня, еще есть несколько минут, несколько секунд, еще можно избежать многих несчастий...

— На помощь, Родольфо, на помощь! — крикнула Джемма.

— Так, значит, у вас нет сердца, нет души, нет жалости, ни к себе, ни к другим! — воскликнул Бруно, схватившись за голову и смотря на дверь, которую сотрясала чья-то сильная рука.

— Меня заперли,— продолжала графиня, ободренная подоспевшей помощью,— я здесь, и с мужчиной, он угрожает мне. На помощь, Родольфо, ко мне!..

— Я не угрожаю, я молю... я все еще молю... но раз вы сами этого пожелали!..

Бруно испустил крик, подобный крику дикого зверя, и бросился к Джемме, видимо, чтобы задушить ее, так как он и в самом деле был безоружен. В ту же минуту дверь, скрытая в глубине алькова, отворилась, раздался выстрел, спальня наполнилась дымом, и Джемма потеряла сознание. Она очнулась в объятиях любовника, с ужасом оглядела комнату и спросила, как только смогла говорить:

— А этот человек, где он?

— Не знаю. Должно быть, я промахнулся,— ответил князь.— Не успел я перескочить через кровать, как он прыгнул в окно. Вы лежали без сознания, я позабыл о нем и поспешил к вам. Должно быть, я промахнулся,— повторил он, осматривая стены.— Странно, я нигде не вижу следа от пули.

— Скорее пошлите за ним погоню! — воскликнула Джемма.— Ни жалости, ни милосердия к этому человеку, ваша светлость! Он бандит и хотел задушить меня.

Поиски продолжались всю ночь, осмотрели виллу, прилегающие к ней сады, побережье — все было тщетно: Паскаль Бруно бесследно исчез.

Наутро были обнаружены пятна крови, они вели от окна спальни и терялись на берегу моря.

III

Рано утром рыбацьи лодки вышли, как обычно, из порта и рассеялись по морю; одна из них с мужчиной и мальчиком лет двенадцати — четырнадцати на борту легла, однако, в дрейф неподалеку от Палермо и, так как

этот маневр в месте, не особенно подходящем для рыбной ловли, мог показаться подозрительным, мальчик занялся починкой сети. Что касается мужчины, то он лежал в лодке, опершись головой о борт, и, по-видимому, был погружен в глубокое раздумье; время от времени он машинально опускал правую руку в море и, зачерпнув горсть воды, поливал ею свое левое плечо, стянутое окровавленной повязкой. После чего его губы сводила такая странная гримаса, что трудно было понять, смеется он или скрежещет зубами. Человек этот был Паскаль Бруно, а мальчик — тот самый страж, который дважды крикнул под окном спальни, чтобы предупредить его об опасности. Достаточно было беглого взгляда, чтобы признать в мальчике сына более жаркой страны, нежели та, где разворачиваются описываемые нами события. В самом деле, он родился на берегах Африки и чисто случайно оказался на пути Паскаля Бруно. Вот как это произошло.

Узнав около года назад, что князь де Монкада-Патерно, богатейший сицилийский вельможа, возвращается на небольшом судне из Паителлерии в Катану со свитой из двенадцати человек, алжирские корсары устроили засаду за островом Порри, в каких-нибудь двух милях от Сицилии. Корабль князя, как и предполагали пираты, свернул в пролив, отделяющий остров от побережья; заметив его, они вышли на трех лодках из бухточки, в которой прятались, и налегли на весла, чтобы перерезать путь князю. Тот сразу дал команду направить судно к берегу и посадить его на мель возле Фугалло. Так как в этом месте глубина едва достигала трех футов, князь и его свита прыгнули в воду, держа оружие над головой, — они надеялись добраться до деревни, видневшейся в полумиле от берега, так и не пустив его в ход. Но как только они покинули корабль, другие корсары, которые в ожидании этого маневра успели зайти в устье Буфайдоне, выскочили из камышовых зарослей, среди которых течет эта река, и отрезали князю путь к отступлению. Завязалась схватка; но пока телохранители князя отражали натиск первого отряда корсаров, подоспел второй их отряд, видя, что сопротивляться бесполезно, князь сдался, попросив, чтобы ему и его людям была сохранена жизнь, и дав обещание заплатить за себя и за них богатый выкуп. Как только пленники сложили оружие, показались толпа крестьян, вооруженных ружьями и косами



Корсары, победившие князя и, следовательно, достигшие своей цели, не стали ждать новоприбывших — они уплыли столь поспешно, что оставили на поле боя трех своих людей, посчитав их убитыми или смертельно ранеными.

Среди прибежавших крестьян был и Паскаль Бруно: по прихоти своей кочевой жизни он появлялся то тут, то там, а беспокойный характер заставлял его ввязываться в любое рискованное предприятие. Крестьяне обнаружили на песчаном берегу, где происходило сражение, двух слуг князя де Патерно — один был убит, другой легко ранен в ногу — и трех корсаров, плававших в собственной крови, но еще живых. Двух ружейных выстрелов было достаточно, чтобы тут же расправиться с двоими врагами, и дуло пистолета уже было нацелено на третьего, угрожая послать и его вслед за товарищами, когда Бруно заметил, что третий корсар всего-навсего ребенок; он отвел от него оружие и заявил, что берет мальчика под свое покровительство. Послышался ропот недовольства против этой неуместной жалости, но Бруно никогда не отступал от своего слова; он зарядил карабин и заявил, что застрелит первого, кто подойдет к раненому, Бруно был известен как человек, способный осуществить свою угрозу, крестьяне отступились, позволив ему поднять мальчика и уйти вместе с ним. Бруно тотчас же направился к морю, сел в лодку, на борту которой совершал обычно свои походы и которой управлял так умело, что она повиновалась ему не хуже, чем лошадь повинуетса всаднику, поднял парус и взял курс на мыс Алига-Гранде.

Как только лодку подхватил ветер и она перестала нуждаться в кормчем, Бруно занялся раненым, по-прежнему лежавшим без чувств. Он распахнул белый бурнус, в который был завернут мальчик, расстегнул пояс с висящим на нем ятаганом и увидел при последних отблесках заходящего солнца, что пуля прошла между правым бедром и ребрами и вышла возле позвоночника: рана была опасна, но не смертельна.

Вечерний ветер и освежающее действие морской воды, которой Бруно промыл рану, привели в чувство мальчика; не открывая глаз, он произнес несколько слов на непонятном языке; Бруно, знавший по опыту, что огнестрельная рана вызывает сильную жажду, дога-

дался, о чем просит мальчик, и поднес к его губам полную флягу воды; раненый жадно приник к ней, затем что-то пробормотал и снова впал в забытие. Паскаль уложил его как можно бережнее на дно лодки и, оставив рану открытой, каждые пять минут смачивал ее морской водой, действие которой моряки почитают целебным для любых ран.

В пору вечерней молитвы наши мореплаватели подошли к устью Рагузы, ибо ветер был попутный. Паскаль без труда направил лодку вверх по течению реки и три часа спустя, оставив справа от себя Модика, прошел под мостом на дороге между Ното и Кьярамонти. Он сделал еще полмили, но, видя, что плыть становится все труднее, вытащил лодку на берег, скрыл ее в зарослях олеандров и папируса и, взяв мальчика на руки, продолжал путь пешком. Вскоре перед ним открылось узкое ущелье, и, пройдя еще немного, он очутился между двумя отвесными склонами с пробитыми в них отверстиями пещер — то были остатки древнего поселения троглодитов, первых жителей Сицилии, которых греческие колонисты некогда приобщили к цивилизации. Бруно вошел в одну из этих пещер и поднялся по лестнице на ее второй ярус, куда свет и воздух проникали через большую квадратную дыру; в углу помещения было устроено ложе из тростника; он расстелил на нем бурнус мальчика и положил его самого на этот бурнус; затем вышел, чтобы раздобыть огня, вернулся с горячей еловой веткой в руках, прикрепил ее к стене и, усевшись на камень возле раненого, стал ждать, когда тот очнется.

Бруно не впервые пришел в это убежище: во время своих бесцельных скитаний по Сицилии, которые помогали ему позабыть о своем одиночестве, успокоиться и прогнать дуриные мысли, он заходил в эту долину и жил в этой комнате, выдолбленной в скале три тысячи лет тому назад; здесь он предавался тем смутным и бессвязным мечтам, которые обуревают людей необразованных, но наделенных пылким воображением. Он знал, что пещеры были вырыты в давние времена ныне исчезнувшим племенем, и, свято чтя народные предания, полагал, как и все местные жители, что эти люди были волшебниками, — убеждение, которое несколько не пугало его, а, напротив, неудержимо влекло в эти места. Он слышал в юности немало сказок



о волшебных ружьях, о неуязвимых людях, о путниках-невидимках, и в его бесстрашной душе, жаждавшей чудес, жило лишь одно желание: встретить колдуна, волшебника или черта, который в обмен на договор, скрепленный кровью, дал бы ему сверхъестественную власть над людьми. Но напрасно вызывал он тени древних обитателей долины Модика: их призраки так и не явились ему, и Паскаль Бруно остался, к своему великому огорчению, таким же человеком, как и все прочие люди; и все же он выделялся среди горцев, ибо мало кто из них мог потягаться с ним силой и ловкостью.

Бруно промечтал около часа у изголовья раненого мальчика, когда тот наконец вышел из забытья; он открыл глаза, недоуменно огляделся и остановил взгляд на своем спасителе, еще не зная, кто перед ним — друг или враг. При этом у него, видимо, мелькнула смутная мысль о самозащите, ибо он поднес руку к поясу в поисках своего верного ятагана, но, не найдя его, тяжело вздохнул.

— Тебе больно? — спросил Бруно, прибегнув к франкскому языку, который понятен решительно всем на берегах Средиземного моря, от Марселя до Александрии, от Константинополя до Алжира, и с помощью которого можно объездить весь Старый Свет.

— Кто ты? — спросил мальчик.

— Друг.

— Разве я не твой пленник?

— Нет.

— Как же я попал сюда?

Паскаль все рассказал ему; мальчик внимательно выслушал рассказ, а когда тот подошел к концу, посмотрел прямо в глаза Бруно и спросил с чувством глубокой благодарности:

— Хочешь быть моим отцом, ты, который спас мне жизнь?

— Хочу.

— Отец, — проговорил раненый, — твоего сына зовут Али. А тебя как звать?

— Паскаль Бруно.

— Да благословит тебя аллах! — сказал мальчик.

— Не надо ли тебе чего-нибудь?

— Воды, пить хочется.

Паскаль взял глиняную кружку, спрятанную в углублении скалы, и спустился к ручью, протекавшему неподалеку от пещеры. Вернувшись, он бросил взгляд на

ятаган мальчика и заметил, что раненый даже не попытался достать его. Али с жадностью схватил кружку и разом опорожнил ее.

— Да ниспошлет тебе аллах столько счастливых лет, сколько капель в этом сосуде,— сказал Али, возвращая кружку.

— Ты славный мальчик,— прошептал Бруно,— скорее поправляйся, а когда поправишься, вернешься к себе в Африку.

Мальчик поправился и остался в Сицилии: он так полюбил Бруно, что не захотел с ним расстаться. С тех пор они были неразлучны. Али ходил с Бруно на охоту в горы, помогал ему управлять лодкой на море и готов был отдать жизнь по знаку того, кого он звал своим отцом.

Это Али сопровождал Бруно на виллу князя де Карини, это он ждал его под окнами Джеммы и дважды подал сигнал о грозящей опасности — первый раз, когда князь позвонил у калитки, и второй, когда тот вошел в замок. Мальчик уже хотел было подняться в комнату Джеммы, чтобы помочь отцу, но тут Бруно выпрыгнул из окна. Али побежал за ним. Они добрались до берега, сели в ожидавшую их лодку, и так как ночью нельзя было выйти в море, не возбуждая подозрения, они смешались с рыбацкими лодками, ожидавшими рассвета в порту.

Этой ночью Али так же заботливо ухаживал за Паскалем, как и тот ухаживал за ним когда-то, ибо князь де Карини не промахнулся; пуля, которую он напрасно искал в обивке стен, застряла в плече Бруно, и Али пришлось сделать лишь небольшой надрез своим ятаганом, чтобы вынуть ее со стороны, противоположной той, в какую она вошла. Все это произошло почти без участия Бруно, он словно и не думал о своей ране и только время от времени смачивал ее, как мы уже говорили, морской водой, пока мальчик чинил для отвода глаз свои сети.

— Отец,— вдруг прошептал Али, прерывая свое занятие,— взгляни-ка на берег!

— Что там такое?

— Толпа народа.

— Где?

— На дороге в церковь.

В самом деле, многочисленное общество шло по извилистой дороге, которая ведет на вершину святой горы. Бруно разглядел свадебное шествие, направляющееся в церковь святой Розалии.

— Правь к берегу и гребь что есть мочи! — воскликнул он, вскочив на ноги.

Мальчик повиновался, схватил весла, и маленькая лодка полетела, словно на крыльях, по морским волнам. Чем ближе подходили они к берегу, тем свирепее становилось лицо Паскаля; наконец, когда оставалось проплыть каких-нибудь полмили, он воскликнул в неопишемом отчаянии:

— Это Тереза! Они поторопились со свадьбой, не захотели ждать воскресенья, боятся, как бы я не похитил ее!.. Бог мне свидетель, я сделал все, что мог! Хотел, чтобы все хорошо кончилось... Они этого не пожелали. Горе им!

После этих слов Бруно с помощью Али поднял парус, и лодка, обогнув гору Пеллегрينو, скрылась два часа спустя за мысом Галло.

IV

Паскаль не ошибся. Графиня так опасалась какого-нибудь безумства с его стороны, что велела приблизить на три дня бракосочетание Терезы и утаила от девушки свою встречу с ее любовником, а будущие супруги из чувства глубокого благоговения выбрали для этого обряда церковь святой Розалии, покровительницы Палермо.

То, что Палермо отдал себя под покровительство молодой и красивой святой, является одной из своеобразных черт этого города, где все дышит любовью. Подобно тому как Неаполь чтит святого Януария, Палермо чтит святую Розалию, видя в ней всемогущую носительницу небесной благодати; но у этой святой имеется и немалое преимущество перед святым Януарием, ибо она француженка королевской крови и прямой потомок Карла Великого¹, как об этом

¹ Нет нужды напоминать читателям, что мы пишем не трактат по истории Сицилии, а вспоминаем древнее предание. Нам прекрасно известно, что Карл Великий был тевтонец, а не француз. (Прим. автора.)

свидетельствует ее генеалогическое древо, изображенное над внешним порталом церкви; древо это произрастает из груди победителя Видукинда и делится на несколько побегов, которые соединяются у его вершины, символизируя рождение Синебалдо, отца святой Розалии. Но ни знатность, ни богатство, ни красота не тешили юную принцессу. Влекомая созерцательной жизнью, она покинула в возрасте восемнадцати лет двор короля Рожера и сразу исчезла, словно в воду канула; нашли ее только после смерти, неувядаемо прекрасную, будто спящую, в той самой пещере, где она жила, и в том положении, в котором она навеки почилла безгрешным, целомудренным сном божьих избранных.

Пещера эта находится на склоне бывшей горы Эвита, известной в эпоху Пунических войн своей неприступностью, которой умело пользовались карфагеняне; однако в наши дни оваянная воинской доблестью гора получила новое имя. Ее бесплодная вершина была освящена церковью и стала называться Пеллегринно, что имеет двойное значение — гора Благодати или гора Паломника. В 1624 году в Палермо разразилась эпидемия чумы; жители обратились за помощью к святой Розалии. Ее чудотворное тело было вынуто из пещеры и с большой торжественностью перенесено в палермский собор; и едва святые останки коснулись порога этого полухристианского, полуарабского храма, как, по заступничеству святой, Иисус Христос избавил город не только от чумы, но также от войны и голода, если верить барельефу, высеченному Вилла-Реале, учеником Кановы. Благодарные жители Палермо превратили пещеру святой Розалии в церковь и провели к ней превосходную дорогу, хотя мы и считаем теперь, что постройка этой дороги восходит к временам, когда римляне перебрасывали между горами мосты и акведуки, бывшие как бы гранитной подписью метрополии. Наконец, тело святой Розалии было заменено в том самом месте, где его нашли, мраморной статуей в венке из роз, которой скульптор придал позу, в какой почилла святая. Это произведение искусства было, кроме того, богато украшено самим королем. Карл III Бурбонский пожертвовал покровительнице Палермо платье из золотой ткани стоимостью в пять тысяч франков, алмазное ожерелье и великолепные кольца и, пожелав присово-

купить к этим светским дарам поистине рыцарские почести, пожаловал ей большой мальтийский крест на золотой цепочке и орден Марии-Терезии — звезду, окруженную лавровыми венками с девизом *Fortitudini*¹.

Что до пещеры святой Розалии, она представляет собой углубление, образовавшееся в основной породе и в покрывающих ее пластах известняка. Со сводов ее свисают блестящие сталактиты. Слева от входа находится алтарь, у подножия которого установлена лежащая статуя святой, видимая сквозь золотую решетку, а за алтарем бьет родник, утолявший некогда жажду отшельницы. К этой созданной самой природой церкви ведет портник футов трех-четыре длиной со стенами, увитыми гирляндами плюща: из него солнечные лучи проникают в пещеру и в ясные дни как бы разделяют светлой завесой священника и молящихся.

В этой церкви и были обвенчаны Тереза и Газтаио.

По окончании службы свадебное шествие спустилось в Палермо, где гостей ждали экипажи, чтобы отвезти их в деревню Карини, ленное владение князя Родольфо. По распоряжению графини там ожидало приглашенных великолепное пиршество, на которое были званы все окрестные жители; гости собрались даже из деревень, лежащих на расстоянии двух-трех миль от Карини, — из Монреалья, Капачи и Фавоты; среди молодых крестьянок, приложивших немало стараний, чтобы принарядиться, выделялись девушки из Пьяна де Гречи, свято сберегшие свой мораитский костюм, хотя предки, завещавшие им этот костюм, который они, в свою очередь, получили от прадедов, и покинули тысячу двести лет назад родной край ради новой родины.

Столы были накрыты под сенью каменных дубов и зонтичных сосен на эспланаде, благоухавшей апельсинными и лимонными деревьями и окруженной изгородью из гранатников и индийских смоковниц, которыми провидение одарило Сицилию, чтобы утолять, словно манной небесной, голод и жажду бедняков. К этой эспланаде вела дорога, обсаженная алоэ, чьи огромные цветы кажутся издали пиками арабских всадников, а стебли содержат волокна, более прочные и блестящие, нежели волокна льна и конопли; с юга вид был

¹ Храбрость (лат.).

ограничен дворцом и возвышающейся над ним горной цепью, той самой, что делит остров на три части, зато на западе, севере и востоке взору трижды являлось волшебное море Сицилии, которое можно принять за три различных моря благодаря своеобразной окраске каждого из них; в самом деле, из-за игры света, вызванной лучами заходящего солнца, море за Палермо казалось небесно-голубым, возле острова Женщин — серебряным, тогда как о скалы Сен-Вито разбивались волны из жидкого золота.

Во время десерта, когда веселье было в полном разгаре, двери дворца отворились, и Джемма под руку с князем, предшествуемая двумя лакеями с факелами в руках и сопровождаемая толпою слуг, спустилась по мраморной лестнице на эспланаду. Крестьяне хотели было встать, но князь поднял руку, прося их не беспокоиться. Они с Джеммой обошли все застолье и остановились за спиной молодоженов. Слуга принес золотой бокал, Газтано налил в него сиракузского вина, тот же слуга подал бокал Джемме, Джемма пожелала счастья новобрачным, пригубила вино и передала бокал князю, который, осушив его, высыпал в пустой бокал целый кошелек унций¹ и велел вручить его Терезе — это был ее свадебный подарок; в ту же минуту раздались крики: «Да здравствует князь де Карини! Да здравствует графиня де Кафель-Нуово!»; словно по мановению волшебной палочки, по всей эспланаде зажглись огни, и знатные посетители удалились, промелькнув как сказочное видение и оставив после себя много света и радости.

Едва они успели вернуться со своей свитой в замок, как раздались звуки музыки; молодежь встала из-за стола и поспешила на площадку, приготовленную для танцев. Согласно обычаю, Газтано должен был открыть бал со своей молодой женой, он уже собрался подойти к ней, когда на дороге, обсаженной алоэ, появился новый гость — это был Паскаль Бруно в том калабрийском костюме, который мы подробно описали выше; только из-за пояса у него торчали пистолеты и кинжал, а куртка, накинутая на правое плечо, как гусарский ментик, позволяла видеть окровавленный рукав рубашки. Тереза первая заметила Паскаля, она вскрикнула и, в ужасе устремив на него взор, застыла на месте

¹ Монета стоимостью в три дуката. (Прим. автора.)

бледная, трепещущая, словно увидела привидение. Все взглянули на новоприбывшего, и толпа приглашенных замерла, неподвижная, безгласная, чувствуя, что надвигается нечто страшное. Паскаль Бруно подошел прямо к Терезе и, скрестив руки, пристально взглянул на нее.

— Это вы, Паскаль? — прошептала Тереза.

— Да, я,— хрипло ответил Бруно.— Я узнал в Баузо, где напрасно ждал вас, что вы собираетесь выйти замуж в Карини. Надеюсь, я прибыл вовремя, чтобы сплясать с вами первую тарантеллу.

— Это право принадлежит мужу,— прервал его Гаэтано, подходя к Паскалю.

— Нет, любовнику,— возразил он.

— Тереза — моя жена! — воскликнул Гаэтано, протягивая к ней руку.

— Тереза — моя любовница,— сказал Паскаль, властно сжимая ее пальцы.

— На помощь! — крикнула Тереза.

Гаэтано схватил Паскаля за ворот рубашки, но тут же с криком рухнул на землю: кинжал Паскаля вошел в его грудь по самую рукоятку. Мужчины бросились было к убийце, чтобы его схватить, но тот хладнокровно вытащил из-за пояса пистолет и зарядил его; потом тем же пистолетом сделал знак музыкантам, приглашая их начать тарантеллу. Они машинально повиновались, никто из гостей не вмешался.

— Ну же, Тереза! — сказал Бруно.

В Терезе уже не было ничего человеческого; она походила на автомат, приводимый в движение страхом. Она повиновалась, и этот жуткий танец возле мертвеца длился до последнего такта тарантеллы. Наконец музыканты умолкли, и Тереза свалилась без чувств на тело Гаэтано, словно звуки оркестра только и поддерживали ее до сих пор.

— Благодарю, Тереза,— сказал Паскаль, холодно взглянув на нее.— Вот и все, больше мне от тебя ничего не нужно. А теперь, если кто-нибудь из присутствующих желает узнать мое имя, чтобы встретиться со мной в другом месте, зовут меня Паскаль Бруно.

— Сын Антонио Бруно, голова которого находится в железной клетке во дворце Баузо? — спросил чей-то голос.

— Он самый,— ответил Паскаль.— Но если вы желаете еще раз взглянуть на эту голову, поторопитесь. Клянусь богом, ей недолго там оставаться!

С этими словами Паскаль исчез в темноте, и никто не решился последовать за ним: то ли от страха, то ли из жалости гости занялись Гаэтано и Терезой.

Первый был мертв, вторая сошла с ума.

Неделю спустя, в воскресенье, был праздник в Баузо: вся деревня веселилась, в кабачках вино текло рекой, на перекрестках горели потешные огни, улицы были украшены флагами и кишели народом; особенно оживленно было на дороге к замку, ибо люди собрались там, чтобы посмотреть на состязанье деревенских стрелков. Эта забава весьма поощрялась королем Фердинандом IV во время его вынужденного пребывания в Сицилии, и многие из тех парней, что упражнялись теперь в меткости, еще недавно могли проявить свое искусство, стреляя вслед за кардиналом Руффо по неаполитанским патриотам и по французским республиканцам; но теперь мишенью служила обычная игральная карта, а призом — серебряный стаканчик. Мишень поместили как раз под железной клеткой с головой Антонио Бруно; до этой клетки можно было добраться лишь по внутренней лестнице замка, проходившей возле того окна, за которым клетка была вмазана в стену. Условия соревнования были весьма просты: желающему принять в них участие следовало внести в общий фонд — он предназначался для оплаты серебряного стаканчика — скромную сумму в два карлина за каждый предполагаемый выстрел и получить взамен порядковый номер, определявший его место в состязании; неумелые стрелки оплачивали десять, двенадцать и даже четырнадцать выстрелов, те же, кто был уверен в себе, — пять или шесть. Среди множества протянутых рук чья-то сильная рука подала два карлина, и смутный гул голосов покрыл громкий голос, потребовавший одну пулю. Все посмотрели в сторону говорившего, удивленные скудостью взноса или сомнением стрелка. Человек, оплативший один-единственный выстрел, был Паскаль Бруно.

За последние четыре года Паскаль ни разу не появлялся в деревне, и хотя все узнали его, никто с ним не заговорил. Поскольку же он слыл искуснейшим

стрелком в округе, люди поняли, почему он взял всего одну пулю; на ней стоял одиннадцатый номер. Состязание в стрельбе началось.

Выстрелы вызывали либо смех, либо крики одобрения, но по мере того, как запас пуль истощался, шум стал понемногу затихать. Паскаль стоял грустный и задумчивый, опершись на свой английский карабин, и, казалось, был безучастен и к восторгам, и к зубоскальству односельчан; наконец пришла его очередь; услышав свое имя, он вздрогнул и поднял голову, словно не ждал, что его вызовут, но тут же опомнился и занял место у натянутой веревки, заменявшей барьер. Зрители с тревогой следили за ним: никто еще не вызвал такого интереса и не был встречен такой напряженной тишиной.

По-видимому, Паскаль и сам сознавал всю важность выстрела, который ему предстояло сделать, ибо он выпрямился, выставил вперед левую ногу и, перенеся всю тяжесть тела на правую, приложил карабин к плечу; затем, взяв низ стены за исходную линию прицела, медленно поднял ствол ружья; каково же было удивление зрителей, не спускавших глаз с Паскаля, когда они увидели, что он миновал мишень и, выйдя за ее пределы, целится в железную клетку; тут и стрелок и карабин на мгновение застыли, словно были изваяны из камня; наконец раздался выстрел, и череп, выбитый из железной клетки¹, упал к подножию стены. Дрожь пробежала по толпе, которая встретила в полном молчании это чудо меткости.

Паскаль поднял череп своего отца и, не проронив ни слова, ни разу не обернувшись, зашагал по тропинке в горы.

V

Не прошло и года после описанных нами событий, как по всей Сицилии, от Мессины до Палермо, от Чефалу до мыса Пассаро, распространились слухи о подвигах разбойника Паскаля Бруно. В странах,

¹ Железные клетки, в которых в Италии выставляют головы преступников, не имеют проволочной сетки. (Прим. автора.)

подобных Испании и Италии, где плохо организованное общество не дает подняться тому, кто рожден внизу, где душе недостает крыльев, чтобы возвыситься, недюжинный ум оборачивается бедой для человека низкого происхождения; человек этот то и дело пытается вырваться из общественных и моральных рамок, которыми судьба ограничила его жизнь, преодолевая бесчисленные препятствия, неудержимо стремится к цели, постоянно видит источник света, которого ему не суждено достигнуть, и, начав свой путь с надеждой, кончает его с проклятием на устах. Он восстает против общества, которое бог разделил на две столь несхожие части — одну для счастья, другую для страдания; он возмущен несправедливостью неба и сам возводит себя в ранг защитника слабых и врага сильных. Вот почему как испанский, так и итальянский бандит окружен ореолом поэзии и народной любовью: ведь почти всегда в основе того, что он сбился с пути, лежит какая-нибудь явная несправедливость, а своим кинжалом и карабином он старается восстановить божественное предопределение, нарушаемое человеческими законами.

Нет ничего удивительного в том, что с таким прошлым за плечами, со свойственной ему склонностью к риску и с его редкостной силой и ловкостью Паскаль Бруно вскоре стал играть ту странную роль, которая пришла к нему по душе, — роль судьи правосудия, если можно так выразиться. В Сицилии, и особенно в Баузо и его окрестностях, не совершалось ни одного беззакония, которое избежало бы его суда, а так как приговоры Паскаля поражали почти всегда людей богатых и сильных, все обездоленные горой стояли за него. Когда какой-нибудь синьор требовал непомерной аренды со своего бедняка фермера, когда корыстолюбие родителей мешало браку двух влюбленных, когда несправедливый приговор угрожал невинному, Бруно, узнав об этом, брал карабин, отвязывал четырех корсиканских псов, своих единственных помощников, вскакивал на арабского скакуна, родившегося, как и он, в горах, выезжал из небольшой крепости Кагель-Нуово, своей обычной резиденции, и предстал перед синьором, строгим отцом или неправедным судьей, и тут же арендная плата снижалась, влюбленные вступали в брак, арестованный получал свободу. Естественно, что люди, благодетель-

ствованные Паскалем Бруно, платили ему неограниченной преданностью, а все предпринятые против него меры ни к чему не приводили благодаря бдительности крестьян, которые тут же предупреждали его о грозящей опасности.

Вскоре из уст в уста стали передаваться диковинные рассказы, ибо чем примитивнее человек, тем больше верит он в чудеса. Говорили, будто в некую бурную ночь, когда весь остров содрогался от ударов грома, Паскаль Бруно заключил договор с ведьмой и в обмен за свою душу приобрел три сверхъестественных дара: становится по желанию невидимым, мгновенно переносится с одного края острова на другой и не страшится ни пули, ни кинжала, ни огня. Как утверждала молва, этот договор был действителен на три года, ибо Паскаль Бруно подписал его лишь для того, чтобы завершить дело мести, для которого ему не требовалось больше времени, чем этот, казалось бы, недолгий срок. Паскаль не опровергал этих вымыслов, прекрасно понимая, что они ему на руку, более того, он всячески старался придать им видимость правдоподобия. Благодаря его широким связям с людьми Паскаль узнавал такие подробности, которые, казалось бы, не должен был знать,— и это подтверждало слухи о том, что он превращается иной раз в невидимку. Благодаря резвости своего любимого коня он оказывался за одну ночь на огромном расстоянии от того места, где проезжал накануне,— и это убеждало людей в том, что расстояния для него не существуют; наконец, некий случай, которым он не преминул воспользоваться с редким искусством, не оставил уже никакого сомнения в его неуязвимости. Вот как было дело.

Убийство Газтано наделало много шума, и князь де Карини приказал командирам всех своих отрядов как можно скорее поймать преступника, который к тому же облегал своей безрассудной смелостью действия тех, кто за ним охотился. Командиры передали этот приказ соглядатаям, и однажды утром те предупредили главу правосудия в Спадафоре, что Паскаль Бруно проехал через его селение минувшей ночью по направлению к Дивьето. Судья велел солдатам ждать Паскаля у дороги, полагая, что он вернется тем же путем и, по всей вероятности, под покровом темноты.

Утром третьего дня — это было воскресенье — солдаты, утомленные двумя бессонными ночами, собрались на постоялом дворе, шагах в двадцати от дороги; они как раз подкреплялись там, когда им сообщили, что Паскаль Бруно преспокойно спускается по склону горы со стороны Дивьето. Времени устраивать засаду уже не было, и солдаты остались там, где были; когда же Паскаль оказался шагах в пятидесяти от них, они вышли из кабачка и построились в боевом порядке перед его дверью, всем своим видом показывая, что не обращают никакого внимания на приближающегося всадника. Бруно заметил эти приготовления, но они, видимо, несколько не обеспокоили его, и вместо того, чтобы повернуть обратно, — а сделать это было легче легкого, — он галопом продолжал свой путь. Солдаты взяли ружья наизготовку и, когда он проезжал мимо, приветствовали его оглушительным залпом; но ни конь, ни всадник не пострадали, оба вышли целы и невредимы из облака дыма, на мгновение окутавшего их. Солдаты переглянулись, покачали головами и отправились к судье, чтобы рассказать ему о случившемся.

В тот же вечер слухи об этом событии достигли Баузо, и люди, наделенные пылким воображением, решили, что Паскаль Бруно заколдован и что свинец сплющивается, а сталь тупится, коснувшись его тела. На следующий же день эти слухи получили неопровержимое подтверждение: у двери судьи, вершившего правосудие в Баузо, была найдена куртка Паскаля Бруно с тринадцатью дырами от пуль, в карманах которой лежали тринадцать пуль, и все они были сплющены. Иные свободомыслящие люди, и среди них Чезаре Алетто, нотариус из Кальварузо, — от него мы и узнали эти подробности, — утверждали, однако, что бандит, чудом спасшийся от смерти, решил извлечь пользу из этого случая: он повесил свою куртку на дерево и сам всадил в нее все тринадцать пуль; но большинство продолжало верить, что дело тут не обошлось без колдовства, и страх, внушаемый Паскалем, еще усилился. Страх этот был так велик, а Паскаль настолько уверен, что с низших слоев общества он распространился на высшие, что за несколько месяцев до описанных нами событий обратился к князю де Бутера с просьбой дать ему взаймы двести золотых

унций для одного из своих благотворительных дел (речь шла о том, чтобы отстроить сожженный постоянный двор); деньги следовало отнести в определенное место в горах и спрятать их там, чтобы в ночь, указанную князю, Паскаль мог лично взять их; в случае невыполнения этой просьбы, которая вполне могла сойти за приказ, Бруно грозил открытой войной между ним, королем гор, и князем де Бутера, властелином долины; если же, напротив, князь будет настолько любезен, что не откажет Паскалю в этом одолжении, двести золотых унций будут ему возвращены сполна, как только удастся изъять эту сумму из королевской казны.

Князь де Бутера был одним из людей, которых уже нет в современном обществе, последним представителем старого сицилийского дворянства, отважного и рыцарски благородного, как те норманны, что основали в Сицилии свое государство и провозгласили свою хартию. Его звали Геркулесом, и, казалось, он был скроен по образцу этого античного героя. Он мог убить ударом кулака норовистую лошадь, сломать о собственное колено железный прут в полдюйма толщиной и свернуть трубочкой серебряный пиастр. А после одного события, во время которого князь де Бутера проявил редкое хладнокровие, он стал кумиром населения Палермо. В 1770 году в городе из-за нехватки хлеба вспыхнуло восстание; правительство прибегло к *ultima ratio*¹, поставив на Толедской улице пушку, народ двинулся против этой пушки, и артиллерист с фитилем в руке приготовился стрелять в народ, когда князь де Бутера уселся на ствол орудия, словно это было кресло, и произнес такую пламенную, такую убедительную речь, что люди тут же разошлись, а артиллерист, фитиль и пушка вернулись в арсенал, ничем себя не запятнав. Но своей популярностью князь был обязан не только этому случаю.

Каждое утро он прогуливался по эспланаде своего парка, господствовавшей над площадью Морского министерства, и так как ворота его поместья открывались с восходом солнца для всех желающих, он неизменно встречал на своем пути множество бедняков;

¹ Последний довод (лат.).

для этой утренней прогулки князь надевал просторную замшевую куртку с огромными карманами, набитыми по его приказу золотыми и серебряными карлинами, которые он тут же раздавал без остатка, сопровождая свои благодеяния одному ему присущими словами и жестам; казалось, он готов был уложить на месте тех, кого собирался осчастливить.

— Ваша светлость, — говорила бедная женщина, окруженная многочисленными отпрысками, — сжальтесь над несчастной матерью, ведь у меня пять человек детей.

— Ну и что ж из этого? — гневно восклицал князь. — Разве я тебе их сделал?

И, угрожающе подняв руку, он бросал в фартук просительницы пригоршню монет.

— Монсеньер, — обращался к нему какой-нибудь горемыка, — я голоден.

— Болван! — кричал князь, опуская на него свой увесистый кулак. — Не я же пеку хлеб! Проваливай к булочнику!

Зато после этого удара бедняк бывал сыт целую неделю¹.

Недаром, когда князь проходил по улицам, все прохожие обнажали головы, как это случалось при появлении на парижском рынке госпожня де Бофора; но, в отличие от главаря Фронды, сицилийский князь пользовался такой властью, что стоило ему сказать одно слово, и он стал бы королем Сицилии; однако эта мысль даже не приходила ему в голову, и он оставался князем де Бутера, что, право же, было не менее почетно.

Щедрость князя вызвала, однако, критику в самом его дворце, и критиком оказался не кто иной, как его мажордом. Легко понять, что человек, характер которого мы попытались здесь обрисовать, с особым размахом проявлял свою склонность к роскоши, к великолепию во время своих знаменитых обедов; в самом деле, двери его дома бывали широко открыты, и каждый день за стол у него садилось не менее двадцати пяти — тридцати гостей, среди которых семь-

¹ Тем, кто желает получить более пространные сведения о князе де Бутера, память о котором я нашел столь живучей в Сицилии, словно он умер лишь накануне, следует обратиться к остроумным и забавным мемуарам Пальмьери де Мичике. (Прим. автора.)

восемь совершенно ему незнакомых, другие же, напротив, являлись к обеду с исправностью завсегдатаев. В числе этих последних был и некий капитан Альтавилла, получивший этот чин за то, что сопровождал кардинала Руффо из Палермо в Неаполь, и вернувшийся из Неаполя в Палермо с пенсией в тысячу дукатов. К несчастью, капитан любил азартные игры, и из-за этого пристрастия пенсии не хватило бы ему на жизнь, если бы он не нашел двух способов, при помощи которых получаемое им от казны трехмесячное содержание стало наименее значительной частью его доходов. Первый способ, доступный всем и каждому, заключался в ежедневных обедах у князя, а второй в том, что, вставая из-за стола, капитан с редкой последовательностью клал себе в карман поданный ему серебряный прибор. Некоторое время все шло гладко, и это ежедневное присвоение чужого добра никем не было замечено; но как бы ни был оснащен поставец князя, в нем все же стали ощущаться недостатки, и подозрения мажордома тотчас же пали на сантафедда¹. Он стал следить за капитаном, и по прошествии двух-трех дней его подозрения превратились в уверенность. Он тотчас же предупредил князя, который, подумав немного, ответил, что до тех пор, пока капитан берет поставленный ему прибор, возражать против этого не приходится; но если он положит в карман приборы своих соседей, придется что-нибудь предпринять. Таким образом, капитан Альтавилла остался наиболее усердным посетителем его светлости князя Геркулеса де Бутера.

Этот последний находился в Кастро-Джованни, на своей вилле, когда ему подали послание Бруно; пробежав его, он спросил, не ждет ли кто-нибудь ответа. Когда выяснилось, что человек этот ушел, он положил письмо в карман с таким хладнокровием, словно это была обычная записка.

Настала ночь, назначенная в письме Бруно; место, которое он указал, находилось на южном склоне Этны, возле одного из многочисленных потухших вулканов, обязанных своей однодневной вспышкой вечно горяще-

¹ Так называли военных, последовавших за кардиналом Руффо, чтобы завоевать Неаполь. (Прим. автора.)

му пламени, которое, вырвавшись из земных недр, уничтожает целые города. Вулкан именовался Монте-Бальдо; в самом деле, каждая из этих грозных вершин получала особое название при своем возникновении из земли. В десяти минутах пути от его подножия стояло огромное одинокое дерево, прозванное Каштаном ста коней, так как возле его ствола, имеющего в окружности сто семьдесят восемь футов, и под сенью его листвы, подобной целому лесу, могли найти приют сто всадников вместе с конями. Под корневищем этого дерева Паскаль и велел спрятать затребованные им деньги. Он вышел часов в одиннадцать из Сенторби и около полуночи заметил при свете луны гигантское дерево и сарайчик, устроенный между его стволами для хранения богатого урожая собираемых с него каштанов. Чем ближе подходил он, тем яснее рисовалась чья-то тень, казалось, какой-то человек стоит, прислонясь к одному из пяти стволов каштана. Вскоре эта тень приобрела более четкие очертания; бандит остановился и, заряжая карабин, крикнул:

— Кто здесь?

— Человек, черт возьми! — ответил чей-то громкий голос. — Неужто ты полагаал, что деньги придут без посторонней помощи?

— Нет, конечно, — продолжал Бруно, — но я никогда бы не подумал, что посланец отважится подождать меня.

— Просто ты недооценил князя Геркулеса де Бутера. Все дело в этом.

— Так это вы, монсеньер? — спросил Бруно, вскидывая карабин на плечо и со шляпой в руке подходя к князю.

— Я самый, бездельник! Я подумал, что и бандит может нуждаться в деньгах, как и все прочие смертные, и не пожелал отказать в помощи даже бандиту. Но мне взбрело в голову лично привезти ему деньги, чтобы он не подумал, будто я из страха оказываю ему эту услугу.

— Ваша светлость достойны своей громкой славой, — сказал Бруно.

— А ты своей славой достоин? — спросил князь.

— Все зависит от того, что вы слышали обо мне, монсеньер, ведь про меня говорят разное.

— Вижу,— продолжал князь,— что сообразительности и отваги тебе не занимать стать: люблю храбрецов, где бы они ни встречались. Послушай, хочешь сменить свой калабрийский костюм на мундир капитана и повоевать с французами? Обещаю набрать для тебя солдат в моих владениях и купить тебе офицерский чин.

— Спасибо, монсеньер, спасибо, такое предложение мог сделать только настоящий вельможа, но меня удерживает в Сицилии дело кровной мести. А там посмотрим.

— Хорошо,— сказал князь,— ты свободен. Но, верь мне, тебе следовало бы согласиться.

— Не могу, ваша светлость.

— В таком случае вот кошелек, который ты у меня просил. Убирайся ко всем чертям вместе с ним и постарайся, чтобы тебя не повесили против двери моего дома¹.

Бруно взвесил на руке кошелек.

— Кошелек что-то очень тяжел, монсеньер.

— Конечно. Мне не хотелось, чтобы наглец вроде тебя похвалялся, будто он назначил предел щедротам князя де Бутера, и вместо двухсот унций, о которых ты просил, я положил в него триста.

— Какую бы сумму вы ни соблаговолили принести, монсеньер, деньги будут вам возвращены сполна.

— Деньги я дарю, а не ссужаю,— проговорил князь.

— А я беру их взаймы или краду, милостыни мне не надо,— ответил Бруно.— Возьмите обратно свой кошелек, монсеньер. Лучше я обращусь к князю де Ветимилле или к князю де Каттолика.

— Будь по-твоему,— сказал князь.— В жизни не видел более привередливого бандита. Бездельник вроде тебя может с ума меня свести, а посему я удаляюсь. Прощай!

— Прощайте, монсеньер, и да хранит вас святая Розалия!

Князь удалился, положив руки в карманы замшевой куртки и насвистывая свой любимый мотив. Бруно

¹ В Палермо смертная казнь приводится в исполнение на площади Морского министерства, против дворца князя де Бутера. (Прим. автора.)

неподвижно смотрел ему вслед, и только когда князь скрылся из виду, он, в свою очередь, спустился с горы, тяжело вздохнув.

На следующий день хозяин сожженного постоянного двора получил из рук Али триста унций князя де Бутера.

VI

Вскоре после описанной нами сцены Бруно узнал, что повозка с ценным грузом должна выехать из Мессины в Палермо под охраной четырех жандармов во главе с бригадиром. Это был выкуп князя де Монкала-Патерно, но благодаря хитрости, делавшей честь финансовому гению Фердинанда IV, выкуп должен был увеличить неаполитанский бюджет, а не обогатить казну неверных. Вот, впрочем, эта история в том виде, в каком я ее услышал на месте; поскольку она столь же занятна, сколь и достоверна, будет уместно рассказать ее читателям; к тому же она даст им представление о том, с каким простодушием взимаются подчас налоги в Сицилии.

Мы уже говорили в начале этого повествования, что князь де Монкада-Патерно был взят в плен берберскими корсарами возле деревни Фугалло на обратном пути из Пантеллерии. Князя отвезли вместе со свитой в Алжир, где он согласился уплатить за себя самого и за своих людей пятьсот тысяч пиастров (2 500 000 французских франков); половина этого выкупа подлежала оплате до его отъезда, а половина после того, как он вернется в Сицилию.

Князь написал своему управляющему, чтобы уведомить его о случившемся и потребовать скорейшей высылки двухсот пятидесяти тысяч пиастров — цены его свободы. Так как князь де Монкада-Патерно был одним из богатейших вельмож Сицилии, нужные деньги были без труда найдены и срочно посланы в Африку; как истый последователь пророка дей выполнил свое обещание и тут же отпустил князя в обмен на обещание выслать ему в течение года оставшиеся двести пятьдесят тысяч. Князь вернулся в Сицилию; он как раз собирал деньги для последнего взноса, когда в дело вмешался Фердинанд IV, не желавший, чтобы во время войны с Францией его подданные обогащали врагов Сицилии,

и приказал внести означенные двести пятьдесят тысяч пиастров в мессинскую казну. Князь де Патерно был одновременно человеком чести и законопослушным подданным: он подчинился приказу своего короля и послушался голоса совести; таким образом, выкуп обошелся ему в семьсот пятьдесят тысяч пиастров, две трети которых были посланы корсару-мусульманину, а треть передана в Мессине в собственные руки князя де Карини, доверенного лица пирата-христианина.

Эту сумму вице-король и решил послать в Палермо, резиденцию правительства, под охраной четырех жандармов и одного бригадира; последнему было поручено, кроме того, передать от князя де Карини письмо его возлюбленной Джемме с просьбой прибыть в Мессину, где его удерживали дела государственной важности.

Вечером того дня, когда повозка с ценным грузом должна была проехать неподалеку от Баузо, Бруно отвязал своих четырех корсиканских псов, вышел с ними из деревни, где он был признанным хозяином и повелителем, и засел у дороги между Дивьето и Спадафорой; он ждал там уже около часа, когда послышался стук колес и топот всадников. Он проверил, в порядке ли карабин, убедился, что стилет не застрекает в ножнах, свистнул собак, которые тут же прибежали и легли у его ног, и встал посреди дороги. Через несколько минут из-за поворота выехала повозка под охраной жандармов; когда до человека, ожидавшего ее, оставалось шагов пятьдесят, жандармы заметили его и крикнули:

— Кто идет?

— Паскаль Бруно, — ответил бандит.

По особому свистку своего хозяина превосходно выдрессированные псы поняли, что от них требуется, и бросились навстречу маленькому отряду.

При имени Паскаля Бруно четыре жандарма убежали; собаки, естественно, погнались за ними. Бригадир, оставшись один, выхватил из ножен саблю и направил коня прямо на бандита.

Паскаль приложил карабин к плечу и стал целиться так медленно и хладнокровно, будто стрелял по мишени, ибо он решил выпустить свой заряд лишь тогда, когда всадник окажется от него шагах в десяти, но не успел он спустить курок, как лошадь с седоком рухнули на землю.

Оказалось, что Али незаметно последовал за Бруно и, увидев, что бригадир собирается напасть на него, по-змеиному подполз к лошади врага и перерезал ятаганом ее коленные сухожилия; всадник не успел опомниться, так быстро и неожиданно упал его конь, он ударился головой о землю и лишился чувств.

Убедившись, что опасность миновала, Паскаль подошел к бригадиру. Он перенес его с помощью Али в повозку, которую тот за минуту перед этим пытался защищать, и, передав вожжи юному арабу, велел ему доставить в свою резиденцию бригадира и повозку. Сам же он направился к раненой лошади, отстегиул карабин, прикрепленный к седлу, вынул из седельных сумок свернутые трубочкой бумаги, свистнул собак, которые прибежали с окровавленными мордами, и отправился вслед за своей богатой добычей.

Войдя во двор маленькой крепости, он запер за собою дверь, взвалил на плечи бесчувственное тело бригадира, внес его в комнату и положил на матрас, на котором любил отдыхать, не раздеваясь; затем, то ли по рассеянности, то ли по неосторожности, он поставил в угол карабин бригадира и вышел из комнаты.

Пять минут спустя бригадир очнулся, осмотрелся, ничего не понял и, думая, что это сон, ощупал себя. Тут он почувствовал боль в голове, поднес руку ко лбу и, заметив на ней кровь, догадался, что ранен.

Рана помогла ему собраться с мыслями; он вспомнил, что был арестован одним-единственным человеком, подло брошен подчиненными и что в ту самую минуту, когда он хотел расправиться с разбойником, лошадь под ним упала как подкошенная. После этого он уже ничего не помнил.

Бригадир был славный малый; он почувствовал всю тяжесть лежащей на нем ответственности, и сердце его жалось от стыда и гнева. Внимательно оглядев комнату, он попытался уяснить себе, где находится, но все окружающее было ему незнакомо. Он встал, подошел к окну и увидел, что оно выходит в поле. Тогда перед ним блеснул луч надежды: он решил вылезти из окна, сбегать за подмогой и расквиваться с бандитом. Он уже отворил окно, чтобы выполнить свое намерение, но, осмотрев в последний раз комнату, заметил карабин, стоявший неподалеку от изголовья покинутого им ложа;

при виде оружия он почувствовал, что сердце бешено заколотилось у него в груди, ибо мысль о побеге сменилась другой властной мыслью. Он посмотрел, не подглядывает ли за ним кто-нибудь, и, убедившись, что никто его не видит и не может увидеть, поспешно схватил карабин, средство спасения, правда, рискованное, но позволявшее ему немедленно отомстить бандиту; он открыл затвор, убедился, что порох насыпан, проверил шомполом, заряжен ли карабин, поставил его на прежнее место и снова лег, притворившись, будто еще не приходил в себя. Едва он проделал все это, как вернулся Бруно.

Он держал в руке горящую еловую ветку, которую бросил в очаг, где тут же запылали сложенные там дрова, затем открыл стенной шкаф, достал две тарелки, два стакана, две фляги вина и жареную баранью ножку, поставил все это на стол и, видимо, решил подождать, пока бригадир очнется, чтобы пригласить его на эту импровизированную трапезу.

Мы уже говорили о помещении, где происходит описываемая нами сцена: это была скорее длинная, чем широкая комната, с одним окном, с одной дверью и камином между ними. Бригадир, который служит теперь жандармским капитаном в Мессине,— он-то и передал нам все эти подробности,— лежал неподалеку от окна; Бруно стоял перед камином, обратив невидящий взгляд на дверь, и, казалось, глубоко ушел в свою думу.

Настала минута, которую ждал бригадир, решительная минута, когда предстояло все поставить на карту, рискнуть головой, жизнью. Бригадир приподнялся, оперся на левую руку и медленно протянул правую к карабину; не спуская глаз с Бруно, он взял оружие между спусковой скобой и прикладом, после чего застыл на мгновение, не решаясь пошевелиться, испуганный ударами собственного сердца, которые бандит вполне мог услышать, если бы он не витал в мыслях где-то очень далеко; наконец, сообразив, что он, так сказать, сам готов себя выдать, бригадир постарался успокоиться, приподнялся, бросил последний взгляд на окно — единственный путь к отступлению, — приставил карабин к плечу, тщательно прицелился, сознавая, что жизнь его зависит от этого выстрела, и спустил курок.

Бруно спокойно нагнулся, поднял что-то у своих ног, разглядел этот предмет на свету и повернулся лицом к бригадиру, потерявшему дар речи от изумления.

— Приятель,— сказал он ему,— когда вы вздумаете стрелять в меня, берите серебряные пули. Видите ли, все другие непременно сплющатся, как сплющилась вот эта. Впрочем, я рад, что вы очнулись. Я проголодался, и сейчас мы с вами поужинаем.

Бригадир застыл на месте, волосы стояли дыбом у него на голове, лоб был в поту. В ту же минуту дверь открылась, и Али ворвался в комнату с ятаганом в руке.

— Все в порядке, мальчик, все в порядке,— сказал ему Бруно по-франкски,— бригадир разрядил свой карабин, только и всего. Ступай спать и не тревожься за меня.

Али вышел, ничего не ответив, и растянулся перед входной дверью на шкуре пантеры, которая служила ему постелью.

— Что же вы? Не слышали, что я вам сказал? — продолжал Бруно, обращаясь к бригадиру и наливая вино в оба стакана.

— Разумеется, слышал,— проговорил бригадир, вставая,— и раз я не сумел вас убить, я выпью с вами, будь вы самим чертом.

С этими словами он решительно подошел к столу, взял стакан, чокнулся с Бруно и залпом выпил вино.

— Как вас зовут? — спросил Бруно.

— Паоло Томмази, жандармский бригадир, к вашим услугам.

— Так вот что, Паоло Томмази,— продолжал Паскаль, кладя руку ему на плечо,— вы храбрый малый, и я хочу кое-что обещать вам.

— Что именно?

— Дать заработать вам одному три тысячи дукатов, обещанных за мою голову.

— Мысль недурна.

— Да, но ее надо зрело обдумать,— ответил Бруно.— А пока что — ведь жить мне еще не надоело — давайте-ка сядем к столу и поужинаем. О серьезных делах поговорим после.

— Можно мне перекреститься перед ужином? — спросил Томмази.

— Разумеется,— ответил Бруно.

— Дело в том... я боюсь, как бы крестное знамение вас не обеспокоило. Всякое бывает.

— Что вы? Нисколько.

Бригадир перекрестился, сел за стол и приступил к бараньей ножке, как человек, совесть которого вполне чиста, ибо, несмотря на сложную обстановку, он сделал все, что может сделать честный солдат. Бруно не отставал от него, и, видя, как эти два человека едят за одним столом, пьют из одной бутылки, опустошают одно и то же блюдо, никто не поверил бы, что на протяжении какого-нибудь часа они сделали все возможное, чтобы убить один другого.

Наступило недолгое молчание, вызванное отчасти важным занятием, которому предавались сотрапезники, отчасти думам, не дававшими им покоя. Паоло Томмази первый нарушил его, чтобы выразить мучившую его мысль.

— Прямитель,— сказал он,— кормите вы на славу, что правда, то правда; вино у вас отменное, с этим нельзя не согласиться; угощаете вы как хлебосольный хозяин, все это так. Но, признаться, я нашел бы угощение куда лучше, если бы знал, когда выберусь отсюда.

— Думается мне, что завтра утром.

— Разве я не ваш пленник?

— Пленник? На кой черт вы мне нужны?

— Гм... — пробормотал бригадир,— видно, дела мои не так уж плохи. Но,— продолжал он с явным замешательством,— это еще не все.

— Вас еще что-нибудь тревожит?

— Видите ли... — сказал бригадир, разглядывая лампу сквозь стекло своего стакана,— видите ли... это довольно щекотливый вопрос.

— Говорите, я слушаю.

— Вы не рассердитесь?

— Мне кажется, вы имели возможность узнать мой характер.

— Правда, вы не обидчивы, я в этом убедился. Итак, я хочу сказать, что на дороге есть, вернее, был... что я не один был на дороге...

— Конечно, с вами были четверо жаидармов.

— Да не о них толк. Я говорю о... некоем фургоне. Вот в чем загвоздка.

— Он во дворе,— ответил Бруно, в свою очередь разглядывая лампу сквозь стекло своего стакана.

— Догадываюсь, что он именно там,— сказал бригадир,— но, видите ли, я не могу покинуть вас один, без этого фургона.

— А посему вы уедете вместе с ним.

— И он окажется в целости и сохранности?

— Как вам сказать? — проговорил Бруно.— Недостача будет невелика по сравнению с общей суммой. Я возьму лишь то, что мне крайне необходимо.

— Вы очень стеснены в деньгах?

— Мне нужны три тысячи унций.

— Что ж, это разумно,— сказал бригадир,— и очень многие были бы менее щепетильны, чем вы.

— И можете не сомневаться, я дам вам расписку.

— Да, по поводу расписки,— воскликнул бригадир, вставая.— У меня в седельных сумках были бумаги.

— Не беспокойтесь,— заметил Бруно,— вот они.

— О, спасибо, вы оказали мне огромную услугу.

— Да, понимаю,— молвил Бруно,— я успел убедиться в их важности. Первая бумага — ваш диплом бригадира: я засвидетельствовал на нем, что вы доблестно вели себя и вас следовало бы произвести в унтер-офицеры. Вторая бумага содержит описание моей особы. Я позволил себе внести туда кое-какие исправления, так, например, в разделе особых пример прибавил слово *incantato*¹. Наконец, третья бумага — письмо его светлости к графине Джемме де Кастель-Нуово, а я так признателен этой даме, отдавшей в мое распоряжение этот дворец, что не хочу мешать ее любовной переписке. Итак, вот ваши бумаги, любезный. Выпьем последний глоток за ваше здоровье и пожелаем друг другу спокойной ночи. Завтра, в пять утра, вы отправитесь в дорогу. Поверьте мне, путешествовать днем безопаснее, чем ночью. Со мной вам посчастливилось, но вы можете попасть и в другие руки.

— Пожалуй, вы правы,— сказал Томмази, пряча бумаги.— И сдается мне, что вы гораздо честнее многих честных людей из моих знакомых.

— Очень рад, что у вас составилось столь лестное мнение обо мне,— это поможет вам спокойно уснуть.

¹ Заговорен (итал.).

Кстати, хочу вас предупредить: не спускайтесь во двор, иначе мои псы растерзают вас.

— Благодарю за совет,— ответил бригадир.

— Спокойной ночи,— сказал Бруно.

Он вышел из комнаты, предоставив бригадиру либо продолжать трапезу, либо лечь спать.

Ровно в пять часов утра, как и было условлено, Бруно вошел в комнату своего гостя; тот уже встал и был готов к отъезду; хозяин дома спустился вместе с ним по лестнице и проводил его до ворот. Бригадир увидел там запряженную повозку и превосходную верховую лошадь в сбруе, перенесенной с коня, которого искалечил Али. Бруно попросил своего друга Томмази принять от него на память этот подарок. Бригадир не заставил себя просить; он вскочил на коня, стегнул лошадей, впряженных в повозку, и уехал, явно восхищенный своим новым знакомым.

Бруно смотрел ему вслед: когда бригадир отъехал шагов на двадцать, он крикнул ему вдогонку:

— Главное, не забудьте передать прекрасной графине Джемме письмо князя де Карини.

Томмази утвердительно кивнул и скрылся за поворотом дороги.

Теперь, если читатели спросят нас, почему Паскаль Бруно не был убит выстрелом из карабина Паоло Томмази, мы ответим им словами синьора Чезаре Алетто, нотариуса из Кальварузо:

— Вероятнее всего, что, подъезжая к своей резиденции, бандит из предосторожности разрядил карабин.

Что же касается Паоло Томмази, он всегда считал, что дело тут не обошлось без колдовства.

Мы передаем оба эти мнения на суд читателей и предоставляем им полную возможность выбрать то из них, которое придется им по вкусу.

VII

Легко понять, что слухи об этих подвигах распространились за пределами области, подлежащей юрисдикции судебных властей Баузо. По всей Сицилии только и разговору было что об отважном разбойнике, который захватил крепость Кастель-Нуово и, как орел,

спускается оттуда в долину, чтобы нападать на знатных и богатых и защищать обездоленных. Поэтому нет ничего удивительного в том, что имя нашего героя упоминалось у князя де Бутера, который давал костюмированный бал в своем дворце на площади Морского министерства.

Зная нрав князя, легко понять, сколь великолепны бывали такие празднества, но на этот раз вечер превзошел все, о чем можно только мечтать,— это была поистине воплощенная арабская сказка. Недаром воспоминание о нем поныне живо в Палермо, хотя Палермо и слывет городом чудес.

Представьте себе роскошные залы, стены которых снизу доверху увешаны зеркалами; из одних зал выходишь в обширные зеленые беседки с паркетным настилом, с потолка которых свисают грозди превосходного, сиракузского или липарского винограда, из других — на площадки, обсаженные апельсиновыми и гранатовыми деревьями, в цвету или покрытых плодами. И беседки и площадки предназначены для танцев: первые для английской жиги, вторые для французских контрдансов. Вальс же танцуют вокруг двух обширных мраморных бассейнов, в каждом из которых бьет по восхитительному фонтану. От всех танцевальных площадок расходятся посыпанные золотым порошком дорожки. Они ведут к небольшому возвышению, окруженному серебряными резервуарами со всевозможными напитками, и гости пьют их под сенью деревьев, усыпанных вместо настоящих плодов засахаренными фруктами. На вершине этого возвышения стоит крестообразный стол с тончайшими яствами, которые то и дело возобновляются посредством хитрого механизма. Музыканты невидимы, лишь звуки инструментов долетают до приглашенных; кажется, будто слух их услаждают гении воздуха.

Дабы оживить эту волшебную декорацию, пусть читатель вообразит на ее фоне очаровательнейших женщин и изысканнейших кавалеров Палермо, в костюмах один другого великолепнее и причудливее, с маской на лице или в руке, которые вдыхают ароматный воздух, опьяняются музыкой невидимого оркестра, грезят или беседуют о любви, и все же он будет далек от той картины, которая еще сохранилась в памяти стариков,

когда я посетил Палермо, то есть по прошествии тридцати двух лет после этого вечера.

Среди групп приглашенных, расхаживавших по аллеям и гостиным, особое внимание возбуждала прекрасная Джемма в сопровождении свиты, которую она увлекала за собою, подобно тому как небесное светило увлекает своих сателлитов; графиня только что прибыла в обществе пяти человек, одетых, как и она, в костюмы молодых женщин и вельмож, которые поют и веселятся на великолепной фреске живописца Орканья в пизанской Кампо-Санто в то время, как смерть стучится к ним в двери. Это одеяние XIII века, одновременно наивное и изящное, казалось, было создано, чтобы подчеркнуть пленительную соразмерность фигуры графини, шествовавшей среди восторженного шепота под руку с самим князем де Бутера в костюме мандарина. Он встретил графиню у парадного подъезда и теперь собирался представить ее, как он говорил, дочери китайского императора. Высказывая разные догадки насчет этой новой затеи амфитриона, гости спешили вслед за ним, и процессия росла с каждым шагом. Князь остановился у входа в пагоду, охраняемую двумя китайскими солдатами, которые тут же открыли двери одного из покоев, обставленных в экзотическом вкусе, где сидела на эстраде княгиня де Бутера в китайском костюме, стоившем тридцать тысяч франков; едва увидев графиню, она поднялась к ней навстречу, окруженная офицерами, мандаринами и обезьянами — персонажами один другого блистательнее, отвратительнее или забавнее. В этом зрелище было так много восточного, феерического, что гости, хотя и привыкшие к роскоши, к блеску, вскрикнули от удивления. Они окружили принцессу, трогали ее платье, украшенное драгоценными камнями, раскачивали золотые колокольчики на ее остроконечной шапке и, на минуту позабыв о прекрасной Джемме, занялись исключительно хозяйкой дома. Все хвалили ее костюм, восхищались ею, и среди этого хора похвал и восторгов выделялся своим рвением капитан Альтавилла в парадном мундире, который он, видимо, надел в качестве маскарадного костюма; заметим, что князь де Бутера продолжал кормить его обедами, к вящему отчаянию своего честного мажордома.

— А что вы скажете о дочери китайского императора, графиня? — спросил князь де Бутера графиню де Капель-Нуово.

— Я скажу,— ответила Джемма,— что, к счастью для его величества Фердинанда Четвертого, князь де Карини находится в Мессине. Зная его характер, я полагаю, что за один взгляд принцессы он мог бы отдать Сицилию ее отцу, что заставило бы нас прибегнуть к новой «Сицилийской вечерне».

В эту минуту к принцессе подошел князь де Монкада-Патерно в костюме калабрийского разбойника.

— Разрешите мне в качестве знатока, ваше императорское высочество, рассмотреть поближе ваш великолепный костюм.

— Богоподобная дочь солнца,— проговорил капитан Альтавилла, обращаясь к принцессе,— берегите свои золотые колокольчики, предупреждаю, вы имеете дело с Паскалем Бруно.

— Пожалуй, принцесса была бы в большей безопасности возле Паскаля Бруно,— сказал чей-то голос,— чем возле некоего известного мне *сантафедде*. Паскаль Бруно убийца, но не вор, бандит, но не карманник.

— Неплохо сказано,— заметил князь де Бутера. Капитан прикусил язык.

— Кстати,— сказал князь де Каттолика,— вы слышали о его дерзкой выходке?

— Кого?

— Паскаля Бруно.

— Нет, а что он сделал?

— Захватил фургон с деньгами, который князь де Карини отправил в Палермо.

— Мой выкуп! — воскликнул князь де Патерно.

— Вы правы, ваша светлость! Вам не повезло.

— Не тревожьтесь, ваша светлость,— сказал тот же голос, который уже ответил Альтавилла,— Паскаль Бруно взял всего-навсего триста унций.

— Откуда вам это известно, господин албанец? — спросил князь де Каттолика, стоявший рядом с говорившим, красным молодым мужчиной двадцати шести — двадцати восьми лет в костюме жителя Вины¹.

¹ Албанская колония. Хотя жители ее и покинули землю предков при взятии Константинополя Магометом II, они до сих пор носят свой национальный костюм. (Прим. автора.)

— Слухом земля полнится,— небрежно ответил албанец, играя своим ятаганом.— Впрочем, если ваша светлость желает получить более точные сведения, пусть обратится вот к этому человеку.

Тот, на кого указал албанец, возбудив всеобщее любопытство, был не кем иным, как нашим старым знакомцем Паоло Томмази; верный своему слову, он по приезде в Палермо отправился к графине де Кастель-Нуово и, узнав, что она на балу, воспользовался своим званием посланца князя де Карини, чтобы проникнуть в сады князя де Бутера; в мгновение ока он очутился в центре толпы гостей, которые забросали его вопросами. Но Паоло Томмази, как мы уже знаем, был молодец хоть куда, и его не легко было смутить. Итак, он прежде всего передал графине письмо от вице-короля.

— Князь,— обратилась Джемма к хозяину дома, пробежав это посланье,— вы и не подозревали, что даете прощальный вечер в мою честь. Вице-король приказывает мне прибыть в Мессину, и как верная подданная я отправлюсь в путь не позже завтрашнего дня. Спасибо, мнлейший,— продолжала она, вручая свой кошелек Паоло Томмази,— можете идти.

Томмази попытался воспользоваться полученным разрешением, но гости окружили его таким плотным кольцом, что об отступлении нечего было и думать. Пришлось сдаться на их просьбы, ибо условием его освобождения был подробный рассказ о встрече с Паскалем Бруно.

И надо отдать ему справедливость, Томмази рассказал о нем с чистосердечием и простотой истинно мужественного человека; он поведал без всяких прикрас своим слушателям о том, как был взят в плен и отведен в крепость Кастель-Нуово, как он безуспешно стрелял в бандита и как тот наконец отпустил его, подарив великолепного коня взамен того, которого он потерял. Все выслушали эту невымышленную историю в полном молчании, говорившем о внимании и о доверии к рассказчику, за исключением капитана Альтавилла, который поставил под сомнение правдивость честного бригадира; но, к счастью для Паоло Томмази, сам князь де Бутера пришел ему на помощь.

— Готов побиться об заклад,— сказал он,— что в этом рассказе нет ни слова лжи, ибо все приведенные

подробности соответствуют, по-моему, характеру Паскаля Бруно.

— А разве вы его знаете? — спросил князь де Монкада-Патерно.

— Я провел с ним целую ночь, — ответил князь де Бутера.

— Но где же?

— На ваших землях.

Тут настал черед князя де Бутера; он рассказал о том, как встретился с Паскалем под Каштаном ста коней, как он, князь де Бутера, предложил Паскалю служить в его войсках и как тот отказался, рассказал и о том, что дал ему займы триста унций. При этих словах Альтавилла не мог удержаться от смеха.

— И вы полагаете, монсеньер, что он вернет вам долг? — спросил он.

— Уверен в этом, — ответил князь.

— Раз уж мы коснулись этой темы, — вмешалась в разговор княгиня де Бутера, — признайтесь, господа, нет ли среди вас еще кого-нибудь, кто видел Паскаля Бруно, разговаривал с ним? Обожаю истории про разбойников: слушая их, я положительно умираю от страха.

— Его видела также графиня Джемма де Капель-Нуово, — заметил албанец.

Джемма вздрогнула; все гости вопросительно посмотрели на нее.

— Неужели это правда? — спросил князь.

— Да, — ответила Джемма дрожащим голосом, — но я позабыла об этом.

— Зато он ничего не забыл, — прошептал молодой человек.

Гости окружили графиню, которая напрасно попыталась избежать расспросов; пришлось и ей рассказать о сцене, с которой мы начали эту повесть, описать, как Бруно проник в ее спальню, как князь стрелял в него и как Паскаль явился в замок в день свадьбы Терезы и убил из мести ее мужа; эта история была страшнее всех остальных и глубоко взволновала слушателей. Холодом повеяло на собравшихся, и не будь всех этих нарядов и драгоценностей, трудно было бы поверить, что присутствуешь на празднестве.

— Клянусь честью,— воскликнул капитан Альтавилла, который первым нарушил молчание,— бандит совершил только что величайшее свое преступление — испортил праздник нашего хозяина. Я готов простить ему другие злодеяния, но этого простить не могу. Клянусь своими погонами, что отомщу ему. С этой минуты я буду без усталы преследовать его.

— Вы это серьезно, капитан Альтавилла? — спросил албанец.

— Да, клянусь честью! И заявляю перед всем обществом, что ничего так не желаю, как встретиться лицом к лицу с этим бандитом.

— Что ж, это вполне возможно,— холодно проговорил албанец.

— И тому, кто сведет меня с ним,— продолжал Альтавилла,— я обещаю дать...

— Бесплезно назначать награду, капитан, я знаю человека, который согласится безвозмездно оказать вам эту услугу.

— А где же я встречусь с этим человеком? — спросил Альтавилла, пытаясь насмешливо улыбнуться.

— Сблаговолите следовать за мной, и я обязуюсь свести вас с ним.

С этими словами албанец направился к выходу, как бы приглашая капитана следовать за ним.

Капитан помедлил немного, но он зашел слишком далеко, чтобы отступать; взгляды всех гостей были прикованы к нему; он понял, что малейшая слабость погубит его в глазах общества; к тому же он принял это предложение за шутку.

— Что ж! — воскликнул он.— Чего не сделаешь ради прекрасных дам!

И последовал за албанцем.

— Знаете ли вы, кто этот молодой синьор, переодетый албанцем? — спросила дрожащим голосом графиня у князя де Бутера.

— Понятия не имею,— отозвался князь.— Кто-нибудь знает его?

Гости переглянулись, но никто не ответил.

— С вашего позволения,— сказал Паоло Томмази, поднося руку к козырьку,— я знаю, кто это.

— Кто же он, отважный бригадир?

— Паскаль Бруно, монсеньер!

Графиня вскрикнула и лишилась чувств. Этот инцидент положил конец празднеству.

Час спустя князь де Бутера сидел в своем кабинете за письменным столом и приводил в порядок какие-то бумаги, когда к нему вошел торжествующий мажордом.

— В чем дело, Джакомо? — спросил князь.

— Я же говорил вам, монсеньер...

— Что именно?

— Вы только поощряете его своей добротой.

— Кого это?

— Капитана Альтавилла.

— А что он сделал?

— Что сделал, монсеньер?.. Ваша светлость, конечно, помнит о моем предупреждении. Я не раз говорил, что он кладет себе в карман серебряный прибор.

— Ну а дальше что?

— Прошу прощения! Но вы ответили, монсеньер, что до тех пор, пока он берет лишь свой прибор, возражать против этого не приходится.

— Помню.

— Так вот сегодня, монсеньер, он взял не только свой прибор, но и приборы своих соседей. Мне недостает целых восьми приборов!

— Тогда дело другое, — сказал князь.

Он взял листок бумаги и написал следующие строки:

«Князь Геркулес де Бутера имеет честь довести до сведения капитана Альтавилла, что, не обедая больше у себя дома, он лишен в силу этого непредвиденного обстоятельства удовольствия видеть его за своим столом, а посему просит господина Альтавилла принять скромный подарок, долженствующий хоть немного возместить тот урон, который это решение наносит его привычкам».

— Вот, возьмите, — продолжал князь, вручая пятьдесят унций¹ мажордому, — вы отнесете завтра и письмо, и деньги капитану Альтавилла.

Джакомо, знавший по опыту, что возражать князю бесполезно, поклонился и вышел; князь спокойно продолжал разбирать бумаги; по прошествии десяти минут он услышал какой-то шорох у двери кабинета,

¹ 630 франков. (Прим. автора.)

поднял голову и увидел человека, похожего на калабрийского крестьянина, который стоял на пороге, держа в одной руке шляпу, а в другой какой-то сверток.

— Кто здесь? — спросил князь.

— Я, монсеньер, — ответил пришедший.

— Кто это «я»?

— Паскаль Бруно.

— Зачем пожаловал?

— Прежде всего, монсеньер, — сказал Паскаль Бруно, подходя к князю и высыпая на его письменный стол содержимое своей шляпы, полной золотых монет, — прежде всего я хочу вернуть вам триста унций, которые вы так любезно дали мне взаймы. Деньги эти пошли на то дело, о котором я вам говорил: сожженный постоялый двор заново отстроен.

— Вижу, ты человек слова. Ей-богу, меня это радует.

Паскаль поклонился.

— Затем, — продолжал он после небольшой паузы, — я хочу вручить вам восемь серебряных приборов с вашими инициалами и гербом. Я нашел их в карманах у некоего капитана. Он, верно, украл их у вас.

— И ты возвращаешь мне покражу?! — воскликнул князь. — Забавно! Ну а что в этом свертке?

— В нем голова презренного человека, который злоупотребил вашим гостеприимством, — сказал Бруно. — Я принес ее вам в доказательство моей вечной преданности.

С этими словами Паскаль Бруно развязал платок и, взяв за волосы окровавленную голову капитана Альтавилла, положил ее на письменный стол князя.

— На кой черт мне такой подарок? Что мне с ним делать? — воскликнул князь.

— Все, что пожелаете, монсеньер, — ответил Паскаль Бруно.

После чего он поклонился и вышел.

Оставшись один, князь де Бутера несколько секунд не спускал глаз с мертвой головы; он сидел, покачиваясь в кресле и насвистывая свой любимый мотив; затем он позвонил, явился мажордом.

— Джакомо, — сказал князь, — вам не к чему идти завтра утром к капитану Альтавилла. Разорвите мое письмо, возьмите себе пятьдесят унций и отнесите эту пададь на помойку.

VIII

Во времена описываемых нами событий, то есть в начале 1804 года, Сицилия пребывала в полудиком состоянии, из которого ее вывели, да и то не окончательно, король Фердинанд и оккупация англичан; шоссе, что соединяет теперь Палермо с Мессиной, проходя через Таормину и Катанню, еще не было проложено, и единственная, мы не сказали бы хорошая, но сносная дорога между этими двумя крупными городами шла по берегу моря через Термини и Чефалу; заброшенная ради своей молодой соперницы, эта старая дорога привлекает ныне лишь художников, которые едут по ней в поисках изобилующих там прекрасных видов. Как теперь, так и прежде путешествовать по этой дороге, где нет и в помине почтовых станций, можно лишь тремя способами: верхом на муле, в паланкине с парой лошадей и в собственной карете, предварительно выслав вперед перекладных, которые ожидают путника через каждые пятнадцать миль. Таким образом, перед отъездом в Мессину, куда ее вызвал князь де Карини, графине Джемме де Кастель-Нуово предстояло выбрать один из этих способов. Ехать верхом на муле было чересчур утомительно; ехать в паланкине, помимо всевозможных неудобств, главное из которых медлительность, грозило другой неприятностью, а именно: вызывало морскую болезнь. Итак, графиня выбрала, не колеблясь, карету и заранее выслала перекладных в те четыре пункта, где она намеревалась остановиться, то есть в Термини, в Чефалу, Сант-Агату и Мелаццо.

Помимо этой предосторожности, относящейся исключительно к способу передвижения, специальному курьеру было поручено принять и другие меры, а именно запастись в указанных городах как можно больше съестных припасов. Эту важную меру мы горячо рекомендуем всем, кто путешествует по Сицилии, где на постоянных дворах буквально нечего есть, и обычно не хозяева кормят постояльцев, а, наоборот, постояльцы кормят хозяев. Вот почему и первый и последний совет, который вам дают по прибытии в Мессину и при выезде из этого города — исходной точки большинства поездок по стране, — это запастись провизией, купить кухонные принадлежности и нанять повара; все это обычно

увеличивает вашу свиту на двух мулов и одного человека — по простоте сердечной с вас берут за них одну и ту же цену — и повышает ваши расходы на три дуката в день. Иные опытные англичане покупают еще и третьего мула, которого нагружают палаткой, и мы вынуждены признать, несмотря на нашу любовь к этой великолепной стране, что такая предосторожность хотя и не столь необходима, как все остальные, все же весьма разумна, если принять во внимание плачевное состояние постоянных дворов, где наблюдается отсутствие животных, необходимых для удовлетворения насущных нужд постояльца, и в баснословных количествах имеются те из них, которые причиняют ему мучения. Этих последних такое множество, что я встречал путешественников, заболевших от недостатка сна, а первых так мало, что я видел англичан, которые, исчерпав свои запасы съестного, глубокомысленно обсуждали вопрос, не съесть ли им своего повара, ставшего совершенно бесполезным. Вот до чего была доведена в 1804 году от рождества Христова плодородная и золотистая Сицилия, кормившая во времена Августа Римскую империю благодаря тем излишкам, что оставались от ее двенадцати миллионов жителей.

Не знаю, был ли знатоком истории Сицилии тот путешественник, для которого готовился ужин на постоялом дворе делла Кроче, недавно отстроенном благодаря тремстам унциям князя де Бутера и расположенном между Фикаррой и Патти, на дороге, что ведет из Палермо в Мессину, можно сказать лишь одно: он отличался редкой наблюдательностью и превосходно знал современную ему Сицилию. Деятельность трактирщика и его жены, которые под наблюдением приезжего повара жарнили рыбу, дичь и домашнюю птицу, показывала, что тот, для кого были пущены в ход сковородки, вертела и духовка, не только не желал лишать себя необходимого, но и не был противником излишества. Он прибыл из Мессины, путешествовал в собственной карете и остановился в этой гостинице, потому что местоположение ему понравилось, и сразу же вынул из своего сундука все, что необходимо подлинному сибариту и заядлому туристу, от простынь до столового серебра, от хлеба до вина. Он велел отвести себе лучшую комнату, зажег благовония в серебряной

курильнице и в ожидании ужина лежал на розовом турецком ковре и курил лучший синайский табак в трубке с янтарным чубуком.

Он следил с величайшим вниманием за клубами душистого дыма, который, поднимаясь, сгущался под потолком, когда дверь в комнату отворилась, и на ее пороге остановился трактирщик в сопровождении ливрейного лакея графини де Кастель-Нуово.

— Ваше превосходительство, — проговорил этот достойный человек, кланяясь до самой земли.

— В чем дело? — спросил, не оборачиваясь, путешественник с явным мальтийским акцентом.

— Ваше превосходительство, прибыла графиня Джемма де Кастель-Нуово.

— И что же?

— Ее сиятельству пришлось заехать на мой скромный постоялый двор... Дело в том, что одна из лошадей ее сиятельства захромала и продолжать путь нельзя.

— Дальше что?

— Госпожа графиня не могла предвидеть этой случайности сегодня утром, когда выехала из Сант-Агаты: она собиралась остановиться в Мелаццо, где ее ждут свежие лошади, так что у нее нет с собой ничего съестного.

— Передайте графине, что мой повар и мои припасы к ее услугам.

— Приношу вам глубочайшую благодарность от имени моей госпожи, ваше превосходительство, — сказал слуга. — Ее сиятельству, вероятно, придется провести ночь на этом постоялом дворе, так как за свежими лошадьми надобно посылать в Мелаццо, а у госпожи графини нет с собой ни посуды, ни белья. Поэтому она велела спросить, не будете ли вы, ваше превосходительство, столь любезны...

— Попросите от меня графиню, — прервал его путешественник, — занять эту спальню со всем, что в ней находится. Что до меня, я привык к неудобствам, к лишениям и удовольствуюсь первой попавшейся комнатой. Итак, передайте графине, что это помещение к ее услугам. А наш достойный хозяин постарается отвести мне какую-нибудь комнату получше.

С этими словами путешественник встал и последовал за трактирщиком, а слуга спустился во двор, чтобы выполнить данное ему поручение.

Джемма отнеслась к предложению путешественника, как королева, принимающая дань уважения своего подданного, а не как женщина, которой оказывает услугу незнакомый человек; она так привыкла, что все подвластно ее воле, все покоряется звуку ее голоса, все повинуется взмаху ее руки, что нашла вполне естественной чрезвычайную любезность путешественника. И по правде сказать, она была так прелестна, когда направлялась в предоставленную ей комнату, опираясь на руку своей камеристки, что весь мир мог бы пасть к ее ногам. На графине был дорожный, весьма элегантный костюм, наподобие короткой, облегающей грудь и плечи, амазонки, отделанный спереди шелковыми брандесбурами; вокруг шеи было обернуто для защиты от холодного горного воздуха кунье боа — украшение, еще неизвестное в те годы, но которое с тех пор вошло у нас в моду; боа было куплено князем де Карини у мальтийского торговца, привезшего его из Константинополя; на голове графини красовалась черная бархатная шапочка, похожая на чепчик, из-под которой выбивались великолепные волосы, завитые на английский манер. Как ни ожидала графиня увидеть спальню, надлежащим образом приготовленную, чтобы принять ее, она была поражена роскошью, с помощью которой неизвестный путешественник постарался скрасить бедность помещения; все туалетные принадлежности были серебряные, на столе лежала скатерть из тончайшего полотна, а восточные благовония, горевшие на камине, казалось, были предназначены для сераля.

— Право же, Джидза, я родилась в сорочке,— сказала графиня.— Подумайте только: неловкий слуга плохо подковал моих лошадей, я вынуждена остановиться посреди дороги, а добрый гений, пожалев меня, воздвиг этот сказочный дворец.

— И госпожа графиня не догадывается, кто этот добрый гений?

— Нет, право...

— Мне кажется, что вам синьора, следовало бы догадаться.

— Клянусь вам, Джидза,— проговорила графиня, опускаясь на стул,— я понятия об этом не имею. Скажите, о ком вы подумали?..

— Я подумала... Да простит мне, ваше сиятельство, хотя думать так вполне естественно...

— Говорите же!

— Я подумала, что его светлость, вице-король, зная, что госпожа графиня находится в дороге, не мог дожидаться ее приезда и...

— О, ваша догадка очень похожа на истину. Да, это возможно. В самом деле, кто другой мог бы приготовить с таким вкусом спальню, а затем уступить ее мне? Но я прошу вас молчать. Если это сюрприз, я хочу полностью насладиться им, хочу изведать всю гамму чувств, вызванных неожиданным появлением Родольфо. Итак, давайте договоримся, что он тут ни при чем, что все это дело рук какого-то неизвестного путешественника. Оставьте при себе свои догадки и не нарушайте моих сомнений. К тому же, если бы это был действительно Родольфо, я первая догадалась бы об этом, а вовсе не вы... Как он добр ко мне, мой Родольфо!.. Он предупреждает все мои желания... Как он любит меня!..

— А ужин, так заботливо приготовленный, неужели вы думаете?

— Тсс!.. Я ничего не думаю, ровно ничего; я пользуюсь дарами, ниспосланными мне богом, и благодарю за них только бога. Взгляните на это столовое серебро, какая прелесть! Если бы мне не попался в пути благородный незнакомец, я просто не могла бы есть из простого прибора. А эта серебряная чашка с позолотой, можно подумать, что ее сделал Бенвенуто! Мне хочется пить, Джидза.

Наполнив чашку водой, камеристка влила туда несколько капель липарской мальвазии. Графиня отпила два-три глотка, видимо, для того, чтобы дотронуться до чашки губами, а вовсе не потому, что ей хотелось пить. Она как бы пыталась отгадать путем этого ласкового прикосновения, действительно ли любовник пошел навстречу ее потребности в роскоши, в великолепии, которые превращаются в необходимость, когда человек приучен к ним с детства.

Подали ужин. Графиня кушала так, как кушают изящные женщины, едва прикасаясь к блюдам на манер колибри, пчелы или бабочки; рассеянная, озабоченная, Джемма не отрывала взгляда от двери, и каждый раз, как та отворялась, она вздрагивала, глаза ее увлажня-

лись и ей становилось трудно дышать; затем она постепенно впала в состояние сладкой истомы, причину которой сама не могла понять. Джидза заметила это и встревожилась.

— Вам, нездоровится, ваше сиятельство?

— Нет, — ответила Джемма слабым голосом. — Но не находите ли вы, что от этих благовоний слегка кружится голова?

— Не желает ли синьора, чтобы я отворила окно?

— Ни в коем случае! Правда, мне кажется, что я вот-вот умру, но мне кажется также, что такая смерть очень приятна. Снимите с меня шляпу, она давит на голову, мне тяжело в ней.

Джидза повиновалась, и длинные волосы графини волнистымн прядями упали до самой земли.

— Неужели, Джидза, вы не чувствуете того же, что и я? Что за неведомое блаженство! Словно небесные флюиды струятся по моим жилам, можно подумать, будто я выпила волшебный напиток. Помогите мне встать и добраться до зеркала.

Джидза поддержала графиню и довела ее до камина. Остановившись перед ним, Джемма облокотилась на каминную доску, опустила голову на руки и взглянула на свое отражение.

— А теперь, — проговорила она, — велите унести все это, разденьте меня и оставьте одну.

Камеристка повиновалась; лакеи графини убрали со стола, и когда они вышли, Джидза выполнила вторую часть приказа своей госпожи, которая так и не отошла от зеркала; она лишь томно подняла одну руку, затем другую, дабы горничная могла довести свое дело до конца, что та и сделала, пока госпожа ее пребывала как бы во сне наяву; после чего камеристка вышла, оставив графиню одну.

В состоянии, похожем на сомнамбулизм, графиня машинально приготовилась ко сну, легла в кровать и, облокотясь на изголовье, несколько мгновений не спускала глаз с двери; затем, несмотря на все ее старания побороть сон, веки ее отяжелели, глаза закрылись, она опустилась на подушку и, глубоко вздохнув, прошептала имя Родольфо.

Проснувшись на следующее утро, Джемма вытянула руку, словно ожидала найти кого-то рядом с собой, но

она была одна. Она обвела глазами комнату, затем взгляд ее остановился на столике возле кровати: на нем лежало незапечатанное письмо; она взяла листок и прочла следующие строки:

«Ваше сиятельство, я мог бы отомстить вам как разбойник, но предпочел доставить себе королевское удовольствие, а для того, чтобы, пробудившись, вы не подумали, будто видели сон, я оставил вам доказательство истинности всего случившегося: посмотрите в зеркало.

Паскаль Бруно».

Джемма почувствовала, что дрожь пробежала по ее телу и холодный пот выступил на лбу; она протянула руку к колокольчику, но женский инстинкт подсказал ей, что звать не следует; она собрала все свои силы, соскочила с кровати, подбежала к зеркалу и вскрикнула: голова ее и брови были начисто выбриты.

Она тотчас же закуталась в шаль, поспешила сесть в карету и велела ехать обратно в Палермо.

По приезде она написала князю де Карини, что во искупление ее грехов духовник приказал ей сбрить волосы и брови и поступить на год в монастырь.

IX

Первого мая 1805 года в замке Кастель-Нуово было весело: Паскаль Бруно в прекрасном расположении духа угощал ужином одного из своих друзей по имени Плачидо Мели, честного контрабандиста из деревни Джессо, и двух девок, которых тот привез из Мессины, чтобы с приятностью провести ночь. Это дружеское внимание явно тронуло Бруно, и, не желая оставаться в долгу у столь предупредительного приятеля, он решил задать пир на весь мир; а потому из подвалов маленькой крепости были извлечены лучшие вина Сицилии и Калабрии, первейшие повара Баузо трудились на кухне, и в ход была пущена та своеобразная роскошь, которая нравилась порой герою нашей повести.

Веселье било ключом, хотя сотрапезники лишь приступили к ужину, когда Али принес Плачидо записку от некоего крестьянина из Джессо. Плачидо прочел ее и с досадой скомкал в руках.

— Чтоб ему пусто было! — воскликнул он. — Ну и время же выбрал, подлец!..

— Кто такой, приятель?

— Да капитан Луиджи Кама из Вилла-Сан-Джовани, чтоб его черт побрал!

— Это тот Луиджи, что поставляет нам ром? — переспросил Бруно.

— Он самый, — ответил Плачидо. — Он пишет, что ждет меня на берегу моря, вся кладь с ним и он хочет отделаться от нее, пока таможенники не пронюхали о его приезде.

— Дело прежде всего, приятель, — сказал Бруно. — Я подожду тебя. Компания у нас собралась приятная, и будь покоен, если не слишком задержишься, найдешь на столе вдосталь всякого угощения. Напьешься, наешься, да и после тебя еще останется.

— Работы там на час самое большее, — продолжал Плачидо, видимо соглашаясь с доводами хозяина дома. — А море всего в пятистах шагах отсюда.

— Перед нами же целая ночь, — заметил Паскаль.

— Приятного аппетита, приятель.

— Желаю удачи, друг.

Плачидо вышел; Бруно остался с двумя девицами, и как он и обещал своему гостю, веселье за столом ничуть не пострадало от отсутствия этого последнего; Бруно был любезен с обеими дамами, разговор, жесты становились все оживленнее, когда дверь отворилась, и вошел новый посетитель; Паскаль обернулся и узнал мальтийского коммерсанта, о котором мы уже не раз упоминали, — Бруно был одним из лучших его клиентов.

— А, это вы? Добро пожаловать, особенно если вы принесли сласти, которые так любят в гаремах, литакийский табак и тунисские покрывала. Взгляните, вот две одалиски, которые ждут, чтобы я бросил им платок, и они, конечно же, обрадуются, если он будет с золотой вышивкой. Кстати, ваш опиум сделал чудеса.

— Весьма рад этому, — ответил мальтиец, — но я пришел не для того, чтобы торговать, а по другому делу.

— Ты пришел поужинать? Да? В таком случае садись вот тут, и я еще раз скажу тебе «добро пожаловать». Это место королевское: ты будешь сидеть против бутылки и между двумя дамами.

— Ваше вино превосходно, не сомневаюсь в этом, а дамы очаровательны,— ответил мальтиец,— но я должен сообщить вам нечто очень важное.

— Мне?

— Да, вам.

— Так говори.

— Нет, только с глазу на глаз.

— Секреты отложим на завтра, мой достойный командор.

— Время не терпит.

— В таком случае говори перед всеми: здесь только свои. Да и кроме того, я взял за правило не утруждать себя, когда мне весело, даже если вопрос идет о моей жизни.

— Речь именно об этом.

— Плевать! — воскликнул Бруно, наполняя стаканы,— честного человека бог не оставит в беде. За твое здоровье, командор.

Мальтиец опорожнил налитый ему стакан.

— Превосходно, а теперь садись и начинай свою проповедь, мы слушаем.

Торговец понял, что придется выполнить прихоть хозяина дома, и сел за стол.

— Наконец-то,— сказал Бруно,— ну, выкладывай свои новости.

— Вам, конечно, известно, что арестованы судьи из селений Кальварузо, Спадафора, Баузо, Сапонаро, Дивьето и Ромита?

— Слышал что-то в этом роде,— беззаботно проговорил Паскаль Бруно, выпив стакан марсалы, этой сицилийской мадеры.

— И вам известна причина их ареста?

— Догадываюсь. Очевидно, князь де Карини, раздосадованный решением своей любовницы, уединившейся в монастырь, нашел, что судьи недостаточно расторопны и слишком тянут с арестом некоего Паскаля Бруно, голова которого оценена в три тысячи дукатов, ведь так?

— Да, именно так.

— Как видите, я в курсе событий.

— И все же вы можете кое-чего не знать.

— Един бог велик и всеведущ, как говорит Али. Но продолжай, я готов сознаться в своем невежестве и не прочь услышать что-нибудь интересное.

— Так вот все шесть судей, объединившись, внесли по двадцати пяти унций, иначе говоря, сто пятьдесят унций в общую кассу.

— Или тысячу восемьсот девяносто ливров,— подхватил Бруно с прежней беззаботностью.— Как видите, если я и не веду бухгалтерских записей, то вовсе не потому, что не умею считать... Ну, а дальше что?

— Затем они обратились к двоим или троим вашим приятелям из тех, с кем вы встречаетесь чаще всего, и спросили их, не желают ли они способствовать вашей поимке.

— Пусть спрашивают. Я уверен, что на десять миль кругом не найдется ни одного предателя.

— Ошибаетесь,— сказал мальтиец,— предатель нашелся.

— Вот как?! — воскликнул Бруно, нахмурившись и хватаясь за стилет.— Но как ты узнал об этом?

— Бог мой, самым простым и неожиданным образом. Я был вчера у князя де Карини,— он просил меня доставить турецкие ткани в его мессинский дворец,— когда вошел слуга и что-то сказал ему на ухо. «Хорошо,— громко ответил князь,— пусть войдет». И жестом приказал мне пройти в соседнюю комнату; я повиновался; князь, видимо, не подозревал, что я с вами знаком, и я услышал весь разговор. Речь шла о вас.

— И что же?

— Так вот, пришедший человек и оказался предателем; он обещал, что откроет двери вашей крепости, выдаст вас врагам, пока вы спокойно ужинаете, и сам приведет жандармов в вашу столовую.

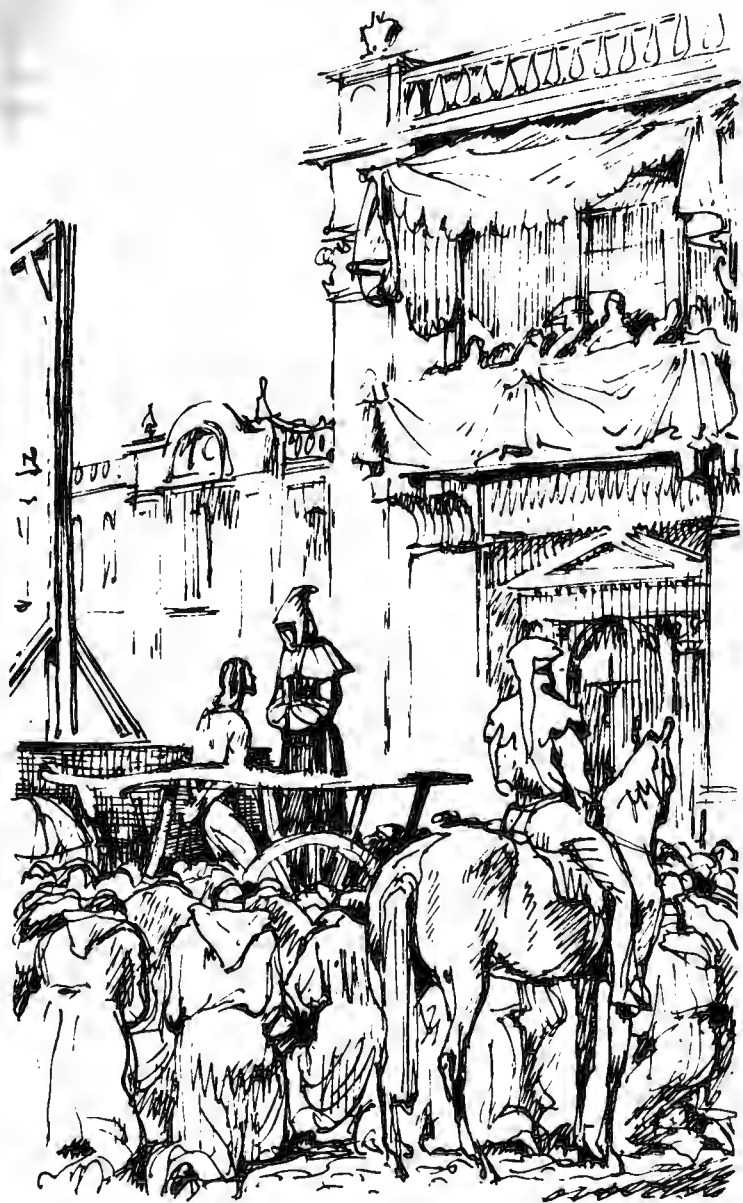
— И тебе известно имя предателя?

— Плачидо Мели,— ответил мальтиец.

— Дьявольщина! — вскричал Паскаль, скрипя зубами.— Он только что был здесь.

— И ушел?

— За минуту перед вашим приходом.



— Значит, он отправился за жандармами и солдатами, ведь если не ошибаюсь, вы как раз ужинаете.

— Сам видишь.

— Все сходится. Если хотите бежать, нельзя терять ни минуты.

— Бежать?! — воскликнул Бруно, смеясь. — Али!.. Али!..

Вошел Али.

— Запри ворота замка, мальчик! Выпусти во двор трех собак, а четвертую, Лионну, приведи сюда... Да приготовь боевые припасы.

Женщины заплакали в голос.

— Замолчите, красавицы! — продолжал Бруно, повелительно подняв руку. — Сейчас не время для песен! Тише, прошу вас!

Женщины умолкли.

— Побудьте с дамами, командор, — сказал Бруно. — А мне надо сделать обход.

Паскаль взял карабин, надел патронную сумку и направился к двери, но прежде, чем выйти, он остановился и прислушался.

— В чем дело? — спросил мальтинец.

— Слышите, как воют собаки. Враги близко, они отстали от вас на какие-нибудь пять минут. Молчать, зверюги! — продолжал Бруно, отворив окно и издав особый свист. — Ладно, ладно, я предупрежден.

Псы тихо заскулили и умолкли; женщины и мальтинец вздрогнули, в страхе ожидая самого худшего. В эту минуту вошел Али с Лионной, любимицей Паскаля; умная собака подбежала к хозяину, встала на задние лапы, положила передние лапы к нему на плечи, взглянула на него и тихонько завывала.

— Да, да, Лионна, — сказал Бруно, — ты замечательная псина.

Он приласкал ее и поцеловал между глаз, словно любовницу. Собака опять завывала, глухо и жалобно.

— Понимаю, Лионна, — продолжал Паскаль, — понимаю, дело не терпит. Идем, моя радость, идем!

И он вышел, оставив мальтийца и обеих женщин в столовой.

Паскаль спустился во двор, где беспокойно сновали собаки, показывая, однако, всем своим видом, что непосредственной опасности еще нет. Тогда он отпер

калитку в сад и начал обследовать его. Вдруг Лионна остановилась, понюхала воздух и подбежала к ограде. Все ее тело напряглось, словно для прыжка, она лязгнула зубами и, глухо ворча, оглянулась на хозяина, тут ли он. Паскаль Бруно стоял позади нее.

Он понял, что в этом направлении, всего в нескольких шагах от них, притаился враг, и, вспомнив, что окно комнаты, где был заперт Паоло Томмази, выходит как раз в эту сторону, быстро поднялся по лестнице вместе с Лионной; с налившимися кровью глазами, раскрыв пасть, собака пробежала по столовой, где обе девицы и мальтиец в ужасе ожидали конца этого приключения, и устремилась в соседнюю неосвещенную комнату, окно которой было отворено. Лионна тут же легла на пол и по-змеиному поползла к окну, затем на расстоянии нескольких футов от него и прежде, нежели Паскаль успел ее удержать, она, как пантера, прыгнула с высоты двадцати футов в оконный проем.

Паскаль очутился у окна одновременно с собакой; он увидел, что она в несколько прыжков достигла уединенной оливы, затем услышал крик. Лионна, видимо, бросилась на человека, прятавшегося за этим деревом.

— На помощь! — крикнул чей-то голос, и Паскаль узнал голос Плачидо. — Ко мне, Паскаль! Ко мне!.. Отзови собаку, не то я распорю ей брюхо.

— Пиль, Лионна... пиль! Возьми его, возьми! Смерть предателю!..

Плачидо понял, что Бруно все известно; тогда он, в свою очередь, испустил вопль, в котором звучали злоба и боль, и между человеком и собакой началась борьба не на жизнь, а на смерть. Бруно смотрел на этот странный поединок, опершись на карабин. В течение десяти минут он видел при неверном свете луны, как боролись, падали, поднимались два столь тесно сплетенных тела, что невозможно было отличить человека от собаки; наконец, после десятиминутной борьбы, один из сражавшихся упал и уже больше не поднялся: это был человек.

Бруно свистнул Лионну, снова, не проронив ни слова, вошел в столовую, спустился по лестнице и отворил калитку своей любимой собаке; но в ту минуту, когда она вбежала в дом, окровавленная, — столько ран было ей нанесено ножом и зубами противника, — на дороге,

поднимающейся к замку, блеснули при свете луны стволы карабинов. Бруно тотчас же забаррикадировал ворота и вернулся к перепуганным гостям. Мальтиец пил вино, девицы молились.

— Ну как? — спросил мальтиец.

— О чем вы, комаидор? — переспросил Бруно.

— Что с Плачидо?

— Его песенка спета, — ответил Бруно, — зато нам на голову свалился целый сонм дьяволов.

— Каких именно?

— Жандармов и солдат из Мессины, если не ошибаюсь.

— Что вы собираетесь делать?

— Перебить как можно больше этих дьяволов.

— А затем?

— Затем... подорвать крепость со всеми остальными и с собой в придачу.

Девицы заплакали и закричали.

— Али, — продолжал Паскаль, — отведи этих дам в подвал и дай им все, что они пожелают, за исключением свечей. Не то они, пожалуй, раньше времени взорвут здание.

Бедные девушки упали на колени.

— Полно, полно, — сказал Бруно, топнув ногой, — прошу слушаться.

Он сказал это таким тоном, что девицы тут же вскочили и без единой жалобы последовали за Али.

— А теперь, командор, — заметил Бруно, когда дамы вышли, — потушите свечи и сядьте в угол, подальше от пуль. Музыканты прибыли, тарантелла начинается.

Х

Несколько минут спустя вернулся Али, неся на плече четыре ружья одинакового калибра и корзину с патронами. Паскаль Бруно распахнул все окна, чтобы достойно встретить врагов, откуда бы они ни появились. Али взял ружье и собрался встать у одного из окон.

— Нет, дитя мое, — проговорил Паскаль с чисто отеческой нежностью, — нет, это мое дело, только мое. Я не хочу связывать тебя со своей судьбой, не хочу

увлекать туда, куда сам иду. Ты молод, ничто еще не помешало тебе следовать по обычному пути. Верь мне, не сходи с тропинки, проторенной людьми.

— Отец,— сказал юноша своим грудным голосом,— почему ты не хочешь, чтобы я защищал тебя, как Лионна. Ты же знаешь, у меня нет никого, кроме тебя, и если ты умрешь, я умру вместе с тобой.

— Нет, Али, нет, если я умру, после меня останется на земле некое тайное и страшное дело, которое я могу поручить только моему сыну. Мой сын должен жить, чтобы сделать то, что ему прикажет отец.

— Хорошо,— сказал Али,— отец повелевает, сын подчиняется.

И, нагнувшись, Али поцеловал руку Паскаля.

— Неужели я ничем не могу тебе помочь, отец? — спросил он.

— Заряжай ружья,— ответил Бруно.

Али приступил к делу.

— А я? — донесся голос из угла, где сидел мальтинец.

— Вас, командор, я берегу для другого: вы будете моим парламентаром.

В эту минуту Паскаль Бруно увидел, как блеснули ружья другого отряда, который спускался с горы к той оливе, под которой лежало тело Плачидо: было ясно, что солдаты направлялись к условленному месту встречи. Люди, шедшие впереди, натолкнулись на труп, и весь отряд окружил покойника, которого невозможно было узнать — так обезобразили его стальные челюсти Лионны. Но поскольку у этой оливы солдат обещал ждать Плачидо, поскольку труп лежал там и ни единой живой души не было видно поблизости, вывод напрашивался сам собой, а именно, что умерший не кто иной, как он. Солдаты поняли, что предательство обнаружено, а следовательно, Бруно начеку. Они остановились, чтобы обсудить, как быть дальше. Паскаль, стоявший в амбразуре окна, следил за каждым их движением. В эту минуту из-за тучки вышла луна, и свет ее упал на Паскаля; кто-то из солдат заметил его и указал своим товарищам; по рядам прокатился крик: «Бандит, бандит!» — и тут же грянул ружейный залп. Несколько пуль попало в стену, другие, прожужжав над головой того, кому они предназначались, засели в потолочных

балках. В ответ Паскаль выстрелил по очереди из четырех ружей, заряженных Али: четверо человек упали.

Отряд, который был набран не из солдат регулярных войск, а из своего рода национальных гвардейцев, поставленных на охрану дорог, дрогнул, видя, с какой быстротой смерть спешит к нему навстречу. Понадеявшись на предательство Плачидо, люди ожидали легкой победы, а вместо этого оказались перед необходимостью начать форменную осаду. В самом деле, стены маленькой крепости были высоки, ее ворота прочны, у солдат же не было ничего, чтобы взять ее приступом, — ни приставных лестниц, ни топоров; конечно, можно было убить Паскаля в тот момент, когда он целился из окна, но для людей, убежденных в неуязвимости противника, успех такого выстрела был более чем сомнителен. Итак, они решили, что следует, не медля, отойти в безопасное место и обсудить положение; но отряд отступил недостаточно быстро, и Паскаль Бруно успел послать ему вдогонку еще две смертоносные пули.

Видя, что нападение с этой стороны на время отложено, Паскаль перешел к противоположному окну, обращенному к деревне; ружейные выстрелы привлекли внимание первого отряда, и едва Паскаль появился в амбразуре окна, как был встречен градом пуль; но та же граничащая с чудом удача уберегла его от них, право, можно было подумать, что он заколдован; зато ни один его выстрел не пропал даром, о чем Паскаль мог судить по донесшимся до него проклятиям.

Тогда с этим отрядом произошло то же, что и с предыдущим: он пришел в смятение; однако вместо того, чтобы обратиться в бегство, солдаты выстроились у стен крепости — маневр, из-за которого Бруно мог стрелять по врагам, лишь высунувшись наполовину из окна. Но так как бандит считал бесполезным подвергать себя столь большой опасности, эта обоюдная осторожность привела к тому, что огонь на время прекратился.

— Ну как, отделались вы от них? — спросил мальтиец. — Можем торжествовать победу?

— Нет еще, — ответил Бруно. — Это всего лишь передышка. Солдаты отправились, верно, в деревню за лестницами и топорами, и мы скоро услышим о них. Но

будьте покойны,— продолжал он,— мы не останемся в долгу: они тоже о нас услышат... Али, принеси-ка бочонок с порохом. За ваше здоровье, командор!

— Что вы собираетесь делать с бочонком? — спросил мальтиец с явным беспокойством.

— Так, пустяки... увидите.

Али вернулся с бочонком в руках.

— Хорошо,— сказал Бруно,— а теперь возьми бурав и просверли в бочонке отверстие.

Али повиновался с той покорностью, которая лучше всяких слов говорила о его преданности. Паскаль разорвал полотенце, надергал из него ниток, густо посыпал их порохом, заложил этот самодельный фитиль в бочонок и замазал отверстие влажным порохом, укрепив таким образом фитиль; едва он закончил эти приготовления, как снизу донесли удары топора: солдаты ломились в ворота крепости.

— Что, разве я был неправ? — спросил Бруно.

Он подкатил бочонок к порогу комнаты, откуда начиналась лестница, спускавшаяся во двор, затем вернулся и взял из очага горящую еловую ветку.

— А,— протянул мальтиец,— начинаю понимать.

— Отец,— сказал Али,— солдаты вернулись, они достали лестницу.

Бруно подбежал к окну, из которого стрелял в первый раз, и увидел, что враги в самом деле несут лестницу, необходимую им для осады, и что, стыдясь своего поспешного отступления, идут на приступ не без лихости.

— Ружья заряжены? — спросил Бруно.

— Да, отец,— ответил Али, подавая ему карабин.

Паскаль взял, не оборачиваясь, ружье, которое протягивал ему юноша, и стал целиться еще более сосредоточенно, чем до сих пор; раздался выстрел, и один из двух солдат, несших лестницу, упал.

Убитого солдата тут же сменил другой; Бруно взял второе ружье, и этот солдат рухнул рядом с товарищем.

Дважды были заменены убитые, и дважды повторилось одно и то же: казалось, лестница обладала роковой особенностью кивота: стоило человеку прикоснуться к ней, как он падал мертвым. Осаждающие бросили лестницу и вторично отступили, ответив Бруно залпом, столь же бесполезным, как и предыдущие.

Между тем солдаты, осаждавшие крепость со стороны ворот, с удвоенной силой стучали топорами, а собаки ожесточенно лаяли и выли; время от времени удары становились глуше, а собачьи голоса громче. Наконец одна створка ворот подалась, и два-три человека проникли через это отверстие во двор; но по их отчаянным крикам товарищи поняли, что те имеют дело с врагами, более страшными, нежели это казалось поначалу; стрелять же в собак было невозможно из опасения убить людей. Осаждающие вошли поочередно во двор, который вскоре наполнился солдатами, и тут началось нечто вроде циркового представления — борьба людей с четырьмя сторожевыми псами, неистово защищавшими узкую лестницу, которая вела на второй этаж. Внезапно дверь наверху этой лестницы отворилась, и бочонок с порохом, приготовленный Бруно, покатился, подпрыгивая на ступеньках, и разорвался, как снаряд, среди сгрудившихся тел.

От этого чудовищного взрыва часть крепостной стены рухнула, и все живое во дворе было уничтожено.

Среди осаждающих произошло замешательство; однако оба отряда успели соединиться и все еще представляли собой значительную силу — более трехсот боеспособных единиц. Жгучий стыд охватил солдат при виде того, что они не могут одолеть одного человека; командиры воспользовались настроением подчиненных, чтобы подбодрить их. По приказу офицеров осаждающие построились в колонну, походным маршем двинулись по направлению к пробоине, образовавшейся в стене, развернувшись, беспрепятственно вошли во двор и оказались прямо против лестницы. Солдаты снова остановились в нерешительности. Наконец несколько человек стали подниматься по ней, поощряемые криками товарищей; за ними последовали другие, и на лестнице стало так тесно, что, пожелай передние солдаты отступить, они не могли бы этого сделать; волей-неволей им пришлось налечь на дверь; но, против их ожидания, она сразу же отворилась. С громкими победными криками осаждавшие вбежали в первую комнату. В эту минуту дверь второй комнаты распахнулась, и солдаты увидели Бруно: он сидел на пороховой бочке, держа по пистолету в каждой руке; одновременно из той же двери выскочил мальтиец и крикнул со

страхом, в истинности которого трудно было усомниться:

— Назад! Назад! Крепость заминирована! Еще один шаг, и мы взлетим на воздух!..

Дверь захлопнулась словно по мановению волшебной палочки; победные крики сменились криками ужаса; раздался топот множества ног по узкой лестнице; несколько солдат выскочили из окон; всем этим людям казалось, что почва колеблется у них под ногами. Спустя каких-нибудь пять минут Бруно снова оказался хозяином крепости, что до мальтийца, то он воспользовался случаем, чтобы сбежать.

Не слыша более шума, Паскаль подошел к окну: осада крепости превратилась в блокаду, против всех ее входов были установлены сторожевые посты, солдаты укрылись за бочками и повозками. Очевидно, был принят какой-то новый план кампании.

— Они хотят, верно, взять нас измором, — проговорил Бруно.

— У, собаки! — выругался Али.

— Не оскорбляй несчастных животных: они погибли, защищая меня, — с улыбкой заметил Бруно, — и не называй людей иначе, чем «люди».

— Отец! — воскликнул Али.

— Что случилось?

— Видишь?

— Нет.

— Вон там, светлая полоса?..

— В самом деле, что бы это значило?.. До рассвета еще далеко. К тому же свет этот на севере, а не на востоке.

— Деревня горит, — сказал Али.

— Проклятие! Неужто правда?..

В эту минуту издали донеслись крики отчаяния... Бруно бросился к двери и оказался лицом к лицу с мальтийцем.

— Это вы, командор? — воскликнул он.

— Да, да, я... собственной персоной... Смотрите не ошибитесь и не примите меня за кого-нибудь другого. Я ваш друг.

— Добро пожаловать. Что там происходит?

— Видите ли, отчаявшись захватить вас, начальство приказало поджечь деревню. Пожар потушат лишь

тогда, когда крестьяне согласятся выступить против вас. Властям осточертела вся эта канитель.

— Ну а крестьяне?

— Отказываются.

— Да... да... я так и знал: они скорее дадут сгореть своим домам, чем тронут хоть волос на моей голове. Хорошо, командор, возвращайтесь к тем, кто вас послал, и скажите, чтобы они тушили пожар.

— Как так?

— Я сдаюсь.

— Ты сдаешься, отец? — вскрикнул Али.

— Да... но я дал слово сдать одному-единственному человеку и сдамся только ему. Пусть потушат пожар, как я говорил, и доставят сюда из Мессины этого человека.

— Но кто же он?

— Паоло Томмази, жандармский бригадир.

— У вас нет других пожеланий?

— Еще одно.

И он что-то тихо сказал мальтийцу.

— Надеюсь, ты не просишь сохранить мне жизнь? — спросил Али.

— Разве я не сказал, что после моей смерти мне потребуется от тебя еще одна услуга.

— Прости, отец, я позабыл.

— Ступайте, командор, и сделайте все, как я сказал. Если пожар будет потушен, я пойму, что мои условия приняты.

— Вы не сердитесь на меня за то, что я взялся за это поручение?

— Ведь я же говорил, что назначаю вас своим парламентаром.

— Да, правда.

— Кстати, — молвил Паскаль, — сколько домов они успели поджечь?

— Горели два дома, когда я отправился к вам.

— Вот кошелек, в нем триста пятнадцать унций. Раздайте эти деньги погорельцам. До свидания.

— Прощайте.

Мальтиец вышел.

Бруно отбросил далеко от себя оба пистолета, вновь сел на пороховую бочку и погрузился в глубокую задумчивость. Юный араб вытянулся на шкуре пантеры,

служившей ему постелью, и остался лежать в полной неподвижности с закрытыми глазами, можно было подумать, что он спит. Зарево от пожара побледнело: условия Бруно были приняты.

Прошло около часа, дверь комнаты отворилась, и на ее пороге остановился человек; видя, что ни Бруно, ни Али не обращают на него ни малейшего внимания, он несколько раз нарочито кашлянул: это был способ деликатно заявить о своем присутствии, который, как он видел, с успехом применялся на подмостках мессинского театра. Бруно поднял голову.

— А, это вы, бригадир? — проговорил он, улыбаясь. — Одно удовольствие посылать за вами: ждать вас не приходится.

— Да... они встретили меня в четверти мили отсюда, на пути к вам. Мой отряд перебросили сюда... и мне передали вашу просьбу.

— Да, мне хотелось доказать вам, что я человек слова.

— Ей-богу, я и так это знал.

— Я обещал дать вам заработать те пресловутые три тысячи дукатов, и мне захотелось выполнить свое обещание.

— Черт!.. Черт! Черт возьми! — произнес бригадир с возрастающим чувством.

— Что вы хотите этим сказать, приятель?

— Хочу сказать... хочу сказать... что лучше бы я заработал эти деньги другим манером... получил бы их за что-нибудь другое... к примеру, выиграл бы в лотерею.

— А почему, спрашивается?

— Да потому, что вы храбрец, а храбрецов не так уж много на белом свете.

— Полно, не все ли равно?.. А для вас это повышение, бригадир.

— Знаю, знаю, — ответил Паоло в полном отчаянии. — Итак, вы сдаетесь.

— Сдаюсь.

— Сдаетесь именно мне?

— Именно вам.

— Честное слово?

— Честное слово. Можете отослать весь этот сброд; не желаю иметь с ними никакого дела.

Паоло подошел к окну.

— Разойдись! — крикнул он. — Я отвечаю за пленника. Сообщите в Мессину об его аресте.

Солдаты встретили это сообщение громкими криками радости.

— Теперь, — сказал Бруно, обращаясь к бригадире, — садитесь за стол, и давайте закончим ужиин, который был прерван этими болванами.

— Охотно, — ответил Паоло, — ведь я только что проделал за три часа целых восемь миль. Умираю от голода и жажды.

— Ну что ж, — продолжал Бруно, — раз вы так хорошо настроены и нам остается провести вместе одну-единственную ночь, надо провести ее весело. Али, сбегай за нашими дамами. А пока что, — продолжал Бруно, наполняя два стакана, — выпьем-ка за ваше производство в унтер-офицеры.

Пять дней спустя после описанных нами событий князю де Карини сообщили в присутствии красавицы Джеммы, которая лишь неделю назад вернулась из монастыря, где она отбывала наложенную на нее епитимью, что его приказ наконец выполнен: Паскаль Бруно схвачен и заключен в мессинскую тюрьму.

— Превосходно, — сказал он, — пусть князь де Гото уплатит обещанные три тысячи дукатов, а затем велит судить и повесить бандита.

— О, мне было бы так интересно взглянуть на этого человека, — проговорила Джемма тем нежным, ласкающим голосом, которому князь ни в чем не мог отказать. — Я никогда не видела его, а ведь о нем рассказывают чудеса...

— Не беспокойся, мой ангел, — ответил князь. — Мы прикажем повесить его в Палермо!

XI

Князь де Карини, верный обещанию, которое он дал своей любовнице, велел перевести заключенного из Мессины в Палермо, и Паскаль Бруно был доставлен под усиленной охраной в городскую тюрьму, расположенную на Палаццо-Реале, рядом с домом для умалишенных.

К вечеру второго дня в его камеру явился священник; при виде священнослужителя Паскаль

Бруно встал, но сверх всякого ожидания отказался исповедаться; священник стал настаивать, однако ничто не могло побудить Паскаля выполнить этот христианский долг. Видя, что ему не побороть упорства заключенного, священник осведомился о причине такого умонастроения.

— Дело в том,— ответил Бруно,— что я боюсь совершить святотатство.

— Каким образом, сын мой?

— Скажите, ведь во время исповеди надо не только раскаяться в своих преступлениях, но и простить преступления других?

— Несомненно, без этого не может быть подлинной исповеди.

— Так вот,— продолжал Бруно,— я не простил, следовательно, исповедь моя будет не настоящей исповедью, а я этого не хочу...

— А быть может, под вашим упорством кроется другое? — продолжал священнослужитель,— вы страшитесь признаться в своих грехах, ибо они так велики, что отпустить их не может ни один священник? Успокойтесь, господь бог милостив, и надежда не потеряна, если раскаяние грешника искренне.

— И все же, отец мой, если после отпущения грехов, перед смертью, мне придет в голову грешная мысль и я не смогу отогнать ее?..

— Плоды вашей исповеди будут потеряны,— ответил священник.

— Значит, мне нельзя исповедоваться,— сказал Паскаль,— ибо грешная мысль все равно придет мне в голову.

— И вы не можете изгнать ее из своих помыслов? Паскаль улыбнулся.

— Она-то и дает мне силу жить, отец мой. Неужто вы думаете, что без этой дьявольской мысли, без последней надежды на месть я позволил бы выставить себя на посмеяние перед собравшейся толпой? Ни за что на свете! Скорей бы задушил себя вот этой цепью. Я решил на это еще в Мессине, но тут был получен приказ о моем переводе в Палермо. Я понял, что *Она* пожелала видеть, как я умру.

— Кто это?

— *Она*.

— Но если вы умрете нераскаянным грешником, бог не простит вас.

— Отец мой, *Она* тоже умрет нераскаянной грешницей, ибо умрет в ту самую минуту, когда меньше всего этого ожидает. *Она* тоже умрет без священника, без исповеди. *Она* тоже не получит прощения, и мы будем прокляты оба.

В эту минуту вошел тюремный сторож.

— Отец мой,— сказал он,— все готово для заупокойной службы.

— Вы упорствуете в своем отказе, сын мой? — спросил священник.

— Да,— спокойно подтвердил Бруно.

— В таком случае я больше не буду настаивать и отслужу по вас заупокойную мессу. Впрочем, надеюсь, что во время службы дух божий снизойдет на вас и внушит вам иные помыслы.

— Возможно, отец мой, только вряд ли.

Вошли жандармы, отвязали Бруно и отвели его в ярко освещенную церковь Сен-Франсуа-де-Саль, находившуюся как раз против тюрьмы. Согласно обычаю, осужденный должен был присутствовать на собственной заупокойной службе и провести в церкви ночь перед казнью, которая была назначена на восемь часов утра.

В одну из колонн клироса было вделано железное кольцо; Паскаля подвели к этой колонне и привязали цепью к кольцу, однако цепь была достаточно длинна, чтобы он мог подойти к балюстраде, возле которой принимали причастие коленопреклоненные прихожане.

Перед началом мессы служители из дома для умалишенных принесли гроб и поставили его посреди церкви; в гробу лежала покойница, безумная женщина, скончавшаяся в тот же день, и директору больницы пришла в голову мысль воспользоваться отпеванием живого преступника для упокоения души умершей больной.

Впрочем, это было удобно и для священника, так как позволяло ему сберечь время и силы, словом, распоряжение директора устраивало решительно всех, а потому не встретило ни малейшего возражения. Пономарь зажег две свечи — одну у изголовья, другую в ногах усопшей, и заупокойная месса началась; Паскаль с благоговением выслушал ее всю, от начала до конца.

По окончании мессы священник подошел к осужденному и спросил, не смягчилось ли его сердце, но тот ответил, что, невзирая на церковную службу, невзирая на молитвы, которые он сам прочел, чувство ненависти, питаемое им, не ослабело. Священник обещал прийти еще раз в семь часов утра, чтобы узнать, по-прежнему ли он думает о мести после ночи, проведенной в одиночестве и размышлениях в божьем храме, перед лицом распятия.

Бруно остался один. Он погрузился в глубокую задумчивость. Вся прожитая жизнь прошла у него перед глазами, начиная с раннего детства, когда ребенок еще только начинает познавать мир; но напрасно перебрал он прожитые годы в поисках своей вины: ведь должен был он в чем-то провиниться, дабы навлечь на себя несчастья, поразившие его в юности. Он ничего не нашел, кроме почтительного, сыновнего повиновения родителям, которых дал ему бог. Он вспомнил отчий дом, такой мирный и счастливый, который сразу стал по неизвестной ему тогда причине обителью горя и слез; он вспомнил день, когда отец куда-то ушел, вооружившись стилетом, и вернулся в крови; он вспомнил ночь, когда человек, даровавший ему жизнь, был арестован, как арестован теперь он сам; вспомнил, что мальчиком его привели в церковь, подобную этой, и он увидел там отца в цепях, таких же, как вот эти цепи. И ему показалось, что причину всех бед, обрушившихся на его семью, было некое злокозненное влияние, игра случая, торжество победоносного зла над добром.

Дойдя до этой мысли, Паскаль перестал понимать что-либо в обещаниях блаженства, якобы уготованного людям на небесах; он не мог припомнить, как ни старался, чтобы ему хоть раз в жизни явилось столь хваленое провидение; и, подумав, что в эти последние минуты ему, быть может, приоткроется извечная тайна, он бросился ничком на пол, всей душой моля бога поверить ему суть страшной загадки, приподнять край непроницаемой завесы, предстать перед ним в образе отца или тирана. Надежда оказалась тщетной, ответом ему была тишина, лишь голос собственного сердца глухо повторял: «Мщение! Мщение!»

Тогда он подумал, что быть может, ответ кроется в смерти и что ради этого откровения в церковь

и принесен гроб, ведь человек, самый ничтожный, принимает свою жизнь за центр мироздания и думает, будто все нити бытия ведут к нему, а его жалкая личность служит стержнем, вокруг которого вращается вселенная. Он медленно поднялся на ноги, более осунувшийся, побледневший от этих мыслей, чем от мысли об эшафоте, и устремил взгляд на гроб: в нем лежала женщина.

Паскаль вздрогнул, сам не зная почему; он попробовал рассмотреть покойницу¹, но край савана упал на ее лицо и закрыл его. Внезапно на память ему пришла Тереза, Тереза, которую он не видел с того самого дня, когда отрекся от бога и от людей, Тереза, которая три года провела в доме для умалишенных, откуда и был принесен этот гроб, Тереза, его невеста, с которой он находился, быть может, у подножия алтаря, куда издавна мечтал привести ее и где, по горькой иронии судьбы, они наконец встретились — она, сраженная смертью, он, приговоренный к смерти. Сомнение становилось невыносимым; он шагнул к гробу, чтобы узнать правду, но что-то резко остановило его: это была цепь, которая не давала ему отойти от колонны; он простер руки к покойнице, но никак не мог дотянуться до ее лица. Он поглядел, нет ли поблизости какой-нибудь палки, чтобы приподнять саван, однако ничего не нашел; задыхаясь от бесплодных усилий, он попытался ухватить край савана и сдернуть его, но тот словно прирос к месту. Тогда в порыве неопишуемой злобы он обернулся, схватил обеими руками цепь и изо всех сил стал трясти ее, пытаясь разбить: звенья были крепко заклепаны — цепь не распалась. От бессильного гнева холодный пот выступил у него на лбу; он снова опустился на пол у подножия колонны, уронил голову на руки и застыл в полной неподвижности, безгласный, как статуя Уныния, и когда утром в церковь пришел священник, он нашел его в той же позе.

Священнослужитель подошел к нему безмятежно спокойный, как оно и подобает носителю мира и благодати; он подумал, что Паскаль спит, и положил руку ему на плечо. Паскаль вздрогнул и поднял голову.

¹ В Италии покойников отпевают в открытом гробу и заколачивают его лишь перед тем, как опустить в могилу. (Прим. автора.)

— Ну как, сын мой,— спросил священник,— готовы ли вы исповедаться? Я готов отпустить вам грехи...

— Я отвечу вам немного погодя, отец мой. Но прежде окажите мне последнюю услугу,— сказал Бруно.

— В чем дело? Говорите.

Бруно встал, взял священника за руку и подошел с ним к гробу настолько, насколько позволяла длина цепи.

— Отец мой,— проговорил он, указывая на покойницу,— приподнимите, прошу вас, край савана, я хочу видеть лицо этой женщины.

Священник приподнял саван. Паскаль не ошибся: в гробу лежала Тереза. Он с глубокой грустью посмотрел на нее, затем сделал знак священнику, чтобы тот опустил саван. Священник исполнил его просьбу.

— Скажите, сын мой,— спросил он,— не навел ли вас вид этой женщины на благочестивые мысли?

— Отец мой, эта женщина и я были созданы, чтобы жить счастливо, не ведая греха. *Она* сделала из нее клятвопреступницу, а из меня убийцу. *Она* привела нас обонх — эту женщину дорогой безумия, а меня дорогой отчаяния на край могилы, куда мы оба сойдем сегодня... Пусть бог простит ее, если посмеет, я ее не прошу!

В эту минуту вошли стражники, чтобы вестн Паскаля на казнь.

XII

Небо было безоблачно, воздух чист и прозрачен; Палермо пробуждался, словно в ожидании праздника: занятия в школах и семинариях были отменены, и, казалось, все население собралось на Толедской улице, по которой должен был проехать осужденный, так как церковь Сен-Франсуа-де-Саль, где он провел ночь, находилась на одном ее конце, а площадь Морского министерства, где готовилась казнь,— на другом. Все окна нижних этажей были заняты женщинами, ибо любопытство подняло их на ноги в тот час, когда они обычно еще не жились в постели; за иными зарешеченны-

ми окнами¹, как тени, мелькали монахини различных монастырей Палермо и его окрестностей, а на плоских крышах города колыхалась, словно хлебное поле, толпа выше всех забравшихся зрителей. У дверей церкви осужденного ждала повозка с впряженными в нее мулами; впереди нее шествовали члены конгрегации белых монахов, первый из них держал крест, а четверо остальных несли гроб; позади повозки ехал верхом на коне палач с красным флагом в руке; за палачом шли двое его помощников; наконец, за помощниками палача выступала конгрегация черных монахов, замыкая шествие, которое двигалось между двойными рядами стражников и солдат; по бокам шествия и среди толпы сновали мужчины в длинном сером одеянии, с капюшонами на голове, в которых были проделаны отверстия для глаз и рта; они держали в одной руке колокольчик, а в другой кошель и собирали деньги на то, чтобы помолиться об освобождении из чистилища души еще живого преступника. В городе распространился слух, что осужденный отказался от исповеди, и этот поступок, шедший вразрез со всеми религиозными догмами, придавал особый вес молве об адском пакте, якобы заключенном между Бруно и врагом рода человеческого, молве, которая распространилась с иачала его недолгой и бурной карьеры; и чувство, близкое к ужасу, охватило всю эту снедаемую любопытством, но безмолвную толпу, ибо ни единый звук — будь то возглас, крик или шепот — не нарушал заупокойных молитв, которые пели белые монахи во главе шествия и черные монахи в его хвосте. По мере того как повозка с осужденным продвигалась по Толедской улице, росло и количество любопытных, которые примыкали к шествию и провожали его по направлению к площади Морского министерства. Один Паскаль казался спокойным среди всех этих возбужденных людей, он смотрел на окружающих без приниженности и без гордыни, как человек, который,

¹ В Палермо монахиням запрещено бывать на городских праздниках, и все же они незримо присутствуют на них. Каждый зажиточный монастырь снимает этаж какого-нибудь дома на Толедской улице; из зарешеченных окон этого дома, куда они добираются из монастыря по подземным ходам, иной раз в четверть млн длиною, святые отшельницы и взирают на религиозные и светские праздники. (*Прим. автора.*)

осознав обязанности личности перед обществом и права общества по отношению к личности, не раскаивается в том, что пренебрег первыми, и не жалуется на то, что общество покарало его за нарушение вторых.

Шествие задержалось в центре города, на площади Четырех кантонов, ибо столько народу собралось на Кассарской улице, что шеренга солдат была смята, люди хлынули на середину улицы и передние монахи не могли пробиться дальше. Воспользовавшись этой остановкой, Паскаль встал во весь рост и посмотрел вокруг с высоты повозки, словно он искал кого-то, кому хотел отдать последний приказ, сделать последний знак; но как ни всматривался осужденный в толпу, он, видимо, не нашел человека, которого искал, так как снова опустился на охапку соломы, служившую ему сиденьем, лицо его приняло мрачное выражение и становилось все мрачнее по мере того, как шествие продвигалось к площади Морского министерства. Здесь вновь образовался затор, потребовавший новой остановки. Паскаль вторично встал на ноги, бросил сначала безразличный взгляд на противоположный конец площади, где стояла виселица, затем осмотрел всю огромную площадь, которая была словно устлана головами, за исключением безлюдной террасы князя де Бутера, и остановил свой взгляд на роскошном балконе, затянутом шелковой тканью с золотыми цветами и защищенном от солнца пурпурным навесом. Здесь, окруженная самыми красивыми женщинами и самыми знатными кавалерами Палермо, восседала на чем-то вроде эстрады прекрасная Джемма де Кагель-Нуово, которая, желая полностью насладиться agonией своего врага, приказала поставить свой трон как раз против эшафота. Взгляд Паскаля Бруно встретился с ее взглядом; лучи их скрестились, наподобие двух молний, исполненных ненависти и мести. Они еще не успели оторваться друг от друга, когда из толпы, окружающей повозку, донесся какой-то странный крик; Паскаль вздрогнул, мгновенно повернул голову, и его лицо сразу приняло прежнее спокойное выражение, более того, в нем промелькнуло нечто похожее на радость. В эту минуту шествие снова тронулось, но тут раздался громкий голос Бруно:

— Остановитесь!

Слово это возымело магическое действие: толпа словно разом приросла к земле; все головы повернулись к осужденному, и тысячи горящих взглядов устремились на него.

— Чего тебе? — спросил палач.

— Хочу исповедаться, — ответил Паскаль.

— Священник ушел, ты сам его отослал.

— Мой духовник — вот тот монах, слева от меня, в толпе. Я не хочу другого, мне нужен мой духовник.

Палач нетерпеливо покачал головой, но в то же мгновение народ, слышавший просьбу осужденного, закричал:

— Духовника! Духовника!

Палачу пришлось повиноваться; шествие остановилось перед монахом: это был высокий юноша с темным цветом лица, видимо, исхудавший от поста и молитвы. Едва он влез в повозку, как Бруно упал на колени. Это послужило всеобщим сигналом: на площади, на балконах, в окнах, на крышах домов люди преклонили колена; исключение составили лишь палач, оставшийся в седле, да его помощники, которые продолжали стоять, как будто эти проклятые богом люди потеряли надежду на прощение своих грехов. Одновременно монахи затаили отходную, чтобы заглушить голоса исповедника и духовника.

— Я долго искал тебя, — сказал Бруно.

— Я ждал тебя здесь, — ответил Али.

— Я боялся, что они не выполнят данного мне обещания.

— Они выполнили его: я на свободе.

— Слушай меня хорошенько.

— Слушаю.

— Здесь, справа от меня... — Бруно повернул голову, так как руки его были связаны. — На этом балконе, затаенном золотой тканью...

— Да.

— Видишь женщину, молодую, красивую, с цветами в волосах?

— Вижу. Она стоит на коленях и молится, как и все остальные.

— Это и есть графиня Джемма де Кастель-Нуово.

— Под окном которой я ждал тебя в тот вечер, когда ты был ранен в плечо?

— Да. Эта женщина — причина всех моих несчастий. Это она заставила меня совершить мое первое преступление. Она же привела меня сюда.

— Понимаю.

— Я не умру спокойно, если она останется жить счастливая, всеми уважаемая,— проговорил Бруно.

— Можешь не тревожиться,— ответил юноша.

— Спасибо, Али.

— Позволь обнять тебя, отец.

— Прощай!

— Прощай.

Молодой монах обнял осужденного, как это делает священник, отпуская грехи преступнику, спустился с повозки и затерялся в толпе.

— Вперед! — приказал Бруно.

И шествие снова повиновалось, как будто тот, кто произнес это слово, имел право повелевать.

Народ встал с колен, Джемма села на прежнее место с улыбкой на устах. Шествие продолжало путь по направлению к эшафоту.

Подъехав к подножию виселицы, палач слез с коня, взобрался по лестнице, чтобы укрепить кроваво-красный флаг на поперечной балке ¹, и, убедившись, что веревка крепко привязана, сбросил с себя куртку, которая стесняла его движения. Паскаль тотчас же спрыгнул с повозки, отстранил, передернув плечами, подручных палача, которые хотели помочь ему, взбежал на помост и прислонился к лестнице, по которой он должен был подняться, повернувшись к ней спиной. Монах, несший крест, поставил его перед Паскалем, дабы тот мог видеть его во время своей агонии. Монахи, которые несли гроб, сели на него, вокруг эшафота выстроились солдаты, и на помосте остались только обе монашеские конгрегации, палач, его помощники и осужденный.

Паскаль поднялся по лестнице с тем же спокойствием, которое он выказывал до сих пор, не пожелав, чтобы его поддержали; и так как балкон Джеммы находился как раз против него, было замечено, что он взглянул в ту

¹ Французская виселица сильно отличается от итальянской: первая имеет форму латинской буквы F, вторая буквы H, поперечину которой подняли бы на самый верх. (*Прим. автора.*)

сторону и даже улыбнулся. В то же время палач накинул петлю на шею осужденного и всей своей тяжестью навалился на его плечи, в то время как помощники уцепились за его ноги; но тут веревка, не выдержав тяжести четырех тел, лопнула, и вся постыдная группа, состоявшая из палача, его сподручных и жертвы, скатилась на помост. Один человек вскочил на ноги первый: это был Паскаль Бруно, руки которого развязали перед повешением. Он выпрямился среди полной тишины, из его правого бока торчал нож, который палач всадил ему по самую рукоять.

— Мерзавец!— воскликнул бандит, обращаясь к заплечному мастеру.— Мерзавец, ты не палач и не бандит, ничего ты не умеешь — ни вешать, ни убивать!

С этими словами он вытащил нож из своего правого бока, всадил его в левый и упал мертвый.

Вся площадь громко ахнула, толпа пришла в волиение: одни постарались убежать, другие ринулись к эшафоту. Тело осужденного унесли монахи, палача растерзал народ.

Вечером того же дня князь де Карини ужинал у архиепископа Монреальского, тогда же Джемма, которая не была принята в высоко нравственном обществе прелата, осталась на вилле Карини. Погода была такая же великолепная, как и утром. Из окна спальни, обитой голубым атласом,— в ней разыгралась первая сцена нашей повести,— был ясно виден остров Аликуди, а за ним, словно в дымке, выступали острова Филикуди и Салина. В другом окне, выходившем в парк с его апельсиновыми, гранатовыми деревьями и приморскими соснами, высилась справа во всем своем величии гора Пеллегринно, а слева можно было рассмотреть вдаль Монреаль. У этого окна долго просидела прекрасная графиня Джемма де Кастель-Нуово, устремив взгляд на старинную резиденцию нормандских королей и пытаясь узнать среди карет, спускавшихся в Палермо, экипаж вице-короля. Но наконец темнота ночи сгустилась, отдаленные предметы растворились в ней, графиня встала, позвонила камеристке, и, усталая после всех волнений этого дня, легла в постель; затем она велела затворить окно, из которого были видны острова, так как опасалась, что ее обеспокоит ночью свежий морской бриз, но окно, выходившее в парк,

оставила приоткрытым, чтобы в него проникал воздух, напоенный ароматом жасмина и цветущих апельсиновых деревьев.

Князю де Каринн лишь поздно вечером удалось ускользнуть из-под бдительного надзора своего гостеприимного хозяина. На часах собора, построенного Вильгельмом Добрым, пробил одиннадцать, когда экипаж вице-короля, запряженный четверкой превосходных коней, унес его из резиденции архиепископа. Князю потребовалось не более получаса, чтобы доехать до Палермо, и каких-нибудь пять минут, чтобы домчаться оттуда до виллы Карини. Он спросил у камеристки, где Джемма, и та ответила, что графиня почувствовала себя усталой и легла спать около десяти часов.

Князь вбежал по лестнице и хотел было отворить дверь спальни, но она была заперта изнутри; тогда он направился к потайной двери, которая вела в альков Джеммы, тихонько открыл ее, боясь разбудить красавицу, и задержался на минуту, чтобы полюбоваться ею во время сна — зрелище поистине сладостное для глаз. Комната освещалась алебастровой лампой, висевшей на трех усыпанных жемчугом шнурах у самого потолка, дабы свет ее не беспокоил спящую. Князь склонился над кроватью — ему хотелось получше рассмотреть Джемму. Она лежала на спине, грудь была почти обнажена, вокруг шеи обернуто кунье боа, темный цвет которого превосходно оттенял белизну кожи. Князь глядел с минуту на эту прекрасную статую, но вскоре ее неподвижность поразила его; он наклонился еще ниже и заметил странную бледность лица, прислушался и не уловил дыхания; он схватил руку Джеммы и ощутил ее холод; тогда он обнял возлюбленную, чтобы прижать ее к себе, отогреть у своей груди, но тут же с криком ужаса разжал руки: голова Джеммы, отделившись от туловища, скатилась на пол.

Наутро под окном спальни графини был найден ятаган Али.

П Р И М Е Ч А Н И Я

«УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ»

Роман Александра Дюма «Учитель фехтования» был опубликован во Франции и одновременно в Бельгии в 1840 году. Затем выдержал ряд изданий на языке оригинала. Перевод и публикация в России этого произведения были запрещены. В своих мемуарах, посвященных пребыванию в России, Дюма запечатлел следующий эпизод: «Княгиня Трубецкая, друг императрицы, супруги Николая I, рассказывала мне: «Однажды царица уединилась в одни из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь и вошел император Николай I. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил:

- Вы читали?
- Да, государь.

— Хотите, я вам скажу, что вы читали?

Императрица молчала.

— Вы читали роман Дюма «Учитель фехтования».

— Каким образом вы знаете это, государь?

— Ну вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил.

И несмотря на запрет, как мне говорят, «Учитель фехтования» был широко распространен в России.

О том, что царская цензура особо настороженно относилась к публикации произведений А. Дюма в России, свидетельствует цензор А. В. Никитенко: «Министр народного просвещения наложил эмбарго на все французские романы и повести, особенно Дюма»¹.

Известно, что «Записки» Гризье послужили Дюма основным источником сюжета его романа. Но были и другие исторические сочинения, которыми воспользовался автор, изучая некоторые эпохи русской истории. Среди них следует назвать «Мемуары» графа Сегье (1827), «Очерк о смерти Павла I» Шатогирона (1825), исследование С. Раббе «История Александра I» (1826), «Доклад следственной комиссии» (1826).

Но эти исторические очерки ни в малейшей степени не соответствовали и не раскрывали суть революционного движения России. Французский писатель не смог постигнуть реальную картину — раскрыть причину происшедшего на Сенатской площади.

В его романе можно обнаружить ряд элементарных несообразностей, нелепых рассуждений, романтических измышлений.

В исследовании С. Дурылина по этому поводу справедливо сказано, что в романе Дюма «заключено много извращений подлинной суровой истории декабриста, брошенного всей своей богатой родней и возвращенного к жизни и счастью своей любовницей — модисткой, сумевшей пробиться к нему в Сибирь, стать его законной женой и сделаться источником бодрости в тяжелых испытаниях»².

И все же «Учитель фехтования» вызывает живой интерес как первое художественное произведение зарубежной литературы, запечатлевшее на своих страницах вооруженное восстание против царского самодержавия.

Александр Дюма видел в лице русских революционеров, французских инсургентов, итальянских патриотов — истинных героев своего времени. Он искренне восхищался ими и был убежден в том, что

¹ Никитенко А. В. *Дневник* в 3-х тт. Т. 1, М. Гослитиздат, 1955, с. 183.

² Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия. В кн.: *Литературное наследство*, № 31—32. М. 1937, с. 512.

имена отважных борцов за правое дело не исчезнут из памяти поколений грядущих веков.

«Однажды Россия, — пророчески говорил Дюма, — в знак искупления жертв царских палачей воздвигнет декабристам памятник».

Первое издание на русском языке «Учителя фехтования» было осуществлено в Ленинграде в 1925 г. в связи с исполнявшимся столетием со времени восстания декабристов. Затем этот роман был напечатан Горьковским книжным издательством (1957).

В настоящем издании роман «Учитель фехтования» публикуется с некоторыми сокращениями.

Стр. 25. *Гризье* Огюстен-Франсуа (1791—1865) — известный мастер фехтовального искусства; преподавал уроки фехтования в ряде городов Франции, затем уехал в Россию, где провел около десяти лет. В конце 20-х годов возвратился во Францию и открыл школу фехтовального мастерства, общался с А. Дюма и другими французскими писателями. Автор книги «Фехтование и дуэль» (1847), в которой решительно осуждал дуэль как пережиток феодальных представлений о чести и способах ее защиты. В этой книге О. Гризье писал: «Дуэль знаменитого поэта Пушкина с его шурином — одно из самых бедственных событий такого рода, известных истории. Жена и дети Пушкина остались лишенными средств к существованию» («Фехтование и дуэль», с. 121).

Среди своих учеников-декабристов С. Трубецкого, А. Муравьева Гризье упоминает и имя А. С. Пушкина. Следует заметить, что П. Е. Анненкова весьма положительно характеризует личность О. Гризье: «В это время я познакомилась с Гризье, бывшим учителем фехтования в Москве, у которого и Иван Александрович брал уроки. Рассказы Гризье впоследствии дали повод Александру Дюма написать по поводу меня роман, под заглавием «Учитель фехтования». Не могу не вспомнить с благодарностью то, что сделал Гризье. Гризье пришел ко мне с полным желанием и готовностью служить мне и бывшему его ученику, которого он, как видно, очень любил, и так любезно предлагал располагать его кошельком, говоря, что знает очень хорошо, как дурно относятся родные к Ивану Александровичу, что, наконец, заставил меня воспользоваться его услугами. Я взяла у него 200 рублей, которые, конечно, поспешила потом возвратить при первой возможности»¹.

Жерар де Нерваль (1808—1885) — известный французский поэт-романтик. В соавторстве с А. Дюма написал ряд пьес.

¹ Воспоминания Полины Анненковой, 2-е изд. М. Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 1932, с. 100.

Стр. 28. *Фридрих-Вильгельм III* (1770—1840) — прусский король (1797—1840). После поражения наполеоновской Франции, нарушив свои конституционные обещания, установил в Пруссии режим полицейского деспотизма. О произволе прусских властей и ведет речь учитель фехтования.

Стр. 34. ...находятся на одном берегу Невы Троицкий собор, а на другом — Летний сад. Деревянная церковь действительно стояла на этом месте (ныне площадь Революции). Церковь сгорела в 1903 г.

Стр. 36. ...нашего соотечественника Фальконета... — Этьен Морис Фальконе (1716—1791), выдающийся французский скульптор. Лучшее свое творение — памятник Петру I — создал в России.

Стр. 41. Прототипом образа Луизы Дюпон послужила реальная личность — француженка Поллиа Гебль (1800—1876), приехавшая в Россию в 1823 г. и поступившая служить модисткой в Москве в торговый дом Дюманси. Здесь она познакомилась с И. А. Анненковым и впоследствии стала его женой. Некоторые события из жизни Анненковой Дюма изложил неточно, вместе с тем он стремился воссоздать образ благородной, мужественной и преданной женщины, разделявшей со своим мужем все тяготы сибирской каторги.

Стр. 45. *Потемкин* Григорий Александрович (1739—1791) — русский государственный деятель и дипломат, фельдмаршал (с 1784 г.). Фаворит императрицы Екатерины II. Участник первой русско-турецкой войны (1768—1774) и главнокомандующий русскими войсками во второй войне с Турцией (1787—1791).

Стр. 46. *Приц де Линь* (1735—1814) — французский государственный деятель. В 1782 г. находился в России для выполнения ряда поручений французского правительства. Сопровождал Екатерину в ее поездке в Крым.

...*Репнин* Николай Васильевич (1734—1801) — князь, русский военачальник, дипломат, генерал-фельдмаршал (1796). Во время русско-турецкой войны (1768—1774) командовал дивизией в сражениях при Ларге и Кагуле. В период русско-турецкой войны (1787—1791) командовал дивизией и успешно исполнял обязанности главнокомандующего русских войск во время отсутствия Г. А. Потемкина.

...*великий князь Михаил Павлович* (1798—1849) — генерал, начальник 1-й гвардейской дивизии.

...*королевы Луизы, которая надеялась когда-то победить своего победителя.* Луиза Августа-Вильгельмина (1776—1810), прусская королева, супруга Фридриха-Вильгельма III. В битве при Иене (1806) Наполеон нанес полное поражение прусской армии, после чего оккупировал всю Пруссию. Королева Луиза лично обратилась с

просьбой к Наполеону о более ограниченных требованиях и условиях мира, но ее усилия были тщетны.

Стр. 47. *Моро Жан-Виктор* (1763—1813) — талантливейший полководец французской армии, одержавший ряд блистательных побед во времена Первой республики, Директории, Консульства, убежденный республиканец, осуждавший деспотизм Наполеона. Был изгнан из Франции, несколько лет провел в Америке, затем по предложению императора Александра I принял участие в войне России, Пруссии, Австрии против Наполеона. В сражении при Дрездене 27 августа 1813 г. Моро был убит ядром, которое лично выпустил, подойдя к батарее, Наполеон. Тело Моро было перевезено в Россию, его прах и поныне покоится в католическом соборе св. Екатерины на Невском проспекте.

Стр. 50. ...«*Государыня*» — имеется в виду Настасья Федоровна Минкина, домоправительница и любовница Аракчеева, жившая в его имени в Грузии (Новгородская область). Местные крестьяне, возмущенные ее жестокостью, убили Минкину в 1825 г.

Стр. 51. ...*министр, фаворит императора, сделал своей любовницей*. Имеется в виду Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), всесильный временщик при Павле I и Александре I, крайний реакционер. В 1808 г. был назначен военным министром, в 1810 — председателем департамента военных дел Государственного совета.

Стр. 53. *Готторпский глобус*. Знаменитый глобус диаметром более трех метров был подарен Петру I шлезвиг-голландским герцогом в знак благодарности за спасение города Тепнитена от шведов (1713). Глобус был создан голландским мастером А. Бушем, сторел в 1747 г., восстановлен в первоначальном виде русским мастером Тирютиным. С 1901 г. находился в Пушкине (бывш. Царском селе). В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы увезли его в Любек и только в 1948 г. этот уникальный экспонат вновь установлен в башне Кунсткамеры.

Адамс Михаил Фредерик (1780—1830) — профессор Московского университета. В 1806 году у берегов Ледовитого океана близ устья Лены обнаружил целый скелет мамонта, ставший достопримечательностью музея Академии наук.

Горголи Иван Саввич (1770—1862) — обер-полицеймейстер Петербурга (1811—1821), сенатор (1825—1858).

Стр. 58. Дюма ошибочно приписал графский титул И. А. Анненкову. *Анненков Иван Александрович* (1803—1878) был поручиком лейб-гвардейского кавалерийского полка. Большое влияние на формирование политических взглядов Анненкова оказала основанная Пестелем в Петербурге ячейка революционеров, подчиненная руководителю Южного общества. «Члены этой аристократической ячейки легко

могли увлечься политическим радикализмом и республиканизмом, проповедываемым и Пётелем. В этом отношении «Русская Правда» оказалась им несравненно созвучнее, нежели буржуазная «Конституция» Никиты Муравьева, которую Анненков читал около того же времени у Рылеева. Их особенно увлекала идея «тираноубийства», и они вдохновенно обсуждали планы цареубийства, которое непременно ассоциировалось в их представлении с блестящей большой залой, залитой огнями и наполненной нарядной толпой. Характерно, что и сам Анненков, из всего своего декабристского прошлого, запомнил только вызов Вадковского на цареубийство¹.

В обвинительном документе об Анненкове сказано: «За участие в умысле на цареубийство согласен и принадлежа к тайному обществу с знанием цели по Высочайшей Его Императорского Величества конфирмации, последовавшей в день 10 июля 1826 г., лишен чинов, дворянского достоинства, осужден в ссылку, в кааторжную работу на 20 лет»².

Возвратившись в Нижний Новгород, Анненков, подобно многим декабристам, принял деятельное участие в осуществлении крестьянской реформы. Впервые он занялся этим вопросом в 1858 г., когда был назначен членом Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. Затем состоял членом Нижегородского губернского присутствия и уделял большое внимание разработке реформы освобождения крестьян. После реформы занял должность председателя Нижегородского съезда мировых посредников и пользовался большим авторитетом среди наиболее передовых слоев нижегородского общества. Умер И. А. Анненков в Нижнем Новгороде.

Стр. 66. *Константин Павлович* (1779—1831) — великий князь, брат Александра I. При жизни брата отрекся от престола, вследствие чего по смерти Александра I воцарился третий сын имп. Павла — Николай I.

Стр. 68. *Ла Ферроне* Огюст-Пьер (1777—1842) — французский государственный деятель, убежденный монархист, французский посол в России (1819—1827).

Стр. 69. *Чернышев* Захар Григорьевич (1796—1862) — ротмистр Кавалергардского полка, декабрист, член петербургской ячейки Южного общества.

Стр. 70. *Разрыв России с Францией послужил на пользу Константину, которого отец послал закончить свое военное образование под начальством фельдмаршала Суворова.* Речь идет об италийском походе Суворова, когда руководимая им армия одержала

¹ Воспоминания Полины Анненковой. М., Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 1932, с. 20.

² Там же, с. 289.

победу над французскими войсками при Нови и совершила геронический переход через Альпы (1799).

Курпинский Кароль-Казимеж (1785—1857) — польский композитор, общественный деятель, дирижер; один из создателей национальной оперы, автор патриотической песни «Варшавянка».

Стр. 71. *Анна Грудзинская* (1795—1831) — дочь графа Антона Грудзинского, вторая жена великого князя Константина.

Стр. 78. *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — выдающийся русский архитектор, по происхождению итальянец.

Ла Шетарди Жак-Иохим (1705—1758) — французский дипломат и военный деятель, исполнял обязанности посла в России в 1739—1742 гг.

Стр. 79. *Мы можем поссориться со всей Европой, но только не с Демидовым.* Очевидно, речь идет о Николае Демидове (1773—1828) — потомке владельцев чугуноплавильных заводов.

Стр. 80. *Сегюр* Луи-Филипп (1753—1830) — литератор, посол Франции; находился в окружении Екатерины во время ее путешествия в Крым. *Кобенцель* Иоганн Людвиг (1753—1809) — австрийский посол в России.

Стр. 81. *Рылеев* Никита Иванович (1740—1808) — обер-полицеймейстер Санкт-Петербурга, затем губернатор.

Стр. 87. *Победа при Чесме.* Имеется в виду морское сражение между русской эскадрой и турецким флотом, происходившее в 1770 году в бухте Чесма в Эгейском море. Сражение это завершилось уничтожением турецкого флота.

Стр. 88. *Трубецкой* Сергей Петрович (1790—1860) — князь, полковник, декабрист, один из руководителей Северного общества, осужден по первому разряду.

Стр. 96. *Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — граф, генерал-губернатор Петербурга, был смертельно ранен 14 декабря 1825 г. декабристом Каховским.

Стр. 97. *Маккиавелли* Николо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический деятель и историк. Маккиавеллизм — олицетворение политики, не останавливающейся ни перед какими, даже преступными средствами.

Стр. 107. *Лоншан* — одна из главных улиц Парижа.

Нарышкин Михаил Михайлович (1798—1863) — полковник Тарутинского пехотного полка, декабрист, член Северного общества.

Стр. 111. *Муравьев* Никита Михайлович (1796—1843) — капитан гвардейского генерального штаба, декабрист, один из руководителей Северного общества, автор «Конституции». Осужден по первому разряду.

Стр. 114. *Немейский лев.* По древнегреческому мифу — чудовищный хищник, опустошавший Немейскую долину; был неуязвим для любого оружия. Геракл загнал льва в пещеру и задушил его.

Стр. 119. ...императрица Анна Иоанновна решила затмить своих предшественников... Анна Ивановна (Иоанновна) (1693—1740) — русская императрица (1730—1740). Фактически при царском дворе правила немецкая клика во главе с фаворитом царицы Бироном. Обличению бироновщины был посвящен роман И. И. Лажечникова «Ледяной дом», который Дюма опубликовал в своем переводе во Франции.

Стр. 120. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии... В 1789 году тюрьма-крепость Бастилия была разрушена в результате народного восстания, положившего начало Великой буржуазной революции во Франции.

Стр. 122. *Зубов* Валериан Александрович (1771—1804) — русский генерал-аншеф, один из фаворитов Екатерины II. Главнокомандующий русской армией в Персидском походе 1796 г. Участвовал в заговоре против Павла I, который был убит в 1801 г. в Михайловском замке. Брат В. А. Зубова, Платон Александрович Зубов (1767—1822) — генерал, директор Кадетского корпуса, также участник заговора против Павла I.

...Генерал Костюшко жил пленником в одном из петербургских дворцов. Костюшко Тадеуш (1746—1817), генерал, руководитель освободительного восстания 1794 года в Польше. В 1788 году уехал в Америку, где принимал участие в войне за независимость североамериканских колоний Англии, был назначен адъютантом Д. Вашингтона. По окончании войны вернулся на родину. В 1794 году, после двухмесячной обороны Варшавы от войск Пруссии и царской России, Костюшко потерпел поражение и был взят в плен русскими. В 1796 году освобожден из заключения. Последние годы провел в Швейцарии.

В течение тридцати пяти лет имя Петра III произносили в Петербурге только шепотом. Петр III Федорович (1728—1762) — русский император (1761—1762). Игнорирование интересов России в угоду Пруссии и враждебное отношение к русской гвардии послужили причиной дворцового переворота 1762 г., приведшего к власти его жену Екатерину II, с введомо которой Петр III был убит ее сторонниками.

Стр. 127. *Кутайсов* Иван Павлович (1759—1834) — фаворит Павла I, возведен в графское достоинство, занимал при дворе важные должности.

Пален Петр Алексеевич (1745—1826) — петербургский военный губернатор, один из организаторов и участников убийства Павла I.

Стр. 133. ...у короля Георга тихое, безвредное помешательство. Речь идет о Георге III (1738—1820), английском короле (1760—1820).

Он являлся одним из вдохновителей грабительской колониальной политики Англии. Активно поддерживал европейскую реакцию в ее борьбе против Французской буржуазной революции XVIII века.

Стр. 135. *Беннигсен* Леонтий Леонтьевич (1745—1826) — граф, генерал от кавалерии. Не все из упомянутых здесь генералов и офицеров присутствовали в Михайловском замке в момент убийства Павла I. «Массивная табакерка Яшвиля и шелковый шарф гр. Зубова послужили, по свидетельству очевидцев, основными орудиями расправы с ненавистным монархом. Когда все было кончено, подоспела вторая группа заговорщиков, которую возглавлял Пален. Говорили, что он умышленно задержался, чтобы в случае успеха поддержать заговор, а в случае неудачи помочь схватить его участников»¹.

Яшвиль Владимир Михайлович (1764—1815) — князь, принимал непосредственное участие в заговоре и убийстве Павла I.

Стр. 136. *Гагарина* Анна Петровна (1777—1805) — княгиня, любовница Павла I.

Стр. 146. *Оболенский* Евгений Петрович (1796—1865) — офицер, декабрист, ближайший помощник К. Ф. Рылеева в деле подготовки восстания 14 декабря; сослан на каторгу, с 1839 г. на поселении.

Стр. 147. *Бестужев* Михаил Александрович (1800—1871) — штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, декабрист, участник восстания 14 декабря. М. А. Бестужев был приговорен к каторжным работам навечно. Позже срок ему снизили до 13 лет.

Стр. 148. *Бестужев* Александр Александрович (Марлинский, 1797—1837) — писатель, декабрист, принимал активное участие в происходившем восстании. Был сослан на Кавказ, где погиб в стычке с горцами. Дюма перевел и напечатал во Франции повести Марлинского «Аммалат-Бек», «Фрегат «Надежда», очерк «Прощание с Каспием» и в статье, посвященной их автору, утверждал: «Кажется, что эти странницы принадлежат Байрону, а между тем имя человека, написавшего их, даже не известно у нас! Сколько будет зависть от меня, я постараюсь устранить это забвение, которое, по моему мнению, есть святотатство».

Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1798—1858) — князь, декабрист, капитан лейб-гвардии Московского полка. Не будучи формально членом тайного общества, присутствовал на совещаниях у К. Ф. Рылеева и Е. П. Оболенского, где обсуждались планы восстания. Вместе с А. А. и М. А. Бестужевыми вывел солдат на Сенатскую площадь; был приговорен к двадцати годам каторжных работ.

¹ История СССР. М. «Наука», 1967, с. 65.

Стр. 150. *Нейдгардт* Александр Иванович (1784 — 1865) — генерал-адъютант, начальник штаба гвардейского корпуса.

Стр. 154. *Орлов* Алексей Федорович (1788 — 1862) — генерал-адъютант, с 1844 г. шеф жандармов и главный начальник III Отделения.

Стр. 156. *Вюртембергский* Александр-Фридрих — герцог (1771 — 1833), брат императрицы Марии Федоровны (супруги Павла), участник войны 1812 г., генерал от кавалерии.

Стр. 158. ...разделены на три категории. Все декабристы по степени активности были разделены на разряды. Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев, Каховский были поставлены «вне разрядов» и приговорены к четвертованию, замененному Николаем I повешением.

Верховный суд приговорил... К следствию и суду по делу декабристов было привлечено 579 человек. Следственные и судебные процедуры велись в глубокой тайне. Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев, Каховский были повешены 13 июля 1826 года. Сосланы в Сибирь на каторгу и поселение 121 декабрист. Более ста солдат были прогнаны сквозь строй, некоторые сосланы в Сибирь на каторгу или на поселение, свыше двух тысяч солдат переведены на Кавказ, где в то время велись военные действия. Заново сформированный Черниговский полк, а также другой сводный полк из активных участников восстания также были посланы на Кавказ.

Стр. 174—175. ...свидетельства дикого патриотизма *Растопчина* — *Растопчин* Федор Васильевич (1763 — 1826), в 1812 году главнокомандующий войск Москвы. Здесь Дюма повторяет версию Наполеона, который называл *Растопчина* «поджигателем Москвы».

Стр. 177. «Тысяча и одна ночь» — памятник средневековой арабской литературы, сборник занимательных сказок, полных юмора и народной мудрости.

Стр. 178. *Храм Василия Блаженного* — Собор Покрова «что на рву», т. е. Покровский собор. Построен в 1555 — 1561 гг. На основании летописных данных создание храма приписывается зодчим Барме и Постнику.

Стр. 180. *Князь Невшательский* — Бертье Лун-Александр (1753 — 1815), маршал Франции.

Стр. 196. *Это были волки.* Несомненно, читатель обнаружит в романе А. Дюма ряд неточных описаний. Об этом, в частности, пишет П. Анненкова: «Вопреки уверениям А. Дюма, который в своем романе говорит, что целая стая волков сопровождала меня всю дорогу, я видела во все время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот

удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами»¹.

Стр. 201. ...я ехал в обратном направлении по той самой дороге, которая полтора года назад привела меня в Петербург. По сведениям, приводимым в Большой энциклопедии Лярусс (т. 8, с. 540), Гризье прибыл в Россию в 1819 г. В своей книге «Фехтование и дуэль» Гризье неоднократно отмечал, что провел в России десять лет. По возвращении во Францию Гризье опубликовал 2 декабря 1829 г. некролог на смерть поэта-республиканца Шарля Доваля, убитого на дуэли, в которой решительно осуждал жестокость дуэлянта.

МУЧЕНИКИ

Перевод очерка А. Дюма «Мученики» выполнен по изданию «Путевые впечатления. В России» (т. II, с. 167). Первая публикация в журнале «Неделя» (1975). Представляя этот очерк читателям, историк Н. Эйдельман писал: «Приводимый ниже очерк А. Дюма «Мученики», конечно, читали люди, изучающие историю декабризма, иногда он цитировался в нашей печати, но широкому читателю неизвестен.

Казалось бы, что нового может сказать о русском движении французский беллетрист? Оказывается, может. Дело в том, что во время путешествия по России и в переписке с русскими литераторами он много спрашивал и многое узнал. Не так давно академик М. П. Алексеев опубликовал интересный вариант пушкинского послания в Сибирь. Французский писатель получил этот вариант из России примерно в то время, когда писался данный очерк.

«Мученики» тоже содержат немало живых, интересных подробностей, в том числе личные воспоминания автора о встрече с отцом декабристов Иваном Муравьевым-Апостолом. В очерке есть ряд ошибок и неточностей (неверно представлен возраст некоторых декабристов, многие их речи явно беллетризованы). И все же заметим: для того времени ошибок очень мало. Привлекает относительная точность многих деталей и характеристик, явно полученных от осведомленных современников. Даже ниние неточности интересны как отражение ходивших слухов. Наконец, нас не может не привлекать явное сочувствие французского писателя русским революционерам. Эта публикация лишний раз подчеркивает, какой резонанс в Европе имело выступление декабристов против самодержавия».

¹ Воспоминания Полины Анненковой. М. 1932, с. 148.

Стр. 205. *Пестель Павел Иванович* (1793 — 1826) — полковник, основатель Южного общества декабристов, автор «Русской правды». Во время восстания ему было 32 года, а не 30, как пишет А. Дюма.

Витгенштейн Петр Христианович (1769 — 1843) — генерал-фельдмаршал. Во время русско-турецкой войны (1828 — 1829 гг.) — главнокомандующий русской армией.

Стр. 206. *Вашингтон Джордж* (1732 — 1799) — первый президент США (1789 — 1797), — главнокомандующий армии колонистов в период борьбы североамериканских колоний Англии за независимость (1775—1783).

Стр. 207. *Муравьев-Апостол Иван Матвеевич* (1765 — 1851) — писатель и государственный деятель, с 1797 по 1805 г. — посланник сначала в Гамбурге, затем в Мадриде. Трех своих сыновей — Сергея, Матвея и Ипполита — он воспитал в духе высокого патриотизма. «Выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию», — сказал он однажды. Все три сына его стали декабристами, посвятившими себя борьбе за свободу, а двое из них отдали ей жизнь.

Бестужев-Рюмик Михаил Павлович (1803 — 1826) — подпоручик, член Южного общества декабристов, один из руководителей восстания Черниговского полка. Во время восстания ему было 22 года, а не 20, как пишет Дюма.

Стр. 209. *Лопухин Петр Васильевич* (1744 — 1827) — генерал-губернатор при Екатерине II, министр юстиции (1803 — 1810), председатель Государственного совета и Комитета министров; в июне — июле 1826 г. Лопухин был председателем Верховного уголовного суда по делу декабристов.

ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН

Стр. 215. ...*Соединенных провинций ...Республика Соединенных провинций* (иначе Голландская республика) образовалась в результате победы Нидерландской буржуазной революции XVI века. В республику входило семь провинций (Голландия, Зеландия, Утрехт, Гронинген, Гельдерн, Овернссель и Фрисландия), подписавших в 1579 году так называемую Утрехтскую унию, юридически утвердившую существование новой республики. С ростом влияния провинции Голландии на политику республики Соединенных провинций появилось другое название — «Голландская республика» (1581).

Стр. 216. *Великий пенсионарий* — ответственный государственный пост в Голландской республике. В руках пенсионария иногда сосредоточивалась вся полнота власти. Представитель крупной

буржуазии Ян де Витт (1625—1672), будучи великим пенсионарием, являлся фактическим правителем Соединенных провинций.

Штатгальтер — в Нидерландах так назывался глава исполнительной власти. Должность штатгальтера была упразднена Яном де Виттом, но восстановлена в 1672 году для Вильгельма III Оранского.

...этими римлянами Голландии. Имеются в виду древнеримские республиканцы — братья Тиберий и Гай Гракхи, погибшие в борьбе с крупнейшими землевладельцами.

Молчаливым называли не Вильгельма III Оранского, штатгальтера Голландии, а затем английского короля (с 1689 года), о котором здесь идет речь, а его предка — Вильгельма I Оранского, видного деятеля Нидерландской буржуазной революции.

Людовик XIV — французский король с 1643 по 1715 год. Стремился к максимальному укреплению королевской власти. Войнами и расточительностью довел Францию до крайнего истощения.

Рейнская кампания — вторжение французских войск в Нидерланды в 1672 году.

Стр. 217. *Митридат VI Евпатор* (136—63 до н. э.) — понтийский царь. Считался наиболее опасным врагом Рима.

Стр. 218. *Гораций* (65—8 до н. э.) — крупнейший римский поэт, автор «Од», «Сатир», «Посланий» и др. Имеется в виду ода третья из III книги «Од», начинающаяся словами: «Кто, справедливый, стоек в решениях».

Стр. 220. *Лулуа Франсуа Мишель* (1639—1691) — военный министр Людовика XIV.

Стр. 221. ...*проданные Людовику XIV!* Обвинение братьев Виттов в сговоре с французами было необоснованным. Однако нерешительность правительства Яна де Витта, вызванная боязнью народных волнений, дала повод оранжистам, желавшим добиться популярности, обвинить братьев Виттов в измене.

Стр. 223. *Фрисландский костюм* — национальная одежда фризов, народности, живущей на севере Нидерландов (Фрисландская провинция).

Стр. 228. *Тромп Корниелий* (1629—1691) — голландский адмирал, участник ряда морских сражений во время англо-голландских войн, оранжист.

Они избавили бы их от перехода французов через Рейн... Имеется в виду поражение, нанесенное армией Людовика XIV Голландской республике в 1672 году.

Стр. 232. *Лафатер* Иогани-Каспар (1741—1801) — швейцарский богослов и писатель, автор книги «Физногномика», которая легла в основу лженауки, пытавшейся по внешним признакам судить об умственных и моральных качествах человека.

Стр. 248. *Людовик-Солнце* — прозвище, которым наградили Людовика XIV льстивые придворные.

Стр. 250. *Ювенал* (ок. 55—ок. 132 н. э.) — последний древнеримский великий поэт-сатирик.

Флорин — денежная единица в Нидерландах. Впоследствии был заменен гульденом.

Стр. 251. *Ван Рюйтер* — выдающийся голландский адмирал; командовал флотом в эпоху англо-голландских войн.

Стр. 254. *Альфонс VI* — король Португалии (1656—1667). В результате дворцового переворота был свергнут своим братом Педро.

Стр. 255. *Герард Доу* (1613—1675) — выдающийся голландский художник, ученик Рембрандта. Франс ван Мирис (1635—1681) — голландский художник, ученик Г. Доу.

Стр. 256. *Битва Александра Македонского* с индийским раджей Пором произошла у древнего города Никен в Северной Индии в 326 году до нашей эры.

Стр. 257. *Силлогизм* — логическое умозаключение. Средневековые ученые-схоласты, стремившиеся использовать методы философских суждений для укрепления христианской религии, часто подменяли силлогизмами живое изучение природы.

Стр. 258. *...Шекспира и Рубенса...* Сравнение тюльпанов с творениями величайшего английского драматурга Вильяма Шекспира (1564—1616) и великого фламандского художника Петера Пауля Рубенса (1577—1640) дает представление о «тюльпаномании», охватившей Голландию XVII века.

Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт-гуманист, автор поэмы «Божественная комедия», состоящей из трех частей: «Ад», «Чистилище», «Рай». В первой части поэмы Данте изображает страшные мучения грешных душ в аду. Среди них находятся изменники родины, некоторые католические священники и папы.

Стр. 259. *Амалекитяне* — кочующие племена, совершавшие набеги на древнюю Иудею. В библейских преданиях — «палки и камни, падающие с неба», наводнения, бури, смерчи и другие стихийные бедствия изображаются как следствие божьего гнева.

Стр. 262. *Химера* — в древнегреческой мифологии чудовище с головой льва, хвостом дракона и козьим туловищем. В переносном смысле — несбыточная фантазия, неосуществимая мечта.

В Древнем Риме не знали о существовании черных лебедей, которые водятся в Австралии. Поэтому черный лебедь кажется Горацию фантазией, химерой. В одном из своих стихотворений

Гораций создает фантастический образ богини Венеры в белой колеснице, влекомой черными лебедями.

В старинных французских легендах белый дрозд упоминается примерно в таком же смысле, как у нас «белая ворона». Отсюда французское выражение: «Редкий, как белый дрозд».

Стр. 265. ...как некогда Дельфы. Древнегреческий город Дельфы был известен своим «оракулом» в храме бога Аполлона. В храм допускались только «посвященные», то есть жрецы.

Расин Жан (1639—1699) — великий французский драматург. Творчество Расина является высшим достижением французского классицизма в жанре трагедии.

Стр. 266. Алхимия — средневековая лженаука. Алхимики искали «философский камень», якобы способный превращать неблагородные металлы в золото, «жизненный эликсир», сообщающий будто бы человеку бессмертие, «панацею» — лекарство от всех болезней и т. п.

Стр. 267. Мингер — распространенное в Голландии почтительное обращение к лицам зажиточных сословий. Соответствует русскому — господин.

Стр. 270. ...в Бомбее, Мадрасе. По-видимому, голландцы считали родиной тюльпанов остров Цейлон, а упоминаемые индийские города — местом наибольшего их распространения.

Александр Македонский (IV в. до нашей эры) — македонский царь, прославленный полководец древности. Гай Юлий Цезарь (I в. до н. э.) — римский полководец и политический деятель, установивший единоличную диктаторскую власть. Максимилиан — имеется в виду Максимилиан I из династии Габсбургов — австрийский эрцгерцог и император «Священной римской империи» (1493—1512), значительно расширивший свои владения.

Стр. 292. Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.) — по преданию последний царь Древнего Рима. Завоевал город Габни в Италии.

Принц Кондэ (1621—1686) — французский полководец. Во время конфликта с фактическим правителем Франции кардиналом Мазарини был ненадолго заключен в Вейсенский замок.

Стр. 302. Госпожа де Севинье (1626—1696) — французская писательница.

Стр. 303. Вааль, Маас — реки в Голландии.

Гроций Гуго (1583—1645) — голландский ученый, юрист и дипломат, один из основателей науки международного права. В 1619 году за участие в религиозно-политической борьбе был осужден на пожизненное заключение. В 1621 году бежал из тюрьмы.

Барневельт. Имеется в виду Олденбарневельт Ян (1547—1619) — фактический правитель провинции Голландии, боровшийся против монархических устремлений штатгальтера. Вместе с Г. Гроцием

участвовал в религиозно-политическом движении на стороне оуржуани. За попытку поднять мятеж был казнен.

Стр. 307. ...как говорит мифология. Зависть в Древней Греции аллегорически изображалась в виде женщины со змеями на голове.

Стр. 316. ...но и во всем мире. Стремление Вильгельма III Оранского к установлению в Голландии наследственной монархии не увенчалось успехом. После его смерти должность штатгальтера была отменена.

Стр. 355. Семирамида — легендарная ассирийская царица, славившаяся будто бы своей мудростью. Клеопатра (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта из династии Птоломеев. По преданию, славилась своей красотой. Елизавета Тюдор — английская королева (1558—1603). Годы царствования Елизаветы совпали с укреплением экономического могущества и политического влияния Англии, а также с периодом расцвета английской литературы (Шекспир, Марло и др.).

Анна Австрийская (1601—1666) — французская королева и регентша в годы малолетства Людовика XIV.

Стр. 361. Семью чудесами света в древности назывались семь наиболее прославленных произведений архитектуры и ваияния: пирамиды египетских фараонов; легендарные висячие сады Семнрамыды; Эфесский храм Афродиты; статуя Зевса, сидящего на троне, работы Фидия (Vв. до н. э.); надгробный памятник царя Мавзола (отсюда слово «мавзолей») в Гелнкарнасе; Колосс Родосский (медная статуя высотой в 72 метра, стоявшая, по преданию, у входа в гавань Родос); маячная башня высотой в 180 метров, воздвигнутая в Александрии в III веке до нашей эры. Выражение «восьмое чудо света» употребляли в иарнцательном смысле, желая подчеркнуть необычайную красоту произведения искусства.

Стр. 364. Сильфиды — в средневековых поверьях добрые духи.

Стр. 368. Габриэль Метсю (1629—1667) — известный голландский художник.

Стр. 377. Лье — старинная французская мера длины, равная приблизительно 4,5 километра.

Стр. 379. «Сезам, отворись» — в арабских сказках магические слова, силою которых мгновенно отворялась дверь тайной сокровищницы.

Стр. 382. ...спор..., который был вынесен на суд царя Соломона... — по библейскому преданию, царь древней Иудеи Соломон умел разрешить самые трудные споры. Здесь имеется в виду легенда о тяжбе двух женщин из-за одного ребенка. Чтобы узнать, которая из них является его настоящей матерью, Соломон предложил разрубить ребенка на две части и признал матерью ту женщину,

которая стала умолять мудрого судью отказаться от этого решения.

Стр. 391. *Вольтов столб* — первоначальная форма батарей гальванических элементов, осуществленная в 1799 году итальянским физиком, одним из основателей учения об электрическом токе — Алессандро Вольта.

Стр. 399. *Аргус* — в древнегреческой мифологии — многоглазый великан-сторож. В переносном смысле — бдительный страж.

Дедал — в древнегреческой мифологии — искусный механик, который сделал крылья из перьев и воска и улетел на них, спасаясь от преследования.

Стр. 416. *Давид Тенирс Старший* (1582—1649) и его сын *Давид Тенирс Младший* (1610—1690) — известные фламандские живописцы.

Батавская республика — одно из названий Голландии. Произошло от названия племени батавов, обитавших на территории Нидерландов в начале нашей эры. Официально Голландия называлась Батавской республикой с 1795 по 1806 год.

Стр. 417. *Гней Помпей* (106—48 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. Вступил в открытую борьбу с Цезарем за единоличную власть.

...*ки покорения Галлии*... — имеется в виду поражение, нанесенное Помпеем понтийскому царю Митридату (66 до н. э.) и завоевание Юлием Цезарем Галлии (58—51 до н. э.).

Кибела — в античной мифологии — мать богов. Культ ее был широко распространен в Римской империи.

Этрурия — область в древней Италии.

Вечный город — так называли Рим.

Стр. 419. ...*призрак Банко*... — в трагедии Шекспира дух Банко, убитого по приказу Макбета, явился к нему на пир.

М. ТРЕСКУНОВ.

НОВЕЛЛЫ

КУЧЕР КАБРИОЛЕТА

Стр. 434. *В моральном отношении этот человек сродни Бартоло*. — Бартоло — персонаж комедии П.-О. Бомарше «Севильский цирюльник».

Стр. 436. *Нодье Шарль* (1790—1843) — известный французский писатель-романтик.

Стр. 437. «*Парижанка*» — песня революционного содержания, написанная в 1830 г. композитором Д.-Ф. Обером на слова К. Делавиня.

Стр. 438. *Тейлор* Исидор-Жюстен (1789—1879) — французский художник и писатель, автор «Живописных и романтических путешествий по древней Франции», куратор «Комеди Франсез».

«*Два каторжника*» — популярная мелодрама на музыку барона де Ланнуа.

Стр. 439. ...*видел Тальма в «Сулле»*... — Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — известный французский трагический актер. «Сулла» — трагедия французского драматурга Виктора-Жозефа-Этьена де Жуэ (1764—1846).

Стр. 440. *Мадемуазель Марс* — Анна-Франсуаза-Ипполита Буте (1779—1847) — знаменитая актриса театра «Комеди Франсез», выступавшая под псевдонимом мадемуазель Марс.

МАСКАРАД

Стр. 460. *Варьете*. — Театр Варьете на бульваре Монмартр в Париже был построен в 1807 г.

Стр. 461. *Пандемониум* — сборище злых духов, ведьм, царство Сатаны. На подобном шабаше ведьм оказался доктор Фауст в одноименной трагедии Гете.

ПРАВAYA РУКА КАВАЛЕРА ДЕ ЖИАКА

Стр. 471. *Суффолк* Вильям де ла Поль, граф, затем герцог (1396—1450) — английский военачальник. Принимал участие в кампаниях Генриха V во Франции. Будучи затем министром Генриха VI, добивался мира с Францией. Казнен по обвинению в государственной измене.

Сэр де Скаль — английский политический деятель, родился в 1442 г. и не мог принимать участия в описываемых событиях.

Стр. 483. *Граф Дуглас* — Арчибальд, граф Дуглас (1374—1424) — шотландский военачальник; был послан регентом Шотландии на помощь Карлу VII.

Стюарт — Джон Стюарт, граф де Бюшан (1380) — внук короля шотландского Роберта II Стюарта, в 1420 г. прибыл на помощь дофину Карлу с шестью тысячами солдат. Карл назначил его коннетаблем Франции. В 1423 г. он был взят в плен при Кривене, но вскоре его обменяли на брата Суффолка. По одним сведениям, убит в битве при Вернее в 1424 г., по другим — при осаде Орлеана в 1428 г.

Стр. 484. *Сенешаль* — в раннем средневековье старший слуга, с XIII в. — королевский чиновник (или должностное лицо крупного

сеньора), обладавший судебно-административной властью в пределах округа.

Луве Жан (1370—1440) — французский государственный деятель, с 1416 г. — генеральный комиссар финансов. Перешел затем на сторону дофина и стал одним из его ближайших советников.

Виконт Нарбонский Гийом II — сторонник графа д'Арманьяка, был в числе советников дофина и принимал участие в убийстве Жана Бесстрашного. Убит в битве при Вернее.

Лаир (Этьен Виньоле) (1390—1443) — один из наиболее известных военачальников времен Карла VII.

...Карл... заслужил впоследствии прозвище Победоносного... — С именем Карла VII стали связывать освобождение Франции от англичан, после того как он воспользовался успехами французских войск, возглавленных Жанной д'Арк. В 1429 г. Карл короновался в Реймсе, а в 1436 г. вступил в Париж.

Стр. 486. *Святой Дионисий* (III в.) — проповедник христианства в Галлии. По преданию, он был казнен в 272 г. римским наместником Фёсценнием вместе с другими проповедниками на холме возле Парижа, который якобы поэтому стали называть Монмартр («гора мучеников»). Со временем Дионисий стал считаться покровителем Франции.

Стр. 492. *Байи* (бальи) — должностное лицо, по поручению короля или сеньора управлявшее какой-либо областью — бальяжем.

Прево — представитель короля или сеньора, наделенный судебными полномочиями и правом приводить приговор в исполнение.

ПАСКАЛЬ БРУНО

Стр. 500. *Пальмьери* Николо (1778—1837) — итальянский писатель, автор ряда книг по истории Сицилии.

Беллини — композитор Винченцо Беллини, умер в 1835 г. Оперы «Сомнамбула» и «Норма» принадлежат к числу наиболее известных его произведений.

...Сицилии, этой второй Греции... — Греческая колонизация Сицилии и южной части Италии началась в VIII в. до н. э. Многочисленные города, основанные греками, приобрели вскоре такое экономическое, политическое и культурное значение, что эти области стали называться «Великой Грецией».

Стр. 523. *Видукинд* (VIII в.) — представитель саксонской знати, руководивший в конце 70-х годов борьбой саксов против франкских захватчиков, возглавляемых Карлом Великим. После нескольких поражений изменил соплеменникам и перешел на сторону Карла.

Стр. 527. ...стреляя вслед за кардиналом Руффо по неаполитанским патриотам и по французским республиканцам...— Речь идет о кардинале и государственном деятеле Руффо Фабрицио (1744—1827), который возглавил борьбу против возникшей в 1799 г. Партенопейской республики, содействовал восстановлению монархии Фердинанда IV. Вслед затем многие республиканцы были казнены.

Стр. 546. *Орканья* (1308—1368) — флорентийский скульптор, художник и архитектор.

Стр. 547. «*Сицилийская вечерня*».— Такое название получило происходившее в 1282 г. восстание в Палермо, направленное против французских феодалов. «Сицилийская вечерня» послужила сигналом к общесицилийскому восстанию, в результате которого французские колонизаторы оставили остров Сицилию.

Стр. 585. *Вильгельм Добрый* — Вильгельм II Добрый, король Сицилии (1166—1189).

А. СТОЛЯРОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Дюма. <i>М. Трескунов</i>	3
УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ . . .	25
ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН . . .	215
НОВЕЛЛЫ	
Кучер кабриолета	433
Маскарад	459
Правая рука кавалера де Жиака	469
Паскаль Бруно	499
Примечания <i>М. Трескунова</i> и <i>А. Столярова</i>	586

Александр Дюма
УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ
ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН
НОВЕЛЛЫ

Редактор
Н. Н. Ермолаева

Оформление художника
Д. Б. Шимилиса

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 396

Сдано в набор 17.04.81. Подписано к печати 14.10.81.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага книго-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 32,22. Тираж 2 000 000 экз.
Цена 2 р. 80 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, ГСП,
Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства ЦК КП Белоруссии,
Минск, Ленинский проспект, 79.
Заказ № 556.



Уважаемые товарищи!

Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Сбор и сдача вторичного бумажного сырья — важное государственное дело. Ведь 60 килограммов макулатуры сохраняет от вырубki одно дерево, которое вырастает в течение 50—80 лет.

Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры — это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы.

2 р. 80 к.